-
- Марк Поповский
  - Том первый
    - Пролог — житие
    - Глава первая. В исторической тени (1877—1917)
    - Глава вторая. Две правды (1917—1923)
    - Глава третья. Схема и схима (1924—1925)
    - Глава четвертая. Как это делалось в тридцатом (1926—1931)
  - Том второй
    - Глава пятая. Исповедую хирургию (1933—1937)
    - Глава шестая. Конвейер (1937—1941)
    - Глава седьмая. Время соблазнов (1941—1946)
    - Глава восьмая. Крым — земля курортная (1946—1961)

Введение

Содержание
Предисловие
Предисловие М. Поповского к изданию конца 1990-х

Предисловие

Это необычайная книга о необычайном человеке и о его невероятной судьбе. Невероятной даже на фоне нынешних публикаций, когда на читателя обрушился поток долго скрываемых сведений о героях и политических преступниках, о палачах и жертвах.

Здесь все нестандартно и насыщено парадоксами, которые в уме иностранца едва ли смогут уложиться. Только немыслимые зигзаги отечественной истории последних десятилетий способны были породить эту «жизнь» и это «житие».

Человек, о котором пойдет речь у Марка Поповского, не погиб в лагере, но прошел через все круги ада; он не был оппозиционером, однако почти на всей его биографии лежала печать изгойства. Врач, писавший научные труды в тюремной камере, он не только дождался их публикации, но и получил за них при Сталине Сталинскую премию. При этом он одновременно был и хирургом, и священнослужителем Русской Православной Церкви, архиепископом…

Я помню его уже слепым, за десять лет до его смерти в 1961 году. Помню его письма к моей матери, которые ему уже приходилось диктовать секретарше. Вокруг него складывались самые фантастические легенды. И неудивительно. Он поистине казался каким-то чудом природы, клубком противоречий. Однако, как увидит читатель, именно этот человек принадлежал к породе абсолютно цельных, как принято говорить, «высеченных из единого камня натур».

Такая фигура — настоящая находка для биографа, для психолога и историка. А Марк Александрович Поповский как раз и был неутомимым воссоздателем исторических характеров. Когда он заинтересовался профессором Войно-Ясенецким, архиепископом Лукой, он уже был автором целой серии книг о знаменитых врачах и биологах. Работал над обширной биографией академика Николая Вавилова. Приобрел опыт «охоты за документами», упорных поисков в архивах, опроса живых свидетелей.

Архиепископ привлек писателя прежде всего как ученый, как хирург. Мир Церкви, к которой принадлежал Войно-Ясенецкий, был биографу вначале непонятен и чужд. Знал он и то, что в прессе церковная деятельность прославленного врача замалчивалась. Много ли могла дать краткая справка в «Медицинской энциклопедии»?

Его держали в Симферополе, подальше от столицы. Не доверяли. Из сотен проповедей архиепископа напечатаны были лишь немногие. Не была издана и его главная богословская работа «О духе, душе и теле» (она увидела свет в Брюсселе через 17 лет после смерти ее автора).

Иные люди, разглядывая бюст лауреата Сталинской премии, недоумевали: почему у него длинные волосы и иконка на груди? А когда им объясняли, что это панагия, знак епископского сана, изумлению их не было конца…

Как бы то ни было, Поповский рискнул — и началась его эпопея по созданию книги «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга». Говорю «эпопея», потому что писатель не только лично успел встретиться со своим героем, но объехал все места его жизни, медицинской практики, ссылок, собирал устные рассказы и доподлинные документы. Обо всем этом он подробно рассказывает в книге.

Создавая ее, он стремился быть предельно честным, отделять вымысел от реальности, не превращать героя в «икону». Изобразить его живым в контексте мучительной и тягостной эпохи 20-х годов и сталинщины. Впрочем, его неизбежные экскурсы в историю Церкви не могли быть полными и достаточно объективными. Препятствием служили лакуны в этой истории советского периода и сама позиция автора, смотревшего на Церковь «извне». Правда, знавшим его Поповский признавался, что книга, вернее, ее герой, как-то незаметно приблизили его к духовным проблемам. Это ощущается по мере развития повествования.

Когда труд был завершен, стало со всей очевидностью ясно, что напечатать его у нас невозможно. А к тому времени в сознании автора «Жизнь и житие» превратились в некий центр его творчества, почти в главное дело жизни. Но этого мало. Другая «центральная» для творчества Поповского биография, книга о Вавилове, хотя и вышла, однако в урезанном виде. Ведь тогда не решались открыто признать, что великий генетик, гордость русской науки, умер от истощения и холода в тюрьме.

В итоге две повести об удивительных судьбах определили и судьбу их создателя. Марк Поповский эмигрировал. Он смог наконец увидеть свои труды опубликованными, но, увы, они не дошли до тех, кому предназначались.

Между тем климат в стране менялся. Еще даже до перестройки вышло несколько статей о Войно-Ясенецком. Появляются они и сейчас. Но они не могут заменить обширной документальной повести Поповского. Ее публикация в журнале «Октябрь» — настоящее событие.

И значение его не просто в том, что перед читателем откроется еще одна глава из отечественной истории. Он встретит личность. Человека беззаветной веры, несгибаемой воли и преданности долгу. Реального человека, а не созданного воображением. Для многих людей, особенно молодых, — это встреча исключительной важности.

Они уже узнали правду о беззакониях и зверствах, о крахе нравственных устоев, об искажении в человеке образа Божия. Знать и помнить это надо. Однако столь же необходимо говорить и о тех, кто не сдался, кто не потерял себя, кто сохранил сокровища духа в самых тяжких обстоятельствах, кто по-настоящему служил ближним. Они не были сверхчеловеками. У них были и слабости, и ошибки. Они были «людьми среди людей», как назвал Марк Поповский одну из своих книг о медиках. И именно в этом ободряющая, дающая надежду сила их примера.

Протоиерей Александр Мень

Предисловие М. Поповского к изданию конца 1990-х

Мой любимый герой.

Тот, кому в советские времена попадались в руки мои книги, возможно помнит, что посвящены они были ученым, истории научных открытий. Тем не менее, популяризатором науки я не был. Коллегам, которые ехидно спрашивали не скучно ли мне копаться в «научном мусоре», объяснял, что интерес мой обращен прежде всего к **личности** исследователя. Мои герои — интеллектуалы-искатели, люди сильной воли и напористого творческого характера. Для них научный поиск — арена, где выявляется их энергия, мужество, неутомимость, талант. Так оно и было, но в глубине души я все-таки ощущал: подлинного героя сыскать пока не удается. Даже великий биолог, академик Николай Вавилов, которому посвятил я десять лет поисков, в роковых обстоятельствах, гонителям своим большевистским все-таки уступал. С тем и умер от голода в лагере. А уж о рядовых советских кандидатах и докторах наук и говорить не приходится. Поднимая архивы и опрашивая десятки свидетелей, я то и дело обнаруживал у своих героев поступки, мягко выражаясь, не совсем чистые. Развращала своих граждан советская власть весьма и весьма успешно. Герой, о котором я мечтал годами — фигура номер один в науке и, в то же время, человек способный противостоять коммунистической фальши, возник на моем горизонте более сорока лет назад, в 1957 году.

С командировочным удостоверением «Литературной газеты» отправился я в Ташкент. Состоялось обычное в таких случаях интервью с местным профессором. Я уже собирался уходить из его квартиры, когда внимание мое привлек стоящий на рояле портрет бородатого старца с явно нестандартной, волевой физиономией. Хозяин дома пояснил: это его университетский профессор, знаменитый хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, живший в Ташкенте в двадцатые-тридцатые годы. Профессор возглавлял кафедру хирургии и одновременно являлся архиепископом, первым лицом русской православной церкви в Средней Азии. Власти трижды арестовывали и ссылали этого упрямца, но Валентин Феликсович, в монашестве Владыка Лука, не сдавался.

— Он очевидно давно уже умер? — осведомился я. Но оказалось, что хирург-архиепископ жив и даже возглавляет Крымскую епархию. Более того, в борьбе с верующим ученым уступила, в конце концов, советская власть. Во время войны хирурга выпустили из сибирской ссылки и назначили хирургом-консультантом военного госпиталя на 10 тысяч коек. А за свои научные заслуги, он был даже награжден Сталинской премией.

Я покинул Ташкент буквально захваченный этой поразительной личностью. Да, именно такого человека хотел бы я видеть героем своей книги.

Через две недели после ташкентской встречи я уже был в Крыму. Архиепископ Крымский и Симферопольский принял меня в скромном загородном домике под Алуштой. В свои 80 лет он по-прежнему производил впечатление личности несгибаемой. Наш двухчасовый разговор свидетельствовал о том, что память профессору не изменяет. Но, увы, зрение он потерял полностью: в садик, где мы готовились беседовать, его привела одетая во все черное пожилая монахиня. «Что вы собираетесь делать со всеми этими фактами? — поинтересовался Владыка, когда наш разговор подошел к концу. Я ответил, что собираюсь написать о нем книгу. «Никто не позволит вам ее опубликовать» — парировал Войно. И оказался прав. Книга «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» увидела свет лишь в 1979 году в Париже.

Чтобы написать книгу о епископе-хирурге мне понадобилось два десятилетия. За это время удалось опросить более ста пятидесяти современников героя, объехать, от Крыма и Узбекистана до Красноярска и Туруханска, двенадцать городов и несколько деревень. В итоге возник том в

550 страниц переизданный недавно доброй русской семьей в Америке.

Собирая материалы к будущей книге, я наталкивался на опасения и страх со стороны даже близких родственников своего героя. Дети Войно-Ясенецкого принимали меня сначала дружелюбно, предоставили возможность познакомиться с письмами отца, но затем испугались, решили, что появление книги может дурно повлиять на их профессорские карьеры. Особенно нервничал старший сын Михаил. Он несколько раз звонил ко мне в Москву из Ленинграда, требуя прислать на прочтение уже готовые главы. Подвергать свой труд цензуре я не спешил. В начале 1976 года, когда рукопись была почти завершена, Михаил Валентинович в телефонном разговоре начал угрожать, что если я не познакомлю его с текстом, он обратится в ГБ. В июне 1977 года кагебешники действительно совершили обыск в нашей квартире, но был ли замешан в этом Войно-Ясенецкий-сын, утверждать не могу.

С начала шестидесятых я разделил каждый свой год на две части. Девять месяцев по-прежнему расходовал на добывание хлеба насущного: писал очерки и статьи для прессы, книги, пригодные для издания. В оставшиеся же три месяца удалялся в дома творчества, где погружался в писание сочинений, за которые в те годы сажали. Продолжалась та двойная литературная игра почти полтора десятилетия.

Но самым трудным оказался для меня год 1972-й. Материал был собран. Очередной свой отъезд в писательский дом творчества я твердо решил посвятить первой главе будущей книги. И тут — стоп! Размышляя о том, как наилучшим образом выстроить жизнеописание героя, я вдруг сообразил: моих знаний на такой труд не хватит. В свои пятьдесят, окончив школу, университет и медицинское училище, я оставался типичным советским образованцем. И, конечно же, атеистом. С моими тогдашними, безбожными представлениями обнажить перед читателем духовный мир героя мне явно было не под силу. Я заметался в поисках человека, который согласился бы преподать мне основы христианской религии. Встретился с несколькими священниками и даже с двумя епископами, но люди эти явно шарахались от странного писателя-еврея. Они вполне резонно подозревали во мне автора очередной антирелигиозной книжонки. Для такого рода подозрений было достаточно причин.

Владыка Лука умер в разгар хрущевского правления. Поклонник кукурузы и ненавистник модернистского искусства, Никита Сергеевич прославился также своими жестокими гонениями на церковь и вообще на любое проявление религиозных чувств у граждан СССР. Известно, что он превратил в склады и просто разрушил не менее десяти тысяч храмов. Летом 1961 года советские газеты не посмели даже заикнуться о кончине Войно-Ясенецкого. От приказного забвения Владыку не спасла даже его Сталинская премия, превратившаяся, правда, к этому времени в Государственную.

Подчеркнуто антирелигиозный характер власти сохранился и при Брежневе. В следующие 25 лет лишь «Журнал Московской Патриархии» мог позволить себе упоминать о профессоре-епископе. Да и то не часто. Солженицын в III-IV томе «Архипелаг Гулаг» заметил, что в тех случаях, когда студенты медики спрашивали своих профессоров где можно хоть что-то узнать об авторе «Гнойной хирургии», то слышали в ответ: «О нем нет никакой литературы».

Кое-какая литература, впрочем, появлялась и в те годы. Несколько молодых антирелигиозников получили в 60-е — 80-е годы ученые степени за свои «разоблачительные» диссертации, посвященные Войно-Ясенецкому — религиозному мыслителю. В 1965 году издательство «Наука» даже опубликовала труд некоего М. Шахновича «Современная мистика в свете науки», где автор буквально поносит Владыку Луку, обзывая его «фанатиком», а его философские труды «принаряженной чертовщиной». Двадцать лет спустя, уже на пороге горбачевских преобразований, врач Т. И. Грекова в книге «Странная вера доктора Швейцера» (М. 1985) вновь, по указанию властей, схватилась за «научную плетку» чтобы выстегать

верующих ученых и в том числе Войно-Ясенецкого. «Наука и религия — несовместимы», — снова и снова твердит в своей книжке Грекова, не замечая, что этот тезис противоречит самому содержанию ее книги, посвященной крупнейшим медикам XX столетия.

Воевать с сочинителями из отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС я не собирался. Просто искал для общения и просвещения образованного в делах религиозных, желательно верующего, современника. Кто-то посоветовал поговорить с отцом Александром Менем, настоятелем маленькой церковки под Москвой. Этого, ныне зверски убитого, человека знают сегодня миллионы, но тогда, отправляясь в неведомую мне деревню (электричкой, потом автобусом, потом пешком) я об этом замечательном проповеднике ничего не ведал. Вот запись, которую я сделал в своем дневнике, вернувшись после первого свидания.

«27 июля 1973 года. В гостях у о. Александра Меня. Ему, очевидно, лет 45, но воспринимается этот красивый священник с умным живым лицом и лукавыми блестящими глазами как человек на редкость молодой. (В том году о. Александру исполнилось 38). На нем полотняные брюки, пляжные туфли на босу ногу и желтая, очень идущая ему к лицу сорочка под черной курткой. Свободные движения, во всем нескованность, искренность, естественность. С ним удивительно легко и смеяться, и говорить о самых серьезных материях. Они с женой занимают мезонин двухэтажного деревенского дома. На полках масса книг по истории и философии всех и всяких религий, много редкостных изданий и изданий английских, французских, немецких. Я с завистью увидел всего Тейяра де Шардена. Комната, в которой о. Александр принимал нас, если не считать сравнительно небольшого киота и висящего в угу облачения, скорее всего могла бы быть жилищем философа-космополита. На этажерках фигурки Будды, а рядом бронзовое изваяние Данте. При всем том скромность, простота». Мы говорили о Войно-Ясенецком, о поисках материалов к моей книге. Потом он рассказал о своей литературной работе. Он одобрил тему книги, пообещал читать каждую новую главу и обсуждать возникающие проблемы, связанные с «моей христианской непросвященностью». Та встреча буквально осчастливила меня, я унес из дома молодого священника чувство близкой родственной души. Началось наше длившееся четыре года сотрудничество, перешедшее в сердечную дружбу. После очередного «сидения» в доме творчества я вез новую главу книги своему «наставнику», как я стал мысленно называть отца Александра. Постепенно в беседах наших открывались мне не только основы веры моего героя, но жизненные проблемы и самого Меня. Он был абсолютно откровенен со мной. В частности на вопрос как он, еврей, чувствует себя на должности православного священника, о. Александр, ни сколько не смущаясь, ответил: «Как белая ворона». Приведу запись из моего дневника тех лет:

«18 августа 1973 года. В церкви о. Александр служит уже 23 года. Отношения с Патриархией были вначале очень даже теплыми. Но потом возникла легенда о том, что ходившее по рукам разоблачительное письмо священников Якунина и Шлимана на самом деле писали не они, а Мень. Это было не так, но легенда была удобна уже тем, что воду мутит еврей, который вовлекает честные и наивные души русских батюшек в крамолу. Последовали обыски, допросы. Потом возник донос одного из коллег о. Александра с указанием на то, что Мень держит дома самиздат, тамиздат, к нему ходят читать что-то молодые люди. Снова обыски. Доносчику, однако, не удалось утопить о. Александра. Теперь Мень живет в деревне, стремясь как можно меньше соприкасаться с церковными верхами, которые, по его словам, пребывают «на чердаке и размахивают чужим знаменем». А вот еще одна запись сделанная в день именин отца Александра 12 сентября 1974 года. «Я впервые в таком кругу, сидим с женой за столом вместе со священниками, дьяконами, верующими мирянами. Можно было бы ожидать унылого перебирания обид, сугубо профессиональных церковных разговоров. Ничего подобного. В загородном доме о. Александра собрались люди в основном не старые и не в одни только

церковные дела погруженные. Говорили о религиозном искусстве, о будущем уезжающего за границу Краснова-Левитина, о делах литературных, даже о прошлом и настоящем Одессы. Много смеялись, шутили. Поздно ночью приехал Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин — герой дня в связи с его предстоящей эмиграцией. Вместе с ним появился о. Дмитрий Дудко, тоже личность знаменитая после его отстранения от службы за проповеди, выходящие за пределы разрешенного. Отец Александр всех радушно встречал. Его действительно любят все те, кто близко знают. Редко встретишь такого солнечного человека, всегда готового к общению, помощи, дружбе, любви. После чая он показывал гостям слайды, посвященные Святой земле. Было много интересных кадров. Вечер прошел тепло. Мои новые знакомые обещали помочь мне в разыскании материалов относящихся к жизни Войно-Ясенецкого, архиепископа Луки».

Бывали мы в те годы с женой не раз и на церковных службах в Новой деревне, но никаких принципиальных перемен в своих религиозных чувствах я долгое время не испытывал. Откровенно признавался в этом своему другу. Говорил ему и о том, что некоторые верующие знакомые советовали мне принять крещение. Отец Александр ответил на это признание очень четко: «Если бы я чувствовал, что вы готовы к крещению, я бы первый вам это предложил». И, тем не менее, обсуждая все новые и новые главы, я ощутил: что-то в моем видении мира меняется. Прочитав третью и четвертую главы, отец Александр мягко пошутил: «Эволюционируете, сударь». А где-то на третьем году нашей совместной работы я окончательно уразумел: вера Луки — моя вера. И что интересно, мой консультант-наставник никогда мне ничего не проповедовал, не призывал принять те или иные тезисы Библии. Позднее, в одном из писем, которое я получил от него уже в Америке, он писал: «Я был уверен, что вы сами дойдете до веры и торопить вас ни к чему».

Отец Александр тем не менее не только консультировал мой труд, но и отправил рукопись неведомым для меня путем в Париж, в издательство ИМКА-ПРЕСС со своей рекомендацией. Я получил от руководителя издательства письмо, из которого явствовало, что в Париже книга понравилась, ее готовы издать, но предварительно следует сделать около сорока исправлений. В основном поправки касались истории православия. В Париже и Москве история эта виделась, очевидно, по-разному. Намучившись за годы своей литературной деятельности от советской цензуры, я был возмущен цензурными указаниями прибывшими из Парижа. Собирался забрать книгу обратно. Но отец Александр мягко и корректно уговорил меня согласиться на поправ ки. Запомнились его слова: «Главное, чтобы до людей дошла правда о Владыке. Ведь история его жизни может изменить и жизнь многих читателей».

Интерес российской публики к жизни и трудам покойного профессора-епископа нарастал. В 1994 году интерес этот с особой силой проявился в Тамбове. В этом городе Владыка Лука в 1944—46 годах возглавлял Тамбовскую епархию и работал в местном госпитале в качестве хирурга. И вот полвека спустя врач городской больницы Яков Фарбер добился от городского и областного начальства, что его больница будет отныне носить имя архиепископа Луки. Не профессора Войно-Ясенецкого, а именно архиепископа. Но этого мало. Общественность города поддержала врача, который предложил соорудить и установить на территории больницы скульптурный памятник опять-таки архиепископу. Открытие памятника с речами местных медиков, руководящих деятелей и нынешнего Тамбовского епископа было запечатлено в специально снятом фильме.

Год 1995 принес еще более волнующие известия. В Москве вышли из печати Автобиографические записки Войно-Ясенецкого. Тираж в 10 000 экземпляров был раскуплен буквально за считанные дни. В Симферополе местный богослов предпринял научные исследования жизни и деятельности Владыки Луки. В Кишиневе (Молдавия) был завершен перевод книги «Жизнь и житие…» на румынский язык. Переводчик побывал в Бухаресте и

договорился с местным религиозным издательством о скором выпуске издания.

Марк Поповский

Марк Поповский
Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга

Том первый

Пролог — житие

«Великий человек интересен не только фактами своей биографии, но и дымом сплетен, клубящихся вокруг него».

В. В. Вересаев

Ходит по России странная молва, будто в советское уже время жил хирург-священник. Положит он больного на операционный стол, прочитает над ним молитву, да йодом и поставит крест «в том месте, где надо резать. А уж после того берется за скальпель. И операции у того хирурга отменные: слепые прозревали, обреченные поднимались на ноги. То ли наука ему помогала, то ли Бог… «Сомнительно», — говорят одни. «Так оно и было», — утверждают другие. Одни говорят: «Партком служителя культа ни за что бы в операционной не потерпел». А другие им в ответ: «Бессилен партком, поскольку хирург тот не просто хирург, а профессор, и не тая себе священник-батюшка, а полный епископ». «Профессор-епископ? Так не бывает», — говорят опытные люди. «Бывает, — отвечают им люди не менее опытные. — Этот профессор-епископ еще и генеральские погоны носил, а в минувшей войне всеми госпиталями Сибири управлял».

Ходит легенда кругами. Одни говорят, будто жил профессор-епископ в Сибири, другие оспаривают: «Нет, в Крыму», третьи слыхали, что дело было в Ташкенте. И снова — разговоры, рассказы, истории: как и почему он в монахи постригся, как в тюрьме сидел, как с товарищем Сталиным беседовал и награды от генералиссимуса имел. Я и сам в журналистских своих разъездах не раз слыхал про этого человека. Сначала я просто слушал, а потом стал записывать, а записанное в тетрадку сводить. Говорили мне про епископа-хирурга рыбаки и охотники в Туруханске, крестьянки из деревни Большая Мурта, что на Енисее, врачи в Симферополе и Красноярске; верующие женщины из Тамбова; в Ташкенте много интересного добавил тамошний профессор-антрополог. Случилось потом вести разговоры на ту же тему со столичными священниками и епископами. Еще больше прояснили картину ленинградский писатель, бывший министр здравоохранения СССР и два его заместителя и брат афганского короля, проживающий ныне в Москве. Позднее, задумав писать книгу, разыскал я детей своего героя, его близких, учеников, секретаря и тех, кого он сам называл «духовными» дочерьми и сыновьями своими.

Чем больше, однако, узнавал я об удивительном старце, тем очевиднее становилось, что в рассказах современников правда самым причудливым образом сплавлена с легендой, исторические факты — с явными мифами. Порой такое присочиняли мои собеседники, что начинало казаться, что и не было его вовсе, этого хирурга-епископа. Но вступали в фугу новые голоса, выяснялись новые факты, и, освобожденный от легендарного дыма, герой прочно утверждался на почве реальности. В конце концов я составил об этом живо заинтересовавшем меня лице краткую справку, нечто вроде тех заметок, что помещают в энциклопедиях.

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович. Род. в 1877 году в Керчи. Ум. 11 июня 1961 года в Симферополе. Хирург, доктор медицины. До 1917 года медик в ряде земских больниц средней России, позднее — главный врач Ташкентской городской больницы, профессор Среднеазиатского государственного университета. В начале двадцатых годов под именем Луки постригся в монахи, был рукоположен в сан епископа. Многократно подвергался арестам и административным ссылкам. Автор 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а также десяти томов проповедей. Наиболее известна его книга

«Гнойная хирургия», выдержавшая 3 издания (1934, 1946, 1956 гг.). Избран почетным членом Московской Духовной академии в Загорске. Награды: Премия Хойнатского от Варшавского университета (1916 г.). Бриллиантовый крест на клобук от Патриарха Всея Руси (1944 г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945 г.). Сталинская премия первой степени за книги «Гнойная хирургия» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов» (1946 г.). Умер В.-Я. в сане Архиепископа Крымского и Симферопольского.

На фотографиях облаченный в рясу старик с седой бородой. На груди крест и знак архиерейского достоинства — панагия. Сурово и проницательно глядит он поверх или чуть сбоку стареньких, с немодной оправой очков. На некоторых снимках видны его руки — крупные, изящной формы руки хирурга.

Таков реалистический портрет нашего современника. Он и впрямь наш современник — прожил при Советской власти более сорока лет; по его книге училось несколько поколений советских хирургов. Он читал студентам лекции, произносил доклады на научных съездах и конференциях и проповеди в церквах. Его хорошо знали раненые в военных госпиталях и ссыльные, отбывавшие ссылку в Архангельске и Красноярском крае. И тем не менее этот хорошо ведомый многим людям человек еще при жизни стал обрастать легендами. Точнее будет сказать, что сама жизнь его превратилась в миф. Почему?

Проще всего предположить, что профессор-епископ, соединивший в своих руках крест и скальпель, поразил современников именно этим необычным сочетанием двух чужеродных сфер деятельности. Многолетняя пропаганда убедила граждан нашего Отечества в том, что наука и религия несовместимы, и даже более того, две эти сферы могут существовать, лишь ведя друг с другом непрерывно ожесточенную войну. И вдруг вот он — епископ и профессор. Невероятно, но факт.

Там, где нет правдивой свободной информации, рождаются мифы. Массы верующих создали не лишенный оттенка мстительности миф о епископе, исцеляющем именем Божьим. Медики, наоборот, развили в легендах образ профессора-чудака, который начинает хирургическую операцию с молитвы.

И все-таки миф о епископе Луке возник не только как «комедия обстоятельств». В нем явственно видится и «драма характеров». Хотя современников поразила ряса хирурга, но еще более удивительным показался несгибаемый, я бы сказал, хирургический характер епископа. Русская православная церковь, столетиями понуждаемая властями к конформизму и компромиссам, выработала тип деятеля уклончивого, дипломатического, избегающего открыто декларировать свои принципы. А тут вдруг епископ с темпераментом протопопа Аввакума, трибун, надевший крест в пору, когда другие в страхе срывали с себя церковные регалии, священнослужитель, ставящий суд Божий выше великокняжеского. Легенда! Тому, кто обратил внимание на эпиграф, которым начата эта глава, я хочу еще раз повторить: «Да! легенда». То, что из уст в уста передавалось и передается о Войно-Ясенецком, никогда не было сплетней. Сплетня коварна и однобока. Она искажает правду в угоду некоему злому умыслу. Мифотворчество, наоборот, тяготеет к апологетике. И хотя министр и замминистра здравоохранения СССР иначе оценивают Войно-Ясенецкого, нежели верующие крестьяне, а раненые из военных госпиталей воспринимали его по-другому, чем уголовники из пересыльных тюрем, все они — творцы легенды — создают в своих рассказах личность героическую и обаятельную. Некоторые легенды официозны, в других звучит протест. Но мифический герой — неизменный, как бы застывший во времени

(мифы вообще чаще всего носят вневременной характер) — переходит из рассказа в рассказ в ореоле всенародного признания и одобрения. К прямой клевете на него современники обратились лишь однажды. Это произошло в самом начале 30-х годов, очевидно, по рекомендации ОГПУ, когда один эпизод из жизни епископа Луки сделался сюжетом трех пьес и одного романа. О художественной ценности этих произведений речь пойдет ниже. Пока же замечу, что, получив «социальный заказ», четыре литератора создали откровенно клеветнический извод мифа о церковнике, враге научного прогресса — враге народа.

Элементы клеветы встречаются также в статьях, которые в 1923 году посвящала архиепископу Луке газета «Туркестанская правда». Но, повторяю, для большинства тех, кто знал и рассказывал о Войно-Ясенецком, он — герой без страха и упрека.

В устном творчестве, посвященном архиепископу-хирургу, имеется еще одна интересная сторона. «Миф, — пишет Н. Бердяев, — есть в народной памяти сохранившийся рассказ о происшествии, совершившемся в прошлом, преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность идеальную, субъективно-объективную». Мифологическое сознание не делает различий между событиями естественными и сверхъестественными, обыденными и священными. В легендах о Войно-Ясенецком реальные эпизоды переплетаются не только с эпизодами сказочными, но подчас и с мистическими. И тем не менее, сопоставив мифы с фактами реальной жизни героя, я готов повторить вслед за Бердяевым: «Миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность».

Правда мифа нечто совсем иное, нежели жизненная правда романа, рассказа или мемуаров. Миф не содержит обобщений, он идет от единичного факта. И в то же время это не фотография. Из всей фотографической аппаратуры для мифотворчества важнее всего мощная лампа-вспышка собственной, сугубо субъективной оценки рассказчика. В ослепительном свете субъективности предметы и события теряют привычные очертания, исчезают тени, предметы произвольно сближаются или отдаляются, перемещаясь во времени и пространстве. Отчего профессор-хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий постригся в монахи? Легенда отвечает: «У профессора была красавица жена, которая занемогла; понадобилась операция, и муж решил оперировать сам; что-то у него не получилось, и молодая женщина умерла на операционном столе. Эта гибель так потрясла ученого, что он бросил науку и постригся в монахи». Таков миф. А что произошло в действительности?

Жена у Валентина Феликсовича действительно была. Красивая. (Сохранились ее фотографии.) Она болела туберкулезом и умерла в Ташкенте осенью 1919 года. Операция была ей не нужна. Операции не было. Но, похоронив 37-летнюю подругу, оставшись один с четырьмя маленькими детьми, Войно-Ясенецкий действительно пережил сильное потрясение. В монахи постригся он не сразу, а через три года. Пострижению предшествовали другие, скорее общественные, нежели личные обстоятельства. Но миф не знает категории времени, как, впрочем, и категории места. Жизнь в мифе — вечное повторение, «жизнь-цитата» (Томас Манн). Зато явственно выступает в легенде образ рассказчика. В данном случае реальные обстоятельства осмыслены в духе провинциальной мещанской мелодрамы. Рассказчику явно хотелось увидеть события «красивыми», его прельстил душещипательный и вместе с тем стандартный сюжет об умирающей жене и прозревшем муже. Такой характер мифов о Войно-Ясенецком получил наиболее широкое распространение. Приходится согласиться с А. Гулыгой, который на страницах «Нового мира» справедливо заметил: «Если науку и философию создают

интеллигенты, то миф вынашивается обычно полуинтеллигентами, недоучками, усвоившими лишь внешние признаки образованности. Миф ныне — плод не столько полного невежества, сколько полуобразования…»

Было бы, однако, неосмотрительно считать творцом легенды всякого, кто ее сообщает. Прежде чем добраться до наших ушей, миф мог пройти через много рук. Единственный неоспоримый автор мифов о В. Ф. Войно-Ясенецком был, как это ни покажется странным, сам В. Ф. Войно-Ясенецкий. И тут автор вынужден сделать отступление, чтобы объяснить свои взгляды.

Летом 1957 года я приехал в Симферополь, чтобы побеседовать с архиепископом Лукой. В том году вышла моя первая книга о людях медицинской науки. Как литератора меня интересовали не столько итоги научных поисков моих героев, сколько нравственные ситуации и конфликты, которые возникают в жизни ученого-врача. Профессор Войно-Ясенецкий показался мне наиболее подходящим героем для следующей книги, в которой я снова собирался вернуться к нравственным аспектам научного творчества. Все это я изложил секретарю епархиальной канцелярии в Симферополе. Старик секретарь выслушал светского просителя без энтузиазма, но тем не менее объяснил, что Владыка отдыхает под Алуштой, и растолковал, как туда проехать. С некоторой дозой надменности секретарь объяснил мне также, что называть архиепископа по имени-отчеству не полагается, что Владыка стар, болен, занят, а посему беседа с ним должна быть предельно краткой.

Откровенно говоря, ехал я на встречу с Войно-Ясенецким с тайным страхом, нотация секретаря епархии лишила меня остатков мужества. Воспитанному вне религии, почти не бывавшему в церкви, мне никогда не приходилось встречать живого архиерея. Вспомнился величественный портрет Луки в митре и торжественном облачении, который я видел в Ташкенте, — поди поговори с таким… Подъезжая к Алуште, я ждал самого худшего: пышности загородного епископского дома, театральности одежд и речей, той искусственной атмосферы, в которой невозможна никакая откровенная беседа, необходимая мне как писателю-биографу. Страхи, впрочем, оказались напрасными. Дача епископа в «Рабочем уголке» имела вид скромный, если не сказать невзрачный. Местные жители объяснили, что дом этот епархии не принадлежит, Лука снимает его на лето для себя и своих родственников.

Беседа наша состоялась в бедном примыкающем к даче садике. Архиепископ — высокий, грузный — вышел, поддерживаемый под локоть пожилой женщиной в черном. На нем была льняная, не раз уже, очевидно, стиранная ряса с нагрудным крестом. Седые волосы жидкими косичками спадали на спину. Старость изуродовала лицо, фигуру, даже походку архиерея, и только лоббелый, выпуклый, красивой лепки — не поддался разрушительной работе времени, лоб да большие серые, строго глядевшие глаза — вот, пожалуй, и все, что роднило его с известными мне великолепными портретами 20-х — 30-х годов.

Я приветствовал хозяина дома. Он повернул голову на мой голос, но взгляд скользнул мимо — Владыка был слеп.

Полтора десятка лет прошло с той встречи, но я точно помню ощущение, испытанное в минуту знакомства. Не жалость и не сострадание вызывал этот очень старый человек, а почтительное удивление. За ветхими одеждами старости угадывалась порода и личность незаурядная.

Мы уселись на деревянных скамьях вокруг вкопанного в землю садового стола. Я представился. Сдерживая волнение, объяснил причину своего визита. Хотел бы услышать

от профессора рассказ о его жизни.

— Вам не разрешат включить рассказ обо мне в вашу книгу, — сказал архиепископ. Голос вразлад со стариковским обликом зазвучал басовито, значительно и нисколько не расслабленно.

— Возможно, мне удастся опубликовать очерк в «толстом» литературном журнале. «Новый мир» уже предлагал мне…

— Это вам тоже не позволят сделать. — В его словах не было ни малейшего раздражения или досады. Просто Лука констатировал нечто хорошо и давно ему известное. И тут вдруг мне пришла в голову мысль, которую я по тогдашней своей молодости счел очень удачной: я расскажу о епископе-ученом на страницах одного из тех многочисленных журналов, которые Советский Союз издает для заграницы. В редакциях этих «Sovietland» — ов меня тогда любезно принимали.

— Да, конечно, — откликнулся своим ясным и значительным голосом архиепископ, — рассказ обо мне для заграницы возьмут у вас с большой охотой. Ведь вы тем самым подтвердите, что свобода совести у нас в стране действительно существует. — Легкое движение губ под седыми усами показало, что восьмидесятилетний крымский Владыка отнюдь не утерял чувство юмора.

Войно-Ясенецкий оказался прав: все мои попытки опубликовать его биографию в отечественных журналах вот уже многие годы натыкаются на непреодолимую преграду. И тем не менее в тот августовский день он, будто позабыв о старости, болезнях и неотложных делах, долго говорил со мной о своей жизни. Говорил очень просто, без всякой аффектации. Речь профессора текла свободно и была лишена церковных оборотов. Но в какой-то момент в совершенно светском рассказе слух уловил непривычное словосочетание: «Когда Господь Бог привел меня в город Енисейск…» Из всего предыдущего вытекало, что в город Енисейск привели Войно-Ясенецкого чины Народного комиссариата внутренних дел. Я попытался осторожно обратить на это внимание моего собеседника, но он, опять-таки не проявляя никакого раздражения, сказал, что те, в голубых фуражках, явились лишь орудием, исполнителем Высшей Воли. В его устах эта сентенция звучала так же естественно, как рассказ о хирургических операциях и читанных им университетских лекциях. За первым мистическим эпизодом последовали второй, третий. Архиепископ Лука не актерствовал, не стремился в чем-то убеждать меня. Мистические эпизоды из его автобиографии не служили какому бы то ни было возвеличению его личности в моих глазах. Скорей даже наоборот: Божество в рассказах архиепископа Луки являло себя лишь для того, чтобы наказать или предостеречь его. Явив свою безапелляционную волю, Оно бесследно исчезало до следующего решающего момента в земной биографии епископа-хирурга.

Впрочем, таких эпизодов в рассказе Войно-Ясенецкого было немного. Большая часть автобиографии носила совершенно земной, реалистический характер. Поражало другое: эпизоды, будто взятые из Жития святых, вплетались рассказчиком в реалистическую ткань без всякого насилия, как нечто самой собой разумеющееся. Бог, оказывается, числил земского врача Войно-Ясенецкого своим епископом еще в то время, когда медик работал в больнице и не помышлял о церковной деятельности. Позднее, прогневавшись на Луку, изображенный на иконе Иисус Христос резко отвернул от него свой лик. То же самое произошло тогда, когда невеста Валентина Феликсовича дала согласие на брак с ним: Христос, перед образом которого она молилась, исчез из киота. Рассказчик был абсолютно убежден в реальности потусторонних сил. Они вмешивались с единственной целью внести в его жизнь подлинный, высший смысл, придать ей более высокое

значение.

Через много лет после беседы под Алуштой сестра В. Ф. Войно-Ясенецкого Виктория Феликсовна Дзенкевич передала мне три тетради его мемуаров. В тетрадях (они были записаны под диктовку секретарем архиепископа Луки Е. П. Лейнкфельд примерно года за два до его смерти) я снова нашел те же мистические моменты. Эти места поставили меня в затруднительное положение. Принимаясь за Биографию, я долго не мог решить, публиковать ли их, или опустить как недостоверное. Из тупика вывела меня уже цитированная выше мысль Н. Бердяева о мифе. Мистический сектор профессора Войно-Ясенецкого совершенно явственно подходит под бердяевское определение. Да, это миф, рассказ, «преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность идеальную, субъективно-объективную». А раз так, решил я, то не может быть и речи о том, чтобы исключить миф из биографии. Пусть во всенародно созданном житийно-мифическом жизнеописании архиепископа Луки присутствуют его собственные свидетельства.

Во время той давней и единственной встречи моей с героем Владыка между прочим сказал: тот, кто собирается описать его жизнь, ни в коем случае не должен отделять облик архиепископа Луки от лица хирурга Войно-Ясенецкого. Описанные порознь обе половины окажутся заведомо лживыми. Только двуединая биография сможет отразить подлинное лицо и душу хирурга-епископа. Такой двуединый образ начал складываться в народной памяти задолго до того, как я задумал эту книгу. Мне удалось записать более пятидесяти легенд о Войно-Ясенецком. Поэтому, прежде чем обращаться к фактам, закрепленным в письмах, архивных документах и иных исторических материалах, выслушаем голос народа. И что бы мы ни думали, читая эти отрывочные, наивные, порой противоречивые свидетельства, не станем забывать слов крупнейшего философа и историка нашего времени Николая Бердяева: «Для меня миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность».

«Была у профессора-хирурга Войно-Ясенецкого жена-красавица. Заболела она и стала помирать. Зовет детей, хочет их перед смертью благословить. Старшие дети дома были. Мать их перекрестила, поцеловала и померла. Все врачи, какие ее лечили, видят: сердце не бьется, сама не дышит — мертвая лежит, совсем мертвая. А в это время приходит младший сын. Он с няней гулял. Бросился к матери: «Мамочка, мамочка». И что же вы думаете? поднялась рука покойницы да его, младшенького, и перекрестила. И с этого случая чудесного профессор в Бога уверовал, лечить больных перестал и в монахи постригся». Так рассказывает верующая пожилая женщина из города Тамбова. Вдова поэта М. Волошина утверждает, что дело было совсем не так: «Когда жена умерла, он (Войно-Ясенецкий) заявил своим коллегам: «Я бросаю медицину». Врачи не хотели его отпускать. Тогда он обратился к отцам (старцам) Оптиной пустыни, чтобы они постригли его и посоветовали, как ему дальше жить. Те ответили: «В монахи постригаться, но служение твое будет в миру». Он некоторое время еще колебался между медициной и священством, но в конце концов остался и там и там».

Профессор-антрополог из Ташкента сообщает новые подробности. «После смерти жены Войно-Ясенецкий стал священником, но медицину не бросил. Ходил по городу в рясе с крестом и тем очень нервировал ташкентское начальство. Был он к тому времени главным врачом городской больницы и общепризнанным у нас первым хирургом, председателем Союза врачей. С крестом на груди читал лекции студентам в университете. Читал хорошо, студенты его любили, хотя и побаивались. Кроме операций и преподавания, много занимался Войно-Ясенецкий живописью: писал иконы для храма и

анатомические таблицы для своих университетских занятий. Долго все это власти терпели, уговаривали его бросить церковные дела, но он не поддавался. Однажды рабочие полезли на крышу Кафедрального собора кресты ломать. Вышел Войно-Ясенецкий из храма, а они уже по лестнице взбираются. Он рассвирепел. Роста был высокого, широкогрудый, сильный. Тряхнул лестницу, рабочие попадали. Кто руку сломал, кто ногу. Он приказал своим санитарам их поднять и в больницу перенести, где и сделал по всем правилам хирургии необходимые операции. Некоторые говорят, что после этого случая его и арестовали. Но рассказывают и другое. Закончив операции, хирург снял халат, вымыл руки и сам отправился в милицию, где якобы заявил: «Арестуйте меня, я во гневе согрешил перед Богом и перед людскими законами».

Сам профессор Войно-Ясенецкий так описал события, последовавшие за смертью жены:

«Аня умерла 38 лет. Две ночи я сам читал над гробом Псалтырь, стоя у ног покойной в полном одиночестве. Часа в три второй ночи я читал 112-й псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме, и последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной ясностью и несомненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: «И неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Господу Богу было ведомо, какой тяжелый и тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил.

Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была неплодной, то есть бездетной, и все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операции. И однако слова «неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях» я без сомнения принял как Божий приказ возложить на нее заботы о моих детях и воспитание их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом отделении. Я постучался в дверь. Открыв, она с изумлением отступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника.

— Простите, София Сергеевна, — сказал я ей, — я очень мало знаю вас, не знаю даже, веруете ли вы в Бога, но пришел к вам с Божьим повелением ввести вас в свой дом «матерью, радующеюся о детях».

Она с глубоким волнением выслушала, что случилось со мной ночью, и сказала, что ей очень больно было только издали смотреть, как мучилась моя жена, и страшно хотелось помочь нам, но она не решалась предложить свою помощь. Она с радостью согласилась исполнить Божье повеление о ней…»

Следующие страницы в «мемуарах» Войно-Ясенецкого посвящены тому, как он был возведен в сан епископа. История рукоположения описана им вполне реалистически. Зато на страницах ташкентской газеты «Туркестанская правда» тот же эпизод содержит все признаки мифа. В номере 121 от 12 июня 1923 года некто Горин опубликовал фельетон «Воровской епископ Лука». Если верить газете, священник-монах о. Валентин Войно-Ясенецкий — бессовестный карьерист, охваченный дьявольским тщеславием, буквально рвался к епископской митре. Унизительно пресмыкаясь перед сосланным из Уфы в Ташкент епископом Андреем (князем Ухтомским), он выклянчил у того назначение на епископскую кафедру, а затем собирался… Впрочем, предоставим слово автору мифа:

«…Жарко облобызав десницу бывшего Андрея Ухтомского, Валентин Ясенецкий в награду заполучил от него назначение викарием Томской епархии под именем епископа Барнаульского. Рукоположения же поехал он искать в богоспасенный город Пенджикент,

где в ссылке томятся два других воровских архиерея Василий и Даниил. Эти воровские архиереи чисто воровским образом в Пенджикентской часовне без народа, без свидетелей и рукоположили честолюбивого Валентинушку в воровского епископа Луку… Как назначение, так и рукоположение «Валентинушки» есть действие абсолютно незаконное, как произведенное ссыльными неправомочными архиереями и вне пределов собственных епархий.

Но этим дело не исчерпывается. Сделавшись фиктивным викарием ссыльного епископа Андрея и не имея возможности показать своего носа ни в Томске, ни в Барнауле, где его встретили бы как воровского архиерея, наш хитрец Лука решил свить себе епископское гнездышко в Ташкенте. И вот 3 июля (1923 года), в воскресенье, он предстал в кафедральном соборе изумленному миру и поведал, что хоть он собственно епископ Барнаульский, но так и быть, ради благочестия местных кликуш и усердия славных Воскресенских спекулянтов согласен остаться в Ташкенте, аще то благоугодно будет соборным кликушам и спекулянтам. Крики «аксиа» — «согласны» — были ему ответом. И таким образом Валентинушка Ясенецкий мечтает сделаться потихоньку-полегоньку Ташкентским и всея Туркреспублики архиереем».

В своем месте мы подробно разберем, что в легенде, вышедшей из недр «Туркестанской правды», реально, а что от нечистого. Но даже в кратких приведенных выше выдержках нетрудно обнаружить странное противоречие. Бросив профессорскую кафедру в университете и положение главного врача городской больницы, крупный ученый только из честолюбия устремляется на должность архиерея. И это в то время, когда не проходит дня, чтобы газеты не объявляли об арестах и ссылках служителей церкви. Непонятное честолюбие! Впрочем, у жанра легенды — свои закономерности…

В воспоминаниях жительницы Ташкента К. Ф. Панкратьевой образ епископа Луки окрашен в несколько иные тона. Ксении Панкратьевой было 16 лет, когда в диспансере ей сообщили, что она больна туберкулезом легких. Это известие привело девушку в смятение. С кем посоветоваться? Добрые люди порекомендовали обратиться к профессору-епископу. Девушка долго не решалась записаться на прием к знаменитости. Воспитанная в семье неверующих, она не имела нательного креста. Наконец записалась. Очередь ее дошла только через месяц. И вот заветный миг. Но перед ней вовсе не олимпиец, не обличитель нечестивых, а внимательный и дружелюбный доктор. Он очень внимательно, даже дотошно осмотрел и выслушал пациентку. В ответ на ее опасения сказал, что легкие действительно слабые, но до туберкулеза далеко. Порекомендовал строгий режим питания, посоветовал поехать на кумыс. Спросил: «А есть ли у вас средства на такую поездку?» Не раз уже слыхала Ксения, что Владыка не только лечит, но и оказывает материальную помощь неимущим больным; что однажды, не имея денег, он снял с себя и отдал пациенту какой-то дорогой пояс, а в другой раз подарил бедняку-больному ковер со стены своего кабинета. Вспомнив все это, девушка поторопилась сказать, что деньги на лечение и связанную с этим поездку у нее есть. С тем Владыка и отпустил ее, благословив на дорогу.

Автор фельетона в «Туркестанской правде» закончил свое сочинение недвусмысленной угрозой расправиться с «воровским епископом». Надо заметить, что пресса и власть действовали в завидном единодушии. Войно-Ясенецкого арестовали в ту самую ночь, когда в типографии набирался номер с фельетоном. (Этот метод оправдал себя потом и в 1937 и в 1952-м годах.) Итак, гнусный честолюбец разоблачен. О чем же он думает, сидя за решеткой? Раскаивается? Со страхом ждет возмездия?

Через много лет Войно-Ясенецкий вспомнил в своих «мемуарах» следующие эпизоды,

связанные с первым арестом:

«В годы своего священства и работы главным врачом Ташкентской больницы я не переставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел издать двумя частями и предполагал издать вскоре. Оставалось написать последний очерк Первого выпуска «О гнойных заболеваниях среднего уха и осложнениях его». Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы.

Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе Первого выпуска я написал: ЕПИСКОП ЛУКА. ОЧЕРКИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ. Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божье предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

А паства, простые люди? Как ответили они на фельетон в газете, который открыл им глаза на преступления тщеславного епископа? В мемуарах читаем:

«В тюрьме меня держали недолго и освободили на один день для того, чтобы я ехал свободно в Москву… (в коллегию ОГПУ. — М. П.). Утром, простившись с детьми, я отправился на вокзал… После первого, второго и третьего звонков и свистков паровоза поезд еще минут двенадцать не двигался с места. Как я узнал только через долгое время, поезд не мог двигаться по той причине, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте».

О медицинской деятельности профессора Войно-Ясенецкого в ссылке сохранилась следующая легенда. В Енисейске его однажды вызвали в ОГПУ. Едва он, как был в рясе и с крестом, переступил порог кабинета, чекист заорал:

— Кто это вам позволил заниматься практикой?

— Зачем же вы начинаете так разговор? — с достоинством ответил профессор. — Либо вы встаньте, либо я сяду, тогда и беседовать нам будет удобнее.

Чекист не ожидал такого ответа, растерялся, предложил «попу» сесть. Разговор пошел ровнее. Войно-Ясенецкий сказал: «Я не занимаюсь практикой в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Я не беру денег у больных. А отказать больным, уж извините, не имею права. Давал в университете Гиппократову клятву — помогать каждому, кто ко мне обратится…»

После этого власти стали смотреть на медицинскую практику ссыльного профессора довольно снисходительно.

На Енисее в то время свирепствовала трахома. Из-за этой болезни многие местные жители — кеты, селькупы, эвенки — теряли зрение. Бывший начальник Енисейского пароходства И. М. Назаров так передает слова, слышанные в 30-е годы от погонщика эвенка Никиты из Нижнего Имбацка: «Большой шаман с белой бородой пришел на нашу реку, поп-шаман. Скажет поп-шаман слово — слепой сразу зрячим становится. Потом уехал поп-шаман, опять глаза у всех болят». Капитан Назаров уверяет, что речь шла о ссыльном профессоре Войно-Ясенецком, который очень хорошо оперировал больных с последствиями трахомы.

У строптивого ссыльного стычки с местными властями происходили, очевидно, довольно часто. Рассказывают, что однажды зашел Лука в Енисейске в церковь, где давно уже не было служб, так как арестовали священника. Епископ взял у старосты ключи, отпер церковь и назначил литургию. Впервые за много месяцев над городом раздался колокольный звон. После службы епископа вызвали к какому-то должностному лицу.

Опять тот же вопрос: «Кто разрешил?»

— А кто запретил служить? — воскликнул Владыка Лука. — Разве нам запрещено молиться Богу? Я подчиняюсь только Ему и Патриарху.

Пожилая верующая женщина, жительница Енисейска, Варвара Александровна Зырянова передает, что, по общему мнению, главные муки перенес Владыка не в Енисейске, а, как она слышала, в Нижне-Туруханске, куда его сослали за непослушание «органам» и за церковные проповеди. «Самый высокий туруханский начальник кричал на Владыку, топал на него ногами, требовал снять крест и рясу. Но, как передают, отвечал ему Владыка, что рясу сдерут у него только «вместе с кожей». Начальник тот ничего сделать не мог и задумал погубить Владыку, сослать его куда подальше на Север. (Некоторые говорят, что даже на остров Диксон!) Снарядили сани, и велел начальник вознице ехать медленно, чтобы Владыка по дороге замерз. Возница тот, молодой парень, так и сделал. Да еще вот что учинили: когда Владыка соскочил с саней погреться, возница вещички его вывалил на снег да и уехал вперед. Так Владыка сколько-то там верст на себе свои пожитки нес. Здорово поморозился, но до смерти они его в тот раз погубить не смогли».

«Во время ссылки он (Войно-Ясенецкий) был оставлен как-то в лесу в заброшенной избушке, где он погибал от голода и болезни. Экзема мокнущая поразила все тело его, все было в коростах. Но проезжая мимо избушки, крестьянин-мужичок услышал стон, подобрал его и привез в селение». Так пишет бывшая сибирская жительница К. А. Шамина.

Мучали Луку на Енисее так долго и жестоко, сообщает другой житель тех мест, что, когда к нему явились однажды чекисты сказать об его, Войно-Ясенецкого, освобождении. Лука решил, что настал его последний час и упал на колени перед иконами. Он начал жарко молиться, благодаря Бога за то, что тот берет его к Себе. Помолившись, Лука встал и спокойно оказал: «Я готов».

Сам архиепископ Лука свое возвращение из первой туруханской ссылки описывает следующим образом:

«С низовья Енисея приходили один за другим пароходы, привозя моих многочисленных товарищей по ссылке, одновременно со мною получивших тот же срок. Наш срок кончился. И эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красноярск. В одиночку и группами приходили пароходы изо дня в день. А меня не вызывали в ГПУ для получения документов. Вечером в конце августа пришел последний пароход и наутро должен был уйти. Меня не вызвали, и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на один год.

Утром 20 августа я по обыкновению читал утреню, а на пароходе разводили пары… Первый протяжный гудок парохода. Я читаю четвертую кафизму Псалтыря… Последние слова 31-го псалма поражают меня как гром… Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит:

«Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, в он же пойдеши: утвержу на тя очи Мои. Не будете яко конь и меск, им же несть разума, браздами и уздой челюсти их встягневши, не повинующихся тебе».

И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе… Пароход дает третий гудок и медленно отваливает… Я слежу за ним с тихой, радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих… «Иди, иди, — ты мне не нужен… Господь уготовил мне другой путь, не путь в грязной барже, которую ты ведешь, а светлый архиерейский путь!»

Через три месяца, а не через год Господь повелел отпустить меня, послав мне

маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее. Меня обязаны были отпустить в Красноярск. Енисей замерз в хаотическом нагромождении льдин. Санный путь по нему должен был установиться только в середине января… По Енисею возили только на нартах, но для меня крестьяне достали крытый возок.

Настал долгожданный день отъезда… Я должен был ехать мимо монастырской церкви, стоявшей на выезде из Туруханска, в которой я много проповедовал, а иногда даже служил. У церкви меня встретил священник с крестом и большая толпа народа. Священник рассказал мне о необыкновенном событии. По окончании литургии в день моего отъезда вместе со старостой он потушил в церкви все свечи, но, когда для проводов меня вошел в церковь, внезапно загорелась одна свечка в паникадиле, с минуту померцала — и потухла. Так проводила меня любимая мною церковь, в которой под спудом лежали мощи Св. мученика Василия Мангазейского.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым путем архиерейским, который при отходе последнего парохода предсказал мне сам Бог со словами псалма 31-го: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь, в он же пойдеши, утвержу на тя очи Мои». — Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которых надо направлять удилами и уздою.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил молебны и проповедовал. От самых давних времен архиерея в этих местах не видали».

За первой ссылкой последовали вторая и третья. Директор школы в Туруханске А. Н. Бобко (прежде он учительствовал в Ташкенте) слышал в сороковые годы несколько изводов легенды о том, как и отчего Войно-Ясенецкий был сослан во второй раз.

«В конце двадцатых годов жил в Ташкенте один профессор, немолодой уже человек, женатый на очень юной особе. Профессор открыл какое-то средство для продолжения жизни и здоровья. Про это открытие проведала английская разведка. Англичане стали искать, как бы им проникнуть в дом старого профессора. В конце концов они подкупили молодую женщину, и она пообещала выкрасть у мужа секретное лекарство. Профессор почуял неладное и, чтобы спасти открытие, передал его своему коллеге профессору и епископу Войно-Ясенецкому. Дошел слух о замечательном открытии и до ОГПУ, Сотрудники ОГПУ вызвали Войно-Ясенецкого на допрос (сам изобретатель к этому времени застрелился), однако епископ наотрез отказался выдать властям доверенный ему секрет. Он заявил, что самая идея бессмертия человеческого противна Божеству. Пусть он, епископ Лука, погибнет, и это вместе с ним дьявольское открытие. Тогда-то Луку и выслали второй раз». По другим сведениям, Войно-Ясенецкий был вовсе не наперсником профессора-изобретателя, а его идейным противником. Прослышав об открытии, он проклял ученого, который покушался на прерогативу Божества и, по слухам, даже стрелял в безбожника.

Как ни странно звучит последняя легенда, за ней, как почти за каждым из приведенных мифов, стоят факты вполне реальные. Но о них — ниже. Интересно другое. Не будучи знакомы друг с другом, творцы легендарного Жития упорно повторяют одну и ту же версию: из ссылок Войно-Ясенецкого не раз возили в столицу на Лубянку (в некоторых изводах фигурирует «сам» Берия) и предлагали отказаться от сана.

Шофер Рахманов, возивший архиепископа в Крыму, вспоминает со слов Владыки, что следователи стучали на него кулаками и требовали: «Сними рясу и будешь у нас в Кремле врачом». По другой версии, в награду за отступничество Войно-Ясенецкому

обещали положение директора института хирургии и даже звание академика. Нет дыма без огня: очевидно, кое-кто в 30—40-е годы именно так и становился академиком. Но Лука ни на какие компромиссы не шел. По словам Рахманова, он будто бы даже отвечал своим гонителям, что не оставит веру, если даже его положат на раскаленную сковороду. «Я не могу раздвоить себя». Непримиримость раздражала чекистов: Луку засылали все дальше и дальше.

Зато среди сибиряков, верующих и просто пациентов, получивших исцеление из его рук, слава ссыльного епископа год из года возрастала. Ему старались угодить чем только могли: подарками (которые он, как правило, возвращал), поясными поклонами при встрече на улице. Туруханские крестьяне, по преданию, подавали Луке покрытые красным ковром сани, чтобы провезти его несколько кварталов от больницы до церкви. А енисейские речные капитаны перевозили научные рукописи Войно-Ясенецкого. Рукописи эти, как говорят, попали потом даже за границу.

Начало второй мировой войны застало Войно-Ясенецкого в третьей ссылке. Удалось записать несколько вариантов мифа о том, как епископ-хирург стал вдруг «persona grata». Одну версию сообщил бывший заключенный-лагерник, вторую — писатель, третью — ученый. Заключенные на Колыме представляли себе это событие так:

«Перед войной епископ сидел в одном из восточных лагерей. На второй день после начала войны он написал письмо на имя Сталина: «Хочу отдать свои силы на излечение раненых солдат и командиров». Очень скоро от Сталина пришла телеграмма: «Войно-Ясенецкому присвоить генеральское звание, одеть его согласно чину и направить командовать всеми госпиталями Сибири». В лагерной швальне быстренько сшили епископу китель, а сапог и брюк нужного фасона почему-то под рукой не оказалось. Так епископ и ходил по зоне: в кителе с генеральскими звездами, в ватных зэковских штанах и «танках» подшитых резиновыми покрышками грубых ботинках. При встрече с этой странной фигурой начальник лагеря, чином майор, вытягивался во фрунт. Это очень развлекало заключенных: «Во дает, крестик!» — кричали они, от души потешаясь над униженным начальством». Созвучна лагерному варианту и новелла, рассказанная ленинградским писателем Юрием Германом.

«В начале Великой Отечественной войны Сталин вызвал к себе академика Бурденко, главного хирурга Красной Армии.

— Что вам нужно для нормальной работы? Чем партия и правительство могут помочь фронтовым медикам? — спросил Сталин.

— Нам нужен профессор Войно-Ясенецкий, — ответил Бурденко. — Это замечательный хирург и ученый.

— А где он?

— В ссылке.

— Дадим вам вашего Войно-Ясенецкого, — ответил Сталин. И вскоре после того Валентин Феликсович был освобожден из ссылки в деревне Большая Мурта, где-то на Енисее. Сталин сам распорядился, чтобы ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, и направили его командовать всеми госпиталями Сибири».

Ташкентскому профессору-антропологу Льву Васильевичу Ошанину события 1941 года рисуются, однако, по-иному:

«Война застала Войно-Ясенецкого в Томске… Отбывая ссылку, а потом живя в Томске, он все время оставался архиепископом. Правда, архиепископом не у дел, архиепископом без епархии. Но он продолжал ходить в архиерейском одеянии. С первого же дня на страницах «Епархиальных ведомостей» стали появляться пламенные

патриотические статьи Войно, призывающие стать на защиту Родины. Месяца через три после начала войны Войно сообщили, чтобы он был готов к утру следующего дня к полету, так как его отправляют самолетом в Москву по вызову тогдашнего комиссара здравоохранения тов. Митерева. Прямо с аэродрома, как был в архиерейской одежде, он был доставлен в комиссариат здравоохранения. Митерев встретил его очень любезно, пожал руку, просил садиться. Разумеется, Митерев не называл его «Владыкой» (обычная форма обращения верующего к архиерею), он звал его просто профессором. «Так вот, мы прекрасно знаем вас не только как прекрасного хирурга и ученого, но и как пламенного русского патриота. Не согласитесь ли вы помочь нашей армии, нашим тяжело раненным бойцам? Мы предлагаем вам пост главного консультанта-хирурга большого сводного госпиталя в городе Пензе. Этот город является своего рода коллектором для гнойных раненых, которых будут направлять из госпиталей Рязани, Тулы и Мичуринска. Таким образом, госпиталь специально образуется и оборудуется для гнойных раненых». Это по прямой специальности Войно, и, следовательно, он в госпитале может продолжить свою научную работу.

Войно отвечал, что он с величайшей охотой примет это место, однако при одном непременном условии: он ни в коем случае не снимет с себя архиерейского сана. Он хотел бы продолжать свою церковную деятельность.

По-видимому, для Митерева это не было неожиданностью. Он сказал, что урегулирует этот вопрос с Патриархом Алексием и в Кремле с Комитетом по делам православной Церкви. Он попросил у Войно его паспорт, Войно решил, что это необходимо для отметки номера паспорта в журнале, где записывают время ухода и прихода вызванного. Минут через десять ему был вручен новый паспорт, в котором исчезли все судимости и все города-минусы.

Через несколько дней Войно был назначен главным хирургом-консультантом сводного пензенского госпиталя. Кроме того, по ходатайству Патриарха Алексия ему было разрешено своего рода негласное совместительство в качестве архиепископа Рязанского, Тамбовского и не помню еще какого. Но в госпитале он всегда ходил в халате, одетом поверх архиерейской одежды».

Миф, как уже говорилось, — жанр весьма субъективный. Как в зеркале, видится в нем культура рассказчика, степень его общественных представлений, симпатий и антипатий. Обитателям деревни Большая Мурта Красноярского края, где провел свою третью ссылку Войно-Ясенецкий (там, а не в Томске), имя академика Бурденко мало что говорило, да и нарком здравоохранения Митерев был для большемуртинцев фигурой далекой, туманной. Зато секретарь крайкома товарищ Голубев сиял для них на государственном небосклоне звездой первой величины. Неудивительно, что деревенская легенда о чудесном превращении ссыльного врача в генерала и правящего Красноярского архиерея связывает этот акт с именем первого лица в крае. Житель Большой Мурты, зоотехник Константин Иванович Стрелец, рассказывает:

«У товарища Голубева разболелась нога. Лечили его все красноярские светила. Из Новосибирска профессора привезли. А нога все хуже. Уже гангрена началась, к ампутации дело идет. А тут кто-то возьми и скажи в крайкоме: «Дак ведь у нас тут свой профессор имеется, Войно-Ясенецкий. По его методу даже в Австралии гнойные раны лечат». «А где же он?» «В Большой Мурте, ссыльный поселенец». Тут сразу к нам в Мурту самолет. Везут Луку в Красноярск. Сделал он операцию; ногу товарищу Голубеву спас. Ну уж после того товарищ Голубев его, конечно, от себя не отпускает. Остался Лука в Красноярске». Живописно выглядит и окончание легенды.

«В Красноярске Луку уважали, прикрепили к обкомовской столовой, из закрытого магазина все ему привозили. Открыл он в Николаевке церковь. Народ повалил в церковь валом. Верующие денег накидали несколько мешков. Зовут Луку эти деньги считать, а он и говорит: «Что мне их считать, везите все в банк, там сосчитают, пускай все идет на оборону Родины». С николаевской кладбищенской церковью в Красноярске связывают и такой случай. В церкви этой епископ Лука служил и проповедовал по субботам и воскресеньям. Народу всегда было полно. Живого епископа с каких пор уже в городе не видывали. И вот однажды, во время проповеди, к церковным дверям с грохотом подлетел мотоцикл и солдат-вестовой полез через толпу с пакетом к Луке. Бабы на него, конечно, зашикали, заругались. Пакет же с печатями пошел по рукам и дошел до проповедника. Епископ прервал свое слово, открыл пакет, прочитал, что там было написано, и сказал: «Православные христиане! По законам нашей церкви пастырь не должен покидать во время службы и проповеди свое место. Но вот получил я письмо, где сказано, что солдат раб Божий такой-то умирает в госпитале и нуждается в моей епископской и врачебной помощи. Да простит меня Бог, и вы простите, христиане православные, но должен я поторопиться к этому раненому». Сошел Лука с амвона, сел в мотоциклетную коляску и умчался. А верующие прихожане решают его ждать. Ждали его всю ночь. А под утро он приехал уже на машине, взошел на амвон и возгласил: «Благодарение Богу, раненный на поле брани солдат раб Божий такой-то спасен». Что тут началось! Люди падали на колени, кто «многие лета» кричит, кто молится. Ну и он благодарственный молебен отслужил. Случай этот по всему городу скоро разнесся, и на фронт из Красноярска пошло много посылок с подарками и теплыми вещами для наших бойцов».

С именем архиепископа Луки у многих красноярцев, жителей Тамбова и Симферополя связаны воспоминания о счастливых исцелениях. В народной памяти Войно-Ясенецкий выступает чаще как неотразимый хирург, но в одном дошедшем до нас эпизоде он проявил себя, по всей видимости, неплохим психотерапевтом.

«Дело было в Сибири. В одном военном госпитале лежал контуженный молодой солдат. На фронте он потерял дар речи. Врачи ничего поделать не могли. И вот однажды идет профессорский обход. Впереди сам епископ. Спрашивает врача: «А тут кто у вас лежит?» Тот докладывает: так, мол, и так, больной, лишенный речи после контузии. Архиепископ рукой эдак повел, всех из палаты выпроводил и на край койки сел. Взял солдата за руку и спрашивает: «Хочешь научиться говорить?» Тот, конечно, кивает. «Ты женщину когда-нибудь любил?» Тот кивает. «Помнишь ли имя первой, самой первой своей любимой?» Солдат кивает головой. «Назови это имя». Солдат — и-их — не получается, не может он ничего выговорить. Лука тогда встал и говорит: «Каждый день с утра до вечера тверди это имя. И с этим именем к тебе вернется речь». Прошли сутки, вторые. Солдат старается, мычит, а имени выговорить не может. На третью ночь заснули все в палате, и вдруг будит солдата сосед: «Проснись, дурень, ты же кричишь. Таню какую-то поминаешь». Проснулся солдат и заговорил. Немоты как не бывало».

А вот письмо из Тамбова. Со слов своей покойной подруги врача В. П. Дмитриевской учительница-пенсионерка О. В. Стрельцова описывает следующий эпизод:

«При обходе больных красноармейцев госпиталя Владыкой Лукой в качестве врача один больной красноармеец позволил себе обиду нанести ему, сказав зачем здесь ходит длинноволосый. И что же получилось: в тот же вечер этому обидчику было возмездие и вразумление. Ночью в двенадцать часов случился с ним смертельный приступ, который вразумил его, и он, больной, потребовал врача с просьбой вызвать к нему Профессора, то есть Владыку Луку.

Он приехал ночью же, вошел в палату к больному, который со слезами просил прощения у Владыки-Профессора за свою обиду и умолял спасти ему жизнь, так как он, больной, чувствовал уже приближение смерти. Владыка дал команду немедленно приготовить все к срочной операции. Принесли больного, подготовили к операции. Владыка, как обычно в таких случаях поступал, спросил больного, верует ли он в Бога, так как не профессор возвратит ему жизнь, а Бог рукой доктора.

Больной, не прекращая слез, ответил, что он теперь верует и сознает, что он поплатился за грубую насмешку над Владыкой-Профессором. Владыка-Профессор, сделав очень серьезную операцию срочную, возвратил больного к жизни. Этот случай очень подействовал на всех больных госпиталя». Другой цикл мифов ставит своей целью нарисовать, так сказать, общественное лицо архиепископа Луки, возвысив его, приблизив к «верхам».

«Хотите верьте, хотите не верьте, но у Луки в кабинете или где-то там стоял ВЧ — высокочастотный телефон для прямой связи с Москвой, с правительством. Это я вам точно говорю…» — рассказывает бывший начальник Енисейского пароходства депутат Верховного Совета и член бюро крайкома КПСС Иван Михайлович Назаров.

Это совсем не случайная, как может показаться, легенда. Российская общественная мифология всегда тяготела к верховной власти. В стране, где назначение гражданина состояло в том, чтоб исполнить высшие цели правителей, возвысить личность могло только внимание государя. Встреча с вождем! — любимейший кульминационный эпизод, воспроизведенный в десятках романов, фильмов, пьес. Современник товарища Сталина архиепископ-профессор не мог не встретиться с вождем народов. Иосиф Виссарионович, конечно же, должен был (такова мифологическая традиция!) пригреть, обласкать несправедливо пострадавшего русского патриота. И вот в письме женщины, не очень грамотной, но доброй и воспитанной в традициях своего времени, читаем:

«К Валентину Феликсовичу очень относились плохо… Когда он жил в Николаевке (район г. Красноярска. — М. П.) и служил в церкви на кладбище и когда он шел на службу в церковь, то ребятишки николаевские бросали в него камнями, били по голове, он сам рассказывал… А потом он был на приеме у Сталина. Приехал обратно в Красноярск, а у него в комнате висит касторовый черный костюм и теплые ботинки стоят, это указание было Сталина, а то он ходил в калошах на босу ногу». Обратите внимание, как рассказчица умиленно подчеркивает: костюм был черный, касторовый, высший сорт, так сказать. А иначе какой же еще мог прислать Верховный Главнокомандующий?

Московская актриса-чтица М. М. Третьякова несколько раз встречалась и долго переписывалась с Войно-Ясенецким. Человек начитанный, она в рассказе о встрече с вождем не опускается до такой мелочи, как пара ботинок. Большие люди должны разговаривать о больших проблемах.

— Что бы вы хотели, чтобы партия и правительство сделали для вас? спросил Сталин.

— Освободите из заточения всех священнослужителей, — якобы ответил бесстрашный архиерей.

Зубной врач К. А. Шамина также убеждена, что государственные разговоры архиепископа Луки и товарища Сталина касались судеб церкви. Один такой диалог на высшем уровне Шамина приводит дословно:

«- Иосиф Виссарионович, скажите, после окончания войны церкви опять закроют?

— Почему вы так думаете?

— Но ведь церкви открыли по настоянию англичан?..

— Нет, — ответил товарищ Сталин, — церкви закрываться не будут, ведь матери, потерявшие на войне сыновей, утешения будут искать где? В церквах только. И также жены убитых мужей».

В тесных отношениях между архиепископом Лукой и Сталиным убежден и сторож симферопольского кладбища, рассказавший автору этих строк, что после войны Владыка Лука каждую неделю летал на самолете лечить Сталина. Иосиф Виссарионович доверял только Владыке, других врачей к себе не подпускал.

Однако, насколько можно судить по легендам, примирение с высшей властью никак не отразилось на независимом характере Войно-Ясенецкого. Священник из Тамбова передает: «Направили Владыку из Сибири в наш город. Владыка в облздрав. Заведующим был тогда один армянин. Владыка ему и говорит: «Явился, дескать, в ваше распоряжение». А армянин этот увидел рясу и фыркнул: «Мы и без попов обойдемся». А на следующий день из Москвы облздраву — телеграмма от министра здравоохранения: «К вам направляется консультантом госпиталя профессор Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), примите его с почетом и наилучшим образом». Пришлось заведующему бежать в гостиницу и просить у Владыки прощения за свою грубость. Говорят, Владыка Лука очень строго ему тогда выговорил: «Не встречай гостя по одежке…»

В Тамбове же произошли у Войно-Ясенецкого два других многозначительных разговора с областными начальниками.

«Однажды председатель облисполкома спросил тамбовского архиепископа: Чем вас премировать за вашу замечательную работу в госпитале?

— Откройте городской собор.

— Ну нет, собора вам никогда не видать.

— А ничего другого мне от вас не нужно, — резко ответил Лука». Другая встреча Владыки с председателем Тамбовского облисполкома Козыревым была для представителя власти куда менее приятной: Войно-Ясенецкий диагносцировал у него неоперабельный рак желудка. В комнате, где лежал больной, находился первый секретарь обкома партии (Волков). После осмотра он спросил: «Как это вы, профессор, не видевши никогда Бога, верите в него?» «А вы в ум человеческий верите?» — спросил Лука, «Верю». «А я не раз вскрывал человеческий череп, рассекал мозг и никакого ума там не находил».

Диалог о Боге и уме сохранился во множестве вариантов. Одни приписывают его событиям ташкентского периода жизни Войно-Ясенецкого, другие относят ко времени сибирских ссылок, третьи — к тамбовским и симферопольским временам. Скорей всего, что этот поразивший современников аргумент Войно-Ясенецкий пускал в ход неоднократно. По одному из свидетельств, во время врачебной конференции в Ялте, вскоре после войны, архиепископ Лука на вопрос о вере ответил так: «Вы не раз слышали, дорогие коллеги, эти слова: в моем сердце — любовь, в моем сердце — ненависть. Но ведь, вскрывая сердце, вы не находили в нем ничего, кроме мышц и крови. Вскрывая черепную коробку, не видели вы в ней ни ума, ни глупости. Точно так же и я не видел Бога. Но необходимо верить в то, что он есть, чтобы иметь смысл жизни. С Богом жизнь обретает цель, опору. Имея Бога в душе, наполняешься подлинным богатством».

Переезд архиепископа Луки из Тамбова в Симферополь и жизнь в Крыму также отразились в народных рассказах. Врач О. М. Новикова, сорок лет проработавшая в поликлинике Тамбовского областного управления МВД, считает, что Войно-Ясенецкого

«съели попы». «Сразу после войны Валентин Феликсович получил за свои научные труды Сталинскую премию первой степени. Священники полагали, что вся премия пойдет на церковь. А он передал деньги государству, чтобы их истратили на помощь детям жертв войны. Попы рассердились, стали строчить на своего архиерея доносы, и вскоре он был переведен в другой город».

Парторг Среднеазиатского государственного университета (Ташкент), кандидат педагогических наук Ф. В. Панкратьев, бывший в Симферополе, утверждает, что жители Крыма встретили нового архиерея с восторгом. Когда Лука шел по городу, перед ним расстилали ковры, бросали ему под ноги цветы. Матери подносили ему на улице детей. Войно-Ясенецкий не только благословлял малышей, но и осматривал их (?!), давая советы, как лечить. В церкви, по словам все того же Ф. В. Панкратьева, архиепископ читал лекции на научные темы.

В Симферополе, по рассказам, новый архиепископ поначалу активно занимался не только церковными, но и медицинскими делами: консультировал и оперировал больных в госпитале, читал лекции в научном хирургическом обществе, посещал даже ученый совет местного медицинского института. Но однажды, после очередного доклада по чисто хирургическим вопросам, ему передали просьбу председателя Крымского облисполкома: впредь на научные заседания приходить в светской одежде. После этого архиепископ Лука на заседания хирургического общества ходить перестал.

О том, что симферопольские власти были шокированы архиепископским облачением профессора Войно-Ясенецкого, свидетельствует и такая новелла:

«Архиепископ Крымский и Симферопольский имел обыкновение в своем облачении прогуливаться по городскому парку. Однажды, когда он сидел таким образом на скамье, к нему подошли два милиционера. Взяв под козырек, они со всей доступной им деликатностью обратились к Владыке:

— Вот вы, батюшка, сидите здесь с крестом на шее, а кругом дети… Неудобно получается. Какой пример получит молодежь…

— А если бы я сидел с револьвером на боку, дети бы получили лучший пример? — спросил архиепископ Лука».

Мы далеко не исчерпали мифические и полумифические рассказы из жизни нашего героя. Наскоро записанные, а чаще существующие лишь в устной традиции, рассказы эти могли бы составить большой том сугубо житийного характера. Создавать такой полный свод мифов не входит в наши задачи. Три десятка приведенных выше свидетельств понадобилось нам лишь для того, чтобы показать, как упорно люди разной культуры, различных взглядов, молодые и старики, атеисты и верующие десятилетиями хранили память об этой странной на первый взгляд личности; как по крупице воссоздавался портрет человека, поразившего людей своей эпохи. За сорок лет, с 1921 года, когда профессор Войно-Ясенецкий постригся в монахи, до его смерти в 1961 году, сколько-нибудь полная биография ученого-иерея появлялась в печати едва ли более трех раз, да и то в таких малодоступных изданиях, как «Журнал Московской патриархии» и журнал «Хирургия». И тем не менее множество людей в разных концах страны помнили и помнят архиепископа-хирурга. Пусть не все фактически верно в легендах и мифах, пусть мифологическая биография его грешит огромными пропусками. И все же «мифография» Войно-Ясенецкого воссоздает портрет цельный, привлекательный и даже героический. Таков vox populi — глас народа об архиепископе-хирурге.

Но прежде чем окончательно расстаться с житием Владыки Луки и перейти к свидетельствам его жизни, выслушаем еще один голос. Майор запаса, офицер-фронтовик

и старый член партии Даниил Белкин из Симферополя рассказывает: «В дни моей юности Крым был местом на редкость интернациональным. В нашем классе насчитывали двенадцать национальностей. Но во время войны из Крыма выселили всех нерусских — татар, греков, болгар, турок, немцев, итальянцев, даже некоторых армян, искони живших на этой территории. И вот в одно из тех послевоенных лет архиепископ Крымский и Симферопольский Лука объявил, что в следующее воскресенье в греческой церкви, которая в это время играла роль кафедрального собора, он прочтет проповедь «К иноверцам». Церковь в этот день была полна. Многие не попали внутрь и толпились на паперти. Как потом рассказывали в городе, смысл проповеди сводился к следующему: «Не верьте тем, кто ссорит между собой народы, независимо от того, находятся ли эти народы по разные стороны государственной границы или в одном государстве. От этих ссор выгадывают только наши враги. Для нашей же матери-церкви «несть ни эллина, ни иудея». Иноверцы всегда найдут у истинно верующего православного помощь и приют».

Архиепископ не ограничился тем, что произнес проповедь, которую верующие женщины тут же записали и размножили на пишущей машинке. Он послал секретаря своей епархии в синагогу с наказом повторить там текст проповеди. Интересно, что Лука знал правила поведения верующего в синагоге. Он предупредил секретаря, чтобы при входе тот надел головной убор и должным образом обратился к старосте».

Глава первая. В исторической тени (1877—1917)

«Земную жизнь пройдя до половины,
Я в лес вступил…»
: *Данте. «Ад»*

Детство и юность замечательных людей — самая неблагодарная часть их биографии. Не догадываясь о блистательной судьбе ребенка, родные и близкие Леонардо да Винчи, Чарльза Дарвина и Роальда Амундсена не сохранили для потомков воспоминаний о детских играх и школьных проделках будущих гениев. Но еще хуже, когда факты все-таки попадают в руки историков. Тогда, глядя в перевернутый бинокль времени, биограф начинает копаться в детских пеленках героя, желая во что бы то ни стало выудить из прошлого задатки будущего величия. В лепете трехлетнего Гете обнаруживают склонность к стихотворчеству, а в скандальном поведении грудного младенца по фамилии Бонапарте видят предвестие побед при Аустерлице и Ваграме. Нет спора: личность складывается рано, очень рано. Но бесспорно и то, что мы не владеем пока методом, который позволил бы за поведением младенца увидеть, куда в действительности поворачивается парус его будущей жизни. Ретроспекция превращается в самообман.

Нелегко даются биографам и те периоды, когда выдающийся человек не совершает, по мнению современников, ничего выдающегося. В ход снова пускается система «объяснений». Если «историческая тень» закрывает несколько лет в разгар творческой жизни героя, это объясняют отсутствием подходящих внешних условий для свершения главных замыслов. Если «тень» падает на поздний возраст, говорят о несправедливом равнодушии современников, которое помешало гению до конца осуществить свои идеи. Есть, однако, ситуация, которая колеблет все «внешние» объяснения: английский поэт классик Джон Мильтон начал писать стихи почти в шестьдесят лет; великий археолог Генрих Шлиман обратился к раскопкам легендарной Трои после пятидесяти лет — до этого он оставался лишь удачливым торговцем. И тому и другому ничто вроде бы не мешало проявить себя в избранной области раньше. Но, как будто оттягивая свидание со своим звездным часом, они оба десятилетиями оставались в исторической тени. Американский художник Морзе, лишь перевалив за сорок лет, почувствовал в себе талант изобретателя. И в историю вошли не полотна молодого Морзе, а его телеграфный аппарат, созданный во второй половине жизни.

Очевидно, доступные для наблюдения внешние причины (а их-то и ищет обычно биограф) далеко не всегда адекватно изменяют судьбу творческой личности. Многое происходит в душевной глубине гения, в неких недоступных поверхностному взгляду недрах. И тогда мир обнаруживает вдруг в старике Фабре гениального энтомолога, хотя весь свой век он не был никаким ученым, а только школьным учителем.

В начале нынешнего столетия возникла школа психологов, которая считала всякую выдающуюся личность жертвой патологии. Вместо биографий великих людей ученые этого направления предлагали писать «патографии». Было написано несколько «патографии» великих писателей, артистов, ученых. Может быть, в таком подходе («выдающийся — значит ненормальный») есть свой резон, но как понять с этой точки зрения годы, проведенные гением в исторической тени, например, семь лет, которые Альберт Эйнштейн служил экономистом патентного Федерального бюро в Берне? Надо ли понимать эти годы как светлые промежутки между взрывами патологии?..

Вопрос же о «тени» заинтересовал меня потому только, что очень уж медленно

приближался Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий к своему «историческому часу». Первую половину жизни прожил он без особых событий. Были, конечно, и в той первой половине его бытия и любовь, и научные открытия, и сильные переживания. Но в конечном счете все это оказалось важным только для него самого и самых близких ему людей. Исторический рубеж наступил ровно на половине жизненного пути. И глас народа — легенды безошибочно отметил эту точку.

Первый миф, относящийся к Войно-Ясенецкому, рассказывает о смерти его жены. Анна Ланская погибла в 1919 году. С этого времени и стал он личностью исторической.

Валентину Феликсовичу было сорок два. Поступки, высказывания и труды его начали оказывать влияние на поступки и высказывания многих других, даже лично его и не знавших людей. И влияние это продолжается доныне.

Попробуем же без предвзятости оглядеть первую, так сказать, «доисторическую» часть жизни нашего героя. Не станем искать то, что так хотелось бы в ней найти — пророчества. Взглянем на факты. Может быть, они сами по себе расскажут нам, как между 1877 и 1919 годом сложился этот незаурядный характер.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона говорится: «Войно-Ясенецкие — польские дворяне, герба Трубы, ныне состоящие в русском подданстве. Род этот русского происхождения, известен с шестнадцатого века…» Книга «Гербник Польский» поясняет, что Войно-Ясенецкие (Wojna Jasieniecki) происходят из русских князей, из Руси, а не из России. Как князья эти попали на службу к польским королям — неизвестно. Возможно, что они оказались в плену во время бесконечных стычек на спорных землях Украины и Белоруссии, а может быть, и сами предложили свои услуги одному из монархов Речи Посполитой. Так нередко бывало и до князя Курбского, и после него. Во всяком случае, род этот находился в большой чести. Константин Войно-Ясенецкий был воеводой на Луках, его сын Иван — воеводой Смоленским, сын Ивана — Александр — войсковым Витебским подвоеводой Виленским. В течение почти двух столетий мы находим имена Войно-Ясенецких среди придворных польских и литовских властителей, на высоких военных и административных должностях. Все эти местники, стольники, каштеляны, чашие, скарбники и подскарбники владели изрядными имениями в нынешней Белоруссии и Западной Украине. С конца семнадцатого века, однако, должности, которые занимают Войно-Ясенецкие, начинают мельчать, род бледнеет. Похоже, что какой-то незримый червь изгрызает корни мощного генеалогического древа. В начале восемнадцатого столетия потомки воевод и вельмож становятся прапорщиками Королевской гвардии, священниками, судьями.

В 1839 году в г. Липске вышел четвертый том геральдики польских дворянских родов. Составители книги, описывая герб Войно-Ясенецких (на красном поле сломанные стрелы, над ними полумесяц со звездой), спорили о том — три или пять страусовых перьев должны венчать шлем над щитом герба. Но здравствующим Войно-Ясенецким начала девятнадцатого века не было никакого дела до этих перьев и щитов. Владельцы пышного герба превратились в рядовых землепашцев Сенинского уезда Могилевской губернии. Дед героя нашей книги Станислав (родился около 1820 года) был мельником. Сохранилась записка, сделанная со слов Валентина Феликсовича его сыном Михаилом. Составляя список известных предков, Михаил Войно-Ясенецкий возле имени своего прадеда Станислава поставил в скобках «курная изба, лапти, на медведя с рогатиной».

Сын мельника Станислава Феликс (родился около 1855 года) первым после падения рода попытался вырваться из деревенской глуши. При поддержке какого-то мецената Феликсу Станиславовичу удалось окончить гимназию, а потом факультет фармации, сто

лет назад провизор Феликс Станиславович Войно-Ясенецкий женился и открыл собственную аптеку. Очевидно, торговля шла не слишком успешно, аптеку пришлось ему открывать трижды — в Херсоне, Кишиневе и Керчи. Здесь, в Керчи, в мае 1877 года и увидел свет третий по счету ребенок неудачливого провизора — Валентин, будущий епископ Лука.

С конца восьмидесятых годов семья поселилась в Киеве. Феликс Станиславович оставил фармацию и поступил служить в страховое общество «Надежда». «Он был человеком удивительно чистой души, ни в чем не видевшим ничего дурного, всем доверявшим, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми», — вспоминает об отце Валентин Феликсович, О том не говорила и дочь Ф. С. Виктория Феликсовна Дзенькевич (Войно-Ясенецкая). Возможно, что именно эта широко известная в городе честность Феликса Войно-Ясенецкого и выдвинула его на пост киевского агента богатейшего страхового общества страны. Контора общества находилась в самом центре города на Крещатике, напротив здания Думы. В том же доме, на третьем этаже, Войно-Ясенецкие — отец, мать, две дочери и три сына — занимали просторные комнаты.

Отец остался в памяти детей как человек несколько суетливый, но тихий и чрезвычайно аккуратный. Занятый делами службы, он мало видел свое семейство. Отдаляла его от семьи и его вера. Среди шести православных в доме он один оставался католиком. И притом католиком благочестивым. Главным лицом в семье была мать. Мария Дмитриевна, из харьковского мещанского рода Кудриных, великолепно исполняла обязанности хозяйки большого дома. Фотография начала века сохранила ее облик: полная, богато, со вкусом одетая дама; крупные черты красивого лица, волевой подбородок, решительный взгляд красивых, чуть навыкате глаз. Под строгим надзором этих глаз горничные держали квартиру в идеальном порядке, на кухне много варилось и пеклось. И не только для семьи. Мать постоянно отправляла домашнюю сдобу в тюрьму для арестантиков. В тюрьму же, чтобы арестанты могли заработать, посылали перетягивать матрацы и другую работу. Когда началась мировая война, на кухне постоянно кипятили большие бидоны с молоком — для госпитальных раненых. Мать была фантастически добра, но в отличие от добрых дел отца ее подарки и подношения носили подчеркнутый, несколько даже демонстративный характер.

Впрочем, в этом доме никто никого не упрекал и не поучал. Семья была дружной, и до беды со старшей сестрой Ольгой (она сошла с ума после ужасов Ходынки) мир, очевидно, представлялся молодым Войно-Ясенецким безмятежным. Интересы, однако, у молодежи сложились разные. Ольга, пианистка, окончила консерваторию, Павел и Владимир избрали юридическую карьеру. Первый стал впоследствии присяжным поверенным, второй — криминалистом. Валентин параллельно с гимназией посещал рисовальную школу и готовил себя к карьере художника; младшая. Виктория, твердо решила стать певицей. Характеры у мальчиков тоже с годами становились все более различными. Это особенно было заметно, когда семья выезжала на дачу в Китаево. Старший, Владимир, любитель светской жизни, на дачу не ездил, воздух гостиных казался ему достаточно свежим. Крепыш Павел, наоборот, упивался Днепром, лодочными прогулками, много плавал, рыбачил. Валентин привозил на дачу своих товарищей-художников из бедных семей. Художники рисовали на пленэре, толковали об освещении, о красках, о новых художественных течениях. За столом стеснялись, но ели с аппетитом. Потом у Валентина началось увлечение идеями графа Толстого, Он стал вегетарианцем, перебрался спать на пол. В ту пору на даче он не отдыхал, а целые дни пропадал в деревне, косил с крестьянами, укладывал стога. Родных дичился, обедать тоже

предпочитал с мужиками в сарае картошкой и помидорами.

Двойной фотографический портрет (лето 1896 года, Китаево), где Валентин снят вместе с товарищем-художником, довольно точно передает характер и умонастроение 19-летнего Войно-Ясенецкого. На молодых людях одинаковые в полоску холщовые или ситцевые косоворотки. Воротники застегнуты на все пуговицы: никаких вольностей. Сидят они за столом, застеленным крестьянской вязаной скатертью. Тут же пивная кружка и бутыль, но это, несомненно, фотографическая бутафория: ни в юности, ни позднее Валентин к спиртному не прикасался. Линии лица у недавнего гимназиста еще мягкие, не определившиеся. Но юношеский взгляд уже пытлив, глаза смотрят серьезно, вопрошающе.

Зимой в городе Валентин тоже отличался от братьев и сестер. Семья жила широко, открыто. Но Валентин в театр и в гости не ходил. Если посторонние приходили в дом, предпочитал отсиживаться в своей завешенной этюдами комнате. Девушек знакомых у него не было.

Вторая киевская гимназия, где учились братья Ясенецкие, блистала подбором лучших в городе преподавателей и талантами учеников, о ней писали как о выдающемся учебном заведении. Валентин на этом фоне учился средне, а на выпускных экзаменах весной 1896 года его ответы по алгебре и геометрии оказались среди худших. По алгебре Валентину Войно-Ясенецкому единственному в классе поставили двойку. Проверяя письменные работы выпускников по геометрии, университетский профессор Букреев отметил: «Работы… Ясенецкого, хотя и признаны удовлетворительными, однако едва ли этого заслуживают: они переполнены грубыми ошибками в логарифмах и отличаются крайней небрежностью в объяснениях». Неудивительно, что блестящее будущее в гимназические годы прочили брату Павлу, юноше легкому, компанейскому, который не только без труда учился, но и хорошо пел, играл на гитаре. Валентин же, молчаливый, необщительный, считался мальчиком средних способностей, от которого не приходится ждать сколько-нибудь серьезных жизненных успехов.

В вопросах совести и веры в семье Войно-Ясенецких, как уже говорилось, царила полная свобода. Мать была очень религиозна, усердно молилась в своей комнате, в церковь не ходила принципиально. От церкви оттолкнул Марию Дмитриевну случай, который произошел вскоре после смерти старшей дочери. Как положено по обряду, мать принесла в храм блюдо с кутьей и серебряные ложечки. Когда литургия кончилась, она заглянула в алтарь и обомлела: два священника ссорились из-за ее кутьи. «Все мое, все мое», — твердил один. «Не отдам!» — вырывал блюдо другой.

Сыновья-юристы в доме Ясенецких излишней религиозности не проявляли, но по традиции ходили к пасхальной утрене и к выносу Плащаницы. Ни в детстве, ни позднее, в юности, родители не читали детям никаких поучений нравственного порядка. И в то же время в доме существовали какие-то непререкаемые понятия о чести, долге, ответственности. Совершенно нетерпимо относились Войно-Ясенецкие к еврейским погромам и вообще к любому проявлению антисемитизма. Когда Павла призвали в армию, домашние очень боялись за него. Беспокоились не о каком-нибудь несчастье с оружием, которое вполне возможно в казарме даже в мирное время, а о том, что новобранца могут послать с войсками совершать погромы. Это было бы позором для всей семьи. Сочувственно относились Войно-Ясенецкие к студенческим волнениям начала века. В день, когда киевское студенчество чтило память курсистки Ветровой, совершившей политическое самоубийство, вместе со всеми на улицы Киева вышли три брата. Впрочем, для Валентина это была первая и последняя демонстрация. Массовых

сборищ он избегал.

Но в общем-то из всех детей Феликса Станиславовича и Марии Дмитриевны нравственные вопросы по-настоящему томили, пожалуй, только молчаливого Валентина. Юноша, живущий в великолепной квартире на Крещатике, сын обеспеченных родителей, получающий образование в лучшей гимназии города, болел той болезнью, которой от самого своего зарождения страдала русская интеллигенция. Его мучила вина перед народом, перед мужиками в деревне, перед оборванными бабами, ожидающими подаяния на церковной паперти. С середины девятнадцатого века и до самой революции 17-го года это странное, малопонятное для остального цивилизованного мира душевное страдание терзало души тысяч русских людей. Дворяне и разночинцы, славянофилы и атеисты, простецы и снобы исповедовали истину, которая казалась им непреложной. В будущем, считали они, Россию ждет явление высшей правды, победа над человеческими страданиями, преодоление дисгармонии бытия, осуществление идеальной, целостной жизни. Но не образованность, культура и цивилизация принесут в мир эту высшую правду, а сам народ: вот эти мужики, купцы, мещане. В таинственных глубинах народной жизни таится решение всех проблем. Там, в этих непостижимых для интеллигента пластах, хранятся подлинная, незамутненная вера, высшая нравственность и высшая мудрость. Ничего подобного нет на Западе и вообще нигде в мире, «Умом Россию не понять…» Надо опроститься, слиться с массой, служить ей. В этом главное назначение образованного человека, и в этом, его спасение.

Юный Валентин Войно-Ясенецкий не проявил большой оригинальности, приняв расхожие взгляды своей эпохи за высшее достижение философии. Что же в этом странного? Народолюбие, религиозное преклонение перед народом пленяло на Руси таких великанов, как Достоевский и Хомяков, народовольцев, Герцена и вождей социал-демократии. Не изжило оно себя и в наше время, 70 лет спустя. Где уж было двадцатилетнему мальчику на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков разобраться в опаснейшем предрассудке русского мессианства, который на глазах одного поколения обернулся сначала царским, а потом советским империализмом…

Но давно уже замечено, что между целями и средствами на Руси всегда пролегает глубокий овраг. Те предреволюционные учителя, врачи, агрономы, которые во имя русского мессианства ехали в деревню, чтобы учить и лечить мужика-богоносца, как правило, были людьми бескорыстными, достойными самого высокого уважения. Захватила идея служения и Валентина Войно-Ясенецкого. Уверовав в необходимость «пойти в народ», он, как это часто бывает с молодыми, чистой души людьми, начал ломать себя, втискивать свою натуру в тесные рамки априорных суждений. Вот как он сам описал впоследствии эту свою внутреннюю борьбу:.

«Влечение к живописи было у меня настолько сильным, что по окончании гимназии я решил поступить в Петербургскую Академию художеств. Но во время вступительного экзамена тяжело задумался о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились тем, что я признал себя не вправе заниматься тем, чем мне нравится, и обязан заняться тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет с тем, чтобы позже перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам и ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным: в особенности к богословию, философии, истории. Поэтому я предпочел поступить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и

философию права, политическую экономию и римское право». Через год, однако, его опять неодолимо повлекло к живописи. Войно-Ясенецкий отправился в Мюнхен, поступил в частную школу профессора Книрр. Проучился он там всего три недели, затосковал по дому, по России и вернулся в Киев. Стал с группой товарищей заниматься рисованием и живописью.

Два года прошло после окончания гимназии, а Валентин все еще не мог решиться, что ему делать… «Можно было поступить на медицинский факультет, но опять взяло раздумье народнического порядка и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться за практическую полезную для народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды направился к директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком; он высоко оценил мои народнические стремления, но очень энергично отговаривал меня от того, что я затевал, и убедил поступить на медицинский факультет. Это соответствовало моему стремлению быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, но поперек Дороги стояло мое почти полное отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета».

Время, пока шла эта борьба, было тяжелым для юноши еще и по другой причине: через сомнения и душевные страдания вырабатывал он в эти годы этическую и религиозную позиции — сначала захватило его учение графа Толстого. Но увлечение толстовством продолжалось недолго. В следующем году в руки молодого студента попала книжка Толстого «В чем моя вера?». Книжка была запретная, изданная за границей, В России она многих привлекла в ряды толстовцев, а Валентина Войно-Ясенецкого, наоборот, оттолкнула. Он увидел в ней, по его словам, «издевательство над православной верой». «Я сразу понял, что Толстой — еретик, весьма далекий от подлинного христианства», записал он впоследствии. Традиционное [православие](#) — вера матери неколебимо восторжествовало в нем навсегда. Усилившаяся после возвращения из-за границы религиозность отразилась в картинах и набросках художника. Большинство сохранившихся рисунков той поры изображает истово молящихся мужиков и баб, странников с посохами, нищих на подворье Киевско-Печерской Лавры. Наброски сделаны карандашом сильным и точным, с ясно выраженным настроением. Сам Войно-Ясенецкий считает, что если бы он не оставил живопись, то пошел бы по пути Васнецова и Нестерова, «ибо уже ярко определилась основная религиозная тенденция в моих занятиях живописью».

Итак, двухлетняя душевная тяжба, которую Валентин Ясенецкий вел с самим собой, внешне как будто разрешилась: он окончательно оставил живопись. Но внутренние трудности кончились не сразу.

«Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание. Тем не менее учился я на сплошных пятерках и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Изучая кости, я рисовал их и дома лепил из глины, а своей препаровкой трупов сразу обратил внимание всех товарищей и профессора анатомии. Уже на втором курсе мои товарищи решили, что я буду профессором анатомии… На третьем курсе я со страстным интересом занимался изучением операций на трупах. Произошла интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в

любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической препаровке и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии.

Государственные экзамены я сдавал блестяще, на сплошных пятерках, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене: «Доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уже многое забыл…» В знании и понимании анатомии достиг молодой Войно-Ясенецкий действительно высот поразительных. На абсолютном знании анатомии были построены позднее все его научные достижения. Но тем не менее память не совсем точно подсказывает автору мемуаров события шестидесятилетней давности.

Экзамена по общей хирургии в университете не было. Речь, очевидно, шла о курсе оперативной хирургии в топографической анатомии, которую читал профессор П. И. Морозов. Предмет этот Войно-Ясенецкий любил и получал за ответы только отличные отметки. Вообще же он учился хотя и неплохо, но без блеска. Пятерки далеко не всегда украшали его студенческий матрикул. Итоговые тройки он получил даже по таким предметам, как факультетская и госпитальная хирургия. Будущий блестящий хирург-глазник имел также тройки по офтальмологии и десмургии (учение о хирургических повязках). Не давалась сыну фармацевта и наука о приготовлении лекарств. В экзаменационных списках студентов медицинского факультета университета Св. Владимира профессор Ю. Лаутенбах упорно выводил студенту Войно-Ясенецкому двойки и тройки. Впрочем, все эти юношеские неудачи, как известно, мало чего стоят. Они разве что напоминают нам о провале студента Пастера по химии и Анатоля Франса по литературе. Не едиными отметками жив студент!

На рубеже двух веков Киевский университет — одно из наиболее ярких учебных заведений страны. Список его профессуры блистает всероссийски и даже международно известными именами. На медицинском факультете преподают такие светила, как патолого-анатом В. К. Выскович, патолог В. П. Подвысоцкий, терапевты Ф. А. Леш и В. П. Образцов. Акушерство и гинекологию читал знаменитый хирург Г. Е. Рейн. Ученые стремились увлечь молодых наукой. Ежегодно факультеты объявляли несколько тем для научных исследований студентов. Лучшие работы награждались золотыми и серебряными медалями. Наиболее увлеченные наукой теснились вокруг любимых учителей. В кружках при кафедрах формировались серьезные исследователи. На естественном факультете под руководством профессора Навашина в начале девятисотых годов занимались будущий академик Н. Г. Холодный, будущий крупный цитолог профессор Г. А. Левицкий, видные в дальнейшем ботаники профессора В. Р. Заленский и В. М. Хитрово. Но сколько ни рылся я в архивах университетов, сколько ни расспрашивал современников, нигде не обнаруживалось научной увлеченности студента Войно-Ясенецкого. Его однокурсники Александр Кан и Владимир Бергман получили золотые медали за работу о желатине как кровоостанавливающем средстве и исследование лучшего способа обеззараживания рук хирурга. Еще один однокурсник Валентина Войно-Ясенецкого, Григорий Пивоваров, человек, не лишенный общественной жилки, добился серебряной медали за труд о смертности врачей в России. Несколько других студентов в 1900—1903 годах получили за свои исследования медали имени Пирогова. Но будущий замечательный хирург Войно-Ясенецкий работ не пишет, медалей не домогается.

Глубоко будоражили в те годы университетскую массу и вопросы общественные. В мае 1901 года министр народного просвещения предложил киевской профессуре ответить

на 15 вопросов. Речь шла о самых насущных проблемах высшей школы. Пока профессора редактировали ответы, составленные, кстати сказать, весьма радикально, молодежь тоже обсуждала свои рекомендации и «наказы». Но имени Войно-Ясенецкого нет ни под «наказами», ни в числе заводил студенческой общественной жизни.

В 1903 году медфак всколыхнуло другое событие. Баронесса Мейендорф, председательница Российского общества покровительства животным, обратилась в министерство народного просвещения с просьбой ограничить научные опыты над четвероногими. За спиной Мейендорф стояла сама императрица Мария Федоровна, покровительница «Общества покровителей». Меморандум о вивисекции по просьбе министра обсуждала специальная комиссия медицинского факультета Киевского университета. Профессора ответили решительно: «Ввиду невозможности прогресса медицинского знания без вивисекции, какие бы то ни было ограничения ее применения в специальных научных учреждениях недопустимы». В ответ на требование баронессы не разрешать производить опыты на животных людям, не имеющим медицинского диплома, комиссия заявила: «На неприменимость этого пункта дает ясный ответ история науки в лице химика Пастора и зоолога Мечникова». Письмо комиссии и сама акция баронессы Мейендорф вызвали страстные споры в университете. Но среди многочисленных студенческих резолюций за вивисекцию и против нее мы опять не находим Валентина Войно-Ясенецкого. Похоже, что и это событие не тронуло его сердца.

Листаю документы о политических беспорядках среди студентов-киевлян. Архивные папки рассказывают о «бунте» в университете Св. Владимира в декабре 1901 года — январе 1902 года. Образцы листовок, доносы провокаторов, записи речей, произнесенных на митингах. Студенты протестуют против так называемых «временных правил» правительства, урезающих и без того мизерные права учащейся молодежи. «Временные правила», в частности, позволяли властям отдавать бунтующих студентов в солдаты. Университет кипел, сходки, забастовки сменяли одна другую. В итоге 183 «зачинщика» призваны в армию, все студенты первого курса на всех факультетах исключены, все студенты второго курса — оставлены на второй год. Даже Совет профессоров университета пришел в негодование по поводу этого произвола. Возникла резкая переписка между профессурой и попечителем учебного округа. В марте 1903 года новые беспорядки и новые репрессии: все студенты третьего курса оставлены на второй год, им предложено немедленно разъехаться по домам.

А Валентин? Его имени нет ни среди исключенных, ни среди курсовых ораторов, ни среди тех, кто подписывал петиции протеста. Нет нигде. Трус? Но мы знаем: вся долгая жизнь профессора Войно-Ясенецкого, епископа Луки, есть нескончаемая цепь поступков большого мужества. Может ли в зрелом возрасте стать героем тот, кто годами оставался трусом? Наоборот случается, и довольно часто, а так- что-то я не слыхал…

Не страх перед полицейскими шашками и не принадлежность к классу угнетателей удерживали Войно-Ясенецкого в стороне от общественной и политической жизни университета. Да и был ли он в стороне? На третьем курсе, в том самом «горячем» 1903 году, студенты медицинского факультета избрали Валентина Войно-Ясенецкого старостой. По некоторым свидетельствам, товарищи называли его «совестью курса». Это немалая честь быть курсовым свободно избранным старостой. Молодежь, особенно в ту накаленную пору, далеко не каждому готова была выразить таким образом свое доверие. Чем же вызвал Валентин расположение соучеников? Сам он об этом эпизоде рассказывает так: «Перед одной лекцией я узнал, что товарищ по курсу, поляк, ударил по щеке другого товарища — еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Все

притихли. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Я говорил о высших нормах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды».

Надо полагать, этико-исторический экспромт студента-медика был довольно наивен. Да еще со ссылкой на зловредную Ксантиппу, обдавшую нечистотами своего великого мужа. Но молодые люди почувствовали в речи обычно молчаливого товарища нечто большее, чем желание одернуть драчуна. В аудитории вдруг прозвучала искренняя боль за оскорбленного человека, торжествующую несправедливость. Валентин выступал как моралист, привлекая внимание товарищей не к частностям, а к принципиальной стороне дела. И достиг своего. Его духовное, этическое первенство на курсе признали.

Вот он стоит перед моим мысленным взором — русый, богатырского роста юноша. На нем в соответствии с Правилами внутреннего распорядка университета «мундир темно-зеленого сукна… с двумя петлицами из золотого галуна…». Но в мундире, как и в ситцевой косоворотке, он остается собой, только собой. Строго и требовательно смотрят через добролюбовские очки его глаза. Нет, он вовсе не в конфликте с окружающим миром, но в то же время как-то отъединен от него. Что там под мундиром, на душе у этого странного юноши? У меня слишком мало фактов, чтобы судить об этом. Умерли современники, не сохранилось ни писем, ни дневников. А в «Мемуарах», писанных Войно-Ясенецким на восемьдесят первом году жизни, он уже и сам не в силах восстановить свой душевный мир начала столетия. И все-таки хотелось бы понять этот мир… Я принялся перебирать биографии и записки ровесников, университетских однокашников Войно-Ясенецкого, тех немногих, чьи имена остались в истории. Я искал человека, близкого по духу моему герою. Такая встреча могла, как мне казалось, кое-что объяснить и в юношеской судьбе Войно-Ясенецкого. Конечно, аналогия не доказательство. Но все же…

Почему-то все обнаруженные мною лица оказались питомцами естественного факультета. Академик И. Г. Холодный — крупный естествоиспытатель — ботаник, биофизик, микробиолог. Человек волевой, деятельный, натура рациональная. В юности массовые сходки, действия скопом. В науке — ярый дарвинист, атеист. К религии, как, впрочем, к любому инакомыслию, нетерпим. В конце жизни затравлен лысенковцами… Нет, характер явно не тот.

Другой студент — Григорий Андреевич Левицкий — стал в 20-х годах крупным цитологом. Большой труженик науки, приобрел своими работами мировую известность. Современники любили его. Оптимист, характера доброго, души светлой. Атеист, но считал религию предшественницей науки, фактором, подготовившим условия для научного творчества. Расстрелян. Жертва сталинизма и лысенкоизма. От Войно-Ясенецкого далек.

Еще один киевлянин — В. Р. Заленский. Личность очень привлекательная. А главное — более других подходит к внутреннему строю моего героя. Видный ботаник, анатом растений. Человек с большим художественным вкусом, художник и литератор, поклонник Фета. Верующий. По убеждениям демократ. Но при всем том натура слишком мягкая, податливая, склонная к компромиссам. В сталинскую эпоху трепетал, но, по счастью, уцелел и, отдышавшись, кое-как дожил свой век в провинции. Не то…

И вдруг как прозрение — Бердяев!

Николай Бердяев — выдающийся религиозный философ и писатель, родился в Киеве всего лишь на три года раньше Валентина Войно-Ясенецкого. Дворянская семья,

аристократы Западного края. Польская кровь. Дом пронизан католическим влиянием. В детстве, как и Войно-Ясенецкий, окончил рисовальную школу. В гимназии (в той самой, во Второй) учился скверно. Не слишком отличался прилежанием на естественном факультете университета. В студенческом движении не участвовал. Очень рано задался философскими вопросами и прежде всего философией нравственности.

Судьбы двух киевских студентов, столь похожие вначале, в дальнейшем резко разошлись. Но духовная близость их в юности несомненна. Читая книгу Н. Бердяева «Самопознание (Опыт философской автобиографии)», я не мог отделаться от мысли, что нечто подобное мог бы написать и мой герой, если бы только, как Бердяев во Франции, имел право свободного самовыражения. Душевный мир этих двух сверстников так настойчиво сливается в моем представлении, что я начал выписывать особенно поразившие меня гипотетические параллели. И странное дело: чем дольше выписывал я воспоминания Николая Бердяева о его детстве и юности, тем яснее становился внутренний образ Валентина Войно-Ясенецкого. Начитанный мальчик, штудирующий в библиотеке своего отца «Критику чистого разума» Канта и «Логику» Милля, числится в гимназии посредственным учеником. В чем дело?

«Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда нужно было пассивное усвоение и запоминание… Я, в сущности, никогда не мог ничего пассивно усвоить, просто заучить, запомнить, не мог поставить себя в положение человека, которому задана задача. Поэтому экзамен для меня невыносимая вещь». А вот строки о живописи:

«Я… очень увлекался живописью. У меня были довольно большие способности к рисованию… Я даже окончил рисовальную школу, три года учился. Начал уже писать масляными красками. Настоящего таланта у меня, наверное, не было, были способности. Но как только я осознал свое философское призвание… я совершенно бросил живопись». В юности Бердяев был, очевидно, более решителен в самоопределении, чем Войно-Ясенецкий. Но обоих роднит то, что окончательное решение никогда не приходило к ним извне, а рождалось, хотя подчас и в муках, из собственных раздумий и опыта. «Я понимаю жизнь не как воспитание, а как борьбу за свободу. Я сам составлял план занятий. Никто никогда не натолкнул меня на занятия философией, это родилось изнутри. Я никогда не мог принадлежать ни к какой школе». Забегая вперед, мне хочется сказать, что точно так же, как Бердяев не знал учителей в философии, Войно-Ясенецкий не знал их в хирургии. До вершин мастерства оба дошли самостоятельно.

А вот строки, которые, кажется, специально написаны, чтобы объяснить душевное состояние Войно-Ясенецкого в студенческие годы:

«По характеру своему я принадлежу к людям, которые отрицательно реагируют на окружающую среду и склонны протестовать. Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил. У меня очень слаба способность к приспособлению, для меня невозможен никакой конформизм». «Но при этом: у меня отвращение к «политике», которая есть самая зловещая форма объективизации человеческого существа, выбрасывания его вовне. Она всегда основана на лжи. Но мое отношение к политике приводило не к уходу из мира, а к желанию изменить его». И наконец о роли совести в жизни:

«Я антиколлективист, потому что не допускаю экстерроризацию личной совести, перенесения ее на коллектив. Совесть есть глубина личности, где человек соприкасается с Богом. Коллективная совесть есть метафорическое выражение. Человеческое сознание перерождается, когда им овладевает идолопоклонство… Идол коллектива столь же

отвратителен, как идол государства, расы, нации, класса, с которыми он связан». Мне было бы трудно найти более точные слова о внутреннем мире моего героя в пору его студенчества, чем те, что нашел Николай Бердяев.

Должен оговориться. Вкусы и принципы молодого Войно-Ясенецкого далеко не во всем соответствовали бердяевским. И все же, накладывая строки «Самопознания» на известные нам поступки Валентина Войио-Ясенецкого, поражаешься, насколько точно жизненная линия будущего философа сливалась в те далекие годы с линией жизни будущего хирурга.

Университет Валентин Феликсович окончил осенью 1903 года. Разлука с alma mater не была слишком грустной. Друзей на курсе он не завел. В памяти остался лишь один эпизод из прощальной беседы: «Когда я расставался с товарищами, они спрашивали, какую дорогу изберу я в медицине, и единодушно протестовали, когда я сказал, что намерен всю жизнь быть участковым земским врачом. Они говорили, что я предназначен не для этого, а, несомненно, для научной работы. Я протестовал, потому что никогда не помышлял об этой работе, а хотел лишь лечить крестьян, хотя бы в самой убогой обстановке». Позднее этот эпизод был повторен в «Мемуарах» архиепископа Луки, и автор еще раз подчеркнул: «Я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям». В этих словах не было ни позы, ни желания покрасоваться перед сверстниками. Дав на двадцать первом году жизни зарок служить мужику, Войно-Ясенецкий не отрекся от него до конца своей медицинской карьеры.

Однако поехать в деревню сразу после окончания университета не удалось, помешала русско-японская война. Молодому врачу предложили службу в отряде Красного Креста. Нетрудно догадаться, кто именно рекомендовал включить Войно-Ясенецкого в отряд. Университетский профессор оперативной хирургии и топографической анатомии П. И. Морозов, тот самый, что на выпускном экзамене сказал Валентину Феликсовичу: «Вы теперь знаете больше, чем я…», заведовал хирургическими курсами в Мариинской общине сестер милосердия. На базе этой общины формировалась и первая группа медиков-добровольцев. Профессор, естественно, постарался укомплектовать группу лучшими своими учениками. Не давний студент охотно принял предложение учителя.

Отряд выехал на Дальний Восток 30 марта 1904 года. На большой фотографии, помещенной в журнале «Нива», где белые длинные юбки, ослепительные воротнички и наколки миловидных сестер милосердия чередуются со строгими сюртуками и мундирами добровольцев-мужчин, мы видим и младшего врача В. Ф. Ясенецкого-Войно. Он еще более возмужал, отпустил усы и бородку. На «исторических» снимках (война!) люди всегда стараются выглядеть более серьезными и значительными, чем в обыденной жизни. Для Валентина Феликсовича сосредоточенность и серьезность — естественное, обыкновенное состояние его духа. Таков он и на том общем портрете.

Месяц спустя с дороги (отряд направился в Читу) младший врач послал родным коротенькое письмо. На страничке, испещренной мелким, но четким почерком, ни слова о трудностях дороги, об отношениях с сослуживцами. Ничего временного, мелкого, случайного, что так естественно было бы в письме молодого человека, покидающего родной дом. Только почтительное удивление перед мощью природы, перед дикостью и размахом далекого края.

«Почти целый день сегодня едем тайгой. Какая глушь, какая дикая картина! Тайга не грандиозна, не величественна, но она глуха и мрачна; она какое-то лесное кладбище: бурелом, бурелом без конца, пни обломанные, мертвые стволы без вершин. Земля вся

мокрая, повсюду лужи, кочки. Когда карабкаешься по этим стволам, приходят на память те бродяги, что ходили по этой тайге тысячи верст, и не верится, чтобы человек мог столько перенести. Поезд быстро мчится по тайге, и нельзя оторваться от дикой картины и от ощущения быстрой езды. Целую вас крепко, крепко, крепко. Посылаю один из множества цветов, собранных сегодня в тайге.

Целую всех.

Валентин». Жизнь в Чите продолжалась около года и ознаменовалась для Войно-Ясенецкого двумя важными событиями. Здесь впервые он получил возможность испытать себя как хирург. Здесь же, в Чите, незадолго до окончания войны, в церкви, построенной декабристами, обвенчался он с Анной Ланской. О двух этих фактах в «Мемуарах» сказано кратко: «…В Киевском госпитале Красного Креста возле Читы… было два хирургических отделения: одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга значительно старше меня. Однако врач не ошибся, ибо я сразу же развил большую хирургическую работу на раненых и, не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные операции на костях, суставах и черепе. Результаты работы были вполне хорошими, ошибок я не делал, несчастий не бывало. В работе мне много помогала недавно вышедшая книга французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток». История женитьбы описана еще более кратко: «В Чите я женился на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли «святой сестрой». Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул свой лик и образ его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминание о ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой патологической ревностью».

В первый раз я увидел портрет Анны Ланской в Ташкенте, в квартире ее дочери Елены. С тех пор прошло несколько лет, но я ясно помню тот острый укол в груди, который ощутил при первом же взгляде на фотографию. В облике умершей молодой женщины, почти девочки, мне почудилась скрытая драма. Тогда я еще не читал «Мемуаров» и не видел писем мужа к жене. Не интуицией только, а каким-то (да простит меня читатель) мужским чувством уловил я, что передо мной существо, жившее напряженной и тайной жизнью сердца. В ранних портретах тщательно скрываемая под маской девичьего благонравия упорно проступала чувственность, склонность к экзальтации, к драме. На более поздних фотографиях, когда пошли дети, эти знаки тайной сердечной смуты смягчились, стушевались. Но и после того как притомилась она от жизни и быта, в черных глазах все еще читалась какая-то неудовлетворенность, будто чем-то обожгла ее жизнь, поманила и обожгла… Этот характер явственно отразился и на детях Анны Ланской. Те двое — Елена и Алексей, что унаследовали ее облик — темные «горячие» глаза, смуглую кожу и иссиня-черные волосы, переняли и ее натуру, страстную и способную в области чувств доходить до экзальтации. Жизнь сердца у этих детей своей матери оказалась значительно сильнее жизни ума.

Как же соседствовало это трепетное сердце рядом с человеком, для которого высшую ценность имели разум, воля и аскетически понятое чувство долга?

«Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера», — рассказывал Валентин Феликсович о жене своим близким. И, очевидно, не кривил душой. Так оно и было. А она?

Я читал где-то, что в тени знаменитости всегда таится страдающая женщина. Тень, падающая от крупной личности Войно-Ясенецкого, несомненно, заслоняет от нас душевный мир его подруги. И все же я, как мог, постарался понять эту драму. Внешние обстоятельства не давали разгадки. Анна была для Валентина Феликсовича его единственной женщиной — так говорят современники. Его письма к жене тоже мало что объясняют. Письма эти и через три, и через десять лет после венчания полны нежного, теплого дружелюбия. Между 1907-м и 1913-м годами у Войно-Ясенецкого родилось четверо детей: три мальчика и девочка. В одном случае отцу пришлось быть даже акушером и принять собственного сына. И все-таки нет гармонии в этих разумных, расчисленных супружеских отношениях. «Анна ревновала брата, ревновала ко всем: к больным, к сослуживцам, к случайным знакомым. Однажды даже травилась, вспоминает сестра Валентина Феликсовича Виктория Феликсовна Дзенькевич. — Я ездила к ним, когда они жили в Переславле-Залесском. Квартира просторная, Валентина в городе уважали… Анна была хорошая хозяйка, всегда цветущего здоровья. Но эта болезненная ревность…»

Дочь Войно-Ясенецких Елена, явно не желая впускать посторонних в интимную жизнь родителей, тем не менее подтверждает:

«Мама не лишена была ревности. Помню, она ревновала его к врачихе Михневич и к какой-то больной у папы, которую называли «гнилушкой». Папа очень тяготился этой ревностью, и мне кажется, что бедная мама ревновала напрасно, так как папа был очень строг к себе и очень любил маму». И еще. «Конечно, мама была морально не удовлетворена, так как папа всегда был занят. Мама не была веселой, не стремилась к развлечениям, но немножко радости ей, конечно, хотелось. Мама любила одеваться. У нее было много нарядных платьев, она хорошо шила. И дома всегда была подтянута, хорошо одета…» Я снова гляжу в горячие глаза Анны Ланской. Мне известна теперь в самых малых подробностях жизнь ее мужа. Он тяжело трудился в земских больницах, еще больше над своей огромной по материалу докторской диссертацией. Человек строго моральный, он отметал самую мысль о возможности измены. Предан был дому, семье, детям. Наконец, он любил ее. Что за глупость ревновать такого мужа?

Нет, она не была глупой, Анна Ланская. Но она была женщиной, до кончиков ногтей женщиной. Она ждала яркой, сильной, особенной любви. Она отказала двум военным врачам, сделавшим ей предложение в Киевском госпитале. Они были обыкновенными. Она ждала необыкновенного и дождалась его. Это он, одухотворенный, мужественный и чистый молодой доктор, ломавший себя ради счастья других, конечно же, должен был принести счастье и ей, Анне. Но почему-то этого не произошло. Валентин Феликсович всегда был погружен в дела. Он разговаривал с больными, врачами, медицинскими сестрами, а для нее у него не хватало времени. Так ей казалось. Да, он хороший семьянин и муж. Но утром за столом он читает книгу, потом уезжает на целый день в больницу, потом — частный прием больных, а вечером он удаляется в свой кабинет, чтобы снова читать и писать до глубокой ночи. Приезд гостей — редчайший случай, прогулка в лесу — почти невероятное счастье. А годы идут. И копится горечь в душе, прорываясь всякий раз наружу по какому-то пустяковому, глупому случаю. Сам Валентин Феликсович, и его сестра, и добродушная нянюшка в семье Войно-Ясенецких, и Елизавета Никаноровна — все считают Анну Васильевну ревнивой. А она вовсе не ревнива. Она только женщина, женщина, ожидавшая большой любви.

Студенты Киевского университета, узнав что их талантливый товарищ собирается посвятить жизнь земской медицине, имели достаточно оснований для недоумения. Кто же

не знает, что пойти в земские доктора значило погубить свою карьеру! Незадолго до выпуска приват-доцент Михайлов прочитал будущим врачам своеобразный курс «деревенской» хирургии. Лектор напомнил об убожестве уездной больнички; после настоящего учения об асептике и антисептике он нарисовал картину асептики и антисептики «применительно к обстоятельствам». Приват-доцент объяснял своим слушателям, как пользоваться упрощенными дешевыми стерилизаторами, как приготовлять и применять дешевый перевязочный материал (лигнин, пеньку, кудель, мох). После блеска университетских операционных молодые медики узнали об операционных, где кетгут и шелк приходится заменять льняными нитями, и конским волосом, и сухожилиями животных. Курс Михайлова предназначался для тех, кто собирался стать земским врачом. Однокурсники Войно-Ясенецкого, надо полагать, восприняли учение о кудели и конском волосе с юмором. Они не собирались покидать больших городов, где почтенная профессия частно практикующего или больничного врача гарантировала им комфорт и спокойную жизнь без всяких этих вызовов среди ночи и поездки на крестьянских лошадях за тридцать верст к не разродившейся в срок бабе.

Новый тип «мужицкой» медицины возник лишь за сорок лет перед тем. До 1864 года Российская империя, в которой 90 процентов подданных были сельские жители, вообще не имела в провинции научно образованных врачей. Создать сельскую медицину на беспредельных просторах страны при крайней рассеянности населения, при его низкой культуре и ничтожности земских средств казалось делом совершенно немыслимым. И тем не менее российская интеллигенция с энтузиазмом приняла на свои плечи судьбы народного здравия. «То, чему земство пришло на смену в области здравоохранения, было поистине ужасно», — писал известный земский деятель А. И. Шингарев. На всем громадном пространстве 350 земских уездов, где проживало тогда 38 миллионов жителей, существовало лишь 351 лечебное учреждение «приказа общественного призрения». В основном это были маленькие амбулатории в уездных городах. В сельских местностях больниц не было совсем, не было их и в некоторых уездных городах.

Энергия земцев произвела поразительный переворот в деревенской медицине. К 1890 году число лечебных учреждений в уездах возросло более чем втрое, а число больничных кроватей в два с половиной раза. Более семисот больниц и амбулаторий земцы открыли заново. Им приходилось все начинать сначала. Европа с ее долгой культурной историей и скромными географическими пространствами мало чему могла научить русских организаторов здравоохранения. Их учила жизнь. Между прочим, недостаток средств, больниц, медиков-специалистов привел к тому, что земский врач с самого начала стал практиком-энциклопедистом. Он должен был лечить больных по всем специальностям. И лечил, переходя в течение рабочего дня от офтальмологии к хирургии, от стоматологии к детским болезням. Хорошо это или плохо, судить не станем. Для той эпохи, для российской глухомани врачебный энциклопедизм был спасением. Можно лишь удивляться героям-врачам, которые в нищенских условиях земской больницы не только безукоризненно исполняли свой профессиональный долг, но еще находили силы делать большую науку. Двадцать три мужицких врача вышли впоследствии в видные профессора: К. Г. Хрущев (Воронежская губерния), С. И. Спасокукотский (Смоленск), А. В. Вишневский (Казань). Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был той же породы.

Впрочем, карьера его сложилась вначале не совсем удачно. Вернувшись, как тогда говорили, в «Россию», они с женой поселились в 1905 году в небольшом уездном городке Ардатове Симбирской губернии. Здесь молодому врачу поручили больницу на тридцать пять коек. Больница оказалась бедной, плохо оборудованной, однако, верный своему

врачебному темпераменту, Войно-Ясенецкий, ни на что не обращая внимания, сразу начал широко оперировать как хирург и глазник. Работал он с утра до вечера, но больных было так много, что уже через несколько месяцев он выбился из сил. Решил перейти в маленькую больницу. Такая больница на десять коек нашлась в деревне Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии, но и там оказалось не легче: собственно, трудности создавал себе сам врач. Чем больше и удачнее он оперировал, тем более росла его слава и тем больше пациентов спешило в больницу. В Верхний Любаж стали съезжаться жаждущие помощи из других уездов Курской губернии и из соседней Орловской. Главным бедствием здешних мест была слепота. Русская деревня с ее грязью и нищетой издавна была очагом трахомы. Тысячи незрячих — жертвы болезни-ослепительницы — бродили по дорогам, выпрашивая подаяние.

Собираясь стать земским врачом, Войно-Ясенецкий не забыл и об этом народном бедствии. Осенью 1903 года, сразу после выпускных экзаменов в университете, он начал посещать в Киеве глазную клинику. Амбулаторного приема и операций в клинике ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе в дом. «Наша квартира, — вспоминает сестра Валентина Феликсовича Виктория, — превратилась на какое-то время в глазной лазарет. Больные лежали в комнатах, как в палатах, Валентин лечил их, а мама кормила». Этот киевский опыт очень пригодился ему потом в земских больницах. В Ардатове и Любаже слава о глазных операциях, которые делал новый доктор, росла так стремительно, что хирург не успевал осматривать желающих оперироваться. Особенно после того, как прозревший в результате хирургического вмешательства молодой нищий собрал слепых со всей округи и они длинной вереницей, ведя Друг друга за палки, явились к врачу просить исцеления. В маленькой больнице, как и в большой, рабочий день хирурга начинался в девять утра и заканчивался глубокой ночью. Кроме операций, надлежало навещать больных в ближних и дальних деревнях, исполнять обязанности судебного и санитарного медика.

Очевидно, в эти первые годы нелегким оставался и быт молодой четы. Из письма Валентина Феликсовича, помеченного 1906 годом, видно, что минувшую зиму супруги жили в холодной квартире и сильно мерзли. Да и жалованье полагалось земскому врачу куда как незавидное. И в этой нищете, в этом одиночестве, когда буквально не у кого спросить и не у кого учиться (от Верхнего Любажа до ближайшего городка — 25 верст) — врачу то и дело приходилось принимать самые серьезные, порой жизненно важные решения.

Приват-доцент Михайлов, читавший студентам-киевлянам курс «крестьянской хирургии», и тот, пожалуй, удивился бы, узнав, в каких условиях приходится подчас оперировать его питомцу.

«Я приехал для осмотра земской школы в недалекую от Любажа деревню, — вспоминает Войно-Ясенецкий. — Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся на руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, кусок ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее я решил сделать трахеотомию и просил учительницу помочь мне, но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленатого ребенка к себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекшую как нельзя лучше. Вместо трахеотомической канюли я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахару застрял ниже, по-видимому, в бронхе».

Но тяготы провинциальной жизни не ограничивались только недостатками, так сказать, «профессионального» порядка. В России, где с древних пор управляют не законы, а люди, служащий человек никогда не знает своей завтрашней судьбы. Сначала Войно-Ясенецкий вроде бы был повышен: земская Управа перевела его в уездный город Фатеж. Но через несколько недель та же Управа, не слишком затрудняя себя поисками подходящего предлога, выгнала врача вон.

«Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев, — пишет в своих «Мемуарах» Валентин Феликсович. — Самый крайний из них был председатель земской Управы Татезатул, незадолго до того прославившийся своим законопроектом о принудительной иммиграции в Россию китайских крестьян для передачи их в рабство помещикам. Татезатул счел меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела, к заболевшему исправнику, и постановлением Управы я был уволен со службы. Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день один из исцеленных мною слепых влез на бочку и произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения. Под его предводительством- толпа народа пошла громить земскую Управу, здание которой находилось тут же, на базарной площади. Там был только один член Управы, от страха залезший под стол. Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из Фатежа».

Но легко сказать — уехать. У Войно-Ясенецких было уже двое детей. В 1907 году родился Михаил, а осенью 1908 года, в те самые дни, когда разыгрался скандал, появилась на свет Елена. На первых порах семья перебралась на Украину, в Золотоношу. Там нашлось место амбулаторного врача. Но без настоящей работы Валентин Феликсович томился, настоящей же считал только хирургию. Предстояло снова вступать в переговоры с каким-нибудь земством, тащиться, на зиму глядя, с малышами и жалким скарбом, может быть, через всю Россию… И вот в эту грустную, если не оказать — трагическую пору своей жизни Валентин Феликсович принял вдруг решение попытать счастья в Москве.

Ход мыслей его был таков: так как рядового врача может обидеть и выгнать любой земский и не земский чиновник, надо сделаться доктором медицины. Доктора медицины никто не позволит оскорблять и поносить. А для того, чтобы стать доктором, следует уехать в Москву и поступить в экстерны в клинику к известному хирургу Петру Ивановичу Дьяконову. Сейчас же. Не откладывая.

Это было поразительно наивное решение. Наивность в делах житейских сопровождала Валентина Феликсовича всю его жизнь. Житейски наивным оставался этот серьезный и по-своему мудрый человек и тогда, когда стал профессором, и тогда, когда облачился в архиерейскую рясу.

Но тогда, в 1908-м, собираясь в Москву, он попросту игнорировал реальные обстоятельства. Чтобы добиться докторской степени, нужно было посвятить научной работе по крайней мере два-три года. Где будет жить, чем станет кормиться все это время он сам и его семья? Ведь доходов никаких…

И все-таки Валентин Феликсович поехал. Оставил Анну с малышами у родных, а сам поступил в экстернатуру. Надо полагать, что на самое скромное существование зарабатывал он себе ночными дежурствами по клинике. Так от века кормились врачи-экстерны — жертвы излишней преданности науке.

Тут мы и подошли к главной причине, которая погнала Войно-Ясенецкого в Москву. Причину эту он сам от себя тщательно скрывал, ибо не укладывалась она в схему его жизни. По схеме надлежало ему быть только доктором для бедных, лечить и оперировать в самых убогих условиях, не думать ни о чем, кроме пользы каждого отдельного

пациента. Задушив в себе во имя схемы художника, он оказался не в силах убить также и ученого. Как ни подавлял он страсть к науке, она все равно выходила наружу. Незаметно для себя сельский доктор начал записывать сначала чем-то поразившие его медицинские случаи. Потом как-то само собой получилось, что он написал, в Любаже три статьи. Журнал «Хирургия» и «Врачебная газета» почти тотчас опубликовали их. Так же сама собой жизнь сельского доктора подсказала ему жгучую, насущно важную хирургическую проблему, которую надо было решать во что бы то ни стало и как можно скорее.

Все началось с беды. В первый же год работы в Ардатове у Валентина Феликсовича на операционном столе чуть не погиб крепкий, не старый еще крестьянин, которому предстояло удалить камни из почек. Наркоз давала не слишком опытная и очень невыдержанная фельдшерица. В тот самый момент, когда хирург полностью сосредоточился над разверстой брюшной полостью пациента, она вдруг страшно закричала и выронила из рук склянку с хлороформом: больной задыхался. Очевидно, сестра передозировала лекарство. Этот миг запомнился Войно-Ясенецкому надолго. Через десять лет в предисловии к своей диссертации снова вспомнил он, как в какие-то считанные мгновения должен был решить: продолжать операцию или бросить все, замарав стерильные, мытые-перемытые свои руки, выводить больного из наркозного удушья. Героическими средствами крестьянина удалось спасти. Но хирург с тех пор стал избегать наркоза. В деревне при плохих, неквалифицированных помощниках могла беда повториться в любой день. Но чем заменить наркоз?

С тех пор как в середине 10-х годов девятнадцатого столетия был открыт кокаин, среди медиков не прекращался спор о преимуществах наркоза и местного обезболивания. Не имея под рукой штата опытных наркотизаторов, провинциальные хирурги отдавали явное предпочтение местной анестезии. Хирург при этом становился хозяином положения, успех или неуспех в его работе уже не зависел от неудачи наркоза. Кроме того, возле операционного стола освобождается лишняя пара рук, которую можно привлечь непосредственно к операции.

В столичных клиниках вопрос о замене несомненно вредного наркоза практически безвредной местной анестезией не стоял так остро, В руках опытных наркотизаторов хлороформ (а позднее сернокислый эфир) не представлял такой опасности, как в условиях земства. А оперировать спящего в комфортабельных условиях клиники для городских хирургов было более привычно. Да и психика больного при этом не страдала так, как она страдает при местной анестезии, когда человек становится невольным свидетелем собственной операции. Первое десятилетие нынешнего века — пора самых пылких споров о методах обезболивания. В 1902 году хирург П. А. Герцен (внук русского публициста и писателя), известный в медицинской среде как ярый сторонник наркоза, вдруг предпринял десять крупных операций под местной анестезией. Вскоре затем, в 1905 году, был открыт новокаин, и старший ординатор Киевского военного госпиталя А. Я. Бердяев (близкий родственник Н. А. Бердяева) первый в России заговорил об обезболивании растворами этого препарата. Бердяев заявил себя горячим сторонником местной анестезии. Свою книгу об анестезии он даже предварил эпиграфом: «Где допустимо местное обезболивание, там недопустимо обезболивание общее». В 1906 году на шестом съезде российских хирургов возник горячий спор об анестезии спинномозговой. В те же годы немец Вир предложил новый вид обезболивания — внутреннюю местную анестезию, а русский хирург В. А. Оппель начал разрабатывать внутриартериальный метод местной анестезии. Одновременно, однако, активизировались и сторонники наркоза.

В том самом 1908 году, когда Валентин Феликсович решил отправиться и Москву, профессор-хирург И. К. Спижарный пытался примирить две противоположные точки зрения. На восьмом съезде российских хирургов (ссылаясь, кстати, на великолепные результаты, полученные врачом Ясенецким в Любанской больнице) он заявил: «Техника местного обезболивания не так уж проста: оперирование при этой анестезии труднее, чем при наркозе… но стремление избежать того рокового процента смертности, который неизбежно сопровождает общие анестезии, и известный вред средств, употребляемых при общем наркозе для всего организма, — заставляют врача поступаться своими удобствами для блага больного».

Врач из глухой деревенской больнички Войно-Ясенецкий не только отлично ориентировался в ратоборстве хирургических гигантов, но и имел на этот счет свое личное мнение. Он задался целью решить вопрос об обезболивании с помощью метода, который в 900-е годы был совсем еще новым, мало кому ведомым. В Любаже, куда ему присылали из Киева всю новейшую медицинскую литературу, он познакомился с еще не переведенной у нас книгой австрийского хирурга Генриха Брауна «Die Localanasthesie» («Местная анестезия»). Встреча с этой книгой стала для Валентина Феликсовича событием огромной важности. «Я с жадностью прочел ее, — писал он позднее, — и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы… У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей разработку новых методов ее». Не откладывая дела в долгий ящик, Валентин Феликсович принялся оперировать по-новому. В Любаже он с успехом произвел 538 операций (среди них много крупных) под местным обезболиванием. Очевидно, пользовался он в основном только зарождавшейся на Западе так называемой регионарной анестезией.

Однако в Москве, явившись к знаменитому Дьяконову, Валентин Феликсович не решился в первый же день говорить о своей теме. Петр Иванович Дьяконов, основатель и первый председатель Съездов хирургов российских, пожилой уже человек, крупный ученый, прошедший школу земской медицины, тоже не спросил о его научных интересах. Он предложил новичку разработать вполне солидную тему «туберкулез коленного сустава» и отпустил молодого человека с тем, чтобы тот познакомился с литературой. Можно без сомнения утверждать, что, остановись Валентин Феликсович на довольно традиционной, предложенной профессором теме, она скорее привела бы его к докторской степени, нежели спорная проблема обезболивания. Но для таких людей, как Войно-Ясенецкий, увлечься чем-нибудь — значит безраздельно отдать себя предмету увлечения. Литературу о туберкулезе колена он прочитал, но при следующей встрече с Дьяконовым откровенно признался, что эта тема его нисколько не занимает. «Но вот есть одна проблема…» И тут произошел разговор, который делает честь и престарелому директору клиники, и молодому экстерну. Книги Брауна, о которой начал рассказывать деревенский доктор, Дьяконов не читал. И о новейшем средстве обезболивания — регионарной анестезии — тоже ничего не слышал (какой соблазн объявить все эти «заграничные штучки» ерундой и шарлатанством для маститого профессора!). Но ученый не оборвал провинциала. Дослушав его до конца и видя, что собеседник горит желанием заниматься новым методом, профессор спокойно кивнул головой. В пору, когда науку просто делали, а не планировали и не утверждали в сотнях инстанций, когда она еще не успела обрасти бюрократическим аппаратом, одного этого жеста было достаточно, чтобы уже на следующий день экстерн начал работать в полюбившейся ему области.

Вскоре после знаменательного разговора Валентин Феликсович писал жене: «Из

Москвы не хочу уезжать, прежде чем не возьму от нее того, что нужно мне: знаний и умения научно работать. Я по обыкновению не знаю меры в работе и уже сильно переутомился… А работа предстоит большая: для диссертации надо изучить французский язык и прочитать около пятисот работ на французском и немецком языках. Кроме того, много работать придется над докторскими экзаменами… Во всяком случае, стать доктором медицины нельзя раньше, чем к январю 1910 года, если все это время быть свободным от всяких других занятий. Зато потом будет мне широкая дорога и не придется сидеть в дрянной участковой земской больнице».

Преданная Анна Васильевна, уже постигшая, надо полагать, за четыре года характер своего супруга, лишь грустно вздохнула, читая эти строки. В письме был весь Валентин — страстный, когда речь шла о науке, работе, и совершенно нереально видящий мир каждодневных житейских забот! Доктором медицины не стал qh ни к 1910-му, ни к 1912-му году. Вожделенная степень присуждена ему восемь лет спустя, почти на пороге революции 1917 года. А «широкая дорога», о которой мечтали они оба, открылась ему в иную пору, в иную эпоху, в иной ипостаси. Тогда уже, когда не стало в России земских больниц и не было в живых красавицы Анны Ланской.

И все же в Москве в тот раз продержался Войно-Ясенецкий довольно долго — восемь месяцев. Можно лишь удивляться, как много он работал и сколько успел за это время. Из клиники Дьяконова бежал в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии (где директорствовал профессор Ф. А. Рейн). Там делал анатомические исследования на трупах.

От Рейна спешил на кафедру описательной анатомии к профессору Карузину, изучать черепа. Интересно, что и Рейи, и Карузин, как прежде Дьяконов, впервые от Войно-Ясенецкого услыхали о регионарной анестезии.

…Отдаленность описываемой эпохи может вызвать у читателя мысль, что та научная проблема, которая 60 лет назад увлекла Войно-Ясенецкого, давно отжила свой век и представляет интерес сугубо исторический. Это не так. Опоры сторонников наркоза и местной анестезии продолжали кипеть в 20-х, 30-х годах и в какой-то форме докатились до нашего времени, французский хирург Э. Форг писал, что никакие усовершенствования наркоза не превысят положительных сторон местного обезболивания, ибо при наркозе мы поступаем так, как будто нам надо погасить свет в одном квартале, а мы повергаем во тьму весь город. Хирург А. В. Вишневский в конце сороковых годов торжественно провозгласил на заседании Московского хирургического общества, что наркоз в его клинике вообще больше не применяется, но другой столь же опытный хирург С. П. Федоров продолжал оспаривать и осмеивать увлечение местной анестезией. На заседании не менее публичном он привел старую немецкую пословицу, которая в переводе звучала примерно так: «Врач говорит: «Но ведь совсем не больно». Больной кричит: «Ай! Караул, довольно!» Давно сошли в могилу и Вишневский-отец, и Сергей Петрович Федоров, и многие другие участники спора, но и сегодня, когда Вишневский-сын с гордостью сообщает в научном журнале, что в его клинике под местной анестезией совершаются даже операции на сердце, находится достаточно голосов, готовых протестовать против этого хирургического излишества. Старый спор не утерял своей остроты, хотя и звучит сегодня по ряду причин несколько приглушенно.

Не потеряла своего значения и регионарная анестезия. По мнению нескольких видных современных хирургов, этот метод обезболивания принадлежит скорее будущему, нежели прошлому медицины. Он требует мастерства и знаний, которых попросту не хватает пока большинству хирургов. Врачи пришли к регионарной анестезии путем

долгих поисков. В течение многих столетий, желая оградить больного на операционном столе от боли, хирурги обращались к жгуту. Перед операцией перетягивали конечность на долгий срок, пока рука или нога не теряли чувствительность. Позднее анестезию — потерю чувствительности — пытались вызвать, сдавливая непосредственно те нервы, которые ведают передачей болевого импульса из района операции. «За неимением лучших средств больному предоставляли терпеть жестокую боль от ligature fortiori (жгута), в надежде, что она избавит его от боли, причиненной ножом; эта надежда редко сбывалась, но часто, вероятно, больные расплачивались за старание хирургов параличом нервов от сдавливания и даже гангреной конечностей. Пресечь передачу болевых импульсов из оперированного участка врачи пытались также, применяя холод. При малых операциях, вроде панариция, лекарственный холод помогает и сейчас. Но крупные вмешательства с холодным обезболиванием в практику не вошли.

В конце девятнадцатого века жгут и холод были заменены в операционной шприцем и иглой. Появились лекарственные препараты, способные прерывать болевую чувствительность. В нервные стволы стали вводить сначала опий и кокаин, потом стали пользоваться для анестезии новокаином. Генрих Браун предложил первые приемы точного попадания иглой в необходимый при данной операции нервный ствол. Возникла регионарная анестезия.

Однако очень скоро стало ясно, что этот вид обезболивания не так-то прост. Далеко не ко всем нервным стволам существуют удобные подступы. А некоторые нервы даже, по мнению Брауна, и вовсе недоступны благодетельным шприцам с новокаином. Регионарная анестезия потребовала от хирургов глубокого знания топографической анатомии, знания, где залегают и как проходят нервы, ведающие чувствительностью того или иного участка тела. Откровенно говоря, хирурги не слишком торопились освоить этот «слишком интеллигентный» для большинства из них метод обезболивания. Значительно большее распространение получила так называемая инфильтрационная анестезия. В этом случае хирург предваряет каждый шаг скальпеля в операционной ране очередной порцией новокаина. Тут думать особенно не о чем: не жалей только новокаина, коли налево и направо, обезболивай все, заодно анестезируешь и нервную ветвь, которую нужно выключить в данном случае…

Подводя итоги первых двадцати лет существования регионарной анестезии, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий писал: «Я не ошибусь, если назову регионарную анестезию совершенным методом местной анестезии. На смену прежним неуклюжим и примитивным способам послойного пропитывания, даже анестезирующим раствором, всего, что надо резать, пришла новая, изящная и привлекательная методика местной анестезии, в основу которой легла глубоко рациональная идея прервать проводимость тех нервов, по которым передается болевая чувствительность из области, подлежащей операции». Это было написано в 1915 году.

Но в 1908 году сторонников регионарной анестезии, как я уже говорил, было еще мало. Убедившись в преимуществах метода, Войно-Ясенецкий со всей своей энергией принялся утверждать его в российской хирургии. Не слово, но дело стало его аргументом. Он искал и находил все новые и новые подступы к нервным стволам, анестезия которых позволяла ему сразу обезболить больную поверхность тела. В своем поиске врач-провинциал не убоялся поднять руку даже на учителя. Генрих Браун — отец регионарной анестезии — усомнился в возможности подобраться со шприцем и иглой к седалищному нерву? Войно-Ясенецкий берется решить именно этот вопрос. Он много оперирует на трупах и в конце концов обнаруживает прием, с помощью которого можно «поймать»

седалищный нерв при его выходе из полости таза. Один укол новокаина в эту точку, и — мечта хирурга) — вся нога теряет чувствительность.

Дальнейшие поиски привели Валентина Феликсовича еще к одному открытию. Оказалось, что достаточно сделать одну-единственную инъекцию кокаина в так называемый срединный нерв, как целиком теряет чувствительность кисть руки. Другое открытие пришло после того, как ученый исследовал и промерил триста человеческих черепов. В результате этой гигантской работы стало ясно, как и где всего удобнее вводить новокаин и алкоголь во вторую ветвь тройничного нерва. Читателю, далекому от медицины, предыдущая фраза мало что объясняет. Но тысячи людей, страдающих от невыносимых невралгических болей, вызванных воспалением тройничного нерва, знают, какое облегчение может доставить один такой укол хорошего мастера-нейрохирурга. Кстати, эту операцию алкоголизация второй ветви тройничного нерва — Валентин Феликсович сделал своей сестре. (При выходе его из так называемого круглого отверстия «foramen rotundum».)

«Я очень мучилась от ужасных болей, а после операции, которая продолжалась всего несколько минут, совсем забыла о своей болезни», рассказывает Виктория Феликсовна.

Так научные исследования Войно-Ясенецкого с самого начала оказались направленными ко благу его коллег, рассеянных по империи земских докторов. Но самому Валентину Феликсовичу его работа в клиниках никаких материальных выгод не принесла. Совсем наоборот. В Москве он обнищал, так что пришлось срочно искать прибежища в очередной земской больнице. В декабре 1908 года еще один удар — умер профессор Дьяконов. Месяц спустя Войно-Ясенецкий покинул Москву. Путь его лежал на Восток, в Саратовскую губернию. Больница на десять коек, где отныне ему предстояло работать, находилась в селе Романовке неподалеку от города Балашова.

В своих «Мемуарах» и «Биографии» 1945 года Валентин Феликсович о службе в Романовке почти ничего не говорит. Между тем во врачебной судьбе его полтора года, проведенные в Балашовском земстве, сыграли заметную роль. Тут были собраны многие материалы, вошедшие в его диссертацию и будущую книгу о гнойной хирургии. Тут же в 1909 году родился сын Алексей. Что же представляла собой жизнь деревенского медика в эти годы?

Романовская слобода лежит неподалеку от того места, где сходятся ныне границы Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей. Громадное степное село на реке Хопер с двумя церквами и четырьмя кабаками в те давние времена населяли в основном украинцы, мужики богатые и грубые. Что ни праздник — на широких романовских улицах начинались пьянки, драки, поножовщина. По рассказам старого медика, работавшего в Романовской слободе вскоре после Войно-Ясенецкого, болезни в романовских обителях тоже имели тенденцию к масштабам, к размаху. Сифилис бытовой — так целое село сифилитиков. Пневмония — так ее на расстоянии видно, флегмона — так полведра гноя. Два врача, три фельдшерицы и фельдшер, работая без передышки целыми сутками, едва справлялись с наплывом больных. На прием в амбулаторию приходило по сто — сто пятьдесят человек. А засим — верхом или на телеге по деревням. Дел и там хватало, ведь на участке было двадцать сел и двенадцать хуторов. Операция делали, наркоз давали, щипцы акушерские накладывали частенько тут же, в хате…

Эти воспоминания старика врача дополняет «Обзор состояния земской медицины в Балашовском уезде за 1907—1910 и отчасти 1911 годы». «Обзор» документ до крайности откровенный, даже жестокий. Составляли его люди, явно раздраженные на начальство. Они не скрывали ничего: в точных цифрах показаны перенагруженность врачей, нищета

больницы и из-за этого низкий уровень медицинской помощи в уезде:

«Романовский участок. Площадь — 580 квадратных верст, радиус — 13,5 версты. Население — 30 506 человек. Более 70 % жителей расположено далее чем за 8 верст от дома врача. Амбулатория — 31 640 обращений в год». Много это или мало? «Участок в два раза превышает требования нормы по площади и в три раза по населению и количеству работы», — сообщает «Обзор». Что может сделать врач в такой обстановке? Принимая в час 25—30 больных, можно уделить каждому не более двух минут. Тут и осмотр, и назначение. Приемы длятся по пять — семь часов в день. «По моим подсчетам, — пишет составитель, — только в 45 случаях из ста можно поставить приблизительно точный диагноз, а 55 проходят мимо без диагноза. На долю одного врача нередко приходится принять до 200 человек… Помещение для амбулаторных приемов большей частью тесно и душно. В Балашовском участке, например, в одной комнате принимают три врача, двое из них за одним столом. Тут же за ширмой гинекологические исследования, рядом в перевязочной делают разрезы, прививки детям, все это сопровождается криками, плачем. В ожидальнях давка и шум, бывают случаи обмороков от недостатка воздуха. О каком-либо выслушивании больного здесь не может быть и речи».

В этой тесноте, духоте и шуме полтора года работал и Валентин Феликсович. Кроме врачебного приема и выездов, на него падала в больнице и вся хирургия. «Я делал в Романовке не менее 300 операций в год», — упоминает он в своей «Биографии». «Обзор» подтверждает: в 1909 году хирург произвел 292 операции. В начале следующего года операционный темп возрос еще больше. Много это или мало — три сотни оперативных вмешательств за год? Ответ дает «История русской хирургии». Автор книги известный хирург, профессор Военно-медицинской академии в Петербурге В. А. Оппель, познакомившись в те же годы с отчетом Мелекесской земской больницы, мало чем отличавшейся от больницы в Романовке, писал: «Какую надо иметь железную энергию, какой энтузиазм в работе, чтобы в старом здании больницы на 30 коек довести количество операций до 300 в год?1» «Железная энергия», «энтузиазм в работе» — Войно-Ясенецкий имел полное право принять эти слова на свой счет.

Мне не удалось разыскать годовых больничных отчетов, которые Валентин Феликсович выпускал в Романовке в 1909—1910 годах. Не нашел у себя этих отчетов и старый балашовский житель, знаток балашовской старины, профессор-хирург Николай Александрович Софийский. Однако на мою просьбу сообщить, на каком уровне стояла в Романовке хирургическая помощь, он ответил обстоятельным письмом. Есть там такие строки:

«Романовская больница сделала в 1909 году 4 резекции верхней челюсти и 4 трепанации черепа по поводу опухоли мозга. В том году Войно-Ясенецкий был единственным хирургом больницы. Второе, что я запомнил, Валентин Феликсович просил ассигновать нужную сумму денег на покупку микроскопа и микротома для Романовской больницы, и в этом ему было отказано. А я узнал, что и то и другое купил он на собственные деньги и успевал готовить препараты и исследовать их. Один! Один! В балашовской больнице на 25 коек мы стали заниматься микроскопическим исследованием опухолей в 1946 году, а Валентин Феликсович делал это в 1909-м!»

Таково то немногое, что мы знаем о жизни и работе Войно-Ясенецкого в Романовке. А может быть, и не так этого мало, если добавить, что все свои отпуска наш герой проводил в Москве, исследуя трупы и черепа, изыскивая новые методы регионарной анестезии.

Еще в молодости сложилась в характере Валентина Феликсовича черта, роднящая его со всеми «одержимыми» науки: всякий раз, когда жизнь ставила выбор — призвание или

житейские блага, он выбирал призвание. Так было в Фатеже, в Романовке, так продолжалось в Переславле-Залесском.

В этот маленький городок Средней России Валентин Феликсович привез семью в ноябре 1910 года. Мы не знаем причины переезда, но совершенно ясно, что не тяга к городским благам привела сюда деревенского доктора. Переславская больница мало чем отличалась от Романовской. Правда, здесь было тридцать кроватей вместо шестнадцати, но остальные условия те же: ни электричества, ни рентгеновского аппарата; воду доставлял водовоз с бочкой, а почти ежедневная чистка вонючей ямы, заменяющей канализацию, на несколько часов парализовала всю жизнь лечебницы. Да и пациенты переславские ничем не отличались от романовских.

Больница служила центром медицинской помощи для всего уезда. Так что на приемы к врачу стекались в основном окрестные крестьяне.

В половине девятого утра больничный кучер Александр подавал к дому заведующего экипаж. Войно-Ясенецкие занимали довольно просторный деревянный дом помещицы Лилеевой на Троицкой улице, неподалеку от того места, где теперь шоссе Москва — Ярославль прорезает старинный земляной вал. Расстояние от дома до больницы не больше версты, но и это время у врача зря не пропадало. Он брал с собой я экипаж 15—20 карточек с немецкими и французскими словами и учил их в дороге.

«Впечатления моего детства очень однообразны, — вспоминает старший сын Валентина Феликсовича Михаил, — отец работает. Работает днем, вечером, ночью. Утром мы его не видим, он уходит в больницу рано. Обедаем вместе, но отец и тут остается молчаливым, чаще всего читает за столом книгу. Мать старается не отвлекать его. Она тоже не слишком многоречива».

Более подробно о стиле этого до странности «тихого» дома рассказала мне 76-летняя Елизавета Никаноровна Кокина, бывшая горничная Войно-Ясенецких. Она прослужила у Войно-Ясенецких семь лет и даже побывала с ними в Ташкенте. Своих бывших хозяев вспомнила Елизавета Никаноровна через пятьдесят с лишним лет с глубокой нежностью. («Барин! Он! Ах, милые вы мои…» — воскликнула она, увидев фотографии доктора и его жены.) И вот развернулась передо мной жизнь этой семьи с 1911-го по 1918-й год, жизнь, увиденная глазами неглупой и наблюдательной деревенской женщины.

«Анна Васильевна была изо всего города самая интересная. Роста высокого, крепкая на вид, но уставала быстро. А как не устать? Обшить и кормить шестерых — не шутка. Это не то что теперь — пошел да купил в магазине трусики или что тебе нужно… Нрав имела тихий, но лжи никакой не переносила. Вранье для нее — острый нож». За то время, что Лиза жила в их доме, хозяйка выгнала не меньше десяти кухарок и горничных. И все только за одно, за неправду. Если ты в доме что разбила или сломала — не бойся, только повинись. Хозяйка ничего тебе не сделает. Даже если деньги на базаре потеряла. Но если скажешь: «Калитку я закрыла», а калитка окажется незапертой — конец, выгонит Анна Васильевна в одночасье, не посмотрит, что ночь на дворе…

Мужа любила без памяти. Ни в чем ему не перечила. Может, и были между ними какие нелады, но при детях и при прислуге — ни-ни. Барин был суровый. К делам домашним не прикасался. Лишнего слова никогда не говаривал. Если ему что за обедом не понравится — встанет и уйдет молчком. А уж Анна-то Васильевна в тарелку заглядывает: что там ему не по душе пришлось…»

Завтракал барин один в восемь часов. Обедать приезжал в пять. После обеда немного отдыхал. Потом в кабинете больных принимал. После вечернего самовара уходил к себе в кабинет. Пишет там, читает, пока весь керосин в лампе не выгорит. Часто его ночью в

больницу вызывали. Молча соберется, едет. Никогда не сердился, если вызывали. «Он справедливый был», — несколько раз повторяет Елизавета Никаноровна.

Жили тихо. Раз в месяц приезжала игуменья знакомая из Федоровского монастыря, чайку попить. Большого ума была женщина. Да еще захаживал доктор Михневич с женой Софьей Михайловной. Они вместе в больнице работали. А больше никто не яодил. Воспоминания о жене Михневича почему-то поворачивают мысль Лизы в новом направлении. «Барин не мог видеть чужих женщин. Если бы он хотел — мог бы жениться на любой. Вон он был какой большой да пригожий. Но про это он и думать не хотел. Строг был». Вспоминалось Лизе и такое. Однажды в урочный час позвонила у дверей девушка, попросила провести ее к доктору. Через минуту в кабинете — шум, крик. Девушка выскочила в прихожую да оттуда бегом на улицу. А Валентин Феликсович к барыне в комнату прошагал, сердитый, и там стал громко рассказывать, что девушка потребовала «нагулянного ребенка вытащить». Долго доктор не мог после того успокоиться.

Старушка рассказала немудреную историю, которая приключилась в те годы с ней самой. В шестнадцатом году, двадцати двух лет отроду, сошлась она с парнем из своей деревни и понесла от него. Зная, однако, как не любит Анна Васильевна неправды, Лиза во всем ей повинилась. А повинившись, пошла собрать свои вещички: кто же станет ее держать при детях такую гулящую… Идти, однако, было некуда. Мать в деревне ее и на порог не пустила бы с приплодом.

Прошел день, другой, Лизу никто не гнал. А на третий, посоветовавшись с мужем, барыня предложила Лизе остаться и рожать у них. Покидая Переславль в 1917 году, Войно-Ясенецкие взяли девушку с собой в Ташкент.

А как относились в доме к детям?

С детьми, рассказывает Елизавета Никаноровна, барин и барыня были очень ласковы. Никогда их не наказывали, даже слова грубого не говорили. Только Мишу за баловство мать в чулан иногда ставила. Да скоро и выпускала. Про чулан Михаил Валентинович не помнит, но ласковый, доброжелательный тон, принятый в семье, глубоко запал в его память. Развлечений, поездок, подарков в детстве, однако, было мало. Как редчайшее событие вспоминается, что однажды отец катал детей на лодке. В первый раз увидели они: папа сильный, прекрасно управляется с веслами, хорошо плавает. Невелико чудо доктору Войно-Ясенецкому в те годы не исполнилось и тридцати пяти лет. Таким же почти недостоверным подарком брезжит где-то в далеком прошлом семейное посещение кинематографа. Едва ли родители не хотели доставить детям удовольствия. За скудостью детских радостей угадывается скорее занятость отца и скудость материальных возможностей семьи.

«Мебель в переславском доме была до последней степени неказистая, вспоминает Михаил Валентинович. — Сбережений ни тогда, ни потом отец не имел». И, как бы перекликаясь с этим признанием, звучит певучий голос Елизаветы Никаноровны: «Им, Ясенецким, форсить-то не из чего было. Вина, табаку в доме не держали, сластей тоже никогда не было. Книг только ему по почте много шло. Книг было много. Ни в театры, ни в гости они не ездили. И к ним редко кто ходил…» Бедность годами держала семью в тисках. В 1913-м, после рождения четвертого ребенка, пришлось рассчитать кухарку. Весь год копили деньги на поездки Валентина Феликсовича в Москву для научных опытов, а потом в Киев для сдачи докторских экзаменов. Денежные дела Войно-Ясенецкий всю жизнь считал малозначительными, но постоянная бедность и у него вырвала в конце концов строки раздражения. В 1914 году в письме из Киева, жалуясь жене на плохое самочувствие и настроение, он добавляет: «Порче настроения помогает и пальто мое,

которое как-то вдруг все больше стало расползаться и вытираться и постоянно напоминает мне о том, что у нас и гроша за душой нет. Товарищи по Университету, которых я встречаю, все отлично одеты и все недовольны, что мало у них, частной практики: всего на 250—300 рублей в месяц».

Эти с иголочки одетые киевские медики, очевидно, с жалостью поглядывали на провинциального собрата. Бедняга, тянет свою лямку где-то в глуши. А ведь подавал большие надежды… Пять типографски отпечатанных толстых тетрадей: «Отчеты о деятельности Переславской земской больницы с 1911 по 1915 год» позволяют нам во всех деталях представить, как именно «тянул служебную лямку» Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.

Переславская больница и до приезда нового врача была не из худших. Здесь, по словам отчета, уже десять лет работали «дельные хирурги». И операций производили они вполне достаточно. За 1907 год, например, — 254, за 1909 год — 266. Но вот пришел новый заведующий, и в 1911 году число оперативных вмешательств возросло до 370, а в 1913-м — до 424. И это только в стационаре. В амбулатории Войно-Ясенецкий вместе с фельдшером делал за год от 636 до 693 «малых» операций. Таким образом, число хирургических вмешательств в Переславской больнице за год превышало тысячу.

Почти шестьдесят лет спустя я обратился к главному врачу Переславль-Залесской районной больницы Ярославской области. Я просил сообщить, как теперь работает лечебница, сколько в ней врачей, коек, какие операции там делают. Ответил мне врач-хирург Потков. Письмо его дышало самоуважением. Нынешняя больница в Переславле, конечно, не чета старой. Есть тут и водопровод, и канализация, и электричество. Число коек выросло в десять раз и достигло 320, сотрудников в стационаре —80 и в поликлинике еще 34! А хирург тут нынче не один, как в 1913 году, а семеро их, хирургов. Да еще уролог и анестезиолог есть. Достижения налицо, тем более что больница строится, развивается и врачей будет скоро еще больше. А как работают врачи? Сколько операций делает вся эта хирургическая братия?

— Изрядно, — отвечает доктор Потков, — за 1971 год в стационаре семь хирургов произвели 909 вмешательств. И три-четыре хирурга поликлинические добавили за тот же год 635 «малых» операций. Итого — полторы тысячи. С первого взгляда действительно изрядно, но если сравнить с 1913 годом, получается смешновато: один Войно-Ясенецкий делал тысячу операций в год, а десяток сегодняшних хирургов — полторы тысячи.

Впрочем, для представления о профессиональном уровне больницы важно не столько количество операций, сколько то, что медики называют «хирургическим потолком». Для современного хирурга «потолок» Войно-Ясенецкого попросту недостижим. Главный врач Переславской больницы делал в своей операционной решительно все, что делали хирурги начала двадцатого века. В первый же год он предпринял 78 различных операций на глазах, многократно удалял щитовидную железу, несколько радикальных операций на среднем ухе, вырезал раковые опухоли в желудке и в мозгу, оперировал как акушер, уролог, гинеколог. Многое сделал в хирургии желчных путей, желудка, селезенки, головного мозга. При этом опробовал все виды анестезии и наркоза и окончательно убедился в несомненных преимуществах еще мало изученной регионарной анестезии. Работу, которую делал в Переславле земский врач Войно-Ясенецкий, в наше время могут повторить разве что специалисты шести или семи хирургических специальностей. Думаю, что и в пору хирургического энциклопедизма находилось мало врачей, владеющих скальпелем столь же универсально.

Это немало в жизни хирурга — знания, техническое мастерство. Удачи в

операционной создают не только хорошую репутацию, но и душевное равновесие. Киевские врачи, суетившиеся по поводу пациентов и гонораров, могли бы в этом смысле позавидовать провинциальному коллеге. Он, покидая после очередного успеха больницу, уносил в душе чувство удовлетворения, радость человека, которому для свершения добра отпущены немалые силы. Из постоянного ощущения своего таланта, своих возможностей выросло с годами то величественное, непоколебимое спокойствие профессора и епископа Войно-Ясенецкого, которое пронес он, к удивлению современников, через всю вторую половину своей жизни.

Отношения с властями в Переславле сложились для Валентина Феликсовича благоприятно. Его уважали «отцы» города, более цивилизованная, чем в Фатеже и Балашове, Переславская земская управа охотно ассигновала деньги на реконструкцию и оборудование больницы. За два-три года был построен новый заразный барак, двухэтажное здание прачечной и дезинфекционной камеры. Было капитально отремонтировано и вновь обставлено хирургическое отделение, оборудован рентгеновский кабинет. Все то, о чем тщетно годами просили у земства его предшественники, Войно-Ясенецкий получил без унижений. За него ходатайствовала его непрерывно возрастающая слава хирурга. Любили своего врача и горожане. Более чем через полвека я встречал в Переславле пациентов Валентина Феликсовича. Они с благодарностью вспоминали его имя. Гимназистка 1914 года и ученик на телеграфе, впоследствии делавший тут революцию, бывшая крестьянская девочка, ныне домашняя хозяйка, и сын священника, унаследовавший занятие отца, эти теперь уже очень старые люди говорили о том, что в дни их юности имя доктора Войно-Ясенецкого в городе было окружено глубочайшим почтением.

Сотни операций, тысячи амбулаторных больных… Из года в год все возрастающий поток страдальцев неизбежно притупляет у врача интерес к отдельной личности, к данному конкретному больному. Такова неизбежность профессии, даже самые добрые, самые человечные врачи становятся ее жертвой. А Войно-Ясенецкий?

Добреньким Валентина Феликсовича никак не назовешь. Его врачебный стиль, судя по некоторым письмам и воспоминаниям предреволюционных лет, отдавал скорее рациональным холодком исследовательской лаборатории и анатомички, нежели состраданием врача-благодетеля из Армии спасения. В 1912 году, во время ежегодной своей научной командировки в Москву, он писал жене:

«Работа у меня идет отлично, уже исследовал около 25 трупов и нашел важный и верный способ анестезирования седалищного нерва… Скажи по телефону Иванову, что я прошу его, если встретится какая-нибудь операция на ноге (на бедре, на голени, на стопе), не делать ее до моего приезда, так как хочу испытать свой новый способ анестезирования седалищного нерва». Итак, голень, бедро, стопа стоят перед умственным взором хирурга, возвращающегося в свою больницу. Ему хочется испытать… Еще в древности, зная эту страсть медиков к исследованию, авторы книг о врачебной профессиональной этике требовали от своих коллег ни в коем случае не поддаваться у постели больного научному интересу, а помышлять лишь о жизни и здоровье пациента. Похоже, что наш герой не слишком-то прислушивается к призывам Гиппократа и Галена…

Но вот передо мной документы, которые с удивительным педантизмом весь свой век составлял доктор Войно-Ясенецкий: больничные истории болезней. Их сохранилось за разные годы его жизни несколько сотен. Читаю их и нахожу то, что меньше всего можно было бы ожидать в таком документе: житейские обстоятельства, характеры, портреты больных. Вот шестидесятилетняя старуха Фекла А. Из своей деревни она пешком за три

километра пришла на прием в земскую амбулаторию. Температура — 39 градусов. Мы видим эту старую, больную женщину, слышим даже ее голос, ее интонацию. Уже десять дней у нее болит шея и «вся нездоровая». Своими натруженными руками Фекла снимает платок, и вместе с врачом мы видим на слипшихся от гноя волосах лист подорожника. Под ним — огромный карбункул.

Через много лет этим, не побоюсь сказать, художественным портретом профессор Войно-Ясенецкий откроет свою знаменитую монографию «Гнойная хирургия». Несколько поколений хирургов станут на примере Феклы изучать вопрос о том, как лучше всего иссекать карбункулы головы. Но нам важнее понять другое: зачем врачу так полно, так живописно изображать облик старой крестьянки, набрасывать в истории болезни детали, не имеющие никакого отношения к предстоящей операции?

История болезни крестьянки Елены Я. из Смоленской губернии — целая драма. Елене 36 лет, но она уже десять раз рожала. Однако не только многочисленные роды рано состарили эту крестьянку. Из десяти детей она похоронила семерых. У Елены Я. — туберкулез легких, бугорчатка. Ей бы лечиться и лечиться. Врач уже наметил хирургические и терапевтические методы, с помощью которых он надеется помочь несчастной. Но неожиданно больная выписалась из больницы. Тут врач вправе поставить точку, тем более что Елена не единственная беглянка. «Процент больных, не соглашавшихся на операцию, — очень велик, — жалуется Валентин Феликсович в одном из годовых больничных отчетов. — Это можно объяснить только некультурностью населения». Казалось бы, все ясно. Но хирург хочет знать, что же все-таки произошло с Еленой Я. Просто испугалась? Но ведь она специально добиралась до Переславля, прослышав от людей о том, что в здешней больнице хорошо лечат… Валентин Феликсович наводит справки и через несколько дней дописывает строку, которая не имеет никакого отношения к его профессиональному долгу, но зато имеет прямое отношение к долгу человеческому: Елена Я. должна была выписаться из больницы потому, что находившаяся у чужих людей ее маленькая дочка умерла. Мать похоронила восьмого ребенка и покинула город. Очевидно, после смерти девочки собственная судьба стала ей окончательно безразлична. Истории болезни, составленные Войно-Ясенецким, многое говорят о пациенте, но еще больше о враче. Они свидетельство живого интереса его к каждому, пусть даже ничем не примечательному человеку и его способности тайно сострадать и сочувствовать. И еще говорят эти истории о жизни российской деревни. В селе Бибирево великовозрастный сын заспорил с 72-летним отцом Егором Л. Обычный мужицкий спор из-за клочка земли, из-за крытого соломой сарая. Сын бросился на отца с плотничьим долотом в руке. Норовил непременно ударить старика в лицо.

Егора Л. привезли в больницу с проломленной в двух местах нижней челюстью. Врач сделал необходимую операцию, и старик стал поправляться. Через месяц возникла последняя запись: «Свободно ест, может жевать хлеб».

А вот Спиридон Н., сорокалетний крестьянин, житель Переславля. 24 июля в пьяном виде он собственными руками выдрал себе оба глаза. Врачу оставалось лишь завершить самочинно начатую «операцию». Повод, который привел к трагической развязке, мог бы и не занимать хирурга: мало ли что делают с собой и с другими пьяные мужики. Но Валентин Феликсович не упустил случая выяснить, из-за чего все-таки произошло несчастье. В истории болезни читаем: Спиридон изуродовал себя, «чтобы не видеть женщин, к которым имел слабость». Пройдут годы, и в Ташкенте, осматривая в больнице узбеков, и потом на Енисее, оперируя охотников и рыбаков, а позже, во время Отечественной войны, в красноярских и тамбовских военных госпиталях Валентин

Феликсович станет так же подробно записывать странные, ужасные и сметные обстоятельства жизни, болезни и ранения своих пациентов, ибо никогда не существовало для него в больнице «медицинских случаев», а были живые страдающие люди, и никогда не терял он интереса к неповторимой личности и судьбе больного человека.

Публикуя диссертацию «Регионарная анестезия», Валентин Феликсович включил в список трудов и отчеты о деятельности Переславской больницы. Вместе с отчетами попали в печать несколько сотен составленных им историй болезни. Отчеты — несомненно, научный труд, дающий глубокий анализ жизни больницы за несколько лет. Но историку, читающему эти документы, открывается в них еще одна отнюдь не медицинская сторона. Истории болезни, если рассматривать их en masse, дают как бы коллективный портрет переславского сельского и городского обывателя. Большинство записей обнажают быт мужика: «ушиб ногу упавшим бревном», «ударила в лицо копытом лошадь», «упал с воза», «свалился со стога». И грыжи, бесчисленные пупочные и паховые грыжи тяжело работающих людей. Но есть еще одна многочисленная группа больных, чьи раны — следствие иных обстоятельств. «В праздник получил удар колом по голове», «тесть ткнул вилами в бок», «пьяный сам упал с крыльца», «на Петров день получил удар в грудь ножом», «ранен топором в голову», «Егор О., 36 лет, из деревни Большево Петровской волости, сильно пьянствовал, но в последнее время бросил пить. Несколько дней был очень задумчив, тосковал, не спал по ночам… В 6 часов вечера перерезал себе горло кухонным ножом, затем бросился бежать по деревне и упал, истекая кровью…»

За этими колами, ножами и вилами опять возникает некая групповая характеристика переславца, но уже не бытовая, внешняя, а как бы внутренний портрет его, отпечаток душевного склада.

…Докторские экзамены сдал Валентин Феликсович отлично. Правда, за два-три дня до главных испытаний — оперативная хирургия и вскрытие трупа у него сделалась рожа лица. Но больной, с высокой температурой, он все-таки экзаменовался, и профессора вынуждены были признать, что дело свое земский доктор знает прекрасно. Вторая половина 1914 года и начало 1915-го ушли на писание диссертации, а весной 1916 года — новая поездка, теперь уже в Москву, на «защиту». Оппонентами Войно-Ясенецкого были известный хирург Мартынов и анатом Карузин. В «Мемуарах» Войно-Ясенецкий вспоминает:

«Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации обычно пишутся на заданную тему, с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее».

А профессор Карузин, очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая руку, усердно просил прощения за то, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранились черепа, и не подозревал, что там творится такая блестящая работа. За свое сочинение я получил от Варшавского Университета крупную премию имени Хойнацкого в 900 рублей золотом, предназначавшуюся за лучшее сочинение, пролагающее новые пути в медицине». То, что московские «светила», много лет равнодушно взиравшие на искания провинциального хирурга, вдруг «прозрели» на защите его диссертации, неудивительно: работа Войно-Ясенецкого действительно крупное событие для своего времени. Кстати, могли бы они заметить его и пораньше. В 1909 году, например, когда переславский хирург докладывал о своих работах в Московском хирургическом обществе, или в 1912-м, когда

сделал большой доклад на Двенадцатом съезде русских хирургов. Но для нас важно знать, что сказало об этих работах Время — главный научный оппонент всех диссертантов. Я уже приводил мнение некоторых современных хирургов о будущем регионарной анестезии. А вот мнение, так сказать, официальное. «Во всех работах Войно-Ясенецкого, — пишет автор монографии «Очерки развития местного обезболивания в СССР» (1954) А. А. Зыков, — подкупает математическая точность его исследований и наглядность доказательства, благодаря хорошим анатомическим иллюстрациям… Значение книги Войно-Ясенецкого для русской хирургии велико. Эта книга не только знакомила с существом регионарного обезболивания, но и давала правильную критическую оценку существовавших методов… Для практических врачей эта книга являлась руководством к действию».

На отличные иллюстрации — рисунки и фотографии, которыми снабжена диссертация, — обращали внимание все, кому попадалась в руки «Регионарная анестезия». Фотографировать начал Валентин Феликсович в Переславле. Мастерством этим, как и всем, за что брался, овладел капитально. Завел свою фотографическую аппаратуру. По многу раз фотографировал анатомические объекты и всякий раз записывал в специальную книжку, какая была выдержка, освещенность, диафрагма, каким получился снимок. Фотографии в диссертации четки и убедительны. Но еще лучше рисунки. Они изящны и почти стереоскопичны. Через полтора десятка лет после последнего киевского этюда несостоявшийся художник Войно-Ясенецкий еще раз показал, на что он способен…

«Я хотел бы надеяться, что моя книга станет известной моим землякам и товарищам и поможет им успешно удовлетворить те огромные запросы на хирургическую помощь, которые так настойчиво предъявляет им жизнь, — написал диссертант во вступлении к своей работе. — Внимание земских врачей было бы для меня лучшей наградой за положенный на нее труд и важнейшим оправданием в большой затрате времени на нее». Да, он по-прежнему чувствовал себя земцем, мужицким лекарем, каковым желал оставаться и впредь. Единственно, что хотелось, — это перебраться куда-нибудь на Украину, в родные для них с Анной места. И тем не менее слова, обращенные к коллегам-земцам, оказались словами прощания.

Произошли события, смешавшие все планы. «В начале 1917 года к нам приехала старшая сестра моей жены, только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, умершую от скоротечной чахотки. На великую беду она привезла с собою ватное одеяло, под которым лежала ее дочь. Я говорил своей Анне, что в одеяле привезена к нам смерть. Так и случилось: сестра Ани прожила у нас всего две недели, и вскоре после ее отъезда я обнаружил у Ани явные признаки начинающегося туберкулеза легких».

В ту пору существовало ошибочное мнение, что туберкулез лучше лечится в сухом, жарком климате. Распознав у жены признаки легочной болезни, Валентин Феликсович немедленно начал искать в газетах объявление о должности врача в Средней Азии. Ему попалось сообщение о конкурсе, которое дала Ташкентская городская управа. В Ташкент были посланы документы, и скоро доктор медицинских наук Войно-Ясенецкий получил приглашение занять должность главного врача и хирурга Городской ташкентской больницы.

В путь двинулись весной, в марте. Один из сыновей вспоминает: когда в Переславле укладывали в ящики многочисленные книги, вошел отец. «Николай отрекся от престола», — сказал он. Начиналась новая эпоха.

Глава вторая. Две правды (1917—1923)

«Свою русскость я вижу в том, что проблема моральной философии для меня всегда стояла в центре… Всю жизнь я утверждаю мораль неповторимо-индивидуальную и враждебную с моралью общего, общеобязательного».

Н. Бердяев. «Самопознание»

: «Нет! Саша, веру без дел я не постигаю… Вера дел, а не вера, выраженная одним помыслом и молитвою, — вот моя вера… И еще было бы лучше если бы добрых (истинно добрых) дел было столько в моей жизни, чтоб они мне не давали времени молиться, тогда бы вся жизнь моя была молитва, в настоящем, в глубоком, в христианском смысле этого слова, то есть вдохновенная, богоугодная жертва любви в земной жизни».

Н. И. Пирогов. Письмо к невесте 20 апреля 1850 г.

Из Москвы до Ташкента поезд тянулся целую неделю: уже начинался развал транспорта. Классный вагон, где от старого, доброго времени остались лишь занавески с помпонами, был набит до отказа. Мешки, духота, детский плач. Чтобы пройти в донельзя загаженный умывальник, приходилось переступать через тела вповалку лежащих на полу людей. При посадке в Москве младшего Войно-Ясенецкого, трехлетнего Валентина, передавали в окно. Валентин Феликсович страдал от нечистоты, от вынужденного безделья. Анна Васильевна извелась от капризов малышей. Ташкент возник как земля обетованная. Когда выбрались из вагонной сутолоки, отдышавшись и оглядевшись, узрели чудо: над городом замерла теплая, благоуханная ночь. И луна, и минареты как из арабской сказки. На привокзальной площади новоприбывших ожидали две запряженные сытыми лошадьми линейки. Дом главного врача встретил свежевымытыми полами и постланными постелями. Дети с восторгом бегали по квартире (шесть комнат) и щелкали выключателями: впервые увидели электричество.

Большой переезд — большие надежды. И та теплая, незадолго до Пасхи, ночь обещала усталым путникам вроде бы все, о чем мечталось: Анне Васильевне — выздоровление, Валентину Феликсовичу — спокойное место для научной работы и врачебной работы, детям — радость жизни с родными в большом чудесном городе, который рисовался почти Багдадом из «Тысячи и одной ночи». Возможно, в иную эиоху все эти скромные желания сбылись бы. Но на российском календаре значился год девятьсот семнадцатый, исторический барометр катастрофически падал, предсказывая долгую и безжалостную непогоду.

Городская, или, как ее еще называли, Ново-Городская, больница представляла собой барачный городок для заразных больных. Построенная без затей, но добротно, больница эта и по сей день служит городу. Незадолго до приезда Войно-Ясенецкого молодой талантливый врач Моисей Ильич Слоним развернул тут терапевтическое отделение. Теперь Валентину Феликсовичу предстояло организовать отделение хирургическое. Они очень подошли друг к другу: больница в центре города, где каждую минуту можно было ожидать самых различных и самых тяжелых больных, и Войно-Ясенецкий с его всегдашней деловитой готовностью действовать и сильно развитым чувством врачебной ответственности.

Чтобы хирург был «всегда под рукой», дом главного врача построили на территории больницы. Валентин Феликсович, домосед и труженик (если не в операционной, так в анатомичке, а коли не там, то у себя дома за письменным столом), всегда был под рукой. К нему в Ташкенте быстро привыкли, и сам он, казалось, безо всякого труда сменил

больничку в 25 коек на отделение, где лежало несколько сот больных. Конечно, по сравнению с Переславлем-Залесским в Ташкенте для хирурга изменилось многое, но неизменной осталась его привычка жить лишь тем, что сам он считал серьезным и достойным внимания. Все же серьезное и важное относилось более ко внутренней, нежели внешней жизни его. А внутренний мир ученого оставался четким, упорядоченным и до поры до времени независимым от сотрясавших край политических и общественных событий.

Врач (впоследствии профессор-антрополог) Лев Васильевич Ошанин, более трех лет прослуживший в Ташкенте под началом Войно-Ясенецкого, так описывает обстановку тех лет:

«Время было тревожное. Нести суточные дежурства приходилось через двое-трое суток. В 1917—1920 годах в городе было темно. На улицах по ночам постоянно стреляли. Кто и зачем стрелял, мы не знали. Но раненых привозили в больницу. Я не хирург и за исключением легких случаев всегда вызывал Войно для решения вопроса, оставить ли больного под повязкой до утра или оперировать немедленно. В любой час ночи он немедленно одевался и шел по моему вызову. Иногда раненые поступали один за другим. Часто сразу же оперировались, так что ночь проходила без сна. Случалось, что Войно ночью вызывали на дом к больному, или в другую больницу на консультацию, или для неотложной операции. Он тотчас отправлялся в такие ночные, далеко не безопасные путешествия, так как грабежи были нередки. Так же немедленно и безотказно шел Войно, когда его вызовешь в терапевтическое отделение на консультацию. Никогда не было в его лице досады, недовольства, что его беспокоят по пустякам (с точки зрения опытного хирурга). Наоборот, чувствовалась полная готовность помочь». Внутреннее спокойствие, невозмутимость, которыми главный врач встречал любые жизненные и профессиональные испытания, уже тогда изумляли сослуживцев.

«Я ни разу не видел его гневным, вспылившим или просто раздраженным, — пишет в своих «Очерках» Л. В. Ошанин. — Он всегда говорил спокойно, негромко, неторопливым глуховатым голосом, никогда его не повышая. Это не значит, что он был равнодушен, многое его возмущало, но он никогда не выходил из себя, а свое негодование выражал тем же спокойным голосом».

Но даже привыкший к невозмутимости главного врача Ошанин однажды был поражен душевной дисциплиной, которую Валентин Феликсович проявил перед лицом смертельной опасности. В одну из таких ночей, когда на темных улицах города шла уже ставшая привычной перестрелка, в больницу доставили жертву автомобильной катастрофы, мужчину высокого роста и могучего сложения. Это был латыш Цирулис или Цируль, начальник городской милиции. Его привезли с довольно тяжелым переломом бедра. Рентгеновского аппарата в больнице не было, но Войно-Ясенецкий так точно совместил обломки кости, что нога срослась очень хорошо, без укорочения. Цируль был в восторге от своего доктора и хотел как-то отблагодарить его. Однако ему дали понять, что о гонораре не может быть и речи. Тогда Цируль явился на квартиру Войно-Ясенецкого и на своем немыслимом русском языке произнес примерно следующее: «Ви часто ходит к больной. Опасно. Если нападать. Вот оружие для защита себе». С этими словами он выложил на стол браунинг с двумя обоймами и до полусотни патронов.

Врач принял браунинг и спрятал его в ящик письменного стола. Однако вскоре пришлось искать для револьвера новое место: старший сын обнаружил оружие и был не прочь поиграть с занятной игрушкой. Валентин Феликсович в один прекрасный день принес весь свой «арсенал» в дежурную комнату больницы. Он попросил доктора

Ошанина, который недавно вернулся с фронта и, по его словам, имел там личное оружие и даже упражнялся в стрельбе, осмотреть, заряжен ли браунинг. И тут, вспоминает Ошанин, произошло вот что:

«Войно сидел напротив меня, шага за полтора. Сразу позади его затылка была толстая стена из жженого кирпича, старой прочной кладки. Я несколько раз до отказа вытянул затвор и потряс браунинг казенной частью вниз. Патрона не было. Не знаю, почему я не проверил пальцем, нет ли в стволе коварного седьмого патрона. «Ну вот, браунинг пуст, можете убедиться…» Я поднял ствол браунинга примерно на пять-шесть сантиметров выше головы Войно — и нажал на спуск. Бац… Пуля рикошетировала от стены, с визгом пролетела мимо затылка Войно и моего лба, ударилась в противоположную стену и упала там. Я был ни жив ни мертв. Войно сидел совершенно невозмутимо. Прошло несколько секунд полного молчания. Затем Войно спокойно сгреб обратно браунинг, обойму и патроны и встал. Перед уходом, не в порядке упрека, а лишь в порядке назидательного констатирования факта изрек: «Зачем вы говорите, что знаете это оружие; никогда не следует говорить, что вы знаете, если вы что-нибудь знаете понаслышке». И отбыл». Впрочем, ташкентская жизнь тех лет каждый день, каждый час давала возможность герою и трусу испытать себя. На огромной площади, на которой могли бы разместиться четыре Франции, с осени 1917 до конца 1923 года шла непрерывная ожесточенная война. Фронты появлялись и исчезали, менялись противники, но кровопролитие не прекращалось. К лету 1918 года Туркестанская республика превратилась в советский остров. Железную дорогу, соединяющую Среднюю Азию с остальной Россией, у Оренбурга перерезали казаки генерала Дутова. В Ферганской долине большевиков атаковали отряды узбекских и русских крестьян, объединившихся в «Крестьянскую армию». Этих партизан советские историки упорно именовали басмачами, то есть бандитами. В 19 211 923 годах басмаческое, а по сути крестьянское движение против советской власти еще более усилилось. В его рядах действовало до 50 тысяч вооруженных всадников. На стороне противников Советов находилась и большая часть Закаспийской области. В самом Ташкенте шла грызня между большевиками и эсерами, между большевиками «дореволюционными» и партийцами эпохи гражданской войны. Кого-то все время разоблачали, арестовывали, расстреливали.

На фоне всей этой кровавой неразберихи в январе 1919 года военный комиссар Туркестанской республики К. Осипов попытался захватить в Ташкенте власть. Было ли это восстание направлено против большевистских крайностей или Осипов просто замыслил назначить себя диктатором — сказать трудно. В позднейших источниках по поводу организатора путча ничего, кроме ругани, найти не удалось. Нас, впрочем, во всей этой истории интересует лишь эпизод, произошедший в городе уже после разгрома восстания. Как всегда в таких случаях, победители начали хватать правых и виноватых, расстреливать людей без всякого суда. В обстановке массового террора всяк мог свести счеты со своим соседом по дому или сослуживцем. Для этого было достаточно показать пальцем на неприятного тебе человека и добавить, что он предатель интересов рабочего класса. Суд, основанный на пролетарском классовом сознании, никаких других доказательств не требовал. Схватили и доктора Войно-Ясенецкого. По одной версии, он у себя в операционной оказывал предпочтение «белым», а «красных» не лечил. По другой — главный врач воспротивился якобы размещению «красного» отряда на территории больницы. На самом деле все было проще.

«Мы были арестованы неким Андреем, служителем больничного морга, питавшим ненависть ко мне за наказание, полученное им по моей жалобе от начальника города, —

писал впоследствии Войно-Ясенецкий. — Меня и завхоза больницы повели в железнодорожные мастерские, в которых происходил суд над восставшим Туркестанским полком. Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею. Как я узнал после, они советовали Андрею не возиться с нами, а расстрелять нас под мостом. Огромное помещение было полно солдатами восставшего полка, и их по очереди вызывали в отдельную комнату, и там почти всем в списке имен ставили крест… Нам крестов не поставили и быстро отпустили. Когда нас провожали обратно в больницу, то встречавшиеся но дороге рабочие крайне удивлялись тому, что нас отпустили из мастерских. Позже мы узнали, что в тот же день вечером в огромной казарме мастерских была произведена ужасная человеческая бойня над солдатами Туркестанского полка и многими гражданами».

Этот рассказ не совсем точный, а главное, утерявший из-за большой отдаленности времени детали (Валентин Феликсович продиктовал его секретарю через пятьдесят лет) — дополняет профессор Ошанин.

Главного врача арестовали вместе с его ближайшим учеником хирургом Р. А. Ротенбергом. Арестовал патруль из двух рабочих и двух матросов. Патрульных в хирургическое отделение привел служитель морга Андрей пьяница, лодырь и вор, которого Войно-Ясенецкий при всем своем долготерпении давно уже обещал выгнать с работы. Весть о том, что Валентина Феликсовича увели в железнодорожные мастерские, вызвала в больнице глубокое уныние. Мастерские имели страшную репутацию. Сама фраза «увести в железнодорожные мастерские» означала в те дни не что иное, как «расстрелять». Случилось все это рано утром, и до глубокой ночи никто о судьбе арестованных ничего не знал. Подробности сообщил вернувшийся в сопровождении двух вооруженных рабочих Ротенберг. В мастерских их посадили в каком-то довольно просторном помещении, где было много и других арестованных. Одна дверь вела в комнату, где заседала «чрезвычайная тройка». Дело решалось быстро. Обратно из судилища возвращались немногие. Большинство осужденных (на разбор каждой судьбы «судьи» тратили не больше трех минут) уводили через Другую дверь — приговор приводили в исполнение немедленно.

Два врача просидели перед роковой дверью больше полусуток. Все это время Войно-Ясенецкий оставался совершенно невозмутимым. На частые тревожные вопросы Ротенберга: «Почему нас не вызывают? Что это может означать?» Валентин Феликсович отвечал: «Вызовут, когда придет время, сидите спокойно». Поздно вечером через «зал смерти» проходил видный партиец, знавший главного врача в лицо. Он удивился, увидев тут знаменитого хирурга, расспросил, что произошло, и скрылся в комнате суда. Через десять минут врачам были вручены обратные пропуска в больницу. Партийный «спаситель», однако, не отпустил их одних. Обстановка в городе была слишком накалена: медиков мог пристрелить любой встречный патруль, даже несмотря на печать «тройки».

Весть, что арестованные вернулись, быстро облетела больницу. В дежурную комнату стали сбегаться врачи и сестры, каждый хотел собственными глазами убедиться — доктор жив. Войно-Ясенецкий предупредил, однако, что он просит не только не допускать никаких оваций, но и вообще никаких эмоциональных всплесков. К обычному утреннему часу назначенный на операцию больной был подготовлен, обработан и доставлен в операционную. Все были на местах. Минута в минуту хирург встал к операционному столу и принялся действовать скальпелем так, как будто ничего не случилось.

Когда я думаю о поведении Войно-Ясенецкого во время революции и гражданской войны, меня покоряет не столько его мужество в «минуты роковые», сколько та

педантичность, с которой все эти годы он занимался наукой. В эпоху, когда в России погибало научное творчество, он, и без того по горло занятый врачебной текучкой, дня не пропускал, чтобы не продвинуть вперед свою исследовательскую работу.

Тему исследования подсказала опять-таки земская врачебная практика. «С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке, вспоминает Валентин Феликсович, — я ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии, как мало знаний о ней вынес я из Университета, и поставил себе задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики и терапии гнойных заболеваний».

За десятилетия до открытия антибиотиков, в пору, когда возможности врача в борьбе против раневой инфекции были ничтожны, Войно-Ясенецкий взялся за книгу о том, как можно хирургическими методами противостоять гнойному процессу. Первый среди врачей он разработал специальные приемы оперативного вмешательства при гнойных процессах и тем самым выделил гнойную хирургию из хирургии общей. Для хирургов-практиков доантибиотической эпохи такое исследование представляло важность первостепенную. Идея книги «Очерки гнойной хирургии» зародилась еще в Переславле. Там же был составлен план и написано предисловие. Теперь в Ташкенте, оперируя на больных и на трупах, Войно-Ясенецкий собирал материал для монографии. Книга строилась на сотнях историй болезни, которые Валентин Феликсович диктовал или писал сам. Для диктовки избрал он время, которое хирурги издавна облюбовали для отдыха и душевного расслабления, — минуты, когда врач «размывается». В этот краткий час отдыха в операционных наступает обычно разрядка — звучит оживленная речь, слышится смех усталых, хорошо поработавших людей. Но Валентин Феликсович не отдыхал и, моя руки, диктовал ход операции. В эту работу втянул он молодых больничных хирургов, своих учеников. Один из них, ныне ташкентский профессор Борис Абрамович Стекольников, вспоминает:

«Сколько я помню, Валентин Феликсович всегда собирал материал для книги «Гнойная хирургия». Когда его интересовал какой-нибудь больной, он говорил: «Напишите историю болезни для книги». Это значило дать подробную мотивировку диагноза, пути распространения воспалительного процесса, осложнения, план операции и подробное описание самой операции. К написанию такой истории болезни приходилось долго готовиться. Это была трудная, но полезная работа, сильно расширяющая кругозор хирурга. Если Валентина Феликсовича не удовлетворяла моя история болезни, он произносил свое любимое: «Никуда не годится». Но постепенно я научился делать эту работу и теперь с удовлетворением вижу некоторые свои истории болезни в «Очерках гнойной хирургии». Столь же обязательной частью ташкентской жизни были операции в морге. «Мне нередко приходилось делать исследования на трупах в больничном морге, куда ежедневно привозили повозки, горой нагруженные трупами беженцев из Поволжья, где свирепствовали тяжелый голод и эпидемии заразных болезней. Работу на трупах приходилось начинать с собственноручной очистки их от вшей и нечистот».

Исследования на покрытых вшами трупах, с четырех до семи вечера почти ежедневно, закончились бедой: врач заразился и жесточайшим образом переболел возвратным тифом. Но и после этого он не оставил операций в морге до того самого дня, когда ото всех научных занятий его оторвали силой.

Как же этот «мужицкий доктор» встретил новую власть? Всю свою жизнь, и до революции и после, Валентин Феликсович в тех немногих случаях, когда он обращал внимание на общественную жизнь, судил о ней с точки зрения нравственности. Царизм с его Ходынкой, позором русско-японской войны, расстрелами 1905 года, дворцовой грязью

и провалами в войне с Германией был для Войно-Ясенецкого властью безнравственной. Первые лозунги большевиков о мире, земле и свободе показались ему этически приемлемыми. В детали он не входил, а считал своим долгом гражданина служить при новой власти так же честно, как служил при старой. Его ближайшие ученики — хирург Стекольников, Беньяминович, Жолондэ — были горячо увлечены лозунгами революции. Находились в медицинском мире и противники Советов. Но ни с теми, ни с другими Валентин Феликсович никогда общественных вопросов не обсуждал. Так же точно, как не обсуждал он проблем житейских, хозяйственных. Это было ему неинтересно.

Другое дело — помочь обществу своими знаниями врача. Осенью 1918 года комиссар здравоохранения И. И. Орлов пригласил ведущих медиков Ташкента М. И. Слонима, А. Д. Грекова и В. Ф. Войно-Ясенецкого обсудить острую нужду, которую испытывала республика в медицинских кадрах. На всей огромной территории Советского Туркестана насчитывалось всего 250 врачей. Остро не хватало также фельдшеров и медицинских сестер. Никто не приказывал Валентину Феликсовичу, и без того сверх меры загруженному в городской больнице, брать на себя новое дело, но он охотно предложил услуги, и вскоре бывший кафешантан Буфф удалось превратить в средне-медицинскую школу, где Войно-Ясенецкий читал курс анатомии. Занятия пошли настолько успешно, что через год, осенью 1919 года, школа была преобразована в первый курс медицинского факультета. В организационной группе вновь оказались Войно-Ясенецкий, Греков, Слоним и Ошанин.

«Студентов набралась масса, и они с жадностью набросились на учебу, помогая всем, чем могли, молодому факультету, — вспоминает профессор микробиологии А. Д. Греков, основатель и многолетний директор Ташкентского института вакцин и сывороток. — Так, помню, кости для занятий по анатомии раздобывали на старых кладбищах и в окрестностях Ташкента, рискуя при этом боками… Не было книг, на гектографе перепечатывали оттиски с тех, что имелись у руководителей, Войно-Ясенецкий выполнял художественные таблицы по анатомии. Ботаник собирал травы и на них обучал слушателей…»

В воспоминаниях профессора А. Д. Грекова особенно важно одно обстоятельство: «Вокруг нас, бывших за Советы на научном фронте, раздавалось часто шипение людей, мечтавших о старом, возвращение которого они стремились видеть в малейшей неудаче на фронтах советских войск. Однако мы упорно делали свое дело и были вполне удовлетворены, когда весной 1920 года к нам прибыли из Москвы уже там сформированные кадры профессорского и ассистентского состава персонала Среднеазиатского медфака…»

Войно-Ясенецкий на научном фронте был за Советы. (Кстати, с 1917 года по 1923-й он оставался первым председателем Союза врачей г. Ташкента.) Поэтому, когда в разгар гражданской войны в Ташкент прибыл поезд с преподавателями нового университета (этот сугубо политический акт предпринял Ленин, а практически осуществила Крупская), власти без труда утвердили Валентина Феликсовича в качестве профессора. Прежде, однако, чем возникли университет и кафедра оперативной хирургии, в жизни нашего героя произошли серьезные, резко изменившие его жизнь перемены.

…Войны и революции не считают своих жертв. Даже потом, когда на сцене появляются историки, чтобы подогнать факты и цифры под выгодный победителю ранжир, в расчет принимаются лишь те, кого убили в боях, окопах, на баррикадах. О том, сколько жизней стоили России Октябрьская революция и гражданская война, мы знаем очень приблизительно. И уж совсем никем не считанными остались миллионы жертв

косвенных. В них не стреляли, их не рубили шашками. Их просто убил голод, холод, болезни и сверхчеловеческие переживания эпохи, когда до самой низкой точки упала ценность человеческой личности. Анна Ланская стала жертвой именно такого рода.

В первые месяцы ташкентского житья ей как будто стало намного лучше: температура снизилась, сил прибавилось, но уже с конца 1917 года положение в городе начало резко ухудшаться и одновременно ухудшалось ее здоровье. Стали дорожать продукты, обнищали базары. Поднимаясь рано утром, Лиза простаивала в очередях до середины дня. Ведь кормить теперь приходилось (вместе с Лизиным ребенком) восемь человек! Женщины с грустью вспоминали благословенные времена в тихом и сытом Переславле. О тишине можно было лишь мечтать. Над больничным двором свистели пули. Стены корпусов, как оспой, покрылись пулевыми шрамами. Во время одной из таких перестрелок ранило в бедро операционную сестру Велицкую. В другой раз чуть не убило главного врача: пуля просвистела у самого уха. Нервы у Анны Васильевны были все время напряжены. В час, когда муж возвращался обычно из больницы, она металась по квартире, не находя себе места.

К зиме стало совсем голодно. Лиза не выдержала, уехала домой. Анна еще перемогалась, кое-как ходила по дому. Но ни готовить, ни убрать шесть просторных комнат уже не могла. Квартиру убирал Валентин Феликсович. Дети помнят, как вечером он мыл полы, накручивая на половую щетку старые бинты. Стали приносить из больничной кухни обед- квашеная тухлая капуста в мутной воде. Лечил Анну Васильевну доктор Моисей Слоним. Человек добрый, расположенный к Войно-Ясенецкому, он пытался поддержать пациентку не только лекарствами, но и усиленным питанием: от своего стола посылал доктор довольно богатые по тем временам обеды. Слоним, лучший терапевт города, являлся как бы лейб-медиком советских властей. Кроме того, он имел большой частный прием. От гонорара Моисей Ильич в отличие от Валентина Феликсовича не отказывался, и семья его даже в самые тяжелые времена не голодала. Но ни обеды Слонима, ни продукты, которые тайком от Войно-Ясенецкого посылала его жене семья хирурга Ротенберга, не приносили большой пользы. Анна раздавала пищу детям, а сама сидела на той же капустной похлебке, что и муж. Окончательно свалила ее весть об аресте Валентина. Та ночь, когда кое-как уложив детей и уже не надеясь увидеть мужа в живых, сидела она в холодном доме при свете моргающей коптилки (электричество, так порадовавшее их в день приезда, было давно выключено), оказалась для нее роковой. После ужасных суток ожидания до самой своей кончины (13 ноября по старому, 27 ноября 1919 года по новому стилю) она уже не поднималась с постели. «Она горела в лихорадке, совсем потеряла сон и очень мучилась, — пишет об этих днях Валентин Феликсович. — Последние тринадцать ночей я просидел у ее смертного одра, а днем работал в больнице». От его двухнедельного бдения сохранился ворох маленьких исписанных карандашом листков, на которых Валентин Феликсович из ночи в ночь заносил каждое слово, описывал каждое движение умирающей. Какой смысл придавал он этой летописи страданий? Готовился ли в будущем дать отчет детям или, истомленный физически и нравственно, пытался в этом привычном занятии найти поддержку своему духу и телу? Как бы ни складывалась их жизнь, Анна всегда оставалась самым близким ему человеком: были дети, были ученики, был преданный друг Моисей Ильич Слоним, но никто никогда потом не занял в его душе место Анны. Никто вообще не мог бы сказать, что дружит или дружил с Войно-Ясенецким, что тот полностью открывал ему свое сердце. В ноябре 1919 года умирала не просто Анна Ланская, жена и мать детей Валентина Феликсовича, но отпадал, умирал некий кусок собственного естества. И вот

муж, врач, человек науки, он, записывая ее слова, как умел, старался остановить эту гибель, сохранить, спасти то, что еще можно было спасти.

«Настала и последняя страшная ночь. Чтобы облегчить страдания умирающей, я вспрыснул ей шприц морфия, и она заметно успокоилась. Минут через двадцать слышу: «Вспрысни еще». Через полчаса это повторилось опять, и в течение двух-трех часов я вспрыснул ей много шприцев морфия, далеко превысив допустимую дозу. Но отравляющего действия не видел.

Вдруг Аня быстро приподнялась и села и довольно громко сказала: «Позови детей». Пришли дети, и всех их она перекрестила, но не целовала, вероятно, боялась заразить. Простившись с детьми, она опять легла, спокойно лежала с закрытыми глазами, и дыхание ее становилось все реже и реже… Настал и последний вздох…» Анна умерла в десять вечера. За несколько минут до смерти Войно-Ясенецкий записал ее последние слова: «Да будет Господь милостив к нам». Потом разбудил детей. Сказал старшим: «Я написал молитву — молитесь за маму». Оставшись один, всю ночь просидел у тела жены. Читая Евангелие, плакал. Когда на кладбище ставили крест, Валентин Феликсович своей рукой написал на нем: «Чистая сердцем, алчущая и жаждущая правды…»

Так, не войдя ни в какие статистики революции, ушла из жизни еще одна жертва всероссийской социальной трагедии.

Смерть Анны творцы легенд считают срединной линией биографии доктора Войно-Ясенецкого, линией перегиба, перелома его судьбы. Отсюда начинается жизнь-легенда, жизнь-миф. В действительности перелом произошел позже, примерно через два года после гибели Анны Васильевны. Но в мифотворчестве своя система отсчета. Современников поразила ситуация: известный, почитаемый врач и ученый вдруг среди хаоса военных лет потерял жену, остался один с четырьмя маленькими детьми. Человек, бесстрашно распоряжающийся чужими жизнями, вдруг сам поставлен был перед необходимостью решать мудреную задачу собственного бытия. Об этом много говорили. Даже через полвека с лишним мне рассказывали в Ташкенте несколько версий того давнего события.

«Семья Войно-Ясенецких бедствовала потому, что доктор, принимая больных, никогда не брал подношений. Жена умоляла его хоть что-нибудь приносить в дом (деньги в 1918—1919 годах потеряли всякую ценность). Ведь надо было кормить детей. Но он упорно отказывался от всех гонораров. Между супругами начались конфликты. И тут только Войно-Ясенецкий понял, что совершил непростительную ошибку: в собственном доме просмотрел он начало страшной болезни. Но помочь умирающей было уже нечем. У гроба любимой жены Валентина Феликсовича охватило раскаяние, это-то раскаяние и привело его к религии, к церкви». Так излагает запомнившиеся ей факты коренная ташкентская жительница, кандидат биологических наук М. З. Лейтман.

А бывшая студентка Войно-Ясенецкого, ныне член-корреспондент Академии медицинских наук СССР З. И. Умидова считает, что «Валентин Феликсович был слишком суров с женой, и это ускорило ее гибель». Концовка ее версии та же: «Раскаиваясь в содеянном, ученый постригся в монахи». Однако врач-гинеколог А. А. Шорохова (осенью 1971 года, когда мы беседовали с ней, ей только исполнилось 90 лет), убеждена, что все было совсем иначе: «Никаких конфликтов между супругами не было, просто жена Войно-Ясенецкого заразилась где-то туберкулезом и сгорела за один месяц, как тогда нередко бывало с молодыми людьми. Была Анна Васильевна очень религиозна и, пока болела, просила мужа читать ей Евангелие. Этот месяц, пока он ежевечерне читал ей Новый Завет, и решил его судьбу. Он стал религиозным. Уверовав, сжег свои картины

и начал писать иконы, которыми украсил больничную часовню».

«Неверно, — решительно возражает бывший хирург городской больницы, ученица Валентина Феликсовича А. М. Беньяминович. — Анна Васильевна, молодая, красивая, была почти неверующей. Ей надоедало, что муж таскает ее по церквам и монастырям. Она даже жаловалась знакомым на излишнюю религиозность Валентина».

Возможно ли выяснить правду среди столь противоречивых суждений? Попробуем. Сначала послушаем, что говорит об этом сам герой:

«У земского врача, каким я был тринадцать лет, воскресные и праздничные дни — самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, ни в Переславле-Залесском бывать на богослужениях в церквах и многие годы не говел. Однако последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе…» Иными словами, пережив юношеское религиозное увлечение, доктор Войно-Ясенецкий стал с годами традиционно верующим, то есть человеком, религиозным настолько, чтобы время от времени бывать в церкви и исполнять наиболее важные православные обряды. Такое отношение к религии было довольно распространенным среди российской интеллигенции. Вера не исключалась из обихода и в то же время не занимала сколько-нибудь значительного положения в жизни. Вера становилась бытом, таким же, очевидно, каким она является сегодня для многих англичан, французов и американцев.

Возможно, что трагическая обстановка многолетней кровавой войны несколько обострила религиозные чувства главного врача, но в общем-то это была все та же традиционная религиозность, которая, по словам профессора Л. В. Ошанина, проявлялась лишь в том, что по субботам, воскресеньям и в некоторые большие праздники Войно-Ясенецкий посещал церковные службы. При таком ровном отношении к делам веры совершенно очевидно, что Валентин Феликсович не мог «замучить жену», таская ее по церквам и монастырям. Да и она не могла неожиданно, вдруг, за один месяц сделать его пламенным христианином, ибо утвердился в своих религиозных чувствах Валентин Феликсович давно, еще в юности; и чувства эти до поры до времени оставались, как говорят медики, «в пределах нормы».

Сочинители легенд путают: вслед за смертью Анны никакого вулканического взрыва религиозности в душе Войно-Ясенецкого не произошло. Как муж и христианин, он скорбел об утрате любимого человека, но боль потери заглушал не молитвами, а шестнадцатичасовой напряженной работой. На двадцатый — двадцать третий годы падает пора самой плодотворной научной и педагогической его деятельности. Не правы авторы легенд и в том, что муж проглядел у жены заболевание туберкулезом. Не было этого. Опытный врач, он обнаружил болезнь еще в Переславле, вскоре после заражения. Единственно, что достоверно в слухах и россказнях тех давних лет, это то, что вечно занятый врачеванием и наукой, неумелый по части добывания средств, Валентин Феликсович действительно не дал больной необходимого ей питания и ухода. Но виновен ли он в этом? В другом месте, в другое время хирург такого класса, как он, смог бы обеспечить своей подруге все необходимое. Но в разгар гражданской войны, всеобщего беззакония и хозяйственной разрухи благами, которые так нужны были Анне, владели только должностные бонзы да вьющиеся вокруг них проходимцы и жулики (коих всегда много в эпохи с расшатанной системой законности). У кого же достанет смелости обвинять ученого за то, что в роковой момент не смог он угнаться за ворами и проходимцами?

Так распадается легенда о том, что смерть жены сделала Войно-Ясенецкого

религиозным фанатиком. Нет, он не изменился в 1919-м. Но менялось время. И довольно круто.

В операционной городской больницы уже много лет висела икона Божьей Матери, оборотясь на которую, хирург имел обыкновение осенять себя перед операцией крестным знамением. Заведено это было так давно и исполнялось так часто, что неверующие врачи перестали обращать на это внимание, а верующие считали делом самым обычным. Но времена, повторяю, менялись, и в начале 1920 года одна из ревизионных комиссий приказала икону убрать. В ответ на это Валентин Феликсович ушел из больницы и заявил, что вернется только после того, как икону водворят на место. В двадцатом году для большинства окружающих этот поступок главного врача выглядел уже анахронизмом. Доктор Войно-Ясенецкий попросту проглядел начало новой эры, когда гражданину на каждом шагу принялись напоминать, что он живет в государственной квартире, работает в государственном учреждении и топчет государственную землю. А раз так, должен считать естественным любое вмешательство власти и его жизнь, ибо и сам он, гражданин, есть не что иное, как имущество государственное. Все остальные сотрудники больницы (и не только больницы) за три года уже привыкли к новому положению. Войно-Ясенецкий не привык к нему до конца жизни.

Профессор Ошанин, человек неверующий, но глубоко уважающий своего шефа, так описывает дальнейшую историю борьбы за икону. Комиссия высказалась в том смысле, что «операционная — учреждение государственное. У нас церковь отделена от государства. Если вашему хирургу хочется молиться, пусть молится, никто ему не мешает, но пусть держит икону у себя дома».

Войно-Ясенецкий повторил, что в операционную не вернется. Вмешалось, однако, обстоятельство непредвиденное: крупный партиец привез в больницу для неотложной операции свою жену. Женщину мог бы прооперировать любой хирург, но она категорически заявила, что никакого другого врача, кроме Войно-Ясенецкого, не желает. «Войно вызвали в приемную, — пишет профессор Ошанин. — Он подтвердил, что очень сожалеет, но, согласно своим религиозным убеждениям, не пойдет в операционную, пока икону не повесят обратно… Доставивший больную заявил, что дает «честное слово», что икона завтра же будет на месте, лишь бы врач немедленно оперировал больную… Войно счел честное слово партийца достаточной гарантией. Он немедленно пошел в хирургический корпус, оперировал женщину, которая в дальнейшем вполне поправилась. На следующее утро икона действительно висела в операционной».

С юмором рассказывая о победе Войно-Ясенецкого, Ошанин заметил, что случилось это лишь потому, что «времена были переходные, не устоявшиеся, во многом парадоксальные». Я не могу с этим. согласиться. Действительно, новая власть в те годы еще не успела окончательно окостенеть в своей нетерпимости. Но главную роль в этой скромной, но многозначительной истории сыграли не безликие люди из учреждений, а воля и достоинство, с которыми впервые после революции выступил на защиту своих прав хирург-гражданин Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.

Когда я собирал материалы к его биографии, то от людей, родившихся и выросших после революции, не раз слышал такой примерно вопрос: «Как же так: врач — и верующий? Разве это возможно? Ведь наука опровергает, исключает религию…» В этом недоумении мне чудилась еще и другая интонация: настоящий ли он ученый, ваш Войно-Ясенецкий? Настоящий разве стал бы верить во всю эту божественную чертовщину?

Прежде чем ответить по существу, сошлюсь на свидетельство физиолога Ивана Петровича Павлова, чья репутация ученого, кажется, никем еще не опровергалась. В

начале 30-х годов архиепископ Кентерберийский разослал крупнейшим исследователям — мира анкету, в которой, между прочим, значился и такой вопрос: «Считаете ли вы религию совместимой с наукой или нет?» «Да, считаю», — ответил Павлов. «Почему вы так считаете?» — «Да просто по одному тому, что целый ряд выдающихся ученых были верующими. Значит, для них это совместимо, факт есть факт, с ним нельзя не считаться».

Да, такой факт. Религиозными людьми были такие корифеи техники и естествознания, как Коперник и Леонардо да Винчи, Ньютон (который даже писал комментарии к Библии) и астроном Кеплер, математик Паскаль, творец современной ботанической классификации Линней, Гарвей, открывший закон кровообращения. В новое время к этой когорте можно отнести Пастера, Менделя, Лобачевского. Хирург Пирогов обратился к вере 39 лет от роду, сразу после возвращения с Кавказа, где он впервые в истории медицины применил наркоз в военно-полевых условиях. Его переписка с невестой (1850 г.) полна религиозных размышлений. Позднее в «Дневнике старого врача» Пирогов с полной откровенностью признавался:

«Жизнь-матушка привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как неофиты, и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры, но я благодарю Бога за то, что по крайней мере успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннею верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренне верую в учение Христа Спасителя…» Век двадцатый стал свидетелем глубокой религиозности физика Альберта Эйнштейна, врача Альберта Швейцера, антрополога Тейяра де Шардена. Среди наших знаменитых современников верующими были физиолог И. П. Павлов, офтальмолог В. П. Филатов, геохимик В. И. Вернадский, академик-востоковед Н. И. Конрад, хирург С. С. Юдин, патологоанатом А. И. Абрикосов.

Как бы отвечая на вопрос моих собеседников, профессор Л. В. Ошанин пишет: «Во внутреннем мире Войно уживались наука и религия и притом уживались так, что не мешали одна другой и даже друг другу помогали». Ошанин не пытается объяснить, «как в одной черепной коробке могли бы уживаться столь различные (по его мнению. — М. П.) жильцы». Свой рассказ о верующем враче он завершает честным признанием: «Я не берусь разбираться в столь дремучих дебрях чужой души. Ограничиваюсь констатацией факта-да, уживались!»

Ученик Валентина Феликсовича Б. А. Стекольников (убежденный атеист и коммунист, как он сам себя аттестует) тоже пытался объяснить «парадоксальное» сочетание интересов учителя. И притом объяснить с помощью одного слова: «В. Ф. был сложным, необычным человеком, человеком крайностей. Большой ученый, он оставался человеком церкви. Полностью, без какой бы то ни было критики он принимал всю внешнюю сторону религии. И отклонения от ритуала считал богохульством. В этом проявлялась черта его характера — крайность».

«Объяснение» Стекольникова похоже на «объяснение» знатока птиц, который говорил, что красное брюшко снегиря объясняется наличием определенно окрашенных перьев на его брюшной поверхности. Но так или иначе и Стекольников — коммунист и атеист — вынужден признать: у Валентина Феликсовича искренняя вера совмещалась с подлинной научностью. Это был факт неоспоримый. «Можно не соглашаться с убеждениями этого человека как духовного лица, — писал о более позднем периоде жизни Войно-Ясенецкого близко знавший его профессор микробиологии А. Д. Греков, — но приходится преклоняться перед его огромными знаниями и талантом».

…Ученый-медик отличается от своих коллег — математиков, физиков и даже

биологов — тем, что свои знания он не может передать ученикам с помощью одних лишь книг и статей. Даже лекций для этого недостаточно. В медицине (особенно в хирургии) научить — значит показать. Исследователь-хирург должен иметь учеников, тех, что наследуют не только его идеи, открытия, но и его «хирургический почерк» — манеру держать нож и накладывать шов. Школа — важный знак научной значимости врача. Расцвет небольшой, но своеобразной школы Войно-Ясенецкого пришелся на начало двадцатых годов (1920—1923 гг.).

«Валентин Феликсович не был преподавателем в общепринятом смысле этого слова, — вспоминает Анна Ильинична Беньяминович. — Он учил «при случае», но зато случаи. эти запоминали мы на всю жизнь. Возвратился как-то главный врач в субботу вечером к себе домой после всенощной, увидел свет в операционной. Зашел. Возле задыхающегося от крупа юноши бился хирург Александр Матвеевич Жолондэ — никак не мог «найти» у больного трахею. Мгновенно оценив обстановку, Войно-Ясенецкий облил свои руки йодом, выхватил из рук растерявшегося ученика инструмент, ткнул скальпелем прямо в трахею. «Вставляйте трубку» и ушел. А в другой раз, вот так же после церкви, зайдя в операционную, обнаружил он только что отсеченный кусок кишки: хирург Ротенберг заканчивал операцию у больного с ущемленной грыжей. «Зачем же вы живую кишку убрали?» — недовольно заметил Валентин Феликсович. И этого вопроса, произнесенного строго, с укором, но без всякой резкости, достаточно было, чтобы весь остальной хирургический век Григорий Александрович Ротенберг, принимаясь оперировать грыжу, думал о том, как бы ему отогреть и спасти «полумертвую» ткань.

Допуская ученика к новой операции, главный хирург всякий раз устраивал строгий экзамен по: топографической анатомии и хирургии. Своим медленным и спокойным голосом он вопрошал: «Какой метод вы изберете для данной операции?» Хирург спешил назвать метод, который казался ему наиболее подходящим, но в ответ слышал уничтожительную реплику учителя: «Вы не можете заранее предсказать метод операции. Надо знать все методы, а избирать оперативный прием только после того, как вы увидите больного».

Войно-Ясенецкий никогда не кричал на сотрудников, не срывался, как большинство хирургов в операционной; для него было немыслимым оскорбить младшего коллегу. Но, когда дело шло о дисциплине и порядке., он становился непреклонным. «Мы имели обыкновение читать историю болезни вслух, пока профессор мыл руки, готовясь к операции, — пишет Б. А. Стекольников, — Однажды я читал таким образом историю болезни, но так как не успел записать некоторые детали, то пропущенное произносил, не заглядывая в бумагу. Валентин Феликсович заметил это и спросил, почему я не все записал. Я ответил, что у меня абсолютно нет времени. Ни слова не говоря, он отменил операцию. Это произвело на меня тяжелое впечатление, но зато я научился полностью и детально вести историю болезни».

До крайности сосредоточенный, погруженный в свои мысли Войно-Ясенецкий тем не менее мгновенно замечал любой промах подчиненного и разил немедленно. Однажды он вошел в операционную в ту минуту, когда женщина-хирург нечаянно уронила на пол инструмент. На свою беду, она сделала импульсивный жест, как бы желая поднять упавший предмет. И не подняла даже, а только чуть наклонилась в ту сторону, и сразу была уволена. Главный врач с негодованием говорил потом о ее «недостойном хирурга» поведении.

Ученье у Войно-Ясенецкого давалось сотрудникам нелегко. «Шеф» никогда подчиненных не хвалил (исключение делалось только для санитарок). Выговор же

получить врач мог даже тогда, когда, казалось бы, заслуживал одобрения. Одна из таких справедливых «несправедливостей» запомнилась Б. А. Стекольникову во всех подробностях.

Городская больница принимала больных, доставляемых «скорой помощью». Как-то ночью во время дежурства Стекольникова привезли мужчину с закрытой травмой живота. Дежурный врач мог бы, конечно, послать за главным. Но, поразмыслив, сам поставил довольно сложный диагноз: «разрыв селезенки». Диагноз оказался правильным. Разорванную селезенку хирург удалил и совсем уже заканчивал операцию, когда в глубине живота появилось немного крови. Он попробовал ее остановить, но кровотечение, хотя и не сильное, продолжалось. Пришлось наложить шов, захватив кровоточащие ткани в брюшину. «Утром на конференции я доложил о случившемся, не скрыв, конечно, факта кровотечения. Я надеялся услышать от профессора одобрение. Ведь вот я, молодой хирург, так точно поставил диагноз и спас жизнь больному. Валентин Феликсович попросил объяснить причину кровотечения. Я ответил, что дело, очевидно, в нарушении венозного сплетения. «Вы не поняли, откуда это кровотечение. И сейчас не понимаете своей ошибки. Вы поранили хвост поджелудочной железы. Если еще раз это повторится, я лишу вас права быть ответственным дежурным». После выговора врач целую неделю со страхом подходил к кровати своего больного. Ведь если бы из поврежденной поджелудочной железы начал выделяться фермент (поджелудочный сок), он мог бы разъесть, переварить тонкий кишечник, и тогда неминуемо возник бы перитонит. Всю эту неделю Стекольников старался быть поблизости от больного, чтобы в случае беды немедленно предпринять операцию. К счастью, все обошлось, но суровый урок пошел молодому хирургу впрок. Никакая лекция об осложнениях при операции на селезенке не дала бы ему больше, чем эта суровая, но справедливая отповедь учителя.

Однако главные знания обретали ученики на операциях. Особенно после того, как удалось уговорить Войно-Ясенецкого оперировать, поясняя вслух. И без того мастерские операции его превратились в блестящие лекции по топографической анатомии. Что кроется за фасцией, которую он сейчас вскрывает, какие сосуды или какой пучок нервов лежат глубже, где сейчас находится его рука со скальпелем, части каких органов окружают операционное поле, — все это открывалось ученикам зримо, ярко, как в стереоскопическом фильме.

Операции Валентин Феликсович предпочитал радикальные, разрезы широкие, чтобы иметь возможность обозреть все узлы, ткани, слои. Сказывался опыт земской больницы, где хирургические паллиативы у пациентов и врачей были не в чести. Одну из таких операций описал Л. В. Ошанин. Главный хирург оперировал сестру его жены. У нее был далеко зашедший рак правой молочной железы, больная не сразу обратилась к врачу. Обычно при таком вмешательстве «разрез по Кохеру» считается вполне достаточным. Но Войно-Ясенецкий для блага больной значительно «расширил» оперативное поле. Он произвел радикальный хирургический «туалет» и буквально выгреб все лимфатические железы не только из подмышечной впадины, но и из-под ключицы, и из-под лопатки. Ведь, возможно, в них уже были метастазы рака. После столь тщательной операции больная прожила еще тридцать лет и умерла в глубокой старости…

Рентгеновского аппарата в начале 20-х годов в больнице не было, исследования в больничной лаборатории ограничивались анализом крови и мочи. Выслушивать больных главный врач тоже не мог — дурно слышал. Но сколько-нибудь серьезных ошибок в диагностике тем не менее не совершал. Если же ошибался, то, по словам доктора Беньяминович, «как грешник на исповеди, спешил выложить ученикам все малые и

большие свои промахи». Эти «покаяния» Войно-Ясенецкого были своеобразной формой обучения в «школе» Войно-Ясенецкого. Лжи главный хирург не терпел: солгавший навсегда погибал в его глазах. Впрочем, даже промахи во время операций у такого учителя, как Валентин Феликсович, оказывались поучительными. Одна из принятых в те годы операций — удаление пораженных туберкулезом шейных желез — требовала особого артистизма. Железы эти интимно связаны с шейными сосудами. Обычно, прежде чем заняться вылущиванием желез, Войно-Ясенецкий выделял сосудистый пучок и отводил его в сторону от операционного поля. Но однажды он все-таки поранил скальпелем поверхностную наружную вену. В порез тут же засосало воздух. Ассистенты услышали зловещее «пс-с-т» и похолодели: воздух в кровеносном русле — это почти верная смерть. Войно-Ясенецкий не проявил никаких признаков паники. Ни одна мышца на его лице не дрогнула и тогда, когда, к ужасу ассистентов, волна пузырьков воздуха поползла по обнаженной яремной внутренней вене — глубинный эмбол вот-вот готов был прорваться в жизненно важные органы. И тут одним движением Валентин Феликсович исправил свой промах. Он перерезал яремную вену, выпустил воздух и, опять-таки ни слова не говоря, зашил разрез. Ученики получили важный урок, который, однако, не сопровождался ни единым словом пояснения.

И все же во всех этих блестящих оперативных вмешательствах сотрудники находили серьезный изъян: всю операцию с начала до конца Войно-Ясенецкий делал сам. Ассистенту ничего не оставалось, кроме как держать крючки и зажимы во время завязывания узлов. Любое проявление инициативы со стороны ассистента Валентин Феликсович считал неуместным. Сам не имевший в юности учителей, он умел учить только примером. То же самое повторялось с научными докладами. Прочитав за два часа до выступления на научном обществе доклад Стекольникова, Войно-Ясенецкий безапелляционно заявил: «Никуда не годится». «Что же делать? Как исправить доклад?» — взмолился ученик. И получил в ответ типичную для «шефа» реплику: «Нечего исправлять. Доклад как бриллиант. Куда ни повернешь — должен сверкать. Ваш не сверкает».

Осенью 1920 года Войно-Ясенецкий, педагог, получил новые возможности: в Ташкенте открылся Государственный Туркестанский университет. Профессоров и ассистентов подобрали в Москве и привезли в Среднюю Азию, как уже говорилось, по личному распоряжению Ленина. Среди местных врачей чести быть избранными удостоились только четыре человека. И среди них Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он занял на медицинском факультете кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии. Факультет разместился в просторных залах бывшего кадетского корпуса. Но кафедре оперативной хирургии в смысле помещения не повезло: под нее отвели три маленькие комнатки, служившие раньше людской и кухней в доме начальника корпуса. В комнатах с асфальтовым полом и испорченным отоплением всегда было холодно и сыро. Оборудованием кафедра тоже не блистала. Только выполненные с большим художественным мастерством анатомические таблицы — творчество самого профессора — украшали непрезентабельное помещение. Впрочем, не красна изба углами… Великолепные лекции Валентина Феликсовича собирали полную аудиторию. Слушать его приходили не только студенты, но и многие городские врачи.

Жизнь профессора мало чем отличалась от жизни врача-хирурга. Разве что только количеством ежедневного труда. В свои уплотненные сутки Войно-Ясенецкий умудрялся втиснуть еще несколько операций в клинической больнице, второй обход больных, лекции для студентов и подготовку к ним. О подготовке к занятиям Б. А, Стекольников

вспоминает: «Однажды Валентин Феликсович вызвал меня к себе вечером на квартиру. Когда я вошел, он сидел за столом. На листе бумаги был начерчен контур стопы, и в этот контур он вписывал многочисленные кости стопы. На столе не было ни атласа, ни скелета стопы, он рисовал на память… Так тщательно и добросовестно готовился он к каждой лекции».

А пока профессор Войно-Ясенецкий лечил и учил, старательно готовился к лекциям и, не считаясь со своим покоем и отдыхом, спасал человеческие жизни, другие люди превращали жизнь горожан в страшный, бессмысленный, невыносимый кошмар. В Ташкенте свирепствовали малярия, холера, сыпной тиф. Голод на Волге гнал в Туркестан массы голодающих. Они вповалку лежали на вокзале: оборванные, покрытые вшами. Идя на кафедру, профессор встречал телеги, груженные голыми трупами. Их везли из переполненного свыше всякой меры сыпнотифозного отделения. Больные и трупы лежали даже возле больничных ворот. Перед нескончаемым потоком страдальцев у врачей опускались руки. Остановить эпидемию могли только решительные государственные меры. Но властям было не до того. С самого семнадцатого года продолжали они резню, которой не было видно конца. По всему Туркестану разыскивали и вылавливали тех, кто имел какое-нибудь отношение к прежнему строю: крупных и мелких чиновников царской администрации, депутатов городской Думы, офицеров. Для «бывших» не было оправданий. Их расстреливали без суда. Генерала, который проявил полное презрение к своим гонителям, застрелили в тюремной камере… через дверной глазок. В газетах писали об этом как о событии обыденном. Жестокость была объявлена государственной необходимостью. Ею похвалялись, ее превратили в принцип. Другие государственные принципы были не лучше. Видный руководитель Туркестанской республики заявил: «Мы захватили власть и прольем кровь всякого, кто попытается у нас эту власть отнять». Комиссар одного из полков Красной Армии, некто Шкаруба, похвалялся перед приехавшим из Ташкента партийцем-инспектором: «Я здесь числюсь Малютой Скуратовым. И веду себя как Малюта Скуратов».

В столице республики уже после того, как отгремели бои, власти вели себя так, будто Ташкент оставался вражеской территорией. Что ни день горожане читали в газетах приказы ЦИК: «Мобилизовать всех зубных врачей…», «Считать мобилизованными всех учителей». Мобилизованные, как военнопленные, обязаны были работать там, где им прикажут, сколько прикажут и довольствоваться платой, которую властям будет угодно им положить. С крестьянами управлялись еще проще: их грабили под видом продразверстки или просто отнимали продукты, скот, зерно как «реквизированные». Один из делегатов десятого съезда РКП из Туркестана рассказывал, что в результате непрерывных беззаконных поборов разбежались многие киргизские поселки.

Беззаконные действия властей вызывают массовое подражание среди населения. Между 1919-м и 1923-м годами нет ни одного номера «Туркестанской правды», где бы половина газеты не была посвящена должностным злоупотреблениям. В городе ежедневно происходили квартирные налеты, ограбления, убийства на улицах. Оживленно работают фальшивомонетчики. Коррупция среди государственных служащих принимает чудовищные размеры. Вот заголовки газетных статей, взятых из двух номеров «Туркестанской правды» за октябрь 1922 года: «Установлена крупная взятка», «По пьяной взятке», «Панама в Кожтресте», «Советский плут», «В борьбе со взяткой», «Борьба с пьянством и взяточничеством», «Борьба с мародерами и взяточниками из Сред. — Аз. железной дороги».

Воров и взяточников сажают, но «социалистическая собственность» — по общим

понятиям, собственность ничейная — продолжает утекать. На какое-то время хозяйственный развал удается приостановить с помощью нэпа. Но Нэп (вот беда!) смягчил, ослабил «классовую борьбу». Этого нельзя допустить. Без постоянной борьбы теряет смысл весь режим насилия, «диктатура пролетариата». «Не имея врага, не построишь храма». Классовых врагов ищут и находят, находят и истребляют. Кого-то выгоняют из партии — чистка, другого выбрасывают с работы — на всякий случай, в порядке бдительности. В политическую болтанку втягивают молодежь, студентов. В передовой университетской газеты тех лет читаем:

«Курс на классовое расслоение студенчества, твердо и неуклонно проводимый за последнее время руководящими центрами в нашей Туркестанской высшей школе, начал давать уже свои благотворные результаты… Внешним толчком, побудившим студенчество стряхнуть с себя гнет безразличия и пассивности, отказаться от гнилой платформы аполитичности с ее идейной пустотой, была та «социальная встряска» (массовое исключение из университета студентов непролетарского происхождения. — М. П.), которая не так давно бурей пронеслась в жизни туркестанского студенчества. Следует, однако, признать, что не одним страхом репрессий и боязнью политических преследований обусловлен тот беспрерывно растущий подъем, который мы сейчас наблюдаем в общественной жизни широких студенческих масс. Здесь происходит процесс классового самоопределения… Жизнь все больше убеждает нас в том, что Высшая школа должна стать не только «мастерской науки», но и орудием политической борьбы. Все те, кто и сейчас пытается оградить себя от всяких «внешних влияний» окружающей общественной жизни идеей служения «чистой науке», являются либо нашими скрытыми противниками, либо, в лучшем случае, мещански настроенными обывателями, которые ничему не научились в горниле гражданской войны».

Участвовать в «классовой борьбе» пролетарский студент мог, не только выталкивая из аудитории своего товарища-конкурента. Были и другие возможности. Рекомендовалось, например, глумиться над священниками, верующими. Отделенная от государства церковь, по существу, не пользовалась защитой закона. Это была как бы «ничейная», а скорее даже вражеская земля, где всяк мог развлекаться. И развлекались. На Пасху и на Рождество компании молодых парней с размалеванными сажей лицами — на голове «рога», позади веревочный хвост — врывались в храмы, горланили, бесчинствовали, оскорбляли верующих. Да если кто пытался отстаивать декларированное декретами свободное и беспрепятственное право на богослужения — таких кулаком под дых. И ни-ни… Милиция на случай сопротивления «классового врага», вот она, рядом…

Так воспитывала эпоха двадцатых годов «нового человека». И было то воспитание небесплодным. Молодежь городских окраин с радостью восприняла дозволение скопом нападать на одного, бить слабого, издеваться над каждым, «кто не как все». Прошли годы, юность достигла зрелости. И в свой черед бывшие забавники, участники антипасхальных карнавалов двадцатого — двадцать третьего годов обратились в «героев» тридцать седьмого. Тех самых, что расстреливали творцов революции и участников гражданской войны. Режь! Бей! Бога нет…

Может показаться, что автор без надобности отступил в область, которая, как мы знаем из предыдущего, очень мало интересовала героя. Да. До известного времени ВойНо-Ясенецкий действительно жил как бы вне общественной и нравственной атмосферы Ташкента. Но настал день, когда погруженный в науку профессор показал, что он совсем не так слеп, как некоторым представлялось.

В один из первых дней февраля 1921 года Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре в рясе священника с большим крестом на груди. Высокий, худощавый, очень прямой («как военный», — вспоминает сестра Канцепольская), он, как обычно, прошагал в кабинет, снял там рясу и в халате явился в предоперационную мыть свои удивительно красивые руки. Предстояла операция. Был профессор рыжевато-рус, с небольшой бородкой, светло-серые глаза смотрели строго, отрешенно. Черная ряса ему шла. И никто в отделении не улыбнулся, никто не посмел задать вопросы, не имеющие отношения к больничным делам. И сам он не спешил объясняться. Только ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил глуховатым, спокойным голосом, что Валентина Феликсовича больше нет, а есть священник отец Валентин.

«Вы не можете себе представить тот шок, который мы пережили, — говорит бывшая медсестра М. Г. Канцепольская. — Одно дело — личная вера, даже икона в операционной. К этому мы привыкли. Но надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: «Поп, помещик и белый генерал — злейшие враги Советской власти», мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был…»

А вот что о своем приобщении к церкви рассказывает сам Валентин Феликсович:

«Я скоро узнал, что в Ташкенте существует церковное братство, и пошел на одно заседание его. По одному из обсуждавшихся вопросов я выступил с речью, которая произвела большое впечатление. Это впечатление перешло в радость, когда узнали, что я главный врач городской больницы. Настоятель вокзальной церкви протоиерей Михаил Андреев в воскресные дни по вечерам устраивал в церкви собрания, на которых сам или желающие из числа присутствующих выступали с беседами на темы св. Писания, а потом все пели духовные песни. Я часто бывал на этих собраниях и нередко проводил серьезные беседы на темы св. Писания». Как активно верующий мирянин Войно-Ясенецкий попал в конце 1920 года на один из церковных съездов, где снова произнес речь о положении в Ташкентской епархии.

«Когда окончился съезд и присутствующие расходились, — пишет он, — я неожиданно столкнулся в выходных дверях с Владыкой Иннокентием. Он взял меня под руку и повел на перрон, окружавший собор. Обойдя два раза вокруг собора, он заговорил о большом впечатлении, которое произвела на него моя речь на собрании, восторгался глубиной и искренностью моей веры и, неожиданно остановившись, сказал мне: «Доктор, вам надо быть священником!..» У меня не было и мысли о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами и, минуты не размышляя: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!» Беседа епископа Ташкентского Иннокентия и профессора Войно-Ясенецкого — важное, если не сказать — важнейшее звено во всей дальнейшей судьбе героя. От этой беседы начинается качественно новая жизнь Валентина Феликсовича. Понять, почему Владыка сделал столь странное предложение профессору, нетрудно. Русская Православная Церковь переживала тяжелейший кризис. Поставленная вне закона, постоянно ограбляемая, поносимая в официальном и неофициальном порядке, она день ото дня теряла не только верующих мирян, но и своих собственных служителей. Многих епископов и священников власти без большого к тому основания обвинили в контрреволюционной деятельности, осудили и выслали. Другие, не предвидя добра от церковного служения, пустились в бега.

Скинув рясу и обрив бороды, массами переходили на должности секретарей, счетоводов и даже оперных певцов. Заполучить в такую пору нового священника, да не

какого-нибудь, а известного всему городу врача и ученого, было для епархии огромным политическим приобретением. Епископ, таким образом, соблазнял профессора, имея цели сугубо политические. Я не нахожу в поведении Владыки Иннокентия более высоких помыслов, ибо известно, что в делах нравственных этот талантливый и интеллигентный архиерей был не слишком тверд. Вскоре после рукоположения Валентина Феликсовича в священники он сам, боясь репрессий, бежал из Ташкента, а потом и вовсе сменил флаг, примкнув к «живой церкви».

Сложнее понять ответ, который профессор дал епископу. Впрочем, так ли сложно?.. Попробуйте наложить характер и принципы хирурга Войно-Ясенецкого на общественную обстановку Ташкента 1920 года и вы увидите, что эти две материи попросту несовместимы, готтентотская «мораль» эпохи с ее «хорошо все то, что нам выгодно», рано или поздно должна была войти в столкновение с прямотой и гуманизмом ученого. Принципиальный нейтрализм Валентина Феликсовича давал все более глубокие трещины. Что делать? Этот вопрос задавали себе в те годы тысячи русских интеллигентов. Эпоха не подсказывала единых рецептов, всяк отвечал на роковой вопрос по-своему, в зависимости от личного характера и обстоятельств. Кто-то ушел в Добровольческую армию, где иной раз мог убедиться, что белый террор мало чем отличается от красного, кое-кому удалось уклониться от борьбы, уехать в эмиграцию.

«Мужицкому доктору» Войно-Ясенецкому не подходил ни один из названных вариантов. Бежать в другую страну у него и в мыслях не было. Но и терпеть поругание, которому новая власть подвергала дорогие ему принципы, он тоже не мог, не желал. Профессор Л. В. Ошанин в своих очерках очень точно заметил:

«Не знаю, часто ли проповедовал Войно с церковного амвона основную христианскую добродетель — христианское смирение. Что касается самого Войно, то в его характере не было ни на йоту христианского смирения… В нем, когда было нужно, сама собой проявлялась человеческая гордость. Гордость сознательная, гордость за свою замечательную точную науку, широту и разносторонность своих знаний, гордость за свой талант и за свое несомненное бесстрашие». Вот тут и видится мне причина того ответа, который профессор-хирург дал Владыке Иннокентию. Предложение епископа отвечало затаенному до поры до времени желанию Войно-Ясенецкого протестовать. Протестовать не против Советской власти (ее он в те поры считал властью народной) и не против социалистических идей (в которых он так до конца дней своих и не разобрался), но против бездушия эпохи, против всеобщего и повального аморализма, который охватил все вокруг.

Войно-Ясенецкий не был первым, кто попытался оценить годы революции и гражданской войны меркой совести. О разгуле пьянства, разврата, коррупции, человеконенавистничества еще в 1918 году во весь голос заявил в своих «Несвоевременных мыслях» Максим Горький, Разжигание низменных инстинктов потрясло академика И. П. Павлова. Он решительно протестовал против того, что новый порядок оставляет народ без морали. «Нужно подвести моральные основы под поведение народных масс», — говорил он своему ученику Л. А. Орбели.

Впрочем, после 1918 года, когда была запрещена вся оппозиционная печать и Советы откровенно встали на путь подавления инакомыслия, никто не мог уже открыто заявить о своих претензиях. Нравственный протест ЧК приравнивала к контрреволюционным выступлениям. Акцию Войно-Ясенецкого карательные органы также вполне могли оценить как вызов «диктатуре пролетариата». А почему бы и нет? Стать священником в 1921 году значило бросить вызов тому всеобщему страху, в котором затаилась

порядочная, но не страдающая избытком мужества часть русской интеллигенции. В наэлектризованной политическими страстями атмосфере никто даже не заметил, что протест Валентина Феликсовича не содержал никаких политических требований. Достаточно того, что он протестовал.

«Мы каждую минуту ждали, что Валентина Феликсовича арестуют», — вспоминает хирург Беньяминович.

Между тем для самого Войно-Ясенецкого его акция была совершенно чиста и естественна. Сказав: «Буду священником», — он просто обрел самую подходящую для него форму взаимоотношения с окружающим миром. С этого часа он перестал быть пассивным участником всероссийского вертепа, снял с себя ответственность за беззакония эпохи, стал борцом за чистоту собственную и чистоту тех, кто пожелал бы довериться ему. Таким же независимым остался он в своем отношении к науке.

Профессор Ошанин свидетельствует: «Войно не был философом идеологического направления или биологом-виталистом…» Строго материалистичной была его диссертация «Регионарная анестезия», ничего мистического не содержала и монография «Гнойная хирургия», выдержавшая в 40—50-е годы три издания. Однако при всем том Валентин Феликсович (как и физиолог Павлов!) считал, что в творчестве исследователя двадцатого века наука и религия не конкурируют друг с другом. Уже в 20-е годы он приблизился к представлению, которое большинство западных ученых приняло в 60—70-х годах нашего столетия. Наука и религия — плоскости непересекающиеся. Сама по себе наука не окрашена ни в политические, ни в этические цвета. Вера — личное дело ученого. С этим убеждением прошел он через все испытания священнической жизни, не отрекаясь от науки точно так же, как никогда не отрекался он от сана и веры.

«Религиозные убеждения Войно, — пишет профессор Ошанин, — нашли свое выражение в служении определенному религиозному культу, культу «ортодоксальной» православной церкви, со всей ее яркой театральностью, со всеми ее окаменевшими древними догмами, со всем ее сложным ритуалом». Неверующий Ошанин не одобряет этот акт своего коллегии специально подчеркивает даже: «Профессор Войно-Ясенецкий безоговорочно, без какой-либо критики принял все стороны, все внешние формы православия». Это верно. Принял. Цельная натура Валентина Феликсовича ничего не принимала вполовину. И все же я должен повторить: главная причина, побудившая ученого надеть рясу и крест, была не церковно-служебная, а этическая. И ряса, и крест, и литургия были лишь формой нравственного протеста, его «не могу молчать!». Об этом он сам пишет в своих мемуарах.

«Уже в ближайшее воскресенье, при чтении часов, я, провожаемый двумя дьяконами, вышел в чужом подряснике к стоящему на кафедре архиерею и был посвящен им в чтеца, певца и иподьякона, а во время литургии — и в сан дьякона… Это необыкновенное событие посвящения в дьякона произвело огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли большой группой во главе с одним профессором студенты медицинского факультета. Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я сказал им, что при виде карнавалов, издевающихся над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» Я чувствовал, что мой долг — защитить проповедью оскорбленного Спасителя нашего.

Через неделю после посвящения во дьякона, в праздник Сретения Господня 1921 года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием, и мне пришлось совмещать мое священство с чтением лекций на медицинском факультете… Преосвященный

Иннокентий, редко сам проповедывающий, назначил меня четвертым священником собора, и поручил мне все дело проповеди. При этом он сказал мне словами апостола Павла: «Ваше дело не крестити, а благовестити».

Чтобы благовестить — проповедовать, — пришлось заново на сорок четвертом году жизни изучать богослужение и основы богословия. Потеснив и без того не слишком долгий сон, отец Валентин взялся за новую для него литературу. Засим снова чередом: операция, работа на трупах, обходы, лекции. Хирург Садык Алие-вич Масумов (он учился в начале двадцатых годов на медицинском факультете) так описывает лекции по топографической анатомии: «Читал Войно-Ясенецкий очень спокойно, с достоинством. Усевшись за кафедрой в священнической рясе, с крестом, вынимая белоснежный платок, протирал очки и, взяв в руки указку, методично, без воды начинал говорить о мышцах, нервах, сосудах. Читал речитативом, может быть, чуть-чуть монотонно, но просто, хорошо. Запомнился гибкий, богатый русский язык профессора. Мы уходили с лекций обогащенные его мыслями, увлеченные и заинтересованные сложностью и остроумием конструкции человеческого тела».

Так же почтительно говорят о своем профессоре бывшие студенты ташкентского медфака член-корреспондент АМН СССР терапевт З. И. Умидова, профессор-эпидемиолог М. С. Софиев, кандидат медицинских наук микробиолог М.З. Лейтман.

Конечно, находились в университете и другие люди, те, что считали пребывание «попа» на кафедре недопустимым. Полвека спустя после описываемых событий я два часа выслушивал одного из них. Моим собеседником в симферопольской гостинице был хирург-пенсионер Петр Петрович Царенко. В начале 20-х годов совсем еще молодым он работал врачом в одной из ташкентских больниц. Через пятьдесят лет профессор-хирург Царенко, человек крупного сложения, весь какой-то оплывший, с надменно-начальственным выражением лица начал свой рассказ словами: «Я скажу вам о Войно-Ясенецком больше отрицательного, чем положительного».

Ничего «положительного», а попросту ничего хорошего о Валентине Феликсовиче он действительно не сказал, но воспоминания его по-своему интересны:

«После рукоположения Войно-Ясенецкого в священники мы серьезно ставили вопрос о том, допустимо ли в советской высшей школе доверять воспитание молодежи служителям культа. Мы даже намекнули ему тогда об отставке (двадцатичетырехлетний, только что окончивший университетский курс Царенко, конечно, ни о чем таком намекать известному профессору не мог, но партийцу с довоенным стажем, члену бюро Крымского обкома партии, профессору П. П. Царенко кажется теперь, что это он собственными руками выставлял «попа» Войно-Ясенецкого с кафедры). Подавляющее большинство ташкентских врачей, продолжал мой собеседник, — сожалело, что Валентин Феликсович погиб для науки. Служба в церкви оказалась для него роковой — он начал произносить контрреволюционные проповеди и был арестован».

Спрашиваю: «А вы сами слышали эти контрреволюционные проповеди?» «Нет, нет (торопливый оборонительный жест), я в церковь не ходил. Посещать в те годы церковь значило находиться в оппозиции к Советской власти, а я всегда твердо держался генеральной линии партии». Ниже мы еще встретимся с этим героем своего времени и с его «воспоминаниями». Но, говоря о «речах», которые Войно-Ясенецкий произносил в Ташкенте, Царенко, хоть и в кривом зеркале, но запечатлел подлинный факт. Одно публичное выступление Валентина Феликсовича, произнесенное летом 1921 года (правда, не в церкви, а в суде), действительно пришлось властям сильно не по вкусу. Лев Васильевич Ошанин так описал этот инцидент:

«В Ташкент из Бухары привезли как-то партию раненых красноармейцев. Во время пути им делали перевязки в санитарном поезде. Но время было летнее и под повязками развились личинки мух… Раненых поместили в клинику профессора Ситковского (в больницу им. Полторацкого). Рабочий день уже кончился, и врачи разошлись. Дежурный врач сделал две-три неотложные перевязки, а остальных раненых только подбинтовал и оставил для радикальной обработки до утра. Сразу же неизвестно откуда распространился слух, что врачи клиники занимаются вредительством, гонят раненых бойцов, у которых раны кишмя кишат червями». Тогда во главе ЧК, или Особого отдела, стоял латыш Петерс. Он имел в городе грозную репутацию человека неумолимо-жестокого и очень быстрого на вынесение приговора с «высшей мерой». По его приказу тотчас были арестованы и заключены в тюрьму профессор П. П. Ситковский и все врачи его клиники. Были арестованы и два или три врача, служившие в наркомздраве.

Петерс решил сделать суд показательным. Как и большинство латышей из ЧК, он скверно знал русский язык, но, несмотря на это, назначил себя общественным обвинителем. В этой роли произнес он не слишком грамотную, но зато «громовую» обвинительную речь. Были в ней и «белые охвостья», и «контрреволюция», и «явное предательство». Над обвиняемыми нависла угроза расстрела.

«Других выступлений я не помню, — пишет Ошанин, — кроме выступления профессора Войно-Ясенецкого, который был вызван в числе других экспертов-хирургов… Он сразу бесстрашно напал на грозного Петерса, он буквально громил Петерса как круглого невежду, который берется судить о вещах, в которых ничего не понимает, как бессовестного демагога, требующего высшей меры для совершенно честных и добросовестных людей».

Точный по фактам рассказ Л. В. Ошанина, к сожалению, беден деталями. Между тем революционный суд времен гражданской войны — зрелище, которое потомству забывать не следует.

Вот что рассказал мне в Ташкенте свидетель суда над Ситковским-хирургом профессор Садык Алиевич Масумов.

Суд происходил в том самом громадном танцевальном зале кафе-шантана «Буфф», где за три года до того Войно-Ясенецкий с другими виднейшими врачами города зимними холодными вечерами только что не при свете плошек учили будущих фельдшеров и медицинских сестер. Теперь зал был снова полон. Больше всего тут было рабочих, но некоторое количество пропусков (вот когда еще началась система пропусков на «открытые» суды. — М. П.) получили врачи города. По приказу Петерса профессора Петра Порфирьевича Ситковского из тюрьмы в зал суда доставила конная охрана. Профессор шел посредине улицы с заложенными за спину руками, а по сторонам цокали копытами конвойные с саблями наголо. Это было в духе Петерса. Начальник ЧК, человек жестокий и неумолимый, был вместе с тем весьма расположен к театральным эффектам. Суд над Ситковским он тоже замыслил как театральное зрелище. Этакий апофеоз всевидящей и всеслышащей Чрезвычайной Комиссии, которая способна разоблачить любые козни врага. Все необходимые для такого спектакля атрибуты были налицо: герои-красноармейцы, пострадавшие за власть советов, тайный белогвардеец профессор, не желающий лечить красных бойцов. И как следствие явного заговора и саботажа — подумать только! — черви, кишевшие в ранах бойцов. «Высшая мера» Ситковскому и «его людям» была заранее предрешена. Суд нужен был для воспитательных целей, чтобы лучше показать рабочему классу его врагов — прислужников мирового капитализма. Но великолепно задуманный и отрежиссированный спектакль пошел насмарку, когда

председательствующий вызвал в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого. Непредвиденный для судей эффект произошел после первых же реплик эксперта.

— Поп и профессор Ясенецкий-Войно, — обратился к Валентину Феликсовичу Потере, — считаете ли вы, что профессор Ситковский виновен в безобразиях, которые обнаружены в его клинике?

Вопрос касался первого пункта обвинения. Заведующему клиникой вменялся в вину развал дисциплины среди больных и обслуживающего персонала. Раненые, лежащие в клинике, пьянствовали, дрались, водили в палаты проституток, а врачи и медсестры этому якобы потворствовали.

— Гражданин общественный обвинитель, — последовал ответ эксперта Войно-Ясенецкого, — я прошу по тому же делу арестовать и меня. Ибо в моей клинике царит такой же беспорядок, что и у профессора Ситковского.

— А вы не спешите, придет время, и вас арестуем! — заорал Петерс. В ответ на угрозу Войно-Ясенецкий встал, перекрестился и, обведя широким жестом судей, выразил надежду, что многие из здесь сидящих также со временем окажутся за решеткой. Аплодисменты интеллигентной части зала были наградой его бесстрашию.

Между тем замечание эксперта о беспорядке, царящем в хирургических клиниках города, вовсе не являлось риторической фразой. Большинство раненых, лежавших в клиниках профессоров Ситковского, Войно-Ясенецкого и Боровского, были красноармейцы. В огромных, превращенных в палаты маршировальных залах высшего кадетского корпуса разгулявшаяся на фронтах братва без просыпу пила самогон, курила махру, а по временам и «баловалась девочками». Тут же рядом лежали тяжело раненные. Но на их мольбы о тишине и покое легко раненные не обращали никакого внимания. Однажды во время профессорского обхода ординатор Беньяминович доложила об очередной оргии в палате. Валентин Феликсович приказал вызвать дебоширов к нему. Но едва он поднялся на второй этаж в свой кабинет, как снизу по лестнице целая орава пьяных красноармейцев полезла «бить попа». Доктор Беньяминович успела запереться в операционной, а профессора избили. Били жестоко, пинали ногами и костылями. После этих побоев заведующий клиникой на несколько дней был прикован к постели. Сидящие в зале врачи хорошо знали эту историю, знали и о других бесчинствах красноармейцев в госпиталях. Беспорядок в клинике Ситковского, который расписывал в своей речи Петерс, никого не удивил: как и Войно-Ясенецкий, профессор Ситковский просто физически не мог справиться с буйными пациентами.

Второй вопрос общественного обвинителя касался случая с «червями». Войно-Ясенецкий обстоятельно объяснил суду, что никаких червей под повязками у красноармейцев не было, а были личинки мух. Хирурги не боятся таких случаев и не торопятся очистить раны от личинок, так как давно замечено, что личинки действуют на заживление ран благотворно. Английские медики даже применяли личинок в качестве своеобразных стимуляторов заживления. Опытный лектор, Валентин Феликсович так внятно и убедительно растолковал суть дела, что рабочая часть зала одобрительно загудела.

— Какие еще там личинки… Откуда вы все это знаете? — рассердился Петерс.

— Да будет известно гражданину общественному обвинителю, — с достоинством отпарировал Войно-Ясенецкий, — что я окончил не двухлетнюю советскую фельдшерскую школу, а медицинский факультет университета Святого Владимира в Киеве. (Шум в зале. Аплодисменты.)

Последний ответ окончательно вывел из себя всесильного чекиста. Так с ним никто

еще не разговаривал. Высокое положение представителя власти требовало, чтобы дерзкий эксперт был немедленно изничтожен, унижен, раздавлен. Прямолинейный Петерс выбрал для удара, как ему показалось, наиболее уязвимое место противника:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

Вопрос звучал грубо, но таил в себе подлинное обвинение: христианство запрещает священнику проливать кровь, даже в операционной. Когда-то в глухой латгальской деревушке учитель приходской школы втолковал маленькому Якобу Петерсу, что пролитие человеческой крови противно христианскому вероучению. С тех пор сам Якоб Христофорович успел начисто освободиться от веры и от боязни кровопролития. Но в пылу диспута память подсказала ему старое, давно отброшенное заклятие, и, сын своего времени, он пустил в ход это оружие, чтобы побольней ударить противника. Но — мимо.

Если бы они беседовали мирно в деловой обстановке, о. Валентин объяснил бы Петерсу, что Патриарх Тихон, узнав о его, профессора Войно-Ясенецкого, священстве, специальным наказом подтвердил право хирурга и впредь заниматься своей наукой. Но тут было не до объяснений. В переполненном многолюдном зале о. Валентин ответил противнику в полном соответствии с законами полемики:

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. Все симпатии были теперь на стороне хирурга-священника. Ему аплодировали и рабочие, и врачи. Но Петерс не смирился. Как бык на красную тряпку, продолжал он наскакивать на взбесившего его эксперта. Следующий вопрос должен был, по его расчетам, изменить настроение рабочей аудитории:

— Как это вы верите в бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего бога?

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил. (Колокольчик председателя потонул в долго не смолкаемом хохоте всего зала.)

«Дело врачей» с треском провалилось. Однако, чтобы спасти престиж Петерса, «судьи» приговорили профессора Ситковсного и его сотрудников к шестнадцати годам тюремного заключения. Эта явная несправедливость вызвала ропот в городе. Тогда чекисты вообще отменили решение «суда».

Через месяц врачей стали днем отпускать из камеры в клинику на работу, а через два месяца и вовсе выпустили из тюрьмы. По общему мнению, спасла их от расстрела речь хирурга-священника Войно-Ясенецкого. У этой истории есть два уточняющих постскриптума.

Первый, когда судебный спектакль окончился и публика покинула зал, Цируль, тот самый латыш Цируль, которого Войно-Ясенецкий поставил на ноги и который подарил профессору браунинг, сказал, повстречавшись с доктором Слонимом: «Этот поп такой поп, что он может в свой кулак все врачи города забирайт, в карман положи, на свалка таскай и выбрасывай».

Постскриптум второй. П. П. Ситковский был, по существу, создателем медицинского факультета в новом университете. До ареста он считался второй — после Валентина Феликсовича — фигурой в ташкентской хирургии. А через год после «дела врачей» ему были преподнесены в подарок золотые часы с надписью, выгравированной на крышке:

«Профессору Петру Порфирьевичу Ситковскому за организацию медицинского факультета от Правительства Туркестанской республики». На суде профессор проявил выдержку и достоинство. Потере упорно добивался от него ответа, почему он не пришел в клинику в тот вечер, когда привезли обожженных красноармейцев, и хотя «неуважительная причина» грозила ученому жестокими карами, он отказался впустить посторонних в свою неизнь. Только много недель спустя в городе узнали, что в тот самый роковой вечер жена Ситковского пыталась отравиться и муж ее спас. Впрочем, Якоб Петерс, расстрелявший в 1918—1919 годах несколько тысяч «белых» и эсеров, едва ли признал бы события в доме профессора Ситковского достойными внимания. Для него это была всего лишь мелкобуржуазная мелодрама. Что же касается Войно-Ясенецкого, то на следующий день после окончания суда он уже был у себя на кафедре и приступил к очередным лекциям и занятиям.

Общественное поведение Валентина Феликсовича в Ташкенте между 1920 и 1923 годами представляется сплошным парадоксом. Один, не имея никакой реальной опоры, кроме собственного авторитета, он отстаивает законность, нравственность, право на независимые убеждения. Нет, он не произносит антисоветских проповедей. Оставим эту клевету на совести П. П. Царенко из Симферополя. Политика по-прежнему кажется ему предметом скучным, недостойным серьезного внимания. Но всякий раз, когда на его глазах пытаются попирать дорогие ему нравственные начала, он протестует. И очень энергично. Профессор Войно-Ясенецкий ведет себя в полном согласии с любимой пословицей В. Г. Короленко и Льва Толстого: «Делай что должно, и пусть будет, что будет».

Месяцев через пять после суда над Ситковским очередная ревизионная комиссия приказала снять икону в операционной Городской больницы. Идиллические времена, когда икона вернулась ради «честного партийного слова», миновали. Доля личной человеческой воли в машинизированном государственном аппарате стремительно уменьшалась, приближаясь к нулевой отметке. А Войно-Ясенецкий оставался все тем же: независимо мыслящим, непреклонным, знающим себе цену. Конфликт был неизбежен и в конце концов вспыхнул: профессор заявил, что не выйдет на работу, пока икону не вернут на место. И ушел домой. В конце 1921 года такой «саботаж» карался как самое тяжелое политическое преступление. Хирургу грозил арест. Верный Друг Валентина Феликсовича «лейб-медик» членов советского правительства Моисей Ильич Слоним бросился к стопам «главного хозяина» Туркестана Председателя Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б) Я. Э. Рудзутака. Зная психологию новой власти, Моисей Ильич почтительно разъяснил, что если будет арестован выдающийся хирург, ученый и педагог Войно-Ясенецкий, то ущерб от этого понесут прежде всего рабоче-крестьянская республика, ее медицина и наука. Рудзутак милостиво обещал пока профессора не арестовывать, пусть врачи сами найдут выход из «хирургического кризиса». Между прочим, тогда же товарищ Рудзутак заметил, что сам бы оперироваться у Войно-Ясенецкого не стал: «А вдруг во время операции хирург совсем сойдет с ума?»

Валентин Феликсович ничего о ходатайстве Слонима не знал и едва ли одобрил такое бесцеремонное вмешательство в свои личные дела. Он бастовал уже несколько дней. Засылаемые к нему в качестве разведчиков хирурги «доносили», что главный врач все время работает за письменным столом, что-то пишет, что-то читает. Уговаривать его было бесполезно.

Конец «второго иконоборства» профессор Л. В. Ошанин, по своему обыкновению, изображает в красках комических. «Вспомнили, что Войно не просто священник, но

священник-монах, то есть находится под абсолютной властью архиепископа, которому должен подчиняться. В те времена архиепископом Туркестанским был митрополит Никандр. Делегация из двух или трех врачей отправилась в резиденцию митрополита. Оказалось, что митрополит неплохо разбирается в мирских делах. Он сразу сообразил, что для его епархии невыгодно, если один из пасомых им агнцев будет не в меру строптив и бодлив. Митрополит сказал, что вызовет «отца Луку», то есть В. Ф. Войно-Ясенецкого, и с ним побеседует, что врачи могут спокойно идти домой. Он гарантирует, что «хирургический кризис» будет ликвидирован… Войно на следующий день вышел на работу… и приступил к очередным операциям, несмотря на отсутствие иконы, которая с тех пор навсегда исчезла из операционной».

Шутейная версия Ошанина абсолютно недостоверна. Осенью 1921 года, когда происходило «второе иконоборство», Войно-Ясенецкий еще не был монахом, «отцом Лукой» (рассказчик забежал на два года вперед), а митрополит Никандр не был архиепископом Ташкентским. Перед нами типичный миф, сложенный во врачебной, атеистической среде, и место ему не здесь, а в «житийном» прологе нашей книги.

В действительности главный врач протестовал против изгнания иконы долго и всеми доступными ему средствами. В частности, в знак протеста не явился в научное врачебное общество, где стоял его доклад. Когда же на следующем заседании отец Валентин, как всегда в рясе, взошел на кафедру, чтобы произнести доклад, то прежде чем изложить новый способ резекции коленного сустава, сделал следующее заявление: «Приношу обществу извинение за то, что я не читал доклад в назначенный для меня день. Но случилось это не по моей вине. Это случилось по вине нашего комиссара здравоохранения Гельфгота, в которого вселился бес. Он учинил кощунство над иконой».

Выпад против высшего медицинского чиновника вызвал общий шум. Затем воцарилась, по словам современника, «гробовая тишина». Остолбенев от страха, врачи ожидали, что присутствовавший на заседании комиссар Гельфгот тут же испепелит нечестивца. Но комиссар, очевидно, побоялся скандала. Того же страха иудейска ради и председатель научного общества профессор М. А. Захарченко прошептал секретарю общества доктору Л. В. Ошанину, чтобы тот ни в коем случае не заносил в протокол неуважительных слов о представителе власти. Так реально выглядел конец «второго иконоборства». Оставляю читателю самому решать, кто в действительности остался победителем в этой борьбе.

Не скрывал своих принципов отец Валентин и на антирелигиозных диспутах. Такие дискуссии были любимы всеми слоями публики двадцатых годов. В пору, когда политические споры стали невозможными, в обстановке обязательного единомыслия дискуссии о бытии Божием и бессмертии души остались единственно доступной формой свободного обмена мыслями. Власти полагали, что дискуссии разрушат веру, расшатают церковь. Священники-богословы, наоборот, видели в дискуссиях возможность отстаивать веру, противостоять хаосу всеобщей безнравственности. Но чаще всего не торжествовал ни тот, ни Другой замысел. На Руси, от века не знавшей демократических свобод, спорить не умели. К тому же спорящие стороны были поставлены в явно неравноправное положение. Низкая культура диспутантов еще более усугубляла дело. Так что в конце концов встречи священников с пропагандистами-антирелигиозниками оборачивались средневековой перебранкой капуцина и раввина, почти в таком же виде, как описано у Генриха Гейне. А жаждущая развлечений публика, лузгая семечки и похохатывая, развлекала себя в этом своеобразном, а главное, бесплатном цирке.

Власти поощряли дискуссии, но лишь до того времени, пока такие серьезные

религиозные деятели, как Введенский и Флоренский, не начали публично, как мальчишек, «шлепать» доморощенных антирелигиозников из партактива. После этого комиссар просвещения Луначарский заявил, что проводить диспуты следует очень осторожно, и практика открытого ратоборства властей со сторонниками веры была заменена акциями тайными.

В Ташкенте диспуты проходили чаще всего в зале «Колизея» (ныне театр им. Свердлова), при большом стечении народа. За несколько дней до встречи сторон в городе вывешивались афиши. Ошанин в «Очерках» и Стекольников в «Биографии В. Ф. Войно-Ясенецкого» говорят, что на таких публичных ристалищах Валентин Феликсович, как правило, одерживал моральные победы над своими противниками и вызывал всеобщее расположение публики. В «Мемуарах» он так говорит об этих выступлениях:

«…Мне приходилось в течение двух лет вести публичные диспуты при множестве слушателей с неким отрекшимся от Бога протоиереем, бывшим миссионером Курской епархии, возглавлявшим антирелигиозную пропаганду в Средней Азии. Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника веры, и верующие не давали ему прохода вопросом: «Скажи нам, когда ты врал: тогда ли, когда был попом, или теперь врешь?» Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от «этого философа». Активность в делах церкви не мешала работе хирурга. Те, кто считал Войно-Ясенецкого погибшим «для науки», были, вероятно, обескуражены, повстречавшись с отцом Валентином на первом научном съезде врачей Туркестана (Ташкент, 23—28 октября 1922 года). Здесь хирург-священник выступил с четырьмя большими докладами и десять раз брал слово в прениях. Можно сказать, что ни одно сколько-нибудь серьезное выступление по хирургии не оставалось без его замечания и оценки. Ему, накопившему огромный оперативный опыт, было что сказать и о злокачественных новообразованиях, и об удалении почечных камней. Был у Войно-Ясенецкого свой собственный метод хирургического лечения глаз (гнойные кератиты), туберкулеза шейных желез, гнойных заболеваний кисти руки. Интересны были его суждения о том, какая анестезия более подходит для той или иной операции (он по-прежнему оставался поборником местной анестезии).

Первый научный съезд врачей Туркестана поддержал два практических предложения о. Валентина: лечить туберкулезных больных на курортах (солнцелечение в Чимганских горах, грязелечение в Молла-Кара и Яны-Кургане) и второе — помочь провинциальным медикам освоить некоторые наиболее необходимые в условиях Туркестана глазные операции. В решениях съезда записано: «Поручить профессорам Турбину и Ясенецкому-Войно составить краткое практическое руководство для врачей по глазным болезням… Просить государственное издательство напечатать эту книгу и широко распространить ее среди врачей».

Руководство по глазным болезням написать так и не удалось, но зато к началу 1923 года была совсем близка к завершению первая часть «Гнойной хирургии» — главной книги профессора Войно-Ясенецкого. Одной главы не хватало (всего одной главы!), чтобы послать труд в издательство, когда произошли события, на годы оторвавшие автора от всякой научной работы…

В первый же день, когда Войно-Ясенецкий явился в больницу в духовном облачении, ему пришлось выслушать резкое замечание своей всегда послушной и добросовестной ученицы Анны Ильиничны Беньяминович. «Я неверующая, и, что бы вы там ни выдумывали, я буду называть вас только по имени-отчеству. Никакого отца Валентина для меня не существует».

Еще более непримиримо отнесся к «поповству» о. Валентина П П. Царенко, в то время молодой, но уже сделавший некоторую карьеру хирург (он был, между прочим, секретарем съезда врачей). «Я не раз видел Войно-Ясенецкого идущим в церковь и из церкви, — рассказывает Царенко. — Он шел, окруженный толпой бабонек, благословлял их, а они лобызали ему руки. Тяжелая картина». В больнице, по мнению Царенко, главный хирург тоже «чудил» — благословлял больных перед операцией. Все это было совершенно недопустимо, и Царенко с удовлетворением замечает, что арест пошел Войно-Ясенецкому на пользу. «Получив предупреждение, отец Валентин стал поскромнее».

Студентка-медичка красавица Капа Дренова тоже считала себя вправе обличать хирурга-священника. В больнице Капа крутила многочисленные романы, а дома учила английский на случай скорой мировой революции. «Вы кокетничаете своей рясой, — говорила Капа. — Поклонение верующих ласкает ваше честолюбие. Не так ли?» Наветы завистника и карьериста Царенко, благоглупости пустенькой Капы можно было бы и не принимать в расчет, но в том-то и дело, что эти двое представляли собой наиболее распространенный тип в окружении Войно-Ясенецкого. Священства о. Валентина не одобрил ни один из его сотрудников. Кто по убеждению, кто от страха, но все медики приняли новое обличье и новое общественное положение в штыки. Молодые врачи принимали рясу за символ классово-враждебной идеологии. Им казалось смешным и то обостренное внимание, с которым «шеф» относился к любому случаю безнравственности. Хотя выражение «лес рубят — щепки летят» вошло в российский политический словарь позднее, но люди двадцатых уже вполне освоились с этой философией. Стоит ли говорить о каком-то отдельном случае потери совести на фоне гигантских побед в эпоху мировых войн и революционных преобразований? Смешно! И доктор Ошанин искренне потешается, описывая, как проходил в 1921 году «суд» над ташкентским врачом, нарушителем элементарных правил своей профессии.

Известный в городе психиатр, лечивший гипнозом, несколько раз поцеловал загипнотизированную больную. Разбирал «дело» Президиум Союза врачей. Председателем Союза был профессор Войно-Ясенецкий. Перед этим случаем явного морального уродства Валентин Феликсович испытал неподдельное отвращение и недоумение. Он пытался постичь, как может случиться, чтобы врач использовал свои знания и свое призвание для столь низменных целей. А молодой Ошанин увидел в тех же фактах только тему для смешного, пикантного рассказика. Сценка в его исполнении действительно выглядит забавной.

«То ли она спала чутко, то ли не поддалась гипнозу, но она сообщила обо всем мужу, а тот на следующий день пришел к врачу и публично дал ему пощечину. И вот «грешник» предстал перед Президиумом Союза врачей… Одетый в рясу с большим крестом на груди, огромный, величественный, аскетически суровый Войно вел «допрос». Глядя на «грешника» неумолимыми, холодными, как сталь, глазами (бывали у него и такие, я как сейчас их вижу), «отче» вопрошал каким-то замогильным голосом:

Войно: И вы делали над ней пассы?

Грешник (не зная куда деваться от срама): Да, делал…

Войно: И вы делали эти пассы с целью усыпить ее?

Грешник (убитым голосом): Да, с этой целью.

Войно: И вы хотели ее усыпить, чтобы в сонном состоянии ее целовать?

Грешник (после мучительной паузы): Да, с этой целью.

Войно: И вы ее целовали?

Грешник (и без того уже неживой от стыда): Да…

Войно: А зачем вы ее целовали?

На это грешник ответствовал гробовым молчанием».

Юмореску «о суде над грешником» Л. В. Ошанин завершил беззаботным пассажем: «Для нас, членов суда, тогда молодых, не слишком аскетичных и пуританских, да еще на беду нрава смешливого, такая заунывная архипастырская исповедь была тяжелым испытанием».

Лев Васильевич вовсе не имел намерения обидеть своего учителя и начальника. Более того, он, как уже говорилось, любил Войно-Ясенецкого, во всяком случае, уважал его. Но одно дело — уважать, другое — понимать. Непонимание оборачивалось непредумышленной насмешкой. И так изо дня в день — непонимание, насмешки, а порой и ненависть. Комсомольские карнавалы на Пасху и Рождество, оскорбительные выкрики прохожих на улице… Между 1921-м и 1923-м годами на долю о. Валентина выпали те же испытания, что переживал в то время любой служитель церкви.

Откуда это? Куда девалась стройная картина православной Руси с переполненными храмами и иконой в каждом доме, картина, так умилявшая народолюбцев-славянофилов? Конечно, законы и действия государства носили в это время активно антицерковный, антихристианский характер. Но трудно представить себе, чтобы правительственный декрет об изъятии церковных ценностей или распоряжение о закрытии церквей могли в одночасье разрушить веру итальянского или испанского крестьянина. Почему же так легко раскрошилось христианское сознание русских православных мужиков и мастеровых? Дело, очевидно, было не столько в новых законах, сколько в старых навыках народной жизни. Революция и гражданская война лишь обнажили то, что давно предчувствовали наиболее проницательные умы России, — русский народ безрелигиозен. Духовная незрелость его, прорывающаяся то кровавыми бунтами, то рабским беззаветным царепоклонством, самосожжением раскольников и злодеяниями на больших дорогах, отпечаталась и на отношениях с Богом. Одна из важных сторон христианства — нравственная его основа, — несмотря на тысячелетнюю историю российского православия, осталась для огромной массы народа пустым звуком. Вера была понята миллионами как исполнение обрядов. Молебен, лампада перед иконой, водосвятие, крещение, соборование — вот из чего складывалось для подавляющей части простых людей понятие веры. К этой обрядовой стороне низы относились уважительно, порой даже истово (отсюда обилие религиозных сект и направлений в православии). Учтя это, великие прагматики социал-демократы до поры до времени не решались открыто выступать против веры. Они сделали даже вид, что сочувствуют религиозным меньшинствам. В 1909 году Ленин писал: «Социал-демократы требуют… чтобы каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно свободно… Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, но и распространять любую веру…»

Полтора десятка лет спустя, захватив власть, правительство, возглавляемое Лениным, сочло, что ему более выгодно объявить священников врагами народа, а церкви — местом одурачивания масс. Началось организованное гонение на церковь. Гонения привели к частичному крушению этой твердыни, а крушение церкви выбило из-под веры миллионов главную опору. Верить в собственном сердце, верить для себя и просто жить по Христу народ российский за тысячу лет рабства не научился. А далее, как салазки с ледяной горы, все покатилось быстрей и быстрей. Уже давно замечено: если от религии отходит интеллигент, в его личном и общественном поведении мало что меняется — социальная культура, социальные навыки, пусть внешне, но все-таки компенсируют

отвергнутые принципы Нагорной проповеди. Но когда крест с себя срывает мужик, в характере его наступают, как правило, деструкции, непоправимые, общественно-опасные. Свобода от веры тотчас обернулась для крестьянской России свободой не только от законов божеских, но и человеческих. Возникла самая подходящая среда для размножения, роста и процветания мещанина. Явление это совсем не классовое, а психологическое и этическое — вчерашний мужик или мастеровой, потерявший «страх Божий» и оттого убежденный в том, что все дозволено, нынешний мещанин быстро стал главным лицом нового общества.

У нас с понятием «мещанин» соединено обычно представление о плохом художественном вкусе и наклонности к накопительству. Между тем главное в мещанской психологии вовсе не любовь к канарейкам, а ненависть ко всему, что ему, мещанину, непривычно, ко всякому, кто «не как все». К какой угодно власти привыкает мещанин быстро, без труда. Но если несходное с собой выражение лица заметит в ком-нибудь из нечиновных — враз лютеет. Ибо хорошо знает: на «чужом» можно отыграться, сорвать злобу, разрешить свою ущемленность, ущербность.

В начале двадцатых людьми «не как все» были объявлены те, кто в рясах, в погонах, в рубашках с галстуками. Мещанин размышлять не стал: внешняя форма для него и есть содержание. Чужак? Гав! — и за горло. В начале тридцатых мещанину разъяснили, что «можно галстук носить очень яркий и быть в шахте героем труда». В начале сороковых новое уточнение: золотые погоны («наши погоны» — это хорошо. И ряса, если она заседает в Комитете защиты мира, — тоже патриотична. Взамен прежних «не как все» получил мещанин для ворчания и кусания новых манекенов — евреев, писателей, непрогрессивных иностранцев. Ибо, как уже говорилось: «Не имея врага, не построишь храма».

Надев рясу, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в тот нее миг превратился для мещанской массы в чудесного, можно сказать, просто великолепного врага. Все в нем было явно вражеское: и облаченье, и поступки. Действительно, как это понять: все с себя кресты снимают, а этот надел? Не боится? Все боятся, а он не боится? Врешь, нас не проведешь! Если ты профессор да подался в священники, значит, была у тебя какая-то выгода. Без выгоды никто ничего делать не станет. И мещанин, как хорошо натасканная ищейка, начинает искать эту «выгоду». Крупных личностей для него нет. Величие идей отсутствует. Причина, по которой ученый пошел в попы, непременно должна быть понятна. Темнит Войно-Ясенецкий, но мы его раскусим, голубчика. Продался за деньги? Нет, не то. Бессребреник — гад. Брезгует деньгами. Ну тогда, значит, тщеславие его расперло, покрасоваться захотелось, внимание на себя обратить. Ишь, франт, поповская морда… Ты у нас покрасуешься где надо…

Что должен делать христианин в эпоху всеобщего, эпидемического паралича совести? «И что сделает праведник, когда разрушены основы?» (Псалмы Царя Давида.) Препоясаться мечом и крушить отступников веры ошуго и одесную? Подставлять хамам то правую, то левую щеку? Или закрыть глаза на мерзость века, или признать вместе с поэтом Фетом и Софьей Андреевной Толстой, что христианство — неосуществимо?

«Валентин Феликсович слушал «разоблачения» Капы Дреновой и только улыбался, — вспоминает профессор З. И. Умидова. — Снисходительно так улыбался, как взрослый улыбается, слушая ребенка. Как ни старалась Капа, ей никак не удавалось вызвать его на серьезный разговор».

Можно ли сомневаться: у профессора Войно-Ясенецкого достало бы твердости, чтобы отчитать бестактную девчонку, которая позволяет себе вмешиваться в чужую личную

жизнь. Но священник отец Валентин не счел возможным ответить молодой дикарке резкостью. Христианин и человек большого жизненного опыта, он знал, что резкостью ничего, кроме озлобления, в молодую душу не внесешь. С терпением относился он к любому мнению. И даже ко взглядам Капы и Царенко.

«Зная многих из нас как безнадежных безбожников, он никогда нам ничего не проповедовал, не агитировал, не стремился «направить на путь истинный», — пишет Л. В. Ошанин, — Вообще Войно был терпим к инаковерующим. Среди его учеников было много евреев: одним из ближайших его друзей был профессор Моисей Ильич Слоним». Однажды (это было уже в 1926 году), встретив Ошанина с женой и дочерью, строгий епископ Лука запросто пожал всем руки. «Здравствуйте, здравствуйте, — сказал он улыбаясь, — целое безбожное семейство по улице идет, и как только земля терпит». «Войно был строг, суров, аскетичен, — добавляет Ошанин, — особенно суровыми были его холодные, умные, внимательные глаза. Но иногда он как-то особенно искренне и дружелюбно улыбался. Не я один, а все, знавшие Войно, хорошо помнят его милую улыбку». Именно такой улыбкой приветствовал он «безбожное семейство» Ошаниных.

Но, как ни парадоксально, снисходительность и дружелюбие хирурга-священника проливались в те годы в основном на безбожников и инаковерующих. С верующими он был суров, непреклонен, а по некоторым свидетельствам, даже жесток. Об этом существует несколько рассказов. Один из них относится к лету 1922 года, когда религиозная ситуация в городе до крайности накалилась.

В Москве в противовес традиционной православной церкви, возглавляемой Патриархом Тихоном, возникла так называемая «Живая церковь». Пользуясь поддержкой светских властей, «живоцерковники» (речь о них пойдет ниже) начали захватывать по всей стране церкви, приходы, кафедры, кафедральные соборы. В Ташкенте им удалось занять собор, стоящий в центре города. Сергиевская же церковь на Пушкинской улице, где служил о. Валентин, сохранила верность Патриарху. Между двумя церковными организациями шла жестокая борьба. В эту пору многие верующие, особенно живущие в центре люди, да к тому же не слишком разбирающиеся в церковной политике, обращались к Войно-Ясенецкому с просьбой разрешить им посещать собор на Красной площади. Но о. Валентин на все эти просьбы категорически заявил, что тем, кто станет молиться в «живо-церковном» соборе, он откажет в исповеди и причастии. Стариков (это были в основном интеллигентные люди врачи, профессора, учителя) непримиримость священника огорчала, но делать нечего, приходилось таскать свои старые кости в дальнюю Сергиевскую церковь.

Можно как угодно относиться к этим фактам, но в них нельзя не заметить твердой последовательности: в душе верующего Войно-Ясенецкий желал пробудить твердость, непримиримость, подобные той пламенной непримиримости, с которой он сам относился к делам веры. Различное отношение к верующим и атеистам сохранял хирург-священник всю свою жизнь. Различие это было для него принципиальным и вытекало из его представлений о долге христианина.

А мещанин между тем не унимается: он уже уразумел, что общественный вызов, брошенный о. Валентином, адресован ему, мещанину. Он жаждет мести. Дай ему волю, и он вымазал бы хирурга-священника смолой, перевалял бы в перьях и по всем правилам средневекового обряда протащил по городу. Впрочем, зачем же смола, можно и без смолы. По Ташкенту ползет липкий, грязный слушок: «Батюшка-то Валентин жену схоронил и другую в дом привел. При детях малых… Срам… Стыд… Проповедует в храме, чтобы православные венчались крепким церковным браком, а сам…»

Слух кажется очень достоверным. После смерти жены Валентин Феликсович действительно поселил в доме свою хирургическую сестру Софью Сергеевну Велицкую. В «Мемуарах» он придает этому эпизоду характер мистический. В ночной час, когда стоял он в ногах умершей жены Анны, читая Псалмы, строка 112 Псалма — «И неплодную вводит в дом матерью, радующеюся о детях», подсказала ему нужное решение.

Но если даже оставить в стороне мистическое объяснение, то выбор домоправительницы и воспитательницы детей, сделанный Валентином Феликсовичем осенью 1919 года, не оставляет желать лучшего. Да и не было у него другой возможности. «Когда умерла мама, папа в отчаянии, оставшись с четырьмя детьми, звал к себе приехать тетю Шуру и тетю Женю (родных сестер жены. — М. П.), но они отказались. На помощь пришла к нам Софья Сергеевна Велицкая — ангел наш хранитель — и посвятила себя нам, детям», — пишет Елена Валентиновна Жукова-Войно. О том, что С. С. Велицкая спасла детей Валентина Феликсовича от неминуемой в ту пору гибели, говорят и многие из бывших сотрудников Городской больницы в Ташкенте.

На коллективном снимке, где хирургическая сестра снята вместе со своими коллегами в операционной, мы видим очень худощавую, прямую и, по всей видимости, решительную женщину лет сорока. У нее живое, полное доброжелательства и участия лицо. Настоящая сестра милосердия старой выучки. Была Софья Сергеевна женой убитого на фронте офицера царского. Своих детей не имела. В операционной ценили ее за мастерство и скромность: ни слова лишнего, зато с ходу угадывала, какой инструмент потребует оперирующий хирург в следующее мгновение. Детей Войно-Ясенецкого, как рассказывают, Велицкая любила и в доме младшего — Валентина — дожила до глубокой старости. Что же касается отношений с главой дома, то тут я призываю читателя полностью довериться «Мемуарам» Войно-Ясенецкого:

«Моя квартира главного врача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что Софья Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал. Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, и Богу Всеведующему известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым».

К той же теме Войно-Ясенецкий вынужден был вернуться, получив от архиепископа Иннокентия предложение стать священником.

«Я говорил с Владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велицкая, которую я, по явно чудесному Божию повелению, ввел в дом матерью, радующеюся о детях, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но Владыка не придал значения этому моему возражению и сказал, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди». Ровно через полвека после рукоположения профессора Войно-Ясенецкого в иереи я беседовал в Ташкенте и Москве с людьми, которые хорошо его знали в начале двадцатых годов. Удалось сыскать шесть человек. Старые врачи, не столько атеисты, сколько люди, уставшие от жизни и потому равнодушные ко всему, и в том числе к религии, тем не менее охотно говорили со мною о Валентине Феликсовиче. Воспоминания юности всегда приятны. И о нравственной личности профессора, ставшего священником, говорили тоже с удовольствием: за долгую свою жизнь мои собеседники успели оценить то, что в просторечии зовется совестью. Никто из них не читал находящихся под запретом книг Бердяева. Едва ли кто-нибудь помнил спор Л. Н. Толстого с Фетом, исполнимо ли христианство, возможен ли в современных условиях христианин-абсолют. И тем не менее, рассказывая об о. Валентине, все они, будто сговорившись, повторяли эпитет- «абсолютный». «Абсолютно чистый», «эпически

абсолютно бесстрашен», «человек-абсолют». Подводя итог беседе, бывшая медицинская сестра Ташкентской городской больницы Минна Григорьевна Нежанская (Канцепольская) так выразила общее мнение: «В делах, требовавших нравственного решения, Валентин Феликсович вел себя так, будто вокруг никого не было. Он всегда стоял перед своей совестью один. И суд, которым он судил себя, был строже любого трибунала».

Тысяча девятьсот двадцать второй и начало двадцать третьего года были для христианской церкви в России трагическими. Не проходило дня, чтобы в газетах не появлялось объявлений об аресте священников и епископов. Процессы церковников шли по всей стране. Судили в Екатеринославле, Уфе, Екатеринбурге, Рыльске, Орле, Калуге, Шуе; судили в Ростове-на-Дону, Иркутске, Харькове, Туле, Рыбинске, Киеве. В мае 1922 года в Москве взят под стражу Патриарх Русской Православной Церкви Тихон. В июле 1922 года суд в Петрограде приговорил к расстрелу митрополита Вениамина и десять священников якобы за то, что они противились конфискации церковного имущества. В марте 1923 года перед судом предстал глава католической церкви в России с одним из своих приближенных. Снова смертный приговор. В Тифлисе арестованы и содержатся в тюрьме Католикос Грузии и Кутаисский епископ.

В основном служителей церкви судят за сокрытие храмовых ценностей. Но по существу преследование епископов, священников и верующих мирян не прекращается с начала 1918 года, когда вступил в силу Декрет об отделении церкви от государства.

Внешне Декрет выглядел документом сравнительно мирным (хотя против него протестовали многие, и в том числе Максим Горький). Но на деле «отделение» обернулось цепью кровавых столкновений. На местах власти поняли Декрет как право бесконтрольно грабить церковные здания, закрывать храмы и разгонять причт. За пять лет, по признанию газеты «Правда», число кровопролитных столкновений с верующими достигло солидной цифры — 1414 случаев. Следовало ожидать, что конец гражданской войны несколько умерит страсти, что власти смягчат репрессии по отношению к верующим и членам причта. Но этого не случилось. В мирном 1922 году было расстреляно 45 священников и епископов, более 250 человек получили по приговору длительные тюремные сроки.

Отделив церковь от государства, Советское правительство никогда не исполняло собственный Декрет. Никогда не признавалось за гражданами и право на свободу совести. Находившийся в зените своей партийной карьеры Г. Зиновьев на заседании Исполкома Коминтерна 12 июня 1923 года в длинной речи решительно отверг призывы западных компартий прекратить преследование верующих. «Чтобы мы провозгласили религию частным делом по отношению к партии — это просто неслыханно», — воскликнул Зиновьев. Массовый антицерковный террор 22—23 годов советская пресса и лекторы-антирелигиозники объясняли провокационными действиями реакционеров-церковников, врагов Советской власти. Но полвека спустя получил широкую огласку один из тех документов, с помощью которых в действительности был запущен механизм изничтожения церкви. В секретном письме членам Политбюро, разосланном 19 февраля 1922 года, Ленин в следующих словах обосновал необходимость антицерковного террора:

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и потому должны) произвести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во

всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету». Кроме того, умирающий от голода крестьянин не сумеет защитить церковь. Ленин считал начало 1922 года наиболее подходящим временем для массового изъятия храмовых ценностей еще по двум причинам. «Без этого фонда, — писал он, — никакая государственная работа, никакое хозяйственное строительство, в частности никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в особенности, совершенно немыслимо».

Экономический расчет Председатель Совнаркома подкрепил столь же серьезным политическим расчетом:

«Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для достижения известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жесткие меры против духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью». В свой план, кроме сугубо рациональных обоснований, Владимир Ильич внес и начало эмоциональное. «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать».

Само собой разумеется, что ташкентский священник о. Валентин ничего не знал о секретных государственных планах ограбления и подавления православной церкви. Но, как и все, он получил вскорости возможность узреть исполнение этих планов воочию. Один из замыслов начал выявлять себя весной 1922 года. В мае самозваная группа священников объявила себя представителем всех православных. В июле «живоцерковники» создали Всероссийское Церковное управление (ВЦУ) «живой церкви». Обновленческая, или «живая», церковь немедленно заявила, что она не признает Патриарха Тихона и приветствует любые требования Советов к церкви. О том, откуда и почему возникла «живая церковь», дает представление диалог между одним из ее организаторов, А. И. Введенским, и церковным писателем А. Э. Левитиным.

Левитин: За всем ходом событий в мае 1922 года чувствуется чья-то направляющая дирижерская палочка.

Введенский: Безусловно. Было место, в котором делалась религиозная погода.

Левитин: Где ж оно было, это место?

Введенский: А я вам не скажу. Сами догадайтесь.

И Левитин догадывается. Он пишет:

«Это место находилось в кабинете Евгения Александровича Тучкова одного из руководящих работников ОГПУ, который ведал тогда церковными делами. Умный, хитрый и волевой человек, Е. А. Тучков, надо отдать ему справедливость, очень умело проводил правительственную политику в отношениях с церковью… Характерно, что впоследствии, уже будучи не у дел, он с большим уважением говорил о Патриархе Тихоне и с величайшим отвращением об обновленцах». Весной 1923 года живоцерковники организовали Собор, на котором «лишили» Патриарха Тихона его сана. Это было тем более просто, что сам Патриарх находился под домашним арестом и не имел возможности

никаким образом ответить самозванцам.

Главная политическая идея живоцерковников состояла в том, чтобы срастись с государственным аппаратом. Они даже подавали на сей счет проекты во ВЦИК. В ожидании благ от новой власти и желая задобрить ее, обновленцы доносили на своих идейных противников. Главный деятель «живой церкви» некто В. Красницкий не гнушался произносить политические угрозы даже с церковной кафедры. В речах он обещал известить гражданские власти о «контрреволюционной деятельности» того или иного тихоновца и даже целых приходов. Угрозы эти, несомненно, исполнялись, ибо тюрьмы были полны священниками, сохранившими верность Патриарху Тихону.

О связях «живой церкви» с ГПУ рассказывает и Н. Бердяев. В 1922 году вместе с большой группой русских писателей и философов его приговорили к высылке за пределы страны. В связи с этим Николаю Александровичу пришлось несколько раз посетить страховое общество «Россия» на Лубянской площади, где разместилось Государственное политическое управление (ГПУ). «Я был поражен, что коридор и приемная ГПУ были полны духовенством, — вспоминает Н. Бердяев. — Это все были живоцерковники. На меня все это произвело тяжелое впечатление. К «живой церкви» я относился отрицательно, так как представители ее начали свое дело с доносов на Патриарха и патриаршую церковь. Так не делается реформация…»

«Живая церковь» с ее доносами и подобострастием к властям была противна и Войно-Ясенецкому, возмущала его и внутрицерковная политика обновленцев: они охотно ходили в гражданской одежде, коротко стригли волосы, приняли специальное решение, по которому епископы получали право жениться, а вдовые священники вторично вступать в брак. Всем этим новомодным, а главное, неканоническим затеям решительно противились члены избранного в 1918 году Синода во главе с Патриархом Тихоном. О личности руководителя Русской Православной церкви А. Э. Левитин сообщает следующее:

«Патриарх Тихон был умным и добрым человеком, который, однако, являлся типичным представителем дореволюционного русского духовенства. Странно было бы ожидать от этого человека, чтобы он рассуждал как марксист, да еще большевик, и приветствовал бы октябрьскую революцию! Тогда он не был бы главой русского, в целом консервативного, духовенства. Отражая позицию всего русского духовенства и почти всей тогдашней интеллигенции (даже таких людей, как М. Горький, Куприн, Короленко, Скиталец и др.) Патриарх выступил с рядом воззваний. С Крещенским воззванием 6/19 января 1918 года, в котором он выступал с протестом против кровавых эксцессов, с воззванием против Брестского мира (против Брестского мира выступали, кстати, многие большевики, в том числе Дзержинский, Куйбышев, Урицкий. — М. П.), а также с резким письмом к В. И. Ленину, написанным к первой годовщине Октября, в котором содержались требования всеобщей амнистии.

Что характерно для всех этих воззваний? Патриарх нигде не восстает против социалистических и коммунистических принципов, ни даже против революции как таковой. Он восстает главным образом против эксцессов и против отдельных актов Советского правительства (Брестский мир)».

Я привел эту большую выписку из рукописи Левитина и Шаврова, потому что с первых дней образования «живой церкви» Войно-Ясенецкий оказался ее самым решительным врагом и столь же решительным сторонником Патриарха. Его общественная программа (если можно говорить о какой-нибудь программе), очевидно, во многом совпадала с позицией Святейшего.

Начавшийся в Москве раскол очень скоро докатился и до Ташкента. Обновленцы и тут принялись захватывать приходы и церковные должности. Ждали приезда назначенного в столице живоцерковного епископа: ГПУ расчищало «революционерам» дорогу, беря под стражу каждого, кто противился «живой церкви». Атака организованная сопровождалась нажимом идеологическим: по стране прокатилась мощная волна антирелигиозной пропаганды. Одна за другой следовали антирелигиозные лекции, спектакли, вскрытие мощей, открытые судебные процессы, где священников обвиняли во всех смертных грехах. Антирелигиозная и антицерковная кампания 1922 года завершилась грандиозным «комсомольским рождеством». Во многих городах, и в том числе в Ташкенте, молодежь вышла 25 декабря на улицы с пением оскорбительных для верующих частушек, с чучелами монахов и попов. Рассказывают, что нарком просвещения А. В. Луначарский прокомментировал «комсомольское рождество» довольно презрительно: «Трудно сказать, чего больше во всем этом — невежества или безвкусицы». Впрочем, широкие массы, не отличающиеся образованностью Луначарского, но накопившие за годы революции достаточный житейский опыт, восприняли организованную государством вакханалию именно так, как этого желали в соответствующих инстанциях — как угрозу и предупреждение. «Внешние успехи безбожия произвели ошеломляющее впечатление — опустели церкви; молодежь, для которой кощунство превратилось в привычку; улюлюканье и свист, которые раздавались на улицах вдогонку жалким, робким священникам, — таковы типичные явления тех лет».

Вслед за деморализацией противника начался захват его «укреплений». Архиепископ Ташкентский Иннокентий в ожидании ареста (как тихоновец, он знал, что черед его близок) возвел в сан епископа архимандрита Виссариона. Но не прошло и суток, как вновь назначенный епископ исчез в подвалах ГПУ, а потом был выслан из города. Вконец перепуганный Иннокентий также убежал из Ташкента, так никому и не передав церковную власть в Туркестане.

«Епископ уехал, в церкви бунт, — вспоминает Войно-Ясенецкий. — Тогда протоиерей Михаил Андреев и я стали во главе правления. Мы развили довольно большую деятельность, объединили всех оставшихся верными священников и церковных старост. Мы устроили съезд оставшихся верными, предупредив об этом ГПУ, прося разрешения и присылки наблюдателя». В начале июня, когда развернулись эти события, было уже ясно, куда клонится церковная политика властей. Поддерживать Тихона в эти дни означало открыто заявить о своем несогласии с теми, кто держал Патриарха в Донском монастыре в качестве подследственного. Двадцать третьего мая 1923 года (в ГПУ все было расписано как по нотам) Тихона увезли на Лубянку. Этим актом было окончательно указано на то, что Патриарх — государственный преступник. Недавний суд над главой католической церкви в России, кардиналом Циплаком, и его каноником, который закончился расстрелом одного и тюремным заключением для другого, не предвещал Патриарху ничего хорошего.

Арест Святейшего обновленцы приняли за свою окончательную победу. «Тихоновские» епархии сдавались по всей Руси без боя. И только в Ташкенте арест Патриарха наткнулся на сопротивление, которого не ожидали ни ГПУ, ни «живоцерковники». В городе, где вчера еще не существовало никакой церковной власти, а деморализованные священники со страхом ожидали приезда обновленского епископа, объявился вдруг местный епископ, сторонник Патриарха.

Случилось это так: незадолго до бегства Владыки Иннокентия в Ташкент перевели

из Ашхабада ссыльного Уфимского Владыку Андрея Ухтомского. Личность эта была незаурядная. Ухтомский еще до революции отличался либеральными взглядами, а в 1918 году выступил с призывом произвести в Православной церкви радикальные реформы. Благодаря своей левизне Ухтомский Владыка заслужил в церковной среде презрительное прозвище «большевик». Но в 1922 году его левый радикализм не имел никакой цены. От епископов требовалась лишь безоговорочная капитуляция перед «живоцерковниками». Ухтомский был слишком порядочен, чтобы признать доносчиков-обновленцев представителями всей верующей России. И — оказался в ссылке. В Ташкенте его крупную, даже величественную фигуру сразу заметили и друзья, и враги. Интеллигент, простой в обращении и твердый в принципах, епископ Андрей даже в изгнании сумел послужить опорой разгоняемой церкви: незадолго до ссылки, находясь в Москве, он получил от Патриарха право возводить в сан новых епископов. В трудных обстоятельствах живоцерковной атаки право это очень пригодилось.

«Приехав в Ташкент, — пишет Войно-Ясенецкий, — Преосвященный Андрей одобрил избрание меня кандидатом во епископа Собором Туркестанского духовенства и тайно постриг меня в монахи… Он говорил, что хотел мне дать имя Целителя Пантелеймона, но когда побывал на литургии, совершенной мной, и услышал мою проповедь, то нашел, что мне гораздо более подходит имя Апостола, Евангелиста, врача и художника Луки». В том, что умный епископ Андрей остановил свой взгляд на профессоре-священнике, нет ничего странного: едва ли во всей Средней Азии нашлась тогда фигура более подходящая для открытого ратоборства с «живоцерковниками». Но понимал ли сам о. Валентин (Владыка Лука), что означал для него этот выбор?

Приняв обет монашества (это было необходимой ступенью к возведению в сан епископа) сорокашестилетний Войно-Ясенецкий навсегда отрезал себе доступ к земным радостям. Такой удел многим представлялся дикостью, но в конечном счете монашество касалось только его самого. Однако следующий шаг — принятие епископской митры — почти наверняка вел к аресту и ссылке. Отец Лука был одновременно отцом четырех детей. Ему напоминали об этом друзья, и сотрудники, и близкие. «Однажды ночью, когда я лежал в своей кровати (она находилась в кабинете отца), — вспоминает средний сын Войно-Ясенецкого Алексей, — пришла Софья Сергеевна. Думая, что я сплю, она стала со слезами в голосе упрашивать отца не идти в монахи ради нас — детей. Но отец остался непреклонным».

Войно-Ясенецкий не сделал никакой попытки объяснить современникам причину своего решения (в «Мемуарах» мы находим только факты, без комментариев). Очевидно, сделанный выбор Валентин-Лука считал вполне естественным, более того — единственно возможным при данных обстоятельствах. Между тем даже с точки зрения канонической церковной нравственности он мог бы избрать для себя иной (вполне достойный!) метод поведения.

Речь идет не о том, чтобы в трудный час бежать с церковного корабля, как бежали в те годы многие священники и епископы. Но еще в пору раннего христианства, в эпоху кровавых гонений в церкви утвердились два одинаково правомерных ответа на эти гонения. Христианин мог избрать путь церковной «акривии» — отказ от любых компромиссов, путь мученичества — и путь «икономии» — приспособления к обстоятельствам ради сохранения целостности церкви. Даже в третьем и четвертом веках новой эры, когда тысячи христиан бесстрашно шли на казни и пытки, уготованные им римскими императорами, икономия считалась столь же достойным делом, сколь и акривия. Некоторые деятели церкви полагали даже, что путь икономии есть тоже

мученичество, даже еще более тяжкое, ибо оно не содержит пафоса героизма, согревающего душу тех, кто идет тропой акривии. Они разъясняли, что икономия не есть приспособленчество, она не есть лавирование среди опасностей с целью достичь каких-то выгод. Наоборот, тот, кто идет этим путем, взваливает на себя крест непонимания, насмешек и пренебрежения ради одной цели — спасения стада Христова.

Можно не сомневаться, будущий епископ Лука знал, что его никто не укорил бы, если перед лицом наступающих обновленцев он остался бы рядовым священником, в тайне хранящим верность подлинной церкви. Кстати, в Ташкенте и в других местах было немало священников-тихоновцев, которые благополучно пересидели недолгое торжество «живой церкви». Но, как справедливо заметил (мы уже говорили об этом) профессор Ошанин, смирения, даже для самых высших целей, Войно-Ясенецкому всегда недоставало. Он легко терпел выпады безбожников-врачей и даже побои распоясавшихся пациентов, ибо то поношение относилось только к его личности. Но поношение справедливости было для него непереносимым. Победу «живоцерковников» рассматривал он как торжество бесчестия, как победу безнравственности. Для огнепального характера Войно-Ясенецкого путь икономии решительно не годился. Решив стать епископом Туркестанским, прямолинейный, несгибаемый, презирающий опасности, он открыто избрал путь мученичества в самом прямом, обнаженном виде.

…Обряд рукоположения в епископы (хиротония) требовал участия двух архиереев. После бегства Иннокентия в Ташкенте другого архиерея, кроме Андрея Ухтомского, не оказалось. Но Владыка Андрей нашел выход из положения: он направил Войно-Ясенецкого со своим письмом в Пенджикент, небольшой таджикский городок в девяноста верстах от Самарканда. В Пенджикенте отбывали ссылку епископ Волховский Даниил и епископ Суздальский Василий. Чтобы власти не арестовали будущего главу Туркестанской церкви раньше времени, было решено, что Войно-Ясенецкий выедет в Пенджикент тайком. В «Мемуарах» находим полный отчет о событиях, которые разыгрались между вторником 29 мая и субботней ночью с 11-го на 12 июня 1923 года (по новому стилю). Об отъезде из Ташкента Войно-Ясенецкий пишет: «…Я назначил на следующий день для отвода глаз четыре операции, а сам вечером уехал в Самарканд в сопровождении одного иеромонаха, дьякона и моего старшего девятнадцатилетнего сына. Утром (30 мая. — М. П.) приехали в Самарканд, но найти пароконного извозчика для дальнейшего пути в Пенджикент оказалось почти невозможным, так как все боялись нападения басмачей. Наконец нашелся один забулдыга, который согласился нас везти… Преосвященные Даниил и Василий, прочитав письмо Андрея Ухтомского, решили назначить на завтра литургию для совершения хиротонии, а немедленно отслужить вечерню и утреню в маленькой церкви Святителя Николая Мирликийското, без звона и при закрытых дверях.

Все мы утром отправились в церковь. Заперли за собой дверь и не звонили, а сразу начали службу и в начале литургии совершили хиротонию во епископа. При хиротонии хиротонисуемый склоняется над престолом, а архиерей держит над его головой разомкнутое Евангелие. В этот важный момент хиротонии, когда архиереи разогнули над моей головой Евангелие и читали совершительные слова таинства священства, я пришел в такое глубокое волнение, что всем телом задрожал, и потом архиереи говорили, что подобного волнения не видели никогда. Из церкви Преосвященные Даниил и Василий вернулись домой несколько раньше меня и встретили меня архиерейским приветствием: «Тон деспотии…» Архиереем я стал 18/31 мая 1923 года. В Ташкент мы вернулись на следующий день вполне благополучно.

Когда сообщили об этой хиротонии Патриарху Тихону, то он, ни минуты не задумываясь, утвердил и признал законной мою хиротонию».

Известие о рукоположении епископа-тихоновца привело священников Ташкентского кафедрального собора в ужас. Они разбежались, так что первую свою воскресную всенощную литургию, совпавшую с памятью Равноапостольных Константина и Елены, епископ Лука служил с одним оставшимся ему верным священником.

«Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную (10 июня 1923 г. — М. П.). Вернувшись домой, я читал правила к причащению Св. Тайн. В одиннадцать вечера — стук во входную дверь обыск и мой первый арест». Появление ночных гостей нисколько не встревожило Войно-Ясенецкого. Внутренне он был давно готов к этому. Невозмутимо попрощался с детьми и Софьи Сергеевной и сел в «черный ворон». Однако считать, что последняя неделя прошла для него спокойно, было бы ошибкой. Те дни, что епископ Туркестанский и Ташкентский провел на свободе, были днями напряженной борьбы с «живоцерковниками». Каждую минуту ожидая ареста, Лука только и делал, что внушал верующим и причту свою страстную ненависть к церковному подлогу. Ему удалось составить Завещание такой взрывчатой силы, что подобно динамитной шашке оно буквально разнесло общественный покой города. Завещание, перепечатанное на машинке, стали раздавать в церквах уже утром одиннадцатого июня. В этом кратком завете, написанном, возможно, за несколько часов до ареста, явственно возникает перед нами характер епископа Луки и его этическая программа.

«Живая церковь» для него — «вепрь» — дикая свинья, с которой истинно верующий не должен поддерживать никаких отношений.

«К твердому и неуклонному исполнению завещаю вам: неколебимо стоять на том пути, на который я наставил вас.

Подчиняться силе, если будут отбирать от вас храмы и отдавать их в распоряжение дикого вепря, попущением Божиим вознесшегося на горнем месте соборного храма нашего.

Внешностью богослужения не соблазняться и поругания богослужения, творимого вепрем, не считать богослужением. Идти в храмы, где служат достойные иереи, вепрю не подчинившиеся. Если и всеми храмами завладеет вепрь, считая себя отлученным Богом от храмов и ввергнутым в голод слышания слова Божия.

С вепрем и его прислужниками никакого общения не иметь и не унижаться до препирательства с ними.

Против власти, поставленной нам Богом по грехам нашим, никак нимало не восставать и во всем ей смиренно повиноваться.

Властью преемства апостольского, данного мне Господом нашим Иисусом Христом, повелеваю всем чадам Туркестанской Церкви строго и неуклонно блюсти мое завещание. Отступающим от него и входящим с вепрем в молитвенное общение угрожаю гневом и осуждением Божиим».

Подписано: «Смиренный Лука».

Глава третья. Схема и схима (1924—1925)

«Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».

Первое послание Петра:4.15.16

: «Я не принимаю категории опасности. Опасность совсем неплохая вещь. Человек должен проходить через опасности».

Н. Бердяев. «Самопознание».

Два года прошло с тех пор, как в зале, где судили профессора Ситковского, столкнулись чекист Петерс и хирург Войно-Ясенецкий. Много изменилось с того времени. Чрезвычайная Комиссия, которую возглавлял в Туркестане Потере, была переименована в Государственное политическое управление — ГПУ. Заслуги безжалостного латыша получили признание, и он ожидал повышения в Москву на должность Начальника всего Восточного Управления ОГПУ. В судьбе хирурга-священника тоже произошли немалые перемены. Но эти двое не забыли друг друга. И надо полагать, готовя арест Войно-Ясенецкого, начальник Туркестанского ОГПУ с удовольствием предвкушал, как он расправится наконец с попом, который два года назад публично посадил его в лужу.

Человек в таких делах опытный, Ян Христофорович начал с обработки «общественного мнения». Арестовывая кого-нибудь в двадцатых годах, власти (в отличие от времен более поздних, когда аресты предпочитали замалчивать) спешили доказать, что схвачен злодей, обманщик, проходимец. И арест его, таким образом, является общественным благом. Поскольку все средства информации находились в одних руках, сделать это было нетрудно. В начале июня 1923 года некоему Горину из редакции «Туркестанской правды» заказали фельетон про жулика-епископа. Фельетончик получился хлесткий. Слово «воровской» повторено в нем восемнадцать раз. И в заголовке значилось: «Воровской епископ Лука». Назначение фельетона состояло в том, чтобы доказать: епископ Лука рукоположен незаконно с точки зрения церковных правил. Он «воровской» епископ. И кафедру архиерейскую захватил он незаконно, «воровским образом», за что должен быть «извержен». Аргументы свои автор фельетона почерпнул из Апостольских правил, а также решений Антиохийского и Карфагенского соборов. Если принять в расчет, что церковный собор в Антиохии происходил в 341 году н. э., а собор в Карфагене состоялся еще раньше — в 318 году, то аргументы автора «Туркестанской правды» иначе как издевательскими не назовешь. Пользуясь правилами, составленными 1600 лет назад, Горин «доказал», что два епископа в Пенджикенте не имели права рукополагать третьего, так как сами они находятся за пределами своих епархий, а сие в 318-м и 341-м годах нашей эры считалось беззаконным. В той же археологической пыли Горин разыскал параграфы, из которых явствовало, что и ташкентскую кафедру епископ Лука захватил «воровским образом».

Но особенно угодил фельетонист своим хозяевам, когда в Правилах Карфагенского собора выкопал следующие строки: «Епископов, творящих самочиние, нарушающих вышеприведенные правила, немедленно передавать по извержении в распоряжение гражданской власти, как обыкновенных бродяг и шарлатанов…» События церковной жизни в Ташкенте 1923 года меньше всего походили на то, что задолго до падения Римской империи именовалось «самочинным нарушением правил». Но ни газету, ни

автора фельетона это не смутило. Свой опус Горин завершил уже совсем не церковными угрозами:

«Та общественная смута, которую несет с собой авантюризм профессора, те сношения, в которые он вступил с поднадзорными, граждански опороченными ссыльными епископами, та демагогия и тихоновщина, которыми он занимается и сугубо будет заниматься в Ташкентском соборе в качестве самочинного епископа, — все это представляет достаточно материалов для привлечения его в порядке внутреннего управления — к ответственности». «Тихоновщина» — вот слово-ключ, открывающее подлинный смысл не слишком замысловатого горинского фельетона. Епископа Луку надо было арестовать за верность Патриарху Тихону, за противодействие «живоцерковникам». От него следовало избавиться во что бы то ни стало. А для этого годилось все — от Правил Вселенских соборов до подложных обвинений и прямой провокации.

Сотрудники Петерса не стали затруднять себя, чтобы измыслить сколько-нибудь достоверное обвинение против Ташкентского епископа. Для этой цели в 1923-м, равно как ив 1937-м да и позже, годилась любая басня. Луку обвинили в сношениях с оренбургскими контрреволюционными казаками и одновременно в связях с англичанами, которые он осуществлял якобы через турецкую границу. Тридцать пять лет спустя, рассказывая мне о тех давних допросах. Владыка заметил с улыбкой: «Я не мог быть участником казачьего заговора и деятелем международного шпионажа по двум причинам: во-первых, это противоречило моим убеждениям, а во-вторых, чекисты утверждали, что и на Кавказе, и на Урале я действовал одновременно. Все мои попытки объяснить им, что для одного человека это физически невозможно, ни к чему не приводили». Мы не знаем, был ли автором «кавказско-уральской легенды» сам Якоб Петерс, но доподлинно известно, что допрашивал Войно-Ясенецкого начальник Туркестанского ГПУ лично. В «Мемуарах» читаем:

«Однажды ночью меня вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, занимавший потом очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах к о моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: «Так кто же вы — друг или враг наш?»

Я ответил: «И друг ваш, и враг ваш. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонения на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш». Тюрьма образца 1923 года еще не превратилась окончательно в ту садистски жестокую темницу, какой она стала полтора десятка лет спустя. После первых допросов профессора-епископа перевели из подвальной одиночки в более просторное общее помещение. Гулять подследственных выводили на большой двор. Пятнадцатилетняя дочь Войно-Ясенецкого Лена имела возможность приносить отцу не только пищу, но и бумагу и карандаши, ибо, как и дома, он продолжал в заключении работать над своими «Очерками гнойной хирургии». Чтобы завершить первый том (выпуск) монографии, ему оставалось дописать последнюю главу о гнойных болезнях среднего уха. В камере писать было невозможно, и Лука обратился к начальнику тюрьмы с просьбой предоставить ему для научной работы специальное помещение. Разрешение последовало. Мы можем лишь удивляться либеральности эпохи, когда были возможны и такие просьбы заключенного, и такие ответы начальства.

Так или иначе епископу-арестанту разрешили после окончания рабочего дня занимать тюремную канцелярию и там писать свою книгу до отбоя. Монографию удалось

завершить, в Медицинском государственном издательстве ее даже одобрили. Но ни первый, ни второй выпуск ее в двадцатые годы света так и не увидели: книга вышла лишь одиннадцать лет спустя, в 1934 году. Сохранился любопытный эпизод, связанный с попыткой издать «Гнойную хирургию» в двадцатых годах. Прежде чем кануть в восточно-сибирской ссылке, Войно-Ясенецкий успел обратиться к наркому просвещения А. В. Луначарскому, ведавшему также наукой и делами издательскими. Заключенный профессор просил у наркома не свободы и не справедливого суда. Интересовало его совсем иное: он хотел, чтобы на обложке будущей медицинской монографии рядом с фамилией автора обозначен был его духовный сан. Луначарский ответил решительным отказом. Советское государственное издательство не может выпускать книг епископа Луки. Отпечатанный на машинке ответ наркома Войно-Ясенецкий с большим огорчением показывал позднее в ссылке студенту-медику Ф. И. Накладову.

…Все лето 1923 года в Ташкенте продолжалась борьба «живой церкви» против священников и верующих, преданных традиционному православию. Власти делали все, чтобы расчистить дорогу своим ставленникам. Арестовывали каждого, кто оставался верен Тихону и тихоновскому епископу Луке. «Туркестанская правда» на своих страницах вела непрерывную травлю явных и тайных противников «живой церкви». Заголовки газетных статей той поры достаточно выразительны: «Поп-мошенник», «Завещание лжеепиокопа Ясенецкого», «Гибель богов». Первого августа газета вышла с большим интервью, которое дал все тому же корреспонденту Горину вновь назначенный обновленческий епископ Николай Коблов. Имя Ясенецкого повторялось в интервью несколько раз и всякий раз в сопровождении политических проклятий. Деятельность Луки в Ташкенте «обновленец» оценил именно так, как это выгодно было для его хозяев: «…Контрреволюционная демагогическая работа». Затем «епископ» Николай сделал корреспонденту заявление совсем уже в духе тех доносов, что делал в Москве Председатель Всероссийского церковного управления (ВЦУ) Красницкий: «Последней и главной опорой тихоновщины считаю не религиозные, а политические мотивы. Кто предан искренне советской власти и новому социалистическому порядку, тот не может противиться обновлению и ВЦУ».

К середине августа все было кончено: все храмы в городе перешли к «живоцерковникам». Но… храмы эти стояли пустыми. «Завещание» епископа Луки — несколько десятков перепечатанных на машинке листочков — оказали на прихожан значительно большее влияние, чем газетные заклинания партийных пропагандистов и «живоцерковников». Пока Ясенецкий оставался в городе, его слово, его запрет на сношение с «вепрем» звучали для тысяч верующих как голос пророка. В ГПУ поняли: Луку надо как можно скорее выслать за пределы Туркестана. И вот, «оформив» Войно-Ясенецкого как политического преступника, Петерс отправил его в Москву, в распоряжение Главного Политического Управления. Последняя «милость» ГПУ состояла в том, что «опасный» арестант получил сутки на сборы и прощание с семьей.

Всю ночь большая квартира главного врача была полна прихожанами. Люди шли проститься с человеком, пользующимся в городе абсолютным уважением и доверием, верующие жаждали услышать последнее наставление. Утром, побывав на могиле жены, Лука направился на вокзал. Ехать ему разрешили не в арестантском, а в пассажирском вагоне. Надо полагать, в этот утренний час люди Петерса испытали наконец облегчение: операция «епископ» завершилась успешно. Лука попадает теперь в дальнюю, долгую ссылку, откуда ему едва ли суждено вернуться. А без него совсем нетрудно будет навести порядок в церковной жизни города. И все же в последний миг, когда поезд уже трогался с

места, чекисты испытали еще одну встряску. Несколько десятков верующих мужчины и женщины — легли на рельсы, они не желали отпускать своего пастыря. Ташкент снова продемонстрировал профессору-епископу Войно-Ясенецкому любовь и преданность.

Продолжавшийся почти пять месяцев путь из Туркестана в Москву, а оттуда в Восточную Сибирь описан в «Мемуарах» Владыки Луки с протокольной точностью, хотя и крайне немногословно. В Москве Владыке в течение недели разрешили жить на частной квартире. За это время он дважды встречался с Патриархом Тихоном и один раз в церкви Вознесенья в Кадашах служил с ним литургию. Патриарха к этому времени выпустили из тюрьмы, и он снова возглавлял Русскую Православную Церковь. В закулисной игре властей, где еще недавно все козыри принадлежали «живоцерковникам», произошел какой-то перебой. Почему ГПУ отшатнулось вдруг от недавних своих любимцев, мы не знаем. Может быть, власти были обеспокоены слишком широкой оппозицией, которую за рубежом и по всей стране вызвали наглые действия «живоцерковников». Во всяком случае, в соответствующих кабинетах начали разрабатывать новую церковную политику, в которой Патриарху отводилось уже более или менее достойное место. О беседах Войно-Ясенецкого с Патриархом мы знаем только то, что Тихон подтвердил право епископа Туркестанского заниматься хирургией. Что касается Луки, то можно не сомневаться: встреча в Москве еще более подогрела его религиозный энтузиазм, сделала его еще более страстным поборником традиционного православия и непримиримым врагом «живой церкви».

Во время второго посещения дома на Лубянке Войно-Ясенецкий был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Бандиты и жулики в камере относились к профессору-епископу, по его словам, «довольно прилично». В Бутырках просидел он месяца два. Из наиболее значительных событий того времени осталось у него в памяти первое появление симптомов сердечной болезни, которая в дальнейшем усилилась и на полпути к месту ссылки обернулась миокардитом с большими отеками на ногах. В Бутырках же, к большой своей радости, Владыка достал Новый Завет на немецком языке и усердно читал его, сидя в камере.

Глубокой ночью 1923 года партию арестантов из Бутырской тюрьмы пешком перегоняли через весь город на Таганку. «Я шел в первом ряду, — пишет Войно-Ясенецкий, — а недалеко от меня (шел) тот матерый вор-старик, который был повелителем шпаны в соседней камере… В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключенных. Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры, пол который по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал «батюшка». Позже, в других тюрьмах, я не раз убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним».

В Таганской же тюрьме перенес Владыка тяжелый грипп — около недели пролежал в сорокаградусном жару. Наконец в начале декабря был сформирован восточносибирский этап. Вместе с Войно-Ясенецким в ссылку на Енисей ехал ташкентский протоиерей Михаил Андреев. Позднее к ним присоединился еще один ташкентский протоиерей — Илларион Голубятников. Ехали в «столыпинских» арестантских вагонах. В узкий коридор, как в зоопарке, выходят решетчатые двери камер; высоко под потолком едва

пропускающее свет оконце.

Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск… По ночным улицам заключенных с вокзала быстрым шагом гонят в тюрьму. Утром снова в вагоны — и дальше. Болезнь сердца у Войно-Ясенецкого прогрессирует, но на этапе никто не оказывает ему помощи. В Тюмени этап задержался, но единственную за всю дорогу склянку настойки валерианы больной получил лишь на двенадцатый день.

Менялись камеры, спутники, ситуации. Новосибирск остался в памяти как место особенно тяжелое. В камеру, отведенную Войно-Ясенецкому и двум его спутникам-профессорам, тюремщики подсадили бандита, убившего восемь человек, и проститутку, которая по ночам уходила «на практику» к тюремной страже. Случалось, что бандиты проявляли к «батюшке» некоторое уважение, но чаще над ним глумились, его оскорбляли, даже били. В новосибирской тюремной бане у Владыки украли деньги, а затем в вагоне разворовали чемодан с вещами. В издевательствах недалеко от уголовных ушла и стража: в Красноярске охрана посадила политических заключенных в подвал, загаженный человеческими испражнениями. Лопат не дали. Вновь прибывшим пришлось чистить свое жилье «подручными средствами». Рядом с подвалом Войно-Ясенецкий несколько раз слышал ружейные залпы: работники ГПУ расстреливали казаков-повстанцев.

Но вот наконец и последняя часть пути: в лютую январскую стужу заключенных на санях повезли из Красноярска за 400 километров на север, в Енисейск. «Об этом пути я мало помню, — пишет Лука, — не забуду только операции, которую мне пришлось произвести на одном ночлеге крестьянину лет тридцати. После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязывать его, и рубаха и постель всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всяких затруднений вытащил огромный секвестр».

…Почти полвека спустя, в августе 1970 года, я сел в Красноярске на дизель-электроход «Сергей Прокофьев», чтобы плыть по местам ссылки моего героя. Я в то время еще не читал «Мемуаров», и единственная возможность дознаться, как профессор-епископ провел 1924—1926 годы, состояла в том, чтобы разыскать на Енисее свидетелей его жизни и поговорить с ними. Забегая вперед, скажу: енисейская поездка (она продолжалась две недели) показала, насколько живуча все-таки историческая правда. В Красноярске, Енисейске, Туруханске, а потом и в деревне Большая Мурта нашел я не одного и не двух, а более сорока местных жителей, знавших и помнивших моего героя. Да еще десяток человек ответили на письма, отправленные по адресам, которые удалось узнать на Енисее. В результате, вернувшись в Москву, я привез не только тетради, полные записей, но и уникальные фотографии Войно-Ясенецкого, его книги, а в Туруханске получил в подарок некогда принадлежавшую епископу Луке икону.

…Судьба города Енисейска, которую приезжий может без труда восстановить для себя, походив день-другой по улицам, типична для многих сибирских городов. До революции столица золотопромышленного района Енисейск насчитывал до пятнадцати тысяч жителей. Тут в добротно построенных кирпичных и бревенчатых с резными наличниками домах жили купцы, золотопромышленники, семьи приисковых рабочих и служащих. Цены на квалифицированный труд стояли тут всегда высокие, так что большинство жителей были людьми обеспеченными — золото всех кормило. Мощеные улицы, ухоженный парк, отличные здания гимназии, больницы, дома призрения, одиннадцать, включая собор, златоглавых церквей — все свидетельствовало о достатке

городского бюджета. Многое успел сделать для города перед первой мировой войной городской голова — инженер по образованию и довольно известный в Сибири путешественник. При нем было проведено электричество, появился телефон. Мысля категориями всероссийскими, он настойчиво налаживал торгово-промышленные связи между городами и поселками края. Сам дважды проводил караваны судов с Оби на Енисей и даже представлял в правительство проект соединения двух великих сибирских рек системой современных каналов. В те же годы городская интеллигенция успешно прививала населению культурные интересы. В шести тысячах километров от российских столиц енисейцы завели хорошую общедоступную библиотеку, организовали то, что мы теперь называем драматическим коллективом. (В музее можно видеть театральные афиши тех лет, извещающие о драматических и оперных спектаклях.) Существовал тут и кружок любителей словесности, одно время выпускавший литературный альманах. В городе жили и работали хорошие земские врачи (доктор Бицин, доктор Салтурин), больничная операционная располагала таким операционным инструментарием (его выписали из Германии), какого не было в иных губернских городах.

Гражданская война и пять лет, последовавших после утверждения в Енисейске новой власти (1919—1924), полностью преобразили город. Он опустел. В то время, когда Войно-Ясенецкий приехал в ссылку, в Енисейске едва ли оставалось шесть тысяч человек. Свои добротные дома покинули не только купцы и золотопромышленники, но и учителя, врачи, инженеры, многие речные капитаны. Вместо прежних опытных медиков частную практику открыли фельдшеры (С. М. Бурмакин, Н. Н. Крыловский, Лимескин). Ушли в поисках сбыта своих знаний и мастеровые, от плотников до ювелиров. Купеческие особняки заняли учреждения: горком и окружком ВКП, РИК, Чека, окружком комсомола. У новых хозяев тоже были свои занятия, своя культура и свои развлечения (о них ниже). И, конечно же, свое представление об общественной структуре. Врач С. М. Якобсон, поселившийся в Енисейске в 1925 году, так описывает политическую ситуацию, возникшую здесь в годы нэпа:

«Волей-неволей население делилось на две категории: «красных» и «белых», друзей и врагов. Служители культа, как и кулачество, относились ко вторым. Такова фактически была схема. Она довлела над многими руководящими работниками. Руководство Енисейского района, по моим впечатлениям, не смогло стать выше этого…» Из этой «классовой» схемы и проистекли в дальнейшем те конфликты, которыми столь богата первая ссылка Владыки Луки. Схема работала с четкостью гильотины. Признать ссыльного епископа «красным» хозяева Енисейска, конечно же, не могли. Значит, «белый». Да не просто «белый», а некая центральная фигура, привлекающая к себе симпатии отсталых масс. А раз так — дави и души его, «контру"… Между тем положение в городе в связи с приездом Луки сложилось отнюдь не простое. «За всю историю Енисейска, пишет Якобсон, — не было еще такого, чтобы иметь в городе известного миру ученого в сочетании в одном и том же лице с высокопреосвященством. Немудрено поэтому, что положение священнослужителя, в отсталой, темной части населения в первую очередь, довольно скоро нашло понимание, преклонение, сочувствие». Но одновременно, по словам доктора С. М. Якобсона, большая часть енисейской интеллигенции видела в нем (Войно-Ясенецком) ученого, а «практическая деятельность профессора стала способствовать росту его авторитета как врача». Якобсон даже слышал, как кое-кто из новой, просоветской интеллигенции негодовал по поводу репрессий и дальнейших высылок хирурга-епископа из города.

Лука не вписывался в схему. По той или иной причине его приветствовала большая

часть населения, к нему тянулись и «реакционные», и «прогрессивные». Чиновников раздражала эта возникшая со ссыльным «попом» неясность. Однако очень скоро в глазах должностных лиц фигура Войно-Ясенецкого прояснилась полностью. Он открыто продемонстрировал властям свою нераскаянность. Заняв на Ручейной улице в двухэтажном доме Забоевых просторную квартиру с гостиной, епископ Лука со своими спутниками протоиереем Илларионом Голубятниковым и Михаилом Андреевым начал по воскресеньям и праздничным дням совершать богослужения. Служить в квартире пришлось оттого, что, как объяснено в «Мемуарах», в Енисейске «священники уклонились в живоцерковный раскол», а общаться с «живоцерковниками» Лука принципиально не желал. Служба по традиционному чину собирала немало народа, и квартира ссыльных священнослужителей в короткое время стала местом, где верующие открыто выражали несогласие с официальным, пока еще не отмененным церковным курсом.

Впрочем, и такую свою деятельность Войно-Ясенецкий стал считать вскоре слишком пассивной. Если верить слухам, которые и доныне передают в Енисейске, он принялся захватывать закрытые властями храмы и служить в них. Во всяком случае, один такой эпизод местные жители помнят хорошо. Открыть храм, закрытый по решению райисполкома, — это уже акт явного неповиновения. Луку вызывали в ГПУ. Держался он с достоинством, заявил, что виноватым себя не считает и впредь намерен возносить хвалу Богу в специально построенных для того храмах, и, как говорят, добавил, что единственными хозяевами над собой признает Бога и Патриарха.

Дело в тот раз ограничилось выговором. Должностные лица допустили по отношению к ссыльному послабление: может быть, потому, что еще не привыкли к сочетанию епископской рясы и профессорского звания. А может быть, и оттого, что Войно-Ясенецкий уже сделал несколько удачных операций, о которых в Енисейске много говорили. Власти решили потерпеть некоторые причуды епископа, чтобы на всякий случай сохранить в городе хорошего хирурга. Лука никакого внимания на вызов ГПУ не обратил, служба в церквах и на квартире продолжалась. Но не прошло и недели, как положение усугубилось снова. Войно-Ясенецкий ввязался в новую баталию.

В 20-х годах тон в городе задавали комсомольцы. Они были первыми и самыми страстными проводниками партийной политики, и в том числе политики классовой непримиримости. Мы уже говорили о буквально физиологической потребности новой власти изыскивать заклятых врагов и непременно изничтожать их. Поскольку после 1919 года в Енисейске и его окрестностях реальных противников не осталось, жаждущие побед комсомольские вожаки повели массы «на штурм небес». С «небесами» расправлялись запросто. «Незадолго до моего приезда в Енисейск, — пишет в «Мемуарах» Владыка Лука, был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказали мне, каким кощунством и надругательством сопровождалось закрытие храма Божьего. Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в числе разорявших монастырь, задрала все свои юбки и села на престол». Случай, который настолько потряс Владыку, так, что он не забыл его даже через тридцать пять лет, диктуя свои «Мемуары», был для той эпохи вполне заурядным. Бывший милиционер Михаил Федорович Терещенко с большой охотой рассказывал мне, как в 1924—1925 годах он сам обдирал с икон Успенского собора золотые ризы, как грузил на подводу реквизированные чаши и кадила: как помогал стаскивать с церквей колокола. Во время реквизиций верующие — порой набегало несколько сот человек, — стоя поодаль, ругали представителей власти и комсомольских активистов. Терещенко слышал и проклятия, и молитвы, в которых верующие

призывали громы и молнии на головы богохульников. Исполняя свой служебный долг, милиционер Терещенко вынужден был давать время от времени предупредительные выстрелы в воздух, а кое-кого и препровождать в милицейский участок. Впрочем, сам Терещенко к верующим относился, по его словам, без всякого зла. Вспомнил он также, как зимой 1924 года молодые борцы с религиозным дурманом опрокинули в деревне Сотниково часовню: «Просто так, для смеха».

Главным заводилой всех антирелигиозных проделок в Енисейске был один из первых секретарей райкома комсомола — веселый рыжий Митька Щукин. Он организовал молодежную капеллу, члены которой разыгрывали смешные сценки про попов и монахов. Он же выводил комсомольцев на пасхальные и рождественские карнавалы, на которых сжигали чучела все тех же попов и монахов. Наконец, не кто иной, как Митька Щукин, был автором антирелигиозных частушек и песенок. С гармошкой в руках, лихо сдвинув на затылок кепку, секретарь появлялся на подмостках дома культуры, устроенного в доме изгнанного купца Баландина, и к вящему удовольствию молодых атеистов исполнял такие, к примеру, вирши:

В ссылку приехал епископ Лука,

Солиднее будет успенского попа.

Стали монашки к нему приходить,

Стирать и портяночки мыть… Автора виршей я в Енисейске не застал. Д. Щукин в 30-е годы работал в органах НКВД, потом в КГБ. Сейчас на пенсии. Удалось дознаться, что он находится в Риге, но адреса мне его не дали, объяснили — крупные работники госбезопасности не обозначены ни в телефонных справочниках, ни даже в картотеке адресного бюро. Ну что ж, надо полагать, у Дмитрия Щукина действительно есть причины скрывать свой адрес и телефон. И хотя мы не знаем, что делал он в 30-х и 40-х годах, но некоторые задатки будущей щукинской карьеры четко прослеживаются уже в двадцатые. Поносными песенками и карнавалами он не ограничивается. Бывшая пионервожатая в Енисейске, а ныне пенсионерка республиканского значения Евдокия Яковлевна Ким вспоминает, что весь 1924 год в городе гремели взрывы: комсомольцы под руководством своего секретаря разрушали церковные здания. О воскресниках, на которых молодежь после взрыва в Рождественской церкви разравнивала площадку для комсомольских собраний, рассказывает врач Маргарита Петровна Овчинкина.

Живя в Ташкенте, епископ Лука полагал, что все беды русской православной церкви в послереволюционную пору происходят лишь от козней «живоцерковников». Кощунствующая молодежь не казалась ему достойной серьезного отпора. Но в Енисейске «живоцерковники» реальной силой не обладали, зато разгул комсомольцев-атеистов грозил полностью лишить город мест молитвы. Лука решил протестовать. Несколько раз он выступал с проповедями, пытался урезонить, пристыдить разрушителей храмов. Потом принял участие в публичном и, как говорят, многолюдном диспуте с молодым медиком-атеистом Чеглецовым. Но ни успокоить, ни даже умерить антирелигиозную волну двадцатых годов было, конечно, невозможно. Лука только еще больше настроил против себя енисейское партийное и советское начальство. А скоро к доносам церковного характера присоединились жалобы на Войно-Ясенецкого от местных фельдшеров.

О своей врачебной работе в Енисейске епископ Лука оставил краткую запись, которая уместилась в «Мемуарах» на десяти строках:

«Мой приезд в Енисейск произвел большую сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым мальчикам-братьям и сделал их зрячими. По просьбе доктора Василия Александровича Башурова, заведовавшего

Енисейской больницей, я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций. В то же время я вел большой прием у себя на дому, и было так много желающих попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необходимым ввести запись больных. Запись, начатая в первых числах марта, достигла дня Св. Троицы» (июнь). Все это верно, но так же примерно, как выцветший дагерротип. В действительности же два с небольшим месяца (январь — март 1924 года) жизни Войно-Ясенецкого в Енисейске были насыщены чрезвычайно яркими житейскими и медицинскими эпизодами, насыщены большой хирургической работой, которую Владыка совмещал с напряженной жизнью религиозной. Лучше всего об этом периоде мог бы рассказать доктор В. А. Башуров, но ко времени моего приезда его уже не было в живых. О врачевании Войно-Ясенецкого я услышал в конце концов от шести старожилов. Наиболее полным оказался рассказ девяностолетнего Арсения Кузьмича Константинова. Интеллигент сибиряк, в прошлом почтовый и торговый служащий, Константинов сохранил прекрасную память (к его воспоминаниям мы еще вернемся) и со слов своего друга доктора Башурова передал следующее: «В Енисейскую больницу Войно-Ясенецкий впервые зашел зимним днем 1924 года. Очевидно, он только что появился в городе, потому что заведующий больницей ничего о нем еще не слыхал. Представился: «Я профессор Ташкентского университета, в миру Ясенецкий-Войно, имя мое в монашестве — Лука.» Башуров, в ту пору очень молодой врач, слушал собеседника с недоверием, подумал даже, не сумасшедший ли перед ним. Войно просил разрешить ему оперировать. Не служить, не зарплату получать, а только оперировать. «У меня плохой инструмент, нечем делать операции», схитрил Башуров. Войно пожелал увидеть инструментарий. Поглядевши, сказал, что никогда не думал, что в таком маленьком городке он найдет столь замечательные хирургические инструменты. После этого Башурову ничего не оставалось, как довериться странному профессору в рясе. На ближайшие дни была назначена сложная операция, каких прежде в Енисейске никогда не делали.

Настал операционный день. Больного положили на стол, усыпили… и… первое же движение профессора заставило Башурова побледнеть. Лука рассек брюшную стенку пациента таким широким и стремительным взмахом скальпеля, что у заведующего больницей мелькнуло в голове: «Мясник! Зарежет больного!» Лука заметил, что ассистент волнуется, и сказал: «Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». И действительно, операцию сделал он превосходно».

Так же хорошо прошла вторая, гинекологическая операция. Больную дочь советского или партийного работника оперировали на дому. Когда женщина выздоровела, Луку и Башурова пригласили обедать в дом высокопоставленного хозяина. Тут сидело несколько важных городских персон. Во время обеда Башуров сказал: «Вы меня, профессор, напугали в первый раз, но теперь я верю в ваши приемы». «Это не мои приемы, — возразил Лука, — а приемы хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно столько и ни одним листком больше». Тут же была принесена, но не книга, а книжечка папиросной бумаги, употребляемой на цигарки. Лука ощупал плотность бумаги, остроту скальпеля и резанул. Пересчитали рассеченные листки, их оказалось ровно пять, как и просил хозяин дома.

После первых операций к Войно-Ясенецкому хлынули горожане и крестьяне из окрестных сел. Список желающих получить помощь был составлен на три месяца вперед, а больные все ехали и ехали. И тут Башуров испугался уже не на шутку. На каждую

операцию с участием Войно-Ясенецкого полагалось получать отдельное разрешение, а разрешения эти давались туго. Растущая популярность Луки раздражала городских начальников. Кроме того, в ГПУ подозревали, что «поп», принимая дома, получает большие гонорары. Чтобы поймать Луку с поличным, к нему несколько раз подсылали «разведчиков». Но оказалось, что никакой мзды с больных он не берет, а в ответ на благодарность пациентов отвечает: «Это Бог вас исцелил моими руками. Молитесь ему». Но в качестве врача-бессребреника Лука все равно не устраивал власти. К тому времени каждому было известно, многократно повторено: советская власть, то есть «красные», обеспечивает народу бесплатную медицинскую помощь, и тем спасает трудящихся от корыстолюбия частных врачей, то есть «белых». Все ясно, все четко. А тут вдруг Войно-Ясенецкий — частный, но бескорыстный. Пресловутая схема опять давала трещину.

Едва ли епископ Лука догадывался об антипатиях, которые он вызывал у тех, от кого зависела его судьба. Как и в Ташкенте, он оставался собой и только собой. Другим быть попросту не мог. Официальным лицам его поступки казались странными, подозрительными. Но, очевидно, более несуразным был мир, в котором все многоцветие человеческой индивидуальности люди пытались свести к двум цветам — красному и белому. Войно-Ясенецкий, хирург и епископ, ни к какой партии себя не причислял, ни в какой общности, кроме православной церкви, себя не числил. У него был свой собственный отсчет времени и пространства, свое представление о том, что должно и чего не должно делать человеку. Свое врачебное мастерство считал Лука даром мистическим, предназначенным, в частности, для прославления и утверждения Бога. И как врач вел он себя в полном соответствии с дарованными ему способностями. Не отказывал он в помощи самым сирым и убогим, не брал ничего за лечение, мог целыми днями возиться с какими-нибудь хворыми и грязными ребятишками деревенскими и в то же время способен был запросто выгнать пришедшего на прием атеиста. Это не было с его стороны акцией политической, а только выражением его, епископа Луки, религиозных, нравственных представлений.

Так случилось, когда к нему в дом явились одетые в служебную форму милиционеры. Один из них за день до того спьяну упал с телеги и ушибся. Между профессором-епископом и милиционерами произошел следующий диалог:

— Вот пришли к вам лечиться, доктор…

— Я коммунистов лечить не стану. Я исцеляю с помощью Господа нашего Иисуса Христа, а вы в него не верите.

— Не верим, — подтвердили милиционеры, — мы верим только в науку.

И ушли.

Конечно, ни о какой науке енисейские милиционеры, с грехом пополам окончившие четырехклассное училище, не имели представления. Но словесные залпы, которыми представители власти считали нужным обменяться с профессором-епископом, тоже входили в ритуальную советскую систему 20-х годов. По схеме этой, «белые» — всегда враги и гонители науки, «красные» же ее всегдашние покровители.

О врачебном мастерстве Войно-Ясенецкого говорили мне в Енисейске 79-летняя библиотекарша Татьяна Александровна Хнюнина, бывший почтовый работник Иннокентий Николаевич Богушевич, 66 лет, медсестра-пенсионерка 73-летняя Варвара Александровна Зырянова. Особенно запомнились старым енисейцам глазные операции Луки. За два месяца он сделал их не меньше двух десятков. Экстракцию врожденной катаракты трем мальчикам-братьям, о которых в «Мемуарах» сказано крайне скупо, народная память дополняет интересными подробностями. Речь, оказывается, шла о

целой семье, в которой отец, мать и несколько маленьких детей были от рождения слепы. Из семи человек шесть стали после операции зрячими. Прозревший мальчик лет девяти вышел впервые на улицу. С изумлением увидел он мир, который прежде представлялся ему совсем иным. Подвели лошадь. Видишь? Чей это конь? Мальчик не мог ответить. Но, ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!» Так же трудно было ему сначала понять на взгляд, что это за штука такая — карандаш… Семья недавних слепцов буквально боготворила хирурга-епископа, но на просьбы принять от них какие-нибудь подношения Лука, как всегда, отвечал отказом.

Как ни успешны были глазные и полостные вмешательства, совершенные Войно-Ясенецким, меня куда больше поразила операция, о которой вскользь, как о самом обычном деле, сообщает енисейская жительница В. А. Зырянова. «Однажды, — рассказала она, — в Енисейск откуда-то из района привезли умирающего мужчину с больными почками. Когда Владыка осмотрел его, то приказал родным купить и заколоть теленка. Теленка закололи. Владыка взял от него свежие почки и пришил их больному. Говорят, после операции тому мужику полегчало».

У всякого, кто знаком с историей медицины нового времени, это сообщение не может не вызвать интереса. Первую пересадку животной почки в нашей стране совершил в 34 году доктор И. И. Вороной из Киева. Женщине, страдающей от уремии, он подсадил на ногу почку свиньи. Факт этот отмечен как первая попытка трансплантации чужеродной почечной ткани. Но, оказывается, не Вороной в специальной киевской клинике, а Войно-Ясенецкий в маленькой енисейской больничке на десять лет раньше произвел операцию, от которой отсчитывается эра пересадок почки в нашей стране.

Операции Луки привели, однако, к последствиям самым неожиданным: замечательного хирурга выслали в глухую деревню. Неудовольствие енисейского городского начальства сомкнулось с раздражением местных медиков, у которых Войно попросту отбил клиентуру. Возникшую ситуацию старый енисейский медик Н. Н. Крыловский выразил одной фразой. «Некоторые молодые врачи не любят оказываться в тени, находясь рядом с крупной личностью», — сказал он доктору С. М. Якобсону. Речь, впрочем, шла не о врачах, а о фельдшерах, успевших сколотить в годы нэпа изрядные капиталы на частных приемах. Предприниматели от медицины стали лицемерно жаловаться властям на «попа», который производит «безответственные» операции. Доносы упали на подготовленную почву. Городская администрация, недостаточно грамотная, чтобы разобраться в сути вопроса, приняла к сведению, что беспокойный епископ является к тому же еще и сомнительным медиком. Судьба Луки решалась в одночасье. В середине марта его арестовали и под конвоем выслали еще на несколько сот километров южнее, на Ангару. Вместе с ним в ссылку поехали его ближние: протоиерей Илларион Голубятников и Михаил Андреев, а также две монашки, которых епископ Лука постриг в Енисейске под именами Лукия и Валентина.

Маленькому каравану пришлось преодолеть по замерзшему Енисею девяносто километров, добираясь до устья Ангары. Потом по ангарскому льду шли еще более ста километров до районного села Богучаны. Тут ссыльных разлучили: Голубятникова и Андреева послали в деревню неподалеку от Богучан, а «главного преступника» Войно-Ясенецкого за сто двадцать километров в деревню Хая, что лежит на притоке Ангары — Чуне. Хая — деревушка в восемь дворов. Кругом бескрайняя лесная пустыня. В марте тут еще глубокая зима. Дом, где со своими монашками поселился Лука, часто до крыши заносило снегом. Приходилось ждать, пока утром олени протопчут тропу, чтобы можно было принести хвороста на растопку. Питание — скудное. Ссыльным не только

искупаться, умыться поначалу негде было: в рукомойнике, который висел в сенях, замерзала вода.

Елена Валентиновна считает, что на Ангаре заниматься медицинской практикой отцу не приходилось. Однако в «Мемуарах» сообщается о двух довольно серьезных операциях, которые епископ Лука произвел после изгнания из Енисейска. В районном селе Богучаны, где ссыльные находились проездом всего два дня, оперировал он крестьянина с нагноившимся эхинококком печени и, возвращаясь через несколько месяцев назад, нашел своего пациента совершенно здоровым. Второе вмешательство произвел он на глазу. Среди вещей, с которыми Лука во время ссылок не расставался, был набор глазных инструментов и маленький стерилизатор. Этот инструментарий пригодился в глухой деревушке на притоке Ангары. В пустой, нежилой избе, в полном одиночестве хирург сделал экстракцию катаракты старику крестьянину. Операция прошла успешно.

Тяготы ссылки переносил Войно-Ясенецкий без ропота. «Обо мне не заботься, я ни в чем не нуждаюсь», — писал он сыну Михаилу из Енисейска и через несколько месяцев снова: «Обо мне не беспокойтесь. Господь отлично устроил меня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю — монахини с большой любовью заботятся обо мне». Это письмо писалось в то самое время, когда жизнь в Хае была совершенно невыносима из-за придирок и издевательств старухи, хозяйки дома, в котором Войно-Ясенецкий был определен на поселение. Старуха стала выживать ссыльных из жилья и в конце концов выгнала их. Лука с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели на поклажу у стены. Эта картина возмутила даже обычно глухое к чужому горю деревенское «общественное мнение». Односельчане стали стыдить старуху и заставили ее вернуть квартирантов в дом.

В июне последовал приказ отправить Войно-Ясенецкого обратно в Енисейск. Свой путь описывает Лука, как всегда, немногословно и точно: «Нам дали двух провожатых крестьян и верховых лошадей. Монахини впервые сели на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жалили лошадей, что целые струи крови текли по их бокам и ногам. Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложилась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы побывали (очевидно: остановились. — М. П.) в лесной избушке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю ночь. На них подействовала только моя угроза, что они будут отвечать перед судом за бесчеловечное обращение со мной — профессором. Не доезжая до Богучан, прекратилась наша верховая езда. Меня, никогда раньше не ездившего верхом и крайне утомленного, пришлось снимать с лошади моим провожатым. Дальше до Богучан мы ехали на телеге.

Потом плыли по Ангаре в лодках, причем пришлось миновать опасные пороги. Вечером на берегу Енисея, против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под открытым небом незабываемую вечерню. По прибытии в Енисейск меня заключили в тюрьму, в одиночную камеру…» Читая и слушая о злоключениях епископа Луки в первой ссылке, я не раз ловил себя на том, что где-то уже встречал подобную ситуацию. Ссыльный в Енисейске; Ангара с ее губительными порогами, таежный гнус, со света сживающий и скот, и человека: измученные, падающие от усталости, но не падающие духом люди, готовые и более того претерпеть за свою веру… Да ведь это страницы из «Жития протопопа Аввакума»! Раскольничий священник, попавший в царскую немилость и сосланный в Сибирь, на два с половиной века раньше проделал тот же путь по Енисею и Ангаре, что и епископ Лука. Как и Войно-Ясенецкий, отстаивал Аввакум

«истинную» веру от «ложной»; старую церковь — от новой с дурным политическим привкусом. За то был схвачен, бит, морен голодом и сослан с женой и малыми детьми сперва на Лену, а потом на Енисей под начало жестокого воеводы Афанасия Пашкова. «А как приехал на Енисейской, другой указ пришел: ведено в Дауры везти — двадцать тысящ и больши будет от Москвы».

Кораблекрушение на Ангаре, издевательства и побои от воеводы, смерть малых детей, неслыханные тяготы, перенесенные раздетыми, разутыми, лишенными пищи людьми! Все снес Аввакум, снес и воспел: «Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные; лишо станут мучить — ано и умрет!» — и над всем этим ужасом нечеловеческое упорство священника, отстаивающего свою веру: свое человеческое достоинство. Ибо, твердит он, писано: «Не начный блажен, но скончавай» — «Блажен не тот, кто начал, а тот, кто начатое довел до конца». Да уж кто-кто, а Аввакум и Лука умели доводить начатое до логического конца.

Но интересны для нас не только внешние обстоятельства двух жизней и даже не географический параллелизм двух судеб. Значительно важнее сходство двух характеров. Дважды за три века в России возник и дошел до своего апогея характер религиозного бунтаря-фанатика. Случаен или закономерен такой повтор в российской истории? Появление обоих пророков-мучеников кажется мне закономерным. Их породили не только схожие человеческие типы, но и близкие, если не сказать идентичные, общественные обстоятельства. Ссыльный Войно-Ясенецкий, конечно, не перенес в Восточной Сибири тех страданий, что выпали на долю его предшественника Аввакума. Ссыльная Россия 1924 года уже не походила на ту, какой она была в 1656 году, и еще не успела дойти по жестокости до уровня 1937 года и последующих годов. Как я уже говорил, это была пора сравнительно либеральная. И тем не менее можно не сомневаться: случись Луке испытать батоги и плети, он все равно не изменил бы своим принципам, остался таким же огнепальным, истовым, непреклонным, каким был его исторический предтеча. Духовное родство свое с Аввакумом полностью доказал он во время третьего по счету сидения в бериевских тюрьмах, в 1937—1939 годах.

Что же до внешних обстоятельств, роднящих Россию XVII и Россию XX века, так это старинные, хронические хвори наши — бессудность и беззаконность. Схватить неугодного без суда, следствия, тайком сослать на край света, похоронить в сыром каземате или просто убить, назвав убийство казнью, — это у нас исконное, коренное, неотъемлемое, со времен Владимира Мономаха. Век XIX, чуть приблизивший Россию к европейскому облику, внес в старинный порядок некоторые коррективы, но со второго десятилетия века XX бессудность как форма взаимоотношений между государством и гражданином восторжествовала вновь. На смену «слову и делу государеву» пришла система заложников, практиковавшаяся в эпоху гражданской войны, потом административные расстрелы, о которых с ужасом писал В. Г. Короленко Луначарскому, и наконец «суд тройки» — без адвоката, без слушания сторон, с заранее подготовленным приговором. Внешние формы менялись, но неизменной оставалась ее суть — незащищенность гражданина и всевластие власти, которой для оправдания своих действий не нужны уже никакие законы. В таком мире наказание превращается в месть, в целую серию мстительных актов, когда заключенный ссыльный становится жертвой не только бесчеловечного законодательства, но и жестоких тюремщиков. Дальше все зависит от душевных свойств жертвы. Произвол действует, как «тяжкий млат», — крушит стекло и кует булат. Люди слабые гнутся, ломаются, в звериной жажде сохранить

себя предают всех и вся. Но среди тысяч согнутых вдруг обнаруживает себя пророк с «булатным» характером. Независимо мыслящий, охваченный гордыней своей правоты, возмущенный попранием Закона, он вступает в бой с властью.

Подобные человеческие характеры не монополия России. Они известны и в Европе, и в Америке, и в Азии. Там, где закон охраняет свободу и жизнь гражданина, Аввакумы и Войно-Ясенецкие становятся во главе оппозиции, испытывают свои силы в парламентских прениях. Это из их числа вышли Дэвид Тора и Махатма Ганди, и Альберт Швейцер. В стране же, где для мыслителя и моралиста закрыта любая возможность свободного волеизъявления, ему остается одно — гибель, гибель при первом же столкновении с властью, ибо попирающие законы никого так люто не ненавидят, как тех, кто требует законности.

Случается, однако, что по недосмотру или благодаря чуду пророк остается в живых. Тогда начинается его путь мученичества, путь в историю. Прошли этим крестным путем и Аввакум, и Валентин Войно-Ясенецкий, в монашестве Лука. Наверно, были и другие, но только у этих достало для утверждения себя не только сил духовных, но и физических сил. Они выжили. В двадцатом столетии вновь оказалась справедливой истина, провозглашенная в семнадцатом: «Блажен не начный, а скончавай».

Те, кто сослал епископа Луку в глухую деревню, естественно, полагали, что, наголодавшись и намучившись, он вернется обратно более покладистым. Да и как же иначе; в городе, даже таком, как Енисейск, жить удобнее, сытнее, приятнее, чем в таежной деревушке. Сравнив сладкое с горьким, человек должен избрать сладкое. А избравши, припасть к ногам начальства с покаянием. Такова нормальная реакция, на которую во все времена рассчитывают власть имущие. В стандартных случаях эта лотерея для них беспроигрышна. Но только в стандартных. Для Войно трехмесячный искус на Ангаре был только лишним доводом за то, что он прав. Тебя ненавидят, тебя боятся, от тебя пытаются избавиться — великолепно. Значит, твое слово действительно наводит страх на одних и укрепляет веру в других. А ведь это то самое, о чем, по словам апостола Луки, высокого покровителя епископа Луки Ташкентского, говорил когда-то Христос: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого» (Лука, 6, стих. 22). Нет, епископ Лука вовсе не считал, что сладкое во всех случаях жизни лучше горького. Он не собирался отступать от самого себя. Он не собирался отступать в Енисейск.

В ближайшее же воскресенье на подмостках дома культуры Митька Щукин, лихо заломив кепку на рыжей кудлатой голове, пропел куплеты собственного изготовления:

На Успенья крест погнулся,

С Ангары Лука вернулся… Дальше шел текст мало пригодный для печати, но зато содержащий неприкрытые угрозы. В лице Митьки Щукина «общественность» предупредила ссыльного епископа. Он не внял. Более того, едва разложив свое немудреное имущество в том же доме Забоевых на Ручейной, он в церкви Преображения Господня отслужил литургию. Да не как-нибудь, а архиерейским чином. Коренная енисейская жительница Наталья Евдокимовна Ермолина, в свои 67 все еще изящная, даже красивая сибирская казачка, хорошо помнит ту давнюю литургию. Она и ее молодые тогда подруги пели на клиросе. Песнопения по нотам композитора Бортнянского хористки начали разучивать задолго до возвращения Луки с Ангары. Очень уж им хотелось показать Владыке свой хор во всем блеске. И действительно, руководимое епископом богослужение своей строгостью и стройностью запомнилось енисейцам

надолго.

А вскоре новое событие взволновало город: в конце июня 1924 г. в той же Преображенской церкви епископ Лука посвятил в сан священника сорокалетнего псаломщика Николая Тюрнева. В эпоху, когда священников арестовывали только за то, что они священники, надеть рясу значило проявить недюжинное мужество. Между тем Тюрнев, человек боязливый, кроткий, отягощенный большой семьей, борцом не был. Борцом был Лука. Страстными речами он так околдовал беднягу псаломщика, что тот на все махнул рукой и согласился «пострадать за Христа». Обряд рукоположения превратился в мрачную, почти похоронную процессию. Прихожане настолько уверились в скором и неизбежном аресте Тюрнева, что в тот момент, когда на неофита надели черную рясу и черный широкий пояс, а епископ благословлял его, народ в церкви разразился рыданиями. Предчувствие беды не обмануло енисейцев. Очень скоро после того, как новый батюшка поселился в селе Ворогове, его арестовали и долго держали в тюрьме. Арестовывали его и потом, в течение всей жизни.

Говорят, о присылке священника Луку просили вороговские верующие. Их церковь после ареста предыдущего батюшки стояла пустой. Но мне кажется, что таинство рукоположения нужно было Войно-Ясенецкому само по себе. Таинство это еще раз продемонстрировало его, епископа Луки, твердость духа и непримиримость, его веру в свои неотъемлемые епископские права, права преосвященного в крае, где из каждых десяти деятелей русской православной церкви девять томились в тюрьме или ссылке.

… Передо мной старый снимок: на фоне жалких провинциальных фотодекораций семь человек — священники и светские люди. На переднем плане, возвышаясь на полголовы над своими соседями, сидит епископ Лука, в рясе, в черном клобуке, с панагией на цепи. Снимок сделан в начале 1924 года. Летом 1970-го его подарила мне енисейская жительница Варвара Александровна Зырянова. Передавая мне портрет, она призналась, что долго хранила и другие снимки Луки, а также портреты патриарха Тихона, но страх перед обыском и арестом заставил ее сжечь все фотографии. Только это изображение ссыльных священников и нескольких наиболее преданных церкви прихожан-енисейцев ей было жаль уничтожать, и она спрятала их под пол.

На фотографии епископ худ, сосредоточен, серьезен. Даже перед объективом руки его продолжают перебирать крупные четки. В позе, во взгляде — отрешенность от мирских дел. Но мы знаем — дела эти существовали. В Ташкенте осталось четверо маленьких детей Войно-Ясенецкого, на Украине, в Черкассах, доживали век его родители, далеко на западе — в Москве, в Петрограде, в Киеве — коллеги-врачи развивали любимую его науку — хирургию. Думал ли он обо всем этом? Монашество требует, чтобы как можно меньше нитей связывало чернеца с внешней светской жизнью. Но человеческое, светское врывалось в жизнь Луки со всех сторон. Епископ-монах обращается с поздравлением к академику И. П. Павлову, интересуется двухсотлетним юбилеем Российской Академии наук, посылает письма детям, родным, и не только родным. Не таится ли за этим некая излишняя светскость, измена схиме? Читаю письма епископа Луки начала 20-х годов и еще раз убеждаюсь: нет, в общении с внешним миром он все тот же, что и в общении с людьми веры. Какие бы внецерковные дела ни отвлекали Войно-Ясенецкого, суть его контактов с людьми сводится к проповеди, к размышлению о благодетельности веры, к призыву любить и трудиться, потому что нет другого пути приближения к Божеству.

Письма Луки из сибирской ссылки принадлежат перу глубоко верующего человека, для которого нет иного взгляда на мир, кроме взгляда религиозного. Однако в этих строках, написанных полвека назад, интересно и другое: в них не удается обнаружить ни

грана горечи или обиды, столь естественных для несправедливо обиженного, незаконно осужденного! Зато явственна в них уверенность человека, который слишком хорошо знает себе цену, чтобы раздражаться по поводу мелких пакостей провинциальной милиции. Если Войно-Ясенецкому и приходится иногда писать о перенесенных в ссылке тяготах, то лишь для того, чтобы объяснить, отчего он не имел возможности вовремя снестись со своим адресатом. В этом смысле интересна переписка Луки с академиком Иваном Петровичем Павловым. Поздравительное письмо знаменитому физиологу Лука отправил из Туруханска год спустя после описываемых событий. Вот оно полностью:

«Возлюбленный во Христе брат мой и глубокоуважаемый коллега Иван Петрович! Изгнанный за Христа на край света (три месяца прожил я на 400 верст севернее Туруханска), почти совсем оторванный от мира, я только что узнал о прошедшем чествовании Вас по поводу 75-летия Вашей славной жизни и о предстоящем торжестве 200-летия Академии наук. Прошу Вас принять и мое запоздалое приветствие. Славлю Бога, давшего Вам столь великую силу ума и благословившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за великий труд Ваш. И, кроме глубокого уважения моего, примите любовь мою и благословение мое за благочестие Ваше, о котором до меня дошел слух от знающих Вас.

Сожалею, что не может поспеть к академическому торжеству приветствие мое.

Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами.

Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Туркестанский (б. профессор топографической анатомии и оперативной хирургии Ясенецкий-Войно). Туруханск. 28.8.1925». От непослушного епископа надо было избавиться раз и навсегда. Оставить его в Енисейске? Ни в коем случае! В Туруханск его, в Курейку, на Диксон! Для начала решили — в Туруханск. Ждали только транспорта. В конце июня 1924 года из Красноярска пришел караван. Маломощный пароходик тащил на буксире несколько старых барж. Баржи были набиты ссыльными, в основном эсерами. Меньше чем через семь лет после революции правительство большевиков ссылало в Туруханский край своих недавних политических сообщников. В трюм одной из этих грязных посудин втиснули и Луку. Ехал он один: монахиням сопровождать его запретили.

«Путь по широкому Енисею, текущему в безграничной тайге, был скучен и однообразен», — писал впоследствии Войно-Ясенецкий. Действительно, после Енисейска, если плыть вниз, на Север, берега реки становятся низкими, болотистыми, унылыми. Пристаней мало. Для пассажиров одно развлечение кормить чаек, которые целыми днями кружат над судном в ожидании подачки. За полвека, прошедших со времени ссылки Луки, тут мало что изменилось. Может быть, только больше стало брошенных деревень. Уходит отсюда народ. Уезжают не только ссыльные, но и коренные, местные. Безлюдеет Енисей. Костяки разрушающихся изб то и дело возникают на прибрежной опушке. Если ушли не все, число черных смоленых лодок у берега показывает, сколько еще осталось семей. Лодок совсем мало. А было время: кипели здешние берега жизнью особого рода. В 30-е- 50-е годы нашего века, почти как при Аустерлице, перебывала тут «вся Европа»: везли тогда вниз по реке пленных офицеров, генералов и чиновников Польши, Румынии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы. Потом пошли немцы, венгры, чехи. Говорят, даже американцев здесь видели. А уже русских, украинцев, кавказцев — этих проволочено тут и похоронено по берегам Енисея бессчетно. В 20-х годах все только начиналось. Коренные местные жители, однако, уже и тогда заметили: ссыльный пошел не тот. Вместо убежденных врагов власти, людей, как правило, интеллигентных, серьезных, которые в ссылку попадали по приговору царского суда, в советское время на

Енисей нагнали каких-то серых, случайных людишек, которых местные с издевкой именовали не иначе, как «политические ссыльные за кражу хомутов». Жила эта публика в Туруханске, Енисейске и иных местах разобщенно, недружно, часто впроголодь. Коренные енисейцы относились к незваным гостям холодно, если не сказать враждебно.

Караван тянулся по реке медленно, полторы тысячи верст вниз по течению шли без малого две недели. Баржи качало, по ночам в надстройках свистел ветер, визжало какое-то ржавое железо. Солнца ссыльные почти не видели: лето выдалось сырое, холодное, с дождями. Унылая погода, безрадостная водная пустыня широко разлившегося в низовьях Енисея наводили на мрачные думы. Люди ехали на Север с тяжелым сердцем, впереди предстояли годы лишений. Многих точила мысль: удастся ли вообще выбраться отсюда подобру-поздорову? Только Лука сохранял философское спокойствие. Ночью спал на своем жидком тюфячке, подкладывая под голову присланную дочерью подушечку-думку, днем читал Ветхий и Новый Завет, серьезно и сочувственно беседовал с эсерами, из которых кое-кто уже начал понимать тщету своих политических иллюзий. Что делало Луку столь уверенным среди всеобщей неуверенности? Конечно, в крае, где в то время не было ни одного дипломированного врача, для профессора-хирурга нашлись бы работа, кров и пища. Но такой голый расчет вряд ли приходил в голову Войно-Ясенецкому. Зная его характер, естественно предположить, что, едучи в ссылку, Лука просто не думал о том, где он станет жить и что он будет есть. Больше, чем хлеб насущный, интересовало его, например, — каких взглядов — не живо-церковных ли? — держится туруханский священник и сможет ли в связи с этим он, епископ Лука, посещать туруханский храм и произносить там свои проповеди. По-детски безразличное отношение к быту, к тому, что большинство людей считает для себя насущно необходимым, пронес епископ Лука через всю жизнь. В разговорах охотно вспоминал он о Божьей птичке, которая не жнет, не сеет, и сам жил, не слишком отличаясь от той птички. В первой ссылке на Енисей принципы эти особенно ему пригодились.

Край, куда ехал епископ Лука, представлял собой в 20-х годах гигантскую территорию, протянувшуюся вдоль Енисея на несколько тысяч километров. На севере эта географическая громада завершалась берегом Ледовитого океана, на юге весьма нечеткие ее пределы терялись где-то в приангарской тайге. «Столица» края — город Туруханск, а точнее Ново-Туруханск (в прошлом село Монастырское), насчитывала две-три сотни одноэтажных деревянных домишек, рассыпанных по высокому косогору при впадении в Енисей реки Нижняя Тунгуска. Школа и тюрьма, исполком и магазин, почтовое отделение, больница и фактория Сибпушнины — вот и все присутственные места города. Был тут еще в прошлом Троицкий туруханский монастырь, основанный двести пятьдесят лет назад, но в советское время его упразднили, а монахов выгнали. Остались лишь Троицкая церковь с зимней и летней половиной. «Канализации и водопровода в городе нет», — сообщает 66-й том энциклопедии словаря Брокгауза и Эфрона. Но рыбаки и охотники, основные жители Туруханска, обходились также без тротуаров, электричества, хлебопекарни, аптеки. В столице края, протянувшегося на несколько тысяч километров, не было также портняжной и обувной мастерских, библиотеки. Газеты приходили с опозданием на месяц, а кинофильмы не приходили вовсе. Енисей и его притоки — единственные дороги, по которым шло снабжение края восемь месяцев лежат подо льдом. А зимой единственным реальным видом транспорта оставались запряженные собаками нарты. Зимой случались тут морозы до сорока и более градусов. По ночам под самыми окнами у туруханцев бегали волки. Так выглядело место, где отныне предстояло пребывать ссыльному профессору-епископу. Бывалых людей,

эсеров, от одного вида Туруханска оторопь взяла, а Лука… Вот что сам он писал о Туруханске:

«В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа вся опустилась на колени, прося благословения. Меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу. Незадолго до этого врач больницы распознал у себя рак нижней губы и уехал в Красноярск… В больнице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала из Красноярска молодая девушка, только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором. С этими двумя помощниками я делал такие большие операции, как резекции верхней челюсти, большие чревосечения, гинекологические операции и немало глазных». Вот и все. И ни слова о морозах, нищете, о неустроенности быта…Туруханск, каким он представился мне летом 1970 года, внешне во всяком случае, не слишком отличался от того города, который увидал на полвека раньше профессор Войно-Ясенецкий. Теперь тут, правда, есть электрическое освещение, а в учреждениях, число которых учетверилось, имеются даже телефоны: построен дом культуры, а рядом с поселком возник аэродром с постоянной авиалинией. Но по грязным немощеным улицам, которые перейти можно, лишь перескакивая с мостика на мостик, кляча по-прежнему волочила железную бочку на колесах: тот, кто хочет приобрести бочку воды, платит водовозу рубль. Так же, как и в далеком прошлом, благоухают во дворах уборные-скворечни, а бесчисленные, неправдоподобно громадные кучи мусора и отбросов на городских перекрестках превращают Туруханск в город-помойку, город-свалку.

Общий вид районной столицы, если обозревать ее с вершины Туруханского холма, тоже не радует. Правда, тюрьма, райком, милиция и школа выглядят неплохо, но большинство частных домов уже десятилетиями не знают ремонта: крыши просели, бревенчатые стены вросли в землю. Снаружи туруханцы свои дома не красят, и нагромождение грязных, серых, покосившихся изб с подслеповатыми окошечками без наличников оставляет у приезжего чувство глубокого уныния. С того же холма открывается великолепный вид на тайгу, на просторы Енисея, на впадающую в него среди густой еловой хвои и желтых плесов полноводную Нижнюю Тунгуску. Но едва оглянешься — и в глаза бросается нахально сверкающая новым цинком крыша кооперативного оклада: туруханцы соорудили его в здании XVII века Троицкой церкви, сковырнув предварительно колокола и разрушив звонницу.

Ни в райисполкоме, ни в райкоме партии о профессоре-епископе никто ничего не слыхал. Там у людей своих проблем выше головы: лесоповал, рыбосдача, нацкадры. Ничего не знали о Луке и в районной больнице (с полдюжины бараков, разбросанных по несуразно большому, без единого дерева двору). Главный врач послал за старухой санитаркой, местной уроженкой. Я ожидал ее прихода с внутренней дрожью: неужели совсем забыт, неужели его тут никто не помнит? Но вот пришла пожилая женщина в белом платочке, взяла в свои корявые с опухшими суставами руки (40 лет возни с половыми тряпками зря не проходят) фотографию, отнесла ее подальше от глаз и тихонько охнула: «Это что ж, профессор Лука! Ах ты же мой миленький… Отец священный… Как же его не знать? Да его у нас весь народ знает». Она стала моим гидом, моим проводником, Вергилием моим, эта старая больничная санитарка. Мы обошли с ней полгорода, навестили самые невзрачные, самые разваленные домишки Туруханска, и я смог убедиться: народ действительно знает и помнит профессора Войно-Ясенецкого.

…Девяностолетняя Пелагея Потаповна тяжело больна. Уже несколько лет не покидает она стен своего дома. В избе, кроме стола, заваленного грязной посудой,

деревянных лавок и постели, ничего нет. Впрочем, было бы преувеличением назвать постелью ту кучу тряпья, на которой проводит большую часть жизни слепая старая женщина. Страдания изглодали не только тело, но и душу Пелагеи. Кажется, она боится, что я представлю ей какой-то счет за события полувековой давности. Поэтому разговаривает нехотя, отвечает резко. Да, жил у нее профессор Лука, ну и что из того? Он и жил-то в избе всего неделю. Вещей у него не было никаких. Одежда только та, что на нем, да тюфяк, да маленькая подушечка. Видела она у него еще две книги толстые. И больше ничего. Ел мало: «Сварю ему рисовой каши или еще чего-нибудь — и сыт». «Осталось ли в хате что-нибудь из вещей, которыми пользовался Лука?» «Вот только иконы. Перед ними и молился». Иконостас невелик, убог, пылен. Лампада пуста. Мне очень хочется в память о Войно иметь хотя бы самую скромную из этих икон. Хозяйка машет иссохшей рукой: «Берите хоть все, я в могилу не унесу». Со стесненным сердцем, почему-то страшно стыдясь, заворачиваю в газету образ Спаса в медном дешевом окладе.

Потаповых в Туруханске — полгорода. Все коренные, здешние. Рыбачат и охотятся тут, может быть, с самого того 1660 года, когда основан монастырь. Александра Демидовича и Александру Михайловну Потаповых застаю в чистой горенке с множеством половиков и половичков. Они и сами такие же, как и горенка, аккуратисты. Садимся за выскобленный до медового цвета стол. Разговор идет дружелюбный, сердечный. Хозяин готовится в нерадостный отъезд: в последние месяцы мучает его желудок — опухоль какая-то. Улетает он самолетом в Норильск, на операцию. При слове «операция» сидящая в сторонке Александра Михайловна отворачивается и мелко-мелко, чтобы не заметил муж, крестится.

Будущее семьи Потаповых туманно, поэтому с особенной охотой обращаются старики к временам прошедшим, которые теперь кажутся им светлыми, полными радости. Зимой 1924/25 года Потапову несколько раз приходилось возить Луку на своей лошади в церковь. Мужики решили возить епископа по очереди. От больницы до церкви и полверсты не будет, сани больше для почета. В одной из таких поездок Александр признался профессору в своей беде: задумал он жениться, но расстраивает его черное, поросшее волосками пятно на нижней губе. Оно у него с рождения и все время растет. Лука сказал, что пятно можно удалить, пригласил в больницу. Операцию сделал очень ловко: пятно срезал, а на его место приладил лоскуток кожи, взятый из-под подбородка. Рубчик получился совсем незаметный. Пятого мая 1924 года состоялась свадьба, одна из тех сибирских свадеб, когда невеста до самой церкви в глаза не видит своего суженого. («Сосватали нас, я плакала, — вставляет слово Александра Михайловна, — не хочу замуж, а батюшка мой, нет, говорит, не по-твоему будет, а по-моему».) За свадебным столом — вот за этим самым жених оказался после операции с подвязанной щекой. А под иконами как наиболее уважаемый гость сидел профессор Лука. Речей он не произносил, пил и ел умеренно. Раскрасневшись от давних волнующих воспоминаний, Александра Михайловна пытается изобразить свадьбу в лицах. «Вот в точности так, как на портрете, сидел у нас. На груди крест. Гордо так сидел, умно, симпатично…» И муж, расчувствовавшись, поддакивает жене: «Очень душевный был… Сколько операций сделал, сколько людей спас!»

Об этих операциях и исцелениях слышал я потом в каждой следующей избе. Бывший начальник туруханской пристани Михаил Николаевич Черненко, человек грамотный, деловитый, не расстающийся, несмотря на отставку, с синим форменным френчем, напирал особенно на те операции, которые Лука делал болевшим трахомой тунгусам. Тунгусы ехали к нему издалека и как-то очень уважительно звали профессора на родном

языке. Да и русских мужиков со старческими катарактами Лука тоже не бросал в беде. Между прочим, вернул зрение одному старику из дальнего стана, который перед тем пятнадцать лет был «темен».

Еще один дом: Потапов Иван, 65 лет, тоже возил когда-то Луку в церковь. Вспоминает разговор, который профессор вел с каким-то попутчиком. Лука беспокоился о больном, у которого он утром удалил большой отрезок кишки. Операция получилась сложная, таких сложных, по словам Луки, делать ему до сих пор не приходилось. От себя Иван Потапов добавляет, что больного того он знал, мужик этот после операции уехал к себе в деревню в полном здравии. Другой раз Иван зашел в больницу и на столе у Луки увидел стеклянную банку с «человеческим мясом». Профессор объяснил: в банке опухоль, которая разрослась и погубила бы человека, если бы врач не удалил ее вовремя.

Какие же именно операции делал Войно-Ясенецкий в Туруханске? От своего гида — больничной санитарки — узнал я, что оборудование в больнице в двадцатые годы было самое примитивное: инструменты, например, перед операцией кипятили в самоваре. В Москве, вернувшись с Енисея, получил я письмо от хирурга Фаддея Ильича Накладова: в 1925 году в качестве студента-практиканта Накладов несколько месяцев работал в Туруханске под руководством профессора Войно-Ясенецкого. На его глазах знаменитый хирург несколько раз оперировал больных с язвой желудка, а также совершал уникальные онкологические операции. Одажды убрал у крестьянина опухоль правой глазницы и гайморовой полости. Для этого пришлось удалить больному всю правую половину верхней челюсти. «Он говорил мне, — пишет Накладов, — что намерен разработать технику операций на сердце. Разговор этот был у нас в тот период, когда не только в практике, но и в литературе такие вопросы еще не возникали». И еще: «Его техникой как хирурга я искренне восхищался. Он это заметил и в одно прекрасное время сказал мне: «Хирургом нужно родиться. Хирург должен иметь три качества: глаз орла, сердце льва и руки женщины».

«Да, Лука, этот человек не от мира сего, исключительно замечательный хирург. Ни одна его операция не была неудачной», — как бы подтверждая слова Накладова, пишет 75-летняя жительница Иркутска А. М. Крылова, бывшая в юности на приемах у Войно-Ясенецкого в туруханской больнице. Крылова перечисляет несколько редких операций, с помощью которых профессор Лука спасал своих пациентов. Среди них помнится ей излечение 7-летнего мальчика, у которого выстрелом из ружья было разможжено лицо; девочка «с ожогом последней степени всего тела» — хирург спас ее, пересадив кожу, взятую от матери. И много других.

Но основная масса больных, посещавших туруханскую больницу, нуждалась не в операциях. Люди на севере страдали от цинги, от паразитических червей. Женщины приносили больных детей и сами просили помощи от женских недугов. Земский врач Войно-Ясенецкий, не чинясь, лечил и женские, и детские, и внутренние, и глазные болезни. И, как в давние времена, на прием к нему набивались толпы народа. Туруханцы готовы были ожидать часами, только бы попасть к самому.

У многих остался в памяти ритуал, которым сопровождалась встреча больного с профессором-епископом. «Приходишь к Луке со сложенными руками ладонями кверху. Он на твои ладони свою левую кладет, а правой тебя ограждает (благословляет.-М. П.). Потом протягивает тебе свою руку для целования. Кто таким манером к нему обращался, того принимал он без очереди».

Особый церемониал существовал для операционной, где по старой, ташкентской еще, традиции на тумбочке стояла икона, а возле нее — зажженная лампада. После подготовки

операционного поля Войно-Ясенецкий, по словам Ф. И. Накладова, ставил на теле больного йодом крест. У молодых фельдшеров и сестер такие приготовления вызывали, естественно, улыбки, особенно в тех случаях, когда на операционном столе лежала гинекологическая больная, но сам профессор сохранял невозмутимость.

Супруги Чистяковы, Дмитрий Николаевич и Мария Андреевна, летом 1925 года принесли в больницу годовалого своего Илью. Мальчик чуть не с первого дня жизни бился в падучей. Профессор сказал, что припадки будут продолжаться и далее. Они либо сами собой пройдут к трем годам, или к восьми годам мальчик умрет. Посоветовал: «Не отливайте его, пусть сам падает, сам лежит себе». Горько было отцу и матери смотреть, как бьется их дитя об землю, как катается по полу с пеной на губах, но они точно следовали совету профессора: давали Илюше самому успокоиться и уснуть после припадка. К трем годам, как и говорил Лука, болезнь прошла без следа, Илья вырос здоровым парнем, взят был в армию и уехал на фронт. Там и пропал без вести в 1943-м.

У самого Енисейского обрыва навещаем еще одну полуразвалившуюся хату. Полы вздыбились, стены накренились, как на корабле в качку, и, как на корабле, с треском, сами собой захлопываются щелявые двери. Здесь живет герой первой мировой и участник гражданской войны Вукол Петрович Вавилов, 1890 года рождения. Вукол, маленький, босой, в цветной рубахе под жилетом, с двухнедельной седой щетиной на туповатом личике, подводит нас к покосившейся стене. На гвозде болтается солдатский Георгий. Рядом какие-то выгоревшие фотографии в рамочках. Вукол гордо тычет пальцем в рамку. Не без труда удается рассмотреть на выгоревшей фотографии его самого. Одеревеневший перед аппаратом, он стоит с неестественно выпяченной грудью. На груди — все тот же Георгий. После всех войн поселился Вавилов в деревне Мироедиха, верстах в тридцати от Туруханска, и оттуда частенько наезжал в здешнюю столицу. «Зачем ездил?» «Как зачем? Все-таки тут церква и магазин». Но значительно милее воинственному Вуколу другое воспоминание: «Если идет Лука по улице в своей рясе, идет навстречу партейный. Лука нипочем не уступит ему дорогу. Идет, пока партейный не отскочит. Не уступал партейному никогда». На улицах Туруханска, с их топкой осенней и весенней грязью, такое зрелище представить себе нетрудно. Но случалось ли такое в действительности — Бог весть.

Мои собеседники доброжелательны. Они всячески стараются помочь розыскам, напрягают память, куда-то бегают, чтобы выяснить подробности. В отличие от работников райкома и райисполкома их нисколько не удивляет, что о профессоре-епископе пишут книгу. А почему бы и нет? Книги пишут о хороших людях. О плохих не стали бы. Лука, несомненно, хороший: бессребреник, даром что профессор, — к самому бедному рыбаку не брезговал зайти в хату, посидеть на именинах, на свадьбе, на поминках. Проповеди его церковные тоже многим памятны. Говорил просто, но слова были весомые. Пустого не говаривал. Проповедовал дружбу между людьми, уважение друг к другу, предостерегал от спиртного, объяснял, как сберечь свое здоровье. В ту пору от туруханцев часто можно было услышать по любому поводу: «Лука так сказал». И конец. Лука — высший авторитет. Слушать его любили. Правда, не все и не всегда было понятно в его проповедях. Призывает, к примеру, Лука молиться от всего сердца, отдавать себя молитве полностью и рассказывает при этом, что одна женщина молилась, стоя на коленях, так усердно, что однажды отделилась от пола и на какое-то время повисла в воздухе. «Я в это верю и вас призываю верить», — говорил епископ Лука. А в другой раз еще того удивительнее выразился: «Я верю в Бога, но тружусь вопреки ему: он людей наказывает болезнями, а я исцеляю». Может быть, и не совсем ту самую мысль

высказал в проповеди епископ Лука, но именно эти слова сохранились в народной памяти.

О своей церковной жизни на новом месте Войно-Ясенецкий записал: «В Туруханске был закрытый мужской монастырь, в котором, однако, стариком священником совершались все богослужения. Он подчинялся красноярскому живо-церковному архиерею; мне надо было обратить его и всю туруханскую паству на путь верности древнему православию. Я легко достиг этого проповедью о грехе великом Церковного раскола: священник принес покаяние перед народом, и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал в них».

Эти строки заставили меня предпринять поиски старика священника. Отец Мартин Римша оказался личностью примечательной. Учитель по профессии, искренно верующий человек, интеллигент. Римша приехал сюда незадолго до первой мировой войны. До этого почти сорок лет учил он детей в деревнях родной Белоруссии. Изменить учительству заставила его болезнь сердца. Римша окончил в Москве восторговские пастырские курсы для Сибири и с большой семьей прочно обосновался на Енисее. Сердцем этот неофит был мягок, но в делах веры тверд и неуступчив. Туруханские крестьяне священника уважали. Нередко захаживали к нему побеседовать сосланные в Туруханск большевики. Яков Свердлов, живший от Римши через дом, был тут своим человеком, хотя религиозные и политические дискуссии то и дело накаляли отношения добрых соседей. Приезд в Туруханск епископа Луки порадовал отца Мартина: в непокорном архиерее почудилась ему родственная душа. Отречение от «живоцерковников» не потребовало от него надрыва. Он все понял, едва услыхал от Войно-Ясенецкого, на какой политической закваске замешана «живая церковь». И тем не менее встреча с Лукой принесла Римше серьезное горе: на многие годы пришлось ему прервать отношения с любимой дочерью.

Дочь Веру мечтал Мартин видеть дьякониссой. Для этого отдал девочку сначала в епархиальное училище, потом в Енисейский монастырь. У Веры оказались хорошие способности, ей легко давались и Священная история, и катехизис, и учение о католицизме, лютеранстве, кальвинизме. А уж Библию-то проштудировала она всю от корки до корки, и не один раз. Но, как это часто бывало в начале революции, надоевшая монастырская зубрежка вызвала у дочери отвращение к религии вообще. Вера стала активисткой, уехала от родителей в Красноярск, вышла замуж, превратилась в ярую комсомолку-безбожницу. Начался семейный разлад. Отца Вера любила: был он с многочисленными своими детьми справедлив, даже нежен, но политические страсти год от года все более разводили отца и дочь. Окончательный разрыв произошел после приезда Луки.

Через много лет учительница-пенсионерка Вера Мартиновна Савинская (Римша), живущая на Ангаре в поселке Таежный, в нескольких больших письмах ко мне рассказала историю своей жизни. Нет, лично она не встречалась с епископом Лукой, не пожелала встретиться, хотя в Красноярске в 1926 году, возвращаясь из ссылки, он прислал ей приглашение зайти к нему. Что делать, не поняла тогда девчонка, что за человек прошел рядом с ней. В старости кляла себя за это. Но, хоть и не повидались они, Вера Мартиновна не забывала профессора-епископа, сыгравшего в чем-то роковую, а в чем-то и благодетельную роль в судьбе ее семьи.

Весной 1924 года умерла мать Веры. «Летом я поехала на могилу к ней в Туруханск. Проведать надо было отца и четырех подростков-братьев. Привезла я с собой несколько номеров журнала «Безбожник», в котором печаталась тогда «Библия для неверующих» Емельяна Ярославского, привезла для сличения с настоящей Библией, имеющейся у отца.

Он посмотрел и изрек: «Это какая-то сатанинская философия!» — и отложил журналы в сторону. В Туруханске жил в те годы еще один священник, А. Корсак, окончивший в свое время духовную семинарию. Когда я ему посоветовала почитать эти журналы, он охотно взял их домой. Потом пытался вызвать моего отца на беседу по поводу прочитанного, старался доказать ему, что Ем. Ярославский во многом все-таки прав… На это отец мой с горькой усмешкой произнес: «И это говорит человек, носящий сан иерея? Пойти на поводу у этого социалистического младенца (кивнул в мою сторону)? Мне стыдно за вас!» А осенью в газете «Красноярский рабочий» прочитала я про отречение священника Корсака перед народом от церкви. Я была очень тогда рада, что мои пропагандистские усилия дали свои плоды, пусть их никто не знает и не учитывает.

Но вот появился в Туруханске Лука. Одним из первых его вопросов к моему отцу был вопрос: «Кому подчиняешься, батюшка, обновленцам или тихоновцам?» «Те и другие мне пишут, и отвечать приходится тем и другим», был ответ отца. «Правильная вера у Патриарха Тихона, а обновленцы подлипалы советской власти», — определил епископ».

Учительнице-атеистке Савинской было неприятно, что отец ее оказался под влиянием ссыльного тихоновца. Но еще более обидно стало ей, когда Лука, по ее словам, «сам того не зная, свел на нет всю мою антирелигиозную пропаганду».

«До его приезда, — пишет Савинская, — совсем мало людей посещало церковь, а с его приездом приток прихожан в церковь значительно усилился. Туруханцы мне говорили, что в двунадесятые праздники верующие выстилали дорогу ему от больницы до церкви красным сукном, коврами и половиками… А мне отец перестал даже отвечать на письма…». Зачем я так много пишу о случайных людях? Зачем копаюсь в судьбах никому неведомых и никому вроде бы не интересных туруханских обывателей? Ведь о прославленном профессоре-епископе можно писать, и не упоминая имен свидетелей. К чему они тут: давно умерший священник, отставной начальник пристани, слепая старуха?..

Когда археологи раскопали Помпею, то в завалах вулканического пепла и грязи уже не нашли они тел несчастных горожан. Не сохранились и деревянные, тонкой резьбы колонны домов, мебель, деревянные поделки. Но там, где две тысячи лет назад' рушились постройки и падали убитые, задохнувшиеся в дыму горожане, в недрах почвы остались пустоты. Форма пережила сущность людей и вещей. Кто-то предложил нагнетать в подземные пустоты жидкий гипс. Гипс пробирался в черные норы, застывал там. В результате на свет появились отливки — точные и страшные свидетели заживо похороненного города. Кто подлинный хранитель исторической правды о жертвах Помпеи? Ученый, предложивший пользоваться гипсом, дал только прием, метод. Он только выявил истину, а хранила ее двадцать веков земля, та самая «памятью насыщенная земля», которую воспел Максимилиан Волошин. Мне хочется, чтобы аналогия с помпейскими гипсами в какой-то степени объяснила читателю то чувство глубокой благодарности, которое вызывают у меня современники и свидетели жизни Войно-Ясенецкого, каждый, пусть самый скромный хранитель истины.

Если даже отбросить в сторону личные пристрастия, то и тогда остаются у меня особые причины посвящать многие страницы биографии Войно-Ясенецкого людям исторически «незнатным». Так ли хорошо нам известно, кто в действительности является лицом историческим, а кто таковым не является? Разве не исчезали на наших глазах в провале насильственного забвения десятки и сотни тысяч чтимых недавно писателей, ученых, политических деятелей? Неожиданно потеряв свою историческую ценность, вчерашние кумиры пропадали со страниц учебников и энциклопедий. Родилось

несколько поколений, не знавших писателя Замятина, поэтессы Цветаевой, академика Николая Вавилова, философов Вл. Соловьева, Н. Бердяева. И одновременно ради постоянно меняющихся государственных надобностей кто-то извлекал из тьмы кромешной то шахтерского поэта Ивана Махиню с его виршами, то милого мальчика Павлика Морозова, то профессора О. Лепешинскую, гарантирующую вечную юность тому, кто пользуется ее содовыми ваннами.

Трудное это дело — определять историческую ценность личности. То и дело видим мы, как совсем зряшный вроде бы в одну эпоху человек начинает вдруг сиять ослепительным светом в другую. И не только сам сияет, но и других современников высвечивает. Воеводу енисейского Афанасия Пашкова разве что очень уж ученые историки в пыли архивной приметили бы. Да и то вряд ли. А прославил воеводу его современник протопоп Аввакум, ничтожнейший из подчиненных Пашкова, тот Аввакум, которого воеводе и пинать-то в конце концов надоело. Ныне неразлучны они в нашей памяти — мучитель и жертва, жестокий сибирский воевода, мастер кнута, и Аввакум — блестящий писатель, мыслитель, а главное — человек, в самых страшных страданиях не утерявший людского образа. Не растащить их и ныне вовек. Так же и профессора Войно-Ясенецкого, епископа Луку, не разлучить в исторической судьбе с красным партизаном, героем гражданской войны, председателем Туруханского краевого совета Филиппом Яковлевичем Бабкиным.

Впервые услышал я о Бабкине от девяностолетнего Арсения Кузьмина Константинова (см. стр. 84). Агент Всероссийской экспортной организации Сибпушнина, Константинов несколько лет состоял в постоянных деловых отношениях с красноярскими, енисейскими и туруханскими властями. Бабкин был тогда абсолютным хозяином Туруханского края. «Я затруднялся бы назвать его симпатичным или способным, — признается Константинов. — Мне он показался даже менее развитым, чем многие рыбаки и охотники, которых я встречал на Енисее. Почему-то особую антипатию испытывал Бабкин к «чистой публике», к «интеллигентам».

Особое чувство Филиппа Яковлевича к интеллигенции несколько проясняет история его жизни. В описываемое время ему еще не исполнилось и 27 лет. Родился он в деревне Маклаково, неподалеку от Енисейска. Сначала работал в хозяйстве отца, потом стал подручным слесаря в пароходных мастерских. Дошел до помощника машиниста на одном из енисейских судов. Возможно, добрался бы и до должности машиниста, но началась гражданская война, и учиться стало незачем. Начиная с 1918 года и до конца своей жизни в 1938-м Филипп Яковлевич только командовал. В качестве командира партизанского отряда он без разбора расстреливал енисейскую «чистую публику», которую независимо от пола, возраста и общественного положения определял одним словом — «контра». Потом белые разбили его отряд и заодно сожгли дом его родителей в Маклакове. После этого Филипп Яковлевич начал еще более яростно жечь дома чужие и пускать в расход сомнительных и подозрительных. В 1919 году красные отряды окончательно заняли Енисейск, и едва достигший двадцатилетнего возраста помощник машиниста Бабкин стал первым председателем городского исполкома. В 1923-м его послали на повышение — возглавлять громаду Туруханского края.

На групповом снимке тех лет (бывшие партизаны в своем кругу) Бабкин в белой вышитой на сибирский манер косоворотке, высоких щегольских сапогах заметно выделяется среди друзей. У него твердый подбородок, жесткий рот, глубоко посаженные фанатичные глаза природного вождя. Дальнейший жизненный путь его повторяет биографии большинства героев гражданской войны: из своего захолустья Бабкин вызван

был в начале 30-х годов в Москву на высокий пост в Главсевморпуть, а в 1938 году расстрелян как враг народа. В 1924 году Бабкин плюнул бы в глаза всякому, кто предсказал бы ему такую кончину. Он и его люди взяли власть, и отныне навеки ничто не могло помешать им творить свою волю. Там, в Москве, тоже были свои. А свои — это Филипп Яковлевич знал хорошо — никогда своему ничего плохого не сделают. Что же касается царских «спецов», то их следовало держать в твердых руках, использовать и по возможности перевоспитывать. На этот счет были указания сверху. Поэтому, когда в Туруханск привезли Войно-Ясенецкого, председатель вызвал его к себе и без лишних церемоний заявил: «Вы, профессор, бросьте эту священную дурь и занимайтесь медициной, а мы будем хлопотать о вас, чтобы вы досрочно закончили свою ссылку и поехали куда пожелаете». Хороший был разговор, вполне дружелюбный. Для епископа даже слишком дружелюбный. Но Войно-Ясенецкий почему-то обиделся.

«О Председателе Туруханского Краевого Совета меня предупреждали, что он большой враг и ненавистник религии», — пишет Лука. Это неверно. Хотя сам Бабкин считал себя свободным от всякой веры, ссылал священников, разрушал церкви, но этот атеист был по-своему очень религиозен: свято верил, например, газетам, приезжавшим из центра пропагандистам, любым официальным сведениям, идущим из Москвы и Красноярска. За «единый аз» своей веры он готов был пойти на любые муки, ввергнуть мир в любые страдания. Газеты писали в то время, что все священники — враги советской власти, что во время гражданской войны они хранили в церквах оружие и стреляли с колоколен по красным войскам. Сам Филипп Яковлевич ничего такого за священниками не замечал, но раз в газете написано…

А еще истово верил Бабкин в схему. Потому что схема давала ему ответ на все, решительно на все вопросы жизни. Следуя схеме, едва окончивший четырехклассное сельское училище красный партизан с полным правом мог чувствовать себя умнее и образованнее любого академика-профессора. Правда, и со схемой получались иногда неожиданные камуфлеты. Считалось по схеме, например, что если закрыть монастырь, запретить церковные праздники и развесить в клубе соответствующие плакаты, то массы тотчас поймут поповский обман и потеряют всякий интерес к церкви, к религии. Бабкин закрыл, запретил, развесил. Но почему-то мужики продолжали ходить в храм, крестить детей, отпевали покойников, напивались в церковные праздники. Антирелигиозные лекции, наоборот, посещали мужики туго, неохотно. Схема ошиблась? Нет, для Бабкина такой вывод был невозможен. Виноватыми могут быть только люди, отдельные личности, враги или темная масса, еще не осознавшая всего величия схемы. Кто же в данном случае мешает победе атеизма, торжеству научного мировоззрения? В маленьком городке все на виду. С тех пор как приехал епископ Лука, церковная жизнь в Туруханске явно оживилась. Итак, все ясно: в лице ссыльного епископа появился откровенный враг. Схема вещает: мракобесы активизировались, надо принимать решительные меры. Какие именно меры — Бабкину подсказывать не нужно. Про меры он все знал.

«По требованию этого председателя, — пишет в «Мемуарах» Лука, — меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил, что мне строго запрещается благословлять больных в больнице, проповедовать в монастыре и ездить на покрытых ковром санях. Я ответил, что по архиерейскому долгу не могу отказать людям в благословении, и предложил ему самому повесить на больничных дверях объявление. Этого он, конечно, сделать не мог. О поездках в церковь я тоже предлагал ему запретить крестьянам подавать мне сани, устланные ковром. Этого он тоже не сделал. Однако недолго терпел он мою твердость и бесстрашие…

Здание ГПУ стояло очень близко к больнице. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел сани, запряженные парой лошадей, и милиционера. Уполномоченный ГПУ встретил меня с большой злобой и объявил, что за неподчинение требованиям Исполкома я должен немедленно уехать дальше от Туруханска и на сборы мне дается полчаса времени. Я спокойно спросил, куда же именно меня высылают, и получил раздраженный ответ: «На Ледовитый океан».

То, что затеяли хозяева Туруханска, иначе как преднамеренным убийством не назовешь. В разгар зимы, которая в 1924—1925 годах выдалась особенно жестокой, отправить на открытых санях за полторы тысячи верст человека, не имеющего теплой одежды, значило обречь его на неизбежную гибель. Коренной енисеец, Бабкин все это, конечно, хорошо понимал. Епископу Луке предстояло сгинуть среди ледяной енисейской пустыни так же, как до него и после него сгинули там тысячи раздетых и разутых русских людей, чья вина в том только и состояла, что они не сумели предугадать всех крутых поворотов российской истории. Но Войно-Ясенецкий не погиб. Спасение свое объяснял он позже обстоятельствами мистическими. В пути по замерзшему Енисею в сильные морозы, писал он, «я почти реально ощущал, что со мной — Сам Господь Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».

Известны, однако, и вполне естественные силы, которые в трудный час пришли на помощь профессору-епископу. Едва Бабкин и его присные произнесли свой приговор, как вокруг обреченного образовался сонм доброжелателей, о существовании которых власти не могли даже догадаться. Первым и наиболее верным другом Луки оказался милиционер, которому было поручено сопровождать ссыльного. В то время как Лука укладывал в дорогу свой немудреный скарб, этот страж успел незаметно шепнуть ему на ухо: «Пожалуйста, профессор, собирайтесь как можно скорее, нам нужно только выехать отсюда и доехать до ближайшей деревни, а дальше поедем спокойно». Первая деревня (станок) в пятнадцати верстах от Туруханска называлась Селиваниха. Там во время отдыха и смены лошадей Луку догнал еще один доброжелатель. Еврей из Белоруссии эсер Розенфельд был принципиальным атеистом и материалистом. На этой почве у него с епископом не раз происходили горячие схватки. Но, как только Розенфельд узнал о ссылке Войно-Ясенецкого, он принялся обходить дома своих столь же неверующих товарищей и собрал, в конце концов, целую охапку теплых вещей и даже малую толику денег. Чуть не загнав крестьянскую лошадь, он привез в Селиваниху совершенно необходимые в дороге оленьи чулки-бакари, унты из собачьих шнур, енотовую шубу, меховое пальто. Судя по «Мемуарам», Лука нисколько не удивился заботе товарища по ссылке. Несмотря на разногласия, дружеские отношения с эсерами сложились у него уже давно. Коренной туруханец М. Н. Черненко также подтверждает: политические с большим почтением относились к Луке, помогали ему, кто чем мог.

Помнит Черненко и первую ночевку епископа в Селиванихе, в доме его отца. Епископ держался с хозяевами доброжелательно, спокойно, как будто не ехал он в страшную далекую ссылку, а просто зашел к добрым знакомым на чашку чая. Милиционер же, наоборот, выглядел очень озабоченным. Он был давний знакомый родителей Черненко и откровенно признался им, что везти Луку ему не по душе. Выпивая и закусывая за столом, милиционер воздержался от лишней рюмки. Сказал: «Во хмелю я груб, а епископу-профессору грубить не хочется». Надо полагать, что на одетого в мундир вчерашнего крестьянина личность ученого епископа произвела действительно глубокое впечатление. Эти чувства подкреплялись в каждом новом станке. В Курейке произошел эпизод, который побудил, наконец, милиционера открыться своему узнику. Лука так

пишет об этом случае: «Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до северного полярного круга, за которым стояла деревушка, названия которой я не помню. В ней жил в ссылке И. В. Сталин. Когда мы вошли в избу, хозяин протянул мне руку. Я спросил: «Разве ты не православный? Не знаешь, что у архиерея просят благословения, а не руку подают?» Это, как позже оказалось, произвело большое впечатление на милиционера. Он говорил мне: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отреч Монастырь».

Чем дальше на север, тем тяжелее становилась дорога. Один из станков сгорел, путники не могли остановиться в нем на ночь. Кое-как достали оленей, ослабевших от бескормицы, на них долго добирались до следующего станка. В тот день при жестоком морозе проехали не меньше 70 верст. Даже в своей меховой одежде Лука закоченел так, что его пришлось на руках нести в избу. Туруханские власти не определили точного места, где следовало поселить изгнанного из «столицы» епископа. Принять окончательное решение было поручено милиционеру. Они проехали уже более четырехсот километров на север. До берега океана оставалось столько же. Но вот в енисейском станке Плахино, четвертом по счету за Игаркой, немного не доезжая до Дудинки, сопровождающий внес багаж Луки в засыпанную снегом избу и объявил, что отныне место жительства ему определено здесь. Страницы «Мемуаров» дают выразительную, почти живописную картину приезда Войно-Ясенецкого в Плахино и быта «на краю света»:

«Это был совсем небольшой станок, состоящий из трех изб и, как мне показалось, еще двух больших груд навоза и соломы. Но и это были жилища двух небольших семей. Мы вошли в главную избу, и вскоре сюда же вошли вереницей очень немногочисленные жители Плахина. Все низко поклонились мне, и председатель станка сказал мне: «Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чем беспокоиться: мы для вас все устроим». Он представил мне одного за другим мужиков и женщин, говоря при этом: «Не извольте ни о чем беспокоиться. Мы уже все обсудили. Каждый мужик обязуется поставить вам пол-сансени дров в месяц. Эта женщина будет для вас готовить, а эта стирать. Не извольте ни о чем беспокоиться». Мой конвоир — комсомолец очень внимательно наблюдал за сценой моего знакомства с жителями станка. Он должен был сейчас же ехать ночевать в торговую факторию, стоящую за несколько километров от Плахина. Было видно, что он взволнован предстоящим прощанием со мной. Но я вывел его из затруднения, благословив и поцеловав его…

Я остался один в совсем новом помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо двойных рам снаружи были приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала большая куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой.

Вблизи нар стояла железная печурка, которую я на ночь наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах, накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом, которое подарили мне в Селиванихе. Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре. В первый же день я принялся заклеивать щели в окнах клейстером и толстой оберточной бумагой для покупок, сделанных в фактории, и ею же пытался закрыть щели в углу избы. Весь день и ночь я топил железную печурку.

Когда я сидел тепло одетый за столиком, то выше пояса было тепло, а ниже его — холодно… Иногда по ночам меня будил точно сильный удар грома. Но это был не гром, трескался лед поперек всего широкого Енисея…

Однажды мне пришлось испытать крайне жестокий мороз, когда несколько дней подряд беспрерывно дул северный ветер, называемый жителями «сивер». Это тихий, но не перестающий ни днем, ни ночью леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы. Бедные животные день и ночь стоят, повернувшись задом к северу. На чердаке моей избы были развешены рыболовные сети с большими деревянными поплавками. Когда дул «сивер», поплавки непрестанно стучали, напоминая мне музыку Грига «Пляска мертвецов».

Всякого другого такая тоскливая, однообразная, в чем-то даже страшная жизнь заживо погребенного повергла бы в уныние. Но епископ Лука даже в этих критических обстоятельствах находил повод для интересных наблюдений, для юмора. Он с улыбкой пишет о птице, похожей на комок розового пуха, которую ему удалось увидеть вблизи жилья, о том, как баба, которая обещала стряпать для него, подралась со своим любовником и отказалась готовить пищу. Впервые в жизни профессор-епископ принялся варить себе обед сам. «Не помню уж, какой курьез получился у меня при попытке изжарить рыбу, но хорошо помню, как я варил кисель, — пишет он. — Я сварил клюкву и стал приливать в нее жидкий крахмал. Сколько я ни лил его, мне все казалось, что кисель жидок, я продолжал лить крахмал, пока кисель не превратился в твердую массу».

С той же светлой иронией, которая чаще всего обращена к самому себе, рассказывает Лука, как исполнял он в ссылке обязанности священника и проповедника. «У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я продолжал крестьянам читать и объяснять им Евангелие. Они как будто с радостью откликнулись на это, но радость была недолгая, с каждым новым чтением слушателей становилось все меньше, и скоро прекратились мои чтения и проповеди». Еще более затруднительным оказалось в 250 километрах за Полярным кругом крестить младенца. Но высокое представление о своем епископском достоинстве и тут вывело ссыльного иерея из критической ситуации. Вот бесхитростное описание этих необычных крестин: «У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинял молитвы, а из полотенец сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а во время совершения таинства мне мешал теленок, вертевшийся около купели. Св. Мира у меня, конечно, тоже не было. Но я вспомнил, что я преемник Апостолов, заменил миропомазание возложением рук на крещаемых с призыванием Св. Духа, как это делали Апостолы в свое время».

Читаешь эти до наивности искренние строки и с изумлением думаешь: неужели это написано в нашем тщеславном, самолюбивом двадцатом веке? Не строки ли это из «Жития протопопа Аввакума»? Близость «Мемуаров» Луки Войно-Ясенецкого к православному памятнику русской духовной культуры семнадцатого века тем удивительнее, что епископ нового времени, строгий традиционалист в делах веры, ни за что не взял бы за образец литературный стиль еретика-раскольника. Сходство двух «Житий» обязано совсем иному: поразительной близости характеров обоих авторов. И Аввакум, и Лука полны добра и любви к «малым сим», оба охотно иронизируют сами над собой, только себя укоряя в несовершенстве и недостатке веры. Оба не боятся уронить себя в глазах читателя. Для них нет грубых, неэстетических или стыдных тем, ибо, о чем ни писали эти мученики, за ними стоит подлинная житейская правда, боль страдающего,

несправедливо попранного человека. Не смех, но сострадание вызывает рассказ Аввакума о волоке, где на скользкой ледяной дороге валятся друг на друга ослабевшие мужики и бабы. Или описание земляной ямы, в которой узники сидят, окруженные собственными испражнениями. То же чувство овладевает, мне кажется, читателем, когда в «Мемуарах» епископа Луки он найдет следующие строки: «Мне, конечно, всегда приходилось и днем и ночью выходить из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но, когда дул «сивер», положение становилось отчаянным».

У Аввакума и Луки нахожу я еще одну сближающую черту. В душах обоих удивительным образом уживались гордость и смирение. Голод, пытки, требования Патриарха Никона и всего Собора — ничто не могло сломить огнепального протопопа. Он и самого царя готов был обвинить в ереси. Но тот же Аввакум, как с ребенком, возился с буйным психическим больным, безропотно терпел любые личные обиды и страдания. Таков и Лука.

Сочетание гордости и смирения Бердяев считал естественным признаком противоречивости человеческой натуры. И только. Философ охотно признается: такое противоречие не чуждо ему самому. «Я бунтарь и человек смиренный», пишет он. Мне, однако, видится тут нечто иное. Епископ Лука не согласен отказаться от саней, крытых ковром, вовсе не потому, что с ковром ему ездить теплее и мягче. Ковер — символ епископских прав, прав, врученных ему свыше. И он не останавливается ни перед чем, желая отстоять это высшее право. Не может он отказаться и благословлять верующих, ибо это опять-таки не его личное дело, а нечто высшее и неподвластное ни районным, ни областным, ни общегосударственным властям. Когда же обиду наносят лично ему, когда пьяные красноармейцы в Ташкентском госпитале избивают профессора Войно-Ясенецкого, когда бедствует он на Ангаре, замерзает среди льдов на Енисее, — тут для него виновных нет. Он смирен, как и подобает истинному христианину. В этом нет противоречия, просто в душе епископа-профессора присутствуют как бы две шкалы ценностей: одна — высшая, духовная, и вторая — физическая, обыденная, бытовая. Все, что связано с исполнением воли Божества, свято, за это, если понадобится, согласен он положить и самую жизнь. Страдания же и обиды, переносимые во второй, бытовой, ипостаси, ничто. Терпеть их следует со смирением.

В Плахине, по словам Луки, прожил он более двух месяцев, и за все это время там не появился ни один приезжий. Это не совсем верно. Место для ссылки было избрано действительно пустынное, и тем не менее за Полярным кругом произошла немаловажная встреча. В августе 1970 года мне была предоставлена возможность выступить по красноярскому телевидению. Я рассказал телезрителям, кто такой был Войно-Ясенецкий, показал его портрет 20-х годов и попросил знавших его поделиться своими воспоминаниями. Почти тотчас после того, как погас экран, на студии раздались звонки. Людей, желающих поговорить о епископе Луке, оказалось довольно много. Но особенно интересной была встреча с Арсением Кузьмичом Константиновым. Несмотря на почтенный возраст, Константинов оказался рослым, по-стариковски красивым человеком. Коренной енисеец, он семьдесят лет проработал почтовым и торговым чиновником, пользовался абсолютным доверием сначала купцов, потом советских закупочных организаций. Его посылали с товарами в самые глухие углы большой Сибири, откуда он вывозил на миллионы рублей пушнины. В свой 91 год Арсений Кузьмич все еще сохранил великолепную память, отлично помнил многие эпизоды и разговоры полувековой давности. В 1924—1925 годах он был уполномоченным Московской сырьевой конторы по заготовке пушнины. Ему приходилось бывать в

Туруханске, но с Войно-Ясенецким в городе он не познакомился. Встреча их произошла лишь в феврале 1925 года в Плахине. Случилось это так.

Триста оленей везли в тундру большой груз: провизию, ружья, охотничьи боеприпасы, а главное… кирпичи. На одной из факторий решено было построить хлебопекарню. Эвенки любили хлеб, охотно выменивали на него шкурки белок, песцов и соболей, но сами хлеб печь не умели. Зимой 1925 года в тундру отправили караван-оргиш с мукой и кирпичами. Предстояло обучить инородцев хлебопечению. В обмен на свою науку организаторы каравана надеялись вывезти из тундры побольше идущих на экспорт мехов. Главный торговый агент Константинов получил приказ встретить идущий из Красноярска караван в Дудинке, но из-за пурги он опоздал на эту встречу и олени пошли дальше. Предстояло нагонять их на собаках. Взрослого проводника в Дудинке Арсений Кузьмич не нашел (на этот случай у него не оказалось с собой бутылки спирта). Стать проводником согласился лишь тринадцатилетний мальчик эвенк. Перед отъездам, объясняя сыну дорогу, отец долго чертил что-то на снегу. Суть объяснения, как позднее узнал Константинов, сводилась к тому, что зимой снежные заструги (наносы) ориентированы всегда с севера на юг. Для понимающего человека тундра превращается как бы в гигантский компас. Чтобы разыскать ушедший вперед караван, ехать следовало под определенным углом к застругам. Но разберется ли мальчик во всей этой снежной «географии»? Выбора у Константинова не было, хочешь не хочешь, ехать надо. Юный проводник, однако, не подвел. Для начала Арсению Кузьмичу пришлось испытать бешеную гонку под зимними звездами. Потом ночевку под нартой, лежа прямо на снегу. Никакой спальный мешок не мог спасти от пронзительного холода полярной ночи. Снова часами мчались собаки по совершенно плоской белой равнине. Пошли вторые сутки пути, когда маленький проводник остановил наконец собачий поезд, соскочил с санок и начал водить по сугробам двенадцатиаршинным шестом-хореем. Это означало, что где-то рядом он надеется обнаружить караван. Вскоре хорей уперся в небольшой бугорок. То была труба занесенной снегом избушки — под сугробом обогревались караванщики. Олени тоже лежали неподалеку в снегу.

Я не мог отказать себе в удовольствии пересказать этот не имеющий прямого отношения к нашему повествованию эпизод. Встреча Константинова с караваном произошла уже после того, как Арсений Кузьмич побывал в Плахине. Заехать к Луке попросил его начальник туруханской почтовой конторы. Минувшей осенью хирург оперировал при завороте кишок и спас его ребенка. Теперь, нарушая строгий запрет Филиппа Бабкина, благодарный отец передал с оказией Войно-Ясенецкому прибывшую корреспонденцию. В Плахино Константинов приехал под вечер. Переступил засыпанный снегом порог и увидел закопченную, давно не метенную избу с небеленой печью. Тут же лежали охапки нарубленных дров. Убожество и нищета жилища проглядывали во всем. На некрашеном столе стояла эмалированная кружка с водой и лежал кусок черного хлеба. Никакой другой пищи не было видно. Лука молился. Знаком руки он попросил гостя обождать. Минут через десять, совершив перед большой старинной иконой последний поклон, обернулся к гостю и пробасил: «А теперь будем знакомиться».

Первое, о чем захотел узнать ссыльный, — что нового в мире, что сообщают газеты. С жадностью, не перебивая, выслушал и отечественные и международные новости. Потом заговорил о личном: уже очень давно ему не удается подать о себе весть родным, живущим в Симферополе. Близкие, очевидно, беспокоятся о нем. Нельзя ли известить их телеграммой?

Почтовые отделения Дальнего Севера частных телеграмм в те годы не принимали.

Но, зная, как ценят Войно в Туруханске, Константинов выразил надежду, что для знаменитого хирурга будет сделано исключение и телеграмму все-таки передадут. Заговорили о плахинском житье-бытье, о питании, о топке. Встреча произошла вскоре после того, как местные женщины отказались стряпать и стирать для ссыльного. Да и что было стряпать? На вопросы гостя Войно-Ясенецкий только разводил руками — обстановка в избе говорила сама за себя. Константинов тут же вырвал из блокнота листок и написал записки на две ближайшие фактории, чтобы впредь профессору продавали за наличный расчет крупчатку, сахар, сушки, сливочное масло, манную крупу. В крае, где большую часть продуктов питания доставляют за тысячи километров, это было целое богатство. Но оказалось, что и выкупить свои деликатесы Владыке было не на что: у него не было денег. Константинов предложил ему сто рублей взаймы. «Я с удовольствием взял бы, — смутился Лука, — но не знаю, смогу ли когда-нибудь вернуть ваши деньги». «Если не вернете, не беда», — ответил Арсений Кузьмич и начал собираться в дорогу. Ему предстояла та самая скачка на собаках вдогонку за караваном, о которой говорилось выше. Прежде чем двинуться в глубь тундры, он успел, однако, выполнить свои обещания, данные Луке. Заехал на фактории и предупредил приказчиков об оставленных в Плахине записках, а в Дудинке дал телеграмму родным Войно.

Потом были у торгового агента другие дела, другие приключения, до Плахина удалось ему добраться снова только полторы недели спустя. Но Луки к этому времени там уже не оказалось: ссыльного увезли в Туруханск. Константинов ночевал в пустой, холодной избе, где перед тем два с лишним месяца провел его недавний собеседник. Лежа на нарах под оленьим одеялом, вспомнил Арсений Кузьмич между прочим, что Лука говорил ему о возможном возвращении в Туруханск. Об этом хлопотал известный сибирский хирург профессор В. М. Мыш. Тогда же епископ добавил: «Господь Бог дал мне знать: через месяц я буду в Туруханске». Очевидно, на лице Константинова отразилось недоумение, потому что Лука, осуждающе покачав головой, заметил: «Вижу, вижу, вы неверующий. Вам мои слова кажутся невероятными. Но будет именно так».

Почти полвека спустя, пересказывая мне этот эпизод, Арсений Кузьмич пояснил: «Лука угадал — я был и остаюсь неверующим. Но, хоть я и не признаю церковной обрядности, я верю: если человек совести не потерял — Бог у него в душе есть. Другого смысла в религии я для себя не нахожу».

Почему начальник туруханского ГПУ среди зимы отправил сани за ненавистным епископом, неясно. По версии самого Войно-Ясенецкого, за него вступился народ. «Оказалось, — пишет он в «Мемуарах», — что в Туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной помощи, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали за мной гонца…».

Так было или иначе, но в Туруханск Войно-Ясенецкий вернулся победителем. Вероятно, кто-то за него все-таки похлопотал. Автор «Мемуаров» пишет об этом, не скрывая торжества по поводу своей маленькой победы. «Первым, кто меня встретил в Туруханске с распростертыми объятиями и с неподдельной радостью, был тот самый милиционер-комсомолец, который вез меня из Туруханска в Плахино… Я опять начал работать в больнице. Уполномоченный ГПУ, выславший меня… однажды по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время разговора с — ним отворилась дверь и в комнату вошла целая вереница эвенков (тунгусов) со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не

заметил этого. И в монастырь я, конечно, продолжал ездить на санях, покрытых ковром».

Глава четвертая. Как это делалось в тридцатом (1926—1931)

«…Бог искушал Авраама и сказал ему… возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Морив и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. Авраам… встав, прошел на место, о котором сказал Бог».

Бытие. Глава 22

Верховенский: «В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно».

Ставрогин: «Право на бесчестье — да это к нам все прибегут, ни одного там не останется».

: *Ф. М. Достоевский. «Бесы»*

Они встретились случайно: ранним утром в конце августа сошлись на базарчике в горной деревушке Бурч-Мулла. Оба искали бричку до Ташкента. Никто на базаре не обращал внимания на пожилого православного священника в очках. Среди рыночной суеты и гомона старик пытался сыскать возницу. И тщетно.

Михаил Софиев сразу узнал своего бывшего учителя. Шесть лет назад, в 1923-м, когда Софиев был еще студентом-медиком, профессор Войно-Ясенецкий так же, как и сейчас, с нагрудным крестом, в рясе, читал им курс оперативной хирургии. Потом профессор исчез, говорили, что сослан в Сибирь. И вдруг — вот он: в одной руке посох, в другой — «докторский» саквояж. Ряса белая, льняная, видно, не раз уже стиранная. Башмаки тоже старенькие, стоптанные. Профессор поседел, но, как и прежде, держится прямо, с достоинством.

Молодой врач принял на себя заботы о транспорте, и четверть часа спустя профессор и бывший студент уже катили по пыльной дороге между виноградниками и хлопковыми полями в сторону туркестанской столицы.

Дальняя дорога располагает к беседе. Бурч-Мулла — в девяноста верстах от Ташкента — пользовалась в те времена славой сердечного курорта. Войно приезжал сюда лечить нажитые в ссылке отеки на ногах, много ходил по горным тропам. Софиева же забросила в предгорья отнюдь не забота о здоровье, а научный поиск: он приезжал вылавливать клещей, переносчиков инфекций. Разговор получился славный. Войно-Ясенецкого живо интересовали новости медицинской науки и в том числе успехи микробиологии и паразитологии, которой занимался Софиев. Расспрашивал он и о положении дел на медицинском факультете университета. В САГУ вложено было когда-то немало сил его. Услыхав про университет, обернулся к седокам возница. У этого русского крестьянина-переселенца оказались свои довольно сложные отношения с Ташкентским университетом. Полгода назад мужика раскулачили: отняли скот, землю, инвентарь. Разорили вконец. Но самый тяжелый удар нанес ему сын. Парень учился на врача в этом самом университете. Хорошо учился. А как разорили отца, то ему и сказали: хочешь быть доктором — отрекайся от батьки-кулака. Не отречешься — выгоним. Что делать — отрекся малец. Написал в газете: нет у меня с этого дня ни отца, ни матери, не признаю их за родных. Войно слушал рассказ хмуро, не перебивая. Потом спросил:

— Вы ему помогаете?

— А как же не помогать! — развел руками мужик. — Своя кровь… Через чужих людей, конечно, приходится. Посылаем сколько можем…

Почти сорок лет спустя, передавая мне тот давний диалог, профессор Михаил

Сионович Софиев вспомнил, что, услыхав слова возницы, Войно-Ясенецкий вдруг зябко повел плечами («будто среди жаркого летнего дня почуял дыхание сибирской ледяной пурги»). Сказал тихо, с болью:

— Сколько лжи и неправды они создают.

Остаток пути профессор ехал молча. Случайный дорожный разговор пробудил, очевидно, какие-то нелегкие раздумья.

Какие именно, Софиев не знал. Они с Войно никогда больше не встречались. Грустные переживания, которые охватили в тот августовский день епископа Луку, стали мне понятными лишь позднее, когда я познакомился с тремя его сыновьями и дочерью. По мнению близких, профессор-епископ, которого по возвращении из ссылки в 1926 году лишили и церковной, и университетской кафедр, не слишком сильно переживал свои «должностные» потери. Он занимался частной врачебной практикой, продолжал работать над монографией, служил в храме как рядовой священник и вовсе не страдал от скромности своего общественного положения. Он устранился от всякой политической деятельности, и основной для него проблемой в эти годы стала проблема взаимоотношений с детьми.

Тотчас после первого ареста Луки всех четырех, оставленных на попечение Софьи Сергеевны Велицкой, выгнали из квартиры. Кое-как рассовав книги и вещи по знакомым, они поселились в крохотной комнатушке, куда вход вел через окно. Каморка была так мала, что разместиться в ней было бы невозможно, если бы Велицкая не построила двухэтажные нары. Валентин и Алексей спали под потолком, а Лена и Михаил — внизу. После смерти матери у всех детей Войно-Ясенецкого была положительная реакция на туберкулез. Они нуждались в свежем воздухе, усиленном питании. Но откуда было взять это самое питание? Благодаря заступничеству доктора Слонима Велицкую с работы не выгнали. Она кормила детей и себя на сестринское жалованье — два червонца в месяц. Жили, конечно, впроголодь, не помогали ни ночные дежурства, ни различные приработки, на которые соглашалась трудолюбивая Софья Сергеевна. Ее любимцами были младшие — Валя и Лена. Но и этих приходилось на целые дни оставлять одних. Вернувшись с работы, названая мать часто находила своих детей исцарапанными, грязными, в разорванной одежде. Начинались чистка, штопка, мытье до глубокой ночи.

Из всех детей не любил Велицкую только Михаил, старший. После ареста отца он бросил школу, бродяжил по городу, хулиганил. Юношу устроили в ремесленное училище, но скоро его и оттуда исключили как сына «попа». Михаил еще больше озлобился. С Алексеем повторилось то же самое: его как сына классового врага исключили из десятого класса. Осенью 1928 года власти смилостивились и направили школьника в другое учебное заведение с многообещающим названием «Школа имени Песталоцци». Директор школы, мрачно глядя в сопроводительные документы, проворчал: «Ты сын попа. Я тебя возьму, раз прислали, но, если мне пришлют сына рабочего, я тебя выгоню». По счастью, сына рабочего, претендовавшего на то же место, не оказалось. И Алексей среднюю школу окончил.

Дети епископа Луки полной мерой заплатили за «поповство» отца. Клеймо политической неблагонадежности преследовало их почти два десятка лет кряду. Они оставались неприкасаемыми не только в школе и в институте, но и позднее, на военной и гражданской службе, при получении паспорта, каждый раз прописывались на новое место жительства. Девятнадцатилетнего Алексея, который проходил военные сборы неподалеку от Ташкента, вызвал к себе политрук:

— Как попал к нам? Нам поповских детей не надо. А сам верующий?

Алексей ответил, что в церковь не ходит, но издевательские карнавалы во время Пасхи и Рождества его возмущают. Молодого солдата оставили на этот раз в покое. Тем не менее, не ожидая для себя ничего хорошего в Ташкенте, Алексей покинул родной город. Он переехал в Ленинград, но преследования продолжались и там. В 1935 году на очередных военных сборах, когда часть готовилась к выезду в военные лагеря, Алексея Войно-Ясенецкого вызвали прямо из строя, оставили в городе и затем несколько раз допрашивали в органах НКВД.

Особенно тягостная юность выпала на долю Михаила. После возвращения из ссылки старшего Войно-Ясенецкого младшего приняли на медицинский факультет университета. Учился Михаил хорошо. Заинтересовался медициной, перестал хулиганить. Однако каждая новая кампания «за классовую чистоту высшей школы» заканчивалась для него исключением. Ему так и не дали бы получить высшее образование, если бы не заступничество профессора Слонима. Друг семьи Войно-Ясенецких использовал свое влияние на властей и несколько раз водворял юношу обратно в университет. После очередного исключения от Михаила потребовали, чтобы он отрекся от отца-епископа публично. Повторилась ситуация, о которой рассказывал своим седокам раскулаченный крестьянин из Бурч-Муллы. По воспоминаниям старых ташкентцев, Михаил от отца отрекся, но продолжал обедать дома. Его выследили институтские «активисты». Состоялось новое разбирательство и новое исключение…

Епископ Лука мучительно переживал издевательства, которым подвергали его семью. Но узел его отношений с детьми был значительно сложнее, чем могло показаться со стороны. И не только внешние силы были тому виной. Однажды в 1928 году отцу попали в руки записи, которые вел младший сын. Валентину едва исполнилось пятнадцать лет. Был он болезнен, худ, бледен и, может быть, из-за этого вызывал у отца особенно нежные чувства. Но Войно не умел открывать себя близким. Его сосредоточенность окружающие рассматривали как признак характера мрачного и холодного. В записках, не предназначенных для чужих глаз, Валентин жаловался на то, что отец к нему равнодушен, невнимателен, что он, Валентин, лишен элементарного родительского воспитания. Лука прочитал эти полные укоризны строки и позвал сына в кабинет. Разговор был тяжел для обоих. В нем незримо присутствовала покойница Анна Васильевна. «Если бы мама была жива…» Мальчику казалось, что «холодность» отца возникла лишь после смерти матери. Лука серьезно и терпеливо разъяснял сыну-подростку свои жизненные принципы. «Ты упрекаешь меня, но я считаю, что главное воспитание — это пример. Я воспитывал вас, моих детей, примером своей жизни. Или этого недостаточно?»

Владыка был искренен. Он подавал (и не только своим детям) пример, достойный всяческого подражания. А когда не мог быть рядом с семьей, писал детям письма. Всю страсть отцовского чувства, весь талант пастыря вкладывал он в эти письма-проповеди, которые должны были, по его мнению, донести до детей накопленный им жизненный опыт.

«Все в том, чтобы жизнь имела высший смысл добра, — писал он из Енисейска семнадцатилетнему Михаилу. — И с этой точки зрения деятельность врача представляется одной из самых высоких. Но дело в том, что это верно лишь тогда, когда очень глубоки и тверды основы высшей нравственности, на которых строится деятельность врача. Надо, чтобы он всецело был проникнут стремлением служить людям, любить людей. Если бы у тебя я видел такую глубину стремления к добру, к любви, к Богу, то был бы очень счастлив… Но при столь ясно сквозящем в твоих письмах

легкомыслии не могу посоветовать тебе тяжелого пути врача. Будет лучше, если ты последуешь своему влечению к техническим наукам, потому что высшие нравственные цели жизни можно осуществлять во всякой профессии, всяком общественном положении». В письме, посланном из деревни Хая, те же мотивы: «Неспокоен я за тебя. В таком возрасте, когда тебе всего больше необходимо мое постоянное воспитательное влияние, а ты давно оторван от меня и почти предоставлен самому себе. Никогда еще развращающее влияние среды не было так страшно, как теперь, никогда еще слабые юные души не подвергались таким соблазнам. А я, к сожалению, должен тебе сказать, что из всех моих детей тебя считаю наименее любящим добро, наиболее способным поддаться развращающим соблазнам. Не знаю, может быть, то, что пережил и переживаю я, произвело на тебя глубокое впечатление и внушило благоговение к правде. Дай Бог, чтоб это было так. Но в одном из писем бабушки я прочел очень мучительные для меня слова: «Впрочем, Миша малочувствителен». Это ведь так мне известно, так меня мучило всегда. Понимаешь ли ты ужас этой короткой фразы? Ведь это значит, что неправда не пронзает твоего сердца, что не холодеет оно, когда слышишь нравственно страшное, не загорается оно святым негодованием против зла, не пламенеет восторгом, когда слышишь о прекрасном, добром, возвышенном. Не весь ли ты по-прежнему поглощен эгоизмом? Много тщеславия в твоих письмах, а тщеславие так родственно эгоизму. Нет в тебе глубокой серьезности, которая неизбежно родится в человеке не эгоистичном, не собой занятом, а глубоко чувствующем чужие страдания, тяжесть и беспросветный ужас человеческой жизни».

Отец не ошибся в душевном состоянии сына. Ущемленный своей социальной второсортностью, юноша жаждал взять реванш любыми средствами. Он играет в любительских спектаклях, покинув ремесленное училище, поступает в редакцию газеты, надеется там стяжать лавры художника. В его жизни рано появляются женщины. Отца отделяют от «свихнувшегося» сына несколько тысяч километров, но он не теряет надежды спасти молодого человека. Лука свято верит в силу личного примера и исцеляющую мощь правдивого слова. Очередное письмо из ссылки напоминает Михаилу о важности человеческого достоинства и самоуважения, о гнусности пьянства и разврата. Отец требует, чтобы сын ежедневно читал строго указанные ему главы Евангелия и дважды до возвращения Луки из Сибири, успел прочитать Новый Завет.

«Хотя и лишил Господь Бог моего непосредственного руководства, но знай, что ты уже очень много получил от меня. Дети воспитываются примером родителей, а лучшего примера, чем тот, который ты видел во мне, ты не мог увидеть. Ни на минуту не забывай, что ты сын епископа, святителя-исповедника Христова, и знай, что это налагает на тебя страшную ответственность перед Богом». Боюсь, что вполне современный советский юноша, свободный от веры и идеалов своего отца, Михаил Войно-Ясенецкий с иронией воспринимал обращенные к нему страшные заклятья. А равно и просьбу прислать в Енисейск бутылку красного виноградного вина для литургии. В свои семнадцать Михаил знал и более рациональный способ применения вина…

Увы, пастырь чужих душ, проповедник и моралист, епископ Лука плохо понимал мощь тех новых социальных сил, которые принялись формировать души его собственных детей. Улица, школа, кипучая жизнь 20-х годов рисовали Михаилу, Алексею, Валентину и Елене значительно более привлекательные примеры для подражания, нежели те, о которых писал отец. В кино показывали знаменитых актеров, отечественных и заграничных. По экрану скакали ковбои, разряжая свои многозарядные смит-вессоны направо и налево. Многосерийный фильм «Месс-Менд» с главным героем, бесстрашным

американским рабочим Джимом Долларом, потрясал сердца мешаниной из мелодрамы, детектива и лозунгов о пролетарской солидарности в мировом масштабе. В книгах тоже преобладали герои, вооруженные пистолетами и холодным оружием: участники недавно закончившейся гражданской войны.

В юношеских мечтах тех лет попросту не оставалось места для гонимых и преследуемых. Жертвенность, мужество восходящих на костер во имя Бога, защита нравственных принципов — это казалось архаичным, глупым и просто смешным. К тому же молодым Войно-Ясенецким надоело оставаться изгоями. Ведь кругом бурлила такая веселая жизнь! Хотелось быть, как все, как вот эти звонкоголосые пионеры, комсомольцы с горластыми горнами и бойкими барабанами. Мир епископа Луки огораживал все строгостью, ограничениями, запретами; зато прекрасный реальный мир манил беспредельной абсолютной свободой.

И все-таки он любил своих детей, очень любил. Он любил их, несмотря на то, что дочь «выскочила» замуж чуть ли не в шестнадцать лет за пьяницу и картежника, средний сын имел обыкновение месяцами и годами не отвечать на письма, а старший женился, даже не известив об этом старика отца. Он любил их, хотя никто из четверых так и не разделил его страстной веры в Христа. Лука возвращался к этой мучительной теме много раз, но все разговоры его с детьми кончались впустую. И все же он оставался отцом, отцом в большом и в малом. Зная, что Валентин инфицирован, Лука многие годы выписывал журнал «Вопросы туберкулеза», следил за состоянием этого раздела на тот случай, если сыну станет хуже. Всю жизнь, пока они не стали на собственные ноги, отец посылал детям деньги, одежду, продукты — даже из ссылок, когда удавалось что-то заработать. Позднее от отдал им свою Сталинскую премию.

В свой черед профессор Войно-Ясенецкий привез младшего сына в Одессу и попросил академика В. П. Филатова взять молодого медика в учение. «Я беру вас, исходя из того, что яблоко от яблони недалеко катится», — сказал знаменитый окулист Валентину Войно-Ясенецкому. И второму сыну, Алексею, стать ученым, учеником академика Л. А. Орбели также помог авторитет отца. О глубокой привязанности к своим детям, о горячем интересе его к их успехам, здоровью, к их личной жизни свидетельствует каждое из трехсот писем епископа к детям, которые мне удалось прочитать. Заботой, беспокойством, любовью дышит каждая строка этих посланий.

Да, он любил своих детей. И тем не менее в Ташкенте, а потом в Переславле-Залесском я несколько раз сталкивался с людьми, которые и слышать не хотели о семейных привязанностях профессора Войно-Ясенецкого. Любил? А почему же не расстригся в таком случае? Почему не снял рясу и крест? Ведь видел же, что именно из-за этой рясы голодают его дети, страдает ни в чем не повинная Софья Сергеевна Велицкая. Из-за его епископства мальчики не имели нормального детства, а потом годами терпели унижения в институтах, на работе. Так говорили некоторые врачи и профессора, бывшие коллеги Войно-Ясенецкого. Люди, не так чтобы очень уж преуспевшие, они прожили «правильную» жизнь советских служащих и на закате ее оставались в счастливом убеждении, что всякая иная жизнь ненормальна, неестественна и даже безнравственна. За их воздыханиями легко угадывалась система взглядов типа: «Плетью обуха не перешибешь», «Не так живи, как хочется» и даже «Поклонишься — не переломишься». По такой шкале ценностей профессор Войно-Ясенецкий представляется всего лишь холодным эгоистом и упрямцем, который, потакая своему неуживчивому, надменному характеру, играл судьбой малолетних детей. Расстаться с поповством мешала ему только склонность к самолюбованию.

Для крестьянки Елизаветы Никаноровны Кокиной душевные извивы рефлектирующей интеллигенции — материя малознакомая. Однако и она готова возразить своему бывшему барину. Услыхав, как сложилась судьба детей Валентина Феликсовича после его пострижения в монахи, бывшая горничная Войно-Ясенецких разразилась следующей филиппикой:

— Значит, он только о себе думал? В рай хотел, а дети — как знаешь… Мать бы этого никогда не позволила. Если бы он один был, тогда другое дело: молись, иди в монахи. А так, как же он бросил маленьких? Что ж это он так?..

Далее последовал рассказ, призванный, так сказать, иллюстрировать тезис о том, как следует поступать в подобных обстоятельствах. Муж покойной сестры Елизаветы Никаноровны, мужик из соседней деревни, остался вдовым при пятерых детях. Старшей дочери было тринадцать, младшему — полтора годика. Легко ли мужику с такой обузой? Но он другой жены не взял, так и ходил вдовый, пока не выдал замуж старшую дочь. «Вот…» — тяжело вздохнув, сказала Елизавета Никаноровна. И в заключительном этом вот звучал бескомпромиссный осуждающий вердикт легкомысленному барину, доктору Войно-Ясенецкому.

Я далек от того, чтобы оспаривать здравый смысл, к которому в нашем случае с равным энтузиазмом взывает и ташкентская профессура, и неграмотная крестьянка из лесного поселка Щелканка. Здравый смысл всегда был и, очевидно, навсегда останется главной шкалой ценностей для человека из толпы. Этот критерий нельзя назвать ложным или недостойным, ибо в обыденной жизни все мы измеряем, взвешиваем поступки своих ближних и своими мерками все того же здравого смысла. За единицу измерения при этом принимается количество пользы, которую приносит каждый поступок. Большая польза всегда лучше пользы маленькой. Но и маленькая хороша, когда нет никакой другой. В том, что профессор Войно-Ясенецкий надел рясу и крест в пору, когда за рясу и крест сажали в тюрьму, здравый смысл современников не усматривает решительно никакой пользы. Наоборот даже, ясно был виден вред этого поступка как для самого профессора, так и для его семьи. То обстоятельство, что сам профессор не хотел или не мог видеть этого, показывало, что здравым смыслом он не обладает, что в этической системе имеется какой-то порок. Таков голос массы, большинства.

Попробуем, однако, взглянуть на те же факты с другой стороны. Стоит ли измерять высоту Эвереста в микронах? Есть ли нужда в том, чтобы земной шар взвешивался на тончайших миллиграммовых весах? Очевидно, что крупные предметы требуют для своего измерения иных масштабов, иных мерок. А крупная личность? Идея, которая руководила поступками Луки в двадцатые годы, четко определила систему его отношений с обществом. Он согласен был существовать в этом обществе только при одном условии: если ему сохранят право на веру. Мир без веры, без строгого нравственного порядка был для него попросту невозможен. Лука не раз демонстрировал властям свою готовность, если надо, умереть за веру. В Туркестане я слышал от нескольких стариков рассказ о том, как в 1926 году, когда чекисты пришли в дом к Войно, он упал на колени перед иконами и коротко, но истово помолился, а затем, встав с колен, совершенно спокойно сказал: «Я готов. Можете взять мою жизнь». Чекисты пришли в этот раз не убивать епископа, а, наоборот, освободить его от ссылки (освобождение пришло на восемь месяцев позже приговоренного срока). Но всем своим поведением ссыльный показал: смерть за веру ему не страшна. Не согласился епископ Лука расстаться с крестом и тогда, когда партиец Бабкин в лютую стужу без теплой

одежды отправил его на верную гибель за Полярный круг.

Итак, соблазнить Войно, оторвать его от исполнения того высокого долга, которому он себя посвятил, не могли ни те, кто манил его возможностью вернуться к любимой хирургии, ни те, кто сулил спокойную жизнь в кругу семьи. Не пугала его и откровенная угроза расправы. Стоит ли после этого удивляться, что твердости его не лишила и трагическая судьба горячо любимых детей? Он так и сказал младшему, о котором как о больном скорбел особенно сильно: «Служитель Бога не может ни перед чем остановиться в своей высокой службе, даже перед тем, чтобы оставить своих детей». Ни народная мудрость Елизаветы Никаноровны, ни аргументы интеллектуалов не кажутся мне более убедительными, нежели позиция человека, столь ясно осознавшего свой особый путь в этом мире.

…Я думаю, что Владыке Луке не раз приходил на память тот эпизод из Ветхого Завета, когда Авраам восходит на гору Мориа, чтобы там предать всесожжению нежно любимого первенца своего Исаака. Эпически скупые строки библейского текста ничего не говорят нам о переживаниях несчастного отца. Можно только догадываться о том, что происходит в душе старика, которому лишь на склоне лет посчастливилось дождаться единственного сына, продолжателя рода. И вот сейчас он должен собственными руками убить отрока, единственную опору и надежду свою. «Бог искушал Авраама…» — читаем в древнем тексте. И через несколько строк сухо, как о чем-то само собой разумеющемся, Библия сообщает: «Авраам… пошел на место, о котором сказал Бог». Не мог не пойти.

Ташкент эпохи нэпа остался в памяти современников как город-рай. Особенно восхищал он приезжих из России. Вдова профессора-юриста Н. П. Фиолетова Надежда Юрьевна так описывает столицу Туркестана, куда они с мужем приехали в середине 20-х годов: «Богатые рынки, на каждом углу торговцы, продававшие с шумом и ажиотажем какую-то мелочишку, лоточники, торговавшие виноградом, «сладким, как мед», кислым молоком в ведрах и горячими лепешками-чуреками; национальная одежда, мусульманские праздники, проходившие под оглушительный грохот барабанов, визг флейт, дудение каких-то длинных труб, — все колоритно, ярко, живо. Небо сапфирно-голубое, жгучее солнце, журчание арыков, огромные карагачи, отбрасывающие тень на всю улицу, красивые дома светло-шоколадного цвета с верандами и садами все это создавало впечатление какого-то нескончаемого праздника… В центре города были открыты небольшие ресторанчики, где можно было за недорогую плату вкусно пообедать, и притом на открытом воздухе, в тени деревьев».

Но город, торгующий, праздничный и прекрасный, имел и другие ипостаси: «В университете группа профессоров вела глубокое изучение Евангелия, — пишет Фиолетова. — Раз в неделю кто-нибудь из них выступал в кругу коллег со словом на евангельскую тему. В эту группу, кроме профессоров, входила и молодежь». Изучение Евангелия на факультете общественных наук проходило, конечно, тайно. Да и профессура, бежавшая в 1924—1925 годах из Москвы и Ленинграда в более мягкий политический климат Ташкента, где университет еще не потерял права избирать преподавателей, понимала, что доживает тут последние годы. С 1927 года на университет начался нажим, который закончился чисткой и закрытием факультетов общественных наук и востоковедения. Но, пока железная метла ГПУ окончательно не смела всех этих беглецов в тюрьмы и сибирские лагеря, интеллигенты пытались жить так, как им подсказывали их вкусы и совесть. Молодой, красивый, деятельный архимандрит Вениамин Троицкий, живший в вольной ссылке, основал небольшую общину в маленьком домике на Никольском шоссе. «В общине по воскресеньям и праздничным

дням совершались богослужения. По праздникам сюда стекалось много народа послушать пение и молитвы». В городе, пишет Фиолетова, было много людей, которые искренне болели о делах веры, церкви. Среди таких называет она А. М. Муромцеву. «В этот дом, — добавляет Фиолетова, — хаживал и правящий Ташкентский епископ Лука. Его колоритную фигуру с посохом в правой руке и молитвенником, который он держал перед собой в левой, можно было нередко встретить, когда он утром отправлялся из своей квартиры на Учительской в Сергиевский собор».

После ссылки Войно-Ясенецкий стал частным лицом, как говорилось, лишенным епископской и университетской кафедр. Но науку или церковь не оставил. Как и прежде, Лука несколько часов ежедневно посвящал работе над рукописью «Гнойная хирургия», по воскресеньям и праздничным дням служил в церкви, а остальное время принимал больных. В немецких хирургических журналах (в те годы это еще допускалось) появилось несколько его специальных статей, которые подписывал он Bischop Lucas — Епископ Лука. Однако исцеление страждущих для него было главным.

Поселился он, как правильно указывает Н. Ю. Фиолетова, на Учительской, неподалеку от Сергиевской церкви. Снял небольшой домик в две комнаты с прихожей. До 1929 года вместе с ним жил Алексей. Младшие дети оставались с Велицкой. На Алексее лежала обязанность вести запись больных и следить за очередью. Раз в месяц в назначенный день юноша поднимался в пять утра. Его будил гул голосов под окнами. Там с ночи собиралась большая толпа. Открыв двери, он выходил к людям: начиналась запись на прием. Через полтора-два часа месячный список — более 400 больных — был готов. Принимал Войно-Ясенецкий 15—20 человек в день, держал больных в кабинете подолгу. Заранее было объявлено, что прием бесплатный. О воздаянии за врачебный труд Лука не хотел и слышать. Но больные хитрили: Алексей находил трехрублевки и пятерки то засунутыми под чернильный прибор, то оставленными в прихожей. Те, кто предпочитал делать подношения натурой, заходили на кухню и оставляли свои корзинки стряпухе. Об этих «заглазных» операциях профессор, равнодушный к бытовой стороне жизни, конечно, ничего не знал. Зато Софья Сергеевна получила возможность лучше кормить младших, да и старшим детям, за три года отцовской ссылки изрядно наголодавшимся, кое-что от этих даяний перепадало.

Поток больных, желающих лечиться у Войно-Ясенецкого, с годами не только не оскудел, но все возрастал, а порой буквально захлестывал подступы к его квартире. Когда Алексей из Ташкента уехал, помогать на приемах стала Шура Кожушко. Эту девушку, скорее даже девочку, и ее младшего брата Лука заметил сидящими на ступеньках городской больницы. Чуткий к чужим бедам, он тотчас заподозрил неладное и подошел к детям. Выяснилась довольно банальная история: отец умер, а единственный в городе близкий человек — мать — в больнице и, очевидно, надолго. Лука повел детей к себе в дом, нанял женщину, которая ухаживала за ними, пока не выздоровела мать.

Шура, которой было тогда 15—16 лет, привязалась к своему благодетелю. На приемах она быстро освоила основы медицины и через год, не поступая ни в какое учебное заведение, стала хорошей медицинской сестрой. Через Шуру попала в поле зрения Луки и другая сиротка — Рая Пуртова. Девочка приехала в Ташкент сразу после средней школы в надежде продолжить учение. На беду, заболела она воспалением легких, лежала одна в чужом доме, лечить и ухаживать за ней было некому. Нашла ее Шура, которую Лука постоянно посылал по городу искать больных, нуждающихся в помощи и материальной поддержке. Рая была истощена. В доантибиотическую эпоху у нее было вполне достаточно шансов погибнуть от пневмонии. Но по протекции Войно-Ясенецкого в одном

религиозном доме девочке стали давать усиленное питание. Молодой организм одолел болезнь, Рая окрепла, встала на ноги. Несколько раз заходила она к врачу-спасителю как пациентка, а потом подружилась с Шурой Кожушко и стала в доме своим человеком. К медицине она не приохотилась, но с удовольствием исполняла поручения Войно по розыску таких же, как она сама, длительно болеющих бедняков. Тех, кого они с Шурой разыскивали, Лука навещал потом сам, помогал деньгами. Дом на Учительской улице надолго стал для Раи самым дорогим для нее местом. Наиболее светлые воспоминания сохранились о тех часах, когда, управившись с делами, они собирались втроем в заставленном книжными полками кабинете Луки. Горела лампада. Лука сидел в кресле, они на скамеечках возле него. Медленно, неторопливо текла беседа. О чем? Обо всем: о разных жизненных случаях, о прочитанных книгах. Много говорили о героях Достоевского: он был любимым Раиным автором. Разбирали, помнится, причину, по которой Раскольников так мучительно переживает свое преступление. Остались в памяти заключительные слова, которые произнес тогда профессор: «Главное в жизни — всегда делать людям добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое». Таких вечеров было много.

— Не уговаривал ли вас Владыка молиться, чаще бывать в церкви, соблюдать посты, обряды? — спросил я сорок пять лет спустя Раису Петровну (Пуртову) Острецову.

— Нет, он вообще не касался веры, церкви, обрядов. Но любой разговор как-то сам собой поворачивался так, что мы стали понимать ценность человека, важность нравственной жизни.

Мне захотелось представить себе его в эти часы отдыха. Каким он был? Этаким величественным Богом-Отцом, на досуге вещающим двум девочкам-провинциалкам вечные истины? Или старым, одиноким человеком, который рад, что есть хотя бы кто-нибудь, кто согласен его слушать и слышать?

Воспоминания Раисы Петровны разрушили оба созданных мною образа. Во-первых, профессор вовсе не был старым. Летом 1928-го ему едва исполнился пятьдесят один год. Величественным, вещающим она его видела во время проповеди, но не дома, а в Сергиевской церкви. Кстати, те публичные проповеди произвели на нее значительно меньшее впечатление, чем беседы по вечерам при свете лампады. Дома он был доступным, сердечным и бесконечно добрым человеком. «Почему ты ко мне ходишь? — спросил он однажды Раю. Очевидно, ты приходишь ко мне за лаской? В твоей жизни было, наверное, мало ласки…» В тот вечер Лука расспрашивал ее о покойных родителях, о детстве. А потом долго рассказывал им с Шурой историю мужественного и благородного человека по имени Овод. «Роман этот мы тогда еще не читали, — вспоминает Раиса Петровна, — но профессор пересказал его так проникновенно, с такой экспрессией, что, когда мы вышли с Шурой на улицу в теплую темную ташкентскую ночь, у нас будто крылья выросли. Скажи мне он тогда: «Иди на казнь» — я пошла бы не задумываясь».

Войно жил довольно замкнуто: врачебный кабинет и церковь — вот два места, где его чаще всего можно было видеть. Но странное дело — отлученный от какой бы то ни было общественной деятельности, ни на что не претендующий, не слишком разговорчивый, Лука продолжал притягивать к себе окружающих. Из церкви после литургии его провожала обычно большая толпа. Люди шли молча, не досаждая Владыке просьбами и пустой болтовней. Просто шли рядом или чуть-чуть позади, чтобы видеть и слышать дорогого человека. Особенно обильно людские симпатии изливались на Владыку в день его именин 31 октября. В храме шло в этот день большое богослужение. Толпы верующих не вмещались под сводами Сергиевской церкви, заполняли церковный

двор и даже часть Пушкинской улицы. От дома епископа в сторону храма два квартала оказывались усыпанными поздними цветами. А во дворе дома, где жили Войно-Ясенецкие, от крыльца до ворот выстраивалась великолепная аллейка белые хризантемы в горшках.

Было, впрочем, еще одно место в городе, где Луку ждали, где его мнением интересовались. Я говорю о заседаниях хирургического общества. Там между 1926-м и 1930 годами он несколько раз принимал участие в прениях по докладам, а однажды даже продемонстрировал коллегам операцию непосредственного переливания крови от донора к реципиенту из сосуда в сосуд. Переливание входило тогда в моду. В Москве энтузиаст метода врач и философ А. А. Богданов основал первый в стране Институт переливания крови. У переливания имелись свои поборники и противники. Богданов был из самых рьяных поборников. Он предложил широкий замен крови как терапевтический и даже профилактический прием. Сам одиннадцать раз ложился на эту операцию и погиб на двенадцатом переливании в 1928 году. По поводу этого метода много спорили. Войно-Ясенецкий заявил себя умеренным сторонником переливаний. Вводить больному чужую кровь, по его мнению, следовало лишь в том случае, когда врач видит для этого четкие хирургические показания. Но в Ташкенте, как и в Москве, находились нетерпеливые.

Самым нетерпеливым был университетский физиолог Иван Петрович Михайловский. Как не имеющий врачебного диплома Михайловский больных не лечил, но прославился публичными опытами, на которых оживлял собак, а один раз даже обезьяну. Выпустить у собаки кровь, довести ее таким образом до состояния клинической смерти, а затем вернуть изъятую кровь в сосуды и тем возвратить к жизни — теперь таким опытом уже не удивишь даже школьника. Но в середине 20-х годов многим казалось, что вместе с этой операцией медицина обретет какие-то небывалые, почти мистические возможности.

По словам журналиста тех лет, «Михайловский пошел дальше, чем кто-либо другой, дерзавший до сих пор вмешиваться в механизм кровообращения». Он надеется достичь «обновления, оздоровления… крови». То, что нам известно, ни к какому «обновлению» привести не могло. Профессор Михайловский выпускал у животного кровь, отделял форменные элементы (клетки) и вводил их обратно, но уже не в собственной плазме животного, а в соленой водичке (раствор Рингер-Локка). Это называлось у него «промыванием» крови. Не слишком мудреные и не Бог весть какие в научном отношении плодотворные эксперименты эти Михайловский сопровождал широковещательным комментарием. С помощью, промывания он обещал в дальнейшем в недалеком будущем излечивать хронический алкоголизм, хронический морфинизм, заражение крови, воспаление мозга и многие другие болезни. Обещания провинциального физиолога охотно подхватывали газеты, журналы, лекторы. Посулы такого рода находились в полном соответствии с официальной точкой зрения на благодетельное всесилие науки вообще, а советской науки в особенности. Гипноз науки, научных знаний, которому, по расчетам идеологов тех лет, надлежало полностью вытеснить из человеческой души веру, религию, действительно захватывал некоторые круги интеллигенции.

Типична заметка, появившаяся в «Правде Востока» 5 апреля 1928 года. Хотя речь в ней шла лишь о публичной лекции патолога В. В. Васильевского и физиолога И. П. Михайловского, редакция озаглавила ее весьма высокопарно: «Жизнь и смерть». В приподнятых тонах публику извещали, что 7 апреля в Ташкентском доме Красной Армии ученые ответят желающим. «Где лежат границы жизни и смерти? В чем сущность

жизненных проявлений и где начало умирания? Возможно ли временное умирание и новое оживление? Где центры, заведующие жизнью животных и человека? Возможна ли жизнь без мозга, сердца, легких, крови?» На большую часть этих вопросов наука не может ответить и сегодня, почти полвека спустя, но в 20-х годах научный энтузиазм, питавшийся энтузиазмом политическим, не останавливался ни перед чем.

…Город всегда многослоен. Важно при этом не число слоев, а их взаимные отношения. Ташкент празднично грохочущих барабанов и завывающих труб мирно соседствовал с Ташкентом молящихся и врачующих. Два слоя эти не смешивались, но не мешали друг другу, скорее даже помогали. Узбеки 20-х годов лечились в основном у своих табибов — знахарей. Однако к профессору-епископу они почему-то прониклись особым доверием. Может быть, близость к церкви сделала его в глазах местного населения чем-то подобным мулле или чудотворцу в восточном стиле. Так или иначе больные узбеки валом валили на Учительскую. Там Шура Кожушко, говорившая по-узбекски так же свободно, как по-русски, служила им старательным и бесплатным переводчиком. Узбекские симпатии к Луке доходили порой до курьезов. Ташкентец, перенесший небольшую хирургическую операцию, которую ему проделал Войно-Ясенецкий, привел своего родственника. Тот лежал в терапевтическом отделении городской больницы и, по мнению своих близких, не получал достаточной помощи. «Разве они в больнице лечат? — обратился узбек к хирургу. — Разрежь живот и посмотри, что у него там…»

Но был еще Ташкент, тот, что чувствовал себя самым главным, самым сильным. Город партийных чиновников тоже стремился войти в контакт с другими слоями, но — лишь для того, чтобы подмять и обезличить все остальные формы жизни. Третий Ташкент не желал, чтобы люди свободно торговали, уплачивали за товар приемлемую для обеих сторон цену; он не хотел также, чтобы врачи лечили больных частным образом, сапожники приватно шили обувь, а архитекторы создавали личные, по своему вкусу проекты построек. Но более всего городу чиновников была ненавистна мысль о людях, которые молятся не их Богу, о тех, кто самовольно собирается в храмы и вместо издевательской «Библии для верующих и неверующих» читает просто Библию. И торгующие и верующие казались опасными новой власти тем, что сохраняли какие-то остатки свободы. Одни — материальной, другие — духовной. Десять лет спустя после революции партийно-административный Ташкент все еще боролся со всяким, кто пытался сохранить личную независимость. В газетном просторечии это называлось борьбой с классовым врагом.

Город-борец находился в постоянном трудовом напряжении. Он выселял одних, «вычищал» из партии, с работы, из квартиры других, расстреливал третьих. Он выпускал газеты, переполненные сообщениями о вредителях, которые взрывают паровые котлы, о кулаках, которые травят скот и не хотят сдавать хлопок. Потом, когда «вредители» были расстреляны, а у «кулаков» удалось отнять и хлеб, к хлопок, и скот, началась другая, столь же нелегкая страда: город партийных чиновников принялся разрабатывать инструкции об отпуске трудящимся хлеба по карточкам, а ситца по заборным книжкам.

Да уж, третий Ташкент трудился не покладая рук! «Ташкент был в то время городом ссыльных, — вспоминает Надежда Юрьевна Фиолетова. — Тюрьмы всегда были полны людей, отправляемых в ещё более отдаленные края, например, Душанбе, бывшего в то время большим таджикским кишлаком в предгорьях Памира. В самом Ташкенте было много отбывших трехлетний срок ссылки после выхода из концлагерей, главным образом из Соловков, — все люди, осужденные по 58-й статье Уголовного кодекса как

политически неблагонадежные. Среди них больше всего было духовенства, монахов, монахинь, активных мирян, сектантов всякого рода и просто богоискателей…» Обращать административный восторг против людей веры и церкви — любимое занятие властей. Да и трудно было удержаться! «Церковник» 20-х годов человек без всяких гражданских прав. Его можно просто арестовать, выслать, убить. За него никто не вступится, никто не спросит. Когда в тюрьмах и лагерях шла речь о «попах», считали не на штуки, а сотнями, тысячами голов. И не в Ташкенте определялась эта политика массового изничтожения клириков. Но, кроме высших, так сказать, государственных целей, в каждом городе существовали по этой части также и «местные интересы». В одном населенном пункте храм приглянулся как идеальное хранилище картофеля, в другом руководители местного драмтеатра пожаловались: в костюмерной не хватает ряс и клобуков для представления антирелигиозных пьес. Так что причин для ареста, высылки причта, закрытия церквей и монастырей всегда было больше чем достаточно.

В Ташкенте 1929 года «личный интерес» городских властей состоял, в частности, в том, чтобы любым образом избавиться от Войно-Ясенецкого. В нем все вызывало раздражение и ненависть хозяев города. Разжалованный Владыка, лишенный студенческой аудитории профессор, ученый, чьи научные книги в стране не печатались, а проповеди замалчивались, тем не менее оставался Владыкой множества человеческих душ. Его чтили, к нему обращались не только за благословением, но и за разрешением семейных и бытовых конфликтов. Маленький домик на Учительской превратился в своеобразное государство в государстве. Этого нельзя было терпеть.

Уже в начале 1929 года власти принялись искать повод, чтобы выслать Луку. То обстоятельство, что он не нарушал государственных законов и местных постановлений, не имело никакого значения. ГПУ нуждалось не в реальных нарушениях, а в «счастливом случае», который позволил бы не только арестовать слишком влиятельного епископа, но и извлечь из ареста некую политическую выгоду, устроить из ареста «попа» очередной антирелигиозный спектакль. Подобрать под Войно-Ясенецкого ключи удалось в начале 1930 года. «Счастливым случаем» оказалась внезапная смерть профессора-физиолога Ивана Петровича Михайловского.

Я снова возвращаюсь мыслями к той легкой одноконной повозке, что в последних числах августа 1929 года не спеша продвигалась себе с двумя путниками в сторону Ташкента. Трудно представить себе, чтобы за время долгого пути пассажиры не перебросились хотя бы несколькими фразами о событии, которое недавно потрясло горожан. 7 августа, примерно за две недели до того, как Войно-Ясенецкий и доктор Софиев пустились в дорогу, в газете «Звезда Востока» появилось краткое объявление: «Правление САГУ и деканат медицинского факультета с печалью сообщают о неожиданной смерти профессора медфака по кафедре физиологии Ивана Петровича Михайловского». Никаких подробностей о причине смерти газета не сообщала. Недостаток информации был, однако, немедленно восполнен обилием слухов. Вспомнили, что пожилой профессор недавно бросил жену с двумя детьми и женился на молоденькой студентке-медичке. Из этого делали вывод, что новый брак не принес ученому счастья и с горя он покончил с собой. Другие настаивали на том, что произошло убийство, — старика доконала молодая жена.

Эта версия показалась наиболее убедительной, так как очень скоро милиция арестовала 23-летнюю студентку Екатерину Гайдебурову-Михайловскую.

В связи с трагической кончиной горожане начали припоминать, что покойный профессор давно уже вел себя как-то странно. Необычен был его внешний вид:

потрепанный серый френч и видавшие виды «цивильные» брюки дополняла форменная казачья фуражка без кокарды. В одном ухе болталась золотая серьга. В университете его знали как человека угрюмого, неразговорчивого, скупого. Замечали за ним и иные чудачества: вдруг среди лекции сорвется и побежит домой, а на другой день объясняет — пришла в голову гениальная мысль. Да и на лекциях по своему предмету, случалось, говаривал он вещи, мягко выражаясь, странные. Так, однажды совершенно серьезно «объяснил» студентам: «Лейкоциты для того прозрачны, чтобы их не увидели микробы». Но главное «чудачество» Михайловского носило характер совсем не веселый, а скорее даже зловещий. В 1924 году у профессора умер сын, мальчик лет тринадцати. Вместо того чтобы похоронить ребенка, отец мумифицировал тело, завернул в бердану — тростниковую циновку и поместил у себя на кафедре в шкафу. Окружающим заявил, что вернет сына к жизни. Как он, биолог, собирался оживить труп, пропитанный формалином, Бог весть. Однако на все мольбы своей первой жены, просившей похоронить сына, профессор отвечал отказом. Сам же покупал мертвому Игорю одежду, обувь, даже сласти. Конфеты и печенье, предназначенные покойнику, он забрасывал на крышу соседнего дома, и двое других детей Михайловского ползали по чердакам и крышам в поисках этих подарков. Недоумение вызвал у горожан и второй брак профессора. В свои пятьдесят два профессор выглядел очень старым человеком. Желто-серое лицо, лысина, стариковская походка позволяли дать ему на вид никак не меньше шестидесяти пяти. В жены он взял девушку двадцати трех лет. «Молодые» обвенчались в церкви, что, по понятиям тех лет, для служащего человека было делом тоже недопустимым. Полгода спустя во время «чистки» за такое венчание педагогов запросто выбрасывали из школ и институтов: «Верующим нельзя доверять воспитание молодежи». Венчание произошло в июне 1929 года. Тогда же Михайловские поселились в недостроенном доме профессора на Второй Кладбищенской улице.

Сорок лет спустя, приехав в Ташкент, я попросил несколько видных врачей и ученых старшего поколения охарактеризовать покойного физиолога. Хирурги С. А. Масумов и А. И. Беньяминович, гинеколог А. А. Шорохова, микробиолог М. З. Лейтман, не сговариваясь, высказались в том смысле, что Иван Петрович Михайловский, конечно же, был психически нездоров. Люди посмеивались, пошучивали за его спиной, но отправить больного в психиатрическую больницу было просто некому. Разойдясь с первой женой, профессор несколько лет жил одиноко, замкнуто. Влиял на окружающих, очевидно, и гипноз довольно распространенного в мещанской среде представления о том, что профессора, они все такие — с вывихом… Что же касается опытов Михайловского, то для своего времени они представляли, конечно, некоторый интерес, хотя и не были оригинальны. И за рубежом, и у нас в Советском Союзе (Глозман, Чечулин) такие эксперименты проводили многократно. Примерно такой же вывод сделали, вероятно, и случайные дорожные спутники — профессор Войно-Ясенецкий и доктор Софиев.

С Михайловским Лука знаком не был (они лишь виделись раза два при случайных обстоятельствах). Зато ему пришлось беседовать с обеими женами профессора. Обе оказались в том людском потоке, который тянулся к отставленному епископу за советом и помощью. Для бесед с просителями у Луки был выделен специальный час после врачебного приема. Однажды, это произошло, очевидно, в начале весны 1929 года, в назначенный час на Учительскую улицу пришла худая, бедно одетая женщина лет за сорок. Низко поклонившись епископу, она сложила руки, прося благословения. Лука благословил. Глазом опытного, много пожившего человека он сразу заметил опухшие в суставах, «застиранные» пальцы профессиональной прачки. Такие люди ему были

особенно милы. Еще больше сочувствия к труженице испытал он, когда та рассказала о событиях своей жизни. Алевтина Ивановна Михайловская стала поденщицей и прачкой пять лет назад, после того, как муж оставил ее с двумя детьми без всяких средств к существованию. В Ташкент они приехали с Украины в голодном 1920 году. Семья тогда была дружной, муж любил детей, заботливо относился к жене. Благополучие дома рухнуло после того, как в 1924 году умер от скарлатины их сын Игорь. Смерть эта вызвала у Михайловского взрыв безумия. Он кричал, чтобы жена зарубила его или дала яду: жить без сына ему невозможно. Человек с детских лет религиозный, он вдруг накинулся с топором на домашний киот. «Бог, лишающий отца горячо любимого сына, — не Бог, а гнусное чудовище», — орал он, сокрушая иконы. Постепенно буйство прошло, но началось тихое помешательство. Иван Петрович отказался хоронить сына. Сказал, что воскресит Игоря, и занялся опытами с переливанием крови. В характере его произошел резкий перелом. Был он всегда человеком спокойным и добрым, а тут вдруг стал груб, даже жесток. Случалось, бил жену и детей. Жить с ним стало невыносимо. Семья распалась. «Он помешался, — повторяла Алевтина Ивановна. — Брак с молодой девушкой продолжение безумия, начавшегося пять лет назад». Нет, она не просила вернуть мужа в дом. Пусть живет, как хочет. Но пусть похоронит, наконец, ребенка. Нестерпимо слышать, что крысы грызут тело Игоря, а студенты тайком ходят на кафедру, чтобы там потешаться зрелищем «мальчика, приготовленного для воскрешения».

Не знаю, чем, какими словами утешил Лука свою собеседницу. Известно лишь, что с Михайловским он беседовать не стал. Проблема теодицеи, на которой свихнулся провинциальный естествоиспытатель, крушила мозг и покрепче. Владыке оставалось лишь молиться за оставленную мужем жену и брошенных детей.

Этим, однако, история не кончилась. В июне к Луке пожаловала вторая жена Михайловского, или, как она себя отрекомендовала, невеста профессора. В одном из позднейших фельетонов, посвященных гибели Ивана Петровича, жена его, Екатерина Сергеевна, изображена как «молодая, статная студентка-медичка со злым огоньком в красивых глазах». Достоверность фельетонных портретов сомнительна, но современники свидетельствуют, что Гайдебурова-Михайловская была действительно хороша собой. Верующая дочь верующих родителей, она пришла, по ее словам, поделиться возникшими у нее сомнениями. Михайловский сделал ей предложение. Брак, конечно, неравный. Что думает об этом Владыка? Правильно ли она сделала, приняв предложение? Второй вопрос носил уже совсем исповедальный характер. Оказывается, Екатерина Сергеевна не только приняла предложение, но и официально стала уже женой Михайловского. Их брак зарегистрирован в ЗАГСе еще 13 февраля. Но, по словам «невесты», отношения с мужем остаются «чистыми», они живут на разных квартирах. Свою близость отложили они до того времени, когда будут обвенчаны по церковному обычаю. На этом настаивает Иван Петрович. Молодая женщина против венчания не возражает. Но вот вопрос: подобает ли вступающему в брак вторично снова идти под венец?

Неужели ничто не насторожило Луку в этом признании? Воздержание супругов по религиозным мотивам? И это в 1929-то году, когда вступить в брак и расторгнуть его было так же просто, как войти в спальную комнату и выйти из нее? Ох, крутит девка, скрывает что-то. Не с чистым сердцем пришла к Владыке. Но Лука не считает себя вправе лезть в интимные подробности отношений мужа и жены. Его точка зрения состоит в том, что каждому вступающему в брак христианину следует пройти через таинство венчания. Что же до супружества Ивана Петровича и Екатерины Сергеевны, то

на этот счет у него тоже вполне определенные взгляды: «Факт женитьбы пожилого Михайловского на молодой Гайдебуровой не обещал ничего хорошего». Эти слова, зафиксированные в официальном документе, Войно-Ясенецкий произнес не в июне, а почти полгода спустя, в октябре. Но, зная характер и принципы нашего героя, можно не сомневаться: нечто подобное сказал он и пришедшей к нему за советом «невесте».

…У всякого нормального человека история семьи Михайловских должна, очевидно, вызвать чувство брезгливости. Но целитель по самой своей натуре, епископ Лука воспринимал духовную грязь, моральный гной окружающего мира так же, как в своем врачебном кабинете рассматривал гной и грязь физически. Они не вызывали у него отвращения, не коробили его, но побуждали к действию, заставляли искать лекарства и врачебные приемы, чтобы оздоровить, спасти еще сохранившуюся ткань. Этот сверхчеловеческий объективизм, перед которым мы почтительно склоняем сегодня головы, в конкретной обстановке 20-х годов был, однако, роковым. Профессор Войно-Ясенецкий, сам того не зная, все глубже и глубже втягивался в «дело Михайловского». Он сам шел навстречу ловцам человеческих душ, которые только и ждали, как бы опутать его, осудить, лишить свободы и доброго имени.

Михайловские повенчались в конце июня, а днем 5 августа народный следователь Кузмич подал рапорт дежурному по городу Ташкенту, извещая о самоубийстве на Второй Кладбищенской улице в доме № 45. В рапорте значилось, что самоубийца Михайловский Иван Петрович застрелился из револьвера смит-вессон № 211 906. В седьмом часу утра он был найден лежащим в своем доме на залитой кровью постели. Револьвер, из которого сделан выстрел, милиционер Ионин обнаружил рядом.

Днем, пятого, Войно-Ясенецкий, как обычно, принимал больных у себя в кабинете. Часов в одиннадцать вошла Шура Кожушко и вполголоса, как была приучена, сообщила, что какая-то дама просит принять ее по срочному делу без очереди. Нет, не больная, но плачет и, видно, очень нервная. Екатерина Сергеевна не вошла, а буквально вбежала в кабинет и с порога повалилась на колени. Все, кто помнит Гайдебурову, говорят о странности ее одежды. Ходила она в длинных, давно вышедших из моды платьях с большими бархатными бантами, воздвигнутыми на том месте, где со времен первой мировой войны никто уже бантов не пришивал. На этот раз явилась она в тяжелом траурном платье и шляпе с вуалью. В этом старомодном обрамлении ее жалкое, испуганное и зареванное лицо казалось еще более жалким и зареванным. Путаясь в длинном шлейфе, она в слезах принялась рассказывать о самоубийстве мужа. Потом перескочила на похороны: стала умолять похоронить Ивана Петровича по-церковному. Самоубийцу священники отпевать не станут, но если бы Владыка попросил, ему бы не отказали… Вызвать у Войно-Ясенецкого сочувствие в делах житейских, семейных было нетрудно. Это знал весь город. Знала и Екатерина Сергеевна. Знала и давила на все педали. Вспомнила вдруг, что когда однажды Иван Петрович болел, то приказал, чтобы в случае смерти отпевал его непременно владыка Лука.

Странный это был визит, подозрительный. Сомнительно выглядело распоряжение «молодожена» Михайловского о своих будущих похоронах, и это траурное платье, в которое вдова успела облечься, несмотря на ранний час, августовскую жару и неутешное горе. Театром попахивало от вуали, от черных перчаток.

Даже с чисто формальной стороны переговоры с Гайдебуровой о похоронах ее мужа — абсурд. Просительница попала совсем не по адресу. Разрешение на похороны имел право выдать только митрополит Арсений Стадницкий, возглавляющий Ташкентскую церковную кафедру. У Луки же никаких административных прав в церкви нет, ему

никто не подчинялся. Однако он видит напуганную, растерянную и, очевидно, не слишком умную женщину и пишет ей записку к митрополиту Арсению.

В деле Михайловского митрополит учуял запах чего-то опасного. Но и Луке отказать ему не хотелось. Знал он об огромном авторитете Войно у горожан. Подумал и отослал ответную записочку, в которой и согласия на похороны не дал, и вместе с тем тонко намекнул Луке, как лучше всего сделать, чтобы Михайловского все-таки похоронили. «По прежним законам требовалось врачебное удостоверение, удостоверяющее психическую ненормальность застрелившегося, в каковом случае возможно церковное погребение», — написал он и добавил, что епископу Луке участвовать в похоронах не рекомендует.

Устами многоопытного церковного политика жизнь еще раз подсказала епископу Луке наиболее рациональное решение проблемы. Сам правящий митрополит противился церковным похоронам самоубийцы. О чем было еще говорить? Но, прочитав записку вслух, Владыка увидел, что Екатерина Сергеевна сначала сникла, а потом взгляд ее загорелся надеждой. «Если бы профессор пожелал подтвердить психическую ненормальность…» И он подтвердил. Вырвал из блокнота узкий листок с именной печатью — «Доктор медицины Ясенецкий-Войно В. Ф.» (на таких листках писал он свои рецепты) и круглым разборчивым почерком набросал следующие три строки:

«Удостоверяю, что лично мне известный профессор Михайловский покончил жизнь самоубийством в состоянии несомненной душевной болезни, от которой страдал он более двух лет.

Д-р мед. Епископ Лука. 5. VIII. 1929» Это была неправда. Точнее полуправда. Лично Михайловского Лука не знал. О безумии узнал из разговоров с первой женой физиолога и из рассказов случайных очевидцев. Но не в безумии покойного была для него суть вопроса, а в том глубоком человеческом сочувствии, которое испытал он к сидящей перед его столом измученной женщине. В старинном евангельском споре о Субботе и Человеке Лука безоговорочно стал на сторону Человека. Записку свою он в тот же день сам отнес и лично вручил настоятелю кладбищенской церкви о. Венедикту Багрянскому.

Михайловского отпели шестого, а седьмого августа следователь Кочетков распорядился, чтобы Гайдебурову Е. С. взяли под стражу как подозреваемую в убийстве мужа Михайловского И. П. Узкий листок из рецептурного блокнота, который решил судьбу злосчастных похорон, а впоследствии и самого Луки, нашел я на странице 146. «Следств. дела». Записка числилась основным документом, разоблачающим преступные намерения Войно-Ясенецкого. Именно на этот текст опиралось следствие, на нем зиждился окончательный приговор.

Утром седьмого августа следователь 2-го участка ТашОкруга Кочетков допросил двух дорожных рабочих. Пятого рано утром, когда они шли на работу по Кладбищенской улице, какая-то женщина, высунувшись в пролом забора, попросила их зайти в дом. Они вошли и увидели убитого старика в луже крови. Вызвали милицию. На вопрос следователя, была ли женщина достаточно взволнована, растрепана ли была ее одежда, рабочие ответили, что для такого случая женщина показалась им довольно спокойной, одежда ее была в порядке. Показания двух прохожих представились следователю настолько многозначительными, что он немедленно арестовал Гайдебурову и прочно укрепился в убеждении, что именно она убила Михайловского. Не странно ли? Нет, закономерно. Как и любой следователь советской эпохи. Кочетков предпочитал иметь дело с убийством, а не самоубийством. Такое предпочтение коренилось в основах отечественной идеологии. Убийство — преступление, совершенное отдельным

нетипичным представителем нашего общества. Это родимое пятно капитализма, пережиток минувших, уже изжитых у нас отношений. Наказывая убийцу, мы наказываем случайно вторгшийся к нам элемент чужого нам быта. Самоубийца — совсем иное дело. Как и христианскую церковь, советскую власть в самоубийстве возмущает прежде всего самоуправство. Произвольный, независимый от власти акт свидетельствует о том, что в стране существует какая-то неуправляемая жизнь, бытие неконтролируемых индивидов. Это недопустимо. Государство рабочих и крестьян не желало уступать гражданину ни одной из своих прерогатив, и прежде всего права казнить по собственному выбору. К тому же тот, кто покушается на свою жизнь, «портит статистику», разрушает миф о стопроцентном единодушии счастливого социалистического общества. «Самоубийца приравнивается к дезертиру, — пишет Надежда Мандельштам. — Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, мы не могли…»

И не хотели. Следователь Кочетков желал спокойно есть свой хлеб, карая чуждых строю врагов и убийц, а не занимаясь сомнительными изысками по поводу причин самоубийства советского профессора. Одним словом, ему позарез была необходима Гайдебурова как убийца своего мужа. А уж почему она его убила — следствие разберется. Приняв такое вполне политически грамотное решение, Кочетков арестовал Екатерину Сергеевну. Следующие полгода он добросовестно искал решение задачи, конечный ответ которой казался ему совершенно ясным. В том, что партийный подход не привел в конце концов ни к обнажению истины, ни к справедливости, следователь не виноват. Он действовал старательно и был верен партийным и юридическим канонам своего времени.

Излагать содержание всех четырехсот страниц Дела № 4691 бессмысленно. И не только потому, что большая часть документов не имеет отношения к Луке, но еще и по причине вопиющего антиэстетизма самого «Дела». Листая протоколы допросов, то и дело ловишь себя на мысли, что в течение полугода следователь, потакая своим же не слишком разборчивым вкусам, очевидно, просто смаковал грязные подробности семейной жизни Михайловского и Гайдебуровой. На его допросах все крутится вокруг постели. Подруги Екатерины Сергеевны, соседи и родственницы с жаром обсуждают половые возможности покойного Ивана Петровича, толкуют, почему Катя убегала от него ночевать домой к матери и отчиму. В середине следствия обнаружилось, что Гайдебурова беременна. Тогда все усилия экспертизы и свидетелей устремились на то, чтобы выяснить, с какого же числа началась половая жизнь Михайловских. Когда удалось доказать, что беременность началась не только до венчания, но и до регистрации брака в ЗАГСе, всеобщий ажиотаж достиг высшей точки. Екатерина Сергеевна на допросах путала числа и месяцы, давала показания и тут же отказывалась от них, она рыдала, просила отпустить ее, но при всем том твердила, что в смерти мужа не виновна.

Дело пухло, количество бумаг росло, а истина, которая казалась сначала такой явной, никак не желала выходить наружу. Следователь заметался. Он привлек к ответу мать и отчима Екатерины Сергеевны. Они оказались «из бывших», это его устраивало. Грязи в протоколах стало еще больше, но дело с места не сдвинулось. Муж и жена Гайдебуровы ненавидели друг друга. Мать в корыстных целях пыталась вытолкнуть дочь за «солидного жениха», а потом скандалила с профессором из-за каких-то тазов и простыней. В том хлебове, которое варил следователь, ложь, корысть, фантастическая мещанская пошлость кипели и били ключом, но убийством дело и не пахло. Представшие перед следственным столом мелкие людишки хотели сладко есть, пить, спать, им желательно было также чем-то и кем-то казаться. Но убивать? Зачем же им убивать

Михайловского? Зять профессор — это так приятно щекотало тщеславие. Да и жалованье профессорское на улице не валяется.

Еще один нервический рывок в сторону — следователь берется за допрос «попов»: митрополита Арсения, епископа Луки, священника Венедикта Багрянского. Вот кого бы хорошо засудить! Открылась история с церковными похоронами Михайловского. В руки следователя попадает записка Луки. Кочетков воспрял духом: вот оно, начинается… Но на допросе 17 октября 1929 года Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, 1877 года рождения, из дворян Могилевокой губернии, доктор медицины, епископ, вдов, образование высшее, беспартийный, увы, не показал ничего такого, за что его можно было бы впихнуть в камеру вслед за Гайдебуровой.

— На каком основании вы дали разрешение на погребение самоубийцы Михайловского? — спросил следователь.

— Разрешения я не давал, — ответил Войно, — священники его похоронили сами, на свой риск. По просьбе жены Михайловского я дал записку священникам, где удостоверил, что Михайловский был психически болен…

— Считаете ли вы возможным отпевание по религиозным обрядам самоубийц?

— Я считаю устаревшими некоторые из церковных канонов, в частности, в отношении запрещения церковью погребать самоубийц…

— Как можно расценивать вашу записку, как написанную врачом или духовным лицом?..

— Записка моя может рассматриваться только как написанная врачом, ибо, не имея административных церковных прав, я в этой части не мог бы пользоваться авторитетом и мои распоряжения не выполнялись бы, с ними могли бы не считаться.

— Видите ли вы какое-нибудь противоречие между научными трудами Михайловского и христианской религией?

— Противоречия между этими понятиями я не вижу, ибо считаю, что глубоко научные материалистические труды не противоречат его религиозности и не идут вразрез с церковью.

Следователь задал для самоуспокоения еще несколько вопросов. Спросил, между прочим, зачем летом текущего года Луке понадобилось ехать в Бурч-Муллу, в то время как было известно, что в этом районе оперируют басмаческие шайки. Но скоро стало ясно: от «попов» проку не будет. Конечно, можно усомниться, насколько законно, что хирург ставит психиатрические диагнозы. Но даже если диагноз фиктивен, какое все это имеет отношение к вопросу о том, к т о убил Михайловского? Одним словом, после шести месяцев работы Кочетков решил, что интуиция в следственном деле главное, а интуиция подсказывала ему одно: убила Екатерина Гайдебурова, больше некому. Версия о безумии, о самоубийстве Михайловского его по-прежнему не устраивала как политически не выдержанная.

Двадцатого января 1930 года на свет, наконец, родилось обвинительное заключение, из которого явствовало, что Михайловская (Гайдебурова) убила мужа по причине тяжести его характера, а также из-за неладов его с горячо любимой матерью, которую муж отказывался лечить. Разойтись с Иваном Петровичем Екатерина Сергеевна не решалась из-за религиозных («консервативных», как писал Кочетков) соображений.

Ни один свободно действующий независимый суд в Европе не принял бы к разбирательству столь убого обоснованное заключение. Но «азиатское» по сути своей отечественное судопроизводство и тогда и потом удовлетворялось документами куда менее убедительными. Кочетков, который вел следствие «по интуиции» (хотя и не знал

скорее всего смысла этого слова), был еще не худшим образцом юриста нового времени. Потомок тех, кто в 1918—1920 годах судил, опираясь лишь на два класса приходского училища и классовое пролетарское правосознание, он и его товарищи доживали в судебных учреждениях последние дни. Шел 1930 год, год темпов, коллективизации, индустриализации, год, когда часто замелькали в газетах портреты мужчины в кителе с черными, как смоль, усами. Начиналась новая эра, и вместе с ней на судебно-следственные небеса восходили звезды куда более страшные, чем Кочетков.

Прежде чем навсегда расстаться с этим старательным и ограниченным служакой, мне придется забежать вперед и рассказать о письме, которое получил он примерно года через полтора после того, как подвел итоги по «делу» Михайловского. Писала его бывшая подследственная Екатерина Гайдебурова, получившая срок и сосланная на Урал созидать индустриальную базу социализма. То ли надеялась она улучшить свое положение, то ли хотела добиться пересмотра дела, но в письме своем выболтала она все тайны, которые так стоически скрывала на следствии. Те нечистоплотные отношения в семьях Михайловских и Гайдебуровых, которые заметил даже Кочетков, оказались лишь слабой тенью подлинной царившей там клоаки. Нет, Екатерина Сергеевна не убивала мужа. Он застрелился сам в ее присутствии после очередного супружеского скандала. Совсем иная причина заставила ее петлять на допросах, лгать, отказываться от своих показаний. Екатерина Сергеевна боялась, что ее уличат в другом преступлении. Начиная с 1927 года она жила со своим отчимом Гайдебуровым. Он приходил к ней ночью, покинув супружеское ложе в соседней комнате. Сначала отчим принуждал ее к сожительству, но потом она уже не противилась, хотя и замирала от страха, боясь, что мамочка узнает правду. Страх стал главным чувством ее жизни. Страх и стыд. Она любила мать и мучилась от двойственного положения дочери и соперницы. Мать ни о чем не догадывалась. В начале февраля 1929 года Катя почувствовала себя беременной. Попыталась «устроить» аборт — не получилось. Оставалось одно: срочно выйти замуж. Неожиданно для всех она дала согласие на брак с этим желтым и лысым Михайловским, который давно домогался ее руки. После регистрации в ЗАГСе и свадебного пира возник первый конфликт: молодая не желала ехать в дом мужа. И не только потому, что не любила старика, но и из-за тяжело протекающей беременности — ее непрерывно мутило, Екатерина потребовала венчания и заявила, что невенчанная в дом Михайловского не войдет. Она лгала, лгала — дома, в институте, матери, мужу, подругам. Она убегала к маме, но та гнала ее назад: «Ты жена, хозяйка, заводя свое гнездо». А когда удавалось заночевать в своей девичьей комнате, туда являлся среди ночи отчим. Муж в общем-то был человеком неплохим. Но он чувствовал, что между ними лежит какая-то ложь. Он действительно был физически не совсем здоров, а от постоянных ее тайн, экивоков, скандалов окончательно помешался. Много раз грозился покончить жизнь самоубийством. И после одной особенно тягостной для обоих ночи исполнил свою угрозу. В том письме, накорябанном на скверной бумаге не слишком грамотной рукой, бывшая студентка несколько строк посвящала епископу Луке. Владыка ни в чем не виноват. Он один отнесся к ней по-человечески, хотя она (грех, грех!) и его обманывала, когда приходила толковать о церковном венчании…

У нас нет причин не доверять признанию Екатерины Сергеевны. Своим рассказом она вовсе не обеляет себя и близких. Наоборот, Гайдебуровы после ее письма предстают перед нами в еще более отвратительном свете. Но как бы то ни было уголовного преступления они не совершали. Следствие ошиблось, но юристы не пожелали признать ошибку. Письмо из Сибири подшили к другим документам, и кровоточащая исповедь

изуродованной человеческой души на сорок лет оказалась среди груды фальшивок и бумажного хлама. Никто не ответил Гайдебуровой. Никто не заинтересовался ее постыдной правдой. Следствие по «делу Михайловского» продолжалось, но весной 1930-го оно покатилось по иной колее, все более и более удаляясь от истины, от справедливости, от всего человеческого.

За пять с лишним десятилетий, в течение которых в России существует нынешний режим, у кормила власти перебывало немало лиц. Косоворотки первых вождей сменились полувоенными кителями второго поколения. На смену им пришли вполне европейские костюмы с белыми сорочками и галстуками сдержанных тонов. В тех же примерно пределах менялись и формы власти. Она бывала более или менее терпимой, более или менее жесткой, но в общем решительно не изменялась в своем абсолютном пренебрежении к праву и законности. Создавались и утверждались кодексы: уголовный, процессуальный, гражданский; сменялись конституции; «нормы социалистической законности» сперва нарушались, а потом, наоборот, восстанавливались и укреплялись; был основан даже Институт права Академии наук СССР. Но право на открытый, независимый суд граждане страны так и не получили. Впрочем, не получили они также никаких иных гарантий правовых, охраняющих права личности.

Я не правовед и не знаю, где законодательство лучше: в Советском Союзе или, скажем, в республике Гаити. Думаю, что с законами у нас не все в порядке. А о том, что сталинская конституция самая демократическая в мире, мы слышим с того самого памятного 1936 года ежедневно и еженощно. Тем не менее премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, посетив СССР, заметил, что он и двух дней не смог бы прожить в стране, где правят не законы, а люди. Правление людей, облеченных неограниченной властью и не ограниченных какой бы то ни было ответственностью, сводится в конечном счете к произволу. Тому, кто держит в руках все вожжи хозяйственной, политической и общественной жизни, кто единовластно командует всем: от полиции до прессы, от адвокатуры до армии цензоров, судей, перлюстраторов и специалистов по подслушиванию телефонных разговоров, — тому ничего не стоит парализовать действие любых, самых замечательных законов. Засекреченные, нигде не опубликованные распоряжения, рекомендации суду по прямому проводу из разных учреждений, очень маленькие, совсем крошечные судебные залы — такова лишь малая часть средств, с помощью которых превратить закон в пустую бумажку ничего не стоит.

Среди мер, призванных корректировать исполнение закона и судопроизводства, не последнее место занимает и пресса. Хлесткий фельетончик о любом взятом под стражу гражданине недвусмысленно объясняет судье, как именно ему вести себя в судебном заседании, давать ли подсудимому по «высшей норме» или ограничиться «средней». И если бедолага Кочетков полагался в своей профессии в основном на интуицию, то его более наблюдательные коллеги уже в 20-е годы усвоили, что матерью интуиции является информация. Предварительная газетная информация из достоверного источника сопровождает нашу юстицию от младых ее ногтей и не покидает своими заботами доныне.

…Через две недели после смерти профессора Михайловского фельетонист партийного официоза «Узбекистанская правда» — Эль Регистан (Уреклян) подал судебным органам первый «добрый совет». Хотя следствие только начиналось, в газете была начертана полная и окончательная схема событий, якобы разыгравшихся в доме № 45 по Второй Кладбищенской. Фельетонисту все было ясно: Иван Петрович Михайловский своими недавними опытами, а особенно переливанием крови обескровленной обезьяне, «потряс незыблемые основы старухи-медицины (так! — М. П.), бросил вызов смерти, ежедневно

уносящей тысячи человеческих жизней, гибнущих от целой кучи заболеваний, связанных с тем или иным поражением крови». Эти «поражения крови» просвещенный фельетонист тут же перечислил: сифилис, тифы всех видов, скарлатина, заражение крови, малокровие. Оказывается, «удивительный опыт ташкентского профессора произвел сенсацию в научных кругах Европы и Америки».

Что же произошло 5 августа? По мнению Эль Регистана, ни о каком самоубийстве не может быть и речи. Профессора убили. Сделала это скорее всего его жена, та самая Екатерина Сергеевна, молодая статная студентка-медичка со злыми огоньками в красивых глазах… из числа тех, про которых говорят «огонь-баба». Причина убийства фельетонисту тоже ясна. Екатерина Сергеевна — верующая. «Профессор Михайловский ярый атеист, ненавидящий религию, ученый, написавший труд о переливании крови, труд, который стоит только перелистать, чтобы убедиться, что это издевательство над Богом», Сам Эль Регистан труд Михайловского явно не читал. О сути опытов в фельетоне ничего не сказано. Да опыты журналисту и неинтересны. Ему важнее показать, что ученый — жертва конфликта «науки и религии». «Блестящий труд ученого, рукопись его замечательного открытия о переливании крови девизом своим имеет надпись, собственноручно сделанную профессором на правом углу листа: «Я не вижу оснований для пессимистических взглядов, согласно которым превращение мертвого вещества в живое никогда не удастся». Разве не видно, что писал ярый атеист?!

Всего четыре с половиной строки, а сколько наворочено! Все религии мира от века твердят, что животное и человек были вначале созданы из «мертвого» вещества, из земли и глины. А из чего живому и произойти, как не из неживого? О каких «пессимистических взглядах» толкует профессор? А главное, при чем тут переливание крови? Но, огорошив читателя «материализмом» Михайловского, Эль Регистан спешит дальше, к финишу. Ему надо доказать, что «Екатерина Сергеевна, советская студентка-медичка, как известно многим, целующая руку попам из Сергиевской церкви (рикошетом в епископа Луку!), убила мужа из религиозного фанатизма. Двигали ею и другие не менее гнусные цели. Странную поспешность проявила любящая и заботливая супруга, молниеносно перетащив после выстрела ценнейшую рукопись профессора (рукопись, за которую заграничные научные круги предлагали профессору огромную сумму денег) к себе домой, к мамаше Анне Максимиллиановне». (Вот она откуда пошла гулять по свету, легенда об англичанах, которые хотели то ли выпытать, то ли выкрасть великое открытие!) Про «громадную сумму денег» фельетонист просто выдумал — в следственном деле об этом нет ни слова. Выдумал он и «сенсацию», которая якобы охватила научные круги Европы и Америки. О переливании «промытой крови» обезьяне Яшке научные круги могли узнать только читая иллюстрированный еженедельник «Семь дней» (нечто вроде «Недели»), который издавался в Ташкенте как приложение к газете «Правда Востока». Только там и была осенью 1928 года помещена популярная статейка, довольно безграмотно излагающая суть опытов. В специальных журналах научных статей о работах Михайловского не было опубликовано.

Фельетон «Выстрел в мазанке» — родня и предтеча сотен подобных сочинений. Основная ценность подобной литературы в том, что ее никто не может опровергнуть. Публикует ли Ардаматский откровенно антисемитский фельетон «Пиня из Жмеринки», сочиняет ли Чечеткина опус под названием «Почта Лидии Тимашук» или пьяный Шолохов публично несет свой злостный антиинтеллигентский вздор — ответить пасквилянтам и злопыхателям невозможно. Отравленное оружие бьет насмерть. А те, кому ведать надлежит, знают, что независимо от жанра, сочинения такого рода призваны

не только убивать, но и сигнализировать. Эль Регистан своим фельетоном выстроил для судебно-следственных органов Ташкента четкую линию будущего поведения. Выполняя заказ начальства, фельетонист указал: «Ищите здесь, и вы найдете то, чего от вас ожидают».

Службист Кочетков бросился по указанному следу. Он вызвал помощника Михайловского, 26-летнего парня Павла Чепова. Перед следователем предстал рослый парень с туповатой физиономией, изъясняющийся в основном лозунгами. Должность Чепова более чем скромная: помощник прозектора. Это, по существу, рабочий на кафедре. Его дело — принести, унести, накормить животных, поймать собаку для острого опыта, а после эксперимента похоронить ее останки. Но у этого деревенского парня, пристроившегося «при науке», были и свои «козыри». Помощник прозектора с 1921 года состоял в рядах ВКП(б). И это, естественно, наполняло его чувством своей высокой общественной ценности. О Михайловском Чепов сказал: «Он любил эксперимент, и никакие неудачи не могли остановить в нем решимости довести идею о прижизненном промывании организма до победного конца». Самоубийство профессора отрицал полностью. Какое там самоубийство, если Михайловский ждал из-за границы ультрацентрифугу, за которую заплачено две тысячи рублей валютой! О себе сказал с достоинством: «С первого же прихода на работу он (Михайловский) предложил мне ведение научно-исследовательской работы. Я от последней не отказался, но работать так и не пришлось в силу моей перегруженности по партработе».

Показания Чепова — самые короткие из всех показаний, имеющихся в деле № 4691. Малограмотный бахвал не вызвал у следователя интереса, а между тем в ташкентских партийных кругах помощника прозектора приметили и выделили. 25 августа в «Узбекистанской правде» появилась статейка с интригующим названием: «Что осталось после профессора Михайловского». Скрывающийся под псевдонимом Дим. Эз. газетчик снова повторил версию о широчайших горизонтах, которые сулит «открытие» покойного профессора. «О крупных суммах», которые кто-то предлагал за научную работу ему. Но наиболее интересно то, что сказано о Чепове. После того как помощник прозектора дал свои показания, прошло несколько суток. Но за это время в судьбе его произошла разительная метаморфоза: подзаголовок статьи Дим. Эз. гласит: «Препаратор Чепов будет продолжать работу по промыванию крови». Препаратор, а не какой-то там пом. прозектора! А в конце статьи мы уже находим строки о Чеповеке-исследователе: «Михайловский погиб. Злая рука прекратила жизнь ценнейшего человека, в течение всей жизни боровшегося со смертью. Погиб Михайловский, но остался его ученик. Ближайший друг и ученик Михайловского препаратор Чепов доведет до конца дело своего учителя».

Эх, не разобрался следователь Кочетков в служебной сигнализации! Не понял, куда дует ветер. Его бы этот Чепов — из крестьян, член ВКП(б) с 1921 года — одним махом из трясины вытащил бы. Он бы любые свидетельские показания подписал. А теперь уже поздно. Погорел Кочетков, совсем погорел. И от службы его отстранили, и по партийной линии неприятности…

После 20 января до середины апреля в деле № 4691 — провал. Из следственной камеры бумаги вышли, а в суд не попали. Листаю рассыпающиеся страницы старого, давно списанного «Дела», Лист 200-й. Ого! Выстрел на Второй Кладбищенской услышали даже в Москве. 16 февраля следственные органы Ташкента получили телеграмму: «Срочно вышлите обвинительное заключение делу Михайловской, обвиняемой убийстве мужа профессора Михайловского». И подпись: член ЦКК ВКП(б) Сольц.

Телеграмму эту, надо полагать, зачитывали в Ташкенте, стоя во фрунт. Еще бы —

сам Сольц! Аарон Александрович Сольц в те времена был фигурой известной: профессиональный революционер, в партии с 1898-го. При царе не раз сидел в тюрьмах, побывал на каторге. После 1917 года — член редколлегии «Правды». Член президиума Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б), член Верховного суда. Строг до жестокости. Из основополагателей… Зачем понадобилось ему творчество провинциального следователя? Ах, вот оно что… Следующий документ уже не оставляет никаких сомнений — «делом» наверху заинтересовались всерьез.

«Уполномоченный Следственного отдела Полномочного Представительства ОГПУ по Средней Азии Плешанов, рассмотрев поступившее следственное дело… по обвинению гр-ки Михайловской Екатерины Сергеевны в убийстве своего мужа профессора Михайловского, принимая во внимание, что хотя следствием дело Прокуратурой окончено по криминальным уголовным деяниям Михайловской, но в силу отсутствия освещения по делу ряда политических моментов необходимо по такому произвести доследование согласно предложения Следственного отдела ОГПУ». Если чиновно-полицейский воляпюк товарища Плешанова перевести на общепринятый русский язык, то станет ясно: отныне ГПУ принимается искать в убийстве Михайловского политические мотивы. Таков приказ партийных верхов. Не зря, значит, каркала «Узбекистанская правда"…

День рождения нового тома следствия — 21 апреля. 6 мая Плешанов отдает очередное распоряжение: «По делу обвиняемой Михайловской Е. С. произвести дополнительное расследование в части установления касательства к этому делу Войно-Ясенецкого (епископа Луки), бывшего судебно-медицинского врача (так. М. П.) Елкина В. С. и матери обвиняемой Гайдебуровой А. М., для чего предварительно произвести у указанных лиц… обыски и независимо от таковых подвергнуть их аресту». В тот же день, 6 мая, сотруднику ГПУ Казинцеву был выдан ордер 334 «на производство обыска и арест гражданина Войно-Ясенецкого». Начался новый акт мистерии о злодейски умерщвленном профессоре и его коварных убийцах.

Тому, кто взял бы на себя труд перечитать советские газеты между январем и апрелем 1930 года, новый оборот «Дела Михайловского» вовсе не показался бы столь неожиданным. Вот лишь несколько заголовков, выхваченных из «Правды Востока» тех месяцев. В четверг 9 января газета публикует корреспонденцию «Поповский обман. Что показало вскрытие мощей Митрофана Воронежского». На следующий день помещена заметка «Церковь и клуб» крестьяне Мирзачульского района просят разрешить им использовать церковное здание «для культурных целей». 14 января — корреспонденция с общего собрания рабочих и служащих Ташкентской ГЭС. Трудящиеся заявили: «Мы выступаем против дурмана религии» и потребовали закрыть две церкви, чтобы использовать их в качестве общежития нового хлопкового ВТУЗа. В тот же день газета печатает письмо из Чимкента. Священник Виктор Замятин, «осознав весь вред, приносимый религией, и особенно в момент больших трудностей при переходном периоде», сообщил о снятии с себя сана. «Больше классовой непримиримости», — взывает корреспондент, сообщивший 15 января об антирелигиозном диспуте в Ташкенте.

Силу девятибалльного шторма набрала антирелигиозная истерия в начале февраля, когда папа римский Пий XI осудил аресты епископов, священников и верующих мирян в СССР. Текст папского заявления в газетах не появился, но писали о нем, как чуть ли не о военном ультиматуме со стороны Ватикана. В ответ 9 февраля наши газеты, как по команде, опубликовали сообщение о томских попах, которые хранили в Соборе знамя «Союза русского народа», а дома у себя скрывали храмовые ценности, портреты Николая

II, Колчака и, конечно же, оружие. Демонстрация трудящихся потребовала закрыть Собор и усилить борьбу с религией. Безвестные демонстранты, жаждущие новых арестов, мелькали потом по газетным страницам весь год. Значительно более важным событием было публичное выступление заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия, появившееся 18 февраля 1930 года опять-таки во всех газетах страны. «Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. Исповедание любой веры в СССР вполне свободно и никакими государственными организациями не преследуется… Действительно, некоторые церкви закрываются, но производится это не по инициативе власти, а по желанию населения, а в иных случаях даже по постановлению самих верующих. Сведения, помещенные в заграничной прессе, относительно жестокостей, якобы чинимых агентами сов. власти по отношению к отдельным священнослужителям, ни в какой мере не отвечают действительности. Все это сплошной вымысел и клевета, не достойная серьезных людей».

Всего лишь месяц прошел с тех пор, как 3 января газета «Правда» опубликовала указ, по которому сотни тысяч семей «лишенцев», в основном лиц, принадлежащих к духовному сословию, были вышвырнуты из своих квартир на улицы. Этого рода граждане отныне потеряли право жить в государственных зданиях, а также в домах, принадлежащих ведомствам, кооперативам и местным советам. В том же году была сделана небезуспешная попытка удушить членов церковного причта голодом: «лишенцам» не полагалось продуктовых карточек, а кооперация потребовала, чтобы эта категория потребителей, если она желает получать продукты, внесла предварительно крупные денежные взносы. Священникам и их семьям отказали не только в хлебе и крове, но даже и в медицинской помощи. Их выселяли из городов. В том же самом январе 1930 года главный антирелигиозный деятель страны Ярославский признал, что половина церквей в СССР уже закрыта. Когда же крестьяне обратились с просьбой разрешить им сохранить церкви, Ярославский ответил: «Мы организуем колхозы. Это значит, что с церковью должно быть покончено». Аресты членов причта не прекращаются ни на один день. А митрополит Сергий, сам не так давно вышедший из тюрьмы, дает интервью иностранным и советским журналистам, в которых утверждает, что Русская Православная Церковь функционирует безо всякого притеснения! Священникам же он приказывает, чтобы они возглашали специальную молитву во здравие правительства. Бесчестие власти порождало бесчестие церкви.

После заявления Сергия заголовки газет ощерились уже не шуточными клыками. «Крестовый поход против СССР», «Мобилизация святых», — вопиет «Правда Востока» 23 февраля. «Поповские выступления встретили отпор со стороны пролетариата» (21 марта). «Руки прочь от СССР», «Союзу креста и пулемета противопоставим союз серпа и молота!» (25 марта). И снова «Колокола на индустрию» — религиозные общины Ташкента решили передать в фонд индустриализации страны колокола ташкентских церквей. Профессор А. Бродский в номере от 31 марта публикует статью «Наука и религия». Стиль профессорского сочинения находится в полном соответствии с общим стилем эпохи: «Лицемерие, обман, человеконенавистничество, ставка на несознательность, бешеная ненависть к науке и культуре, — вот изнанка лозунгов крестового похода». 4 апреля газетная шапка «Кампания церковников провалилась». Конец антирелигиозной истерии? Ну, этого допустить нельзя. Две недели спустя следователь ОГПУ Плешанов отдает распоряжение превратить «дело Михайловского» в политическое и антицерковное.

Как отнесся Лука к новой волне репрессий, обрушившихся на церковный причт и

верующих? Не испугали ли его массовые аресты, конформизм митрополита Сергия, всеобщий разгул низменных страстей? В моем распоряжении лишь один документ, но документ, не оставляющий никаких сомнений в позиции Войно-Ясенецкого. В его «Мемуарах» читаем:

«Незадолго до моего возвращения из первой ссылки в Ташкенте был разрушен Кафедральный собор. Мне пришлось служить в церкви преподобного Сергия Радонежского. Весной 1930 года стало известно, что и эта церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и, когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение — отслужить в этот день последнюю литургию и после нее, когда должны были явиться враги Божий, запереть церковные двери, снять и сложить грудой крупнейшие иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин и сгореть на костре.

Я не мог стерпеть разрушения храма. Оставаться жить и переносить ужасы осквернения и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестерпимым. Я думал, что мое самосожжение устрашит и вразумит врагов Божиих — врагов религии и остановит разрушения храмов, колоссальной дьявольской волной разлившиеся по всему лицу земли русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткое время. А меня в тот же день арестовали, и церковь разрушили, когда я был в тюрьме».

Когда же Лука был арестован? Он пишет: «23 апреля 1930 года я был последний раз на литургии в Сергиевском храме и при чтении Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что в тот же день вечером буду арестован. Так и случилось». Счет дням Владыка в своих «Мемуарах» вел по старому стилю. По новому стилю за ним пришли 6 мая.

В первых после ареста собственноручных показаниях о злосчастном «убийстве» и «похоронной записке» Войно-Ясенецкий искренне описал все, что знал. Ему нечего было скрывать.

«После смерти профессора Михайловского я имел разговор — с профессионалами САГУ Захарченко и Шляхтиным о психическом состоянии Михайловского, причем оба они вполне разделили мое мнение о психической ненормальности покойного. Свое заключение о ненормальности вывел я из тех фактов, которые мне сообщены были первой его женой… Врачебную записку священнику, которая послужила бы ему оправданием перед архиереем, я дал потому, что сам отказал в просьбе Михайловской об отпевании ее мужа, но не хотел окончательно огорчить ее, не оказав содействия к тому, чтобы отпевал священник. Признаю, что в этой записке было неуместное слово «лично», но записке я придавал очень мало значения, как имеющий лишь ничтожное внутрицерковное значение. Однако фальши в ней никакой не признаю…» Я думаю, что, заполняя бланки показаний, Лука уже понимал, что «дело Михайловского» в его аресте — только декорация, надуманный властями повод, за которым скрывается приказ убрать из города еще одного деятельного, несломленного христианина. Из камеры он послал следователю записку отнюдь недвусмысленного содержания: «Прошу Вас принять к сведению, что я совершенно не верю в серьезность моего обвинения по делу Михайловского. Причиной моего ареста, конечно, послужил мой ответ п-ру Г. (Гольдовскому. М. П.) при его последнем визите ко мне…» На эту, как и на другие,

записки ответа не последовало. В течение всего мая следователь ГПУ одного за другим вызывал в свой кабинет крупнейших медиков города. Он надеялся получить «научно обоснованные» показания о конфликте Войно-Ясенецкого с «материалистом» Михайловским. Но картина получалась совсем иная. Ученые упорно говорили о психической несостоятельности Михайловского. Невропатолог М. А. Захарченко по аналогии вспомнил случай с безумным профессором-материалистом из Юрьевского университета; терапевт М. И. Слоним охарактеризовал покойного как человека со странностями; старший ассистент клиники госпитальной терапии И. А. Кассирский тоже считал Михайловского «человеком странным в своих действиях и поступках». Все они, а особенно патологоанатом профессор М. А. Маркобин, были убеждены в том, что Иван Петрович застрелился, находясь в невменяемом состоянии. О Луке все допрошенные дали отзывы, наоборот, очень уважительные, даже почтительные. Конфликт? Не было никакого конфликта и быть не могло. «Установить связь между убийством Михайловского и епископом Лукой не могу, так как Лука соединил в себе религиозность и уважение к науке», — показал Иосиф Абрамович Кассирский, будущий действительный член Академии медицинских наук СССР. Он вспомнил немаловажную для следствия деталь. «У меня была записка (я получил ее сам), где Лука (Войно-Ясенецкий), направлял в клинику интересную больную и желая, чтобы больная принесла учебную и научную пользу (при вскрытии она была безнадежна), сделал приписку на немецком языке (дабы скрыть это от больной): «Представляет интерес для науки». Считаю, — добавил Кассирский, что научные достижения должны были радовать Ясенецкого, так как он всегда, когда работал на медфаке, принимал активное участие в научном обществе».

Обвинение разваливается, факты не лезут в прокрустово ложе заранее состряпанной следственной схемы. Но Плешанов знает, где найти нужные ему показания. Помощник прозектора Павел Чепов давно ждет своего часа. Хотя, простите, Павел Михайлович уже не пом. прозектора и даже не препаратор, как «по ошибке» назвал его десять месяцев назад газетный репортер. В мае 1930 года протокол показаний подписал уже и. д. ассистента кафедры физиологии медицинского факультета Среднеазиатского Государственного университета. То, что в статье Дим. Эз. выглядело как случайная неточность, теперь закреплено в соответствующей графе штатного расписания. Слово овеществилось, отчеканилось в более высокой зарплате, материализовалось в резко возросшем должностном авторитете. Исполняющий должность ассистента может и без профессора обойтись и кафедру вести. Как же Павлу Михайловичу не служить своим благодетелям? Он и служит не слишком грамотно, но с энтузиазмом излагая ту версию событий, которую от него ждут. Вот они, его показания, с сохранением стиля и пунктуации:

«Опыты профессора И. П. Михайловского резко бьют по религиозным устоям, жена профессора религиозная, выданная заведомо ложная справка о «душевном расстройстве» профессора Михайловского профессором-медиком Ясенецким (Лукой) может быть истолкована во 1-х с целью скрытия уголовного преступления, убийства Михайловского, выставив на первый план самоубийство на основе душевного расстройства, имевшегося уже в течение 2-х лет, убийство с целью устранения Михайловского, исходя из охраны религиозных устоев. Второй, менее важный, но дополняющий первое — показать, что Михайловский был религиозен и не стоял на пути религии, не был ей помехой и что как самоубийцу на почве «душевного расстройства» его можно хоронить по церковному обряду».

…Пренебрежение к фактам, равнодушие к реальным обстоятельствам и вообще ко всякой подлинности — вот главная черта плешановского следствия. Реальный мир следователя не интересует. Живые люди тоже. Он играет какую-то свою, ему одному ведомую игру, белыми невидящими глазами скользя по всему, что не приносит сиюминутного выигрыша. Эти белые незрячие бельма пялятся на вас с каждой страницы дела 4691. Пять университетских профессоров говорят «да», вчерашний пом. прозектора твердо твердит «нет», и словам ученых не придается никакого значения. Профессора Слоним и Рагоза подают следователю официально заверенную справку о том, что В. Ф. Войно-Ясенецкий страдает склерозом аорты, кардиосклерозом и значительным расширением сердца. Пользующиеся авторитетом первых терапевтов Ташкента врачи пишут, что «Войно-Ясенецкий по роду своего заболевания нуждается в строгом покое и длительном систематическом лечении». О том же пишет Плешанову доктор медицины В. А. Соколов, лечивший Войно от декомпенсации сердца. Никакого внимания. Дочь подследственного Елена Валентиновна просит разрешения повидать отца, чтобы передать ему необходимые сердечные лекарства. Резолюция: «Оставить без последствий». Епископ Лука просит следователя разрешить ему получать научные книги. Пометка на заявлении: «Отказать». В переполненной камере, где нечем дышать, Войно после допроса теряет сознание. Тюремная администрация делает вид, что ничего не произошло. «Отказать, запретить, игнорировать…» Мертвые глаза чиновника не приспособлены для того, чтобы видеть живое, различать человеческое.

Через несколько дней после обморока Луку поднимают с нар и ведут в кабинет Плешанова. Ему читают вновь составленное обвинительное заключение (постановление). «Город Ташкент, 1930 год, июля 6 дня…» Опять те же длиннющие чиновно-полицейские периоды, на языке, на котором в России говорят только в следственных камерах. Наконец, суть:

«…и принимая во внимание, что Войно-Ясенецкий… изобличается в том, что 5 августа 1929 года, т. е, в день смерти Михайловского, желая скрыть следы преступления фактического убийцы Михайловского — его жены Екатерины, выдал заведомо ложную справку о душевно-ненормальном состоянии здоровья убитого, с целью притупить внимание судебно-медицинской экспертизы, 2) что соответственно устанавливается свидетельскими показаниями самого обвиняемого и документами, имевшимися в деле, 3) что преступные деяния эти предусмотрены ст. ст. 10—14—186 пункт 1 ст. Ук УзССР

ПОСТАНОВИЛ

гр. Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича привлечь в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в укрывательстве убийцы, предусмотренном ст. ст. 10—14—186 п. 1 Ук УзССР.

Уполномоченный Плешанов

Согласен Нач. СО Бутенко

***Утверждаю СОУ Каруцкии*». Владыка Лука стоя слушает весь этот безграмотный вздор. С него градом льет пот, от слабости дрожат руки, подгибаются колени, но он находит в себе достаточно сил, чтобы, обмакнув в чернила перо, своим ясным круглым почерком написать под печатным текстом: «Обвинение мне предъявлено 13 июня 1930 года. Виновным себя не признаю». Через несколько часов он уже в тюремной больнице. Сердце сдало окончательно.**

Прошел год. Профессор Войно-Ясенецкий провел его в тюремных камерах, лишенный книг, передач с воли, свидания с близкими. Следствие закончено, но в недрах ОГПУ что-то еще согласовывают, выясняют, утрясают. Знойное ташкентское лето

сменилось промозглой зимой. В душных камерах стало сыро и холодно. Лука болел. Его несколько раз отвозили в больницу. Потом опять на допросы, наконец перевели из внутренней тюрьмы ОГПУ в тюрьму общую. Только 15 мая 1931 года последовал… нет, не суд, конечно, — судить епископа по закону никто не собирается. 15 мая последовал протокол Особого совещания коллегии ОГПУ. Три никому не известных человека заочно, руководствуясь секретным распоряжением и тайными указаниями, постановили:

«Михайловскую Екатерину Сергеевну лишить права проживания в 12 пунктах, согласно второго списка приказа № 19/10 от 11 января 1930 года, поселить ее в Читинском или Омском районе с прикреплением к определенному местожительству сроком на три года, считая с момента вынесения настоящего постановления.

Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича выслать через ПП ОГПУ в Северный край сроком на три года, считая с 6 мая 1930 года». Круглая гербовая печать Объединенного Государственного Политического Управления при Совете Народных Комиссаров СССР и неразборчивая подпись секретаря скрепили этот окончательный документ.

…В Ташкенте мне удалось разыскать двух старых людей, бывших врачей городской тюрьмы. Я долго упрашивал их рассказать мне о днях, которые герой мой провел в тюремных камерах. Они помнили Владыку, но разговаривать с автором «Биографии» не пожелали: страх потерять высокую пенсию сотрудника НКВД — МВД сковал им уста. Бог с ними, пусть эти представители «самой гуманной профессии» сохранят свои пенсии и свою нечистую совесть. Значительно больше о Владыке Луке расскажут нам его сохранившиеся в «деле» письма. Адресованы они Плешанову и плешановскому начальству и посвящены дальнейшей судьбе заключенного. В том, что его ждет ссылка. Лука не сомневался. Но куда?

«При решении моей участи, может быть, Вы найдете возможным принять во внимание следующее мое пожелание, — пишет он следователю. — Уже за несколько месяцев до ареста во мне созрело намерение добровольно уехать из Ташкента куда-либо в деревенскую глушь. Помимо предвидения ссылки я руководствовался при этом своим давнишним (еще в бытность земским врачом) стремлением работать в такой глуши, где нет врачей и моя помощь особенно нужна. Может быть, и теперь Вы найдете возможность отправить меня в одну из таких глухих местностей Средней Азии, куда опытные врачи не идут. Помимо хирургии я могу заниматься глазными болезнями и достиг большого искусства в глазных операциях. Поэтому наиболее полезной мне представлялась бы работа разъездным окулистом в Киргизской степи…» Старый русский интеллигент Войно-Ясенецкий смотрит на свое будущее прежде всего с точки зрения той пользы, которую сможет принести народу. Он хочет, чтобы использовали его наиболее рационально. А представитель народа следователь Плешанов отвечает интеллигенту Войно-Ясенецкому Постановлением, в котором обвиняет профессора в укрывательстве убийцы. Но интеллигент не унимается. Лежа в больнице с тяжелой декомпенсацией и отеками, Лука месяц спустя сочиняет еще одно заявление. Это не жалоба на беззаконие следствия и не спор с абсурдным обвинением, а опять-таки беспокойство о пользе дела.

«Из первой ссылки, в которую я отправился здоровым человеком, я вернулся чуть живым инвалидом. Предстоящая мне вторая ссылка при очень плохом состоянии моего сердца равносильна для меня смертному приговору. Поэтому обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой о замене мне ссылки в Сибирь высылкой за границу. По своему характеру я совершенно чужд политической активности и хотел бы только на склоне дней своих лечить больных. Чтобы Вы этому поверили, я прошу отправить меня в

Китайский Туркестан, откуда я ни в коем случае не смогу никуда уехать, т. к. ни переход через Гималайские горы в Индию, ни шестимесячный путь в Китай через пустыню Гоби совершенно невозможны при моем больном сердце. Конечно, если бы Вы имели доверие к моему честному слову архиерея и профессора, я просил бы лучше разрешения уехать в Персию, где я мог бы широко работать по хирургии. Я готов дать какие угодно ручательства моей полной политической лояльности и думаю, что в обмен на меня Вы могли бы получить осужденных в Персии советских граждан. Прошу Вас не отказать в ответе на это мое ходатайство,

Епископ Лука Войно-Ясенецкий.

16 июля. Тюремная больница». **Интеллигент снова ищет разумных, полезных, здравых решений. Он разговаривает с представителем власти серьезно и искренно, полный веры в то, что его адресат знает, где находится пустыня Гоби, и заинтересован в обмене советских шпионов на православных епископов. Но проходит неделя ответа нет, и Лука опять берется за перо. Теперь у него новая идея, но, как и прежде, он обращается к здравому смыслу своих гонителей, к их патриотическим чувствам:**

«Недавно я подал Вам заявление о высылке меня за границу. Я сделал это не потому, что мне хочется уехать за границу, а потому, что услышал от уполномоченного ОГПУ Плешанова о предстоящей ссылке в Сибирь и потерял надежду продолжать научную работу в СССР. Перспектива жить на старости лет в чужой стране и учиться чужим языкам, конечно, для меня в достаточной мере печальна. У меня остается надежда, что Вы представите мне возможность продолжить мое 27-летнее служение родному народу в родной стране. С самого начала моей земской работы я поставил себе задачей разработку вопросов гнойной хирургии, так как видел, что это самая важная для крестьян, рабочих и солдат часть хирургии и в то же время наименее разрабатываемая научно и крайне плохо и недостаточно преподаваемая в университетах. Результатом моих более чем 20-летних работ в этом направлении явилась книга (около 450 стр.) «Очерки гнойной хирургии», о которой ГОС (Государственный ученый совет. М. П.) и профессор Оппель дали блестящие отзывы… Книга моя принята к изданию Госмедиздатом и должна выйти через несколько месяцев. Моей давней мечтой было создание специальной клиники гнойной хирургии, в которой я мог бы продолжать научное изучение ее и преподавать эту важную дисциплину с подобающей полнотой. Такой специальной клиники нет еще нигде за границей, и хотелось бы, чтобы она возникла в СССР. Я уверен, что много важных работ вышло бы из такой клиники, если бы она была предоставлена в мое распоряжение…

Таковы мои подлинные намерения и желания. Если Вы не найдете возможность их удовлетворить, то мне не остается ничего другого, как повторить свое ходатайство о высылке в Персию, где я занялся бы не белоэмигрантской деятельностью, а научно-практической работой в области гнойной хирургии, так как это мое призвание.

На диспуте при защите моей диссертации один из рецензентов, проф. А. В. Мартынов, сказал, что работа моя производит впечатление пения птицы, которая не может не петь… Не белоэмигрантские песни, а хирургия — та песня, которую я не могу не петь. Предоставьте же мне петь ее в родной стране, а если нет, то хотя бы на чужбине». Теперь мы знаем: ответом на это письмо Войно-Ясенецкого был приговор о ссылке его на три года в Северный край. Представители рабочих и крестьян остались верны себе. Гнойная хирургия, как, впрочем, и вся остальная медицина и все другие науки, вместе взятые, в тот момент их не интересовали. На повестке дня стояла классовая борьба, которая, как известно, обостряется с каждым новым шагом к вершинам социализма и коммунизма.

Что сказать о письмах-исповедях Луки? Их искренность вне сомнения. И та польза, о

которой радеет Войно, польза реальная. Можно укорить автора в житейской неискушенности, даже в наивности. Но ведь это то самое легковерие, которое даже строгий Карл Маркс признавал пороком наиболее простительным. И тем не менее люди, которым эти письма предназначались, не вняли им. Не чудо ли — полный разрыв коммуникаций между людьми, говорящими на одном языке, родившимися в одной стране, может быть, даже ровесниками? Где и когда зародилось взаимное непонимание, так безнадежно разделившее русских людей? Едва ли, сидя в камере, переполненной такими же, как он, «преступниками», епископ Лука вспомнил ту временную точку, от которой пошла великая российская глухота. А она была многим памятна, эта точка отсчета. В том самом 1903 году, когда студенты Киевского университета Святого Владимира избрали третьекурсника Войно-Ясенецкого своим старостой и в накаленной атмосфере национальной политической ненависти Валентин произнес свою первую, обращенную к товарищам проповедь человека, другой, значительно более опытный оратор тоже произнес речь, в которой коснулся проблемы нравственности. То был Георгий Валентинович Плеханов, и выступал он в Лондоне на втором съезде РСДРП. Один из признанных вождей русской социал-демократии произнес тогда следующее:

«Каждый данный демократический принцип должен рассматриваться не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, что Salus populi supremalax. В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или иного демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения узаконенного мною основного принципа демократии. И политически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказывались бы против всеобщего избирательного права… На эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламента. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент… то нам следовало бы сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели». То, что для «теоретика» Плеханова было общефилософским положением, для «практика» Плешанова звучало как руководство к действию. Следователь мог не знать содержания речи, произнесенной двадцать семь лет назад, но, как любой член ВКП(б), он гордился разгоном Учредительного собрания в 1918 году и, весьма возможно, в 20-х ставил к стенке эсеров и меньшевиков — всенародно избранных делегатов Первого и Второго съездов Советов. Политика, которая исходила из того, что хорошо лишь то, что выгодно «нашим», легла в основу всей внутренней и внешней политики молодого государства. Она развратила одних, выбросила из общественной жизни других. Трещина, возникшая в недрах русского общества в 1903-м, обратилась с годами в бездонное ущелье. Расселась, раскололась народная нравственность, оставив на одном берегу следователя Плешанова, а на другом — его антипода епископа Луку. Где уж тут докричаться…

Надежда Мандельштам, вдова погубленного поэта, чья жизнь непрерывное, длившееся годами страдание, пишет: «Я не сторонница мести… и все же я думаю, что стране не мешало бы «знать своих героев», чтобы в будущем стало труднее их вербовать. Не ссылать, не убивать их нужно, а ткнуть в них пальцем и назвать по имени. Но убийцы и предатели находятся под верховной защитой, потому что они «ошибались» вместе со своим начальством. Постепенно они сойдут в могилы, а новые поколения выдвинут

новые кадры убийц и предателей, потому что ни убийство, ни предательство не осуждены, а тайное остается лишь чуть прикрытым и спрятанным».

Где вы теперь, Плешанов, Бутенко, Каруцкий — вершители ташкентской провокации, одной из сотен провокаций тех лет? Скорее всего вас расстреляли еще в 1937-м или каком-нибудь ином году ваши же приятели по службе. А может быть, вы доживаете еще где-то, обеспеченные хорошей пенсией, квартирой в ведомственном доме и полной неприкосновенностью. И думать, наверное, забыли о лихих делах прошлого? Да и зачем о них думать, о «тех» делах? Они либо сданы в макулатуру, либо сложены в надежно охраняемых подвалах. Свидетелей живых, по всем расчетам, тоже не должно быть: аресты 30-х, аресты 40-х, война, 30 лет после войны. Все давно списано… Не так ли? Впрочем, что с них спросишь, с этих маленьких наемников? Как и те тюремные врачи, о которых шла речь выше, они напоминают едва различимых под лупой животных, которые обитают в гниющей воде. «Вчера» для них не существует. Было бы только теплое и сытное «сегодня».

В эпоху наемников профессия ландскнехта перестает быть зазорной. Ее не гнушается никто. Надежда Мандельштам пишет: «…Я постепенно дошла до мысли, что лучше, чтобы грузовик переехал меня, нежели чтобы я, сидя за рулем, давила людей». Но она и ее муж оставались в начале 30-х годов в ничтожном меньшинстве. У большинства грузовик, предназначенный для того, чтобы калечить людей, вызывал чувство обожания. Власти охотно брали на содержание всякого, кому хотелось «покрутить баранку». Те, кто попроще, шли в стражники и стукачи, но места в «грузовиках» хватало и для философов, и для писателей, и для ученых.

— Прочитайте роман Борисоглебского «Грань», — посоветовала мне при первой нашей встрече в Ташкенте (1967) дочь епископа Луки Елена Валентиновна Жукова-Войно. — Эта книга о деле Михайловского, о моем отце. Правды там не ищите, но, может быть, что-то вас заинтересует…

Вернувшись в Москву, я заглянул в старое издание Литературной энциклопедии. «Борисоглебский Михаил Васильевич, — значилось там, — 1896 года рождения (следовательно, роман «Грань» начал он писать, когда ему не было еще и 34-х. — М. П.), рабочий, беллетрист, принадлежит к неоклассикам». Что такое неоклассики, я не знаю и по сей день, но затребованную из библиотеки книгу, судя по свежести переплета, за 40 лет никто, кроме меня, в руки не брал. Книжица эта меня действительно заинтересовала. Прежде всего темпами, в которых она была выпущена. Судите сами: автор романа начал ее никак не раньше весны 1930 года и не только успел его в том же году закончить, но еще и издать. Не иначе бабушка ему ворожила. Что это за «бабушка», стало мне ясно после первых же страниц. Борисоглебский читал оба обвинительных заключения — и то, что подготовил следователь Кочетков, и то, что сфабриковал Плешанов. Видел он и протоколы допросов. Конструируя образы, ориентировался он в основном на оценки и выводы ГПУ. И сейчас в деле 4691 можно видеть отчеркнутые синим карандашом места, относящиеся к самым острым сюжетным поворотам будущего романа.

Кому же так спешно понадобилось сочинение Борисоглебского? Вспомним телеграмму Аарона Сольца, не его ли «социальный заказ» выполнял писатель-неоклассик? Хозяевам страны, стоявшим на пороге массовых чисток, нужна была оправдательная литература. Не слишком привлекательным историческим фактам надлежало дать приличное объяснение, выгодное освещение. Со временем многочисленные лебедевы-кумачи и оресты мальцевы научились на лету ловить подобные желания властей и без подсказки творили государственную легенду, но в 1930

году Сольцу и ОГПУ пришлось действовать кустарно, с некоторым даже, хотя и не слишком большим для себя, риском.

Назвать роман Борисоглебского художественным произведением значило бы впасть в сильное преувеличение. Но, очевидно, ни автор, ни его заказчики за изяществом стиля не гнались. Главный смысл для них таился в той материи, которую позднее стали именовать идейностью. Что до содержания, то оно укладывается в следующую схему.

В город Н. приезжает из Москвы новый архиерей, архимандрит о. Сергий. Он послан из столицы заменить старого, дряхлого епископа, ибо в городе назревают серьезные события. Профессор Степан Кузьмич Орлов готовится оживить своего сына, утонувшего четыре дня назад. О. Сергий и остальные церковники убеждены, что если опыт удастся, то наука нанесет им сокрушительный удар. Надо спасать церковь, не допустить поругания христианства. Приезжий архимандрит непривлекателен настолько, что противен не только положительным героям, но даже священникам. Ходит он в гражданском костюме, бороду бреет, черные курчавые волосы, смуглое лицо с карими навыкате глазами, острый нос и губастый темно-малиновый рот делают его похожим то ли на цыгана, то ли на еврея-выкреста. Разговаривает губастый архимандрит на суконном языке канцелярий, то и дело перескакивая на стиль детективных кинобоевиков. рот, например, что он говорит своему единомышленнику священнику о. Петру: «Мы должны своевременно озаботиться выработкой методов, которыми нам еще возможно бороться за свое влияние… Мы должны по-прежнему действовать тихой сапой… Мы должны усыпить подозрительность врага. Должны еще более, чем до сих пор, делать вид, что приемлем новую власть и подыскивать ей оправдания из учения святых отцов (так! — М. П.). Слава богу, у нас есть мыслители, которые при умелом использовании могут пригодиться для этой цели».

Архимандрит Сергий, в образе которого перед читателями предстает профессор-епископ Войно-Ясенецкий, отправляется в дом Орловых. Выясняется, что они со Степаном Орловым из одной деревни. Больше того, много лет назад дед Сергия, священник Златогоров, приютил сироту Степу Орлова. Теперь, спекулируя на детских воспоминаниях, архимандрит пытается отговорить профессора от проведения опасного для церкви эксперимента. Но — тщетно. Тогда архимандрит начинает «обрабатывать» жену ученого, Екатерину Ивановну (злобная и мстительная особа эта должна, по замыслу, играть роль Екатерины Гайдебуровой). Орлова не только верующая, но и происходит из богатой помещичьей семьи, поэтому она легко поддается на провокацию. Между супругами возникает отчуждение, которое хитрый архимандрит использует для своих подлых целей.

Между тем эксперимент, которого так боятся церковники, приближается. Орлов уже оживил переливанием крови обезьянку Яшку (идет изложение статьи из журнала «Семь дней»). Волны мировой славы бьются о порог маленького домика в городе Н., где живет скромный, тихий, добрый профессор Орлов. Черные тучи нависли над православной церковью: вот-вот профессор оживит труп сына, и тогда — конец: верующие сразу отвернутся от храмов. В этом месте Борисоглебский переходит на откровенный детектив:

«О. Сергий бывал у Орловых довольно часто… Встречаясь с профессором, он любознательно интересовался его работами и никогда уже не заводил речь о безумии и греховности его научных затей. Ловко скрывая свои планы и намерения, он расположил Орлова к откровенности и выпытал у него все, что было нужно. О. Сергий знал, что самое главное — усыпить бдительность врага». В один прекрасный день, выпытав все, что было нужно, архимандрит выкрадывает из профессорского стола тетрадку с ярлыками:

«Процесс оживления нервной системы». После этого он толкает Екатерину Ивановну на убийство мужа. «Последний опыт его (Орлова) не должен совершиться, — заявляет архимандрит-подстрекатель. — И дело это в наших руках. Вы должны сделать так, чтобы этот опыт стал невозможен… То, что вы сделаете, не должно смущать вашу совесть. Напротив того, гордыня, ослепившая вашего мужа и заставляющая его забывать о страданиях, в которые будет ввергнут народ, лишенный веры, будет сломлен… Подумайте о том, что я вам говорю, и совершите подвиг, к которому вас призывает священный долг перед церковью». Произнеся эту речь, подстрекатель убегает из дома с тетрадями ученого.

Последние страницы романа являют нам полное торжество справедливости. Угрозыск арестовывает священников, которые, как выясняется, были к тому же еще и спекулянтами, казнокрадами, взяткодателями. Хватают и Сергия. Фанатичная Екатерина Ивановна, которой муж заявил о предстоящем разводе, выстрелом из «смит-вессона» в левый висок убивает мужа. Книгу завершает «вырезка из газеты», которая почти дословно, но еще более скверным языком пересказывает фельетон Дим. Эз. в «Узбекистанской правде». У Борисоглебского статья «от нашего спец. корреспондента» именуется очень помпезно: «На пороге бессмертия». «Датирована» она так же, как и фельетон, 25 августа 1929 года. «Классовый враг не дремлет и выбитый из одних позиций спешит занять другие, — пишет мифический корреспондент. — Тот факт, что рукопись труда профессора была отобрана при аресте у гражданина Златогорова (о. Сергия), главы местной епархии, в тот момент, когда он при выходе из квартиры профессора направлялся на вокзал, наводит на очень и очень серьезные размышления. Мы не решаемся высказать определенных подозрений, но никак не можем согласиться с упорным заявлением вдовы профессора на предварительных допросах, будто муж ее, убедившись в крушении своей надежды воскресить умершего сына, раскаялся в своей «сатанинской гордыне"… Соображения, что револьвер, прекративший ценную жизнь профессора, был направлен не его собственной рукой, а тою или теми, что уже заняты другими преступлениями, напрашивается само собой».

Михаил Борисоглебский не только не скрывает деталей дела Михайловского, но нарочно выпячивает их. Его цель — создать легендарный вариант всем хорошо известной истории для того, чтобы миф затемнил, исказил обстоятельства реального дела. Книгу, правда, никто из писателей не заметил: критики обошли ее полным молчанием. Но эффекта, которого добивались покровители неоклассика, удалось достичь-"Грань» породила государственный миф о церковниках- врагах и гонителях науки, миф тем более ценный, что он опирался как бы на реальную основу.

Я попытался дознаться: кто же он — блестящий исполнитель этого заказа? В официальных источниках сведения о нем обрываются в 1932 году. А потом? Куда девался этот лихой мифотворец? Я поехал в Ленинград и обратился к трем старым уважаемым литераторам. Борисоглебский? Михаил? При упоминании этого имени всех троих явственно передернуло. Никто не хотел даже говорить о нем. Лишь с трудом удалось вернуть моим собеседникам душевное равновесие, и тогда я услышал следующее: «Как же! Помню! Как не помнить, — проворчал первый. — Очень, очень дурная репутация была у этого господина…» Второй оказался более словоохотливым. «В 1927 году, — вспомнил он, — мой учитель Евгений Замятин приглашал меня идти работать в руководство группы попутчиков. Я спросил его: «Зачем мне это?» Он ответил: «Томашевского и Тихонова заменяют Борисоглебским. Надо ему кого-то противопоставить. Он же бандит». Я тогда в правление все-таки не пошел. Почему? Да

потому что знал, что Борисоглебский этот был… ну, вы сами понимаете кем… Но в Союз писателей его в 1932 году все же не взяли. Писал очень плохо. Роман его «Топь» иначе как «пот» никто не называл тогда. Вообще он старался до того рьяно, что даже тогдашним руководителям Союза писателей не нравился. Абсолютно несимпатичная личность…»

И еще один разговор.

«Помню! Он был просто «дятел». Мне Миша Козаков сразу сказал, чтобы я с ним был поосторожнее. Куда делся? Откуда взялся, туда и делся. Он имел самое непосредственное отношение ко всем этим делам…» Читатель, очевидно, уже уяснил себе, что слово «дятел» в данном контексте к орнитологии отношения не имеет. А «все эти дела», которыми в свободное от литературной работы время занимался М. В. Борисоглебский, представляли собой не что иное, как политические доносы на коллег по перу. Таким образом, побочная и основная деятельность автора романа «Грань» как бы дополняли одна другую. В профессионализме ему отказать было никак нельзя. Все правильно, все нормально. И только одно вызывает неподдельное недоумение: как это получилось, что такого писателя не приняли в ССП?.

Было бы несправедливо, однако, считать Михаила Борисоглебского единственным творцом государственной легенды о «деле Михайловского». Приложили руку к мифотворчеству мастера и более крупного масштаба. 31 января 1934 года «Вечерняя Москва» поместила статью, которая начиналась так: «Несколько лет назад в Ташкентском суде слушалось громкое дело об убийстве профессора Михайловского. Крупный советский ученый, прославленный своими работами по оживлению мертвых органов (так! — М. П.), он пал жертвой дикого религиозного фанатизма. Особый интерес это дело приобрело в связи с участием в нем жены профессора и ближайших его соратников — группы реакционных профессоров, которые не могли простить Михайловскому материалистических научных взглядов.

Этот забытый сейчас процесс послужил поводом для пьесы К. А. Тренева «Опыт». Сама жизнь наша, наша современность с ее диалектическими противоречиями подсказала замечательную тему и подлинно драматический сюжет, увлекающий богатством содержания, остротой положений. Само собой разумеется, что в пьесе нет протокольного воспроизведения подлинных событий. Отказавшись от заманчивой возможности инсценировать судебный процесс, ее автор попытался создать свое творческое оригинальное произведение большой мысли и широких социально-художественных обобщений. Попытка эта в общем удалась ему…»

Откуда все это? Суд в Ташкенте, громкое дело группы реакционных профессоров? Ведь никакого суда над Войно-Ясенецким и Михайловской-Гайдебуровой не было. Судьбу своих жертв ОГПУ, как мы знаем, определило в секретном порядке. Да, суда не было, но была легенда о суде, о фанатиках-церковниках, убивших ученого-материалиста. Кем-то явно распространяемая, она поползла по стране уже с осени 1929 года. Как будто невзначай то в одной, то в другой провинциальной газете появились заметки, где в туманных, но угрожающих тонах повествовалось о совершившемся «злодеянии», о предстоящем процессе. Заметки начали появляться еще до окончания следствия, но у обывателя они создали явное впечатление, что «враги науки» уже разоблачены, судимы и, как в те годы любили писать, «понесли заслуженную кару».

Одна из таких заметок появилась в крымских газетах. Она попала на глаза жившему в Алуште писателю С. Н. Сергееву-Ценскому и воспламенила его. Романист решил испытать себя на этот раз в драматургии, тем более что заметка давала прекрасный, как ему казалось, материал для драматического сюжета. Не откладывая задуманного, Сергей

Николаевич 8 ноября сел за письменный стол, и уже 20 ноября пьеса в пяти действиях была готова. Назвал ее Сергеев-Ценский «Ребенок и обезьяна». Заголовок явно отразил суть происходящего. Умерший три года назад ребенок был сыном великого ученого, открывшего метод оживления трупов. А обезьяна предназначалась для последнего решающего опыта, после которого старухе смерти уже ничего не оставалось делать на нашей счастливой планете. Этому великолепному эксперименту мешают верующие и попы. Воскрешение не удается. Черные силы религиозного мракобесия торжествуют победу.

Пьеса написана за две недели, но новоиспеченный драматург не чувствует удовлетворения. Он и сам видит — Лопе де Вега из него не получился. В длинной и сырой мелодраме концы никак не сходятся с концами. Но, с другой стороны, Сергею Николаевичу, человеку деловому, не хочется допускать, чтобы труд двух недель оставался неоплаченным. На следующий день после того, как был дописан последний акт, он открыткой приглашает к себе в гости соседа, дорогого Константина Андреевича Тренева: «Буду рад Вас видеть 24-го».

Мы не знаем, как автор «Любови Яровой» отнесся к произведению Сергеева-Ценского. Очевидно, все-таки благосклонно, ибо согласился пьесу «дотягивать» и даже повез ее в Москву и Ленинград показывать в театрах. Острым нюхом драматург учуял, насколько сочинение это политически «своевременно». В обстановке охватившего страну антирелигиозного разгула такие пьески брались нарасхват. Это подтвердили Треневу и в театрах: сначала в Большом в Ленинграде, потом в театре Завадского. Полгода спустя соавторы заключили официальный договор, где детально оговорили, как именно поделят они доходы от пьесы «Мальчик и обезьяна». Второй пункт договора гласил: «Все причитающиеся за постановку пьесы на Московских, Ленинградских и прочих советских (а также заграничных, если это осуществится) сценах гонорары мы делим пополам». Предполагалось также делить гонорары за издание пьесы. Тренев при этом брал на себя все переговоры с театрами, фамилия Сергеева-Ценского заменялась псевдонимом. Договор подписан в Симферополе 4 мая 1930 года. Два дня спустя, 6 мая, в Ташкенте по приказу ОГПУ был арестован и направлен в городскую тюрьму профессор Войно-Ясенецкий.

Итак, по иронии судьбы ташкентская трагедия и крымский фарс разворачивались одновременно. В то время как в Ташкенте допрашивали, запугивали, выколачивали фальшивые показания и составляли подложное «дело», на другом конце страны созидался миф, призванный оправдать действия тайной канцелярии. Следователь Плешанов и писатель Тренев не знали друг друга, не догадывались Друг о друге, но, связанные общностью хозяев, служили одной и той же государственной цели. Константин Андреевич и по характеру казался ближе к Плешанову. В делах своих шел он напрямик, не слишком задумываясь над тем, что о нем станут думать и говорить. Устранив имя Сергеева-Ценского с будущей афиши, он и пьесу назвал по-своему — «Опыт». А 21 декабря 1932 года заставил своего соавтора подписать новый договор, по которому ему, Треневу, полагалось уже семьдесят пять процентов гонорара, а Сергееву-Ценскому только двадцать пять. Пьеса опубликована в журнале «Новый мир», аванс за нее получен в Ленинграде, а потом в Москве в театре Завадского, но Треневу и этого мало. Он ищет возможности полностью оттеснить Сергеева-Ценского от гонорара.

Идут месяцы. Владыка Лука мерзнет и задыхается в своей до отказа переполненной камере, лежит после сердечного приступа в тюремной больнице, умоляет своих гонителей не лишать его возможности заниматься наукой, а Тренев и Сергеев-Ценский спорят и

спорят о том, кому и сколько денег за будущую пьесу причитается. Арестантский поезд везет Луку в Архангельскую область, для него начинают тянуться годы ссылки, а в Москве и в Алуште все более разгораются страсти. Соавторы делят добычу.

В очередном письме к дорогому Сергею Николаевичу Тренев горько сетует на тяжелое материальное положение, в которое он попал из-за того, что связался с пьесой Ценского. «Эта пьеса, над которой я мучительно и неотступно работаю вот уже два года, отняла моей жизни гораздо больше. Оттого ли, что тема не органически выросла, а дана со стороны, или в самой теме не все мне сродни, но я, конечно, не только не согласился бы на эту каторгу, но не мог ее представить себе». Этот трагический монолог нужен драматургу для того, чтобы обосновать последний абзац письма: «Я предлагаю Вам, Сергей Николаевич, в порядке наших до того теплых дружеских отношений изменить наше соглашение. По искреннему убеждению, не только моему, но выстрадавшей со мной моей семьи десять процентов вместо двадцати пяти процентов было бы вполне справедливым и ни для кого не обидным компенсированием».

Даже привыкший к проделкам Константина Андреевича Ценский на этот раз замирает на несколько месяцев от возмущения. Ответа из Крыма нет. Это нервирует Тренева. В театре Завадского вот-вот должна состояться премьера «Опыта», предстоит генеральный раздел гонораров. Тренев пишет в Алушту снова, снова требует себе девяносто процентов. Сергеев-Ценский взбешен. Он отвечает, что от «законных» двадцати пяти процентов отказываться «не намерен». Он грозит коллеге судом, да не просто народным, а показательным, с оглаской и скандалом. Тренев парирует в том же духе: «Вы сытый, пресытый человек, счастливчик, удачливый стяжатель, вырезываете куски жирного мяса из моего тела».

Архивы не сохранили конца этой исторической переписки. Мы так, очевидно, никогда и не узнаем, согласился ли Ценский на десять процентов гонорара или все-таки вырвал у Тренева «законные» двадцать пять. Зато сценическая история детища двух классиков освещена достаточно ярко. Кроме статьи Гринвальда в «Вечерней Москве», отклики на спектакль в театре Завадского поместили «Советское искусство», «Литературная газета», «Известия» и даже «Правда». Завадский готовил «Опыт» как подарок к шестнадцатой годовщине Октября. Но с подарком получилась заминка. В сентябре 1933 г. профессор-физиолог Ю. А. Преображенский опубликовал в «Советском искусстве» свои «возражения биолога». О провокации в Ташкенте, о деле епископа Луки Преображенский, вероятно, ничего не знал, но как специалист он увидел, что «основная линия пьесы неверна, ошибочна, ненаучна». Московский физиолог развенчал самую суть великого открытия, на котором Тренев построил пьесу. Если же не было открытия (а мы знаем, что никакого открытия Михайловский не совершил), то сомнительной становится и вся версия убийства ученого церковниками, убийства с антинаучной целью. «К. Тренев, — писал Преображенский, — извратил историю науки об оживлении и воскрешении, историю экспериментальных исследований в этой области…» О герое пьесы Соболеве (прообразе Михайловского) Преображенский писал: «Соболев дискредитирует советскую науку, такой приговор вынесет всякий биолог, врач, ученый советской страны».

Но то, что представлялось ясным каждому врачу и просто порядочному человеку, никак не устраивало подателей социальных заказов. Им во что бы то ни стало нужен был миф о злых церковниках, терзающих научную жертву. «Правда» резко одернула критикана-биолога, а вместе с ним и всех тех, кто когда-либо в будущем попытается усомниться в художественных и идеологических достоинствах пьесы «Опыт». Центральный орган печати все поставил на свои места: «В центре пьесы профессор

Соболев. Его смелый научный эксперимент, задачей которого является борьба со смертью, встречает яростные нападки… Поддержку своим научным экспериментам профессор встречает лишь в лагере передовых советских людей… Он приближается к революционному лагерю, окружает себя передовой научной молодежью в лице своих аспирантов-комсомольцев. Сюжетная канва пьесы дает возможность поставить ряд проблем о взаимоотношениях науки и религии…»

Проблемы поставлены, пресса вслед за «Правдой» аплодировала, а спектакль уже через полгода пришлось снять: он скучен, невыносимо скучен, уныл и убог. На него просто никто не ходит. Пытался гальванизировать «Опыт» в 1934 году архангельский театр, но и там его ждал провал. Не спасли ни конъюнктурная тема, ни правильно поставленные проблемы о взаимоотношениях науки и религии, ни оптимистическое звучание. О звучании драматург и режиссер пеклись особенно горячо: несмотря на то, что эксперимент не удался, мальчик, сын профессора, погибает, никакого пессимизма в «Опыте» нет и в помине. Наоборот! Главный герой переполнен энтузиазмом. «Слезы оставим матери, — восклицает он, стоя возле трупа собственного ребенка. — У нас же торжество победы! Впереди такая радостная работа!»

В том самом 1930 году, когда Константин Андреевич Тренев и Сергей Николаевич Сергеев-Ценский в обстановке сердечного согласия заключили свой первый многообещающий договор, за ту же тему взялся Борис Лавренев. Есть основания подозревать, что тему, как и Борисоглебский, получил он в самых высоких инстанциях. Из всех заказных сочинений о «деле Михайловского» сочинение Лавренева наиболее профессионально грамотное и самое отталкивающее.

Автор чувствует театр, понимает толк в острой реплике, в драматической коллизии. У Лавренева есть драматургический темперамент, которого полностью лишен Тренев. Но неправда обстоятельств, плакатная фальшь ситуации так разительны, что читать пьесу без отвращения невозможно. Состав действующих лиц у Лавренева тот же, что и в «Грани», и в «Опыте». Великий ученый-физиолог Котельников, его верующая жена, их умирающий сын. Профессор читает студентам специальный курс так, будто весь свой век служил в агитпропе. «Мы подходим к моменту, когда наука, разорвав путы идеализма и религиозных цепей, станет обезоруживать смерть в тех случаях, перед которыми медицина до сих пор бессильно опускала руки. Мы сделаем тайну смерти простым лабораторным опытом, доступным каждому студенту. И немудрено, что наша наука, наука боевого материализма, вызывает дикую ненависть в черных армиях религии из среды научной реакции… ибо она уничтожает религию… она вырывает у них почву…» Антигерой, он же архимандрит Палладий, разговаривает от первого до последнего действия только на церковнославянском: «Промысел Божий неисповедим. Единожды занесен меч во вразумление, второй раз не остановлен будет». И далее в том же роде. Архимандрит Палладий, читаем в ремарке: «Высок, худ. Оливковое лицо иезуита-фанатика окаймлено узкой бородкой с проседью. Шелковая ряса шелестит сухо, зло, как змеиная чешуя». Можно не сомневаться в том, что этот змеиный оливковый субъект ненавидит науку и совершит немало гадостей, пока не закончится наконец четвертое действие этой бесконечно длинной драмы. В драме, кстати сказать, кроме вышеназванных, еще более тридцати действующих лиц. И кого только тут нет1 Врачи, богомольные старухи, рабочие с соседнего завода, студенты, профсоюзный деятель (отрицательный), даже брат жены профессора, бывший белый офицер Гоша, как и полагается, подонок, пьяница, трус. И, конечно, пересыпает речь французскими выражениями. Действуя по наущению Палладия, Гоша тычет в подходящий момент

ножницами в грудь профессору. Темная верующая уборщица в клинике, опять же по указке религиозного фанатика, норовит разбить табуретом термостат, где ученые варят «эликсир жизни» — восстановленную кровь. Но все кончается хорошо, так что по лучшим образцам драматургии тридцатых годов «прозревший» доктор Курков имеет случай воскликнуть: «Какая огромная радость! Как хорошо дышать! Ведь, подумать, что сделано!» Впрочем, что именно сделано учеными, мы из пьесы Лавренева не узнаем точно так же. как не узнали из пьесы Тренева.

Пафос пьесы, впрочем, совсем не в разоблачении церковников и остатков эксплуататорских классов. С оливковым Палладием и белым Гошей все ясно с самого начала. Но там, где Борисоглебский и Тренев остановились, Лавренев начинает главную атаку. Его пьеса зовет вместе с церковниками раздавить врага менее явного, но потенциально более опасного — интеллигенцию, тех, кто сохранил собственное мнение, независимую научную и общественную позицию. Антиинтеллигентство — один из важных лозунгов 30-х годов. Подхватив этот лозунг, Лавренев воссоздал отталкивающую физиономию профессора-виталиста с нерусской фамилией Бокман и верующего студента. Первый — подхалим, лжесвидетель и просто старье, второй, по оценке одного из положительных героев: «Слюнявенький, сутулый, близорукий интеллигент». Ату их! Любимая героиня автора, тридцатитрехлетняя красотка врач-партиец Евгения Григорьевна Молчанова, готова без лишних разговоров хватать за горло «чужих». «Никогда не жалейте врага, пока он не уничтожен», — говорит она о семидесятилетнем профессоре Бокмане. Талая волчья позиция шокирует даже «социально близкого» ей профессора Котельникова. «Но разве Бокман враг? — возражает он. — Бессильный старик. У вас не женское сердце, Евгения Григорьевна». В ответ красивая Евгения Григорьевна выбалтывает основное свое кредо и, как можно догадаться, кредо автора: «В боях за право на жизнь я научилась жалеть и щадить только свой класс. Борьба не позволяет мне жалеть врагов. Мы уничтожаем их для будущего наших детей».

Разбирательство институтского конфликта ведут рабочие с соседнего завода. В споре материалиста Котельникова и виталиста Бокмана они сразу понимают, кто прав, а кто не прав. Которые материалисты, их сразу видно: из рабочих, члены партии и собой красивые, молодые. Они и в науке собаку съели: «Сегодня мы можем восстановить кровь, завтра мы восстановим нервные клеточки и создадим нового человека по образу и подобию нашему, а не Божьему», — гремит с трибуны амазонка с партбилетом Евгения Григорьевна Молчанова.

По разумению Лавренева, «медицина — одно из главных орудий против религии. Медицина — кинжал в религию…» Но как совместить это с прототипом Палладия, реально существующим епископом Лукой Войно-Ясенецким? Ведь он не только человек церкви, но врач; и не только врач, а ученый-медик, профессор. Сложновато получается. Но Лавренева сложности не пугают. Легким движением скальпеля, то бишь пера, драматург рассекает слишком сложный для понимания прототип надвое и получает то, что ему нужно: двух непримиримых врагов — ученого Котельникова и религиозного фанатика Палладия. Правда? Но высшая правда для соцреалиста — не правда факта, а та, которая нам нужна на данном этапе нашего движения к вершинам. Не об этом ли говорил на Втором съезде РСДРП тов. Плеханов?

Читая пьесу «Мы будем жить!», которую время превратило в самопародию, я вспомнил свой давний и единственный разговор с Лукой. Закончив долгий рассказ о нелегкой своей жизни, слепой собеседник мой замолчал, а потом спросил, что я намерен писать. Я ответил. И тогда просто и твердо, как о чем-то давно продуманном, он сказал:

— Если станете описывать мою жизнь, не пробуйте разделять хирурга и епископа. Образ, разделенный надвое, неизбежно окажется ложным.

Читал ли Лука роман Борисоглебского, пьесы Тренева и Лавренева? Вряд ди. Он не любил пустого времяпрепровождения. И тем не менее точно уловил главную проблему, которая всегда возникала и еще будет возникать перед его биографами. Сложнее всего совместить официальную версию с реальностью. Жизнь всегда сложнее и богаче легенды. Даже государственной.

Том второй

Глава пятая. Исповедую хирургию (1933—1937)

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?».

Из Послания апостола Иакова (Гл. 2, 14)

«Бросалась в глаза его глубочайшая эрудиция и блестящая техника оперативная. На вскрытиях в больнице присутствовало всегда много врачей и Валентин Феликсович пользовался каждым случаем, чтобы научить хирургов тем или иным тонкостям оперативной хирургии, хирургической диагностики. В обращении он был прост, но держался с величайшим достоинством человека и мастера хирургии… О нем говорили, что он УЧЕНЫЙ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ».

Профессор Г. Н. Терехов, анатом. Письмо из Ташкента, 7.3.1968 г.

Вторую свою ссылку Лука считал легкой. А как же иначе? В постановлении ГПУ сказано было: Северный край. А он, Северный край, ой, как велик! Могли бы сослать в Ухту, отправить в Инту, загнать в Воркуту. В народных легендах местом второй ссылки Войно-Ясенецкого называют чаще всего Соловки. Тоже местечко памятное! В 20-х — 30-х годах на Соловецких островах в Белом море сложили головы многие епископы, священники и просто верующие миряне и среди тысяч безвестных знаменитый математик, архитектор и философ-богослов о. Павел Флоренский. Епископу Луке действительно повезло. Его оставили в Архангельске, даже позволили заниматься медициной: профессор получил разрешение принимать больных в амбулатории. Голодно? Так после коллективизации по всей России голодно. Холодно? На то и Северный край. В теплые края в тридцатых уже не ссылали.

Квартиру добрые люди нашли ему в доме пожилой женщины Веры Михайловны Вальневой. Это был один из тех ветхих деревянных домишек с громоздкой русской печью и тесовыми в щелях перегородками, в каких обитало большинство архангельских жителей. Комната-келья с одним крошечным оконцем Луке понравилась. Стол, стул, железная кровать, в углу — икона. Чего еще желать? В холодных сенях — рукомойник. Там же кадка с колодезной водой. Уборная во дворе. Уж не взыщите…

Впрочем, дома бывал он редко. Полдня профессор проводил в амбулатории на приеме, потом шел в ближнюю больницу. Оперировать ссыльному запрещалось, но больничные хирурги тайком пользовались его консультациями, а если поблизости не было начальства, то разрешали даже ассистировать. В келью свою Лука добирался только вечером. Засветив десятилинейную керосиновую лампешку, принимался за чтение присланных дочерью медицинских журналов и книг. Делал выписки из историй болезни, не оставляя мысль издать когда-то главную свою книгу, «Очерки гнойной хирургии». Перед сном, отложив дела медицинские, погружался в Библию. День начинался утренней молитвой, завершался вечерней. Ходил бы в воскресенье в церковь, да некуда: все церкви в Архангельске закрыты. Жизнь текла монотонно, скудно, но не впустую. Владыка наполнял ее трудом и мыслью, верой и стремлением по мере сил помогать каждому больному. О пище, об одежде не задумывался: что есть, то и есть.

И все же скудость, великая скудость эпохи первых пятилеток напоминала о себе ежечасно. Амбулатория, маленькая, донельзя тесная, полутемная, встречала по утрам кислым запахом овчинных тулупов, немытых тел, пропитанных гноем повязок. В коридоре всегда теснилась очередь. У окошечка регистратора то и дело вспыхивала перебранка. Резко, раздраженно кричали женщины, плакали дети. Печи дымили, но

тепла давали мало. Больные в кабинете врача нехотя стаскивали с себя верхнюю одежду: «Не застудиться бы, доктор…» Не хватало ваты, бинтов, антисептиков, даже бумаги. Рецепты писали на клочках, а историю болезни — на газете, фиолетовыми чернилами поперек печатного текста. Зато больных всегда было много: к хирургу записывалось по сорок человек и более.

Войно по обыкновению занимался с каждым больным подолгу, всерьез. Но амбулаторный прием не давал удовлетворения. В поликлинику приходят, как правило, легкие больные с однообразным диагнозом. Как пианист, лишенный рояля, ссыльный не знал, что делать со своими чуткими, жаждущими дела пальцами. Руки тосковали по труду, а труд свой Войно-Ясенецкий представлял всегда как расшифровку тех запутанных ребусов, которые природа задает врачу у постели больного. Именно эта совместная работа головы и рук составляла для него высшую радость. И радости этой его насильно лишили.

Неожиданный поворот событий позволил хирургу заняться наукой, не испрашивая на то специального разрешения чекистов. На прием в поликлинику пришла пожилая женщина с большим зреющим фурункулом на плече. Случай самый банальный. Тут и врач не нужен: нарыв вот-вот готов вскрыться сам. Но Войно заинтересовала странная черная мазь, покрывающая воспаленный участок. «Что это у вас?» — спросил он женщину. «Мазь от Веры Михайловны». «От какой Веры Михайловны?» «Да от Вальневой, от хозяйки, у которой вы квартируете. Я вас у нее видела». Оказывается, женщина лечилась у Вальневой, а к профессору зашла для того, чтобы узнать, так ли ее лечит знахарка.

Войно прожил у Веры Михайловны уже почти полгода, но хозяйку свою почти не видел. Пустых речей он не любил, она тоже не докучала ему лишними разговорами. Тихонько, поскрипывая половицами, похаживала за перегородкой. Иногда к ней приходил кто-то, тогда за тесовыми переборками слышался шепот. Зачем приходили, о чем шептались гости Вальневой, Луку не интересовало. Едва ли, погруженный в собственные мысли, он даже задумывался хоть раз над тем, как живет, на какие средства существует его хозяйка. И вдруг открылось — квартиру сдает ему знахарка! Профессор был раздосадован. Ко всему, что имеет отношение к лечению больных, относился он всегда очень серьезно, если не сказать сурово. Легкомыслия, непрофессиональности не прощал даже коллегам-врачам, а тут — знахарка, шарлатанство какое-то…

Первое побуждение — съехать с квартиры. Вот так сразу — рассчитаться и перетащить куда-нибудь подальше свое немудреное имущество. Но потом верх взяло любопытство, а вернее, то исконное стремление добраться до сути, которое отличает всякого подлинного искателя. Вечером постоялец напрямик спросил хозяйку, лечит ли она гнойных больных. Вальнева не запиралась: да, лечит, чирья открывает мазью, куда входят черная земля, сметана, мед, кое-какие травы. Сколько кладет чего? По болезни. Составы разные. В секрете их не держит. Лечит давно, с 1908 года. Плохого люди от нее не видели. Профессор может сам посмотреть и опросить больных.

Твердого и прямого нрава оказалась эта неразговорчивая поморка, воспринявшая искусство целить гнойные раны от бабки, а может быть, и прабабки-рыбачки. То, что знахарка не таилась, не лгала и даже соглашалась показать больных, Войно понравилось. В характере ее хирург почувствовал для себя что-то родственное. И все-таки знахарка…

Однажды после работы он, хмурясь, переступил порог хозяйской половины дома. Присел на лавку. Вера Михайловна, как всегда, молча готовила свою мазь. На сосновом некрашеном столе горкой лежала черная огородная земля. Женщина пересеивала ее,

перебрасывая решето в ладонях так же, как деревенские бабы просеивают муку для пирогов. Потом ссыпала землю в чугунок и, ловко орудуя ухватом, подала чугунок в жерло только что протопленной русской печи. Все движения Вальневой, все ее повадки выдавали человека деревенского. Она и была, очевидно, вдовой сгинувшего в море рыбака или огородника из окрестных мужиков. И вместе с тем эта неграмотная архангельская обывательница, слыхом не слыхавшая об асептике и антисептике, каким-то тайным, глубинным разумом дошла до необходимости стерилизовать составные части своей мази, постигла науку, по поводу которой великие умы биологической и медицинской науки спорили еще в 70-х годах девятнадцатого столетия. А может быть, кто знает, предки Веры Михайловны додумались стерилизовать входящую в мазь почву раньше Пастера и Листера? Во всяком случае, продержав казанок с землей в горячей печи с полчаса, Вера Михайловна выставила его затем во двор, под окно, будто и впрямь знала, что почвенные микроорганизмы не смогут развиваться при тридцатиградусных архангельских морозах.

Войно-Ясенецкий ни во что не вмешивался, он только наблюдал. Ему не впервой встречать деревенских баб-знахарок. Есть всегда что-то инстинктивное в их приемах, в отборе лекарств, в методах лечения. Инстинктивность эта не может не раздражать ученого и вместе с тем интригует его. Говорят, знахари жулики. Бог с ними, с жуликами. Но ведь есть среди народных лекарей и самородки, те, что ощупью доходят до больших открытий, до которых наука добирается через эксперимент и систему логических размышлений. Впрочем, что же гадать? Больные сами покажут, где правда, где ложь.

Первая больная, которую показала ему Вера Михайловна, пришла с обширной флегмоной голени. Стаскивая валенок, женщина стонала от боли. Хирург ощупал воспаленный участок и сразу обнаружил флюктуацию — движение жидкости в глубине ткани. Гной заполнил уже изрядное пространство. Такую больную следовало бы немедленно оперировать. Широко вскрыть гнойный очаг, промыть рану дезинфицирующим раствором, плотно забинтовать. Сколько раз Войно делал такие операции? Пятьсот? Тысячу? Он и сейчас, не размышляя долго, положил бы больную на операционный стол. Но где же она, эта операционная? Оставалось одно: смотреть, как Вера Михайловна своими маленькими ловкими ручками смешивает стерильную землю со свежей сметаной, добавляет мед, посыпает всю эту болтушку какими-то травками. Перевязав пациентку, Вальнева оставляет ее на полчаса посидеть, не надевая валенок. Через полчаса — первое чудо: нога не болит. Женщина без труда надевает валенок и уходит, почти не хромая. Повязка Вальневой снимает боль там, где ее не могли бы снять никакие ухищрения терапевта.

Через несколько дней — новое чудо: больная чувствует себя значительно лучше. Воспаление ослабело, болей почти нет, флюктуации в глубине ткани нет: гной исчез. Еще две-три перевязки — и пациентка здорова. Без операции!

Катаплазмы — зовет Вера Михайловна свои мази. Откуда взялось это странное слово, она не знает, не знает и механизма действия катаплазмы на гнойники. Ничего не знает, а может, очень много. Неделя за неделей проходят перед Войно ее больные. Удивление хирурга растет, но растет и число вопросов, на которые Вальнева не способна ответить. Катаплазмы, несомненно, действенны. Но как они «работают»? Почему гнойники рассасываются под повязкой в одних случаях и, наоборот, быстро вскрываются в других? Ну хорошо, мед — это еще можно понять. В мировой литературе есть сведения о том, что инфицированные раны хорошо заживают под повязкой, содержащей мед и. рыбий жир. Травы? Рябинка и чернобыльник давно известны как растения, богатые

эфирными маслами. О благотворном воздействии эфирных масел на инфицированные раны тоже можно прочитать. У русских и иностранных авторов. Но земля… Как и почему лечит земля?

Войно просит родных прислать ему специальные книги. Большинство авторов видит в почве только среду, содержащую опасных для человека возбудителей столбняка и сибирской язвы. Сама по себе земля по отношению к живому организму представляется исследователям нейтральной. И вдруг хирург обнаружил важное сообщение: в почве есть вещества, действующие аналогично половым гормонам. Вещества эти, если ввести их в рацион молодых животных, резко повышают их рост. «Гормоны почвы» поразительно стойки. Они остаются неизменными при температуре сто двадцать градусов, после того как большинство бактерий погибает. Уж не они ли, эти гормоны земли, помогают организму больного справиться с нагноением?

Теперь уже хирург не задерживается допоздна в поликлинике и больнице. Самое интересное ждет его дома. К Вальневой приходят больные с самыми различными страданиями. И она лечит, успешно лечит так называемые торпидные язвы, фурункулы, карбункулы, быстро справляется с ожогами, исцеляет воспаление надкостницы, исцеляет всевозможные абсцессы. Никакого обмана, никакой психотерапии. Профессор осматривает больных, когда они приходят впервые, и внимательнейшим образом следит за развитием болезни. Тут уж его не проведешь, гнойная хирургия — его епархия. Но однажды после приема в поликлинике профессор не вернулся домой. Он предпринял нечто такое, что никак не вязалось с его принципами. Отправился в Большой Дом, в дом, который занимали властители Северного края. Его цель — доказать властителям, что катаплазмы надо серьезно и немедленно изучать, изучать в медицинском учреждении под наблюдением врача. Иными словами, Веру Михайловну Вальневу надо пригласить в поликлинику, лучше всего в ту, где работает сам Войно-Ясенецкий.

Не способный ничего добиться для себя лично, Владыка Лука проявил на этот раз поразительную решимость. Он получил аудиенцию у одного из тех ныне прочно забытых вождей, который в начале тридцатых годов был на берегах Белого, Баренцева и Карского морей безраздельным хозяином всего сущего. То ли товарищ Прядченко находился в тот день в добром расположении духа, то ли на него произвела впечатление величественная фигура просителя, но он милостива выслушал ссыльного хирурга. И хотя мы не знаем о содержании той беседы, но без большой натяжки можем представить, что Войно говорил в кабинете Председателя Северного крайисполкома то же самое, что повторял уже не раз всем представителям Советской власти, с которыми приходилось ему толковать о своей профессии. Гнойные заболевания — один из самых важных отделов хирургии именно для рабочих, крестьян и красноармейцев. И в первом социалистическом государстве следует придавать этой области медицины первостепенное значение. Нужны специальные научно-исследовательские институты, специальные гнойные клиники, надо учить врачей приемам гнойной хирургии и искать повсюду новые антисептические средства.

Создавать в Архангельске институт гнойных болезней у товарища Прядченко охоты не было, но работать Вальяевой в поликлинике он милостиво разрешил. Войно вернулся домой окрыленный. Он нисколько не удивился своей победе, не ощутил, насколько она уникальна и хрупка. Наоборот, с удовлетворением отметил для себя, что советские руководители становятся разумней. Достаточно укрепившие свою власть режимы всегда объявляют себя покровителями наук и искусства. Очевидно, на пятнадцатом году существования и Советская власть ощутила наконец свою прочность. Ну и слава Богу.

Два дня спустя Вера Михайловна появилась в поликлинике, набросила на узенькие

плечи медицинский халат и, ничуть не смущаясь в новой обстановке, принялась готовить свои катаплазмы. Войне отбирал для нее наиболее трудных, запущенных больных, следил за действием повязок, фиксировал удачи и неудачи нового метода. Он давно не был так увлечен работой. Девять лет прошло с тех пор, как первый арест оторвал его от серьезных хирургических проблем. И вот теперь удалось наконец снова вернуться к настоящему делу. Конечно, профессор предпочел бы оперативную хирургию, но и лечение катаплазмами, эта своеобразная гнойная терапия, стоило того, чтобы им заниматься.

Мы легко поймем возбужденное состояние Войно-Ясенецкого, который наблюдает первых успешно излеченных катаплазмами гнойных больных, если вспомним, что описываемые события относятся к эпохе, когда в распоряжении врача не было не только антибиотиков, но и сульфамидных препаратов, медики ничего не слыхали ни о стрептоциде, ни о сульфидине. Идея Пауля Эрлиха о «большой стерилизации» (sterilisans magna), идея, которая казалась такой привлекательной в начале 20-х годов, к началу 30-х годов совсем захирела. Найти препараты, способные очистить ткани от микробов и в то же время не вредящие самому организму, оказалось делом безнадежным. Те антисептические вещества, которыми владела медицина, на каждом шагу показывали свою постыдную слабость. Гнойные процессы бесчинствовали и в терапевтическом, и в заразном, и в хирургическом отделениях больницы. Врач на каждом шагу капитулировал перед гноем. Об этом трагическом периоде хирург Сергей Сергеевич Юдин писал впоследствии:

«После 1925 года медики непрерывно искали универсальный тканевый асептик. И долгое время — безрезультатно. Перепробовали множество прославленных растворов. Препараты ртути и других тяжелых металлов сменялись то дериватами хинина, то хлорированными растворами, то всевозможными анилиновыми красками, то снова препаратами серебра (колларгол). Надолго водворился прославленный риванол. Затем снова хлорацид, хлорамин. Пробовали рентген-лучи, лучи ультрафиолетовые и инфракрасные. И все больше укреплялась мысль, что внутритканевая стерилизация принципиально невозможна».

Надо ли удивляться, если в обстановке, столь бедной надеждами, хирург Войно-Ясенецкий с энтузиазмом занялся повязками Вальневой. Ведь катаплазмы, как показывал опыт, не только задерживали развитие бактерий в ране, но еще и помогали заживлению. Несомненная действенность катаплазмов даже настроила хирурга на прожектерский лад. Снова, как и в камере ташкентской тюрьмы, этот неисправимый оптимист начинает сочинять проект крупного научно-исследовательского института, специализирующегося на исследованиях по гнойной хирургии и терапии. А вот почему бы Наркомздраву СССР действительно не создать такой институт? Времена, очевидно, изменились к лучшему. Нарком Владимирский не откажется теперь открыть институт пиологии, а заодно и пригласить такого опытного специалиста, как профессор Войно-Ясенецкий, заведовать на первых порах хотя бы лабораторией катаплазмов. Тем более что срок ссылки ученого подходит к концу, вожделенная свобода близка.

Войно охвачен энтузиазмом. Он пишет письмо наркому, рисует великолепные перспективы будущего института, предлагает примерный план предстоящих исследований. Второе письмо он адресует профессору Левиту. Владимир Семенович Левит, товарищ Войно по земским больницам, теперь возглавляет Биомедгиз. В его издательстве уже почти десять лет лежит рукопись «Очерков гнойной хирургии». На «Очерки» получены самые лучшие отзывы специалистов. Два раза делалась попытка

издать книгу, но всякий раз арест автора обрывал хлопоты издателей. Теперь, по мнению Войно-Ясенецкого, ничто не может помешать выходу в свет главного труда его жизни. Шестого мая 1933 года кончается срок ссылки. Самое позднее десятого мая он будет в Москве. Лучше пустить книгу в производство заранее, она поможет будущим сотрудникам института пиологии предварительно освоиться со сложной проблематикой гнойных заболеваний.

…Все время, пока я описывал жизнь Владыки Луки, я не переставал удивляться способности моего героя верить в неизбежное торжество справедливости. Он не просто верил, что «все образуется», но верил с каким-то даже упоением, закрывая глаза на все прошлые свои разочарования, обиды и неудачи. Политическая наивность и безграничное доверие к людям породили в его сознании некий неисправимый порок, избавить от которого не могли никакие ушибы судьбы. Общественная жизнь в ее жестких, бесчеловечных формах как-то ускользала от него. Он начинал замечать ее гримасы только тогда, когда они непосредственно касались его науки или его веры. Эта странная аберрация, очевидно, в чем-то была и благодетельна: в океане беззакония и безгарантийного существования Войно не страдал так, как должен был бы страдать на его месте всякий другой, «нормально» мыслящий ученый-интеллигент. Может быть, то был камуфляж, хитрая уловка человека, избегающего столкновения с реальной жизнью? Навряд ли. Все, кого я расспрашивал об этой особенности характера Войно, подтверждали: общественных механизмов Лука действительно не видел, а вовсе не делал вид, что не замечает их. Никакой симуляции, самый настоящий порок. Врожденный или благоприобретенный — Бог весть, но при всем том вполне натуральный…

Нарком Владимирский не ответил на письмо ссыльного профессора. Ничего странного — на письма рядовых, а тем более репрессированных граждан отечественные чиновники в ранге министра и выше не отвечают в нашей стране уже более полувека. Профессор Левит архангельскому изгнаннику ответил, но разъяснил, что, хотя «Очерки гнойной хирургии» современному врачу очень нужны, печатать их до возвращения автора из ссылки никак нельзя. Так что подождем…

До Москвы Войно не добрался ни в мае, ни даже в сентябре. Как и во время прошлой ссылки, его безо всякого объяснения продержали в Архангельске лишние пять месяцев. Выехать в Москву удалось лишь глубокой осенью. Но еще раньше ему пришлось испытать удар, которого он менее всего ожидал: товарищ Прядченко запретил работу с катаплазмами.

Сначала ничего вроде бы не предвещало беды. Наоборот даже: все хотели лечиться новыми средствами. Народу в тесном амбулаторном коридорчике становилось день ото дня все больше. Легко предположить, что пациентов привлек сенсационный дуэт научного профессорского авторитета и народного творчества. Но для сенсации были и другие причины: повязки Вальневой спасли несколько человек от неизбежной, казалось бы, ампутации. Об этом широко заговорили в городе. Неудивительно, что в амбулаторию народ повалил валом. Человек инстинктивно боится скальпеля, разреза, всего того, что может принести страдание, боль. Хирург, который лечит мазями, во сто крат предпочтительнее, чем хирург с ножом. Но как раз широкая огласка и погубила все дело.

В обществе, где законы не исполняются, а чиновник всемогущ, сдвинуть с мертвой точки любое, даже самое ценное и нужное в общественном смысле начинание можно только одним способом: обратившись к высшим инстанциям. Чаще всего инстанции делают при этом вид, что вашей жалобы никогда в природе не существовало, либо «отфутболивают» заявление тому самому чиновнику, на которого вы жалуетесь. Но очень

редко по причинам необъяснимым и таинственным сверху на гражданина ниспадает благодать. Его вопрос в одночасье решается самым благоприятным образом. Так было и с Войно-Ясенецким. В таких случаях не следует радоваться раньше срока. Бюрократический ларчик имеет еще один секретный механизм. Чиновник так называемого «среднего звена», которого вы так удачно обошли, ни за что не простит вам вашего успеха. «Среднее звено» считает всякое нарушение субординации опаснейшим прецедентом. Субординация — основа бюрократического мира. Что же будет, если каждый станет писать прямо в высшие инстанции, минуя низшие? Не-е-ет, этого допускать нельзя… Вчерашний счастливчик, добывший благоприятное решение по своему делу «наверху», должен твердо знать, что рано или поздно «среднее звено» с ним за это рассчитается. Знай свое место!

Своего места в архангельской субординации ссыльный профессор не знал. Но зато главный врач поликлиники, райздрав, горздрав и еще с полдюжины городских и краевых чиновников прекрасно знали, кто такой он и кто такие они. Не положено ссыльному Войно-Ясенецкому ходить к самому товарищу Прядченко. К самому — вот что их больше всего уязвило. Ведь САМ многих из них даже в лицо не знает, а если и вызывает в свой кабинет, то лишь для того, чтобы гаркнуть, выругать, застращать. А тут какой-то ссыльный…

В соответствии с традициями 30-х годов «дело о катаплазмах» сразу приобрело политический характер. «Ему, ссыльному попу, разрешили работать по специальности, его, ссыльного попа, приняли в наш советский коллектив, ему оказали доверие, а он в медицинское учреждение притащил безграмотную знахарку. И неудивительно: церковь всегда была и остается врагом науки, поборником мракобесия…» Очень все получалось складно, совпадало со схемой, с линией. Профессор Войно-Ясенецкий предложил коллегам прочитать лекцию о тех наблюдениях, которые удалось ему сделать над действием катаплазм, — его не пожелали слушать: «Сейчас надо говорить о потере бдительности в наших рядах, а не о каких-то там знахарских зельях». Даже товарищ Прядченко, который позволил изучать катаплазмы в поликлинике, получив «сигнал» о потере бдительности и о «вылазке классового врага», шарахнулся от своей тени. «Вылазка классового врага» не шутка. Товарищ Прядченко лучше, чем кто-либо другой в Северном крае, знал, насколько рискованно попадать человеку под это самое страшное заклинание эпохи. Сдрейфил Прядченко. «Шут с ними, с этими лекарствами. Своя рубашка ближе к телу…» И запретил.

Возвращение на свободу не развязало ни одного узла, завязанного ссылкой. Скорее, наоборот, возникли проблемы, о которых в Архангельске даже не думалось. В Москву Войно попал в последних числах ноября 1933 года. Четверть века спустя он так описал свой приезд:

«В Москве первым делом я явился в канцелярию Местоблюстителя Митрополита Сергия. Его секретарь спросил меня, не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. Оставленный Богом и лишенный разума, я углубил свой тяжкий грех непослушания Христову велению «Паси овцы Моя» страшным ответом «нет…» От Митрополита, возглавлявшего после смерти Патриарха Тихона Русскую Православную Церковь, Лука отправился в Министерство здравоохранения хлопотать об Институте гнойной хирургии. Нарком не принял его, но заместитель наркома, по словам Войно-Ясенецкого, отнесся к его планам «сочувственно». Обещал даже поговорить с Федоровым, директором Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ), которого вскоре ожидали в Москве. «Я очень обрадовался этому, — вспоминает Лука, — но…

Федоров отказался предоставить епископу заведование научно-исследовательским институтом. Мне некуда было деваться…»

Но почему, собственно, некуда? Ведь канцелярия Местоблюстителя Сергия предлагала епископу Луке на выбор несколько архиерейских кафедр. А кафедра — это и стол, и дом, и дело, ради которого десять лет назад Владыка сам счел возможным покинуть хирургию. Неужели две ссылки так изменили его? А может быть, просто испугался человек? Узнал, почем фунт лиха, каковы они, тюремные харчи, и решил — с меня хватит. Так поступали многие. Поступали, но на Войно-Ясенецкого это не похоже. И прошлое, и недалекое будущее епископа Луки, которое я знаю наперед, являют характер гордый, унижению страхом не подверженный. Тут другое. Деваться Луке осенью 1933-го некуда совсем не потому, что испугал его крест церковной службы и почти неизбежный вслед за принятием кафедры арест. И не потому даже, что Ташкентский архиерей Арсений недвусмысленно объяснял Луке, что двум епископам в одной епархии, как равно и двум медведям в одной берлоге, пребывать несподручно.

Напрасно беспокоился Арсений Ташкентский. Совсем иное томило Войно-Ясенецкого холодной слякотной осенью в промозглой Москве. Наукой хотелось заниматься Луке, о хирургии он мечтал. Натосковался он по настоящему делу. Зная подлинные свои возможности, захотел вновь испытать себя в серьезных операциях. Да и возраст подошел солидный — пятьдесят шесть, надо торопиться, творческий век клонится к закату. А мыслей интересных еще много, и силы не растрачены. Сейчас самая пора: весь богатый опыт — людям, врачам. Чтобы идеи и методы гнойной хирургии окрепли, вошли в сознание тысяч медиков, нужны ему если не институт, то хотя бы кафедра, лаборатория. Нужно публиковать статьи, выпускать атласы и монографии, выступать с докладами на Хирургическом обществе. Ох, как хочется всего этого: торжественного, строгого рукодействия в операционной, тишины анатомического театра, блестящих глаз в аудитории. Как пробудившийся в чреве матери плод, проснулась в душе Войне и принялась настойчиво толкаться мысль о том, что без науки нет ему жизни, что он ученый и надо отстаивать свою науку и себя в науке.

В старости, описывая это острое, внезапно проснувшееся чувство, он жестоко корил себя. В «Мемуарах» почти каждая вторая фраза о московских треволнениях начинается словами «покаяния»: «Оставленный Богом и лишенный разума, я…», «На радость дьяволу и на погибель себе я…» А между тем даже самый строгий судья не обнаружил бы греха в той страсти к творчеству, которая охватила ученого-христианина после стольких лет прозябания в провинции. Всякий другой на месте Войно-Ясенецкого причину крушения своих надежд увидел бы в злоупотреблениях власти. И далее, в соответствии с личным характером, либо излился во внутреннем бунте и негодовании, либо попытался обойти, обмануть чиновников. Для Войно невозможны оба пути. Обманывать он не умеет, а предъявлять претензии к чиновнику, к власти считает бессмысленным. Ход мировых событий определяет в конечном счете высшая воля. Противиться ей невозможно. Таковы основы веры.

Но, кроме веры, есть еще наш характер. Решительный, даже подчас слишком прямолинейный по натуре хирург заметался в том замкнутом пространстве, которое сам для себя выстроил. Отказ в министерстве, невозможность ехать в Ташкент, неутолимая тяга к хирургии, осложнившиеся отношения с канцелярией Местоблюстителя — все это смешалось для него в хаотическое нагромождение бед, нагромождение, с которым, казалось, невозможно было справиться. Свобода, дарованная без права пользоваться ею по своему вкусу и желанию, обернулась постылой, бессмысленной. Лука впал в душевную

прострацию, поступки его на какое-то время стали хаотичными и противоречивыми.

«…На обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал мне ехать в Крым. Без всякой разумной цели я последовал его совету и поехал в Феодосию… Питался в грязной харчевне, ночевал в доме крестьянина и, наконец, принял новое бестолковое решение — вернуться в Архангельск. Там месяца два снова принимал больных в амбулатории». Весной 1934 года, «немного опомнившись». Лука все-таки поехал в Ташкент: хотелось повидать детей, Елену и Валентина. Но долго оставаться в городе, мешая митрополиту Арсению, совесть ему не позволила. Да и хирургическую работу местные чиновники ему не давали. Оставалось одно: уехать в провинцию, забыть мечты о науке и тянуть лямку в какой-нибудь больничке на два десятка коек. Войно выбрал Андижан. Туда его брали хирургом-консультантом в городскую больницу, не имеющую гнойного отделения. И то слава Богу.

В Андижане, маленьком узбекском городке в двух-трех сотнях километров от Ташкента, Войно получил наконец долгожданную возможность оперировать. Больничная операционная, правда, невелика и не слишком комфортабельна, но после архангельской амбулатории она должна была казаться хирургу вполне пристойной. Тем более что андижанские медики приняли профессора почтительно. Его просили читать курс хирургии для специалистов и в том числе сделать несколько докладов о хирургическом лечении злокачественных опухолей. В конце концов и в провинции делаются научные работы, создаются научные школы. Ведь защитил же когда-то сам Войно докторскую диссертацию, заведуя переславльской больничкой на тридцать пять коек.

В Андижане работается хорошо, быт устроен, но покоя в душе по-прежнему нет. Жизнь отравлена мыслью о совершенном грехе. Отклонив архиерейское служение, он, несомненно, прогневил Бога. Каждую свою неудачу в операционной или в палате хирург рассматривает как посланное свыше наказание.

И уж совсем явственным выражением божественного негодования чудится ему трагическая болезнь, лихорадка папатачи, которая поразила его в Андижане месяца через два после приезда. Болезнь осложнилась отслойкой сетчатой оболочки, возникла реальная угроза потерять левый глаз. Пришлось оставить гостеприимный Андижан и искать помощи в Москве. Столичные врачи незадолго перед тем освоили операцию швейцарского окулиста Гаэмма, с помощью которой удавалось закреплять сетчатку на месте и тем спасать больным зрение. Профессор-окулист Одинцов оперировал Войно дважды. Первая операция не удалась. В «Мемуарах» Лука так описал свое душевное состояние в эти дни: «Я лежал с завязанными глазами после операции, и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии. Я обдумывал, как снова написать об этом наркому здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и теперь, через много лет. Мне приснилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви, неподалеку от алтаря, у стены стоит рака какою-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, а на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы. Я читаю им лекцию по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором. Я с ужасом проснулся. Непостижимо для меня, что и этот страшный сон не образумил меня». Пока Войно лежал после второй операции с завязанными глазами, произошло еще несколько событий,

которые он также отнес к разряду предупреждений свыше. В Москву из Ленинграда выехал старший сын Владыки Михаил Валентинович. Добраться до столицы ему, однако, не удалось: поезд потерпел крушение. Михаил Войно получил несколько ран, в том числе и тяжелейший перелом ноги. Его доставили в одну из больниц Ленинграда. А вслед за тем из Москвы в Ленинград примчался Лука. Он покинул глазное отделение раньше срока, надеясь помочь сыну. Михаилу он не помог, а себе повредил: недолеченный глаз погиб окончательно.

Беды, обрушившиеся на его семью (в те же дни попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым нервным срывом второй сын, Алексей), епископ Лука иначе как наказанием не называет. Слову этому придает он откровенно мистический характер. Он молится, кается, страдает, но… с хирургией не расстается. Тяжба с самим собой, неприметная для окружающих, но изнурительная для него самого, тянется почти три года. Она продолжается и после того, как профессор получил небольшое хирургическое отделение в ташкентской больнице «скорой помощи». В чем суть внутреннего ратоборства? Спор в душе ученого шел отнюдь не между верой и научным мировоззрением. Вера была крепка, и научный поиск никак не покушался на ее основы. Луку волновало другое: допустима ли для епископа работа в операционной, работа с трупами? Будет ли Бог достаточно снисходителен к тому, кто во имя любой другой идеи откажется от пастырского обета?

Может быть, никогда бы и не узнали мы о давнем душевном разладе, если бы уже окончательно ослепший и больной, преосвященный Лука не продиктовал своему секретарю в 1958 году следующие строки:

«Более двух лет я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные открытия. Собранные… наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для моей книги «Очерки гнойной хирургии». В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: «В этом не кайся!» И я понял, что мои «Очерки гнойной хирургии» были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды». Тяжелые переживания 1934 года несколько рассеялись к осени, когда вышли из печати «Очерки гнойной хирургии». То была лишь малая часть того, что Войно написал по этому поводу, но и в таком, урезанном, виде он ждал свою книгу более десяти лет. Ждал с нетерпением. В этот скромный томик была вложена почти вся его жизнь. И, действительно, если мы перелистаем монографию, то по датам приведенных в ней историй болезни обнаружим: автор писал ее с того самого времени, как стал врачом. Истории болезни позволяют не только проникнуть в судьбы пациентов, но и проследить за беспокойной скитальческой жизнью самого медика. Вот «старик огромного роста и богатырского сложения вошел, пошатываясь, в амбулаторию Ардатовской земской больницы». На страницы монографии этот старик с карбункулом нижней губы явился из далекого 1907 года. Вестником того времени, когда Войно работал в Романовской больнице, явился молодой крестьянин Григорий И. с фурункулом на щеке. Одиннадцатимесячную крестьянскую дочь Валентину Д. Войно оперировал в Переславле в 1916-м. А «Илья Ж., ученик, 16 лет, был ранен на улице Ташкента 28 октября 1917 года разорвавшейся над ним шрапнелью» — это уже память о жертвах революции. Так и умер шестнадцатилетний Илья от гнойного процесса в мозгу. Хирург ничего для него сделать не смог. А Валентине Д. удалось помочь и Григорию И., и старику богатырю тоже. Почти тринадцатилетний опыт представил доктор медицины Войно-Ясенецкий на суд своих товарищей в надежде, что

труд его поможет им разобраться в сложнейших проблемах гнойной хирургии, области, которую сам он постигал тяжелым трудом, постигал самоучкой.

Это первое издание «Очерков» имело для него еще и сугубо личный смысл. После десяти лет изгнания и непризнания он вновь заявил о себе как крупный оригинальный ученый, как первооткрыватель в малоисследованной области хирургии. Теперь-то уж никто не сможет отказать ему в праве занять достойное положение, никто не закроет перед ним двери операционной и студенческих аудиторий. Так ему казалось.

Сорок лет спустя я опросил нескольких опытных хирургов, что они думают об «Очерках гнойной хирургии». Люди младшего возраста читали более поздние издания, старики помнили еще первую серенькую книжку, появившуюся в 1934 году, но и те, и другие вспоминали монографию как одно из самых блестящих произведений хирургической мысли. Ее ставили в ряд со всемирно известными монографиями французского хирурга Г. Мондора и блестящими по стилю книгами нашего соотечественника Сергея Юдина. «По своему значению книга Войно-Ясенецкого остается непревзойденной и поныне», — написал заслуженный врач СССР Борис Львович Осповат, проработавший в хирургическом отделении Боткинской больницы пятьдесят лет. «Пожалуй, нет другой такой книги, которая была бы написана с таким литературным мастерством, с таким знанием хирургического дела, с такой любовью к страдающему человеку». Таково мнение об «Очерках» хирурга В. А. Полякова из Центрального института травматологии и ортопедии.

Профессор-хирург А. В. Барский из Куйбышевского мединститута дополняет: «Вероятно, еще не одно поколение хирургов, читая эту книгу, будет учиться наблюдательности, клиническому мышлению, умению научно осмыслить и обобщить свои наблюдения».

Интересно, что к хвалебному хору присоединился совершенно незнакомый с медициной пожилой инженер из Саратова. Случайно во время командировки гостиничный номер свел его с врачом, у которого оказался с собой том «Очерков гнойной хирургии». Прочитав первую строчку, инженер увлекся книгой и читал ее всю ночь, пока не завершил последнюю страницу. «Конечно, я понял далеко не все, — признался он мне, — но осталось чувство, что я не столько читал учебник, сколько беседовал с добрым и мудрым доктором, которому я не задумываясь доверил бы свою жизнь».

В то, что сочинению Войно-Ясенецкого предстоит большая и славная жизнь, верил и его редактор профессор В. С. Левит. В кратком предисловии он писал: «Я не сомневаюсь в том, что настоящей книге, оригинальной по замыслу и исполнению, будет оказан теплый прием не только со стороны молодых начинающих хирургов, но и более опытных, которые найдут для себя много ценного и интересного».

Но… «нет пророка в своем отечестве». Ни надежды профессора Левита, ни ожидания Войно-Ясенецкого не сбылись: современники монографию «не заметили». В журнале «Хирургия», правда, промелькнула доброжелательная заметка проф. Салищева. Но — и только. Монографию не обсудили ни члены ученого совета Ташкентского медицинского института, ни Ташкентское хирургическое общество. Узбекский официоз «Правда Востока», восторженно встречавший каждое самое скромное достижение местных ученых, по три-четыре раза в году публиковавший статьи любимца властей профессора М. И. Слонима, даже малой заметкой не известил читателей о появлении монографии Войно-Ясенецкого. Заговор молчания носил явно политический характер.

Неприятие современниками талантливых и даже самых великих книг в истории науки не редкость. В свой черед были отвергнуты труд Николая Коперника о строении

Солнечной системы, трактат Вильяма Гарвея о кровообращении, сочинения основоположника анатомии Андрея Визалия. Претерпели поношение и классическая монография Чарлза Дарвина о происхождении видов, и рукопись Николая Лобачевского о неэвклидовой геометрии. Порой споры ученых затемнялись вмешательством церкви, но чаще речь шла просто о завистниках и посредственностях, не желающих или не способных постичь то, что открылось умам выдающимся. С книгой Войно случилось иное. Те, кому ведать надлежит, сразу поняли ее громадное значение и именно поэтому предприняли все, чтобы монография осталась незамеченной. Для этого даже окрика сверху не понадобилось: советские люди начала 30-х уже хорошо разумели, что делать можно и чего не следует. О книге недавнего ссыльного епископа Луки писать не полагалось. «Очерки» повторили судьбу своего автора: о книге, как и о нем самом, боялись не только писать, но даже упоминать в разговоре. Не научное, а политическое табу сковало уста ученых современников.

Та внутренняя деформация, которой подверглась интеллигенция России за первые семнадцать лет новой власти, выразилась не только во всеобщем послушании и страхе. В среде «белых воротничков» возник слой людей, которые уже не за страх, а за совесть начали проводить в жизнь систему послушания. Несколько лет назад мой друг и герой моих книг, талантливый ленинградский профессор-фармаколог Николай Васильевич Лазарев (1895—1974) сказал мне: «Я рад, что ухожу сегодня с научной арены. В науке, заполненной чиновниками, работать стало невозможно». Процесс, который в конце 60-х годов вытеснил профессора Лазарева из его лаборатории, начался почти сразу после революции. В 30-х чиновник от науки уже чувствовал себя заметной фигурой, в 40-х стал фигурой главной, в 60-х — решающей.

Именно от них, от этих быстро плодящихся псевдопрофессоров и квазидоцентов, зависела судьба Войно-Ясенецкого в Ташкенте. Механика их возвеличивания довольно однообразна. Предвидя для себя известные выгоды, инженер Н. или врач М. вступал в партию. Ему предлагалось оказать властям несколько услуг, и, если выяснялось, что неофит не брезглив, перед ним открывалась гарантированная служебная и научная карьера. Такие люди постепенно занимали все посты в руководстве институтами, кафедрами, лабораториями, клиниками. По какой-то странной корреляции политическая всеядность редко сопутствует творческой одаренности. Новая власть «исправила» этот недостаток природы. Недостаток исследовательских работ чиновник начал восполнять должностным положением, а служебный апломб возместил ему научную беспомощность.

Одним из тех, кто наилучшим способом усвоил выгоды новой системы, был ташкентский хирург профессор Иван Иванович Орлов. Малоинтеллектуальная физиономия его сохранена для потомства в книге «Двадцать лет Ташкентского медицинского института им. В. М. Молотова», Ташкент, 1939 год. Портрет профессора Орлова стоит в этом сочинении четвертым после Ленина, Сталина и Молотова. Еще бы! Ведь Иван Иванович занимал пост наркома здравоохранения Туркреспублики еще в 1918 году. О хирургическом мастерстве Орлова, который и в 1934 году продолжал занимать ключевые должности в медицине Узбекистана, рассказала мне врач Мария Борисовна Левитанус. В начале 30-х годов она вместе с Войно работала в хирургическом отделении больницы «скорой помощи».

«Валентин Феликсович нетерпимо относился к каждому случаю медицинского невежества, — вспоминает доктор Левитанус. — Особенно волновался он, когда к нам в больницу приходили люди с запущенными флегмонами кистей рук. У В. Ф. это вызывало даже озлобление какое-то. «Как же человек работать будет? Ему же, рабочему, рука

нужна! Какое невежество допустить больного до такого состояния!» Такие больных нередко поступали из клиники профессора Орлова. В. Ф. негодовал: «Зачем он столько времени держал больного, если не может справиться, не способен оперировать?» Всегда спокойный и сдержанный В. Ф. в подобных случаях мог выйти из себя, и тогда мы слышали от него: «Ох, уж этот Ванька Орлов!»

«Ванька Орлов» и подобные ему определяли в ту пору, чему быть и чему не бывать в научно-медицинском мире Узбекистана. Определяли, естественно, исходя из общественных интересов, но не забывая и личных. По психологическому складу чиновник всегда готов подозревать одаренного человека в склонности к конкуренции. Войно был одарен и вдобавок знаменит. Орлов это знал. Знал и огорчался. В таких случаях первая и наиболее естественная реакция — задушить конкурента, так сказать, превентивно, загодя. Орлов сделал все что мог. Вернувшемуся из ссылки «попу» запретили работать в Ташкенте, потом удалось замолчать выход в свет его книги. Но то были меры пассивные. Для чиновника же намного предпочтительнее борьба, в которой он, чиновник, может пустить в ход свои административные связи: оглоушить, к примеру, конкурента статьей в газете. Статейки тех лет били наповал. «Правда Востока» буквально пестрела заголовками такого, например, зубодробительного стиля: «Кулацкие саботажники на хлопкозаводе» (4 февраля 1935 г.), «Троцкист Рафиков и его пособники» (21 февраля), «Преступники разваливают мясокомбинат» (10 июля). А 15 июля 1935 года жители республики, взяв в руки газетный номер, могли прочитать заметки: «Разоблаченный басмач», «Негодяй с высшим образованием», корреспонденцию с невразумительным, но достаточно угрожающим названием: «Сломить саботаж тракторной культивации» и, наконец, статью, публикуемую с продолжением: «Оппортунистические группировки в партии и борьба с ними». На этом фоне статья «Медицина на грани знахарства» никого особенно не удивила. В полном соответствии с нравами эпохи шесть членов президиума Хирургического общества во главе с профессором И. И. Орловым писали, что на грани знахарства находится профессор Войно-Ясенецкий. Появлению статьи предшествовали следующие обстоятельства. В конце 1934 года, получив гонорар за свою книгу, Войно вызвал из Архангельска Вальневу. Он сам оплатил ее проезд и пребывание в Ташкенте ради того лишь, чтобы продолжить исследование катаплазмов. Серьезный во всем, он и в этом был абсолютно серьезен. Лекарство северных рыбаков и огородников должно быть передано медицине научной. Как всегда, когда дело шло о медицине, об интересах больного, Войно проявил поразительную энергию: выступил перед ученым советом наркомздрава республики и так увлек членов совета рассказом о действии катаплазмов, что Вальневой разрешили работать под его руководством в больнице «скорой помощи». Ученый совет даже проголосовал за выделение на опыты специальной суммы.

«И вот пришла к нам в больницу эта Вера Михайловна, — вспоминает доктор М. Б. Левитанус. — Маленькая, невзрачная, лет примерно шестидесяти, очень молчаливая, не имеющая никакого понятия об асептике и антисептике. Надели на нее халат и привели в перевязочную. Появление этой старушки очень нас (молодых врачей. — М. П.) возмущало и нервировало, но большое уважение к Валентину Феликсовичу сдерживало, и мы терпеливо с ней мирились». Вскоре, однако, антипатия и недоверие врачей к Вальвевой сменились живым интересом. Доктор Левитанус рассказывает:

«Мы проводили такие эксперименты: поступает, предположим, больной с ожогом обеих конечностей. Одну руку мы лечим катаплазмами, а другую обычными своими мазевыми повязками. Поразительно, что повязки с катаплазмами сразу снимают боль.

Эту руку больной совершенно не чувствует. Повязка Вальневой прекрасно всасывает отделяемое раны, в то время как повязка обычная присыхает, там кровь и гной. Перевязка этой второй руки доставляет больному страдания. Грануляция после катаплазмов пышная, прекрасная, а на другой руке она легко повреждается и кровоточит. В конце концов, видя такие результаты лечения, мы примирились с Верой Михайловной, терпели ее, глубоко уважая Валентина Феликсовича». Та почтительность, с которой в тридцатые годы молодые врачи советской формации относились к профессору-епископу, не имела никакого отношения к его церковному прошлому. Совсем наоборот. Подлинное дитя своего времени, яростная комсомолка-общественница («…В 1922 году в городе Джамбуле я первая из девочек-школьниц вступила в комсомол…»), позднее орденоносец, член партии с 1938 года, Мария Борисовна Левитанус любила Войно, не имея ни малейшего понятия о подлинном внутреннем мире учителя. Как и другие молодые врачи отделения, она была даже уверена, что Войно «не принадлежит к числу глубоко верующих. Врач-материалист, как он может верить?! Нам всем казалось, что его привлекает красота церковных обрядов, блестящее облачение…»

Врач Левитанус донесла свои юношеско-инфантильные, весьма сомнительные общественно-политические представления до наших дней. И эта духовная законсервированность делает ее рассказы особенно для нас интересными и достойными доверия. Пожилая, прекрасно сохранившаяся дама с властными интонациями в голосе в точности повторила в 1972 году все то, что она думала о своем учителе четыре десятка лет назад.

Что же пленяло ее и других врачей больницы «скорой помощи» в их заведующем? Прежде всего его великолепные операции, его талант диагноста, готовность в любой час суток прийти на помощь больному. Богатый опыт профессора молодежь принимала не враз и не на веру. Младшие тут же, в отделении, в процессе работы могли проверить каждое слово, каждый прием учителя. Так на собственном опыте убедились они в несомненной пользе катаплазмов. Когда мыслящий научными категориями человек видит какое-то явление и опыт подтверждает ему, что явление это реально существует, он принимает его, не справляясь об источнике. Нельзя отталкивать любой, действительно помогающий лечебный препарат или метод только потому, что он вышел не из недр академического института. Рядовые врачи из больницы «скорой помощи» дошли до этой истины сравнительно легко и простили Вальневой незнакомство с институтским курсом фармакологии. Но то, что естественно для практического медика, который видит воочию, что больному помогает, а что вредит, то недоступно чиновнику, глядящему не на раны, а в инструкцию. Через несколько месяцев после приезда Вальневой в Ташкент опыты с катаплазмами были в больнице запрещены. Войно, однако, свои эксперименты не прекратил. Он только перенес их из больницы в другое место, может быть, в квартиру, где жила Вальнева, а возможно, в какую-нибудь приютившую его маленькую амбулаторию. Впоследствии он писал, что после запрета «получил возможность продолжать наблюдения над катаплазмами и вел их шесть месяцев в самой убогой обстановке». Но и это его не остановило. Накопив 230 наблюдений на больных, он выступил снова, теперь уже в Хирургическом обществе, и рассказал о чрезвычайно ценных полученных им результатах.

Ташкентские медики вспоминают заседание, на котором выступил профессор Войно-Ясенецкий, как событие необычайное. В Большом зале медицинского института собрались едва ли не все медики города. Желающих выступить оказалось так много, что часть прений пришлось перенести на следующий день. Могло показаться, что решается

вопрос о лечебном препарате, но бурное поведение зала, горячность ораторов и нервозность председательствующего профессора Орлова свидетельствовали: обсуждались не только катаплазмы. В зале мединститута столкнулись две точки зрения, две непримиримые позиции в науке. Имеет ли право ученый свободно выбирать тему исследования? Вправе ли он заниматься любыми опытами, которые, по его мнению, принесут пользу больному? Эти тезисы оспаривали те, кто науку, как и любую другую творческую деятельность, хотел бы взять под жесткий контроль администрации, те, кто хотел бы в личных видах запрещать все, что им не угодно.

Едва ли профессор Войно-Ясенецкий, чей доклад разжег все эти страсти, сознавал, какие подлинные, до поры до времени тщательно скрываемые противоречия всплыли вдруг в этом рале. Он говорил лишь о том, что настоящий врач никогда не должен отвергать знаний, которые накопил народ, что априорное пренебрежение к любому чужому опыту унижает ученого. Он призывал к независимому мышлению, самостоятельному поиску научной правды. Но странное дело: банальные истины его юности в 1935 году звучали почти бунтарским призывом. О них спорили, их возносили и поносили. И независимо от того, понимал или не понимал Войно суть возникшего вокруг него столкновения, именно он, с непреклонным его правдолюбием и стремлением к свободному поиску, стал в эти дни знаменем лучшей части ташкентской врачебной интеллигенции. За катаплазмы выступало во много раз больше медиков, чем против. Да и аргументы у тех, кто требовал, чтобы Войно-Ясенецкий продолжал свои опыты, оказались более убедительными. В прениях сторонники административного зажима и запретов оказались разбитыми наголову. Но в том-то и сила всякой администрации, что она остается после того, как собрание, метавшее громы протеста и стрелы сарказма, разбредается по домам. Оставшись после заседания Хирургического общества в кругу «своих», Орлов деловито разработал план изничтожения противника. Статья «Медицина на грани знахарства» стала его местью за солидные научные аргументы сторонников Войно, за унижение, которому подверглись чиновники от науки во время свободной дискуссии. Как писать такие статьи, профессор Орлов знал хорошо. На пороге 1937 года стиль клеветнического политического доноса был разработан до тонкостей. В начале такого документа полагается произвести всплеск демагогии:

«В противоположность буржуазным странам, в СССР ценные новые предложения неизменно встречают поддержку партии и правительства. Для осуществления их, в частности в области медицины, создаются специальные институты» и т. д. Затем переход на личности:

«Но при выдвижении предложений должна быть проявлена научная добросовестность и честность, которым, к сожалению, не всегда следуют. Примером может служить процесс доктора Кудрявцева в Москве и выявление целого ряда «целителей», действующих нередко в целях, не имеющих никакого отношения к науке». Теперь, когда вы бросили на своего противника тень, связали его имя с осужденным жуликом и различными проходимцами, дайте ему еще раз поддых и беритесь за его сторонников:

«Все взятое из недр народной мудрости должно быть преломлено в свете наших современных знаний, проверенных в эксперименте, клинически изучено, а затем уже пущено в практику. При несоблюдении этих условий предложения, сделанные даже большим хирургом, ничем не отличаются от простого знахарства (так его!). И это наложило свой отпечаток на характер самой работы, ее освещение и на характер некоторых выступлений врачей, пытавшихся создать вместо научного обсуждения

атмосферу демагогии и митингования». Ну вот, не слишком складно, но зато дано всем сестрам по серьгам. Чтобы не разводили атмосферу демагогии и митингования в казенном доме.

В заключительных строках своей статьи-доноса Орлов еще раз (чтобы не забывалось!) назвал катаплазмы «опасным знахарским средством», а в тексте как бы между прочим добавил, что Войно-Ясенецкий: а) рекламист; б) не умеет лечить гнойные заболевания хирургически, а потому и занялся катаплазмами: в) составных частей мази Вальневой тоже не знает; г) бездумно рискует жизнью доверившихся ему больных. И все это напечатали. Правда, «в порядке обсуждения».

Но какое уж там обсуждений. По логике эпохи статья Орлова должна была наповал сразить Войно-Ясенецкого. По газетным обвинениям куда более скромных людей отдавали под суд, отправляли в лагеря. Но на сей раз верный механизм почему-то не сработал. Войно-Ясенецкого не посадили ни в апреле, ни в мае. Возможно, ташкентское начальство решило приберечь хирурга на случай личной нужды: мало ли что, а вдруг напорешься на ржавый гвоздь. Не к коновалу же Орлову идти лечиться…

А в июне произошел случай, который в глазах среднеазиатского начальства вознес профессора в полном смысле слова до небес. И враз померкла орловская кляуза. Началось с того, что в Институт неотложной помощи, где работал Войно, прибыла правительственная телеграмма из Таджикистана. Хирурга приглашали вылететь в таджикскую столицу Сталинабад (Душанбе) для срочной консультации. Такие же телеграммы поступили в совнарком и наркомздрав Узбекистана. Дело по тем временам случилось действительно не шуточное. На Памирево время альпинистского похода заболел видный партиец, бывший личный секретарь Ленина, управляющий делами Совнаркома Н. Горбунов. Врачи диагностировали аппендицит. Местный хирург иссек аппендикс, но занес в операционную рану чрезвычайно опасную анаэробную (развивающуюся без кислорода) инфекцию. У больного сделалась так называемая «бронзовая рожа» — гангрена клетчатки, окружающей кишечник. Будь Горбунов рядовым гражданином, он, несомненно, умер бы в сталинабадской больнице, где никто из врачей не мог распознать суть его заболевания. Но по своему чину высокопоставленный альпинист имел право на самую квалифицированную помощь, какая только существовала в стране. Вдобавок о его здоровье запросил из Москвы сам Молотов. Республиканское начальство пришло в смятение. И тут кто-то вспомнил про ташкентского хирурга-епископа. В другое время, прежде чем обратиться к столь одиозной личности, власти серьезно подумали бы. Но теперь думать было некогда. Умри Горбунов в Таджикистане, многие из них потеряли бы партбилеты, службу, а, кто знает, может быть, и голову. Выбора не было. В Ташкент посыпались истерические телеграммы…

До этого случая Войно никогда по воздуху не летал. Однако, услышав о тяжелом больном (социальное положение пациента его никогда не интересовало), он без лишних разговоров сел в кабину санитарного самолета и, прихватив на случай качки эмалированную мисочку, пустился в путь. От Ташкента до Сталинабада по тем временам лету было часа три. Прямо с аэродрома совнаркомовская машина доставила хирурга в больницу. Жизнь Горбунова висела на волоске. Сталинабадские врачи, те вообще считали его обреченным. И были близки к истине: жить их пациенту оставалось несколько часов, если бы не Войно. Распознав болезнь, он потребовал доставить противогангренозную сыворотку, а сам приступил к операции. Хирург предпринял то единственное вмешательство, которое способно было остановить трагический ход событий: рассек больного почти пополам, от пупка до позвоночника, широко раскрыв операционную

рану, впустил воздух в брюшную полость. Инфекционный процесс разом захлебнулся: возбудитель гангрены не переносит кислорода. Подоспевшая вовремя сыворотка добила инфекцию. Больного удалось спасти. У таджикских вождей отлегло от сердца. В Москву полетели победные реляции.

Операция в Сталинабаде в одночасье изменила общественный статус Войно. Увидав, как великолепно хирург справился с, казалось, безнадежной болезнью, местные чиновники решили оставить Войно в Таджикистане. Была дана команда переманить ташкентского профессора. В Сталинабаде хирург жил у своего старшего сына, Михаила. Михаил определился как специалист-патологоанатом и вместе с женой Машей остался работать в Таджикистане. Молодые Войно-Ясенецкие ждали ребенка. Первый внук Луки родился 31 июля, а примерно за неделю до того, вечером, когда семья сидела за чаем, в квартире появились двое, таджик и русский — члены местного правительства. Завязалась беседа, о которой Мария Кузьминична Войно-Ясенецкая рассказывает следующее.

Сначала гости толковали об удачной операции, о здоровье товарища Горбунова, о первом полете профессора по воздуху. Потом со всеми восточными онерами один из гостей стал приглашать Войно перебраться в Сталинабад, сказал, что правительство предложит ему должность главного хирурга республики.

— Что ж, я не прочь, — ответил Лука, — город ваш мне нравится. И новый корпус больницы хорошо отстроен. И родные мои здесь. Одно плохо: церкви у вас нет. В Ташкенте есть, а у вас нет. Постройте церковь, и я охотно перееду.

Члены правительства замялись. Войно же, будто не замечая их смущения, как о чем-то самом естественном, продолжал говорить, что строить в Сталинабаде умеют, вот построили в центре города почту. Красиво, даже богато. Пусть и церковь построят. Не надо тратиться так, как на почту. Для церковного здания совсем не обязательны богатая лепка и роспись… В предложении Войно не было и намека на вызов или ультиматум. Просто для естественного каждодневного существования ему необходима была церковь. Он и сказал об этом безо всяких обиняков. Гости сникли, перевели беседу на другое и вскоре ретировались. В пору, когда по всей стране храмы взрывали или превращали в хранилища для картошки, даже разговор в постройке церкви представлялся рискованным.

На высокую должность в Сталинабаде Войно-Ясенецкий не поехал, но в Ташкенте отношение к нему явно переменилось. Профессора стали приглашать на консультации к высокопоставленным лицам, ему разрешили читать лекции на курсах повышения квалификации врачей. Ташкентское начальство даже сделало вид, что забыло о своем запрете лечить катаплазмами. Запрет не сняли, но опыты с мазями Вальневой продолжались. Чтобы детально исследовать свойства катаплазмов, Войно привлек шесть профессоров и среди них микробиолога, фармаколога и даже физиолога для опытов на животных. Результаты этой совместной работы камня на камне не оставили от обвинений Ивана Ивановича Орлова. В доантибиотическую эпоху у катаплазмов были все основания, чтобы стать благодетелями гнойных и ожоговых больных. Но для этого следовало публично опровергнуть обвинения Орлова. И вот случилось чудо: профессор Войно-Ясенецкий, официально в газете обвиненный в знахарстве и прочих малодостойных поступках, получил возможность открыто, в той же газете опровергнуть возводимые на него обвинения.

Я говорю о чуде совсем не в переносном смысле слова. У советских людей вот уже более 70 лет как отнято право отвечать в газете на нападки прессы. То, что на Западе

является естественным следствием разнопартийности и беспартийности газет, у нас полностью запрещено. Случается еще, что советская газета публикует опровержения, если затронуты интересы учреждения или общественной организации. Но несправедливо обиженная или оклеветанная личность не имеет решительно никакой возможности постоять за себя в открытом споре на газетной полосе. И тем не менее однажды это случилось. Ровно через год и три месяца после появления в «Правде Востока» статьи «Медицина на грани знахарства» та же газета поместила опровержение доктора медицины В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Примечателен самый стиль опровержения. Можно класть в заклад голову, что за десять лет до того и двадцать лет после «Правда Востока» ни разу не опубликовала на своих страницах ничего подобного. Таким стилем в советских газетах не пользовались ни в тридцатых годах, ни в сороковых, ни в пятидесятых.

«В 1790 году, — начинает Войно-Ясенецкий, — у Жюльяка в Гаскони упал метеорит. Начальство этой провинции отнеслось к явлению с достойным похвалы благоразумием: был составлен протокол, подписанный 300 очевидцами. Но когда этот документ представили в Парижскую Академию, то официально подтвержденное известие она сочла просто глупостью. Ученый Штютц сказал: «Только люди совсем невежественные в естествознании могут верить, что камни падают с небес».

С тех пор прошло много времени, советские ученые давно сняли мантии и береты, и президиум Ташкентского хирургического общества вместе с нами посмеется над научным чванством и глупостью парижских академиков. Однако в статье «Медицина на грани знахарства» он продемонстрировал обычную для всех времен враждебность ко всякому смелому научному новшеству и очень узкое понимание научности. Бросается в глаза его предвзято недоброжелательное отношение к народной медицине, для которой всегда наготове клеймо «знахарство».

Напомнив, что его обвиняют в отсутствии научного контроля и в том, что он не опробовал действие препарата на животных прежде, чем начал лечить людей, Войно пишет:

«Допустим, что я, тридцать три года специально разрабатывавший вопросы гнойной хирургии, не умею оценивать клинического течения гнойных заболеваний и мои «впечатления» не имеют никакой научной ценности. Но по моей инициативе в научной разработке способа Вальневой должны были принять участие шесть профессоров разных специальностей… В вопросе о действии катаплазмов нельзя придавать существенного значения экспериментам на животных, ибо большинство из них маловосприимчиво к гнойной инфекции, и у кроликов, наиболее пригодных для эксперимента, после заражения стафило- и стрептококками формы и течение гнойных процессов мало похожи на то, что происходит у человека. В опытах д-ра Кац большинство кроликов погибало часто неожиданно, и из числа леченных катаплазмами и из числа контрольных.

Законны, конечно, опасения хирургов относительно применения в катаплазмах чернозема, содержащего много опасных микробов, но в этом вопросе они оказались «большими роялистами, чем сам король», ибо проф. бактериологии Штибен, изучивший возможности реализации катаплазм, определенно заявил в прениях, что надежная стерилизация земли легко выполнима, а опасность инфекции другими составными частями катаплазм при соответственных мероприятиях практически ничтожна».

В своем ответе Войно-Ясенецкий остановился не только на чисто научных аспектах нового препарата, но и на большой общественной проблеме. Местное здравоохранение Узбекистана переживало жестокий недостаток квалифицированных кадров. Даже в

официальные источники проскальзывали настораживающие цифры: из четырех врачебных должностей в республике пустуют три. Вместо 1470 штатных врачей в районах Узбекистана (без городов) в 1935 году работало 380. О том, насколько безграмотны выпускники Ташкентского мединститута, вынужден сообщить даже восторженно настроенный историк тех лет. В 1931 году срок обучения в мединституте был сокращен до 4-х лет. «Это ускорение выпуска шло за счет понижения качества продукции нашего вуза», признается автор статьи в юбилейном сборнике. Одновременно в республике развернулась другая политическая кампания: выпускать главным образом медиков-узбеков. Юноши и девушки из кишлаков не могли, конечно, сдать экзамены в институт. Но власти вышли из положения очень просто: «Пришлось… пойти на снижение требований к поступающим студентам из коренных национальностей», — сообщает проф. Слоним. И далее пишет, что начиная с 1931 года «было сделано немало ошибок, особенно в области упрощенчества, как в преподавании, так и в издании специальных учебников тоже упрощенческого типа». Можно представить себе, какого рода «медики» после всех этих «кампаний» начали поступать в больницы и поликлиники Узбекистана.

Бывший земский врач Войно-Ясенецкий лучше, чем кто-нибудь другой, знал, какими трагедиями для больного оборачивается лечение гнойных болезней у медиков «ускоренного выпуска». Именно их, полуграмотных кишлачных врачей, имел он в виду, исследуя действия катаплазмов при ожогах и гнойных заболеваниях. Он искал лекарство, которым с пользой для больного мог бы лечить самый серый, самый непросвещенный медик. И нашел его. «Я резко протестую против заявления президиума Хирургического общества, будто я вместо научной хирургии рекомендую кишлачным врачам научно не проверенное, опасное знахарское средство, — заявил он, — Инкриминированная мне фраза, что «кишлачные врачи никогда не будут знать гнойной хирургии», выхвачена из общей связи моей речи, сущность которой сводилась к тому, что диагностика гнойных заболеваний настолько трудна, что я и сам нередко делаю ошибки, а лечение, их требует солидного знания топографической анатомии, большого хирургического опыта и даже творческих способностей к созданию индивидуально различного в каждом отдельном случае, а не шаблонного плана операций. Таких требований, конечно, нельзя ставить всей массе начинающих врачей. Кроме того, по крайней мере 80 % из них вообще не оперируют, так как не каждый может быть хирургом.

Неужели не заслуживает внимания очень простое, всем доступное средство, излечивающее без всякой боли и могущественно унимающее боль, свойственную всякому болезненному процессу?»

Редакция газеты сопроводила статью Войно-Ясенецкого припиской о том, что она ждет от ученого совета нардюмздрава УзССР ответа по существу. Но писалось это только для проформы. Все понимали: вопрос решен окончательно. И не в пользу президиума Хирургического общества. В наркомздраве, как и в обществе, сами по себе катаплазмы мало кого интересовали. Зато в обеих инстанциях было хорошо известно: Войно лечит ташкентских и сталинабадских наркомов, Войно полезен властям. А коли так, то и дискутировать не о чем.

В декабре того же года высокие инстанции еще раз подтвердили профессору свое благоволение. Все та же «Правда Востока» известила читателей (о других ученых так никогда не писали), что «Наркомздрав Узбекистана утвердил проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого в ученой степени доктора медицинских наук без защиты диссертации. Наркомздрав принял во внимание 27-летнюю деятельность Войно-Ясенецкого и его заслуги в области гнойной хирургии. Диссертация, которую он защищал в 1916 году, до

сих пор не утратила своего значения». Все это звучало очень мило. Только врачебная деятельность хирурга переваливала уже к этому времени за 33 года. Шесть лет ссылок и тюрем наркомздрав ему почему-то не засчитал.

Давно ему не было так хорошо и спокойно, как в 1936-м и 1937 годах. Кончились нелады с собой и с Богом. Всевышний благословил его исследования в хирургии и анатомии. Дети выросли, и жизнь их постепенно устраивалась. Михаил прочно обосновался в Таджикистане, ученый. Алексей тоже со студенческой скамьи начал работать в Ленинграде у физиолога Орбели. Валентин кончал медицинский в Ташкенте. Не все, правда, ладилось в семье Елены, но она умная, красивая, здоровьем не обиженная, даст Бог, и у нее все обойдется. После ссылки Войно жил сначала с дочерью и зятем, но в конце тридцать пятого купил для себя и младшего сына Валентина небольшой домик неподалеку от больницы Полторацкого. При доме в саду стоял совсем крохотный флигелек, где поселилась Софья Сергеевна Велицкая. Велицкая работала, а домашнее хозяйство вели две пожилые сестры-монашки. Лука постриг их под именами Лукия и Валентина еще в Енисейске в первую свою ссылку. С тех пор сестры везде следуют за Владыкой. Пытались даже ехать за ним в Архангельск, но туда власти их не пустили.

На работе у профессора Ясенецкого тоже все хорошо. Вместо маленького, неудобного отделения на 25 коек, которое с трудом дали ему в конце 1934 года, теперь, в 1936-м, он руководил третьим, самым большим корпусом Института неотложной помощи. В его распоряжении главная операционная, сколько угодно гнойных, обожженных, травматических больных. Штатом больничным профессор тоже доволен, хотя никто никогда не слышит от него слов одобрения. Соединяет профессора с сотрудниками прочная нить: он природный учитель, а они жадно стремятся перенять его опыт. Врачи третьего корпуса давно уразумели: защитить кандидатскую диссертацию в общем-то дело несложное, а второго такого учителя, как Войно, у них не будет. Никто тут поэтому не гонится за учеными званиями, но знаниями, которые дают операции Войно-Ясенецкого, его патологоанатомическими разборами все дорожат.

На разборы в секционной собираются все медики, со всех отделений. Прежде чем начать конференцию, профессор произносит свое излюбленное: «Мы собрались сюда не для того, чтобы кого-то ругать или кого-то судить, а для того лишь, чтобы выяснить, чего мы, врачи, в своей работе недоделали, что сделали не так, как надо. Наша цель — не повторять ошибок, допущенных нами при лечении вот этого нашего пациента». И неотвратимо, как судьба, жест скальпелем в сторону трупа. Да уж, поучиться у Войно-Ясенецкого есть чему. Доктор Левитанус вспоминает: «В начале моей работы в гнойном отделении Валентин Феликсович не слишком нам доверял, оперировал сам, а мы только помогали ему… Потом стал постепенно допускать нас к операционному столу, а сам ассистировал. Надо сказать, что лучшего ассистента, чем он, никогда я не видела. Работал он совершенно спокойно, тактично, как будто даже и не помогает, а делаешь все сама, хотя во всем чувствуется его помощь, во всем ощущается его рука… Операции у нас часто проходили под регионарной анестезией. В Ташкенте под регионарной анестезией никто оперировать не умел, а он делал это исключительно мастерски, и операции протекали блестяще».

Обучил Войно своих молодых товарищей многому. Показал, как лечить гнойники катаплазмами и как освобождать пациентов от болей, связанных с воспалением лицевого тройничного нерва. Заболевание это тяжкое, длится годами. Прервать его может только тот, кто владеет тончайшей операцией: умеет входить иглой в очень маленькое отверстие черепа, расположенное под глазом, и вводить спирт в нервный, так называемый гассеров

узел. Если хирургу удается найти и алкоголизировать узел, — наступает почти немедленное выздоровление: перестает дергаться веко, возвращается к норме выражение лица, а главное, проходят мучительные, сводящие с ума боли. «Я помню, что к нам приезжали больные из Ленинграда и Москвы, — вспоминает доктор Левитанус, — от крупнейших хирургов. Видно, кроме Валентина Феликсовича, никто не решался вводить лекарство в гассеров узел».

Но в школе Войно-Ясенецкого учат не только хирургии. Невестка профессора Мария Кузьминична, зайдя однажды к свекру на работу, застала его в крайнем возбуждении. Доктор Федермессер только что сообщила профессору о смерти больного с абсцессом верхней губы. В годы, предшествующие появлению антибиотиков, такой исход при нарыве верхней губы не был редкостью. Но Войно принял известие хмуро и потребовал, чтобы сотрудница детально перечислила, что именно было сделано для погибшего пациента. Федермессер принялась перечислять врачебные назначения, но потом махнула рукой и сама себя остановила: «Да что тут говорить! Больной все равно был обречен…» Обречен?! Величественный, всегда невозмутимый профессор буквально взревел: «Вы не имели никакого права останавливать борьбу за жизнь больного! Вы даже думать о неудаче не имеете права! Только делать в с е, что нужно! Делать ВСЕ, слышите?!»

Кричать на врача — это Войно позволяет себе крайне редко. Но больной в третьем корпусе — действительно фигура центральная. Ночь ли, день ли воскресный, находится ли врач в очередном отпуске или болеет — ничто не освобождает его от обязанности явиться немедленно в отделение, если это необходимо для спасения пациента. Этот строго заведенный порядок профессор и сам выполняет без малейшего ропота. «Какой бы ни был церковный праздник, вспоминает доктор Левитанус, — какую бы службу ни служил он в церкви, но если дежурный врач присылает шофера с запиской о том, что нужна профессорская консультация, Войно тут же поручает литургию другому священнику и незамедлительно выезжает к своим больным». Это тоже школа Войно-Ясенецкого.

Так она и течет, жизнь профессора-епископа, в своем нераздельном двуединстве. В какой-то миг, правда, равновесие между двумя «половинками» его естества, кажется, готово нарушиться: в Ташкенте проходит слух, что открывается Институт пиологии, где Войно предложат пост директора, если он окончательно порвет с церковью. Многим кажется, что епископ Лука доживает в этом мире последние дни и очень скоро на свете останется лишь профессор-хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Особенно горячо этого желают близкие хирурга, намучившиеся за годы его арестов и ссылок. Но месяцы идут за месяцами, а в судьбе знаменитого медика не происходит никаких перемен. Да он, похоже, и не испытывает никаких неудобств от своего двойственного положения.

Рано утром к домику неподалеку от больницы Полторацкого подъезжает легковая машина, новой, только что появившейся в городе марки М-1. Машина везет Луку в церковь. Пока он молится, автомобиль стоит у церковной ограды, привлекая ротозеев и наполняя гордостью (или злорадством?) души прихожан. Потом машина мчит профессора в Институт неотложной помощи. Начинается день, до краев наполненный операциями, консультациями, конференциями. После работы в операционной и над трупами — чтение лекций в Институте усовершенствования врачей. В субботу, в воскресенье и по праздникам Лука снова отправляется к литургии, но уже на запряженной лошадью линейке. Машина — институтская, линейку присылают из церкви.

Он поистине двуедин. Лишь по временам верх берет одна ипостась, а затея ее сменяет другая. Самые близкие родственники имеют даже возможность наблюдать, как без

всякого труда, вполне естественно совершается этот переход. Невестка Мария Кузьминична вспоминает, что в церкви свекор ходил медленно, походка его была величественна, движения благообразны. Но стоило ему переступить порог третьего корпуса, как он преображался. Исчезала плавная округлость жестов. Затянув на поясе халат, засучив рукава, он разом обретал хирургический вид. Становился почему-то худощавым, сразу начинал ходить быстро, говорить громко, в голосе возникали властные нотки. Войне громко вызывал Федермессер, требовал принести ему какие-то истории болезни, начинал кому-то за что-то выговаривать. Посторонним он не подчеркивал двойственность своего существования. В отделении разрешал называть себя по имени-отчеству, в церкви проповедовал, в больнице не говорил о делах веры. Горожане уже начали привыкать к его облику, к цивильной толстовке и кремовой коломянковой панаме «поповского», как говорит доктор Левитанус, вида. Но для постороннего глаза фигура профессора-епископа, его быт и взгляды таили много неожиданного.

Летом 1936 года из Омска в Ташкент приезжал профессор М. С. Рабинович. Зная хирургические работы Войно-Ясенецкого, врач-сибиряк пожелал познакомиться с ним лично. Треть века спустя, вспоминая о встрече в Ташкенте, проф. Рабинович обратил внимание на удивительное спокойствие, даже какую-то ублаготворенность Войно летом 1936 года. Хотя сибиряк был в то время молод, преуспевал у себя в Омске, заведовал кафедрой, но на пороге рокового 1937-го им владело душевное состояние, очень далекое от безмятежности. Кругом уже летели головы, и ни о каком спокойствия не могло быть и речи. Откуда же взялась столь благостная душевная настроенность у ташкентского коллеги?

Может быть, Войно не читал газет? Не знал о массовых арестах «врагов народа», о больших и малых процессах, которые уже начали сотрясать страну? Известно доподлинно: читал и знал. Догадывался и о том, насколько неустойчиво его собственное положение. И тем не менее…

В антирелигиозных брошюрках и докладах нередко повторяется мысль о том, что материалист в критических обстоятельствах всегда активен, он борется до конца, надеясь только на себя и на товарищей по классу. Тот же, кто вверяет свою судьбу сверхъестественным силам, обрекает себя на безволие, на пассивность. Верующий ждет милостей там, где следует выявить свою непримиримость и упорство.

Пример, даваемый профессором Войно-Ясенецким, говорит о другом. Возможно, что в 1936—1937 годах он еще не слишком четко различал приметы новой волны террора, но в отличие от омского коллеги эти приметы не заставляют его трепетно вслушиваться и всматриваться в окрестный мрак. Он вообще не думает о своей безопасности. Это не безволие, не пассивность. Свободный от страха, ум ученого направлен в иную сторону, мысли заняты другим. Он ищет, как помочь людям. Нет, не в этой разверзающейся под ногами кровавой пучине, в которой у каждого своя судьба. А в борьбе с болезнями, там, где как хирург он действительно может бросить ближнему канат спасения.

Ученый исследует флегмоны лица. Как правило, это страдание смертельно: гной попадает в мозг — и конец. Но каким путем движется гной при глубоких флегмонах? Как и в какой точке скальпель хирурга может остановить смертельную опасность? Мелочь? Детали медицинской технологии? Нет — вечные вопросы бытия. Они останутся жизненно важными после того, как сойдут в могилу Ягода, Ежов, Берия, и после того, как закатится звезда Сталина, и даже после того, как в Лондоне Чейн и Флори выделят первые крупицы пенициллина, а в Университете Нью-Браунсвик (США) Ваксман создаст «короля антибиотиков» — стрептомицин. Те поиски, которые захватили Войно-

Ясенецкого осенью 1936-го, не потеряли своего смысла и сегодня, сорок лет спустя. И, надо думать, будут нужны людям до тех пор, пока в мире останутся флегмоны и останется хирургия.

Как всегда, он работал взахлеб. В конце декабря пишет сыну: «…Я получил здесь несколько трупов и сделанные на них исследования уже полностью разъяснили мне все важнейшее в патологии глубоких флегмон лица. Чем больше я работаю над ними, тем больше эта работа усугубляется и (ее) хочется продолжать и продолжать. То же самое будет, вероятно, и с флегмонами верхнего конца бедра и других областей, все хочется изучить как можно глубже… Однако этому стремлению к углублению конца не будет, а жизнь моя близится к концу, и можно опоздать».

Торопиться заставляет не только близкая, как ему представляется, смерть — Войно все еще только пятьдесят девять, — но и другая причина. Он хочет, чтобы его находки сейчас же, безотлагательно служили больным, помогали хирургам. Нельзя допускать, чтобы люди гибли после того, как ученый нашел путь к исцелению. «Недели две тому назад я написал в Медгиз, прося решить, писать ли (мне) отдельную книгу о флегмонах или все ее содержание внести как дополнение во второе издание «Очерков гнойной хирургии», которые очень нужны. Со всех сторон врачи просят меня о нем. Это был бы полный курс гнойной хирургии». Второго издания любимой книги Войно-Ясенецкому пришлось ждать еще целых десять лет. Полный курс гнойной хирургии, объемом в три раза превышающий первое издание, вышел только в 1946 году. Но до тех пор много воды утекло в Енисее…

Пора, наконец, подробнее рассказать о сочинении, которому профессор Войно-Ясенецкий отдал в общей сложности без малого полвека. Необходимость взяться за перо объяснял он так:

«Первое, что я болезненно почувствовал, начав работу на селе, это крайняя недостаточность полученной мною в университете подготовки по диагностике и терапии гнойных заболеваний, которые оказались, однако, самой важной, самой повседневной частью хирургии для врача, работающего среди крестьян и рабочих. Надо было собственными силами пополнять этот тяжкий пробел, и всю жизнь я усердно занимался этим делом. Книга, которую я написал, подводит итог моим многолетним наблюдениям в области гнойной хирургии, которые я собирал с особенной любовью. Я поставил себе целью прежде всего показать молодым врачам, что топографическая анатомия является важнейшей основой для диагностики гнойных заболеваний и выработки плана оперативного лечения…» За тридцать лет, прошедших с тех пор, как киевский студент-медик покинул Университет Св. Владимира, отношение к гнойной хирургии на медицинских факультетах и в больницах страны почти не изменилось. В предисловии к первому изданию «Очерков» профессор В. С. Левит вынужден признать: «Гнойные отделения, существующие в клиниках и больницах, являются большей частью хуже обставленными во всех отношениях, пользуются меньшим вниманием руководящих лиц и мало популярны среди врачебного и вспомогательного персонала. Большинство молодых врачей неохотно идет работать в «гнойное» отделение и по окончании положенного срока спешит вернуться в «чистое».

Отчего же? Молодым кажется, что диагносцировать и лечить гнойные заболевания пальцев и кисти, оперировать остеомиелиты, карбункулы, флегмоны, бороться против раневого сепсиса (заражения крови) — дело неинтересное и не совсем сложное. Против этой ошибки и выступил Войно-Ясенецкий. Он привел в своих «Очерках» множество примеров неудачного лечения, огромное число историй болезни, которые показали, как

сложно врачу одолеть гнойную инфекцию, как много больных погибает от того только, что медики не получили в институте достаточно серьезной подготовки. Нет, утверждает он своей книгой, гнойная хирургия совсем не скучна и не проста. Это раздел науки, полный неразрешенных проблем, область, ждущая своих открывателей.

В подходе к нагноительным процессам у автора «Очерков» есть свой принцип, который он сам называет анатомо-топографическим. На сто лет раньше великий Пирогов «поженил» хирургию с анатомией. И он же первый понял, что хирургу в его практической работе важно знать не только место, где тот или иной сосуд, нерв, мышца находятся, но и как эти сосуды, нервы, мышцы расположены по отношению друг к другу и остальным органам. Диспозиция эта сложна, изменчива. При разных положениях тела, при разных физиологических и патологических состояниях органы и ткани смещаются. Пирогов указал оперирующим врачам на то, как важно для них знать эту подвижную географию живого тела — топографическую анатомию.

Среди прочих анатомических элементов Пирогова особенно интересовали фасции — плотные соединительно-тканные оболочки, которые футлярами одевают внутренние органы, сосуды, нервы и мышцы. Идя за великим учителем. Войне определил, что знание фасций, а точнее фасциально-клетчатых пространств, особенно важно для успеха гнойной хирургии. Основное назначение фасциальной пластины — отделять одну группу мышц от другой, что особенно важно, когда одна находится в покое, а другая сокращается. Во времена Пирогова эта функция считалась единственной, но позднее стали известны и другие назначения фасциального слоя. Чем больше давление одной группы мышц на другую, тем фасция плотней и толще. В местах малого давления она превращается в пленку, а подчас и в тонкую рыхлую ткань, именуемую клетчаточной (весь слой называется фасциально-клетчаточным). В этом слое проходят сосуды и нервы, в нем совершаются обменные процессы между кровью и тканями. Фасциально-клетчаточный слой служит таким образом не только внутренней опорой, «мягким остовом» нашего тела, но вместе с тем является и биологической средой. Для гнойной хирургии эта система имеет решающее значение: именно по фасциальным пространствам распространяется гнойно-воспалительный процесс. Хирург, знающий, где найти и как раскрыть эти пространства, может легко обнаружить доступ к очагу, требующему активного вмешательства. Врач, не знакомый с фасциально-клетчаточным слоем, обречен совершать хаотические, не — оправданные анатомическими законами разрезы, которые могут принести больному только вред.

В первой трети XX века пути распространения гноя из одного фасциального пространства в другое еще не были изучены. Войно справедливо считал, что успешно лечить гнойные заболевания удастся лишь после того, как будут изучены пути движения гноя. Как и М. И. Пирогов, он сугубо хирургическую врачебную проблему решал, экспериментируя на трупах. Вводил в исследуемые участки тела желатину и прослеживал, какими путями она распространяется в окружающее пространство. В книге рядом с описаниями операций он поразительно точно и убедительно живописует результаты своих опытов. Читателю-хирургу не приходится верить автору на слово. Каждый шаг оперативного скальпеля Войно-Ясенецкий убедительно и наглядно доказывает экспериментом.

Можно сказать, что в своих «Очерках» Войно впервые за сто лет пытался пробудить у медиков интерес к некогда брошенной в хирургическую почву идее Пирогова. Но в книге важна не только основная идея автора, но и формы, в которых она преподнесена. Как научный писатель Войно стремится довести свои идеи не только через разум, но и

через чувства читателя.

Вот глава о флегмонах. Автору учебника ничего не мешает начать ее с пространных анатомических деталей. Читать об этих деталях довольно утомительно, но что поделаешь — учебник есть учебник. Войно, однако, уклоняется от наезженной дороги. Ему нужно иное: с первых же строк показать начинающему хирургу, насколько грозна вовремя не распознанная болезнь. Стремясь пробудить в читателе чувство ужаса и сострадания, он описывает зрелище, которому сам был свидетель в первый год врачебной службы на селе:

«Проехав 25 километров в конец своего земского участка, я вошел в избу и увидел никогда не забываемую картину: женщина лет сорока пяти, страшно измученная и точно застывшая в своем страдании, стояла лицом к стенке, сильно согнувшись и опираясь на скамью вытянутыми закоченевшими руками. Так стояла она день и ночь уже три недели (подчеркнуто В. Я.). Вся левая половина поясницы была сильно выпячена огромным скоплением гноя, ясно зыблющимся под кожей. Я осторожно вымыл поясницу, анестезировал кожу кокаином и быстрым взмахом ножа широко вскрыл огромную флегмону: подставленный ушат до половины наполнился жидким гноем. На другой день больную привезли в больницу, и дальнюю дорогу на простой телеге она перенесла отлично». Теперь, когда в сознании читателя навечно запечатлелся образ мученицы крестьянки, опытный лектор переходит к сути дела: он описывает операцию, а затем пытается выяснить механизм образования забрюшинных поясничных флегмон.

«Я ввел руку в огромную гнойную полость и, тщательно обследовав ее, нашел в ней болтавшиеся остатки поясничной мышцы, несколько перемычек, глубокие бухтообразные затеки, но почки не мог найти. Все закоулки были дренированы резиновыми трубками и большими марлевыми салфетками. Быстро стала очищаться и уменьшаться гнойная полость, и уже через пять недель больная была выписана вполне выздоровевшей.

Это было очень мало похоже на то представление о «паранефрите», которое я вынес из университета. В то время все поясничные флегмоны называли паранефритами… С ними естественно связывалось у врачей и учащихся представление о том, что почка является исходным продуктом гнойного процесса… Уже первое мое знакомство с живой действительностью, только что вкратце описанное, заставило меня задуматься о «паранефрите"… Впоследствии я много раз оперировал забрюшинные флегмоны, всегда искал и исследовал почку, но в большинстве случаев убеждался, что никакого отношения к почке флегмона не имеет». После столь выразительно нарисованной операции читатель уже не может оставаться равнодушным. Подлинные причины, вызывающие флегмоны, его живо заинтересовали. Теперь кожно рассказывать и о анатомических подробностях. Под пером хирурга детали эти обрели свой глубокий смысл, они очеловечены, одухотворены. Читатель знает, ради чего и во имя чего следует постигать все эти тонкости.

Личные отношения автора со слушателем-читателем составляют еще одну особенность «Очерков» Войно-Ясенецкого. Какие бы операции хирург ни описывал, каких бы оперативных и анатомических подробностей ни касался, кроме больного, он всегда видит перед собой и своего младшего коллегу начинающего врача. И это постоянное доверительное обращение к собеседнику наполняет книгу невыразимым обаянием. Вот, описывая правильные широкие разрезы, которые медик сделал у пациента при карбункуле нижней губы, Войно замечает, что оператор все-таки оставил без внимания одну, казалось бы, «маловажную» подробность: воспаление распространилось уже на угол рта и край верхней губы пациента. В предыдущих строках

подробно объяснено, почему нарывы верхней губы, в силу особенностей ее анатомии, опаснее карбункулов губы нижней. И на этот раз гнойная инфекция, едва зайдя на краешек верхней губы, развернулась вовсю: вовлекла целые нервы, началось общее заражение крови, гнойные очаги образовались во многих внутренних органах. Больная, у которой врач поначалу просмотрел «пустяковую» деталь болезни, оказалась между жизнью и смертью. Завершая эпизод, автор не может удержаться, чтобы не воскликнуть с грустью: «Молодой хирург мало интересовался гнойной хирургией».

Другая глава. Идет разбор другого заболевания, и снова, как бы подняв голову, склоненную над пациентом, Войно произносит, обращаясь к слушателям: «Распознавание забрюшинных флегмон, обычно не представляет никаких трудностей, если врач вообще не забывает об этой болезни и не имеет плачевной привычки во всяком лихорадочном заболевании видеть малярию или брюшной тиф. К сожалению, — добавляет Войно-Ясенецкий, — эта привычка нередко так укореняется, что врач «видя не видит и слыша не слышит». Кажется, что речь идет только о недочетах хирургического воспитания, но вместе с тем голос ученого взывает к нравственным принципам врача.

Эпическая интонация, которая исподволь звучит на протяжении всего труда профессора-епископа, явственно прорывается там, где Войно заговаривает о хирургических ошибках.

Ошибки, особенно ошибки, допущенные им самим, — любимая его тема. Читая «Очерки», постоянно вспоминаешь слова А. И. Герцена: «Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить». Войно не просто помнит. С каким-то даже удовольствием распинает он себя за просчеты и промахи, допущенные в операционной 10—15—20 лет назад. Достается в «Очерках» и учителям, тем, что не объяснили будущему врачу, едущему в деревенскую глушь, как именно лечить главные народные болезни. Вот очерк о тактике врача, приступающего к лечению гнойного воспаления суставов. Каждая деталь изображена почти с кинематографической ясностью, приведено огромное число примеров, разъясняющих, как поступать, чтобы непременно добиться успеха в лечении. И тут же чистосердечное признание автора в том, какие грубые ошибки допускал он в те годы, когда на этих же ошибках накапливал свой врачебный опыт. «А ведь этого могло бы и не быть, если бы учителя интересовались гнойной хирургией!»

Историки медицины напишут когда-нибудь специальные исследования об «Очерках гнойной хирургии», ибо, несмотря на сугубо специальный характер темы, сочинение это относится к тем книгам эпохи, которые поразили мыслящих современников. Литературные, философские и научные достоинства «Очерков» поставили их в ряд с мировой научной классикой. А сегодня? Жива ли она через сорок лет после выхода первого издания? Не потеряла ли значения в эпоху, которую именуют подчас эрой антибиотиков?

Хирург-травматолог из Таллинна Арнольд Сеппо (род в 1917 году), известный своими новыми методами лечения гнойных заболеваний, пишет:

«На Ваш вопрос о том, что дал науке В. Ф. Войно-Ясенецкий, отвечаю с удовольствием, потому что мне приятно говорить о таком самобытном труженике, да еще и потому, что почти все современное поколение хирургов, к которому я имею честь относиться, в большей или меньшей степени являются его учениками.

Время движется быстро… Но книга В. Ф. — первое руководство по гнойной хирургии на русском языке, продолжает оставаться настольной книгой молодого хирурга, попавшего на самостоятельную работу. Она действительно пока не превзойдена. И это потому, что под весьма скромным заголовком кроется многолетний труд натуралиста и

хирурга-ученого. Это и обеспечило книге бессмертие… Разработанное В. Ф. учение о перемещении гноя будет жить вечно. Мы должны это знать независимо от новых антибактериальных средств и новых возможностей лечения». Хирург Борис Львович Осповат (род. в 1894 году), пятьдесят лет проработавший в Боткинской больнице (Москва), в следующих словах детализирует точку зрения таллиннского коллеги:

«В те времена, когда вышла в свет книга В. Ф. Войно-Ясенецкого, еще не было тех средств защиты от гнойной инфекции, какие появились в дальнейшем. Но и в последующие годы, когда появились антибиотики, для врача не потеряло своей роли знание анатомических путей, по которым закономерно продвигается гнойно-воспалительный процесс… Легковерный врач считает антибиотик всесильным, ему кажется, что с появлением антибиотиков вся проблема борьбы с гнойной инфекцией полностью решена. Он недооценивает привыкание микроорганизмов к антибиотикам, недооценивает, насколько антибиотики снижают собственные защитные силы организма, он не принимает в расчет новых инфе. кционных агентов, которые приходят на смену угнетенному антибиотиками основному возбудителю… В результате такой врач рискует вместе с водой выплеснуть из корыта ребенка. Книге В. Ф. уготована долгая жизнь…» …Я уже писал о том предостережении, которое получил от епископа Луки во время единственной нашей встречи. Владыка просил ни в коем случае не разделять, не расчленять на страницах задуманной мною Биографии образ ученого и иерея. Предостережение это, как я теперь понимаю, не было случайным. Но если бы я даже не знал о Луке — православном проповеднике, о Луке-епископе, то едва ли не заметил, что книга «Очерки гнойной хирургии» принадлежит перу христианского автора. Христианская, страстно гуманистическая ориентация проглядывает во всем. Она прорывается то в сердечной интонации, обращенной к читателю-врачу, то в мельком, но с любовью набросанном как бы штриховом портрете больного: деревенская старуха, ребенок, русский крестьянин, узбек. А случается, среди хирургического текста блеснет вдруг слово, как бы и впрямь произнесенное с амвона:

«Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется «случаем». Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфорой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках и резиновых перчатках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно». Разве этот голос принадлежит только хирургу? Ученый-христианин не скрывает: и шестидесятилетняя Фекла, с трудом притащившаяся в переславльскую амбулаторию, и четырнадцатилетний мальчик Мотасов, которого с переломом бедра везут восемьсот пятьдесят километров по Енисею в туруханскую больницу, и жертва голода, поразившего Туркестан в 1918-м Ахмед И.-все они занимают его как пациенты, но вместе с тем дороги как люди. В этом легко убедится каждый, кто прочитает одно из трех изданий «Очерков гнойной хирургии».

Он неразделим, профессор-хирург Войно-Ясенецкий — епископ Лука. Монолитно един в своем главном стремлении — творить добро. Не странно ли, что именно против него коллеги выдвинули обвинение в жестокости, в бессердечном отношении к пациенту? С человеком, который сказал мне это, глядя в глаза, я встретился в Ташкенте в 1972 году. В ненастный октябрьский день я позвонил в квартиру известного в городе хирурга Льва

Доминиковича Василенко. Дверь открыл сам хозяин квартиры. Люстра в передней осветила необычно крупную лысую голову. На одутловатом бледном лице еще одна примета: аккуратно подстриженная профессорская бородка, призванная, очевидно, скрыть слабо выраженный подбородок. Подозрительно мерцают по-стариковски склерозированные глаза. Я назвался. Да, ему уже передавали о предстоящем моем визите, но едва ли воспоминания его будут интересны писателю.

Не подавая руки, не предложив гостю снять мокрый плащ. Лев Доминикович проходит в кабинет. Современная малогабаритная комната с низкими потолками плохо гармонирует со старинной мебелью черного дерева. Картины в тяжелых рамах, бюро, фигурные настольные лампы, какие-то дорогие вещицы на полочках. Впрочем, у меня нет возможностей разглядывать интерьер: профессор Василенко не скрывает — ему хочется поскорее отделаться от незваного посетителя. Не садясь в кресло, решительно заложив руки за спину, он излагает свои мысли бесстрастно, как будто читает заранее подготовленную лекцию.

Писать о Войно не следует. Слава его хирургическая сильно раздута. Виною всему его поповство. Клиницист он был очень слабый, хотя оперировал неплохо. Человеком был жестоким, что недостойно врача-клинициста. Да, жестоким. В 1935—1936 годах они несколько раз встречались с Войно-Ясенецким в консилиуме, у постели больных. Хотите примеры? Извольте.

После неудачной операции в больнице ночью умер пациент Войно-Ясенецкого. Утром, узнав об этой смерти, хирург по-толстовски развел руками: «Очевидно, так было угодно Богу. Или мера грехов больного была велика, или я чем-то прогневил Всевышнего». Каково?

Или другой случай. Приехали как-то два хирурга на консилиум домой к главному бухгалтеру треста. У больного, человека пожилого, обнаружился неоперабельный рак предстательной железы. Вышли в соседнюю комнату обсудить положение. «Надо сказать больному все. У него рак, и он умрет завтра же». Это Войно. Лев Доминикович возразил, что умрет больной, очевидно, дней через семь — десять и говорить ему о неизбежной гибели ни к чему. У него остается жена с детьми, к самостоятельной жизни совершенно не приспособленная. Узнав о близкой смерти, бухгалтер будет мучиться вдвойне: и по поводу своей судьбы, и по поводу судьбы своей семьи. «Нет, — повторил Войно, — надо выложить ему все. Возможно, он захочет умереть как христианин, ему понадобится время для соборования».

Чтобы разрешить спор, Василенко пригласил жену умирающего. Жена упала перед врачами на колени: «Ради Бога, ничего ему не говорите». «Но, может быть, он пожелает оставить завещание». «Какое там завещание, квартира и мебель казенные. Мне неведомо, куда теперь пойдем. Нечего ему завещать…» «Тогда идите и врите ему сами, — обращаясь к Василенко, сказал Войно-Ясенецкий. — Я врать не стану».

Лев Доминикович, по его словам, пожелал закончить спор миром. Он даже вспомнил некогда очень известные стихи о святой лжи.

Но Войно заявил, что никакой святой лжи для него нет, а есть просто ложь, в которой он принимать участия не желает. Льву Доминиковичу пришлось взвалить на себя тяжкое бремя последнего разговора с умирающим.

Василенко помнит и другой случай, когда Войно вот так же проявил бессердечие и черствость уже по отношению к своему коллеге. У ташкентского хирурга Александра Марковича Геллера болела дочь, девочка лет девяти. Поздно вечером отец прибежал к Василенко и попросил срочно прийти посмотреть дочь. Одновременно с Василенко у

постели ребенка оказался и Войно, У девочки ясно обозначился перитонит. «Она обречена. Такие не выживают, и оперировать не стоит, — резюмировал Войно-Ясенецкий. — Пусть отец решает — оперировать или не оперировать». Лев Доминикович возразил, что Геллер в такой ситуации уже не может решать, он сейчас не хирург, а отец. Войно пожал плечами. Тем не менее Лев Доминикович девочку все-таки оперировал. Она умерла пять дней спустя.

«Вот все, что я могу Вам сообщить». Профессор Василенко выжидающе молчит. Я дописываю в блокнот последние строки о погибшей девочке. «Нужны ли какие-нибудь комментарии?» Я благодарю. Комментарии не нужны. Вот только один вопрос… Верно ли, что профессор Войно-Ясенецкий был оппонентом по докторской диссертации Льва Доминиковича в 1937 году? Какой отзыв дал он о диссертации Василенко? Вопрос явно неприятен моему собеседнику, но выдержка его не оставляет. Да, Войно дал сначала не очень положительный отзыв, он сделал это потому, что Василенко публично выступил против катаплазмов Вальневой. Однако, получив отрицательный ответ, Лев Доминикович не смутился, пришел на квартиру Войно, выложил перед ним кучу книг и доказал свою правоту. Валентину Феликсовичу пришлось извиниться перед ним и забрать из ученого совета свой отрицательный отзыв.

Увы, на этот раз память подвела старого профессора. События тридцатипятилетней давности выглядели совсем по-другому. Профессор Войно-Ясенецкий считал диссертацию Василенко слабой и готовился выступить против ее защиты публично. В хирургических кругах об этом открыто говорили. Если бы он выступил — конец диссертации. Войно, как никто, умел доказать в дискуссии свою правоту. Но за день до того «ангел хранитель» его детей Софья Сергеевна Велицкая (она работала операционной сестрой у Василенко) умоляла Войно промолчать на ученом совете. Рассказывая мне этот эпизод, давняя ученица Валентина Феликсовича А. И. Беньяминович добавила: «Он никому никогда не уступал в таких вопросах. Но Велицкой отказать не смог. Покривил душой и промолчал. Диссертация Василенко была защищена».

Почему вспоминаю я давнюю и для всех ее участников не слишком приятную историю? Стоило ли вообще посещать провинциального Яго, который и через треть века не способен унять злобу и зависть к давно умершему «конкуренту»? Нет, я не жалею о разговоре со Львом Доминиковичем Василенко. Беседа эта помогла раскопать истоки мифа о жестокости Войно.

Представим на миг, что все сказанное профессором Василенко — правда, что так оно и было: у больничной кровати — добрый, сердечный Лев Доминикович, а по другую сторону жестокий Войно-Ясенецкий. Но жестокость ли это? Двух хирургов разъединяет не только разная степень одаренности, но и разный подход к человеческой судьбе. У того, кто считает жизнь лежащей в руке Господа, иные мерки, нежели у атеиста. Склонный к строго религиозному восприятию мира, Лука истово, изо всех сил борется со смертью, пока причина ее видится ему в пределах человеческого постижения. Но когда смерть становится неизбежной, он подходит к ней как к освобождению от земных страданий, как к облегчению. И не скрывает этого от близких умирающего.

Есть, однако, еще один свидетель обвинения, также твердящий, что знаменитый ташкентский хирург был лишен добрых чувств к своим пациентам. Профессора-антрополога Льва Васильевича Ошанина никак не заподозришь в антипатиях к Войно-Ясенецкому. Отношения двух ученых всегда были дружелюбными. Выше я уже ссылался на воспоминания Льва Васильевича, в целом объективные. И тем не менее:

«Я знавал врачей, которые были добры в обывательском смысле слова, пишет Л. В.

Ошанин, — которые любили и жалели своих больных, сочувствовали их переживаниям. Был ли Войно добр в этом смысле? Определенно можно сказать, что нет».

Ошанин приводит несколько примеров, которые, по его мнению, подтверждают жестокость «хирурга».

«У сестры моей жены был рак правой грудной железы; она оперировалась у Войно. Когда больная уже поправлялась, В. Ф. показалось, что не мешает «освежить» края раны для ускорения заживления. Когда он ушел, очень опытный фельдшер хирургического отделения П. И. Демидов сказал моей жене: «Уговорите Александру Николаевну не соглашаться на освежение раны, ведь «наш» безжалостный. Он просто возьмет ножницы и отчикает кожу ленточной сантиметров 15—20 длины. «Наш» человека режет все равно, как киргиз барана или баба курицу, не давайтесь, рана и так заживет». И еще:

«Я как-то позвал Войно к тяжелобольному. Позвал больше «так», для проформы, ибо больной явно агонизировал. Как сейчас, вижу монументальную, величественную фигуру Войно, его холодное, аскетическое лицо, холодные внимательные глаза, которыми он несколько минут наблюдал сцену агонии… Я навсегда запомнил его слова: «Да, все же, как правило, очень тяжело умирает человек», — повернулся и ушел к очередным делам.

Наконец, эпизод с сыном, эпизод, который вызывает у профессора Ошанина особенно бурное негодование. «Я как-то проходил мимо хирургического корпуса, — вспоминает Лев Васильевич. — Во дворе вместе с другими мальчишками играл в ошички Миша, которому было тогда лет 10—12 (случай относится, очевидно, к 1918—1919 годам. — М. П.). Вдруг на крыльце хирургического корпуса появился Войно и позвал его: «Миша, иди сюда и проходи прямо к сестре в операционную. Она тебя приготовит. Я сейчас буду тебя оперировать, вырежу аппендикс». Я буквально остолбенел, — поясняет Ошанин. — Как сейчас? Вот так взять своего сына и бросить под нож хирурга? А подготовка и прочее? Войно сказал, что он дал Мише слабительного и его хорошо прочистило. Ждать больше нечего. Лучше оперировать сейчас, в холодном периоде. Ведь у Миши было уже два острых приступа аппендицита… Через неделю Миша выписался». Откровенно говоря, мне чуточку даже совестно комментировать эту часть воспоминаний уважаемого профессора. Так и чувствуется, что пишет человек, далекий от клиники, воспринимающий хирургию, так сказать, в плане эмоциональном. Человек, которому неясно, что высшее добро, которое врач со скальпелем может оказать своему ближнему, состоит в том, чтобы сделать, операцию вовремя и наилучшим образом. Так Войно и поступил с сыном. Можно ли принимать на веру ворчание старика фельдшера о том, что «рана и так заживет», если опытный специалист считает необходимым ускорить процесс регенерации? Этот фельдшерский подход привел мне на память мнение садовника Чарлза Дарвина о своем хозяине: «Хороший старый господин, но вот беда, дела себе настоящего найти не может. Ходит день-деньской по саду и разглядывает цветы. Ну разве это занятие для серьезного человека?»

А чего стоит ошанинское: «повернулся и ушел к очередным делам». Да, ушел. Но от чего ушел? От трупа. Куда ушел? В больничное отделение, в палаты, к тем, кого еще можно спасти, нужно спасти. Вот так и являются на свет мифы, порожденные в одном случае злонамеренной клеветой, в другом наивностью. А публика подхватывает: «Профессор сказал».

Хирурга Анну Ильиничну Беньяминович в сентиментальности никак не обвинишь. В характере учителя (мастерству которого Анна Ильинична отдает должное) она охотнее указывает на недостатки, нежели на достоинства. Ей кажется что Войно и руководителем был неважным, не позаботился, чтобы сотрудники вышли в кандидаты и доктора. И о

себе понимал он слишком много, любил похвалиться. Но отношение к больным было у шефа идеальным. Доктору Беньяминович было уже восемьдесят, когда я навестил ее в Ташкенте. Она была полуслепа, но голос все еще оставался звонким, моложавым. Она рассказала о тяжких временах, когда после эпидемии тифа в хирургическое отделение городской больницы то и дело доставляли больных с послетифозным осложнением — кариесом реберных хрящей. Спасти таких несчастных могла только сложная операция: надо было иссекать хрящи всех семи верхних ребер. У постели таких пациентов хирурги чувствовали себя, как Одиссей между Сциллой и Харибдой. Если не оперировать, больной погибнет от кариеса. Если оперировать, то рискуешь зацепить сердечную сумку. Задев скальпелем перикард, хирург вызывает смертельный гнойный перикардит. Вот тут и решай. Были врачи, которые не хотели связываться с этой проклятой операцией. Войно от своего долга не уклонялся. Он шел на активное вмешательство и нередко терпел неудачи. Жестокое это было испытание. Входя в палату, хирург сразу замечал: женщины, которую он оперировал два дня назад, уже нет. Еще одна жертва. Не спрашивая ни о чем, ничего не обсуждая с сотрудниками, он поднимался на второй этаж и там запирался в своей комнате. Его не видели потом в отделении часами. Молился ли он или просто сидел, потрясенный гибелью больного, — сказать трудно. Но мы знали: каждая смерть, в которой он считал себя повинным, доставляла ему глубокие страдания.

Акушер-гинеколог Антонина Алексеевна Шорохова, работающая в Узбекистане с дореволюционных лет, ответила на мои вопросы письменно: «Валентин Феликсович болел душой за каждую свою неудачу, — сообщила она. Однажды, задержавшись на работе, когда все врачи уже покинули больницу, я зашла в предоперационную хирургического отделения. Внезапно из открытой двери операционной до меня донесся «загробный» голос:

— Вот хирург, который не знает смертей. А у меня сегодня второй…

Я обернулась на голос и увидела Валентина Феликсовича, который пристально и грустно глядел на меня. Поразила его угнетенная поза: он стоял, согнувшись и упираясь руками в край операционного стола. На столе лежал больной, умерший во время операции».

Не достаточно ли? Думаю, достаточно. Легенда о «жестоком» хирурге, родившаяся во врачебной среде под влиянием весьма субъективных обстоятельств, не выдержала испытания временем. Сегодня она больше говорит о мифотворцах, нежели о самом профессоре Войно-Ясенецком.

…Давно ему не было так хорошо и спокойно, как в 1936-м и 1937-м. Ставши полезным, он стал вместе с тем и ценимым. А тот, кого ценят высокопоставленные лица, живет уже по иному кодексу прав и обязанностей, нежели остальные смертные. Ему прощаются грехи, которые ни за что не простили бы рядовому гражданину, например, грех веры и посещения церковных служб. Рядового кандидата и даже доктора наук за такое — из института в три шеи: «Нельзя доверять верующим воспитание научных кадров»; администратора партийного, буде он попался на посещении церкви, враз отлучили бы от всех кормушек; «Не блуди!» А полезному все сходит с рук. Полезный профессор Войно-Ясенецкий может так же беспрепятственно посещать храм Божий, как это делают академики Филатов, Павлов, Вернадский, Конрад, Абрикосов и еще некоторые — по списку.

Придется объяснить, однако, что термин «полезный человек» в новое время перестал означать то, что означал он всегда, то есть «человека, приносящего пользу обществу». Конечно, можно и обществу пользу приносить, если уш очень хочется. Но как говорится в

популярном анекдоте: «Мы ценим его не только за это». За что же? Физиолог Иван Петрович Павлов после того, как удалось его политически обработать, сделать законопослушным, ценился за свою международную известность. С ним все ясно. «Вот какой знаменитый ученый, а за нас». Академик патологоанатом Абрикосов надобен был в мавзолее при теле Владимира Ильича, академик-окулист Филатов консультировал пациентов в Кремлевской больнице. Специалисты могли считать Павлова, Филатова или того же Абрикосова творцами научных идей, создателями мировой культуры. Но государственная цена этих личностей определялась совсем по иному обменному курсу.

Ученики Войно-Ясенецкого Левитанус и Стекольников пишут в своих воспоминаниях: школа учителя помогла им наладить помощь во время Отечественной войны. «Особенно пригодилась его школа на фронте, где я был главным хирургом «хозяйства», куда входило от 35 до 50 хирургических госпиталей, — пишет профессор Стекольников, — мне тогда очень помогли его наставления, его книга». Но в то время, как наставления и книга знаменитого хирурга спасали жизнь бойцов Советской Армии, сам он пребывал в восточносибирской ссылке. Та, прежняя, принесенная им польза в глазах людей государственных пользой не была. Зато в 1936 году государственные люди очень высоко ценили его за то, что он хорошо зашил мочевой пузырь одному ташкентскому наркому, а в Сталинабаде избавил от мозоли второго секретаря тамошнего ЦК. Наркомов и секретарей ЦК перебывало в среднеазиатских республиках в ту пору много, ибо машина Ягоды — Ежова работала на полную мощь и сами они охотно подбрасывали друг друга под ее зубья. Но, приходя к власти, каждое новое поколение местных вождей с удовлетворением принимало к сведению, что лечить их теперь будет знаменитый профессор. Профессор им полагался так же, как квартира в Доме правительства и «кремлевский» паек. И относились они к этому профессору хоть и снисходительно, но вполне дружелюбно.

Когда человеческая личность в обществе не имеет собственной независимой цены, а стоимость ее колеблется в связи с посторонними обстоятельствами, то икс, полезный вчера, может показаться бесполезным нынче. А послезавтра того же бесполезного икса можно объявить даже вредным. Вредного же нетрудно арестовать и умертвить голодом в тюремной камере, как академика Вавилова, или расстрелять, как маршала Тухачевского, или выслать, как писателя Солженицына. Но до поры до времени полезный вне опасности. И даже вне жестоких запретов эпохи. До некоей никому заранее не ведомой поры. Любимец власти может путешествовать по земному шару, как Вавилов, устраивать у себя на квартире афинские ночи, как академик-философ Александров, и даже ходить в церковь, как профессор Войно-Ясенецкий.

В те предвоенные годы Войно, конечно, не догадывался, кому именно и за что обязан он своим покоем и благополучием. Пациенты — знатные и незнатные — были для него равны, лечил он всех, не делая никаких различий. И, думается, старик сильно удивился бы, доводись ему услыхать вдруг, от кого и от чего зависит его действительный статус. Весной 1937-го ему исполнилось шестьдесят. Левый глаз отказал окончательно, но правый действовал исправно и на операциях не подводил. Что же до взора духовного, то все лежащее за пределами судеб церкви и проблем хирургии по-прежнему оставалось для него размытым, бесцветным, вне фокуса. Долетавший до ушей политический трезвон казался однообразным, не слишком интересным шумом. Но в соблазн осуждения властей Войно никогда не впадал.

Более того, он пытался объяснить самому себе, что видимый политический хаос в самом деле имеет некое, ему не совсем понятное, но по-своему разумное объяснение.

«После того, как отец вернулся из второй ссылки, вспоминает сын Войно Алексей, — мы как-то шли с ним в баню (дело было в Ташкенте), и он по дороге развивал мысль о том, что к событиям окружающим надо подходить с исторической точки зрения, надо понять, куда идет развитие событий, Как ни страшны видимые факты жизни, возможно, что с исторической точки зрения они не так уж и абсурдны. И тогда же прозвучала фраза: «Если бы я не был епископом, то был бы коммунистом». Войно не ограничился общими суждениями. После возвращения из Архангельска он дважды публично заявил о своих пристрастиях.

Осенью 1933-го Лука попросил сына Алексея послать телеграмму в Лейпциг, где в то время судили Георгия Димитрова. «Моя архиерейская совесть протестует против вашего суда», — писал он, полностью солидаризируясь с отечественными газетами, которые усиленно анафемствовали «фашистское судилище». В 1937 году никакие судилища уже не тревожат совесть епископа Луки. В годы массовых арестов и расстрелов он только однажды поднял свой голос в печати: с удовлетворением высказался по поводу исторического перелета летчика Громова.

Поднятая в 1937 году авиационная шумиха имела тот же смысл, что и в 1918-м рев автомобильных моторов, которые запускали в гаражах во время массовых расстрелов. Перелеты и авиационные рекорды советских летчиков призваны были заглушить проникающие в мировую печать слухи о терроре. В СССР газеты целыми полосами печатали исполненные пылкого энтузиазма отклики граждан на полеты Громова, Белякова, Байдукова, на авиационные приключения Расковой и Осипенко, на воздушные рекорды Коккинаки. В иные дни, читая газеты, можно было подумать, что у гигантской страны нет иных проблем, как только освоить полюс и поднять в поднебесную высоту еще несколько центнеров металлических болванок.

Были, впрочем, и другие проблемы. Зимой 1937 года газеты целую неделю только и писали, что о пушкинском юбилее, о великом поэте, о трагической его судьбе в проклятые царские времена. А перед тем еще одна погремушка Конституция. Ее обсуждали на собраниях, в газетах, в университетских аудиториях, на школьных уроках. Обсуждают, и гомон о свободе слова, печати, собраний глушит выстрелы в подвалах, где расстреливают очередную партию «врагов народа».

Она действует безотказно, эта система глушения. И кто знает, может быть, в какой-то степени, на какое-то время оглушила она и нашего героя. Но если даже этого с ним не произошло, то понять подлинный смысл сталинских чисток Войно не сумел ни тогда, ни потом. Тридцать лет спустя он продиктовал секретарю: «В 1937 году начался страшный для Святой Церкви период — период власти Ежова как начальника Московского ОГПУ. Начались массовые аресты духовенства и всех других, подозреваемых во вражде к Советской власти». Великий поход Сталина против советского народа отпечатался в сознании епископа Луки как пора гонений, главным образом против церкви. Но ведь смысла трагедии не понял в массе своей и весь народ российский.

Главное общественное событие, окрасившее декабрь 37-го — выборы. Ташкент в море огней. Плакаты, транспаранты, флаги. Кумача и электрических лампочек приказано не жалеть. Люди радостно взволнованы. Шутка ли, торжество социалистической демократии — первые выборы в Верховный Совет по новой Сталинской Конституции. Хирург Мария Борисовна Левитанус — в самом пекле событий. И через три с половиной десятилетия ей приятно вспомнить веселую предвыборную суматоху тех дней. Голос ее с магнитной пленки звучит оживленно, бодро:

«Помню, как-то возвратилась я с заседания избирательной комиссии, а мы, врачи,

принимали активное участие в общественной жизни своего коллектива, меня попросили идти мыть руки, чтобы оперировать с Валентином Феликсовичем. Я, взбудораженная заседанием, начала мыть руки и, значит, смеясь, говорю: «Валентин Феликсович, завтра будем выбирать!» Это было в субботу, накануне выборов в Верховный Совет нашей республики по новой Конституции. Он на меня так грустно посмотрел и говорит: «Мария Борисовна, избирать будете вы, а я человек второго сорта, я — выбирать не буду». Я еще рассмеялась да говорю: «Что вы, Валентин Феликсович, такие вещи говорите!» А потом оказалось, что накануне вечером у него был обыск, и он уже знал о своем неизбежном аресте». Выборы происходили 12 декабря. Войно-Ясенецкого арестовали через сутки.

…Прослушав в Москве пленку с рассказом Марии Борисовны, я снова написал ей. Спросил, как врачи третьего корпуса относились к профессору, не вообще, а конкретно осенью-зимой 1937 года, о чем толковали между собой, узнав о его аресте. Мария Борисовна со всегдашней своей обязательностью ответила немедленно. «Все сотрудники Института неотложной помощи относились к Валентину Феликсовичу с большим уважением и глубоким доверием. Арест Валентина Феликсовича не породил никаких кривотолков. Он же был епископ!!»

Так и написала — с двумя восклицательными знаками.

Глава шестая. Конвейер (1937—1941)

«Как только Господь был арестован, Он был отведен во двор Первосвященника, который стал расспрашивать Его об учении и учениках. Иисус отказался отвечать. Тогда стоявший около слуга ударил Его. сказав: «Так ли отвечаешь Первосвященнику?» Иисус сказал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо, а если нет, то почему ты бьешь Меня?»

: *Иоанн (18. 22—23).*

«Я знаю, что все кровавые сатурналии (1793 г.) хотели бы объяснить, хотели бы прикрыть волей народа… Нет, нет! Смерти Лавуазье, смерти Мальзерба не требовал народ и обе жертвы не нужны были для безопасности Франции. Прочь снисхождение к подобным преступлениям, их надо проклинать ныне, завтра и всегда, для истинной свободы и благоденствия государства не нужны эшафоты».

Франсуа Доминик АРАГО. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров.

Они пришли по обыкновению ночью: несколько человек в гражданском, милиционер, дворник. Сняли иконы, рылись в ящиках стола и шкафах. Молодой чекист распотрошил шкатулку с письмами покойной Анны Ланской. Войно сидел в углу, не произнося ни слова. Остальные тоже молчали. В общую кучу на середину комнаты летели книги, одежда, медицинские рукописи. В напряженной тишине вдруг раздался голос молодого чекиста: притомившись, он разогнулся, щелкнул портсигаром, попросил разрешения закурить. Войно ответил, не подняв головы: «Своими грязными руками вы роетесь в письмах моей жены, вы совершаете Бог знает что в моем доме, так делайте же и дальше, что хотите…» Чекист, не закурив, резко сунул портсигар в карман.

Те, кто совершает ночные обыски и увозит своих жертв в черных закрытых автомобилях, более всего пекутся о сохранении тайн. Главная их тайна методы: как арестовывают, как везут, что происходит в камере, на допросе, в тюремной больнице, в лагере. Бесчисленные винты и винтики пыточной машины потому так боятся света и гласности, что в глубине души каждый из них знает о беззаконности и бесчеловечности того, чем занимается. Им хотелось бы навеки сохранить тайну своей кухни, «черного ящика», ограничив наши сведения о нем лишь фактом ареста «на входе» и реабилитационной бумажкой «на выходе"… Но острие правды лезет наружу, прорывает душевный страх одних и корыстные расчеты других. Тюремные врачи из Ташкента Г. И. Абрамова и И. Г. Обоев не захотели со мной разговаривать. Побоялись. Но тайна, в которую посвящены двадцать миллионов, — уже не тайна. Приложите усилия, и вы найдете тех, кому страх не сводит губ и опасения за свое будущее не застилают память о прошлом. Я искал и нашел.

Первый человек, рассказавший, что стало с Войно после того, как за ним задвинулись железные ворота ташкентской тюрьмы, был — не странно ли? двоюродный брат афганского эмира. Да, да, того самого высокоценимого нашими историками прогрессивного эмира Аммануллы-хана, который первым среди глав зарубежных государств признал Советскую Россию.

На долю кузена его величества Мухаммада Раима выпала жизнь довольно бурная. Когда летом 1971 года он принял меня в своей просторной квартире на Кутузовском проспекте (дом «сталинской» архитектуры, предназначенный для иностранцев), ему было уже 67 лет. Числился он научным сотрудником Института народов Азии и, судя по дорогой арабской мебели и алым сафьяновым покрывалам на диванах, нужды не испытывал. Но случалось старому афганцу переживать и иные времена.

В том возрасте, когда европейские дети посещают обычно среднюю школу, Раим стал губернатором Северной (Мазари-Шерифской) провинции. Ладить с таким братцем, как Амманула-хан, было, очевидно, не слишком просто. В 1926 году, не удовлетворясь скромной ролью эмира, Амманула объявил себя падишахом. Правление его отмечено было постоянными мятежами и бунтами, которые подавлял он со всей жестокостью истинного самодержца. Славился он также лютой ненавистью к англичанам и ко всему вообще европейскому. Случалось, на дворцовых приемах, вооружившись ножницами, падишах собственными руками выстригал у своих приближенных клочья их европейских сюртуков и мундиров. Он и Советскую Россию признал только, чтобы насолить Англии. В 1929 году, однако, очередной мятеж заставил Амманулу бежать в Европу. А его кузен Мухаммад Раим, губернатор, услыхав, что в Кабуле режут падишахскую родню, погнал своего коня из Мазари-Шерифа прямо на север, через пограничную Аму-Дарью, на советскую территорию. Другой возможности спастись у него не было.

Не зная русского языка, эксгубернатор кое-как перебивался в Бухаре и Самарканде, потом добрался до Ташкента. Там получал копеечное жалованье в качестве технического служащего в каком-то институте. В 1937 году его обвинили в шпионаже и арестовали. Зачем его высочеству понадобилось оставить свой государственный пост, опускаться до уровня рядового шпиона и что именно он высматривал на территории СССР, этого деятели тогдашнего НКВД не знали да и знать не желали. Просто «клепали» дело, оформляли бумаги, подвернулся под руку такой вот королевский отпрыск. «Следствие» продолжалось четыре года. Претерпел Мухаммад Раим и «конвейер» семисуточный, и голод, и иные муки. Но, верующий мусульманин, он сохранил душевное равновесие и к потрясениям судьбы отнесся философски. В конце концов Особое совещание определило губернатору-шпиону наказание — восемь лет лагерей. Освободили его, кстати сказать, досрочно, еще при жизни Сталина.

Так вот этот Мухаммад Раим (в российском своем обличье Раим Омарович Мухаммад), сидя в 1938-м уже не во внутренней тюрьме НКВД, а в центральной областной, оказался в седьмой камере второго корпуса, где в обществе трехсот таких же «преступников» томился епископ Лука. В камере той — шесть на шесть, с трехэтажными нарами и цементным полом — кузен падишаха занимал сначала место под нарами. После очередных расстрелов освободилось место рядом с профессором-епископом. Тут и довелось этим двоим провести два года бок о бок, обсуждая свои беды и возлагая надежды на Аллаха и Спасителя. Рассказы Раима Омаровича о Войно полны неподдельной симпатии. Он даже считает нужным обосновать эту свою симпатию и объясняет мне, что Исса Христос — один из семи главных святых мусульманского мира, и, следовательно, чтущему Иссу мусульманину вполне естественно уважать христиан. Религиозную терпимость бывшего губернатора разделяли, к сожалению, не все его однокамерники. Камера номер семь соединила под своими сводами людей разных. Сидели тут и «белые» генералы, и генералы нового режима, секретари обкомов, члены ЦК. Вместе со старой профессурой ждали своей участи профессора новой формации — партийные. Кадеты и анархисты соседствовали на нарах с коммунистами и беспартийными. Но даже здесь, уравненные перед Богом и людьми в своем несчастье, голодая, задыхаясь в тесноте и ожидая смерти, россияне продолжали тяжбы и взаимные обвинения. «Белые» обвиняли «красных» в злодействе, «красные» клялись, что, выйдя из тюрьмы (их преданность партии и Сталину, конечно же, выведет их отсюда), перестреляют всех «бывших» до единого.

Наиболее рьяные атеисты пытались втянуть в спор н «несознательного», «реакционного» епископа Луку, но Войно «по вопросам метафизики» (выражение Раима Омаровича) спорить отказывался. В лекциях своих медицинских (такие лекции читали и другие профессора) вопросов политики тоже не касался. В камере был со всеми ровен и сдержан, готов был любому оказать медицинскую помощь, мог поделиться и пайкой хлеба. Относились к Луке в камере, в общем, уважительно. Даже начальство его выделяло. Луку освобождали от мытья сортиров и выноса параши. «Он был такой человек, что нельзя было к нему относиться иначе», — поясняет Раим Омарович, и черные усталые глаза его, глаза очень много повидавшего человека, освещает свет почтительного удивления.

За два года о чем только они с Войно не переговорили! И про катаплазмы Вальневой ему профессор рассказывал, и про дело Михайловского, когда пытались огепеушники обвинить епископа в подстрекательстве к убийству. И енисейские свои скитания Лука описывал. Запомнилась Мухаммаду история, как в Сибири Войно крестьянину полостную операцию делал перочинным ножом, а зашивал рану женским волосом: «И видит Бог, никогда не случалось нагноения». Толковали о заветной мечте профессора: дописать и опубликовать «Гнойную хирургию». Помнит Раим Омарович и тот день, когда по требованию Луки выдали епископу-хирургу чернила и перо и писал он письмо наркому обороны К. Е. Ворошилову. Говорилось в письме опять-таки о книге, которая необходима нашей родине в мирное время, но еще больше в случае войны. Лука у Ворошилова свободы не просил, а просил только разрешения получать из дому научные материалы, хотя бы на два часа в день уединяться для работы над книгой.

Взгляды свои религиозные Лука тоже не скрывал. Не таил и того, что преследуют его за веру: говорил: «Мне твердят: сними рясу — я этого никогда не сделаю. Она, ряса, останется со мной до самой смерти». И еще говорил: «Не знаю, что они от меня хотят. Я верующий. Я помогаю людям как врач, помогаю и как служитель церкви. Кому от этого плохо? Как коршуны нападают на меня работники ОГПУ. За что?»

Сохранился по поводу злополучной рясы и другой рассказ. Повелось так, что в седьмой камере заключенные, прежде чем идти на допрос, подходили к епископу под благословение. Не все, конечно, но некоторые подходили. То ли они сами в этом признались следователю или кто-то донес, но однажды Войно был вызван в тюремную больницу, и тамошний доктор Обоев долго уговаривал его снять рясу и вообще «не привлекать к себе излишнего внимания», т. е. по существу забыть о своем духовном звании. Обоев признавался потом своему знакомому, что это поручение начальника тюрьмы выполнить ему не удалось. Войно корректно, но твердо заметил коллеге, что тот взял на себя миссию не по силам.

Есть в этом эпизоде некоторая странность. Тюремному начальству ничто не мешало разрешить конфликт с епископом самым простым способом: содрать с него рясу (очевидно, речь шла о подряснике), швырнуть взамен рубашку, снятую с очередного расстрелянного, — и конец проблеме. Но вот не содрали. Что-то помешало? Неужто совесть?

Ташкентский житель, профессор-дерматолог Армаис Аристагесович Аковбян — еще один свидетель жизни Луки в камере номер семь. Когда-то студент-медик Аковбян слушал лекции хирурга Войно-Ясенецкого в Ташкентском университете. И вот где встретиться пришлось… Впрочем, была у них на свободе еще одна встреча. В самом начале 30-х, уже будучи врачом, Армаис Аристагесович заходил к Войно в больницу как пациент. Ему показали кабинет профессора, и он постучал. Не услышав ответа, тихонько

приоткрыл дверь. Войно молился. Аковбян несмело окликнул его. В ответ услыхал внушительное:

— Не мешайте мне. Я говорю с Богом…

С тех пор многое изменилось для доктора Аковбяна. Человек по натуре мирный и законопослушный, он пережил потрясения, которые ни с чем нельзя было сравнить и нечем объяснить: обыск, арест, «допросы с пристрастием», дикие обвинения в несуществующих преступлениях. Пришел он от всего этого в полное уныние и упадок духа. А Лука все тот же. Дважды в день, оборотясь на восток, становится на колени и, не замечая ничего вокруг себя, молится. Но не то удивительно. Чудно, что там, где яблоку негде упасть, где измученные, озлобленные люди готовы лаяться и драться по любому пустячному поводу, на время молитвы его воцаряется вдруг неправдоподобная тишина. Среди заключенных много мусульман и просто неверующих, но все они почему-то начинают говорить шепотом, и как-то сами собой разрешаются только что раздиравшие людей ссоры.

То же и при раздаче утренней пайки. Тут страсти кипят самые что ни на есть звериные. Лука сидит в стороне, думает свое, а в конце концов ему подают ломоть хлеба ничуть не хуже, чем достался другим, а подчас даже и вожделенную горбушку. Позднее у Луки возникла возможность отплатить за оказанное ему внимание. В начале 39-го, когда, отслужив свою кровавую службу, сошел с политической арены Ежов, начались в тюрьме некоторые послабления, разрешили передачи. Начал получать посылки и профессор-епископ. По словам Аковбяна, он до крохи раздавал все полученное между сокамерниками.

В чем его обвиняли? Он никогда об этом не рассказывал. Не жаловался даже после тринадцатисуточного допроса. Тринадцать суток без сна — это предел. Больше никто не выдерживал. После одного такого «конвейера» Войно приволокли в камеру волоком. Только уходя на этап, впервые обратился он к сидевшим с ним ташкентским врачам и ученым: попросил — кому Бог пошлет выйти на волю, пусть похлопочут вместе с другими профессорами о смягчении его, Войно-Ясенецкого, участи. «Ведь я ничего дурного не сделал. Может быть, власти прислушаются к вашим просьбам…» Полгода спустя, летом 1940-го, Армаис Аристагесович передал эту просьбу профессору М. И. Слониму. Но старый друг Войно, теперь уже орденоносец, депутат, заслуженный врач, замахал испуганно руками: «Что вы, что вы, нет, нет…» То, что казалось естественным в двадцатых годах, на пороге сороковых вызывало ужас.

Два моих собеседника в Ташкенте и в Москве воссоздали вполне достоверную картину камерного котла, в котором много месяцев варился епископ Лука. Но что происходило за пределами камеры? Как выглядела дьявольская западня следственных комнат, капканы, в которых ломали тела и уродовали души? Где-то они стоят, где-то припрятаны тома с грифом «Хранить вечно» — протоколы допросов профессора Войно-Ясенецкого за 1937—1939 годы. Но попробуйте заглянуть в них. Тайна. Главная государственная тайна, ан птичка выпорхнула. Двадцать лет спустя, диктуя свои «Мемуары», архиепископ Лука закрепил на бумаге все пережитое: голодовки, побои и, главное, конвейер.

«Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни ночью. Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал от истощения. У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации. То мне казалось, что по комнате бегают

желтые цыплята, и я ловил их.

То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой был расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине шевелится змей. От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить они, конечно, не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из-под которого обливали мне голову холодной водой». Елена Валентиновна Жукова-Войно утверждает, однако, что отцу четко инкриминировали шпионаж в пользу Ватикана. Позднее, когда дочь ездила к отцу в третью ссылку, она слышала от него и другие подробности о конвейере 1937 года. Чтобы подорвать его дух, в следовательскую комнату несколько раз врывался чекист, пестро наряженный шутом, который изрыгал отвратительные ругательства и оскорбления, глумился над верой заключенного, предсказывал ему ужасный конец. Но главной пыткой, конечно, оставались недели без сна.

…Когда в безлюдном переулке на человека нападают бандиты, он кричит. Криком разбойников не отпугнешь, но они боятся гласности, боятся разоблачения. Боятся гласности и хозяева застенков. У тех и других есть что-то общее с гангренозной палочкой. Как и анаэробная инфекция, они не любят свежего воздуха общественного интереса, ветер общественного негодования для них губителен. Не эпизод ли с Горбуновым подсказал Войно-Ясенецкому прием, с помощью которого решил он если не одолеть, то хотя бы напугать своих мучителей. Надо поднять в городе шум, привлечь внимание врачей, бывших пациентов. Идея верна. Но как и все интеллигентские проекты этого рода, замысел Войно, чрезвычайно логический, оказался вместе с тем и чрезвычайно наивным.

Это произошло где-то на тринадцатом витке пыточной машины. Подследственный объявил, что прекращает голодовку и подпишет любые показания, за исключением разве что покушения на товарища Сталина. Но сначала он просит поесть: хорошо бы — кусок жареного мяса. Тарелка с мясом и прибор появились незамедлительно.

«Я предполагал, — пишет Войно, — перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож и сильно ударив по его головке. Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невозможно в ГПУ, им меня пришлось бы отвезти в больницу или в хирургическую клинику. Это вызвало бы большой скандал в Ташкенте.

Очередной чекист сидел на другом конце стола. Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии перерезать им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не смог. Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. Меня отвели в другую комнату, где предложили поспать на голом столе с пачкой газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжелое потрясение, я все-таки заснул, не помню, долго ли спал. Меня уже ожидал начальник секретного отдела (очевидно, следственного. — М. П.), чтобы я подписал сочиненную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим его требованием… Я был совершенно обессилен голодовкой и конвейером, и, когда нас выпустили в уборную, я упал в обморок на грязный, мокрый пол. В камеру меня принесли на руках». Первый конвейер происходил в здании внутренней тюрьмы НКВД. Не добившись от «попа» проку, чекисты перевели его до поры до времени в областную тюрьму. Тут-то и повстречал Лука своего бывшего студента Аковбяна и бывшего афганского губернатора Раима Мухаммада. Войно признается, что многое пережитое в тюрьме он забыл, но память врача сохранила зато эпизод сугубо профессиональный.

«Не помню, по какому поводу я попал однажды в тюремную больницу. Там с Божьей помощью мне удалось спасти жизнь молодому жулику, тяжелобольному. Я видел, что молодой тюремный врач совсем не понимает его болезни, я сам исследовал его и нашел абсцесс селезенки. Мне удалось добиться согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в которой работал мой ученик доктор Ротенберг. Я написал ему, что и как он найдет при операции, и Ротенберг позже мне писал, что дословно подтвердилось все написанное в моем письме. Жизнь жулика была спасена, и долго еще после этого при наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уголовные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика». Запомнился и второй допрос конвейером, во время которого заснул сам чекист. Разбудил его внезапно вошедший в комнату начальник следственного отдела. «Попавший в беду чекист, — пишет Войно, — прежде всего очень вежливый со мной, стал бить меня… ногой, обутой в сапог». Потом несколько дней карцера… Неудивительно, что после всего пережитого Лука многое забыл. Его отрывочные воспоминания дополняет дочь Елена.

Почти два года после ареста отца семья ничего о нем не знала. Первые вести просочились из тюремной больницы: папа лежит с отеками на ногах: из-за голодовок сдало сердце. Потом родственникам разрешили приносить передачи. Золотые деньки послеежовского послабления продолжались недолго, но запомнились хорошо. Расположенная в старых, еще царской стройки зданиях, областная тюрьма отличалась от внутренней тюрьмы НКВД несколько большей патриархальностью нравов. Летом 1939-го, стоя у железных ворот, можно было даже заглядывать в дырочку, пробитую гвоздем. Через ту дырочку Елена дважды видела отца во время арестантской прогулки. В два часа заключенным привозили обед в котлах. Знакомый арестант-перс, неся котел с баландой, кричал громко: «Дорогу! Дорогу!», а проходя мимо Елены, шептал: «Он здоров, здоров». Однажды перс шепнул: «Его здесь нет». Елена Валентиновна бросилась в комендатуру. Оказалось, что отец опять объявил голодовку и помещен в больницу.

В другой раз, прождав возле тюремных ворот целый день, дочь получила от отца записку: «Через сутки буду дома». Ни через сутки, ни через неделю домой он не пришел. Очередная переданная больничным санитаром записка сообщила: «Меня обманули, не выпускают, возобновил голодовку». Голодал он в тот раз восемнадцать дней.

Конвейеры и прочие тюремные «игры» так ни к чему и не привели. Следователи своего не добились. Войно протоколов не подписывал. Выслали его в Сибирь административно. Незадолго до отправки на этап невестка Мария Кузьминична вымолила у прокурора десятиминутное свидание со свекром. Со времен толстовского «Воскресения» комната для свидания с заключенными обогатилась двойной решеткой. Между двумя разделяющими арестанта и его родных решетками возник коридорчик, специально предназначенный для того, чтобы по нему ходил солдат с винтовкой.

Свекор вышел желтый, отечный. Очевидно, ему было трудно стоять на отекших ногах, и он ухватился рукой за прутья. Сказал, слабо улыбаясь: «Я получил твою посылку. Много всего. Но ничего, нас в камере тоже много». Глядя на измученное лицо старика, Мария Кузьминична заплакала. «Да перестань ты плакать, — сказал он ласково, — я уже привык к этой собачьей жизни». Потом попросил рассказать, что делается в мире. Давно не видел газет. Голос у него остался все тот же: низкий, сильный. Слова его легко перелетали через пустое пространство между железными переплетами. А ей приходилось кричать: «Только что окончилась война с финнами». Оказалось, про войну он ничего не знал. Кричать в присутствии постороннего через решетки было неприятно. Да и непонятно, о чем можно и о чем нельзя было говорить в таком месте. От

волнения Марии Кузьминичне стало жарко, она распахнула шубу. Свекор увидел на черном свитере красный знак «Ворошиловский стрелок». «Что это у тебя?» Сквозь слезы стала объяснять, что вот научилась стрелять. Это вышло почему-то так смешно и неуместно, что даже солдат фыркнул. От того свидания осталось в памяти не столько даже лицо, сколько руки свекра: большие белые руки хирурга на железной решетке.

От Красноярска Енисейский тракт берет прямо на север. Районный центр Большая Мурта (сейчас семь тысяч жителей, перед войной — вдвое меньше) — на сто десятом километре. Районная больница открывается сразу: крепкий, земской постройки бревенчатый дом на пригорке среди елей и берез. Окна на тракт. И вывеска большая — так в глаза и бросается.

Из Красноярска мы домчались сюда за час двадцать. А сколько времени тянулись сюда те же подводы с административно-высланными, что оказались под больничными окнами мартовской полуночью 1940 года? Надо полагать, выехали они из ворот Красноярской пересыльной тюрьмы еще затемно. И конвой и люди, наверно, порядком промерзли, пока впереди слабым светом замигали крайние в Большой Мурте постройки — больничные. Тогдашний главный врач здешний вспоминает:

«Поздним вечером в начале марта 1940 года я долго засиделся в комнате, готовясь к предстоящей на следующий день операции. В двенадцатом часу ночи ко мне постучал фельдшер Иван Павлович Бельмач. Он вошел и, растерянно извиняясь, объяснил, что ко мне хочет сейчас прийти какой-то профессор… Фамилию профессора Иван Павлович произнести не смог. Вошел высокого роста старик с белой окладистой бородой и представился: «Я профессор Войно-Ясенецкий». Эта фамилия мне была известна только по книжке, которая вышла в свет несколько лет тому назад — «Очерки гнойной хирургии». Больше ничего об этом профессоре я не знал…. Он мне сказал, что приехал только что сейчас из Красноярска на подводах в составе очень большой группы бывших заключенных, жертв 1937 года, которые посланы в Большемуртинский район на свободное поселение… Он как хирург решил прежде всего обратиться в районную больницу и просил меня обеспечить ему только белье и питание, и обещал мне помогать в хирургической работе. Я был несколько ошеломлен и обрадован такой помощью и такой встречей». Автору этих строк было в 1940 году двадцать шесть лет. За полгода до встречи с Войно окончил он медицинский институт, был вместе с женой врачом послан в Б. Мурту и на хирургическом поприще делал первые свои шаги. Тридцать лет спустя он так вспоминал ту мартовскую встречу:

«Мы не спали до четырех часов утра. Вначале он меня расспрашивал о литературе последних лет, о достижениях советской хирургии… Затем он стал расспрашивать меня, какую хирургическую работу я веду, к какой операции готовлюсь, и, когда я рассказал о том, что на завтра у меня назначена операция по поводу рака нижней губы с иссечением регионарных лимфоузлов на шее, он тут же очень хорошо представил мне на рисунках анатомию подчелюстной области. Я заметил, что он прекрасно рисует, и его схемы выглядели как схемы из классических атласов по нормальной анатомии». Так, едва сойдя с арестантской телеги, опрометью кинулся старый земский доктор в милые его сердцу хирургические премудрости. И для хозяина дома на енисейском тракте эта мартовская ночь была знаменательной. Думаю, что начинающий врач быстро сообразил, какие огромные выгоды может принести ему неожиданная встреча. До тех пор в трудных случаях приходилось ему искать консультаций у красноярских коллег по телефону. А тут вдруг такая удача: собственный профессор-консультант…

Следующий день, однако, чуть не расстроил всю идиллию."…Заведующая

райздравом, — вспоминает Барский, — была очень энергичная женщина, но безо всякого медицинского образования и почти совершенно безграмотная, умевшая только подписывать свою фамилию. Вероятно, тогда такие случаи были не редки. Когда я рассказал о том, что вот у меня имеется такой профессор… она замахала на меня руками и сказала, что нет, нельзя допустить, чтобы он работал в районной больнице».

Барский, по его словам, не отступился, пошел сначала к председателю райисполкома — неудачно, потом к секретарю райкома партии. Тот привлек для консультации начальника районного отдела НКВД. Наконец общими усилиями муртинские государственные мужи пришли к мысли, что под наблюдением товарища Барского ссыльный профессор работать в районной больнице все-таки сможет. То было поистине, великое благодеяние, ибо из двухсот человек, приписанных в район на поселение, — инженеры, преподаватели иностранных языков, фармацевты, библиотекари, — остаться в районном центре разрешили лишь считанным единицам. Муртинская райздравша не раз еще пеняла потом доктору Барскому за его «политическую ошибку» и поминала старые, с первой енисейской ссылки не забытые грехи Войно-Ясенецкого, который «очень не любил советских врачей». Барский обещал своей неграмотной, но энергичной начальнице, что потачки старику давать не станет, и не давал. Он даже не зачислил Войне в больничный штат, а просто «выписывал ему всего двести рублей за счет пустовавших ставок то ли санитарки, то ли прачки».

Александр Васильевич Барский достиг впоследствии степеней известных: стал профессором, заведует ныне кафедрой общей хирургии в Куйбышевском медицинском институте. К воспоминаниям его мы еще вернемся. Но разыскал я его уже после того, как побывал в Большой Мурте. С трудом удалось найти в Красноярске и бывшего первого секретаря Большемуртинского райкома партии П. Мусальникова, ныне пенсионера республиканского значения, и других должностных. Летом же 1970-го в Мурте ни одного начальственного лица сороковых годов не оказалось. Все уехали в большие города, растворились, исчезли, ушли в беспамятство. И некому было бы мне рассказать о событиях прошлого, если бы не больничные санитарки, медсестры, печники, прачки. Эти на повышение не пошли, их не перебрасывали и на укрепление не посылали. Коренные муртинцы, пережили они не один десяток секретарей и председателей, начальников НКВД, а потом и МГБ и остались тем же, чем были, — народом. Впечатлений накопили они не слишком много, но охотно делились всем тем, что запомнили из большемуртинской истории, в которой каждый пустяк им родной, всякая мелочь — живой кусок их жизни.

В тот ветреный, с перебегающими облачными тенями августовский день 1970 года первым моим собеседником на почерневшем больничном крыльце стал печник Иван Яковлевич Автушко. Был он слегка выпивши по случаю воскресенья, физиономию имел давно не бритую, но очень дружелюбную. А главное, проявил он себя человеком памятливым и разговорчивым. 26 июня 1941 года, на четвертый день войны, сделалось у него прободение язвы желудка. Пришел он с этим прободением в больницу за три километра и перед рассветом лег вот на это самое крыльцо. Главного доктора уже забрали в армию, а жену его, оставшуюся за него, Автушко будить постеснялся. Лежал и ждал, когда кто-нибудь выйдет. В восемь пришел из рощи старик с белой бородой, профессор. Он всегда ходил по утрам в ближнюю рощу молиться. Принесет с собой иконку складную, поставит на пенек и молится. Хирург (имени его Автушко не знает и называет его просто: старик, старичок) осмотрел живот и сказал, как филин буркнул: «Из тысячи одного человека такого удается спасти. Ты погиб». Иван Яковлевич спорить не стал: «Погиб, так

погиб. Тогда и не надо баловаться, один укол — и чтобы все». Но старик все-таки решил резать. Уже ноги у Автушко похолодели, когда положили его на стол. Сестер на фронт забрали: наркоз некому давать. Операцию делали под этим, ну как его… Одним словом, он, Автушко Иван Яковлевич, все видел: и как его резали, и как внутренности вынимали. А когда до печени дотронулись, то перед глазами елочки повалились.

«Спасибо этому старику, спас он меня, — жалостливо качает хилой головой печник. — Жизнь он мне установил. Я хотел его подкормить маленько. Старик этот здесь голодовал. Кто-нибудь из больных принесет десяток яиц, он сварит их и поест. Да, наверное, не каждый день и ел».

Прошу Автушко показать мне операционный шов. Он задирает синюю в полоску неподпоясанную рубаху и обнажает живот. Шов выглядит странно: в двух местах на поверхность выходят грубые рубцы. Я с недоверием разглядываю эту явно недоброкачественную хирургическую работу, но Иван Яковлевич спешит разъяснить: «Ты на рубцы не смотри. Это бабы все…» Оказывается, месяца через два после операции шел он один пьяный, одолели его в лесу соседские бабы, сели играючи на живот, а швы и лопнули. Иван Яковлевич спускает подол рубахи и снова возвращается к главной своей теме: «Голодный был старик. Почету ему тут не было». Да почему же? «Не знаю, я и сам обижаюсь. Разве бы я не купил ему десяток яиц. Хватился посля, а вот теперь жалею…»

Ни в чем не покривил печник Автушко. Все рассказал точно. И про операцию, и про то, как, встав на рассвете, уходил Войно в ближнюю березовую рощу молиться, и про то, что не было ему почета от местного начальства. Бывший здешний военком, детского роста мужичок в гимнастерке с медалями и в крестьянских приспущенных портках, Соболь Иван Петрович, подтверждает: «Жил профессор бедно, даже недоедал. Смотрели на ссыльных в Мурте косо». Соболь — единственное начальственное лицо, сохранившееся в Б. Мурге с 1940 года. Сохранился он, впрочем, не по своей воле: на войне попал к немцам в плен. Потом долго сидел в наших лагерях. Сломалась карьера, изменились взгляды на жизнь. Намекая на собственные беды, говорит: «Теперь-то я понял, как оно несладко быть ссыльным…»

Хирург Борис Иванович Хоненко работал в Мурте после войны. Он тоже слышал от старых сотрудников, что жить в муртинской больнице профессору пришлось в крохотной комнатушке рядом с кухней. Жил очень скромно. Сотрудники его любили. И повариха Екатерина Тимофеевна норовила принести профессору что-нибудь повкуснее, но он упрашивал ничего не носить: боялся, что влетит ей от главного врача Барского. Бедность не только не томит Войно, но он даже как будто стремится сохранить ее. В письмах к детям просит: «Денег не присылайте… Сластей и съестного не присылайте». По дороге в третью ссылку уголовники полностью опустошили его чемодан, но Лука обращается к сыну Михаилу только за самым насущным: необходимы кусок материи на верхнюю блузу и немного белья.

Про обиды он вообще никогда не пишет. А ведь они были — обиды… Татьяна Ивановна Стародубцева, здешняя, коренная, 1916 года рождения, в больничных санитарках с 1932-го, вспоминает: «Мы-то, сестры и санитарки, его любили. Обида профессора была не от нас». По мнению Татьяны Ивановны, пример неуважения к профессору подавали начальники муртинские. Когда Войно пошел в райком с жалобой, что мальчишки деревенские нарочно гадят в роще там, где он молится, секретарь ему ответил: «Мы свою церковь взорвали еще в 1936-м. И нечего нам тут религию разводить».

Защитить Войно от несправедливости, устроить его быт мог бы, очевидно, главный врач, но Барский, который в своих воспоминаниях не скрывает, что получил от

ссыльного профессора, по существу, целый практический курс хирургии, знал, насколько рискованно для партийца проявлять излишние симпатии к ссыльному. Знал и держал необходимую дистанцию. Был в отношениях с профессором, по словам больничного персонала, еще один охлаждающий фактор: едва сошедший со студенческой скамьи врач завидовал известности старшего коллеги. Когда, сидя в избенке Татьяны Ивановны, мы дошли в разговоре до этого места, санитарка почему-то понизила голос и шепотом пояснила: «Александр-то Васильевич, он у нас партейный был. Гордо чувствовал себя. А этот старичок — ссыльный. А к нему, к ссыльному, народ чуть не со всей Сибири. Вот наш-то и позавиствовал ему».

Удивительным образом эта подмеченная простыми людьми ущемленность муртинского доктора просвечивает даже в собственных, профессора Барского, воспоминаниях. Упорно, будто боясь, что ему не поверят, повторяет он несколько раз, что Войно-Ясенецкий, живя в Мурте, всегда безоговорочно слушал его и по всякому поводу обращался к нему за разрешением. Хотя желающих лечиться у профессора было много, Войно, по словам Барского, «консультировал больных, не обижая мой авторитет». Барский первым принимал приезжих. «И только в том случае, если я находил необходимым его консультацию, направлял к нему». И снова: «Войно-Ясенецкий не принимал без моего направления ни одного больного». Сам того не замечая, автор воспоминаний обнажает тайную пружинку не слишком мудреной своей души. Даже через тридцать лет после событий ему не удается скрыть распирающую его гордость: это он, Александр Барский, командовал знаменитым профессором Войно-Ясенецким. И тот слушался. Но существовал мир, в котором ни партия, ни доктор Барский, ни районные громовержцы не имели никакой власти над ссыльным профессором. В операционной он становился для них недосягаемым. Оперировал, как всегда, широко: на костях, на глазах, в брюшной полости: убирал у детей гланды и аденоиды, выдавливал трахомные бугорки на веках, лечил женские недомогания, разоблачал, по свидетельству военкома Соболя, призывников-симулянтов. Сказывалась старая, как он сам ее называл, «французская», а скорее, наша, русская земская школа. В Мурте мне называли многих людей, радикально излеченных Войно-Ясенецким от трахомы, старческой слепоты, язвы желудка и спондилеза.

В операционной Лука сам становился большим хозяином, до крайности строгим, требующим от врачей, сестер и санитарок абсолютной пунктуальности. Равнодушия к медицинскому долгу ни в каком виде не терпел. Однажды пришлось ему оперировать секретаря райсовета Строганова. Операция как операция: ущемленная пупочная грыжа. И можно не сомневаться: через две недели больной вышел бы на работу и забыл бы о своей грыже. Но вмешались ненавистные Войно-Ясенецкому силы, которые на нет свели все его усилия. Стационаром ведала жена Барского, врач, но особа чрезвычайно легкомысленная. Сам Барский находился в отпуске, а жена его, оставшись за хозяйку, распорядилась снять швы у оперированного раньше времени. Сама же уехала по личным делам в Красноярск. Больной чихнул — шов лопнул. Пока сестры заметили беду, началось омертвение кишечника. Войно оперировал второй раз, но — поздно. Больной умер.

Будь Строганов рядовым гражданином, все обошлось бы тихо-мирно. А тут — депутат. Пошли слухи: ссыльный, ненавидя Советскую власть, нарочно погубил депутата, народного избранника. Слух стал обрастать деталями: во время операции профессор оставил в животе у больного ножницы. Летом 1940 года такие обвинения были равносильны смертному приговору. В лучшем случае, при очень милостивом составе

трибунала, Войно получил бы двадцать пять лет лагерей. И, конечно, сгинул бы навек. Стояли жаркие дни. Гроб с телом умершего на веревках опустили в могилу, но не засыпали. Из Красноярска ожидали комиссию судебных медиков. Здесь так и хочется сказать судебных. Эксперты осмотрели тело, долго советовались сначала между собой в больнице, потом в райкоме партии. Никакой вины в действиях хирурга не нашли. Судить следовало Барскую, но райком распорядился — не трогать: молодой кадр. Дело замялось.

Замялось, да не совсем. Оказывается, еще в день смерти больного, повстречав свою начальницу в хирургическом отделении, Войно потребовал, чтобы отныне она забыла сюда дорогу. Если же она покажется в отделении хоть раз, то навсегда перестанет сюда ходить он, профессор Войно-Ясенецкий. Случившаяся при разговоре операционная сестра Елизавета Петровна Рюмкина слышала, что в заключение профессор, глядя Тамаре Петровне в глаза, с какой-то даже гадливостью в голосе произнес: «У вас нет хирургической души».

Барская, естественно, побежала жаловаться в райком. Но жалоба на разгулявшегося «врага народа» была оставлена без последствий. В Мурте знали: ответственные работники красноярского НКВД несколько раз уже приглашали Войно на консультацию в столицу края. Решили: с таким человеком лучше не вязаться. Барская в хирургическое отделение ходить перестала, но у нее, как и у всякого начальства, осталось достаточно возможностей, чтобы досадить зависимому от нее человеку. А досаждать она умела. Первый секретарь большемуртинского райкома партии Петр Мусальников высказался по этому поводу несколько меланхолично, но недвусмысленно: «Обстановку, в которой он (Войно-Ясенецкий. — М. П.) работал, можете представить, ведь он был ссыльный… Барская учитывала это и кое-где могла поиграть на его нервах».

И все-таки, сидя в своей хирургической крепости, он не боялся их, краевых и районных царьков. Может быть, даже жалел их, как жалеют неразумных, испорченных детей. О мелких булавочных уколах, о которых хорошо помнят сестры, в письмах к детям нет ни слова. У хирурга другое на уме. Едва прошли нажитые в тюрьме одышка и отеки на ногах, Войно принялся за дело, от которого его отрывали уже в третий раз: за «Очерки гнойной хирургии».

«Писал он очень много, — вспоминает Елизавета Петровна Рюмнина. — В комнате его, кроме кровати, стола, стула и иконки, ничего не было. Зато книг, книг был полный стол, да еще в ящике под кроватью лежали. Я его спросила: «О чем вы пишете?», а он мне: «Это то, что вам надо знать, вы по этой книге учиться станете».

Экстаз творчества, захвативший Войно-Ясенецкого осенью 1933 года после Архангельска и прерванный тюрьмою в 1937-м, летом сорокового завладел им вновь. Письма к детям из Мурты пестрят названиями книг и журналов, которые он просит посылать ему. «Большое огорчение, что Лена не присылает книг и историй болезни. Я не могу писать своих статей», — жалуется он сыну Михаилу в мае. Вскоре за тем просит подписать его на «Вестник хирургии» и «Клиническую медицину». В январе 1941 года снова: «Одна только просьба к тебе: пришли англо-русский словарь… У меня большое огорчение: пропала присланная из Ташкента французская книга и часть рукописей. Заказываю в Ленинградской публичной библиотеке фотокопии и уже часть получил».

Глубокой осенью сорокового — радостная весть: начальник муртинского НКВД передал ссыльному, что пришло разрешение на выезд в Томск для работы в медицинской библиотеке. С чего вдруг такое благоволение? Лука полагает, что «сработало его давнее, посланное еще из ташкентской тюрьмы письмо к маршалу Ворошилову». Но такого же

рода просьбу посылал он позднее и своему коллеге, новосибирскому депутату Верховного Совета В. М. Мышу. Так или иначе в вожделенную библиотеку он попал и там «за два месяца успел перечитать всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках и сделал большие выписки».

Работает он все эти месяцы как одержимый, ни о чем, кроме своей книги, говорить не может. С «Очерками» связывает Лука самые светлые свои надежды на будущее: признание, освобождение из ссылки, возвращение к родным. В январском письме подводит первые итоги: «…Написал часть главы об остеомиелите костей таза и… скоро напишу ее всю. Остается быстро написать главу о гнойном коксите и, надеюсь, в феврале послать в Наркомздрав пять новых глав… Буду просить об отпуске не только в Москву, но и в Ташкент, так как там надо будет посмотреть истории болезней в архиве Института неотложной помощи, многое почитать в немецких и французских хирургических журналах. Хорошо бы приехать в мае».

В Красноярске в один из своих приездов хирург познакомился с любезной семьей зубного врача Клавдии Андреевны Шаминой. Шамины окружили Войно заботой, вниманием. Возникла переписка. В марте сорок первого года из своей деревенской глуши хирург просит Клавдию Андреевну прислать ему роман Мельникова-Печерского «В лесах», или сочинения Лескова, или Достоевского «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Записки из мертвого дома». Объясняет: художественная литература нужна не сама по себе. «Моя целодневная научная работа настолько утомила меня, что я вынужден оставить ее на время и отдохнуть на беллетристике». Войно, по его словам, мог бы обойтись и без романов, если бы его больше загружали в операционной. «Мне нужна регулярная практическая работа на полдня, чтобы не трудиться целый день мозгам, а здесь у меня операции только спорадические». По муртинским масштабам операций в больнице вполне достаточно. Кроме того, есть возможность оперировать в Красноярске. Но самому Войно-Ясенецкому его профессиональная нагрузка кажется недостаточной. В шестьдесят четыре года, когда большинство его коллег на Западе навсегда оставляют операционную, он огорчается из-за того, что какого-то хирургического больного из ближней деревни родственники провезли мимо районной больницы прямо в город.

Начало войны не меняет строго заведенного ритма его жизни. Уже опустела деревня, ушел на фронт доктор Барский, сменилось в связи с военным положением почти все руководство района, в больнице не стало самых насущных лекарств, сестры вынуждены стирать использованные бинты, а профессор Войно-Ясенецкий, будто не замечая этих знаков военной страды, думает только об одном: «Я очень порывался послать заявление о предоставлении мне работы по лечению раненых, — пишет он сыну в середине 1941 года, — но потом решил подождать с этим до окончания моей книги, которую буду просить издать экстренно, ввиду большой важности ее для военно-полевой хирургии. В Мурте нашелся специалист-график, работавший прежде в Госиздате. Он сделал мне прекрасные эскизы рисунков… Он говорит, что теперь выпуск книг чрезвычайно ускорен и что мою книгу можно издать за месяц, а мне остается два — два с половиной месяца работы над ней…»

В конце письма снова просьба срочно прислать сочинения такие-то и такие-то, а также сфотографировать во французской монографии (и «прислать как можно скорее!») рисунок такой-то.

На сто десятом километре енисейского шоссе рождается шедевр, который автору, увы, некому даже показать. А показать как хочется! И Лука, как ребенок, построивший крепость на прибрежном песке, разражается гимном самому себе: «Я написал уже четыре

больших главы, около 75 печатных страниц, одна другой ценнее». «Новые главы и дополнения к старым великолепны».

…Пожалуй, ни один эпизод из жизни профессора-епископа не вызывал такого интереса у современников, как его возвращение из третьей ссылки. В эпоху, когда миллионы людей без следа исчезали в черных провалах тюрем и лагерей, человек, который не просто вырвался на свободу, но вышел с почетом и прямо из ссыльных возведен на высокий служебный пост, представлялся неким чудом. Участникам и свидетелям необыкновенного происшествия непременно хотелось увидеть в этом «руку Москвы», участие высших сфер, личный приказ Главнокомандующего. Рядовой советский гражданин, который десятилетиями отталкивал от себя мысль о причастности Сталина к массовым арестам и казням (отсюда миллионы писем-прошений на Его имя), в то же время не сомневался, что выпустить пленника на свободу может только добрейший Иосиф Виссарионович. В счастливом жребии освобожденного из ссылки ученого увидели не случайность, не естественное действие закона, но некую сказочно-справедливую развязку, до которой так охочи русские люди. Эта справедливость без борьбы за нее, справедливость «по манию царя» тем милее простому россиянину, что позволяет и дальше жить привычной пассивной надеждой, лелея свое безволие, питая ее верой в благость и мудрость властей предержащих.

В том, что хирург-епископ — личность злокозненная (это усиливало мелодраматическую силу мифа о милостивом его освобождении), никто не сомневался. За годы террора правительство выработало у своих подданных представление о некоей обратной связи между причиной и следствием. Сидел значит, враг. Хирург-партиец П. П. Царенко, знавший Войно-Ясенецкого еще с двадцатых годов, когда я спросил его, почему он так свято верит в антисоветские настроения Луки, нисколько не смутившись, возвратил мне мой вопрос: «А разве сам факт ареста его не говорит об этом?» Если так рассуждает профессор, то что ожидать от жителей глухого восточносибирского села? Первый секретарь Большемуртинского райкома партии П. Мусальников вспоминает: «Он (Войно-Ясенецкий) был у меня на приеме, когда началась война в 1941 году. Он пришел и заявил следующее: «Правительство правительством, но я русский человек, квалифицированный врач-хирург, могу предложить свои услуги и помощь в лечении раненых солдат и офицеров нашей армии».

Маленького военкома Соболя, убежденного в том, что Войно в прошлом «редактировал антиленинскую газету», простая антипатия Войно-Ясенецкого к советскому правительству не удовлетворяет. По его словам, летом 1941 года, войдя в кабинет первого секретаря райкома и положив на его стол заявление, профессор сказал: «Я ненавидел большевиков, я боролся с Лениным, теперь прошу направить меня в госпиталь для оказания помощи советским бойцам». Соболь знает даже ту конкретную причину, которая заставила епископа прозреть, изменить свое отношение к Советской власти. Оказывается, в райком он пришел с газетой, в которой описывался ужасный случай: как немцы повесили в Белоруссии двух священников. Священников Войно немцам простить не мог. Легендарно в глазах муртинцев выглядел и отъезд Луки. Однажды на окраине деревни приземлился самолет. Из него вышел Большой Начальник и направился в больницу. Профессор-епископ благословил сестер, санитарок и больных, сел с Начальником в самолет и полетел навстречу мировой славе и почестям. Самолет с главным хирургом красноярских госпиталей действительно прилетел в Б. Мурту. Но все было более прозаично. Через месяц после начала войны Лука сообщил сыну: «По окончании книги («Очерков гнойной хирургии». IVI. П.) пошлю заявление в

Наркомздрав и Бурденко, как главному хирургу армии, о предоставлении мне консультантской работы по лечению раненых…» Очевидно, в августе, так и не закончив работу над «Очерками», он написал в Наркомздрав. Письмо переправили в Главное медико-санитарное управление армии. В сентябре муртинский военкомат получил распоряжение использовать профессора по специальности. Лука надеялся, что его призовут в армию и таким образом освободят от ссылки. Писал: «В шестьдесят четыре года надену впервые военную форму». Но скрипучая машина НКВД — МВД не могла так вот сразу расстаться со своим пленником. Войно получил только разрешение переехать, опять-таки в качестве ссыльного, в краевой центр, чтобы работать там в лечебном учреждении. В каком же? По словам бывшего начальника Енисейского пароходства И. М. Назарова, летом 1941 года несколько ведомств сразу начали «охоту за бородой». Назаров сделал попытку «захватить» Войно-Ясенецкого для больницы водников и даже послал в Мурту главного врача своей больницы. Заинтересовался хорошим хирургом и штаб военного округа. Но наибольшую подвижность в этой «охоте» проявил главный хирург только что организованного в Красноярске МЭП — местного эвакопункта. Под этим скромным названием скрывалось мощное подведомственное краевому отделу здравоохранения учреждение, состоящее из десятков госпиталей и рассчитанное на десяток тысяч коек. МЭП разворачивался спешно, по прямому указанию из Москвы. С Запада, с фронта, уже шли в Сибирь первые санитарные эшелоны. Красноярску предстояло стать последним на Востоке пределом эвакуации раненых. МЭП нуждался в зданиях, белье, продуктах, врачах и в том числе квалифицированном научном руководстве. Войно был нужен эвакопункту позарез, кругом на тысячи километров не было специалиста более необходимого и более квалифицированного. Вот почему, бросив все дела, утром 30 сентября главный хирург МЭП совершил авиабросок на Большую Мурту. Самолет задержался в деревне ровно столько времени, чтобы Войно смог уложить в чемоданчик свои рукописи и пару белья, а начальник районного отдела МВД товарищ Лопатский прочитал присланную его высшим краевым начальником, товарищем Семеновым, бумагу. По этой бумаге ссыльный профессор Войно-Ясенецкий отныне передавался в собственность местного эвакопункта, а точнее госпиталя 1515, расположенного в здании школы номер десять.

Вечером того же дня Лука сообщал из Красноярска: «Завтра же начнем оперировать. Прервалась на время моя работа над последней главой об абсцессе легкого, но я взял с собой материал и надеюсь писать здесь». И десять дней спустя: «Я назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и, по-видимому, буду освобожден от ссылки». Тон письма бодрый, даже гордый. «Меня просили организовать научную работу врачей (их прибыло много, четыре профессора…), буду летать по всем госпиталям, которых много. Устроился отлично…»

День 27 августа 1970 года, проведенный в Большой Мурте, был, очевидно, одним из самых насыщенных впечатлениями дней моей литературной жизни. До самой ночи мы с моим водителем ездили по деревенским закуткам и крутогорам, разыскивая больничных старожилов. Кое-кто умер, некоторые разъехались, но, в общем, свидетелей жизни Войно в Мурте оказалось достаточно. Большая Мурта — село крупное, построенное добротно, крепко. Народ в основном местный, коренной. В журнале приема больных Войно записывал их — «земледельцы». Они и есть земледельцы: лет двести с лишним сеют по берегам реки Подъемной пшеницу, ячмень, овес. Люди тут, насколько я мог понять за краткое наше знакомство, дружелюбные, гостеприимные. Не встретил я и равнодушных. Всякий старался помочь в моем деле как мог. Остаток вечера провели мы у санитарки,

средних лет женщины, Валентины Григорьевны Мониной. К ней в дом набились почти все те, с кем удалось поговорить за день. Закусив и выпив по маленькой за столом у приветливой хозяйки, гости, люди в среднем лет пятидесяти, оживленно перебирали события, как-то связанные с ссыльным профессором. Это совсем не походило на интервью, а, скорей, напоминало встречу друзей, однополчан или односельчан, которых жизнь разметала по дальним дорогам. В такой беседе — каждая малость к месту.

«У меня глаза разболелись, думала — ослепну, — рассказывает Валентина Григорьевна. — Пришла к профессору, спрашиваю: «Это что у меня?» А он: «Тебе не обязательно знать». А вот вылечил глаза, с тех пор не болят».

«А меня на медсестру выучил. Я бестолковая была, но он никогда голос не поднимал, — вспоминает Елизавета Петровна Рюмкина. — Один раз только сказал строго: «Или корову брось, или операционную, а то будет грязь…» Я его жалела. Ведь мы с мужем тоже высланные из Забайкалья. Нас в тридцать первом в кулаки записали…»

«Больница наша на тракте, — говорит бывшая санитарка Александра Павловна Левина. — Кого только не возят. Завезли нам один раз женщину лет тридцати восьми, ни руками, ни ногами не владеет. Долго профессор ее лечил. Никто за ней так и не приехал, забыли, видно. Умерла бедняжка. Из немцев Поволжья была».

«Могу о нем сказать только положительное. Сколько он народу вылечил! Сколько бельм с этих глаз поснимал! Думаю, за два года у человек пятнадцати. Один конюх в Листвянке восемнадцать лет не видел света, профессор ему свет открыл» (зоотехник Константин Иванович Стрелец).

Давно уже исписал я всю тетрадь, и на обложке тетрадной места нет, а люди все подходят, и каждому хочется в чем-то прояснить дело, что-то уточнить, а то и просто вспомнить старое, доброе время, когда сами они были молоды и жизнь, как им теперь кажется, была веселее и слаще.

«Голос у него был низкий, басовитый. Позовет меня бывало: «Шура!» Я тут как тут. Стараюсь угодить. Один раз поставили к нему другую санитарку она ему не понравилась. «Верните мне, говорит, Шуру».

«Один раз профессор посылку получил от дочери: виноград. Принес моим детям и отдал. А они не знают, что это такое. «Мама, что это?» А я и сама винограду сроду не видывала».

Спрашиваю: не сохранилось ли у кого фотографии Луки, и сразу все хором: «Как же, была, но куда-то задевалась». «А у меня мужик спьяну порвал…», «Ребятишки затаскали…» Но когда приходит час нашего отъезда, выученица профессора Войно-Ясенецкого, пожилая, все еще очень красивая и полная достоинства Елизавета Петровна Рюмкина приносит пожелтевший снимок. Она только что вынула его из рамочки, что годами висела в избе среди других рамочек с дорогими лицами. На портрете — седой старик с кружевной бородой и мягко-непреклонным взглядом. Он сидит во дворе, под елями, а вокруг россыпь белых халатов — сестры, фельдшера, санитарки, девушки и молодухи далекого 1940 года…

…Забрасывая огни далеко вперед, мчится по черному енисейскому тракту черная крайкомовская машина, и сокрушенно вздыхает за рулем женщина-шофер: «Такой человек…» Что он ей, этот умерший десять лет назад старик? Почему и ее, не знакомую ни с его верой, ни с его наукой, положительную, строгую, любящую больше всего порядок, задела вдруг чужая судьба?

На память приходят енисейские рыбаки, спустя полвека с нежностью поминавшие «священного Луку», уголовники, которые приветствовали его на тюремном дворе,

верующие ташкентцы, мужчины и женщины, готовые погибнуть под колесами поезда, чтобы только не отпустить своего Владыку в сибирскую ссылку. Его действительно любили. Любили люди церкви и больные в госпиталях, медики-сослуживцы. Это чувство захватывало почти каждого, кто попадал в силовое поле его притягательной натуры. А за что любили? И что он сам думал о всеобщем почитании, этот далеко не сентиментальный человек? Какой кодекс лежал в основе его отношений с рыбаками и землепашцами, больничными санитарками и солдатами охраны, обитателями уголовных камер и районными чиновниками? Ведь была же у него какая-то философия жизни, та ежедневно, ежеминутно работающая в нас система отбора поступков, слов, эмоций, которая идет из самых затаенных наших глубин?

Философия жизни — постройка сложная. В фундаменте ее — натура, та природная конструкция нашей физиологии, психики, которая дается нам единожды и навсегда. В натуре Войно-Ясенецкого главное — жесткая избирательность его интересов. Его ум подобен лазеру — узкое световое лезвие, пронзающее тьму. В зоне луча — накал страстей и идей доходит до величин астрономических. Но пространство, лежащее по сторонам, едва озарено. Среди выдающихся художников, ученых, политических и религиозных узурпаторов — конструкция довольно распространенная. Сосредоточенность Архимеда на своих кругах, страсть Лютера и Микеланджело, углубленность Паскаля, фанатизм Робеспьера — это она, лазерная система ума и души. Благодаря ей Архимед не отстраняется от меча римского солдата, Лютер не может сойти с места, на котором стоит, а творящий великое искусство Микеланджело не замечает ни текущего времени, ни собственного недомогания. Лазерный строй ума толкает Робеспьера громоздить трупы врагов республики, мешает ему разглядеть свое собственное трагическое завтра.

Личности такого рода всегда склонны вести за собой окружающих, привлекать чужие сердца. Одни зовут философскими трактатами, другие кистью, третьи — политическим действием. В свой черед прорезалась страсть к учительству и у Войно. Он показал себя отличным университетским педагогом, а затем и церковным проповедником. Христианство окрасило его публичные высказывания в морализующие тона, хирург-педагог оказался моралистом. На этом собственно и завершилось раскрытие качеств, данных Войно-Ясенецкому от природы. Художник породил Хирурга, Хирург — Художника слова, проповедника. А за пределами этих ярко пламенеющих страстей разверзлась тьма. Целый мир чувств, искусств, наук, понятий навсегда оказался за пределами узко устремленного лезвия. Профессор мог иногда брать в руки роман Писемского или Достоевского, листал газеты или (как это было позднее в Крыму) плавал в море, но ни литература, ни спорт, ни интерес к политике не имели постоянной твердой опоры в его душе. В ней властвовал жестокий закон лазера.

Идеи…. Сделаем здесь остановку. Постигнув устройство печки, попытаемся теперь разобраться, какие именно дрова в ее топке дают больше всего жара. Морализаторство на Руси — занятие старинное. В новейшем своем варианте существует оно у нас лет двести. Пошло с Радищева и Новикова, с того времени, как первые интеллигенты российские бесстрашно распознали главную духовную болезнь своего народа, «болезнь нравственного сознания». Распознав болезнь, тотчас начали они изливать на больного бальзам моральной проповеди. В чем же болезнь? Один из самых страстных отечественных моралистов Николай Бердяев видит ее в отрицании русским человеком «личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств». Слово «личный» Бердяев не случайно повторяет трижды. Оно в этом

диагнозе главное. И мне трудно не согласиться с Бердяевым, когда он далее диагносцирует: «Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями… Он утопает в безответственном коллективизме, в претензии за всех».

Кто только и во имя чего только не морализировал за два столетия на русской почве, кто только не пытался втолковать нашим соотечественникам понятия о пользе жизни нравственной и о личном долге! Славянофилы, народники, западники, христианские вероучители всех мастей. Все побывали тут! Не слишком громко, но вполне явственно звучит и голос профессора-епископа. Я говорю пока не о его церковных проповедях (о них речь пойдет ниже), а о той философии жизни, которую он шестьдесят лет с лишним проповедовал самим своим существованием, каждодневным поведением, а то и словом, невзначай вроде брошенным. О чем же толковал он? Тут сталкиваемся мы с удивительным парадоксом. Моралист Войно-Ясенецкий открывается нам прежде всего как носитель основных идей графа Льва Николаевича Толстого. Да как же это так?! Ведь мы помним хорошо, что от графа-еретика Войно отрекся еще на студенческой скамье после того, как прочитал статью: «В чем моя вера?». Сочинение графа оттолкнуло молодого человека, как он сам записал позднее, «издевательством над православной верой». С чего бы ему было возвращаться назад? А вот с чего. В конце девятнадцатого и начале двадцатого столетия голос Толстого-моралиста прозвучал для многих сильнее, чем голос Толстого-художника. И не случайно. Хотя толстовцев, полностью разделяющих его доктрину, оказалось в конечном счете только малая горсточка, толстовская проповедь всеобщего и обязательного добра пришлась по душе самым широким кругам русской интеллигенции. Бердяев даже считает (1918 г.), что «почти вся русская интеллигенция признала толстовские моральные ценности самыми высшими, до каких только может подняться человек». Каждый толковал это добро по-своему, но все соглашались с тем, что никто лучше Толстого не сумел выразить русскую «болезнь нравственного сознания», морализм и аморализм русской души.

Явно того не желая, воспринял толстовский морализм и профессор Войно-Ясенецкий. Отвергнув Толстого-еретика, Толстого-отступника от догм православия, Войно тем не менее весь свой век прожил во власти философских представлений отлученного графа. Что это за представления?

После того как Лев Толстой принес в человеческое сознание мир удивительно ярких, неповторимых, индивидуальных образов, после того как подарил он нам князя Андрея, Наташу, Долохова, Николеньку Иртенева, Анну Каренину, Катюшу Маслову и еще целый калейдоскоп незабываемых лиц и характеров, начал он проповедовать философию, в которой личность — ничто. Созидатель целого народа, целой страны образов стал в 80-х годах сторонником безликой массы, певцом толпы, в которой не видно отдельных лиц, но зато есть природный коллективизм, ульевое, роевое, существование. Толстому 80—90-х годов человеческий рой, роевое мышление кажутся самым важным, более того, божественным. Разнообразие и разнокачественность человеческой породы, столь милая ему прежде, сменяется проповедью уравнения всех и всего в бескачественной массе. Этой массе Толстой желает сытной, удовлетворенной, спокойной жизни, без страданий, без пороков. Вот его новый идеал. Раньше великий писатель черпал свое вдохновение во всей толще русского общества, но теперь балы, скачки и гостиные исключены. Там нельзя найти коллективизма, однообразия. Значит, правда не там. Правда в простом народе. Толстой-моралист начинает обоготворять человека низов, человека физического труда, человека массы. Только такой человек, по его мнению, готов исполнить закон добра, только в нем восторжествует в конце концов абсолютная нравственность. А коли так, то

образованный интеллигентный класс обязан все силы свои, все знания и талант отдавать именно им, низам. Этой безликой, но зато божественной массе. О долге неоплатном перед «младшими братьями» — это тоже исконно русское, от первых моралистов идущая расхожая идея. Но для Войно она — Идея. С большой буквы. Все это он впитал и усвоил как свое собственное, родное.

Войно всю жизнь соблюдал завет Толстого: он всегда на людях, с людьми. Не слишком различая лица человеческие, светит он всем — должностным и не должностным. Отдать мерзнущему в тюрьме воришке теплый полушубок или идти в ночной час на вызов к больному — для него не жест. Он делает это так же естественно, как читает утреннюю молитву.

Так же просто, как одаривает он всех своими медицинскими знаниями, несет он людям свою строгую проповедь честности, трудолюбия, ответственности. Он без пристрастия строг с ослушниками и без различия дружелюбен к тем, кто, по его мнению, живет так, как надо, то есть не выбивается из законов улья, не нарушает правил роевой жизни. Ему привычны, ему даже милы эти люди, их быт, нравы, послушание, преданность и любовь к нему. А как им не любить его? Сверхобъективность ученого-епископа, его безличную доброту они воспринимают как личную к себе милость, как высшую справедливость. Русские люди более всего ценят вот такое благоволение сверху вниз. Не дай Бог, если высоко стоящие на иерархической лестнице (должностной или качественной) предложат нижестоящему отношения «на равных» — из таких попыток обычно, кроме наглой фамильярности и хамства, ничего не получается. Уважают у нас только голову, высоко вознесенную. Войно (несмотря на частые его оговорки в «Мемуарах» и письмах) всем существом своим чувствует себя пастырем, учителем, человеком н а д.

Чтобы морализовать, ему годится любой предлог. Он проповедует, узнав, что санитарка застудила своего грудного ребенка и тот умер. Проповедует, отчитывая нерадивого врача. Может произнести проповедь перед партийным районным чиновником, обещая избавить его от невыносимых язвенных болей с тем, однако, что пациент изменит свою жизнь, поверит в Бога. Иной раз пастырь может и прогневаться. Мужиков из соседней с Муртой деревни послали ломать церковь. На этой работе один из них засорил глаз и пришел в больницу за помощью. «Что? Церковь ломал? — громыхнул Лука. — Иди, я лечить тебя не стану. Тебя Бог наказал!..» Чем не проповедь? Коротко и вразумительно.

Главная тенденция в проповедях Луки — сохранять, сплачивать человеческий рой. О том, что именно сплачивает человеческое общество, Лука имеет свое собственное мнение, резко отличное от толстовского. Граф-еретик все надежды возлагает на семью, на общину, то есть на объединения неполитические. Он клянет государственную машину в целом и, в частности, армию, суды, административный аппарат. Для Луки же государство и все от него идущее — первая самая важная народная скрепа. Охранитель по преимуществу, охранитель всего того, что, по его мнению, скрепляет народ, он покровительствует законному браку, семье, служебной добросовестности, исполнению государственных законов. Сам беззаконно арестованный, без суда сосланный, оторванный от близких, от любимой науки, он даже в мыслях не входит в конфронтацию с режимом. Как будто и не было конвейера, двух лет на тюремных нарах, кровоподтеков от следовательского сапога, как будто не было бессмысленно изувеченной научной карьеры — Лука снова и снова готов помогать властям в том, что направлено, и по его разумению, на общее дело.

Муртинский военком Соболь умиленно вспоминает, что по просьбе военкомата профессор обследовал несколько «подозрительных» допризывников и разоблачил симулянтов. Один деревенский парень, чтобы не идти на военную службу, втер себе в глаза какую-то ядовитую траву, другой, распарив в бане ногу, загнал под кожу керосин. Войно не поинтересовался, какие именно личные обстоятельства толкнули молодых людей совершить незаконный поступок. Была ли причиной любовь, которую мучительно потерять, или страх перед длительным расставанием с родными. Нет, личные причины не заинтересовали Луку. Ибо как моралист определенного склада считал он охрану отечества одной из наиболее естественных роевых функций общества. Уклоняться от службы — аморально, независимо от личных обстоятельств будущего солдата и того, какова сама по себе армия.

Историю с мальчишками, которые после экспертизы профессора Войно-Ясенецкого пошли под суд, рассказывали мне и другие муртинцы. И в голосе их я не уловил ни малейшего порицания врача. Нет, поступок Войно не выходил, по их понятиям, за пределы должного. Если бы парнишки были похитрее да провели бы медика, тогда другое дело. Молодцы. Но коли попались — поделом. Тут виноватых нет. Не попадайся… Взгляды моралиста и тех, кому он проповедует свою мораль, как видим, разнятся. Но обе стороны во многом и сходятся: и пастырь, и его стадо вовсе не страдают от жестокости власти, от безвыходного положения, в котором оказывается личность, не желающая по какой-то причине служить «правительственным видам». И маленькое, районного масштаба самодержавие, и самодержавие большое, всероссийское в общем-то по душе и профессору Войно-Ясенецкому, и муртинским (и только ли муртинским) мужикам. Причины разные, а практический вывод один: «свой» Сталин лучше «чужого» британского парламентаризма. А буде одна из сторон лучше знала бы историю, то, несомненно, предпочла бы строгую Спарту демократическим Афинам.

Власти всегда и везде объясняют, что тяготы, которые возлагают они на плечи народа, есть мера совершенно необходимая для спасения отечества, для блага самих граждан. В странах с режимом демократическим, где есть различные партии и разных направлений газеты, нетрудно установить, действительно ли это так и согласен ли народ такие тяготы переносить. У народа российского проверить свое правительство возможности нет. Остается верить. И привыкли верить. Говорили нам в свое время, что истреблять «врагов народа» надо ради внутренней безопасности страны, а костоломная индустриализация и столь же костоломная коллективизация необходимы ради экономической независимости и безопасности внешней. Верили. Верили и мужички (городские и деревенские), верил и Войно. Ибо, как и миллионы других, обожествлял идею гнезда, дома, родины, верил в неизменный приоритет прав государственных над правами личности. «Ведь это нам же на пользу…» Так что не было у моралиста Войно-Ясенецкого серьезного морального разлада со своим народом. Он любил народ, народ любил его.

Есть среди рассказов о том, как в начале войны Лука покидал Большую Мурту, один в этой связи особенно многозначительный. Передал мне его человек, в Красноярске чрезвычайно известный, бывший начальник Енисейского пароходства Иван Михайлович Назаров. Хозяин главной транспортной артерии края, вмещающего в себя почти пять Франции, депутат Верховного Совета СССР, член бюро крайкома КПСС, он был не глуп, напорист, хамоват, одним словом, соединял все доблести сталинского партайгеноссе. Летом 1970 года, когда мы встретились, этот рослый красивый мужик, изрядно поизносившийся от большого количества выпитой водки и иных жизненных радостей,

пребывал уже на пенсии. Лежа под пледом в шикарной своей красноярской квартире (на стенах ковры и фотографии речных лайнеров), он рассказывал.

Когда уже началась война, на городской телеграф пришла телеграмма из Мурты. Адресована она была Председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Ивановичу Калинину. Телеграмму в Москву не передали, а в соответствии с существующими распоряжениями направили в крайком. Содержание ее Назаров запомнил дословно: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».

Диктуя мне телеграмму, Назаров привстал, голос его зазвенел на высокой ноте, в глазах блеснули слезы. Подбежала дочь с мензуркой. Рассказ пришлось остановить. Остановимся и мы, ибо главные слова уже произнесены. Вот эти, взятые разрядкой: «… готов вернуться в ссылку».

Допустим, что Назаров сообщает очередную легенду. Не легенда, однако, а факт, что, став хирургом-консультантом всех госпиталей края, совмещая хирургическую работу с архиерейской, профессор-епископ еще два года оставался на положении ссыльного. По свидетельству профессора Максимовича, дважды в неделю обязан он был отмечаться в милиции. И что же — оскорбляло, унижало это положение архиепископа Красноярского? Жаловался он, писал в Москву о совершаемом над ним беззаконии? Ничуть. Думаю, что он и вовсе не задумывался об этом. Шла война, а во время войны, когда отечество в опасности, каждый гражданин должен позабыть о личных невзгодах. Это он вычитал не из газет. На том стоял сам, такова была его собственная философия жизни. Ни в письмах, ни в разговорах с близкими ни разу не обмолвился Лука о том, что его, спасителя сотен жизней, держат как преступника, что, выезжая на научные конференции в другой город, он должен писать рапорты и просить чекистов, чтобы разрешили, отпустили… Только в «Мемуарах», да и то вскользь упомянул он, что кончилось его ссыльное положение осенью 1943 года.

…Хлебнув валериановой настойки и полежав минуты две с закрытыми глазами, Иван Михайлович досказал взволновавшую его историю. Ту телеграмму в крайкоме долго обсуждали: посылать — не посылать. Видел ее Назаров и на столе первого секретаря товарища Голубева. При обсуждении вопроса присутствовали работники НКВД. Они говорили, что Лука — ученый с мировым именем, что книги его издавались даже в Лондоне. В конце концов решено было телеграмму Войно-Ясенецкого Калинину все-таки отправить. Ответ из Москвы пришел незамедлительно. Профессора приказано было перевести в Красноярск. Миф? Возможно…

Глава седьмая. Время соблазнов (1941—1946)

«Из persona odiosa я очень быстрыми темпами становлюсь persona grata».

Лука Воино-Ясенецкии. Из письма к Н. М. Третьяковой. 8. 7. 1942 г.

«Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят…».

Евангелие от Луки (17.1).

Первая военная зима прошла безрадостно. Правда, Войно-Ясенецкому вернули право заниматься любимым делом, но положение главного хирурга-консультанта красноярских госпиталей не избавляло от ссылки. А ссыльный — в глазах начальства, и военного, и гражданского, — всегда человек сомнительный, ненадежный, почти враг. Лука писал позднее старшему сыну: «В первое время моей работы в Красноярске отношение ко мне было подозрительное…» Особенно любила напоминать ссыльному хирургу о его гражданской неполноценности заведующая краевым областным отделом здравоохранения Екатерина Астафьева. Дама эта, более памятная красноярцам под именем Екатерины Великой, даже пришибленных провинциальных врачей поражала своей бесцеремонностью и откровенным хамством. Ее скорый, но неправедный суд, как правило, завершался приказом: «Отстранить!», «Объявить выговор!», «Уволить!» Грубые окрики, вмешательство в личную жизнь довели многих медиков до инфаркта. Крайздрав-самодур держала при себе кучку доносчиков, которые делали ее всеведущей. О Войно сведения поступали самые неблагоприятные: верующий, повесил иконы в комнате, дома у себя принимает местных священников. По этому поводу Астафьева несколько раз в присутствии посторонних делала Войно грубые замечания. Он не возражал, но как будто не слыхал ее слов. И вообще держался так, будто и не ссыльный он, а настоящий профессор. Астафьева злилась, искала случая унизить надменного, как ей казалось, подчиненного. Проще всего было огреть его дубиной разносного приказа. Но ни своим служебным поведением, ни уровнем профессиональной квалификации Лука повода для разноса не давал. Давно известно, однако, что в каком бы жалком состоянии ни находился заключенный или ссыльный, всегда есть нечто такое, что можно у него отнять и тем сделать жизнь еще горше.

Астафьева узнала, что Войно страстно желает выхода своих «Очерков гнойной хирургии», и решила не допустить публикации книги. Сделать ей это было нетрудно. Всякий раз, когда в Красноярском крайкоме партии решался вопрос о печатании этого труда, член бюро крайкома Астафьева напоминала своим партийным коллегам, что автор книги — нераскаявшийся церковник и выпустить его труд значило бы допустить серьезную политическую ошибку. Политическая ошибка — жупел, которым в сталинскую эпоху можно было запугать кого угодно.

«Очерки гнойной хирургии», получившие одобрение самых крупных хирургов, так до конца войны в свет и не вышли.

Войно-Ясенецкий не догадывался, кто и почему мешает публикации «Очерков». Его письма военных лет полны нескончаемых надежд. «Мою книгу могут издать в Красноярском военном издательстве. Остановка только за получением приказа от начальника военного издательства в Москве», — пишет он сыну в апреле 1942-го. В мае новая версия: «Вчера получил сообщение, что моя книга будет печататься в Новосибирске. Бумагу уже достали». В августе оказалось, что бумаги в Новосибирске все-таки нет, но зато «уже почти вполне обеспечено издание книги в Красноярске». Тем не

менее в феврале следующего, 1943 года Войно вынужден сообщить близким, что «печатание книги еще не началось». Скорее всего оно не началось бы никогда, не случись в России событий удивительных, которых не могли предвидеть ни партийка Астафьева, ни профессор Войно-Ясенецний. Но об этом — позже.

Пока же, зимой сорок второго, Лука живет в сырой и холодной комнате, где до войны обитал школьный дворник. Как и всякое советское учреждение, госпиталь 1515 состоял из нескольких «слоев» работников, резко отличавшихся по своему материальному положению. Лучше всех снабжалось начальство, затем шли военные врачи, ниже на иерархической лестнице стояли врачи гражданские, еще ниже — медсестры. Гражданской публике приходилось туго. Местные люди, живущие в городе со своими семьями, еще кое-как сводили концы с концами. Лука же в первом военном году оказался на грани нищеты. На госпитальной кухне, где готовилась пища на тысячу двести человек, хирурга-консультанта кормить не полагалось. А так как у Луки нет ни времени, чтобы «отоварить» свои продуктовые карточки, ни денег, чтобы покупать продукты на «черном» рынке, то он хронически голодает. Красноярские старожилы помнят еще, как госпитальные санитарки тайком пробирались в дворницкую, чтобы оставить на столе тарелку каши: без таких даяний знаменитому хирургу, очевидно, не раз пришлось бы ложиться спать голодным.

Войно бедствовал, но натура его отвергала ярлык второсортности. Его не унижали ни придирки вздорной начальницы, ни голод, ни обветшалая одежда. Без обиды и надрыва переносил он свет тридцативаттной лампочки, едва освещавшей убогое жилище. За годы тюрем и ссылок он привык к подобным условиям, а в одном из писем той поры даже писал, что «полюбил страдание, так удивительно очищающее душу». Тем не менее люди наблюдательные замечали: на душе профессора пасмурно. Тогдашний заместитель красноярского крайздрава Ревекка Ананьевна Браницкая, в отличие от своей начальницы с симпатией относившаяся к ссыльному хирургу, утверждает, что стесненным и неуверенным он чувствовал себя до самого лета 1942 года. Однажды зимой Войно чрезвычайно взволнованный явился в крайздравотдел. Ему предложили оперировать крупного работника НКВД, доставленного в госпиталь с разрывом кишечника. «Я уже трижды смотрел раненого, — сказал он. — Шансы на спасение есть. А если неудача? Не станут ли говорить, что ссыльный нарочно погубил командира войск НКВД?» Браницкая принялась успокаивать коллегу, уверять, что ему ничего не грозит, что в госпитале и в крайздраве ему доверяют. Это не было правдой. Да и сама Браницкая не слишком верила своим утешительным словам. Но Войно весть о начальственном доверии воспринял с восторгом. Благодарил. Операцию провел он на самом высоком уровне и, по общему мнению врачей госпиталя, спас раненому жизнь.

Можно с большой степенью достоверности утверждать, что санитарки, медсестры и врачи, которым приходилось изо дня в день работать с Войно-Ясенецким, не разделяли подозрительности высшего начальства. Политическое лицо ссыльного хирурга их не интересовало, зато они могли не раз убедиться в его высоком оперативном мастерстве, в его дружелюбии к персоналу и раненым.

«Мы, молодые хирурги, к началу войны мало что умели делать, — рассказывает врач Валентина Александровна Суходольская. — На Войно-Ясенецкого смотрели мы как на Бога. Он многому научил нас. Остеомиелиты, кроме него, никто оперировать не мог. А гнойных ведь было тьма! Он учил и на операциях и на своих отличных лекциях. Лекции читал в десятой школе раз в неделю».

Доктор Браницкая добавляет: «В операционной Войно работал спокойно, говорил с

персоналом тихо, ровно, корректно. Сестры и ассистенты никогда не нервничали на его операциях. Ткани шил он красивым швом — настоящая белошвейка. И швы его быстро зарастали».

Хирург Валентина Николаевна Зиновьева, ученица Войно-Ясенецкого по госпиталю 1515, считает, что учил он своих помощников не только резать и шить, но еще и тому, что Зиновьева называет «человеческой хирургией». С каждым проходящим через его руки раненым Лука вступал как бы в личные отношения. Помнил каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода. С двойным интересом подходил он к койке уже прооперированного: если самочувствие больного было хорошим и раны быстро заживали, это радовало профессора и в личном, и, так сказать, в общем плане. Значит, примененные в этом случае оперативные приемы и предварительные хирургические расчеты оказались верны. Значит, и в будущем удастся помогать кому-то этими же средствами…

«Если раненый умирал, — подхватывает эту мысль доктор В. А. Суходольская, — то Войно страдал не только от индивидуальной гибели («невинные смерти» — говорил он), но ощущал смерть как общенародную потерю. Беда эта глубоко его волновала».

В Ленинграде во время блокады и потом на фронте я не раз беседовал с госпитальными хирургами. Были среди них и более и менее талантливые. Бывали и посредственности. Но в подавляющем большинстве своем встречал я людей смелых, честных, не боящихся труда и лишений. Труда на их долю приходилось много, очень много. Я знал хирургов, оперировавших сутками. Они не роптали, но ни о каком личном отношении к раненому не желали и слышать. То была роскошь, которую мои старшие коллеги просто не могли себе позволить. Символически звучат в моих ушах крики майора медицинской службы, профессора А. М. Рыжих, которыми подгонял он на фронте своих подчиненных: «Бедра! Бедра!» Раненые с переломом бедренной кости и разрушением бедренного сустава нуждались в быстрой и активной помощи врачей-хирургов. И медики того госпиталя, который инспектировал профессор Рыжих, делали все, чтобы эту помощь пациентам оказать. Но те, кого они спасали, оставались только бедрами. Ибо, по мнению фронтовых медиков, стоя в потоках крови, гноя и боли, врач уже не в силах, да и не должен останавливать свое внимание на индивидуальном человеческом лице. Это нерентабельно с точки зрения расхода драгоценного времени хирурга и еще более непозволительно с точки зрения его душевных ресурсов. Профессор Войно-Ясенецкий не разделял эту точку зрения. В тыловых госпиталях хирурги работали подчас не менее напряженно, чем на фронте. Из писем и сохранившихся архивных материалов видно, что красноярский хирург-консультант проводит в операционной ежедневно по девять-десять часов, совершая до пяти больших операций. Сотня раненных в колено, суставы рук и бедро, жертвы остеомиелита проходят через его руки. Поток! И тем не менее в отношениях с ранеными хирург сохраняет свой принцип. Только самые близкие знали, чего ему это стоит: «…Тяжело переживаю смерть больных после операции. Было три смерти в операционной, и они меня положительно подкосили, — пишет он сыну. — Тебе как теоретику неведомы эти мучения, а я переношу их все тяжелее и тяжелее».

К январю 1943 года все десять тысяч коек в госпиталях МЭП-49 были заняты ранеными, а фронт посылал все новые и новые эшелоны. Красноярск на мобилизационной карте значился самым дальним городом, куда доходила волна медицинской эвакуации. И эта даль давала себя чувствовать и раненым и врачам. К тому времени, когда, преодолев семь тысяч километров, санитарные поезда довозили свой

живой груз до берегов Енисея, многие раны успевали нагноиться, костные ранения оборачивались запущенными остеомиелитами. «В школе номер десять сосредоточены наиболее тяжелые ранбольные с осложненными переломами, с поражениями суставов и периферической нервной системы», гласит официальный документ тех лет.

Операции, операции… А едва заканчивается операционный день, для Войно-Ясенецкого начинается день консультаций. Выхватываю из кучи архивных бумаг наудачу только один листок: список консультаций, данных хирургом за три недели 1942 года. Профессор побывал в эти дни в семи госпиталях, осмотрел более восьмидесяти человек. Часто осмотр завершается его пометкой в документе: «Раненого такого-то перевести в школу № 10». Это значит, что разрушение, нанесенное оружием и последующей инфекцией так велико, что только рука мастера может спасти жизнь и здоровье бойца.

В своем стремлении помочь там, где, кажется, уже и помочь невозможно, Войно додумался до того, что принялся «отнимать» у соседних госпиталей больных и раненых с наиболее тяжелыми поражениями. Красноярский врач-рентгенолог В. А. Клюге вспоминает, как хирург-консультант посылал его и других молодых людей госпиталя 1515 на железнодорожный дебаркадер, где разгружали санитарные поезда. Он просил разыскивать раненых с гнойными, осложненными поражениями тазобедренного сустава, тех, кого большинство хирургов считало обреченными. Нечего и говорить, что медики соседних госпиталей были рады, когда посланцы Луки увозили к себе в десятую школу всех этих «безнадежных». Отчеты госпиталя 1515, однако, свидетельствуют, что многие раненые и из этой категории были возвращены к жизни, а кое-кто смог вернуться в строй.

Так он и шел, первый год войны с его угнетающими сводками, страхом за тех, кто на фронте, с убожеством быта, бесконечным изматывающим трудом. Лука не искал для себя облегчения. Думаю, что за недосугом и усталостью он и на постоянную начальственную подозрительность махнул в конце концов рукой. Как говорится: «На каждый роток не накинешь платок». Две беды, однако, переносил мучительно. В Красноярске, в городе с многотысячным населением, не было церкви. То есть церквей было много, но их двадцать пять лет закрывали, взрывали, занимали под склады, а перед войной закрыли последнюю. «Радости богослужения» (слова Владыки Луки) были лишены в городе сотни, а может быть, и тысячи людей, но, вероятно, немногие воспринимали это духовное утеснение так остро, как хирург-консультант МЭП-49. В деревне было все-таки вольготнее: имея свободное время, Лука мог разговаривать с Богом в ближней березовой роще, приладив на пенек икону-складень. В городе и эта последняя возможность отпала: погрузиться в милую его сердцу молитвенную атмосферу было негде и некогда. Рассказывают, правда, что красноярские почитательницы нанесли Луке икон, так что одна стена дворницкой «блестела от окладов и лампадного света».

Но мечталось ему о другом. Время от времени вставал перед глазами громадный храм-корабль, плывущий в кадильном дымке среди отражения бесчисленных свечей. И в том храме — толпа единочувствующих, страстно и единогласно возносящих свою молитву. Образ этот возникал снова и снова, волновал, манил. Но некому было рассказать о нем, ибо ни детям его взрослым, ни окружающим его в операционной медикам образ этот ничего не говорил, а казался ненужным и даже смешным. Лука привык к пустому пространству, отделяющему его от большинства людей, и молчал. Хотел забыться в работе, в операционной. Но и там не находил покоя.

Дела госпитальные шли неладно. Наскоро, кое-как и кое из кого собранный штат

госпиталя 1515 испытания войной не выдерживал. Это признавали даже власти. «Госпиталь 1515… в большом прорыве, — докладывали в крайком партийные деятели. — Тяжелое хозяйственное положение этого госпиталя, неудовлетворительное санитарное состояние, невысокое качество лечебной работы в отделениях, несмотря на большие возможности квалифицированного специалиста проф. Войно-Ясенецкого, низкая труддисциплина ставят его в ряд плохих госпиталей…» Лука не знает об этой секретной переписке «в верхах», но в письме к старшему сыну жалуется, что работать приходится в невыносимых условиях: штат неумел и груб, врачи не знают основ хирургии. К его протестам целый год никто не прислушивается, хотя речь идет буквально о преступлениях. Ведь нечистоплотные, неумелые и равнодушные медики ставят под угрозу жизнь и здоровье защитников родины раненых бойцов. «Я дошел до очень большой раздражительности и на днях перенес столь тяжкий приступ гнева, что пришлось принять дозу брома, впрыснуть камфору, возникла судорожная одышка… — пишет он, — в таких условиях еще никогда не работал». Хирургу с почти сорокалетним опытом действительно не приходилось сталкиваться с подобным всеобщим беспорядком ни в госпиталях времен русско-японской, ни во время Первой мировой войны. Как ни бездарна была царская медико-санитарная администрация, но такого количества людей не на своем месте она все-таки не знала. Лука нервничал, случалось, даже выгонял нерадивых помощников из операционной. На него жаловались. Возникали разбирательства, многочисленные «проверочные» комиссии, «докладные записки», «рапорты». Такая нервотрепка в шестьдесят пять лет не проходит даром. Пошатнулось здоровье. Возникла непроходящая сердечная слабость. Из-за нее (несмотря на скудный рацион) тело его отекает, становится тучным, рыхлым. Во время операции хирургу все чаще приходится опускаться на стул — не держат ноги. Лука бодрится, подшучивает над собой, но шутки помогают худо. Взбираясь по госпитальным лестницам, он тяжело сопит — дает себя знать эмфизема. Те, кто встречал Войно в первую военную зиму в Красноярске, вспоминают грузную фигуру в глухо застегнутом черном френче, усталые глаза, опущенные плечи. В письмах к родным, всегда таких оптимистических, начинают проскальзывать грустные нотки. То кажется ему, что жизнь подошла к концу, то возникает непреодолимая тоска по детям, с которыми не виделся он более пяти лет. «Как я уже стар!» — восклицает Войно, отметив очередную годовщину своего священства.

Но постепенно, ближе к позднему восточносибирскому лету что-то в жизни хирурга начинает меняться. Будто теплым ветерком повеяло политическим. Хотя казалось бы — с какой стати? Однажды (не чудо ли?) — в каморку дворника заглянула сама Екатерина Астафьева. Отведя глаза от полыхавших золотом икон, начальница поинтересовалась, как профессор живет, чем питается. Сообщила, что руководителям госпиталя приказано отныне выдавать хирургу-консультанту обед, завтрак и ужин с общей кухни. Вслед за начальницей пришла ее заместительница: осведомилась, имеется ли у профессора достаточно одежды, белья, обуви. В эпоху, когда ботинки и штаны советский человек мог получить лишь по специальному разрешению, ордеру (на рынке пара обуви стоила от 1500 рублей и дороже!), такой вопрос высокого начальства мог прозвучать для иных ушей малиновым звоном. Лука к чуду-визиту отнесся без энтузиазма. Его гардероб находился в плачевном состоянии, но он сказал только, что неплохо было бы приобрести шнурки для ботинок, старые совсем изорвались. Шнурки были изысканы и доставлены немедленно.

Визит высоких лиц не был простым актом «доброй воли». Приказ «проявить заботу» руководительница крайздрава получила из крайкома партии. Почему вдруг там заинтересовались ссыльным хирургом? Потому только, что он хорошо оперировал? Но

профессор Войно-Ясенецкий был отличным хирургом и в сентябре 1941-го, и в январе, и в марте 1942-го… Почему же внимание высоких лиц обратилось на него именно с мая? Для Луки, как и для всякого верующего, конструкция мира целесообразна. В целесообразном мире не все и не всегда доступно человеческому пониманию, подобно тому, как не все происходящее на сцене театра понятно впервые приведенному на спектакль пятилетнему ребенку. Но нужно терпеливо смотреть и ждать. В свой черед обнаружит свой смысл и ружье, повешенное на стене, и темные намеки героя в начале спектакля, и далекая музыка. Ибо в театре нашей жизни ничего не происходит просто так. Не задаваясь излишними вопросами, профессор продолжал обычную жизнь; оперирует, консультирует больных, придумывает оригинальные операции. А год 1942-й приносит ему между тем все новые и новые дары.

5 июля 1942 года. Красноярск. «Вчера получил четыре букета цветов от больных командиров… Командиры вызвали директора обувной фабрики и заказали мне сделать ботинки по мерке и достать резиновые сапоги для операций. Заказали также две смены белья, два полотенца, носовые платки. С первого июля живу в новой квартире… В августе поеду в Иркутск, на межобластное совещание главных хирургов…»

29 августа 1942 года."…В Иркутске мне устроили настоящий триумф с аплодисментами, не принятыми на съездах. В заключительной речи председатель чрезвычайно превознес мой доклад, книгу и операции… По возвращении из Иркутска меня ждал еще сюрприз: без меня приезжал глава Тувинского правительства со свитой. Было большое заседание в нашем госпитале, который тувинцы взяли под свое шефство, и были все красноярские власти… Превозносили мою работу, и тувинцы подарили мне часы… Мнение о мне в правящих кругах самое лучшее и доверие полное. Слава Богу!»

18 октября 1942 года."…Прогрессирует моя творческая работа. Совсем по-новому я стал теперь делать резекции коленного сустава, и моя новая техника будет немалым вкладом в хирургию. Моя операция распила пятки при остеомиелите и фронтальный распил огромной костной мозоли нижнего конца бедра приводит в восторг хирургов, испытавших (так! — М. П.) эти операции. Мои лекции врачами чрезвычайно высоко ценятся. Их усердно слушают доценты и профессора… Почет мне большой: когда вхожу в большие собрания служащих или командиров, все встают».

8 ноября 1942 года. «Праздник 25-летия советской власти прошел для меня необыкновенно: четыре дня подряд меня приглашали на торжественные заседания и ужины на трех этажах госпиталя. Их устраивали шефы. Ярко выразилась любовь ко мне больных. Шефы из крайкома подарили мне пять хороших книг, только что изданных, а жена первого секретаря крайкома принесла мне на квартиру прекрасный торт. Заказали для меня валенки, достали записных книжек. На объединенном заседании МЭП, командования и отличников нашего госпиталя мне опять пришлось заседать в президиуме с коммунистами. Словом, нельзя и ожидать лучшего ко мне отношения».

5 декабря 1942 года. «Приобретаю большой опыт (восемьдесят поздних резекций колена, например), изобретаю новые операции. Очень заботятся об улучшении условий моей работы, и уже почти не приходится раздражаться. Привезли из Москвы рукопись моей книги. Профессор Приоров прочитал ее и написал отличный отзыв…»

12 декабря 1942 года. «Профессор Приоров в своем отзыве назвал мою книгу одной из самых замечательных в области гнойной хирургии».

21 декабря 1942 года."…Мое здоровье неважно: 18.12 я выписался из больницы крайкома, по-видимому, поправившись. Но уже на другой день опять слег в постель вследствие большой слабости сердца… Больные и сотрудники заботятся обо мне.

Начальник госпиталя доцент-терапевт говорил, что по выздоровлении я не должен работать больше 4-х часов в сутки…»

14 февраля 1943 года. «Печатанье книги еще не началось, но самым категорическим образом утверждают, что издадут тиражом в пять тысяч, а может быть, и десять тысяч… Отношение ко мне здесь самое лучшее, популярность такая же, как в Ташкенте. Шефы из крайкома узнали, что у меня обветшали рубахи и принялись шить для меня две рубахи, чуть ли не шелковые. Еще одна новая сшита и кальсоны из подаренной материи, так что белья будет достаточно».

Не хватит ли? Перечитывая эти строки, не знаешь, чему больше удивляться: внезапному ли фонтану благодеяний или восторженности, с которой хирург их принимает. Все делает его счастливым: новые кальсоны и отзыв профессора Приорова, букет цветов от раненых и доклад на съезде хирургов, носовые платки и доверие начальства. Полноте, не возраст ли начал сказываться? Нет, профессор Войно-Ясенецкий по-прежнему в твердом уме и ясной памяти. Что же касается восторженности, то это у него вполне искреннее, это от полноты чувств. Что поделаешь: у нас на Руси внимание и расположение высоких лиц, как правило, вызывает у нечиновных и особенно чинами обойденных своеобразный недуг — взрыв верноподданнической радости. Не избежал этой легкой формы помешательства и наш герой. А началось все это вот с чего. В один из тех дней, когда сибирское зимнее солнце принялось вычерчивать все более высокие дуги над енисейским горизонтом, профессора Войно-Ясенецкого пригласили в краевой комитет партии. В этом красноярском Кремле, средоточии всей власти на территории, простирающейся от монгольской границы до берегов Ледовитого океана, разговаривал с ним сам товарищ Голубев. Из той беседы нам известна лишь одна деталь: первый секретарь Красноярского крайкома обещал снестись по телефону с первым секретарем Узбекистана Юсуповым, чтобы договориться о пересылке из Ташкента в Красноярск библиотеки профессора Войно-Ясенецкого. Но радость, которой после этой встречи буквально зафонтанировали письма Луки, показывает, что разговор в «большом доме» касался фактов более важных. Скорее всего хозяин Красноярского края с ведома еще более высоких инстанций приоткрыл перед епископом Лукой то, что было пока государственным секретом. В отношениях между советской властью и православной Церковью предстоят большие перемены. Возможно, Голубев намекнул профессору также, что в недалеком будущем поверх хирургического халата тому предстоит надеть рясу епископа Красноярского. Повторяю, у меня нет достоверных сведений о переговорах в крайкоме. Но, зная характер моего героя, я берусь утверждать, что никакая другая официальная информация не доставила бы ему столько радостей. Голубев, очевидно, связал собеседника обещанием до поры до времени сохранять разговор в секрете. И епископ Лука с гордостью почти целый год затем хранил государеву тайну, которая в том лишь и состояла, что Сталин — губитель Русской Православной Церкви — становится отныне ее первым другом и благодетелем.

К началу 1943 года, однако, альянс государства с церковью стал настолько ясным, что и скрывать стало нечего.

4 января 1943 года Лука, намекая старшему сыну на предстоящие перемены, писал: «Давно обещали открыть у нас одну церковь, но все еще тянут, и опять останусь без богослужения в великий праздник Рождества Христова». А еще через два месяца, очевидно, опять-таки после свидания в крайкоме, получил он право окончательно открыть таимую правду: «Господь послал мне несказанную радость, — писал он сыну 5 марта 1943 года. — После шестнадцати лет мучительной тоски по церкви и молчания

отверз Господь снова уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я назначен Архиепископом Красноярским… Конечно, я буду продолжать работу в госпитале, к этому нет никаких препятствий». И уже полным голосом человека, освобожденного от необходимости молчать о самом главном в своей жизни, Лука продолжает: «Я думаю, что резко изменилось отношение правительства к церкви: всюду открываются и ремонтируются за счет горсовета храмы, назначаются епископы, митрополит Николай Киевский назначен членом комиссии по немецким зверствам, издана тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров и притом роскошно книга «Правда о религии в России».

Наконец-то он может сказать близким о самых заветных переживаниях своих: «Помни, Миша, что мое монашество с его обетами, мой сан, мое служение Богу для меня величайшая святыня и первейший долг. Я подлинно и глубоко отрекся от мира и от врачебной славы, которая, конечно, могла бы быть очень велика, что теперь для меня ничего не стоит. А в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако и врачебной и научной работы я не намерен оставлять». Все прошлые письма к родным помечал он инициалами А. Л. А это, посланное 22 марта 1943 года, впервые размашисто и с явным удовольствием подписал: Архиепископ Лука.

Открытие церкви освободило Луку от многолетней душевной стесненности. Правда, кладбищенская церковь в Николаевке до крайности мала да и от города далека, полтора часа ходу. Но это храм! И Владыка с нежностью расписывает сыну первое богослужение, «о котором мало кто знал, но все-таки пришло человек двести. В алтарь так же трудно было пройти, как на Пасху. Многие стояли на дворе». Открытие церкви исцелило не только его душу, но и тело. «Первое богослужение… сразу же очень улучшило мое нервное состояние, а неврастения была столь тяжелая, что невропатологи назначили мне полный отдых на две недели. Я его не начал и уверен, что обойдусь без него», — писал он 5 марта. Еще через месяц подтвердил: «Невроз мой со времени открытия церкви прошел совсем, и работоспособность восстановилась».

Потом возникли новые проблемы: в николаевской церкви, по малости ее, архиерейское служение оказалось невозможным. Открыть второй храм власти обещали только через год. Не было пока и церковных облачений. Как и двадцать лет назад, в Ташкенте, Владыка вышел на амвон в чужой рясе и клобуке. «В театре много архиерейских облачений, но нам не дают их, считая, что важнее одевать их актерам и кромсать, перешивая для комедийных действий».

В конце концов облачение нашлось и вторую церковь в Красноярске открыли. Трудней всего было наладить мир в своем собственном доме. Ни дочь, ни сыновья не порадовались новому церковному назначению отца. То, что Лука считал своим торжеством, их пугало. Особенно старшего. Тридцатишестилетний Михаил недавно защитил диссертацию. Всеми силами стремился он забыть, отсечь от себя годы унижений, когда его, сына «врага народа», обсуждали на собраниях, выгоняли из института. Степень кандидата наук подавала надежды на то, что прошлое больше не вернется. И вот — на тебе — отец опять подался в архиереи, снова в письмах рассказы о пастве, о проповедях и литургиях. В Красноярске торжество, а в Сталинабаде того и гляди полетят в тартарары и диссертация, и кафедра, а может быть, и многое другое. Михаил написал о своих опасениях. Все лето и осень 1943 года два Войно-Ясенецких с жаром обсуждали создавшуюся обстановку. Примечательно, что вопреки традиционной схеме смелый отец в этом случае успокаивал своего же не в меру запуганного отпрыска.

«Твои страхи обо мне почти полностью неосновательны. Мое архиерейское служение

не считают несовместимым с работой в госпитале и вполне с ним мирятся, — писал Лука. — В госпитале ничуть не пахнет от меня архиерейским духом, а в церкви я только архиерей и лечить верующих не имею никакой возможности. Проповеди мои строго обдуманные и вполне безупречны, нередко даже имеют просоветский характер… Последние мои тюремные страдания глубоко изменили меня. Стал я удивительно терпимым, кротким, тихим, совсем сгладилась моя былая резкость… Я писал тебе, что дан властный приказ не преследовать меня за религиозные убеждения. Не могу писать более подробно, но важность факта ты оценишь и без комментариев». Заверения о терпимости и кротости звучали бы очень убедительно, если бы в конце того же письма Лука не добавил: «…Даже если бы не изменилось столь существенно положение церкви, если бы не защищала меня моя высокая научная ценность, я не поколебался бы снова вступить на путь активного служения церкви. Ибо вы, мои дети, не нуждаетесь в моей помощи, а к тюрьме и ссылкам я привык и не боюсь их». Надо ли говорить, что такие признания не очень-то успокаивали Михаила Войно-Ясенецкого. Он продолжает пугаться сам и пугать родителя. Особенно опасными представляются ему церковные проповеди Луки. И снова отец вынужден сесть за письмо, чтобы успокоить сына. «Твои страхи по поводу моих проповедей преувеличены. Я пользуюсь репутацией большого патриота и сторонника советской власти. А проповедь — главный долг Епископа».

Михаил не унимается. Ему уже видится новый арест отца и те последствия, которые неизбежно обрушатся затем на семью. Он не желает больше вести бесконечную игру, отравившую его детство и юность. Он пишет, что не верит в Бога, а церковное служение отца считает вредным и даже опасным. Не очень-то удобно мне, постороннему человеку, становиться судьей между сыном и отцом. Но если даже отбросить вопросы элементарного такта, Михаил Валентинович удивляет своей абсолютной политической непрозорливостью. Медик из Сталинабада совершенно не представляет себе подлинного положения вещей в стране. В 1943 году Владыке Луке не только не угрожает опасность, но скорее наоборот: в нем нуждаются более всего как в епископе. Люди такого рода оказались необходимы сталинскому режиму. С ними заигрывают. От них многого ждут. Лука давно постиг политический характер новых перемен. Церковь стала вдруг необходима властям? Ну и слава Богу! Не все ли равно, кто и почему открывает храм? Главное, чтобы они открывались, а не закрывались. Некак даже гордость видится в его письме, когда сообщает он Михаилу: «В Красноярске, в «кругах» говорили обо мне: «Пусть служит, это политически необходимо». Весной и летом 1943 года Михаил Войно-Ясенецкий ничего этого понять не способен. Его «я не верю» — просто жестокость. Жестокость по отношении к отцу — мученику веры. Не разум, не забота о близком человеке, но страх перед репрессиями подсказывает такие слова.

Луку письмо сына сразило. Владыка знал, что дети его атеисты, но особенно больно было убедиться в этом теперь, в пору всеобщего почитания, которым окружили его власти и коллеги. И все же он нашел в себе силы сдержаться. Ответил с достоинством, хотя и не без горечи: «До сих пор я молился усердно об исцелении Вали, а теперь и о тебе. Но поперек молитвы стоят три твои страшных слова. Всем сердцем прошу тебя: читай Евангелие и молись Богу… О, если бы ты знал, как туп и ограничен атеизм, как живо и реальна общение с Богом любящих Его…»

Кажется, это был их последний разговор о вере. До самой смерти своей хранил отец не обиду, но боль о том, что он, пастырь множества душ, так и не сыскал пути к заблудшим душам собственных детей. Не помог им, не спас.

…Итак, все повторилось. Через двадцать два года профессор Войно-Ясенецкий, перед

тем за свою веру трижды арестованный и сосланный, снова свободно произносит проповеди в церкви и лекции в госпитале. На дверях его квартиры появилась табличка, извещающая публику, что по церковным делам профессор принимает во вторник и пятницу с 6 до 8 вечера. В то время как современники, кто с изумлением, кто с ухмылкой, взирали на это «чудо», сам Лука совершенно невозмутим. В новом, а по существу возвращенном ему старом положении он никакого чуда или противоречия не усматривает. Механизм «целесообразной истории» продолжает молоть зерно. В свой черед каждый по заслугам своим побывает и под жерновом, и на жернове. В день, когда исполнилось двадцать лет его рукоположению в епископы (31 мая 1943 года), Войно напомнил своему сыну давнюю поездку из Ташкента в Пенджикент: «Это было начало того тернистого пути, который мне надлежало пройти… Но зато был и путь славы у Бога. Верю, что кончились страдания…» Итак, прежде надлежало пострадать, а теперь предстоит принять честь и славу. Все в свой черед. При таком взгляде на мировой порядок удивлению, действительно, нет места.

В том же письме Лука с явным удовольствием перечисляет награды и поощрения, полученные за последний месяц. И тут у него в одном ряду идут похвалы за произнесенные в церкви проповеди, благодарность и грамота от Военного совета и приказ Командующего войсками, в котором профессор упомянут среди лучших врачей округа. Этот список мог показаться самохвальством, если бы не искренняя вера Владыки в то, что приказ Командующего войсками, равно как и грамота Военного совета, есть прямой знак божественного благоволения. «Прославляющего Мя прославлю», — сказал Спаситель. Двадцать лет, не избегая опасности, отвергая страх, прославлял Лука Бога Распятого. И вот Бог посылает ему Свое благоволение. Зачем же молчать об этом?

В Новосибирске на конференции хирургов военных госпиталей Сибирского военного округа (24—29 марта 1943 года) Лука вновь обласкан. На этот раз своими коллегами. Доклад на очень важную для хирургов тему о лечении огнестрельного остеомиелита принят слушателями восторженно. Под свежими впечатлениями от аплодисментов и рукопожатий Лука пишет сыну: «Слушали с «наслаждением», с глубоким вниманием, требовали продолжения… Называли доклад не только глубоким, но даже мудрым… Со всех сторон подходили представляться». Действительно подходили, а на другой день во время показательной операции в госпитале, где Лука демонстрировал свой классический распил пятки при остеомиелите, солидные хирурги, начальники отделений, лезли на стулья, чтобы разглядеть ювелирную технику этого чудотворца Войно-Ясенецкого. Да и на живого епископа хотелось им взглянуть поближе: такое не всякий день увидишь.

А у профессора в Новосибирске один день полнее другого. «Я получил здесь архиерейское облачение и все принадлежности служителя, которых не имел в Красноярске, и притом при содействии матерого большевика, одного из заправил съезда». С облачением получилась целая история. Из-за него Лука переполошил своих товарищей, так как едва не опоздал на поезд.

Облачение архиерейское, как известно, шьется из парчи. Но какая парча во время войны, да еще в Сибири, когда и ситчик стал великой роскошью? В Новосибирске, однако, зайдя попрощаться в кабинет облздрава, Лука увидел на полке кусок вожделенной ткани. Как она туда попала и для чего служила — Бог весть. Известно только, что, увидав материю, Войно страшно заволновался, забыл об отъезде, об ожидавших его на вокзале и начал просить продать ему отрез. Предлагал любую цену, пусть даже это будет стоить две месячных зарплаты. Присутствовавшая при этом доктор Браницкая вспоминает, что, получив парчу, Лука, как ребенок игрушку, прижал материю

к груди и расцвел счастливой улыбкой. Такой улыбки она ни разу у него за два года знакомства не видала.

Удачи, сплошные удачи! Поразительное, наверное, это ощущение чувствовать себя избранником Всевышнего. Какая сила в тебя вливается, какая уверенность в каждом поступке! Читаю письма Владыки и любуюсь им. Страна воюет. Миллионы идут в бой с воплем: «За Сталина!» Другие миллионы умирают от голода и непосильного труда в шахтах Воркуты и Магадана, и опять же с проклятым именем его на устах. У одних тиран вызывает страх, у других восторг, у третьих — ненависть. А Архиепископ Лука, как будто и нет ему от этого никакого дела, пишет сыну: «Второго мая я послал Сталину письмо о своей книге с приложением отзыва о ней Приорова и предисловия Мануйлова. В этом предисловии профессор Мануйлов положительно до небес вознес мою книгу и ярко подчеркнул ее значение для хирургии войны. Нет сомнения, что Сталин велит издать книгу». «Нет сомнения» — не великолепно ли?!

И действительно, через полтора месяца (по военным временам срок весьма короткий) пришло письмо из Москвы: дирекция Медгиза просила глубокоуважаемого профессора поскорее прислать рукопись «Очерков гнойной хирургии». И монографию о суставах тоже. Обе книги будут изданы безотлагательно. А на пороге нового, 1944 года уже сам министр здравоохранения РСФСР Третьяков специальной телеграммой извещает красноярского профессора: «…Ваша книга включена Медгизом в план первого квартала (1944 года), устанавливаем контроль за ее передвижением. Рукопись будет направлена в Комитет по Сталинским премиям». Как же после всех этих событий усомниться в том, что ты — подлинный избранник Бога?

…Биограф всегда настороже: честны ли его собеседники — свидетели исторических событий? Не путают ли? Подлинные ли факты, сообщаемые в письмах и документах? Жизнеописание — постоянный риск, плаванье среди рифов и мелей несовершенной и недобросовестной человеческой памяти. Но и тогда, когда свидетели искренни, а в архивных бумагах не ожидаешь подвоха, автор жизнеописания все-таки не чувствует себя спокойным. Одно время меня особенно угнетал феномен, который я для себя назвал «разновидением»: наблюдая одно и то же явление — лицо или предмет, два человека сохраняют о нем совершенно различные воспоминания. То и дело приходится рассматривать два противоречивых видения одного эпизода, но случается, что их оказывается перед тобой и пять и шесть. Вот типичный пример.

В 1943 году хирург С. Голуб на совещании военных медиков в Новосибирске слышал доклад Войно-Ясенецкого. Впоследствии он описал докладчика в следующих выражениях: «Его внешность не могла не приковать к себе внимания: одухотворенное лицо, скромная одежда, спокойные жесты — все это ассоциировалось с представлением о народных демократах…» Доклад состоялся 25 марта, а на сутки раньше молодой офицер медицинской службы, сотрудник Санотдела Сибирского округа П. Приходько получил от своего начальника приказ встретить Войно-Ясенецкого на вокзале и доставить в гостиницу. Через два десятка лет в памяти профессора Петра Трофимовича Приходько отпечаталась следующая картина:

«В назначенное время я встретил гостя на вокзале. Это был очень высокий (ок. 180 см) пожилой человек, сурового и надменного вида, с седыми волосами и окладистой полуседой бородой. В черном длиннополом пальто, застегнутом на все пуговицы, он выглядел усталым и как бы отрешенным от мира. Через стекла очков на меня глянули холодным блеском прищуренные глаза. Не ответив на мое приветствие, он пошел со мной к выходу из вокзала, где нас ожидала легковая машина. И весь путь до госпиталя номер

1503 в центре г. Новосибирска, где ему была отведена комната на период работы конференции, он не сказал ни слова». Согласимся, что человек, которого видел военврач Приходько, мало походит на «народного демократа», увиденного доктором Голубом. А между тем нет оснований не верить ни тому, ни другому свидетелю. Они записали свои воспоминания бескорыстно, по доброй воле, желая сохранить для потомства факты, показавшиеся им исторически важными. Как же совместить несовместимое?

Когда писатели-биографы обсуждают проблемы своего жанра, то нередко приходится слышать жалобы на «текучесть» человеческой личности, «текучесть», которая мешает составить устойчивую концепцию героя. Иными словами, литераторов огорчает, раздражает даже, что герои не адекватны сами себе, т. е. не всегда соответствуют тому образу, в котором их знает большинство современников. Это так и не так. С одной стороны, общеизвестно, что даже крупные личности на каждом шагу противоречат себе, отклоняются от принципов, которые декларируют, отвергают идеалы, к которым вроде бы стремятся. Но изменяют ли они при этом самим себе? Означает ли «текучесть» выход личности за какие-то характеристические пределы? Не будет ли естественнее предположить, что личность значительно более разнообразна и многосоставна, чем мы привыкли это себе представлять? Мы знаем Луку сурового и надменного, но ведь вместе с тем (это мы тоже знаем) он прост, нетребователен, скромен и великодушен. Нам ведом профессор, не склонный в обществе учеников проронить лишнее слово, но есть и Владыка Лука, готовый проповедовать даже с опасностью для своей свободы и жизни. Надо ли удивляться, если в памяти окружающих возникают столь несхожие между собой отпечатки его образа?

Большинство людей, которых я просил рассказать о жизни Войно-Ясенецкого в Красноярске, все-таки высказывались о нем как о человеке «жесткой конструкции». Вспоминают какую-то верующую старуху, которой он без обиняков сказал, что болезнь ее неизлечима; говорили о военном враче, которому опять-таки, глядя прямо в глаза, Лука предрек, что хирурга из него не выйдет и учиться не стоит. И еще много другого в том же роде. Думаю, что так оно и было — и со старухой, и с малоспособным врачом. Но, коль скоро разговор зашел о «текучести» человеческих характеров, хочу я опубликовать одно письмо, которое прислала мне врач-окулист из города Николаева Галина Ивановна Шамина. Оказывается, в ту пору, когда ссыльный врач Войно-Ясенецкий поголадывал и ходил в обносках, и потом, когда принимал многочисленные подношения властей, писал письмо Сталину и получал телеграммы от наркома здравоохранения, была у него еще одна совсем иная и мало кому ведомая жизнь. О жизни этой и пишет доктор Шамина.

В 1939 году ее родители жили в Красноярске. Гале было тогда четырнадцать лет. Случилось, что товарищ Галиного детства Вася Боруткин натер в походе пятку, в ранку попала инфекция, возникла гангрена. Омертвление поднималось по ноге все выше и выше. Не помогало никакое лечение. Мальчик был так истощен, что у хирургов не оставалось надежды на успешную операцию. И тогда родители Васи бросились в местное управление НКВД и там добились разрешения привезти из деревни Большая Мурта профессора Войно-Ясенецкого.

Лука приехал. В ожидании, когда больного приготовят к операции, остановился в маленьком домике Боруткиных. Тут Галя его впервые и увидела.

«Постучав в дверь комнаты, я услышала приятный бархатный голос: «Войдите», а войдя, увидела очень большого, высокого и полного старца с большой седой бородой. На нем были черные брюки, черный свободный сюртук, глухо застегнутый, на голове черная же матерчатая шапочка. Я в первый момент растерялась, но стоило ему ласково на меня

посмотреть и пригласить войти в комнату, как растерянность моя исчезла и я почувствовала, как будто этого человека я знаю давным-давно. Я стала со слезами просить его спасти Васю. Он погладил меня по голове и сказал своим низким голосом: «Ты добрая девочка, мы будем друзьями. Я все сделаю, чтобы спасти Васю, но только ногу его я уже спасти не могу — поздно! Смириться же с утратой ноги поможешь ему ты». Через час Валентин Феликсович начал операцию. Вася остался жить, а с Валентином Феликсовичем мы действительно стали друзьями. Когда он уехал к себе в деревню, мы долго переписывались». Затем Галина Ивановна рассказывает о начале войны. Ее мать-врача призвали на военную службу и отправили на Дальний Восток, отца в 1942 году тоже мобилизовали, и он ушел на фронт.

«Я — шестнадцатилетняя девочка — осталась вдвоем со старенькой больной бабушкой. Очень трудно было нам. Отец мой был солдатом и ничем помочь не мог, мама присылала по аттестату шестьсот рублей, но что стоили эти деньги, если килограмм масла стоил тысячу двести — тысячу пятьсот рублей. Но вот в Красноярск перевели Валентина Феликсовича. Он зашел к нам, посмотрел, как мы живем, и сказал, вернее, спросил меня: «У тебя нет дедушки, а ты хотела бы его иметь?» «Конечно», — сказала я. «Ну вот, я и буду твоим названным дедушкой, ты меня теперь и называй дедушкой, а не по имени-отчеству. Приходи ко мне один раз в неделю, в пятницу, к пяти часам. Но помни — я очень занят, время мое рассчитано по минутам — старайся не опаздывать, твое время до шести часов». Я строго придерживалась отведенного мне регламента, не опаздывала и ни на минуту не задерживалась после шести. Я рассказывала ему об успехах в школе, о друзьях; он — о раненых, которых оперировал, о великом деле врача. Время пролетало незаметно, и я вновь с нетерпением ожидала встречи. Однажды я пригласила его в кино. Он улыбнулся своей доброй улыбкой (по виду своему солидному он производил впечатление сурового человека, а вот улыбка у него была добрая, располагающая) и сказал: «Нет, Галочка, мирские увеселения не для меня, ведь я монах».

В. Ф. при мне не молился и о религии со мной не говорил. Но я знаю, что он читал проповеди в церкви и имел большое духовное звание. Был он вегетарианец, питался с госпитальной кухни. Повара старались положить ему в кашу побольше масла, но он все масло сливал и, когда приходила я, отдавал его нам с бабушкой, а в следующий раз просил отнести Васе. Мне тоже хотелось ему сделать что-нибудь приятное, нужное, и об этом я ему сказала. Тогда он попросил меня пришить ему пуговицу к сюртуку и обметать обтрепавшиеся петли, предварительно показав мне, как это сделать. Добрым и честным человеком был дедушка Валентин Феликсович». Свои немудреные воспоминания доктор Г. И. Шамина записала во время ночного дежурства в больнице незадолго до нового 1970 года. В конверт вложила она приписку, в которой настоятельно просила литератора «создать правдивый портрет Валентина Феликсовича». В ее памяти Войно остался человеком без изъяна. И таким же — в белых ризах — хотела она его видеть на страницах жизнеописания. Но текуч человек. И как раз стремление создать правдивый портрет заставляет нас, не утаивая ничего, рассказать о грехопадении Владыки Луки, о великом соблазне, от которого он не удержался, и хотя, как и все соблазны, соблазн этот был общим и поддались ему многие, но так уж устроено в мире, что грешим мы сообща, а к ответу призывают нас поодиночке.

Но сначала — о происхождении самого соблазна. В 1935 году американец, церковный деятель А. П. Андерсон выпустил в Англии книгу «Будущее русской церкви». Среди прочего автор привел рассказ американца, недавно вернувшегося из Советского Союза. Американцу-христианину пришлось проехать в машине не одну сотню миль, прежде чем

он обнаружил действующий храм. На литургии присутствовала лишь маленькая горстка верующих. Пять кусочков черного хлеба, четыре зеленых яблока и одно яйцо — вот все приношения, с которыми прихожане пришли в этот день в храм. Американец спросил — что глава прихода станет делать, когда съест хлеб, яблоки и яйцо, и услышал ответ: «Пойду по домам и буду просить пропитания». Американец спросил также священника, что тот думает о будущем религии в России. Не колеблясь ни минуты, священник ответил: «У религии в России нет будущего».

Приведенные слова сельского батюшки совершенно точно передают взгляды большинства верующих и неверующих того времени. Война государства против Церкви, начатая в январе 1918 года, подходила к концу. Русская Православная Церковь, тысячу лет наставлявшая и объединявшая российский народ, лежала в руинах. Из сорока тысяч православных храмов (в одной только Москве перед революцией насчитывалось четыреста шестьдесят церквей) к 1941 году осталось около ста. Пять из них сохранилось в Ленинграде, по одному в Новосибирске и Ташкенте, два в Киеве. Ни одного храма не было в таких больших городах, как Ростов-на-Дону, Баку, Омск. Сравнительно большое число церквей уцелело лишь в Грузии, Армении и Средней Азии. Французская журналистка Ева Кюри, оказавшаяся в Москве в первую военную зиму, считает, что в столице действовало в то время 18—20 церквей. В действительности их оставалось меньше пятнадцати. Ева Кюри побывала затем в Куйбышеве. После богослужения в единственной куйбышевской церкви она записала: «Тут нет ни одного молодого лица. Похоже, что исчезло, потерялось целое поколение и остались только пожилые, чтобы молиться за отсутствующих, исчезнувших… Молодое поколение в России рассталось с христианством, чтобы обратиться в новую веру, в которой нет места вере».

Другие иностранцы, посетившие СССР в первом военном году, замечали, что в немногочисленных русских церквах совсем нет молодых священников. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий, давая в 1941 году интервью журналисту Уоллесу Кероллу (Сергий был единственным церковником, которому разрешали в те времена разговаривать с иностранцами), «объяснил» отсутствие молодых сил в Церкви тем, что юноши не желают принимать священство. Это была правда, но правда, требовавшая уточнения. Стать в Советском Союзе в 30-е годы священником означало превратиться в зверя для охоты. Непосильными налогами, угрозами, арестами и расстрелами за два десятилетия ОГПУ — НКВД удалось разметать почти весь церковный причт России — десятки тысяч священников, сотни архиереев. Митрополит Мануил Куйбышевский свел в четыре толстых тома краткие биографии русских православных иерархов за 70 лет. Четырехтомник этот иначе как мартирологом не назовешь. Подавляющую часть биографии составитель вынужден завершить стандартной фразой: «С такого-то года епархией не управлял. Когда скончался и где похоронен — неизвестно». Неизвестна не только судьба многих тысяч епископов, священников, дьяконов, никому не ведома даже примерная цифра людей Церкви, уничтоженных с 1918-го по 1941 год.

Иногда аресты епископов и священников сопровождались широковещательными сообщениями об их подрывной деятельности, о кошмарных преступлениях, которые они готовили по указке гестапо или троцкистов. Но мало кому посчастливилось так, как Горьковскому митрополиту Феофану Туликову и двум его епископам, про которых газеты писали, что они готовили убийство советских работников, поджог домов и взрыв Горьковского автомобильного завода. Большая часть клириков просто исчезала со сцены, исчезала без суда, следствия и обвинения.

Особенно тяжелые потери понесла церковь в конце 30-х годов. По словам А. Э.

Краснова-Левитина, в Ленинградской области в 1935 году насчитывалось не менее 1500 лиц духовного звания, но уже через два года в церквах области осталось лишь пятнадцать обновленческих и семнадцать православных священников и дьяконов. Даже много повидавшая советская пресса не пыталась утверждать в 1937 году, что все 1468 арестованных в Ленинграде и его окрестностях клириков — шпионы и диверсанты. Безо всяких приговоров («без статьи», как тогда говорили) эти священники были отправлены умирать в северные и восточные лагеря, а их приходы автоматически закрылись. Тихо, без лишнего шума…

Но одновременно с несмолкаемым грохотом и визгом крутились колеса государственной антирелигиозной машины. Подобно современным ЭВМ механизм этот оперировал только с цифрами крупными и сверхкрупными. Союз воинствующих безбожников планировал «безбожную пятилетку» с тем, чтобы в 1930 году состад Союза увеличился с полумиллиона членов до четырех миллионов, в 1931-м — до семи миллионов, в 1933-м — до семнадцати миллионов человек. Следующая пятилетка должна была превратить в активных безбожников уже двадцать два миллиона советских граждан. Такие же масштабы проектировались и в деятельности издательской. Глава антирелигиозного ведомства Емельян Ярославский утверждал, что за десять лет с 1922-го по 1932 год в стране было выпущено сорок миллионов экземпляров антирелигиозных книг и брошюр. Что же до литературы непериодической, то за три года, с 1927-го по 1930-й, ее выпустили в количестве сорок три миллиона шестьсот тысяч экземпляров, что составило, по подсчету дотошных антирелигиозников, восемьсот миллионов страниц печатного текста! Хотели больше, да бумаги не хватило…

О чем же они, эти миллионы страниц? Да все об одном и том же: религия всегда помогала привилегированным классам угнетать рабочих и крестьян, сотрудница королей и императоров, церковь участвовала в эксплуатации народа, в политике клерикалы, как правило реакционеры, враги социализма, в науке они ретрограды и не останавливались в былые времена перед тем, чтобы уничтожать своих противников-ученых. А потому — никакой жалости к попам-реакционерам, долой церковные праздники, долой церкви. Организовывайте «безбожные бригады» на заводах, засевайте «безбожные гектары» в колхозах, ибо «антирелигиозность имеет промышленное значение».

Так они и работали бок о бок: ОГПУ — НКВД и ведомство Емельяна Ярославского. Одно тихо, другое шумно. Одно под корень изводило профессию служителей церкви, второе оправдывало, обосновывало аресты и убийства «попов», натравливало народ на клир, запугивало тех, кто намеревался сохранить свои взгляды, свою веру. И уж совсем вроде удалось этому дуэту искоренить церковь, а с ней и остатки народной веры, когда грянула настоящая война. И все переменилось.

Прежде, однако, чем рассказывать о чуде воскрешения Русской Православной Церкви, вспомним, как вела она себя в роковые для нее 30-е годы.

Хотя слово «Церковь» пишем мы по традиции с большой буквы, полагая за ним цельный, одухотворенный единой идеей и целью организм, но в предвоенные годы такой церкви в Советской России не существовало. Жил в Москве Местоблюститель давно уже пустовавшего патриаршего престола митрополит Сергий, старый человек, имевший от царского правительства орден св. Александра Невского. Преуспевающий чиновник дореволюционного Св. Синода, он в новое время прославился своими верноподданническими выступлениями, лживыми интервью, которые давал иностранным корреспондентам о положении в русской церкви. Принадлежали митрополиту Сергию, в частности, достопамятные слова: «Мы хотим быть

православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз… сознается нами как удар, направленный на нас».

Сейчас, спустя тридцать — сорок лет после описываемых событий, находится достаточно людей, готовых оправдывать митрополита Сергия. Современные церковные историки рисуют его хитрым дипломатом, стремившимся спасти хоть что-нибудь там, где спасти уже нельзя было ничего. Снова вытаскивается знамя «икономии», под которым Сергий и его Синод сохранили якобы «церковные основы». Сохраняли ли? В разгар массовых арестов, когда в Соловки на верную смерть гнали эшелоны священников, Местоблюститель устраивает в Москве пышное торжество, на котором возлагает на себя новый сан «Блаженнейшего Митрополита Московского и Коломенского». В Кафедральном соборе столицы два десятка дрожащих от страха архиереев читают «Блаженнейшему» приветственные адреса, именуя его «бессмертным и мудрым кормчим». Кому понадобился этот фарс? Смертникам Соловецких лагерей? Верующим, лишенным храма? Двадцать епископов, сорок четыре священника и пятнадцать дьяконов и сам блаженнейший митрополит Сергий разыграли 19 апреля 1934 года пьесу, которая нужна была единственно только советским властям. Западная пресса подхватила подробности торжественного богослужения в Елоховском соборе, и через сутки европейскому обывателю втолковывали: «Ну вот, а вы говорите, что в СССР преследуют христиан. Почитайте…»

Так в 30-е годы выступила верхушка церкви. А под ней в толще России жили, служили и каждый день как-то решали свои профессиональные и житейские проблемы оставшиеся на свободе священники, дьяконы, дьячки, псаломщики. В обстановке притеснения и террора они не имели ни малейшей надежды на то, что защитит их местный епископ, а тем более Московский митрополит. Что было делать этим несчастным, десятилетия пребывавшим вне закона и справедливости? В моем распоряжении нет ни воспоминаний, ни архивных документов. Но даже читая антирелигиозную прессу 30-х годов, можно многое узнать о трагическом быте низового российского духовенства. Многие расстриглись. Были периоды, когда отказы от сана становились массовыми. Но большинство деревенских священников, обремененных семьей, не знающих, куда податься, оставались в своих приходах. Им надо было как-то жить, как-то спасаться в безумном половодье политической демагогии. И батюшки, каждый на свой лад, принялись доказывать Советской власти свою лояльность и преданность.

А. С. Пушкин в 1836 году в письме П. Чаадаеву шутя заметил, что русское духовенство «отстало» и «не принадлежит к хорошему обществу». Это плебейство (все подлинно достойное сгнило на соловецком погосте) и полезло в заявлениях и заверениях перепуганных насмерть батюшек. Один приходский священник заявлял в проповедях, что раскулачивание — «дело, получившее благословение Божье». Другой призывал паству посвятить Пасхальный праздник не молитвам, а подготовке к севу. Газета «Безбожник» сообщала о служителях, которые принялись изучать марксизм. Один из таких новоявленных «марксистов» из Центральной Черноземной области писал: «По существу в земной жизни христианство не противоречит ни коммунизму, ни советскому строю. Первые христианские общины были чисто коммунистическими — одна душа, одна собственность для всех». Другой философ в рясе, объявив себя последователем Маркса и Ленина, пошел еще дальше. «Церковь вместе с советским строем проходит все переходные стадии борьбы рабочего класса, и вместе они начнут коллективизацию всей

страны на основе кооперации и индустриализации».

Так выходили (или пытались выйти) из создавшегося положения те, кто похитрее. А кто попроще и вовсе теряли голову. Некий священник в разгар коллективизации повесил на дверях храма объявление о том, что к исповеди и причастию будут допущены отныне только колхозники, единоличникам он отпускать грехи не станет. Появились священники — распространители государственных займов, собиратели налогов, оформители изб-читален. Некий священнослужитель организовал в церкви концерты духовной музыки, а на вырученные деньги покупал облигации госзайма. Нашелся и такой, который согласился в деревенском драмкружке исполнять роль в антирелигиозной пьесе. В поисках алиби, наконец, один деятель церкви выпустил своеобразные визитные карточки, на которых от руки начертал: «Советский народный красный священник, член комнезама, член-организатор Живой Церкви на Черниговщине Василий Владимирович Ярчуков». Комментируя эту визитку, журнал «Чудак» писал в 1929 году, что, несмотря на все его заслуги, священнику Ярчукову не миновать лишенского списка, то есть лишения прав и преследования.

Что было делать малым сим, если их высший пастырь Блаженнейший Митрополит Сергий на вопрос иностранного корреспондента относительно его программы отвечал: «Моя программа — программа Святого Духа. Я действую по нужде каждого дня».

Живя по нужде каждого дня. Русская Православная Церковь дошла к 1941 году до своего, как казалось, полного крушения. Но так только казалось. Судьба тысячелетнего гиганта решалась на этот раз не в стенах Кафедрального собора в Елохове и не в последних, открытых ветрам каждодневности деревенских храмах. Решалась она, как это ни покажется странным, в катакомбах. Катакомбная, или подпольная, Церковь возникла у нас в конце 20-х годов. То один, то другой священник исчезали из своих приходов, поселялись в тайном месте и начинали опасную жизнь изгнанников. В скособоченных домишках на городских окраинах возникали тайные молельни. Там служили литургии, исповедовали, причащали, крестили, венчали и даже рукополагали новых священников. Тайком, передавая друг другу условный стук в дверь, стекались туда верующие из дальних городов и областей. Туда шли за утешением, беседой, за «радостью богослужения». Туда несли детей, вели стариков. Сколько таких очагов тайной веры существовало в стране, никто не знает. История катакомбной церкви не написана и едва ли когда-нибудь узнаем мы всю правду о мучениках-христианах XX века, сохранивших свои убеждения в обстановке тотальной слежки, всеобщего доносительства и террора. Кое-что, однако, до нас дошло. Известно, например, что только в одной Московской области на нелегальном положении находилось более десяти священников. Это скромное по численности, но непримиримое воинство вдохновлял епископ Афанасий (Сахаров). Епископ, сам большую часть жизни проведший в ссылках и лагерях, строго-настрого запретил своей пастве общение с конформистской церковью Сергия. С советскими властями — тоже.

Из тех, кто обрек себя на опасность подполья, наибольший наш интерес и симпатию вызывает архимандрит Серафим (Батюков). Сергей Михайлович Батюков (1880 г. рождения) имел техническое образование и работал на одном из московских заводов. Одновременно, еще до революции, слушал он лекции в Духовной академии, изучал богословскую литературу. Решение стать священником-монахом принял он, как и Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, в самое трудное для Церкви время. Монахом стал в 1922-м. Некоторое время служил в церкви Св. Мучеников Кира и Иоанна на Солянке. Аресты и иные преследования не изменили его взглядов. С линией митрополита

Сергия он тоже не смирился. С небольшой, чудом сохранившейся фотографии смотрит на нас аскетичное, полное внутренней силы и достоинства лицо. Снимок сделан, очевидно, незадолго до 1928 года, когда архимандрит перешел на нелегальное положение. Из той же «солянской» церкви ушел впоследствии в подполье иеромонах Иеракс (в миру Иван Матвеевич Бочаров).

После недолгих скитаний о. Серафим поселился в Сергиевом посаде (ныне город Загорск) у двух сестер-монахинь. Москвичка В. Я. Василевская, научный сотрудник, специалист по педагогике, ставшая в тридцатые годы духовной дочерью о. Серафима, сохранила интересные воспоминания о встречах с ним. В пасхальную ночь близкие люди привезли ее в Загорск.

«Домик, где жил батюшка (о. Серафим), выглядел заброшенным и необитаемым. Внутри же он был полон людей, собравшихся встретить светлый праздник вместе с батюшкой, как прежде встречали его в храме. Батюшка был занят устройством алтаря и иконостаса. Маленькая комната должна была превратиться в храм, где совершается пасхальная заутреня… Я не знала никого из присутствующих, кроме хозяев дома… Батюшка позвал меня к себе в комнату: «Чувствуйте себя, как среди самых близких людей», — сказал он… и я почувствовала вскоре, что все эти люди, приехавшие сюда в эту пасхальную ночь, действительно являются близкими мне людьми, с которыми связывают меня самые глубокие, еще не совсем понятные мне нити… Прежде чем начать богослужение, батюшка послал кого-то из присутствующих убедиться в том, что пение не слышно на улице. Началась пасхальная заутреня, и маленький домик превратился в светлый храм, в котором всех соединяло одно, ни с чем не сравнимое чувство — радость Воскресения! Крестный ход совершался внутри дома, в сенях и в коридоре». «Здесь катакомбы, — в первый приезд сказал В. Я. Василевской о. Серафим. — я здесь не потому, что желаю кому-нибудь делать зло или хочу с кем-то бороться. Я здесь только для того, чтобы сохранить чистоту православия». В. Я. Василевская несколько лет приезжала из Москвы в Загорск, чтобы повидаться, посоветоваться с о. Серафимом. «Помимо своих духовных занятий, — пишет она, — старческого руководства, пастырских богословских литературных трудов, батюшка в своем уединении принимал активное участие в жизни церкви, встречался со многими своими единомышленниками среди церковных деятелей, вел постоянную переписку. Он следил за текущими событиями, переживал все со всеми… Казалось почти несущественным, что каждый незнакомый стук в дверь, каждый случайно зашедший человек, будь то почтальон или кто-нибудь другой, могли нарушить покой маленького домика, так что хозяин его должен был скрыться. Подобные инициденты бывали довольно часто, но страха не было».

Приглядываясь к деятельности загорского затворника, его духовная дочь так поняла систему отношений своего наставника с внешним миром: «Он не был изгнан — но он ушел сам, он не выжидал, а творил, он трудился не только для той узкой группы людей, которые могли видеться с ним в этих условиях, но для Церкви, для будущего». Остается добавить, что после почти пятнадцатилетнего существования катакомбной Церкви секрет ее был раскрыт. Осенью 1943 года работники НКВД арестовали и выслали почти всю группу подмосковных священников. Отец Серафим этого уже не видел. Он умер в начале Великого поста 1942 года и был похоронен в подвале того же дома, в котором бесстрашно более десятка лет держал свою духовную оборону. Окончательно катакомбная эпопея завершилась три года спустя — в 1945-м, после смерти Патриарха Сергия. Епископ Афанасий признал законной власть вновь избранного Патриарха Алексия и прислал своим духовным детям из сибирской ссылки письменное разрешение

воссоединиться с патриаршей православной Церковью.

Могут сказать, что катакомбная Церковь не сыграла сколько-нибудь значительной роли в истории русского православия: что пример десятков (и даже сотен) последователей ее не увлек верующей массы и, следовательно, прошел впустую. Так ли? Боюсь, что мы плохо представляем себе эффект каждого акта общественной порядочности. Лозунг ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ едва ли станет когда-нибудь массовым. Он способен захватить лишь избранных. О действительном влиянии «церковных катакомб» мне больше говорит тот факт, что один из детей, тайно крещенных в середине 30-х годов о. Серафимом, стал впоследствии выдающимся деятелем Церкви. Доныне он хранит в своем скромном приходе утерянные традиции доброты, благочестия и нетерпимости к компромиссам. И только ли он один?..

Но вернемся к событиям военного времени. Объявление войны — роковой час для нации, когда наиболее явственно обнажается личность ее вождя. День, когда японцы напали на американскую военно-морскую базу в Пирл-Харбор (7 декабря 1941 года), президент США Рузвельт провел в напряженной работе: он писал Послание, в котором просил конгресс объявить Японии войну. Настроенный изоляционистски и несколько даже благодушно, конгресс мог и не согласиться с мнением президента. От Рузвельта требовался документ огромной эмоциональной силы и доказательности. И он его составил. Через сутки Соединенные Штаты вступили в войну. Военно-морской министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль встретил объявление войны (1 сентября 1939 года) во всеоружии своего страстного и острокритического характера. В этот день он написал премьер-министру Невилю Чемберлену одно из своих наиболее едких писем с оценкой вновь назначенного военного кабинета: «Не слишком ли мы старая команда? — спрашивал Черчилль. — Я подсчитал, что общий возраст всей шестерки… составляет 386 лет, или в среднем более 64 лет. Им недостает года, чтобы выйти на пенсию по старости».

О том, как встретил известие о начале войны маршал Сталин, мы ничего почти не знаем. В эпоху разоблачения «культа личности» Майский и другие близкие к Кремлю историки сообщили, что в первые пять-шесть дней боев Сталина никто не видел. Он заперся у себя на даче, к нему не допускали. Говорят, он впал в состояние страха и прострации, так что понадобилась целая неделя, пока вождь народов смог вернуться к исполнению своих государственных обязанностей. Не станем гадать, о чем именно думал он в своей даче-крепости, окруженной сотнями до зубов вооруженных охранников. Но когда на десятый день войны, клацая зубами о край стакана с водой (звук этот, усиленный динамиками, слышала вся страна), вождь обратился к народу, то вместо твердого и решительного обращения, произнес нечто почти церковное: «Дорогие соотечественники! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои…» Откуда в устах Главнокомандующего самой большой армией мира эти священнические интонации?

Об отношении Сталина к религии существует много рассказов. Наиболее интересны два из них. Рассказывают, что незадолго до войны Сталин пригласил к себе бывшего своего учителя по Тифлисской семинарии. Старик явился в Кремль в галстуке и белой сорочке. «Нехорошо, — сказал Сталин, — монах, а в галстуке». Старик начал оправдываться: он побоялся прогневить вождя народов церковной одеждой. Попыхивая трубкой, Сталин резюмировал: «Значит, меня боишься, а ЕГО не боишься?» В этом иезуитском вопросе — весь жизненный опыт Сосо Джугашвили, политического циника, выросшего на семинарских харчах.

Другую сторону психологии вождя открывает размышление ныне здравствующего московского писателя, многолетнего узника сталинских лагерей. «Отношение Сталина к

Церкви напоминает отношение уголовника к зэку-профессору. Профессор, такой же оборванный и голодный, как все, сидит на нарах и канючит горбушку. Уголовник помыкает им, презирает его. Но в глубине души старый бандит таит все-таки почтительное опасение: «что если эта ученая падаль действительно знает что-то такое, о чем я и понятия не имею?»

Личность человеческая складывается рано. Семинарист Джугашвили без труда стал атеистом. Эпоха была такая. Позднее ему как политику не потребовалось много ума, чтобы понять, насколько опасна для большевиков вторая религия. Еще позднее, став единовластным правителем, он принялся убивать «попов» так же, как он убивал ученых или, к примеру, эсперантистов. В этом, по его разумению, состояла государственная мудрость. Но атеисту и прожженному политикану, ему так и не удалось до конца вытравить из своей души почтительный страх перед Церковью, перед Богом. В роковой момент он вылез, этот страшок, и заставил старого циника разговаривать языком тифлисского семинариста. Тут-то мы и услыхали: «Дорогие соотечественники! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои…»

У него и потом она нередко вырывалась, эта церковная тональность. Когда в августе 1942 года Черчилль, добравшись до Москвы, растолковал советскому вождю планы союзников по высадке десанта в Африке (так называемая операция «Торч»), Сталин в азарте воскликнул: «Да поможет Бог успеху этого предприятия!» Передавая этот эпизод, американский дипломат Р. Шервуд добавил: «Мне говорили, что для Сталина, который одно время учился в духовной семинарии, вовсе не было необычным взывать к помощи божества».

Так или иначе, сыграли ли главную роль подспудные чувства вождя, сработал ли жесткий политический расчет или просто нужда его приперла, — но война 1941 года стала временем, когда «великий марксист» пригрел и облагодетельствовал Русскую Православную Церковь. Она ответила ему столь же нежными чувствами. Сближение маршала с митрополитом Сергием произошло, однако, не враз. Роль активного начала в этих отношениях взяла на себя Церковь, хотя гонениями и была сведена почти к нулю. Надо отдать справедливость митрополиту Сергию: начало, войны его не испугало. В отличие от Сталина, он уж 22 июня знал, что надо делать в создавшейся обстановке. Изощренным чутьем своим ощутил: приходит время Церкви. Уже в послании, написанном в первый день германского нашествия. Патриарший Местоблюститель заявил: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа… Не оставит она народ свой и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг». И тут же, чтобы не вызвать подозрений Хозяина, Блаженнейший строго определил тот узкий, но важный участок, на котором только и намерена действовать Церковь.

Теперь, много лет спустя, видно, что участок, облюбованный Сергием, был не так-то уж и узок. В то время как топорная, работающая в два цвета советская пропаганда твердила о стальном единстве народа, о гранитной стене, о которую разобьется гитлеровское нашествие, Сергий, лучше понимающий человеческую природу, писал: «Нам, пастырям Церкви, в такое время… недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией». Иными словами, Церковь брала на себя заботу о душевном состоянии каждого советского человека, во всей сложности его бед и переживаний военного времени. Какой ведущий кровопролитную войну вождь мог бы отказаться от такого союзника? Но Сталин промолчал.

Психологически он еще не был готов к союзу с митрополитом.

Почти год длилось положение, подобное тому, которое большевики сформулировали в 1918 году в Бресте: «Ни войны, ни мира». Церковников больше не арестовывали, но и никакого благоволения власти им не оказывали. Приученный к терпению митрополит Сергий продолжал тем временем свою линию, доказывая вождю свою преданность и полезность. В октябре, когда немцы подступили к самой столице, он снова обратился к «православной и боголюбивой пастве московской» с призывом к победе и угрозами к тем, кто изменит Отечеству и православию. Эти два понятия как-то так хитро переплелись в послании Блаженнейшего, что получилось, как будто Советский Союз только тем и был занят все годы, что холил и лелеял православную веру своих граждан.

В третьем послании, помеченном II ноября, Сергий подбросил Сталину еще одну не менее привлекательную идею: «Прогрессивное человечество объявило Гитлеру священную войну за христианскую цивилизацию, за свободу совести и веры». Правды в этом утверждении не было, но Сергий знал: великому мифотворцу Сталину такая легенда придется по душе. И не ошибся. В свой черед — в начале 1943 года — наша пропаганда и этот тезис подхватила. Но в 1941-м Кремль все еще делал вид, что никакой Церкви в стране нет и Патриаршего Местоблюстителя — тоже.

И все-таки в косной массе государственного аппарата что-то едва приметно дернулось, двинулось! В сентябре — октябре перестали выходить все антирелигиозные издания. Так же неприметно, безо всякого объяснения, сгинул вдруг Союз воинствующих безбожников вместе со своим многомиллионным активом. В течение лета 1941 года несколько раз промелькнули на страницах советских газет опять-таки не совсем обычные заметки, относящиеся к зарубежной церкви. Почему-то вдруг настоятель Кентерберийский Хьюлет Джонсон прислал письмо писателю Александру Фадееву с пожеланием успехов Красной Армии в ее борьбе с немцами. Странное такое письмо, где даже цитата из Пушкина была, а о Боге, о Церкви — ни слова. Как будто не епископ писал Фадееву, а Фадеев епископу. Потом духовенство одного из англиканских приходов выразило советскому полпреду в Лондоне что-то любезное и беззубое. И опять можно было бы сказать, что дело тут вовсе не в Церкви, а в попытках Сталина наладить отношения с британскими военными союзниками. Но раньше такого не бывало.

Незадолго до нового, 1942 года о проблеме религии Сталину все-таки задуматься пришлось. О проблеме этой почти одновременно и довольно бесцеремонно напомнили ему друзья и враги — американцы и немцы. В 1939 году, заключив с Гитлером Договор о дружбе и взаимной помощи, Сталин развязал фюреру руки на Западе. Два года спокойно взирал он на то, как фашисты захватывали Бельгию и Голландию, как гибла в Дюнкерке английская армия, как гитлеровцы входили в Париж. Но осенью 1941-го, оставшись один на один с германской военной мощью, Сталин заметался в поисках военных союзников. Русская армия отступала. Требовалось время, чтобы перестроить промышленность на военные рельсы. Жизненно важно было получить военную помощь от Соединенных Штатов и Англии. Особенно от Штатов. Президент Рузвельт готов был эту помощь оказать, но в Америке многие еще помнили предательство Сталина по отношению к европейским демократиям, его массовый политический террор внутри страны и удушение Церкви. Президент США получил сотни писем от католических и православных приходов Америки, которые предостерегали его от помощи безбожной России. Столь же энергично выражали свой протест изоляционисты. Когда в августе 1941 года США и Англия подписали первый союзнический документ, так называемую Атлантическую хартию, американские изоляционисты резко критиковали ее за то, что

документ этот предусматривал защиту только трех свобод — и не принимал в расчет четвертой: свободы религии. Сторонники изоляционизма заявили, что Рузвельт и Черчилль капитулируют перед безбожной страной большевиков.

Рузвельт не скрыл от Сталина своих трудностей. В демократической стране власти не могут притворяться глухими, если большая группа населения выражает неудовольствие государственной политикой. Прибывший в Москву в конце сентября 1941 года личный представитель президента А. Гарриман сказал Сталину, что американская общественность обеспокоена судьбой Церкви в СССР. Сталин сделал вид, что вопросу этому серьезного значения не придает, но замечание Гарримана его насторожило. Не такие были у России тогда дела, чтобы плевать на общественное мнение Соединенных Штатов.

Американцы — люди дотошные. Не довольствуясь слухами, они решили дознаться о положении Церкви в России из первоисточников. Корреспондент агентства «Ассошиэйтед Пресс» Гилмор Эдди Лейнер в разгар войны добрался до Саратова и 24 декабря 1942 года получил интервью у архиепископа Саратовского Андрея. «Произошли ли перемены в положении Церкви с начала войны?» — осведомился корреспондент. «Никаких перемен не произошло, ответил архиепископ, — так как Церковь и до войны и после начала войны не была ограничена в своих действиях».

Корреспондент: «Полагаете ли Вы, что после победы над врагом отношения между Церковью и государством останутся такими же, как и теперь, или изменятся, станут лучше или хуже?»

Архиепископ: «Отношения Церкви и Советской власти и после победы останутся такими же — ведь и само духовенство говорит, что Советская власть никогда не преследовала его за религиозные убеждения, и оно не выступает против Советской власти, а потому никаких изменений не может быть».

Корреспондент передал своим соотечественникам полученную в СССР «информацию», но похоже, что в США интервью его мало кому показалось убедительным. Во всяком случае, Рузвельту пришлось серьезно поработать, прежде чем общественность его страны примирилась с новым политическим и военным союзником Штатов, не желающим разрешить своим гражданам элементарных религиозных свобод.

Вопрос этот снова всплыл в последних числах декабря 1941 года, когда президент составлял проект декларации «Объединившихся держав» (будущих Объединенных Наций). В Америке и Англии документу этому придавали большое значение. Каждый пункт обсуждался со всех сторон. Ближайший помощник Рузвельта Гарри Гопкинс написал президенту утром 27 декабря: «…Вы должны приложить все усилия, чтобы добиться включения в этот документ пункта о свободе религии. Я считаю, что Вам необходимо побеседовать по этому вопросу с Литвиновым в полдень».

Беседу Рузвельта с Литвиновым за обедом в Белом доме Р. Шервуд описывает следующим образом: «Рузвельт доказывал ему (Литвинову) важность включения в декларацию упоминания о свободе религии. Следует помнить, что неупоминание этого в Атлантической хартии вызвало серьезную критику этого документа… Литвинов считал, что его правительство, которому он уже передал по телеграфу декларацию, отрицательно отнесется к предложенному изменению. Он заявил, что Кремль может согласиться лишь с фразой «свобода совести», но Рузвельт заверил его, что это одно и то же, и просил сообщить об этом Кремлю. Он объяснил, что ему хотелось бы видеть в декларации слово «религия», потому что оно значилось в его часто провозглашавшихся четырех свободах. Он указал, что «традиционный джефферсоновский принцип свободы религии имеет

столь широко демократический характер, что включает право не придерживаться вовсе никакой религии…» Р. Шервуд закончил описание беседы в Белом доме следующими словами: «Я не знаю, каким образом Литвинову удалось сообщить об этом Сталину и Политбюро, но факт остается фактом, что слова «свобода религии» появились в окончательном тексте декларации».

Думаю, что Литвинову не пришлось уговаривать Сталина. Ведь уже в начале октября 1941 года Соединенные Штаты предоставили Советскому Союзу беспроцентный заем на сумму один миллиард долларов для закупки вооружения и сырья. А впереди предстояло получить по «ленд-лизу» еще десять миллиардов. Прагматик и циник из Кремля знал: в этом мире за все надо платить. В конце концов Берлин стоил обедни.

Но если американцы лишь деликатно намекали маршалу Сталину о непорядках в его доме, то немцы откровенно готовились обратить Церковь против Советов. У себя дома фюрер разорял католические храмы, арестовывал и даже расстреливал священников, но на захваченных землях России он по тактическим соображениям приказал религиозные чувства верующих не оскорблять. Сами гитлеровцы храмов не открывали, но когда в управы с такой просьбой обращались верующие, разрешения давались немедленно. В Харькове при областной управе оккупанты создали даже Комиссию по делам религии, в общем, довольно благосклонную к русскому православному духовенству; в Пскове действовала православная миссия, которая открывала церкви, печатала богослужебные книги, организовывала религиозное обучение детей. При всем том фашисты оставались фашистами; они арестовывали, пытали и убивали каждого, кого подозревали в сотрудничестве с партизанами или в шпионаже. Случалось, что жертвами их становились священники. Известны случаи, когда местные коменданты приказывали священникам возносить молитвы во славу фюрера и германского оружия. Но в целом «для пользы дела» гитлеровские власти на оккупированных территориях к Церкви благоволили.

На Украине в захваченных немцами областях число вновь открытых храмов исчислялось сотнями. Нашлись готовые служить священники, а вскоре обнаружились и архиереи. Епископ Поликарп Сикорский в западных районах Украины объявил себя главой Украинской автокефальной (не подчиняющейся Московской патриархии) Церкви. Группа прибалтийских архиереев во главе с митрополитом Литовским Сергием Воскресенским, ближайшим помощником Сергия старшего, в 1940 году приехавшим из Москвы, послала приветственную телеграмму Гитлеру. Епископы заявляли, что Сергий — заложник Советской власти, вынужденный служить ей только под угрозой.

Возникла серьезная опасность, что Гитлер сделает мученичество Русской Православной Церкви своим политическим козырем. То была сильная карта, особенно для общественного мнения нейтральных стран и для США. Почему немцы не довели свой план до конца, сказать трудно. Может быть, им вскружили голову их военные успехи, а может быть, в последний момент их смутила идеологическая сторона вопроса. Ведь в Уставе Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), как и Уставе ВКП(б), борьба с религией объявлялась обязательным делом партийца.

Так с двух сторон — из Европы и Америки — напирала на Сталина проблема российского православия. Напирала тогда, когда сам он совсем еще не готов был потакать церковникам и благодетельствовать верующим. Наиболее рискованной представлялась ситуация, возникшая на оккупированных землях. Когда в октябре 1941 года немцы подошли к окраинам Москвы и возникла реальная опасность падения столицы, в верхах НКВД сообразили, что глава православных митрополит Сергий может оказаться для гитлеровцев ценнейшим трофеем. По логике ЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ

в таких случаях предполагаемый «вражеский трофей» надо либо уничтожить, либо вывезти. Расстрелять было проще, но тогда могли поднять вой западные союзники. Решили вывозить. В НКВД срочно изготовили официальную бумагу — распоряжение Московского городского Совета депутатов трудящихся № 3/331 от 7 октября 1941 года, — в которой митрополиту Сергию и его Патриархии предписывалось покинуть Москву и направиться на жительство в город Чкалов (Оренбург).

Церковный писатель А. Э. Краснов-Левитин рассказывает, как на его глазах 14 октября осуществилась эта операция. Вагон, предназначенный для церковников, стоял на запасных путях Казанского вокзала. В середине дня к вагону подъехала легковая машина, в которой в сопровождении крупного чина НКВД находились глава так называемой Обновленческой Церкви Александр Введенский и его заместитель митрополит Виталий. Когда обновленцы забрались в вагон, то обнаружили, что там уже сидит несколько человек: руководство баптистской общины, а также одноглазый старик, старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Иринарх.

«Едва уселись на места там, — вспоминает А. Краснов, — в дверях суматоха — вынесли чьи-то вещи, почтительно открылись двери — в вагон вошел среднего роста старичок с седой окладистой бородой, в золотом пенсне, с подергивающимся нервным тиком лицом, одетый в рясу и монашескую скуфейку. «Какая встреча!» — бросился к нему Введенский. Улыбаясь, старичок, дружески с ним облобызался… Последний раз Введенский видел старичка в скуфейке девятнадцать лет назад, осенью 1922 года. А. И. Введенский был тогда молодым преуспевающим протоиереем — заместителем председателя ВЦУ, а старичок — членом ВЦУ, и на осенней сессии ВЦУ в 1922 году они сидели рядом. Теперь Введенский, уже немолодой и не преуспевающий, был Первоиерархом Обновленческой Церкви, вошедший же носил титул «Патриарший Местоблюститель Блаженнейший Сергий Митрополит Московский и Коломенский». Генерал МГБ улыбался снисходительно и иронически, братья-баптисты и старообрядческий архиерей, скромно потупившись, искоса наблюдали за лобызанием «друзей». Так началось это, не имеющее прецедента в истории Русской Церкви путешествие иерархов в глубь России». Путешествие, о котором Краснов рассказывает много интересных подробностей, завершилось не совсем так, как его планировали. В дороге Сергий разболелся. Сотрудники НКВД, не уверенные в том, что довезут своего подопечного живьем, снеслись с Москвой и получили разрешение изменить маршрут. Вагон повернул на Ульяновск. До города на Волге этот своеобразный ковчег добрался на шестые сутки. После чего, разделив между собой ульяновские храмы и сферы влияния, иерархи принялись устраиваться на новом месте. Устраиваться им пришлось прочно: «Ульяновский Авиньон» просуществовал два года, до осени 1943-го.

Митрополит Сергий не только публично отмежевался от митрополитов-перебежчиков, но устроил нечто вроде заочного суда над ними и опубликовал подписанное группой епископов обвинительное Определение. Специальными посланиями обращался он затем к христианам оккупированных областей и отдельно к православным Украины. Написал москвичам о героическом прошлом столицы и предрек Москве еще более героическое будущее. К годовщине войны Патриарший Местоблюститель объявил о сборе трех миллионов рублей и множества теплых вещей в подарок фронту. Всего за первый год пребывания в Ульяновске Сергий опубликовал десять Посланий и два Определения.

Сталин по-прежнему безмолвствовал. Без участия духовенства прошел Первый Всеславянский митинг в Москве (август 1941 г.) и Второй (март 1942 г.). Высшая власть

ни на поздравления, ни на приветствия Церкви не отвечала. Гневалась? Да нет. Просто проверяла. Шло испытание на степень преданности. Искренно ли многократно прибитая собака лижет руку своему хозяину или хитрит и того гляди, укусит? Проверкой, как всегда, занимались сотрудники НКВД.

Там Сергию давали задания, там выставляли баллы за исполнение. Блаженнейший стал включать в свои Послания факты, непосредственно подброшенные агентами разведки. «В Великом Новгороде, в храме Св. Софии, возглашал он 14 октября 1941 года, — на днях служил лютеранский пастор». Откуда бы вдруг такая свежая информация в разгар войны, когда немцы стоят в Химках? В другое Послание вкраплен чисто пропагандистский поворот мысли: «Что-нибудь одно — или свободное и мирное существование народов с их верой в Христа… или Гитлер с его фашизмом, мраком и насилием…» — заявляет Сергий, давая понять всем, кому это надлежит, что христианнейший Советский Союз и есть альтернатива фашизму.

А для тех, кому в таких тонкостях разбираться не под силу, Патриархия опять же в содружестве с вездесущим НКВД соорудила за считанные месяцы целую книгу: «Правда о религии в России». Том в 36 печатных листов со множеством иллюстраций, буквиц и рисунков был изготовлен в рекордный срок. Начатый не позже февраля, он был подписан к печати уже в июле 1942 года. Но главное «чудо» книги состояло не в темпах выпуска, не в цветных заставках, не в отличной бумаге и добротном переплете, а в ее содержании. Предназначалась «Правда» не для советского человека, хорошо знавшего положение вещей в стране, а для иностранцев, в первую очередь для общественности Америки и Англии. Задача состояла в том, чтобы успокоить союзников, сделать их более покладистыми и тороватыми на военные поставки в СССР. Для этого в книге приводились фотографии переполненных храмов, портреты епископов, священников, активных мирян. А рядом злодейства Гитлера против христиан, разбомбленные храмы, расстрелянные православные. В предисловии, процитировав известного царского митрополита Филарета («Церковь молится за государственную власть не в надежде на выгоду, а во исполнение своего долга, указанного волею Божией»), Сергий поясняет: «Такова и есть позиция нашей Патриаршей Русской Церкви в отличие от всяких отщепенцев и отщепенствующих за границей и дома». И далее в том же духе.

«…С полной объективностью надо заявить, что Конституция, гарантирующая полную свободу отправления религиозного культа, решительно ни в чем не стесняет религиозной жизни верующих и жизни Церкви вообще…» Правда, приходится признать: «За годы после Октябрьской революции в России бывали неоднократные процессы религиозников». Но, оказывается, судили этих церковных деятелей исключительно за то, что они, прикрываясь рясой и церковным знаменем, вели антисоветскую работу. «Это были политические процессы, отнюдь не имевшие ничего общего с чисто церковной жизнью религиозных организаций и чисто церковной работой отдельных священнослужителей… Нет, Церковь не может жаловаться на власть». Слова «самого» подхватывают люди поменьше, тональность, однако, сохраняется та же: «Наша Церковь свободна» (протоиерей Сергий Воздвиженский), «Мы свободно исповедуем свою веру в Господа Иисуса Христа» (протоиерей Владимир Тростин). И картинки в книге под стать тексту: церковь в селе Дьяково изображена как действующая, а ее закрыли задолго до войны. В другом месте показана открытой так же давно закрытая церковь в Торжке. В третьем месте читателю показывают развалины храма в Чашникове под Москвой, а храм в Чашникове никто не взрывал, он и поныне стоит невредим. И даже служба там идет. Много других «забавностей» можно обнаружить в этой книге. Чего стоит, например,

«осведомленность» протоиерея Сергия Даева, который подробнейшим образом излагает читателю события церковной жизни Бельгии, Голландии, Франции, Норвегии и даже самой Германии. И все это весной 1942 года, сидя в Ульяновске.

Мне не удалось дознаться, какое именно впечатление произвела «Правда о религии в России» на православное духовенство во время войны. Большинство священников, надо полагать, никогда не держали эту книгу в руках: тираж ее пошел за границу. Из тех же, кто читал, многие, вероятно, склонны были повторить слова епископа Луки Войно-Ясенецкого: «Вот за эту правду я и пошел в ссылку».

Первый после Октябрьской революции знак официального государственного благоволения к Православной Церкви был явлен на Пасху 1942 года. Город лежал в абсолютном и обязательном затемнении. Военные патрули следили, чтобы после девяти вечера никто из гражданских лиц на улицах не появлялся. И вдруг на рассвете 5 апреля по радио — слушайте, слушайте! — распоряжение коменданта Москвы: разрешается беспрепятственное движение по городу на всю пасхальную ночь «согласно традиции». Толпы народа повалили к заутрене, кто и не ходил никогда — пошел. Еще бы, такой случай!

В том же апреле еще одна «нечаянная радость». Нарком иностранных дел СССР Молотов опубликовал ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах…». И снова впервые (теперь это слово будет встречаться в нашем рассказе часто), впервые в советском официальном документе прозвучали слова: «Гитлеровские оккупанты не щадят религиозных чувств верующей части советского населения». Давно ли Емельян Ярославский с радостью сообщал широкой публике, что вот, мол, целые города появились в Советском Союзе, где ни одной церкви, ни одного священника нет; что «по крайней мере: половина населения полностью или частично порвала с религией». Глава безбожников призывал быстрее открыть глаза оставшейся «темной массе». А тут вдруг — беспокойство о религиозных чувствах этой самой массы. Не странно ли?

Но странности только начинались. Закон об отделении Церкви от государства никто, правда, не отменял, но законы у нас, как известно, сами по себе, а распоряжения сами по себе. Распоряжения же из Кремля следовали такие, будто никакого закона не было. В ноябре Указом Президиума Верховного Совета СССР образована была Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. И в Комиссии той рядом со Ждановым и Шверником, рядом с писателем А. Толстым и академиками Тарле, Лысенко и Бурденко нашлось место Николаю — митрополиту Киевскому и Галицкому, правой руке Блаженнейшего Сергия по церковно-государственным контактам. Назначили его туда неспроста. Ибо среди прочего надлежало Комиссии учесть ущерб, который причинен Советскому государству от «разрушения музеев, библиотек, театров и других культурных учреждений, а также зданий, оборудования и утвари религиозных культов». И утварь, и оборудование церковное, и здания храмовые — все то, что советские власти двадцать пять лет разрушали, взрывали, губили как могли, теперь превратились в государственную ценность, за которую предстояло взыскать… С кого же? Да с германских фашистов. Вот к этому-то делу государственному и был приспособлен митрополит отделенной от государства Русской Православной Церкви Николай Ярошевич.

Отношения Сталина и Сергия между тем приближались к своему апогею. В 43-м году уже не понукания американцев и не опасения перед немецкой пропагандой заставляют вождя поддерживать сердечные отношения с Патриархией. Официальная пропаганда

взяла на вооружение не только «тени великих предков», о которых митрополит Сергий писал в своем первом Послании, но, что важнее, два принципиальных церковных тезиса: об извечной ненависти немцев к славянским народам и об особой мессианской роли Москвы, о Руси — источнике единственного верного пути жизни. С помощью мессианства интернационального пытался изменить мир Владимир Ленин. Но Иосиф Сталин вернул русскому мессианству его первоначальный национальный характер. Ту мыслишку в начале шестнадцатого века подбросил московским царям монах Псковского монастыря Филофей. Царю Василию III пришлась она по душе. Вслед за Филофеем сформулировал он для всех своих продолжателей основную идею русской самодержавной власти: «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Триста лет спустя, слегка заплесневелый, но все еще привлекательный плод, взращенный псковским монахом и московским монархом, понравился и Сталину. В конце войны, ощутив себя без пяти минут самодержцем всея Руси, вождь проникся мессианским духом. Это еще более расположило его к Церкви. Царь без Церкви — какой же это царь? Так оно и тянулось одно за другим: Самодержавие за Православием, а Православие за русской (и только русской) Народностью. Церкви в этой триаде почетнейшее место было уготовано: оправдывать и благословлять далеко идущие международные и внутригосударственные претензии монарха.

О том же, как Церковь будет жить в безрелигиозном государстве, как станет «стыковаться» с другими, прежде сосуществовавшими ведомствами, вождь не слишком заботился, детали его не интересовали. Когда чиновник ЦК Поликарпов, назначенный секретарем Союза писателей, пожаловался однажды, что писатели склочничают, ненавидят, подсиживают друг друга, Сталин, как всегда немногословный, сказал ему: «Иди, Поликарпов, руководи, у меня для тебя других писателей нет». Каждый отдельный писатель, ученый вождя действительно не интересовал. Но для его целей, для его престижа нужен был Союз писателей, необходима была Академия наук. Точно так же и в Церкви не было для Сталина прихожан, священников, толп, стекающихся на молитву. Но была Патриархия, учреждение, ведающее престижем власти. И все. А что касается устроения, так там, где есть ВЦСПС, не представляющий интересов рабочих, где есть Союз писателей, не имеющий никакого отношения к творчеству, где существует пресса, равнодушная к новостям, — найдется местечко и для Церкви, не причастной к вере.

Требовалась, однако, еще одна, какая-то последняя акция, которая окончательно закрепила бы союз первого большевика страны с Местоблюстителем Патриаршего престола. От Церкви ждали еще одного знака верности, чего-то такого, что вызвало бы международный эффект, шум в газетах и потрясение российских сердец. И Патриархия придумала, 30 декабря 1942 года митрополит Сергий из своего ульяновского далека объявил о начале сбора средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Деньги на танки предстояло собрать среди пастырей и пасомых. Пять дней спустя в новогодней телеграмме вождю митрополит сообщал:

«Нашим особым посланием приглашаю духовенство, верующих пожертвовать на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. Для начала Патриархия вносит сто тысяч рублей, Елоховский кафедральный собор в Москве — триста тысяч, настоятель собора Колчицкий Николай Федорович — сто тысяч. Просим в Госбанке открыть специальный счет. Да завершится победой над темными силами фашизма общенародный подвиг, Вами возглавляемый». В том же номере газеты «Правда» Сталин впервые публично обнаружил свое знакомство с главой Церкви. Его ответ гласил:

«Ульяновск.

Патриаршему Местоблюстителю Сергию,

Митрополиту Московскому.

Прошу передать православному русскому духовенству и верующим мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано.

***Сталин*». «Церковная весна» начала набирать силу. За два неполных месяца духовенство и верующие страны собрали на танковую колонну шесть миллионов рублей. В конце февраля вождь второй раз ответил главе православных благодарственной телеграммой. Вслед за тем правительство открыло доступ к весьма почитаемой иконе Иверской Божьей Матери. Икону перевезли из закрытой Иверской часовни на поклонение в Воскресенскую церковь в Сокольниках. А в мае на Третьем Всеславянском митинге в Москве (фотографии во всех газетах) в президиуме появился профессорского вида блондин в клобуке — все тот же митрополит Киевский и Галицкий Николай. Впервые за четверть века газеты опубликовали речь церковника.**

Газеты между тем действительно сообщали много нового и неожиданного. 1 января 1943 года введены погоны. Для офицеров и генералов — золотые. 17 января — новые мундиры для всей армии. 5 сентября — мундиры объявлены для чиновников железнодорожного ведомства, 25-го — для юристов. 9 октября — для дипломатической службы. Люди старшего поколения вспомнили о давно забытом: двенадцать разрядов статских и военных чинов. Не к тому ли идет? Другим пришла на память старая гимназия: на улицах появились школьники в форменных кителях и школьницы в одинаковых коричневых платьях. 1 сентября 1943 года, как известила пресса, началось раздельное обучение мальчиков и девочек. На год раньше был возвращен к жизни некогда прославленный орден Александра Невского. По вечерам — еще одна дань ушедшей эпохе — артиллерийские салюты. К пушечному гулу добавился вскоре другой, тоже изрядно забытый в России звук. 8 сентября малиновый колокольный звон оповестил жителей столицы об избрании Патриарха всея Руси. Распустив паруса, полоща флагами, корабль российский плавно и величественно входил в свое историческое вчера.

На фоне этого непрерывного торжественного шума уже не удивила газетная заметка о том, что товарищ Сталин принял в Кремле трех митрополитов Русской Православной Церкви. Между тем встреча в Кремле 4 сентября 1943 года, несомненно, относится к событиям подлинно историческим. Не так-то часто глава партии, которая предписывает своим членам «вести решительную борьбу… с религиозными предрассудками», встречается с главой Церкви для дружеского разговора.

Митрополита Сергия привезли из Ульяновска в Москву дня за два до встречи. Одновременно из Ленинграда вызвали митрополита Алексия, второе лицо в церковной иерархии. Третьим был Николай, митрополит Киевский, всю войну заменявший Сергия в Москве. К властям наиболее близок из этой тройки был Николай, но похоже, что и он не знал о предстоящем визите к вождю. Им позвонили ночью. Говорят, что Местоблюститель растерялся, начал лепетать по телефону что-то о трудностях передвижения по Москве: «Ведь трамвая уже не ходят…» Трамвай не понадобился. Всех троих доставили на прием кремлевские машины. К полуночи иерархов принял Молотов. Сталин был еще занят — слушал донесения с фронтов. Часа в два ночи (любимые рабочие часы вождя) Сталин, Молотов и митрополиты заняли, наконец, места вокруг богато сервированного стола. Началась беседа. Все, кому приходилось вести переговоры со Сталиным, когда он находился в хорошем настроении, рассказывают о нем как о человеке редкого обаяния. Очевидно, именно этой стороной своей обернулся он к трем

иерархам в ночь с 4 на 5 сентября. Сказал, что Советское правительство высоко ценит общественные усилия Церкви в настоящей войне, а также труды каждого из присутствующих по сбору пожертвований на нужды Красной Армии. Радушно разведя ладони, спросил: «Что теперь мы можем сделать для вас? Просите, предлагайте». И, не дожидаясь ответа, сам сделал первое предложение: «У вас плохо с кадрами, нужно готовить новые кадры».

С «кадрами», то есть со священниками, положение было не просто плохое, а катастрофическое. Хотя в июле 1941 года, стремясь расположить к себе британского союзника, советское посольство в Лондоне и заявило, что в церквах СССР служат пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок два священнослужителя, но это было абсолютно недостоверно. Число оставшихся на свободе священников не превышало нескольких сотен. Да и то после лагерей и тюрем большая часть из них не желала или не была способна служить в церквах. «Может быть, открыть какие-нибудь курсы для священнослужителей…», — неуверенно заговорили митрополиты, не зная, куда клонит вождь. Но бывший семинарист уже вошел в роль римского императора Константина. «Какие там курсы! Академии духовные вам необходимы, семинарии нужны. К этому делу надо приучать с малолетства».

Митрополиты оживились. Но вот беда, ведь и епископов нехватка. Их тоже надо готовить, но где? Ведь епископы — монахи. Нельзя ли разрешить при Патриархии домик завести, где будущие епископы смогли бы проходить монашеский искус?.. Сталин: «Зачем же домик, мы для этого монастырь подыщем». Заговорили об отсутствии богослужебных книг. Митрополит Николай заметил, что не худо бы издавать Календарь, а в качестве приложения к нему печатать богослужебные тексты. И снова, как исконно хлебосольный хозяин, Сталин, широко разведя руками, заявил, что Календарь церковный, конечно, издавать можно, но Календарь — пустяк. Патриархии надо наладить широкую издательскую деятельность, обмениваться изданиями с зарубежными церквами. И прежде всего прямо в ближайшие дни надо выпустить первый номер «Журнала Московской Патриархии». Вождь даже укорил митрополитов за узость планов, за отсутствие настоящего размаха. «Вам надо создать свой Ватикан, чтобы там и Академия, и библиотека, и типография помещались, и все другие учреждения, необходимые такой крупной и значительной Патриархии, какой является Патриархия Московская».

Осмелевши, митрополиты попросили у Сталина еще одной милости: «Нет у нас Патриарха. Надо бы избрать, да не знаем, удобно ли?» «Это ваше внутрицерковное дело», — успокоил их вождь. «Но как собрать епископов на Поместный Собор? Ведь война идет, пропуска… с железнодорожными билетами трудности…» — «Вячеслав Михайлович, распорядитесь о поездах и самолетах для доставки епископов. Когда Собор?» Избрать Патриарха решили, не откладывая, и журнал выпускать сейчас же. О том, кого выбирать в Патриархи, даже говорить не стали. И так было понятно. В глазах Сталина более подходящей фигуры, чем митрополит Сергий, никого не было.

Была, однако, в той сердечной беседе одна минута, когда угощения кремлевские показались митрополитам горьковатыми, пахнуло на них вдруг сырым холодом лагерных бараков да запахом параши камерной. Это случилось, когда, не переставая любезно улыбаться, Сталин сказал, что, поскольку людям Церкви неудобно по своим делам ходить в правительство, а лицам правительственного аппарата неудобно сноситься непосредственно с Патриархией, следует создать пограничный, так сказать, орган — Совет по делам Русской Православной Церкви. «А во главе Совета поставим товарища

Карпова, — сказал вождь и с интересом посмотрел в лица стариков в рясах. Знаете товарища Карпова?» Да, они его знали, слишком хорошо знали. Георгий Григорьевич Карпов был начальником как раз того отдела НКВД, который арестовывал и расстреливал церковную братию. Это он ссылал священнослужителей без суда и закрывал храмы, не интересуясь мнением прихожан. Это от его руки обезлюдела и захирела Православная Церковь. Теперь этого Малюту опять сажают на шею Патриархии… Митрополиты испуганно молчали. Наконец Сергий нашел в себе силы промолвить: «Богопоставленный вождь, но ведь он, Карпов, из гонителей наших…» «Правильно, — явно довольный произведенным эффектом, ответил Сталин, — партия приказывала товарищу Карпову быть гонителем, он исполнял волю партии. А теперь мы ему поручим стать вашим охранителем. Я знаю Карпова, он исполнительный товарищ. Ну, стало быть, согласны, чтобы Карпов стоял во главе Совета?» Удерживая вздох, митрополиты закивали головами. Но то была лишь одна, маленькая, совсем крохотная заминка. В остальном же встреча оставила у иерархов самые радостные, если не сказать, светлые, воспоминания. Так по крайней мере митрополит Алексий, впоследствии Патриарх, рассказывал близкому своему человеку Анатолию Васильевичу Ведерникову. А Ведерников после смерти Алексия автору этих строк.

Иерархи разъезжались из Кремля взволнованные, восхищенные сердечностью и умом своего великого собеседника. Над Москвой светало. Занималась заря 5 сентября 1943 года. Грузовики развозили кипы пахнущих типографской краской газет. На первой полосе «Правды» и «Известий» было помещено еще с вечера согласованное и набранное сообщение: «Четвертого сентября у Председателя Совета Народных Комиссаров тов. И. В. Сталина состоялся прием, во время которого имела место беседа с Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Сергием, Ленинградским Митрополитом Алексием и Экзархом Украины Киевским и Галицким Митрополитом Николаем.

Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной Церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Священного Синода. Глава Правительства тов. И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий…»

Четыре дня спустя (читайте газеты!) советские граждане узнали, что собравшийся в Москве Собор епископов Православной Церкви единодушно избрал митрополита Сергия Старогородского Патриархом всея Руси. Так же единогласно Собор принял обращение к Правительству СССР с благодарностью за внимание к нуждам Православной Церкви. И наконец, без лишних споров тот же Собор избрал Священный Синод из шести человек. Членом Синода был избран и Архиепископ Красноярский Лука.

«Я видел рабскую Россию;
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склоняя выю,
Она молилась за царя».

Кондратий Рылеев. 1824 г. То восторженное состояние духа, с которым три главы русского православия покинули Кремль, как круги по воде от брошенного в воду камня, передавалось по России все дальше и дальше, возбуждая надежду верующих и клириков. В переполненных церквах и около церквей говорили о победе митрополита Сергия, о торжестве православия над духом неверия. Лука оказался среди самых восторженных. Из письма, написанного в Москве во время выборов и интронизации Патриарха, видно, что

он совершенно захвачен происходящим.

«Две мои статьи переданы Всеславянским комитетом по радио в «Нью-Йорк Тайме». Во время заседания Собора для выбора Патриарха и вчера во время торжественного богослужения нас без конца фотографировали, были члены дипломатического корпуса. Я состою членом Синода, и сегодня было первое заседание… В Чрезвычайной государственной комиссии зашел разговор обо мне, и акад. Тарле сказал, что московские хирурги считают меня крупнейшим хирургом СССР. На Соборе я тоже был на первом месте после двух митрополитов». Луке хочется, чтобы дети поняли его чувства, ему не терпится услышать, что они тоже рады переменам в Церкви и его, Луки, новому положению. Средний сын, Алексей, живущий в Москве, очевидно, воздал отцу должный почет. Но старший, Михаил, отмалчивался. Луку это раздражало: «Ты ни слова не пишешь мне по поводу телеграммы Всеславянского Комитета. Может быть, не получил моего письма об этом?.. Я написал еще одну блестящую статью (которая привела в восторг Алешу) на тему «Бог благословляет справедливую войну против германских фашистов». Она тоже передана в «Нью-Йорк Тайме». Пришел ко мне интервьюер от Союза антифашистских ученых, подробно записал мою биографию и сказал, что она будет напечатана в заграничных газетах».

Телеграмма, о которой с таким энтузиазмом толкует Лука, пришла в Красноярск еще в августе. Всеславянский комитет, одна из многочисленных действовавших в СССР пропагандистских, псевдообщественных организаций, просил профессора-епископа рассказать заграничному читателю о своей научной и церковной деятельности. Таких апологетических статей московские пропагандисты отправляли за рубеж великое множество. Написанные известными писателями, артистами, статейки эти должны были, по идее, размягчать души европейцев и американцев, помогать Сталину добиваться своих целей на Западе. Для пропагандистов 1943 года профессор-архиерей — фигура до крайности ценная… Содержанием статья его тоже вполне удовлетворяла заказчиков. Рассказав о своей работе хирурга, о научных докладах и о недавно завершенной книге, ссыльный профессор (от ссылки его освободили лишь месяц спустя, перед самым выездом на Собор епископов) произнес подлинный панегирик Советской власти. Была там и «буря Великой Революции, все перевернувшая в стране нашей — и былую социальную неправду заменившая великими принципами всеобщего равенства и коммунизма», и Церковь, которая нынешними страданиями искупает «исторический грех своего участия в подавлении политической свободы народа и личные грехи отдельных представителей духовенства».

Передав в этих довольно туманных выражениях историю церковно-государственного конфликта в СССР, Лука в столь же благостных словах попытался представить Западу современное положение церковных дел.

«В многолетней революционной борьбе, в великом всенародном порыве к строительству государственной, общественной и экономической жизни, на новых беспримерных в истории основаниях, неизбежно должна была ослабеть религиозность народов СССР. И это случилось. В напряженном строительстве царства земного померк свет Царства Небесного во многих душах. Но это, конечно, не всегда и не для всех. Не может погаснуть свет Христов, не может прекратить свое существование Церковь христианская… С такими мыслями и задачами я принял относительно недавно назначение на Красноярскую кафедру. Самое важное мы имеем: полную свободу проповеди Евангелия, чистой Христовой истины, совершения таинств и богослужений». Что касается перспектив, то Архиепископ Красноярский и тут полон оптимизма. «В

Великой Революции, в социализме и коммунизме народы СССР познали новые принципы нравственности, основанной на долге перед родиной и государством, на товариществе в работе и жизни, во взаимном уважении… Безмерно велико совершенное революцией уничтожение экономических основ зла общественного и зла индивидуального. Но столь же велика задача искоренения источников зла в сердце человеческом, которую исполняет Церковь Христова по завету Своего Учителя и Главы. Проповедь любви и братства должна стать великим дополнением проповеди долга и товарищества».

Я цитирую статью Владыки по машинописной копии, сохранившейся в его архиве. Внешние редакторы ее не терзали. А внутренние? Нет, искренность моего героя вне сомнения. Он так и думал. Так понимал происходящее. Сибирские ссылки? Ташкентский «конвейер»? Но Лука считает личные обиды и страдания других священников и архиереев незначащей деталью по сравнению с тем, что совершилось, по сравнению с тем, что Церковь снова в зените. Блаженны умеющие забывать то, что уже нельзя исправить.

Я вынужден напомнить: в своих надеждах Лука был не одинок. Стремление улучшать, облагораживать советскую действительность — давний и весьма распространенный соблазн русской образованной публики. Один из «проектов» улучшения в том как раз и состоял, чтобы дополнить социализм христианством, чтобы с помощью узаконенной веры как-то облагородить коллективизацию, индустриализацию, массовые чистки и даже самое истребление Церкви. Наиболее пикантное в этих попытках состояло в том, что творцы проектов со своими предложениями обращались прямо в ЦК, в Правительство СССР, к Сталину! Рука не поднимается укорить этих героев и мучеников 20-х и 30-х годов в наивности, а тем более в глупости. Все задним умом крепки. Тот, кто хотел увидеть социалистическую Россию вместе с тем христианской, слишком дорого заплатил за свою мечту. И, может быть, дороже других талантливый и образованный Андрей Ухтомский «Коммунист, но не безбожник, христианин с продуманным и выстраданным мировоззрением» (по его собственным словам), архиепископ Андрей побывал и в Бутырках, и в Ярославском политическом изоляторе. И тем не менее в мае 1933 года, находясь в третьей по счету ссылке в Алма-Ате, он обратился к Председателю Совнаркома СССР Молотову со следующим письмом:

«Гражданин Молотов… Советская власть сделает великое и полезное для себя дело, если позволит организоваться честным христианским Советам, то есть Советам христианских общин. Поверьте, что эти христианские общины, тесно организованные, даже в колхозах были бы полезнее того сброда людей, которые ныне и явно и тайно и днем и ночью только вредят делу… Ныне… на родине научного социализма (в Германии. — М. П.) по распоряжению начальства жгут сочинения Маркса и Энгельса. Я серьезно прочитал многие сочинения Маркса и Энгельса, и Каутского, и Ленина, и Плеханова. И многому у них научился. Поэтому могу сказать, что в ответ на дикую немецкую выходку русские социалисты должны ответить нравственным оправданием социализма. Это нравственное оправдание социализма может дать Собор честных христиан… Вы как Председатель Совнаркома имеете полную возможность поставить этот вопрос о Соборе на почву практического осуществления… Коммунизм имеет крупный недостаток — отсутствие нравственного оправдания, он силен только грехами плутократии, которыми искусно пользуется. И этот крупный недостаток должен быть восполнен. Вы сделаете огромный подвиг, если сделаете это». Архиепископ Андрей (Ухтомский) погиб, так и не добившись христианизации сталинского государства. Идея его оказалась более живучей. Десять лет спустя после письма епископа Андрея Молотову Лука Войно-Ясенецкий снова

прекраснодушно надеется дополнить Советскую власть идеями братства и любви. Скорей всего Лука не знал о письме Андрея. Но, если бы и знал, это едва ли изменило бы его позицию. Соблазны не только живучи, но и въедливы. Не знал Епископ Красноярский и другого: в 1943 году пора соблазнов для него только начиналась…

Зато вчерашний митрополит Сергий хорошо знал, ради чего он облачен в одежды Патриарха. В первый же день своего полновластия он предложил семнадцати избравшим его епископам подписать еще один документ: церковное проклятие тем русским людям, которые «встречают немцев как желанных гостей, устраиваются к ним на службу и иногда доходят до прямого предательства…». Епископы охотно приложили руку к новому документу. Газета «Известия» известила о нем подзаголовком «Осуждение изменников вере и отечеству». Теперь уже ни у кого нет сомнения: православная вера и советское отечество окончательно слились воедино. «Всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлученным».

Современники оценили этот документ как верх патриотизма, как свидетельство того, что Церковь не оставила народ российский в дни великой войны.

Но так уж устроено в этом мире: даже в самых хитро составленных исторических документах время высвечивает, проявляет подлинную сущность. Предкам ничего или почти ничего не удается скрыть от потомков о своих предательствах и злодеяниях. Подшивки старых газет, официальные указы, приказы и постановления неизменно превращаются с годами в обвинительные акты против породившей их эпохи.

Всего два года с небольшим пройдет после торжественного Собора епископов, и подозрение в предательстве, в сношениях с фашистами падет на целые народы, на миллионы людей, оставшихся на захваченной врагом территории. Не разбираясь в личных обстоятельствах, но зато прислушиваясь к любому навету, власти станут хватать, судить бессудным судом «троек» и высылать невинных людей целыми эшелонами. Два десятилетия будут потом оставаться все эти миллионы на положении граждан второго сорта. Пометка «из оккупированных» закроет им путь к образованию, к продвижению по службе. А для иных пометка эта обернется годами тюрьмы, лагерей. Сталинский аппарат насилия будет действовать при этом, меньше всего, конечно, памятуя церковное проклятие «изменникам», которое провозгласили семнадцать епископов. Но теперь мы знаем: епископы тоже приложили руку к массовым репрессиям. И среди них Лука Красноярский.

Не по исторической случайности, не по недоразумению, но вполне закономерно это произошло. Ибо, смешав дела церковные с государственными (кто по расчету, а кто по наивности и политическому недоумию), превратили себя епископы в чиновников государевых. А уж дальше пошло-поехало само собой. Чиновник — он себе не хозяин, он и с добрыми-то намерениями что ни день зло творит. А если у него при этом еще и личный интерес есть, то и вообще — берегись округа. Сталин приказал Патриархии пугнуть своих подданных, пребывающих на занятой немцами территории, — епископы пугнули. И не подумали даже, во что сей «испуг» обойдется народу. Ибо чиновник есть чиновник — в мундире, рясе ли — безразлично, и единственное назначение его — не рассуждать и выполнять.

А Лука? Ведь он-то не искал личных выгод? Не искал. Его и поймали на другом. Двадцать лет кряду силен был профессор-епископ единым принципом: «Что хорошо для Церкви, то хорошо и для меня». Во имя этой идеи — хоть на смерть. И вот она взошла из-за горизонта, как солнце утреннее, — его Церковь, взошла и ослепила. Не увидел, а ведь

умом не обделен был, что от идеала-то его только название осталось. Имя, а не суть. А между тем как раз с высшего торжества Церкви, с Собора, с Избрания Патриарха начиная, стала расти и шириться научная и архиерейская слава Луки. В душе Войно эти два обстоятельства сплелись так тесно, что бесповоротно уверовал он: началась эпоха справедливости, власть, возлюбившая Церковь, и его награждает за подлинные его научные заслуги и праведную жизнь. А коли так, то всеми силами надо послужить этой власти, стране, Сталину.

То была аберрация, политические жесты вождя вызвали у Луки Войно-Ясенецкого некое искривление зеркала жизни. Из-за этого порока не мог он разобраться в простой механике сталинского режима: вождь никому не воздавал по труду и таланту, гении и бездарности равно получали от него плату только за личную преданность, только за пользу, приносимую его личной власти. Талантливый хирург Войно-Ясенецкий интересовал Сталина не больше прошлогоднего снега, но профессор-епископ — фигура, которую легко можно приспособить для политических целей («Что вы там говорите о несвободе религии в СССР?») — это уже товар, такого надо приласкать.

Хочу оговориться: безраздельное слияние самых затаенных внутренних идеалов с идеалами государственными произошло в душе Войно не враз, не в один день. В 1941 году в Красноярске, зайдя в комнату хирурга-консультанта, доктор В. А. Клюге заметил на стене, рядом с изображением Божьей Матери, небольшой портрет Ленина. Это странное соседство заставило Клюге задать Луке резонный вопрос:

— Вы считаете Ленина гениальным?

— Да, — ответил Лука.

— Но ведь Ленин отрицал религию. Как вы совмещаете эти факты?

— Они, большевики, даже он, не способны были понять смысл религии. Так дальтоник не различает цвета. Их следует пожалеть за это.

Продолжая разговор, Лука указал на книгу, лежащую на столе: Емельян Ярославский. «Коммунизм и религия».

— Вот, изучаю противника. Впрочем, что его изучать, — не знает он Писания. Ничего не знает. — И вдруг горячо, как о самом сокровенном: — Как они не понимают, что религия, как ни одно другое учение, поднимает человека в нравственном отношении? Чем заменить ее? Нечем! Пока, кроме разрушения нравственного облика человека, мы ничего вокруг себя не видим…

Вскоре, однако, портрет дальтоника Ленина со стены исчез. Зато сотрудница госпиталя 1515 К. Н. Попова (Спиридович) увидела в комнате хирурга-консультанта два портрета Сталина. Один маленький — на столе, второй, побольше, — в углу. Между эпизодом, который описывает доктор Клюге, и фактом, засвидетельствованным Спиридович, прошло два года. Отчего же изменились за это время вкусы архиепископа Луки? Осенью 1942 года митрополит Сергий прислал ему первое за многие годы письмо, и началась их длившаяся почти год переписка. Мне не удалось познакомиться с этими письмами: в Патриархии выдать их отказались. Но несколько слов самого Войно-Ясенецкого дают представление о том, кто кого и чему в тех письмах поучал.

«В 1942 году имел я с ним (Сергием) большую переписку по основным вопросам современной жизни, и его письма часто удивляли меня глубиной и верностью понимания сущности христианства, знанием Священного Писания и истории Церкви. Некоторые из них даже можно назвать небольшими богословскими трактатами. Не во всем он соглашался со мной, и часто я должен был признать его большую правоту». Нетрудно догадаться, что поборник компромиссов убеждал в своих письмах «непокорного» Луку в

том, что надо смириться, надо наладить отношения с властью на любых условиях. Митрополиту, который в 1942 году в своей почетной ульяновской ссылке еще не знал, чем кончится его торг со Сталиным, такие люди, как Войно-Ясенецкий, были необходимы. И надо полагать, он вложил всю свою эрудицию, применил все присущее ему дипломатическое мастерство, чтобы обаять Луку, поразить его воображение примерами благодетельной «икономии» в прошлые времена. «Воспитание по почте» не прошло бесследно. Войно проникся глубоким почтением к Сергию, признал его «большую правоту», а позднее ради пользы и процветания Православной Церкви стал вернейшим сподвижником Патриарха и верноподданным сталинской империи.

Окончание ссылки, новое, возникшее после Собора общественное положение позволили Епископу Красноярскому начать хлопоты о переводе из Сибири. Южанин, он давно уже тосковал по теплу, солнцу, фруктам. Но в Среднюю Азию возвращаться не хотел. Теперь Ташкент представлялся ему хирургической и церковной глушью. Но прежде чем вырваться на Запад, пришлось выдержать «сражение» с красноярцами. Должностные лица ни за что не хотели расставаться с Лукой: он стал своеобразной местной достопримечательностью. Осенью 1943 года ему стараются угодить и гражданские и военные власти. В списке лучших врачей края фамилия Войно-Ясенецкого стоит на первом месте. О еще большем расположении местного начальства свидетельствует «Список научных работников, получающих дополнительное снабжение через горторготдел». Двадцатым в списке осчастливленных стоит Лука. Впрочем, не станем иронизировать: блага горторготдела, а по существу, закрытого распределителя, могли получать во время войны только лица, действительно приближенные к власти. Прикрепление к горторгу означало в те времена значительно больше, чем орден или ученое звание. Благоволили к хирургу не только краевые тузы, но и рядовые пациенты. С полным правом Лука мог писать в своих мемуарах: «Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения больших суставов, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами». И все-таки он решил перебираться поближе к столице.

Заявления поданы. Лука ждет. «Нарком Третьяков исключительно хорошо отнесся ко мне. Очень вероятно, что скоро переведут меня в Москву или в Горький», — сообщает он сыну. И через несколько дней снова: «Проф. Приоров говорил, что вполне возможно открытие для меня в Горьком филиала ВИЭМ». Проблема перевода несколько месяцев согласовывается между Патриархией и Наркомздравом. Наконец обе стороны договорились: «Намерены перевести Вас в Тамбов, — протелеграфировал нарком Третьяков, — широкое поле деятельности в госпиталях и крупной больнице». Одновременно Патриарх Сергий специальным Указом назначает Луку Архиепископом Тамбовским и Мичуринским.

Переезд состоялся в феврале 1944 года. «Город недурной, почти полностью сохранивший вид старого губернского города, — писал Лука сыну. Встретили меня здесь очень хорошо, мои операции производят большую сенсацию. По просьбе Президиума (очевидно, Президиума Хирургического общества. — М. П.) я сделал доклад об остеомиелите на окружной конференции Орловского военного округа. Выступал и заседал на президиуме в рясе, с крестом и панагией».

Но если дела медицинские в Тамбове сразу пошли хорошо, то церковные сначала не ладились. В Тамбовской епархии, где до революции числилось сто десять приходов, осталось теперь две церкви. Тамбовский храм, долгие годы содержавший под своей

кровлей рабочее общежитие, доведен был до последней степени запустения. Обитатели его, стихийные атеисты, раскололи иконы, сломали и выбросили иконостас, начертали на стенах углем и мелом выражения, какие не сыщешь ни в одном учебнике риторики. Тамбовские священники и дьяконы также давно сменили профессию, подавшись на мирские должности. Лука без жалоб принял наследие атеистов, начал ремонтировать храм, собирать причт, вести службы, совмещая церковный труд с госпитальными обязанностями. Двуединая жизнь, еще более напряженная, чем в Красноярске, остро пульсирует в его тамбовских письмах. Ведь на попечении Тамбовского Архиепископа теперь находится 150 госпиталей, от пятисот до тысячи коек в каждом. Консультирует он также хирургические отделения большой городской больницы. На пороге семидесятилетия этот безотказный труженик готов работать хоть сутки подряд. «Приводим церковь в благолепный вид… Работа в госпиталях идет отлично, зреет монография о лечении хронических огнестрельных эмпием плевры. Читаю лекции врачам о гнойных артритах… Свободных дней почти нет. По субботам два часа принимаю в поликлинике. Дома не принимаю, ибо это уже совсем непосильно для меня. Но больные, особенно деревенские, приезжающие издалека, этого не понимают и называют меня безжалостным архиереем. Это очень тяжело для меня. Придется в исключительных случаях и на дому принимать».

Есть, впрочем, еще одна сторона переживаний, в которой накал чувств архиепископа также усиливается с каждым месяцем. Я говорю о его мирской славе. И если быть искренним до конца, то невозможно даже с уверенностью сказать, что растет быстрее: слава ли Войно-Ясенецкого или высокое его о себе мнение.

Это все тот же соблазн «высшей справедливости», который определяет его отношения со Сталиным. Он упорно повторяет в письмах, что слава его принадлежит Церкви. Лично ему она не нужна, не интересна. И все же кариес тщеславия прогрызает дупло в неизменно аскетической натуре профессора-епископа.

«Монография моя о суставах уже вышла… Издана хорошо. «Очерки» в наборе. В них будет 65 (печатных) листов. В Медгизе решили исключить из книги предисловие Левита и Мануйлова, так как считают, что моя книга не нуждается ни в каком предисловии и никто не вправе его писать». Кажется, сильнее не скажешь, но в начале 1945 года в письме к родным возникает еще более высокая нота: «Множество поздравлений отовсюду: Патриарх, митрополиты, архиереи (далеко не все, так как не знают моей фамилии), Карпов, Митерев, Третьяков, Академия медицинских наук, Комитет по делам высшей школы, Богословский институт, профессора и проч. и проч. Превозносят чрезвычайно… Моя слава — большое торжество для Церкви, как телеграфировал Патриарх».

Речь идет о Сталинской премии. Разговоры о ней начались еще в 1943 году. Но только в январе 1945 года профессор Кассирский А. И. напечатал в «Медицинском работнике» хвалебную статью о научных трудах В. Ф. Войно-Ясенецкого и публично сообщил о присуждении за них Сталинской премии. Прошел, однако, еще год, прежде чем денежная часть премии и диплом были вручены наконец лауреату-епископу. В связи с этим «Журнал Московской Патриархии» опубликовал в феврале 1946 года три следующих документа:

«Из Тамбовской епархии Войно-Ясенецкому, Валентину Феликсовичу, профессору, консультанту-хирургу эвакогоспиталей Тамбовского областного отдела здравоохранения за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии», законченных в 1943

году, и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов», опубликованном в 1944 году, присуждена Сталинская премия первой степени в размере 200 000 рублей».

: «Москва. Генералиссимусу И. В. Сталину.

Прошу Вас, высокочтимый Иосиф Виссарионович, принять от меня 130 000 рублей, часть моей премии Вашего славного имени, на помощь сиротам, жертвам фашистских извергов.

Тамбовский Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, профессор хирургии».

«Тамбов, тамбовскому архиепископу Луке Войно-Ясенецкому, профессору хирургии.

Примите мой привет и благодарность Правительства Союза ССР за вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских извергов.

Сталин». **После таких известий шквал признания достиг штормовой силы. «Сегодня подтвердилось мое мнение, что я не малый козырь для нашего Правительства, пишет Лука сыну. — Приехал специально посланный корреспондент ТАСС, чтобы сделать с меня портреты для заграничной печати. А раньше из Патриархии просили прислать биографию для Журнала Патриархии и для Информбюро. Два здешних художника пишут мои портреты. Только что вернувшийся из Америки Ярославский Архиепископ уже читал там в газетах сообщения обо мне, как об архиепископе — лауреате Сталинской премии… Завтра приедет из Москвы скульптор лепить мой бюст. В майском номере Журнала Патриархии будет напечатана моя биография. Кассирский называет мою книгу классической и говорит, что она, как книги Приорова и Павлова, будет перечитываться и через пятьдесят лет».**

Когда события достигают столь высокого напряжения, то по законам энергетики за высшей точкой неизбежно должен наступить спад. Это равно относится к электрическим сетям, к машинам и к людским судьбам. Не избежал общей участи и Архиепископ Тамбовский. Апрель 1946 года стал кульминацией его общественной карьеры.

Приостановимся и мы. Отложим в сторону архивные дела, газетные публикации и правительственные телеграммы и попробуем прислушаться к тому, что зовется гласом народным: взглянем на жизнь Луки Войно-Ясенецкого глазами тамбовских обывателей, с которыми прожил он бок о бок почти два с половиной года.

Московский поезд приходит в Тамбов утром. Выхожу на привокзальную площадь. Солнце. Лужи. Апрель. В записной книжке у меня несколько нужных адресов, но сразу браться за дела в это великолепное утро не хочется. Тем более что в Тамбове я впервые. Распахнув пальто, без всякого плана отправляюсь шагать по улицам. Передо мной тот самый «губернский» город, который на четверть века раньше описывал в письмах к родным архиепископ Лука.

Спускаюсь к берегу не слишком многоводной Цны. Когда, нагулявшись по набережной, я поднялся чуть повыше и обнаружил над рекой красивую каменную церковь, народу в ограде оказалось много. Букетики распустившейся вербы в руках прихожанок напомнили, что сегодня Вербное воскресенье. Мужчины и женщины только что вышли от утренней службы. Водопад полуденного весеннего света остановил их. Люди, весело щурясь, топтались на месте. Им явно не хотелось покидать залитый солнцем сухой церковный двор. Одни присели на лавочки, другие, продолжая блаженно жмуриться, привалились к нагретой кирпичной стене. Разговор о Луке начался как-то сам собой. Я спросил о нем двух женщин, которые показались мне постарше. Придвинулись и остальные. Желающих вспомнить и послушать о любимом Владыке нашлось много.

Никто не дирижировал импровизированным оркестром человеческих воспоминаний. Каждый рассказывал то, что хотел. Нередко одни воспоминания противоречили другим, и тогда возникали споры. Легенды перемежались с былью, житийное с житейским. Но в каждом эпизоде он оставался собой: кремневый старик, с непомерной гордостью, чья мудрость нередко оборачивалась детской наивностью или столь же непомерной душевной щедростью. Да, это был Лука, тот самый, что писал: «Только теперь в Тамбове я чувствую себя в полной мере архиереем, и все мое поведение изменяется соответственно этому».

«Приехал он к нам в самом начале 1944 года. Но сначала не было у него облачения для службы. Прислали ему облачение перед Великим Постом. Он служил первый раз и обратился к верующим с кратким словом: «После долгого духовного голода мы сможем снова собираться и благодарить Бога… Я назначен к вам пастырем». Потом благословил каждого человека в храме. Теперь этого нигде не увидишь. Не только епископы, но и священники порознь прихожан не благословляют».

«Жил Владыка на Комсомольской улице у Зайцевых. Там и столовался. Хозяева к нему не то чтобы худо, но как-то равнодушно относились: то мыло у него кончится — без мыла сидит, то гребешок сломается; то пищу ему подадут не подходящую для его здоровья. Владыка никогда не жаловался, но мы, ближние, знали…»

«У нас весной и осенью — грязища непролазная. А у Владыки — ни машины, ни лошади. Старенький уже был, идет один по грязи-то — горько смотреть. Случалось, и падал…»

«Я к нему ходила комнату убирать, стирала ему. Бедновато жил. В доме одни книги…»

«Ну что, если книги? Они и в богатстве, и в бедности нужны. Библиотеку ему монахиня Любовь оставила. Из князей Ширинских-Шихматовых она была. В Тамбове и ссылке находилась. Владыка с книгой начинал день, с книгой да с молитвой и кончал».

«Одна женщина-вдова стояла возле церкви, когда Владыка шел на службу. «Почему ты, сестра, стоишь такая грустная?» — спрашивает Владыка. А она ему: «У меня пятеро детей маленьких, а домик совсем развалился». «Ну, подожди конца службы, я хочу с тобой поговорить». После службы повел он вдову к себе домой, узнал, какие у нее плохие дела, и дал деньги на постройку дома». «Ну вот, а вы говорите — бедный. На дом-то он, поди, не десятку дал…» «Так это он уже после премии Сталинской. Он тогда двести тысяч получил. Сто тридцать — на сирот государству, шестьдесят тысяч детям своим раздал, а десять тысяч бедным. Себе-то ни полушки не оставил. Все людям». Сначала, как и в Туруханске, и в Большой Мурте, они кажутся мне неразличимыми, эти пожилые мужчины в старомодных картузах, женщины в черных и белых платочках. Но постепенно вместе с характером Тамбовского архиерея начинают проступать для меня и черты его прихожан. Наиболее приметной оказалась та, что вступилась за книги архиепископа, — крупная, сердечно-отечная старуха с низким голосом и властными интонациями. Она же и про деньги сказала — куда сколько пошло. Бывший главный бухгалтер Ольга Владимировна Стрельцова при более близком знакомстве явила личность недюжинную. Начитана, но читает в основном литературу духовную. Мир видится ей в основном в мистических красках. В 1954 году, когда Владыка ослеп в Симферополе, ей являлась предупреждением Божья Матерь. А когда Лука умирал в 1961-м, то на рассвете того дня ей как будто кто-то по телефону об этом сказал, хотя никакого телефона у нее дома нет. При всем том Стрельцова вполне земной человек: она и быт Луки в Тамбове организовала, и книги его двенадцать ящиков — своими руками увязала

в дорогу, когда он уезжал. И даже до нового места службы его проводила в Симферополь. Если судить по голосу и по повадкам Ольги Владимировны, подумаешь: большая барыня. А живет эта «барыня» на грошовую пенсию в нищенском, полуразвалившемся домишке. Одно хорошо — церковь рядом. Без церкви жизни для нее нет.

Своим низким решительным голосом, будто с кем-то споря, рассказывает она, что проповеди Луки привлекали в церковь много врачей, библиотекарей, учителей. Проповеди записывала в храме учительница английского языка, очень преданная Владыке Наталья Михайловна Федорова. Потом другая прихожанка-машинистка перепечатывала проповеди на папиросной бумаге и раздавала верующим. Проповедей тамбовских, числом семьдесят семь, набрался целый том. После отъезда Владыки интеллигенция к церковной службе охладела, но и Сейчас кое-кто из врачей и учителей бывает в храме.

Рядом с величественной Стрельцовой протодьякон о. Василий (Василий Иванович Малин) почти незаметен. Но, когда старуха отходит, он становится главной фигурой беседы. Это он о первой церковной службе Луки в Тамбове рассказал. Владыка собственноручно его в 1945 году в дьяконы рукоположил. Теперь о. Василию семьдесят лет. Голова ослепительно седая, но в остальном — ничего стариковского: ладно скроен, несуетлив, ярко-карие глаза смотрят серьезно и дружелюбно. Красив той редкой духовной красотой, которая приводит на память картины Нестерова. Настоящий нестеровский отрок в старости.

В Луке Малину более всего импонируют строгость, требовательность, порядок. Протодьякон рассказывает: был среди прихожан пожилой человек, кассир, Фомин Иван Михайлович. Читал на клиросе часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Лука несколько раз его поправлял. Однажды после службы, когда Владыка в пятый или шестой раз объяснял упрямому кассиру, как произносятся некоторые церковнославянские выражения, произошел между ними разлад. Лука темпераментно размахивал богослужебной книгой и, очевидно, задел Фомина. Тот возмутился, сказал, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал посещать церковь.

Дойдя в рассказе до этого места, о. Василий виновато улыбнулся, давая понять окружающим, что все дальнейшее есть проявление слабости пастыря, слабости, к которой следует, однако, отнестись снисходительно. А случилось вот что. Надев крест и панагию, глава Тамбовской епархии через весь город отправился к обиженному прихожанину просить прощения. Фомин не принял архиепископа. Владыка снова пошел к нему и снова не получил прощения. Кассир буквально издевался над своим поверженным противником. «Простил» он Луку лишь за несколько дней до отъезда епископа из Тамбова.

Слушатели восприняли эпизод молча. По лицам видно: тамбовские прихожане сочли, что глава епархии не должен так унижать свое достоинство. Отец Василий тоже закусил губу: понял настроение народа — напрасно он выставил своего архиерея в столь невыгодном свете. А мне, наоборот, эпизод показался очень важным. И не в конфликте дело, конфликт яйца выеденного не стоил. Существенно зато поведение Луки. Нелегко, значит, быть архиереем в полной мере. Владыке с его гордым и независимым характером было не просто тяжело, а, вероятно, мучительно просить прощения у маленького областного казначея. Цену этому казначеишке он, конечно же, знал. И все-таки ходил, просил. Не слабость, а силу проявил при этом Лука Тамбовский. Noblesse oblige — положение настоящего архиерея обязывало смирять себя. И он смирился. На это, как известно, не каждый способен…

В этот солнечный весенний день, менее всего как будто подходящий для религиозно-нравственных раздумий, мне трижды пришлось возвращаться к вопросу о гордости и смирении архиепископа Луки. Несколько человек из тех, что окружали меня на церковном дворе, просили зайти к ним домой. Очень худенькая, в потертом пальтеце, немолодая женщина шепнула: «Не про все хочется говорить при посторонних». И вот я в гостях у Борисовых. Скрипучие лестницы ветхого двухэтажного дома (уж я не знаю, есть ли в Тамбове другие жилища)), щелявые полы, неплотно затворяемые двери. Софья Ивановна учительница. Ее муж Илья Яковлевич-инженер. Обоим под шестьдесят. Коренные тамбовские жители, хотя по крови она немка, а он русак. Добрые, милые люди. В изящном голубоглазом личике хозяйки девичий облик как-то странно перемешался со старческим. А движения легкие, порывистые — совсем девочка. И душа под стать телу: легка и обитает в основном в духовных эмпиреях литературы и религии. Муж тоже из породы мечтателей, но на иной манер. О таких писал Андрей Платонов. Работает инженер Борисов на котельно-механическом заводе. Изобретатель-рационализатор. Имеет авторские свидетельства. Но среди зубчатых передач и рычагов ему тесно. Тянет к проектам философическим и фантастическим. Уже много лет посылает свои сочинения в Москву. Последние относятся к влиянию любви супругов на качество потомства (послано в Президиум Академии наук СССР и Комитет по науке и технике при Совете Министров СССР). Московские инстанции отвечают неохотно, но Илья Яковлевич незлобив и надеется все-таки послужить Отечеству как мыслитель и изобретатель.

С Лукой свел Борисовых один случай. Софье Ивановне желательно стало покинуть веру отцов-лютеран и перейти в православие. Владыка пригласил ее к себе в дом, душевно побеседовал, подготовил к переходу в православную веру. Как всякий неофит, она превратилась в одного из самых преданных «ближних», а после отъезда Луки долго с ним переписывалась. Преклонение Софьи Ивановны и доныне безгранично. И все-таки однажды она восстала против архиерейского авторитета. В конце 1944 года в одной из проповедей Войно сказал, что немецкие зверства неслучайны, что жестокость присуща немецкому народу в целом: эта национальная черта уже не раз выявлялась у немцев в прошлые столетия и отражает, так сказать, дух германского народа. Потомок честных прибалтийских рестораторов, аптекарей и коммерсантов, Софья Ивановна почувствовала себя уязвленной. Преодолев смущение, она подошла после проповеди к Владыке и заявила ему, что немцы, как и русские, бывают всякие. И никакого жестокого немецкого духа она не знает. Лука молча выслушал укор и молча же покинул храм. А через несколько дней при большом стечении народа сказал прихожанам, что обнаружил в прошлой своей проповеди недопустимую ошибку. Неправильно говорить о жестоком характере всех немцев вообще. Он просит тех, кого это его замечание обидело, если можно, простить его. Впредь он будет обдумывать свои проповеди более серьезно.

В тот же день случилось мне услыхать и третью историю о смирении Тамбовского архиерея, но не от верующих христиан, а из уст атеистов-евреев. Иезекиль Моисеевич Берлин и жена его Ида Абрамовна Юровицкая — в Тамбове люди известные. Во время войны она была главным хирургом госпиталя на 1500 коек, а он заведовал отделением в больнице. До глубокой старости оба хирурга сохранили не только свежесть ума, но и критическую, я бы даже сказал, аналитическую манеру мышления. В Войно-Ясенецком им, например, нравилось далеко не все. Лука приехал в Тамбов с сильно ослабленным зрением. Случалось, за ним замечали неаккуратность, хирургу непростительную. Те излишние разрезы, которые в прошлом вызывали восхищение, не всегда теперь у него получались. Да и операции у раненных в грудь тоже выходили теперь не лучшим

образом. Правда, больные с эмпиемами вообще крест хирургов, а хирургическое вмешательство с удалением ребер и внутренних рубцов, так называемая декортизация, относится к наиболее сложным операциям, но Лука оказался настолько неудачливым, что ему пришлось вообще прекратить такие операции и даже покинуть торакальный госпиталь.

О провале своего коллеги старые врачи говорят с сожалением. Они охотно признают, что в гнойном отделении областной больницы тот же Войно-Ясенецкий поражал всех своими великолепными и абсолютно оригинальными операциями при остеомиелите. Рассечение тканей проводил он так анатомично, что ассистенту почти не приходилось пользоваться зажимами: Лука никогда не ранил крупных сосудов. Говорил даже, что не хирургу надлежит бояться кровотечения, а кровотечение должно бояться хирурга.

Но, как это ни странно, особенно тронуло сердца моих собеседников событие, к медицине никакого отношения не имеющее. Весной 1944 года, вскоре после приезда Луки в Тамбов, состоялся областной съезд медицинских работников. Войно пригласили в президиум, он сделал полуторачасовой доклад по гнойной хирургии, который очень всем понравился. (Публика изумлялась: «Без бумажки — и так складно»). Съезд проходил в здании областного театра, и доктор Берлин, пользуясь положением организатора съезда, пригласил Войно-Ясенецкого посмотреть вместе с другими врачами пьесу «Кремлевские куранты». Обычно Лука в театр и кино не ходил, но на этот раз поддался уговорам. Может быть, потому, что почувствовал общее к себе доброжелательство и симпатию. У Берлина сохранилась фотография: театральный зал, переполненный военными и гражданскими медиками, а в первом ряду, перед самой сценой, в черной рясе, в черной то ли камилавке, то ли академической шапочке, близоруко щурится Лука. Пьеса ему как будто понравилась.

Про то, что произошло позднее, Иезекиль Моисеевич и Ида Абрамовна узнали от своих русских друзей. Уже на следующий день три молодые прихожанки-медички заявили своему пастырю неудовольствие. Он не должен был в духовном облачении появляться в театре. Такое его поведение разочаровывает верующих. Нельзя клеймить в проповедях чужие соблазны и соблазняться самому. Суждение трех медсестер, юношески бескомпромиссное и в чем-то даже жестокое, Луку поразило. Поразил не сам факт замечания, а сущность их претензий: если ты монах, то и веди себя как монах. Событие это совпало с большим праздником (Троицей. — М. П.). Лука явился в переполненный людьми храм и заявил собравшимся, что он не считает себя больше достойным оставаться пастырем и отказывается вести праздничную службу. В городе потом передавали его слова: «Вот я стою перед вами без панагии и прошу у вас прощения… Верните мне ваши сердца…» Что произошло потом, мои собеседники не знают. Очевидно, прихожане принялись упрашивать архиерея не придавать случившемуся большого значения. По другой версии, народ в храме повалился перед Владыкой на колени. Известно лишь, что Лука направился в алтарь, надел на себя знаки архиерейского достоинства и служил. Авторитет его среди верующих возрос еще больше.

Я ожидал, что собеседники мои завершат рассказ замечанием о «странностях Тамбовского Владыки». Можно было представить даже, что чуть циничные, как многие хирурги, они станут иронизировать о влиянии театральной драматургии на драматургию церковную (такую шутку отпустил мне на следующий день бывший тамбовский облздрав — доктор А. С. Гаспарян). Но Иезекиль Моисеевич и Ида Абрамовна, атеисты с более чем шестидесятилетним стажем, взглянули на давний эпизод иначе. Что-то привлекательное почудилось им в той ситуации. Признанный глава местного церковного мирка,

вознесенный властями хирург-профессор, не только выслушал мнение простых людей, не только принял к сведению их неодобрительное о себе мнение, но и готов был под давлением общественности уйти в отставку.

…Полная официальная подпись архиерея начинается со слова «смиренный». Смиренный Архиепископ Лука… Встречи в Тамбове (я пробыл там три дня) подтверждали как будто: на новом месте в полном соответствии со своим саном и подписью Лука обуздал, смирил свой характер. Прихожане и коллеги-врачи запомнили его как человека доброго, житейски разумного, всегда готового признать свою неправоту или ошибку. Я даже нашел, как мне показалось, верное истолкование этой новой черты его. Лука добился наконец всего, чего хотел: ему позволили совместить архиерейство с хирургией. Его заслуги в обеих ипостасях признаны. Возникла душевная гармония, которая пресекла все и всякие конфликты. Смирение по отношению к Богу и людям естественная благодарность за оказанное благодеяние. Стройно получалось. Но просуществовала эта стройность недолго. И рухнула вот при каких обстоятельствах.

В Тамбове меня интересовала судьба городского собора. Лука несколько раз упоминал про этот собор в письмах к сыну. В феврале 1944 года тотчас после приезда в Тамбов: «Почти наверное отдадут нам большой двухэтажный собор». В мае: «Отказали в Москве открыть у нас собор, и это большое огорчение для меня», В июне: «Большая радость: Карпов сказал мне, как о решенном деле, что будет открыт собор или другой большой храм в Тамбове». Но очень скоро радость сменилась в нем огорчением: «Карпов твердо обещал мне открыть собор, а здешний уполномоченный говорит, что ему ничего не известно». И наконец 10 августа все того же 1944 года: «Собор будет открыт только по ходатайству верующих, но нет до сих пор инициаторов, все боятся». Эти письма написаны в пору самой нежной дружбы Сталина с Церковью. В месяцы, когда и архиепископ Лука — член Синода — кое-что весил в глазах Совета по делам Православной Церкви. Как же объяснить упорство, с которым власти водили за нос Тамбовского архиерея и его паству? Ответить мог только один человек — тогдашний секретарь епархии Иван Петрович Леоферов, о. Иоанн. Но Леоферов давно покинул Тамбов. Рукоположен в епископы и под именем Владыки Иннокентия занимает кафедру в Калинине (Твери). Вернувшись в Москву, звоню по телефону в Калинин. Владыка разрешает приехать. До бывшей Твери электропоездом теперь всего три часа ходу. Улица Софьи Перовской, II. Епархия. Полутораэтажный домик без всякой вывески. Хитро запрятанный дверной звонок.

Архиепископ Иннокентий — рыхлый старик, в толстых, скрывающих глаза очках — оказался неожиданно владельцем сильного, волевого голоса и хорошей дикции. Под стать голосу и суждения — четкие, без воды и трусливых уверток. Да, Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов хотел открыть собор в Тамбове, но тогдашний председатель облисполкома Козырьков и первый секретарь обкома партии Волков — комсомольцы двадцатых годов всячески этому сопротивлялись. Козырьков, впрочем, вскоре умер. Владыка Лука диагносцировал у него неоперабельный рак желудка. Но Волков так до конца войны и не допустил, чтобы в городе открыли второй храм. А после войны в Москве об этом больше не заикались. Козырьков Иван Трофимович, кстати сказать, относился к Владыке неплохо, но рассматривал его только как медика, случайно попавшего в «церковный омут». Однажды, еще до болезни, он пригласил Луку к себе в кабинет и, желая выразить ему расположение, спросил:

— Чем вас премировать за вашу замечательную работу в госпитале?

— Откройте городской собор.

— Ну нет, собора вам никогда не видать.

— А другого мне от вас ничего не нужно, — ответил Лука и покинул облисполком.

С новым председателем, который сменил Козырькова, произошла у архиерея стычка еще более резкая. В конце 1945 года дана была команда награждать церковный люд. В середине декабря Лука и его секретарь получили приглашение явиться в облисполком, где по случаю торжества собрались руководители города, уполномоченный по делам Церкви и представители городской медицины. Началось все очень чинно. Председатель облисполкома поблагодарил в своей речи профессора Войно-Ясенецкого за успехи в лечении воинов и обучении медицинского персонала. За врачебную и педагогическую деятельность профессору вручалась медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Леоферову такая же медаль была вручена за патриотические проповеди и за сбор пожертвований на танковую колонну. После вручения медалей председатель добавил также, что хотя труд Войно как консультанта эвакогоспиталя завершен (госпитали эти осенью 1944 года покинули Тамбов и двинулись дальше на запад), но он надеется, что профессор и впредь будет делиться своим большим опытом с медиками города.

Если бы устроители торжества знали содержание ответного слова архиепископа Луки, то, очевидно, вообще отказались бы от церемонии. Раздосадованный ничтожностью награды и тем, что она дана ему лишь как врачу, Лука сказал следующее: «Я учил и готов учить врачей тому, что знаю: я вернул жизнь и здоровье сотням, а может быть, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы (он подчеркнул это «вы», давая понять слушателям, что придает слову широкий смысл) не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей воле». У областного начальства реплика вызвала род шока. Какое-то время в президиуме и в зале царила тягостная тишина. Потом, кое-как придя в себя, председатель залепетал, что прошлое пора-де забыть, а жить надо настоящим и будущим. И тут снова раздался басовитый голос Луки: «Ну, нет уж, извините, не забуду никогда!»

По пути домой Владыка, все более раздражаясь, отдал секретарю злополучную медаль со словами: «Идите назад и скажите им, что такие награды дают уборщицам. Ведущему хирургу госпиталя и архиерею полагается орден». Леоферов утверждает, что ему так и не удалось после того получить аудиенцию у председателя облисполкома. Но похоже, что секретарь епархии не решился передать властям еретические речи своего начальника. Отказываться от награды, дарованной государством, — в 1945 году об этом никто и помыслить не смел.

Как видим, преосвященный упрямец вовсе не был столь смиренным, как показалось тамбовской пастве, знавшей его лишь в церкви и в быту. Опять эта «текучесть» человеческой натуры? Первый биограф Луки Войно-Ясенецкого, митрополит Куйбышевский Мануил так и полагает.

«О характере арх. Луки, — писал он, — существовали самые разноречивые отзывы. Говорили о его спокойствии, скромности, доброте и в то же время его высокомерии, неуравновешенности, заносчивости, болезненном самолюбии. Прожив долгую, сложную жизнь, он, очевидно, проявлял себя по-разному. Возможно, что громадный его авторитет в области хирургии, привычка к безусловному повиновению окружающих, особенно во время операции, создали у него нетерпимость к чужим мнениям, даже в тех случаях, когда его авторитет вовсе не являлся непререкаемым… Словом, это был человек с неизбежными у человека недостатками, но в то же время стойкий, гибкий и глубоко

верующий». Митрополит Мануил во многом прав. Его характеристику можно дополнить разве что еще одним наблюдением. Рассказы о спокойном и добром пастыре, так же как суждения о Владыке высокомерном и заносчивом, произносились не только в разное время, но, что еще важнее, исходили, как правило, из разных источников. В Тамбове, а затем в Симферополе Лука сохраняет два совершенно разных подхода к прихожанам и чиновникам. Это принципиальное разграничение сохранялось и в годы дружбы с верховной властью и после того. Областные и городские чиновники, покушавшиеся на духовную свободу и достоинство Луки, тут же получали сокрушительный отпор. На этой своей «малой земле» он по-прежнему никаких компромиссов не терпел.

В бунтарстве Войно-Ясенецкого есть еще одна черта, идущая уже не столько от характера, сколько от этических взглядов его. За каждой вспышкой преосвященного угадывается верность той туманной материи, что в обиходе зовется справедливостью. Впрочем, для самого Луки справедливость отнюдь не туманна. Для него она смыкается с точно и строго исполняемым законом. Исполнение закона (Божеского и человеческого) и есть, по его понятиям, высшая справедливость, которую надо отстаивать, за которую надлежит бороться, а то и пострадать. Аресты и ссылки верующих и священников возмущали Войно прежде всего тем, что они шли вразрез с законодательством. Нападки на Церковь, попытки навязать ей волю Советской власти нетерпимы для него опять-таки потому, что противоречат букве государственного закона. Этот строгий законник готов бороться даже против Патриархии, если она отрекается от собственных законоположений. Очередной свой протест Архиепископ Тамбовский устремил как раз против беззакония церковного.

15 мая 1944 года умер Патриарх Сергий. Выборы нового Патриарха назначены были на первые числа февраля 1945 года. Впрочем, назвать выборами процедуру, которая готовилась в Патриархии, было бы изрядным преувеличением. Единственным кандидатом на пост Святейшего являлся Митрополит Ленинградский Алексий. В церковной иерархии, признанной Кремлем, стоял он на втором месте, и, следовательно, ему и полагалось занять освободившееся место. Собору оставалось лишь по образцу выборов в Верховный Совет СССР утвердить заранее назначенного советскими властями кандидата. Предсоборное совещание для обсуждения кандидатуры будущего Патриарха превратилось в сплошное славословие в честь Алексия. И вдруг в хорошо смазанном генералом Карповым механизме произошел сбой. Архиепископ Тамбовский напомнил присутствующим о той процедуре, что выработана на первом (после Петра 1) Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1917 году. По старинному заведению на пост Патриарха было выдвинуто тогда три кандидатуры. Имена их, начертанные на отдельных листках бумаги, поместили в шапку, и в присутствии нескольких сот свидетелей слепой монах завершил эту лотерею, вытащив из шапки билет с именем Тихона Беллавина. Напомнив епископам о старых, освященных временем и тем узаконенных традициях, Лука заявил, что предстоящие выборы считает незаконными, незаконническими и поэтому будет голосовать против единственного и потому навязанного Собору кандидата.

Поместный Собор состоялся в Москве с 31 января по 2 февраля 1945 года. Он собрал 41 архиерея и епископа, 126 представителей приходского духовенства и мирян. На Собор прибыли также Патриарх Александрийский, Патриарх Антиохийский, Католикос всея Грузии, представители Патриарха Константинопольского и Патриарха Иерусалимского, представители Румынской Православной Церкви и Синода Церкви Сербской. Единственный, кто не попал на Собор, был Лука Тамбовский. За два дня до

торжественной церемонии, во время всенощной, он почувствовал вдруг сильные боли и, прервав службу, ушел домой. Едва успел добраться до квартиры, как неизвестно кем вызванный примчался уполномоченный с двумя врачами. Медики развили бурную деятельность: диагностировали тяжелое отравление, уложили больного в постель и, находясь при нем неотлучно, так и не дали Луке выехать в Москву.

Сам Владыка считал свою болезнь случайной. «27 января я отравился консервами и чуть не умер», — писал он М. М. Третьяковой. Но архиепископ Иннокентий Леоферов не исключал преднамеренного отравления. Фронда Луки представлялась ведомству Карпова крайне нежелательной. Его следовало любыми средствами не допустить на Собор. И не допустили.

…До чего же коротка человеческая память! В Тамбове в апреле 1971 года, стоя во дворе церкви Покрова, я слышал, между прочим, жалобы верующих на то, что их петиции об открытии храмов чиновники без разговоров кладут под сукно. «При Сталине они бы не посмели…» — заметил мужчина средних лет, церковный староста. При Сталине Россия прожила тридцать лет, церковная оттепель продолжалась от силы года три-четыре. Очень скоро после войны в газетах исчезли сталинские приветы и поздравления Церкви. Только белый клобук митрополита Николая некоторое время мелькал еще на фотографиях, изображающих всевозможные «форумы в защиту мира». Патриархия еще нужна была генералиссимусу как фигура на международной шахматной доске, но внутригосударственная ее функция исчерпалась. Последний приказ об открытии православных храмов последовал в 1947 году. После того церкви только закрывали.

Первые порывы холодного политического ветра Лука испытал еще в 1946 году. Ему запретили выступать перед научной аудиторией в духовном облачении. Он писал сыну: «Я получил предложение Наркомздрава СССР сделать основной доклад о поздних резекциях крупных суставов на большом съезде (26—30 января), который должен подвести итоги военно-хирургической работе. Я охотно согласился, но написал, что нарком запрещает мне выступать в рясе, а Патриарх без рясы. Написал и Патриарху об этом, он мне ответил письмом, в котором его мнение совпадает с моим: выступать в гражданской одежде и прятать волосы в собрании, в котором все знают, что я архиерей, — значит стыдиться своего священного достоинства. Если собрание считает для себя неприемлемым и даже оскорбительным (как было в Тамбове) присутствие архиерея, то архиерей должен считать ниже своего достоинства выступать в таком собрании… Я говорил об этом с Карповым: он сперва возражал, но понемногу стал уступать и обещал поговорить с Третьяковым. По телефону я говорил с организатором съезда, доктором Дедовым. Он взволновался и говорил, что все и нарком (в том числе) придают большое значение моему докладу и обещали поставить на ноги все начальство. Но через день он сказал, что все начальство целый день было занято этим вопросом, говорили с Третьяковым и Карповым и как будто дело дошло до ЦК партии, но на выступление в рясе не согласились. Я просил передать наркому, что принимаю это как отлучение от общества ученых».

Так оно и шло одно за другим почти в одно и то же время: Сталинская премия, телеграмма вождя, выход и второго издания «Очерков гнойной хирургии» (лето 1946 года), фотография для ТАСС, апологетические статьи в прессе, живописные и скульптурные портреты и вместе с тем «отлучение от общества ученых» и почти насильственный перевод, почти изгнание из Тамбова в мае 1946 года. Взгляд издалека позволяет разобраться в причинах столь странного нагромождения противоречивых

вроде бы событий.

Премия была присуждена еще в 1944 году за рукопись «Очерков». Но несмотря на вмешательство Сталина и заботы наркома здравоохранения, понадобилось три года, прежде чем эта рукопись превратилась в книгу. А к тому времени, когда появилась на свет и книга, сердечный союз власти и Церкви уже склонялся к закату. Пропагандировать заслуги церковников стало неуместным. Правда, на патриотический жест Луки, отдавшего большую часть премии обратно в казну, Сталин ответил телеграммой, но то был формальный ответ, полагавшийся всем жертвователям такого рода. И почти одновременно Патриархия получила от Карпова распоряжение убрать упрямого и слишком шумного архиепископа подальше от Москвы.

…В главе «Конвейер» нам уже приходилось размышлять о чувствах Луки Войно-Ясенецкого к высшей власти. Во время войны чувства эти приобрели еще большую определенность. Как христианин, он принимает власть в полном соответствии с посланием апостола Павла к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога… И потому надо повиноваться не только из страха, но и по совести» (XIII, 1.5). Как гражданин, он видит в государстве важнейшую скрепу народной жизни. Государственные институты, охраняющие внутреннюю и внешнюю безопасность страны, порядок, брак и другие стороны жизни человеческого «рая», представляются ему самоценными, ибо они крепят единство нации, народа.

Лука выстроил для себя четкую иерархию властей, иерархию, которая давала ему твердые основы для отношения с любой инстанцией — от райсовета до Царя Небесного. Те, кто загонял его за Игарку и держали заключении, есть власти местные, низшие. С ними можно и упрямиться, и даже ратоборствовать, особенно если они поднимают руку на самые высокие законы — законы Божеские. Что же касается Сталина, Политбюро, Кремля в целом, то это источники высшей мудрости земной. В Кремле знают, что хорошо, а что плохо для России, что делать рядовому гражданину надо, а чего не следует. Потому что власть кремлевская от Бога. Отсюда и моральное обоснование власти. Сталин податель Закона. А Закон для Луки — высшая моральная категория. Исполняющий Закон творит высшую справедливость, у него нет и быть не может расхождений с интересами государства. Законы Лука чтил.

Итак, Владыка Лука счел для себя обязательным не только возносить молитвы «о властех», но и всеми возможными средствами (за совесть!) служить этой власти, не рассуждая о ее, власти, целях и средствах. Во время войны он лечил, учил, проповедовал во славу Сталина, во славу его победы, его государственного успеха. Но все это казалось ему недостаточным. Он искал возможности еще как-то, более явственно, что ли, заявить о своем единстве с божественной властью вождя. В 1943 году такая возможность представилась. После того, как митрополит Сергий стал Патриархом Сергием, он привлек Луку для участия в «Журнале Московской Патриархии» (ЖМП). Сотрудничество с ЖМП продолжалось десять лет. Среди опубликованных сочинений Войно-Ясенецкого мы найдем и проповеди, и богословские эссе, но в основном Лука — политический публицист. Именно политический, хотя фразеология его и может показаться проповеднической. Темы статей год от года менялись, но неизменным оставалась верность автора требованиям высшей власти. Рисунок его восхвалений и порицаний, восторгов и негодования вышит строго по канве, проложенной очередным номером газеты «Правда».

Весной 1943 года «Правда» продолжала начатую с первых дней войны пропаганду ненависти к немцам. Пропаганда не есть ложь в чистом виде. Миллионы людей

действительно жестоко страдали от гибели близких, от грабительских и истребительских акций фашистов. Но пропаганда вместе с тем не средство выяснять истину. Назначение ее — вызывать у читателей газет и слушателей радио определенные эмоции. В данном случае эмоции ненависти, злобы, готовности ответить ужасами на ужасы, кровопролитием на кровопролитие. Едва зародившись, «Журнал Московской Патриархии» присоединился к хору официальной пропаганды (для того и был создан), и в хоре этом мощным соло зазвучал голос архиепископа Луки. В соответствии со вкусами эпохи первое свое публицистическое. сочинение назвал он «Кровавый мрак фашизма».

В 1944 году в связи с переходом Красной Армии через государственную границу пропагандистам дана была команда успокоить Европу, преодолеть страх европейцев перед большевизмом. Возник спрос на апологетику, авторам приказано было изо всех сил хвалить социализм, превозносить советский государственный порядок. И вот типичный абзац из очередной статьи архиепископа Луки:

«Велики во всех отношениях достижения советских народов за двадцать шесть лет. Но самое важное — это то, что разрушены все преграды к товарищескому труду, и это товарищеское единение многих миллионов людей н отдельных народов, входящих в состав СССР, впервые достигнутое в истории человечества, имеет огромное нравственное значение; ибо искреннее и глубокое товарищество в труде и жизни приближает людей к христианскому идеалу братства и любви». Год сорок пятый принес пропагандистской машине новые заботы. Интересы вождя устремились в основном за рубеж. Захвачена Болгария, русские войска стоят в Венгрии, Румынии, Польше, занимают половину Германии. Сталин упивается победой, упивается своей мощью. Кто мешает ему двинуть свою армаду дальше? Европа лежит в развалинах, союзники устали, американцы спешат домой. А почему бы и не осуществить извечную русскую мечту о проливах? Полонить Грецию и Турцию? А там и Ближний Восток недалек… Военная подготовка к прыжку сопровождается подготовкой политической. И тут очень п месту пришлась Патриархия. В качестве политического эмиссара на Ближний Восток Сталин командирует самого Патриарха Алексия. Газетам и журналу Патриархии приказано изображать поездку Святейшего как «паломничество по святым местам». Вот так просто ва девятнадцатый день после окончания войны собрался Святейший и поехал помолиться ко гробу Господню. Странное, однако, это было паломничество. Пересаживаясь из самолета в машину, из машины в поезд и снова в самолет, Патриарх промчался через Тегеран, Багдад, Дамаск, Бейрут, Иерусалим, Каир, встретился по дороге с тремя Патриархами, королем, двумя президентами и еще с полдюжиной видных политических деятелей — и через месяц вернулся в Москву.

Думаю, что на Западе никто не поверил версии о паломничестве. Да Сталину и неважно было, верят или не верят, лишь бы боялись. Истинная же цель патриаршего рейда состояла в том, чтобы произвести как можно большее впечатление на местных архипастырей, втолковать им, что теперь, после победы СССР над Германией, глава Московской Патриархии по всему политическому раскладу становится первым, самым значительным лицом мирового православия и здесь, на Ближнем Востоке, его голос отныне станет наиболее весомым И определяющим. Появление Патриарха в святых местах было фактом политическим, фактом, который должен был приучить местную публику, церковную и нецерковную, к мысли об «освободительной миссии русского христианского воинства», миссии, которая еще не завершена.

Пока шестидесятилетний Московский Патриарх лобызался с Иерусалимским, а народ на вокзале, по свидетельству ЖМП, кричал «ура» и хором пел умилительные стихи

«Прощание с Иерусалимом», Патриархия в Москве получила новое, опять-таки международное задание. Теперь от нее потребовали именем Бога благословить казнь немецких военных преступников, и тех, что уже сидели на скамье подсудимых в Нюрнберге, и тех, которых предстояло поймать в будущем. Задание сформулировал Карпов, но он только передающая инстанция. Идея принадлежала Сталину. По этому вопросу существует немаловажное свидетельство. Еще во время Тегеранской конференции «Большой тройки» Сталин сказал Рузвельту и Черчиллю (это произошло 29 октября 1943 года), что после победы над Германией для дальнейшей безопасности союзников следует ликвидировать германский генеральный штаб. Слово «ликвидировать» вождь тут же уточнил. По его сведениям, вместе с военными специалистами Генеральный штаб вермахта составляет примерно 50 000 человек. «Если этих людей выловить и расстрелять после войны, военная мощь Германии будет уничтожена с корнем». Требование Сталина устроить после победы новую бойню встретило резкий отпор Черчилля, Премьер заявил, что британский парламент ни за что не согласится на массовые казни. Но то, что казалось недопустимым для британских парламентариев, вполне подошло епископам Русской Православной Церкви. Сначала (несколько, правда, расплывчато) они провозгласили правомерность таких убийств в «Обращении Поместного Собора Русской Православной Церкви к христианам всего мира». В дальнейшем «Журнал Московской Патриархии» принялся все более настойчиво муссировать эту тему. «Мы хотим показать, что с точки зрения правильно понятого христианского учения фашисты, безусловно, должны понести заслуженное наказание за свои жестокости, что возмездие для них неотвратимо. Слова Спасителя о любви к личным врагам, о прощении личных обид нельзя распространять на фашизм, его идеологов и последователей. Нам важна не буква, а дух христианского учения…»

Автор статьи протоиерей И. Харьюзов дает «теоретическое», так сказать, обоснование, почему фашистов «нельзя простить». Архиепископ Лука Тамбовский и Мичуринский идет дальше: он считает, что фашистов необходимо убивать. Его статья «Возмездие совершилось» опубликована была уже после того, как приговор суда в Нюрнберге приведен в исполнение. Казалось бы, все ясно: петля на горле злодеев затянулась. О чем еще говорить? Но Сталин глядит вперед, ему не терпится выловить и уничтожить 50 000 военных специалистов вермахта. И вот архиепископ Лука берет на себя обязанность адвоката будущей бойни. Аргументы находит он самые что ни на есть авторитетные:

«Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа» (Ис. 26.10).

Зачем папа Пий XII забыл эти слова великого пророка? Зачем взывал он к прощению злодеев, каких не было в истории человечества?.. Помиловать всех тех, кто готовил и бесстрастно планировал истребление целых народов, помиловать Флика, Штрейхера, Розенберга?.. Помиловать Геринга, исчадие ада… Тяжела и мучительна необходимость кого-нибудь казнить, трудно выносима страшная картина повешения, и мы, конечно, не радуемся ей. Тяжелая скорбь наполняет наши сердца при мысли о том, какие страшные вечные мучения предстоят этим извергам рода человеческого. Но закон правды Божией и совести всего человечества неотвратимо требует их казни…» С изумлением перечитываешь эти строки. Их написал врач, с болью сердечной переживавший гибель каждого своего пациента, человек, много лет под дулом пистолета отстаивающий независимость своей личности. Зачем ему новые убийства после того, как обе стороны и без того убили десятки миллионов? Ведь не о наказании виновных печется Лука, а

единственно о смерти их. К чему это? Да к тому лишь, что крови жаждет высшая власть, а коли ей, божественной, понадобилась кровушка, то, значит, и быть посему. Она, премудрая, лучше знает, что ей надобно и для чего. Убьем этих, а буде распоряжение о последующих, то и других убьем. Иначе никак нельзя, ослушание высшей власти — ослушание власти Божеской. Апостол же велит служить ей не за страх, а за совесть…

Я не утрирую. Но не могу найти никакого другого объяснения для публицистических упражнений архиепископа Луки во время войны. Не кончились эти упражнения и в дни мира.

Ныне, тридцать лет спустя, не нужно быть слишком проницательным историком, чтобы понять: взрыв в Хиросиме возмутил циника Сталина отнюдь не сам по себе, не ужасом массового убийства, а лишь постольку, поскольку атомная бомба пресекла его, Сталина, захватнические планы. Ох, как обиделся, как рассердился вождь и учитель! Зрелым яблоком падала ему в руки обессиленная планета. Какой неслыханный апофеоз предстоял вождю прогрессивного человечества! И вместе с тем какое блистательное завершение истории мира! Европа, Азия, Африка — в лагерь их всех, в наш социалистический лагерь! И — сорвалось… Как тут не расстроиться?! Ну ладно, подождите, проклятые империалисты! Натравим на вас всех, кого можно и кого нельзя: священников, ученых, политиканов, незрелых юнцов обоего пола. Кого подкупим, кого совратим. Средств не пожалеем… И началась БОРЬБА ЗА МИР… Пышные конгрессы, многолюдные манифестации под защитой западной демократии, рев купленных репродукторов, потоки лжи в купленных газетах. Масштабная получилась мистерия. Не хуже сталинского преобразования природы… В Москве тогда невесело шутили, шепотом, конечно: «Мы развернем такую борьбу за мир, что камня на камне не останется». Не осталось…

Страшноватые годы моей юности: 1946—1953-й. Аресты. Страх. Всем прежде сидевшим в лагерях — второй срок. Многие и по новой туда же пошли. Брат Виктор, боевой артиллерийский офицер, взятый немцами на поле боя в 1942-м без сознания, тяжело раненным, прямо из фашистского лагеря привезен в Воркуту. Приговор: десять лет на угольных шахтах. В газетах: «Космополиты-антипатриоты…», «Русский приоритет…», «Бдительность, бдительность…», «Зощенко-Ахматова…». В театре- "Русский вопрос», а в жизни вопрос о завтрашнем дне еще одной нации: всех на Таймыр или всех в Магадан? Два миллиона — не так уж и много: Гитлер втрое больше уничтожил…

В те годы я, журналист, даже не слыхал о «Журнале Московской Патриархии». На него ни подписаться было нельзя, ни купить его было невозможно. Да это и не нашего ума дело было — большая политика. Тридцать лет спустя беру подшивки ЖМП за 1946—1947 годы. Листаю. О чем же там тогда писали? Да все о том же. Половина каждого номера — речи в защиту мира, политические выпады против «врагов мира», описание торжественных форумов. В те годы это словечко к нам и вошло. И среди авторов — архиепископ Лука. Впрочем, его только по подписи и узнаёшь: стиль сочинений преосвященного нипочем не отличишь от стиля партийной прессы. «Настал исключительно серьезный момент мировой истории. Враги мира готовят новую войну. Зачем она нужна? Можно ли ее предотвратить? Она нужна тем, кто хочет повернуть назад колесо истории. Возможно ли это? Конечно, нет, ибо колесо это неотвратимо катится вперед… Почему же все-таки поджигают? Потому что знают, что колесо истории если нельзя повернуть вспять, то можно на время остановить. Даже на долгое время. И надеются остановить страшной ценой третьей мировой войны, ценой истребления

атомными бомбами миллионов мирных людей, их городов, всей их многовековой культуры с ее бесценными сокровищами… Итак, первый мотив — ненасытное желание новых военных прибылей и стремление США к экономической и политической власти над всем миром… Но как ни важны для американцев их планы экономического и политического господства над миром, как ни велика власть доллара, — это не единственный мотив их решимости прибегнуть к атомным бомбам. Еще важнее их страх перед неотвратимо надвигающимся социализмом».

Статья называется «К миру призвал нас Господь». Другая в том же духе «Защитим мир служением добру» — представляет собой филиппику против «колониальных держав, творящих кровавую неправду в Индонезии, Вьетнаме, Малайе, поддерживающих ужасы Греции, Испании, насилующих волю народов в Южной Корее». Вот так. Индонезия нас волнует. И Греция тоже.

К произведениям, напечатанным в первые послевоенные годы, примыкает также одно неопубликованное, но довольно широко ходившее в списках среди верующих Тамбова, Симферополя и Ташкента. Это — «Слово» Архиепископа Крымского и Симферопольского Луки в день семидесятилетия И. В, Сталина. «Слово» — та же апологетическая политическая статья, только выдержанная в церковно-проповедническом тоне. Пересказывать ее нет смысла. Проще привести для характеристики несколько слов:

«А кто же является столпом и утверждением мира во всем мире? Кто, если не наше правительство с его великим Главой, который всеми силами борется против тех, кто готовит истребление миллионов людей атомными бомбами?.. Ныне исполнилось семьдесят лет со дня рождения этого великого человека, которому Бог вручил власть над нашей страной. Сам Бог вручил — ибо читаем у апостола Павла: «Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. XIII:1). Будем же помнить это, будем чтить власть и будем повиноваться ей беспрекословно… И вознесем Богу благодарственное моление за то, что Он дал нам этот столп мира, этот столп правды социальной. Аминь». …Говорят, на могильном камне украинского философа Григория Сковороды вырезана эпитафия, им самим составленная: «Мир ловил меня, но не поймал». Архиепископ Лука, увы, не заслужил подобной надписи. Сталинский мир не только поймал и соблазнил преосвященного, но и прочно приковал его к пропагандистской своей колеснице. Прошли годы, прежде чем освободился архиепископ Лука от самых грубых своих политических заблуждений, а от некоторых не избавился до конца жизни.

Чем завершить историю великого соблазна? Разве что вот этим маленьким эпизодом, который несколько лет назад поведал мне архиепископ Иннокентий Калининский (Иоанн Леоферов):

«Он очень правдив был, Лука, до смешного правдив. Полагал, что и вокруг него все так же правдивы. А люди-то, сами знаете… Когда уезжал он из Тамбова на новое место, я в поезде его до Мичуринска провожал. Были мы с ним в купе одни, и Владыка спросил: Скажите, какого самого большого порока мне следует избегать?

— Не доверяйте, пожалуйста, клеветникам, — сказал я. — По жалобам лжецов Вы, Ваше Преосвященство, иногда наказывали ни в чем не повинных людей.

— Да? — изумился он. А потом, подумав, добавил: — С этим расстаться никак не смогу. Не могу не доверять людям».

Конкретно разговор Луки и его секретаря касался микроскопических клевет, крошечных тамбовских сплетен. О них бы и не стоило вспоминать. Но может статься,

дело не только в них? Как химик но капле воды определяет химический состав океана, так, может быть, и нам признание Луки Войно-Ясенецкого- «Не могу не доверять людям» — поможет понять некоторые поступки его между 1943-м и 1953 годами?

Глава восьмая. Крым — земля курортная (1946—1961)

«Итак, не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано».

: *Евангелие от Матфея (X. 26).*

«Эта жизнь стоит того, чтобы стать когда-нибудь объектом героической биографии. Не героической в старом военном смысле, но в новом смысле морального героизма».

Стефан Цвейг об Альберте Швейцере.

Патриарх всея Руси Алексий, в миру Сергей Владимирович Симанский, умел нравиться людям. Он и в старости сохранил привлекательную внешность: белая, коротко подстриженная холеная бородка, полные, хорошо очерченные губы, многозначительный, несколько грустный взгляд… Белый куколь был ему к лицу, он знал это и охотно облачался в торжественные патриаршие одежды. Его французский, правда, несколько старомоден, но многие находили в этом даже известную изысканность. Что до манер Святейшего, то они выше всех похвал. Даже в глубокой старости куртуазность Алексия действовала на дам завораживающе. И неудивительно: Симанские — природные российские дворяне, обозначенные в шестой части родословной книги Псковской, Московской и С.-Петербургской губерний. Сергей Владимирович начинал жизнь с боннами и гувернерами, отрочество провел в Московском благородном лицее. Прежде чем поступить в Духовную академию, завершил Императорский университет в Москве. Карьера им задумана была духовная, и шел он к ней планомерно, без лишней спешки. В монахи пострижен был двадцати пяти лет отроду, в 1902 году, в сан Епископа Тихвинского рукоположен в тринадцатом.

Сергей Владимирович всегда соответствовал времени и месту, им занимаемому. В 1904 году, на пороге первой русской революции, с успехом защитил диссертацию на степень кандидата богословия. Сорок лет спустя, после блестящей защиты диссертации, Алексий снова публично выразил свое общественно-политическое кредо. И снова к месту. Заняв после смерти Патриарха Сергия пост руководителя Русской Православной Церкви, он направил Сталину следующее послание: «В этот ответственный для меня момент жизни и служения Церкви я ощущаю потребность выразить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, и мои личные чувства. В предстоящей мне деятельности я буду неизменно и неуклонно руководиться теми принципами, которыми была отмечена церковная деятельность покойного Патриарха: следование канонам и установлениям церковным, с одной стороны, и неизменная верность Родине и возглавляемому Вами правительству нашему — с другой. Действуя в полном единении с Советом по делам Русской Православной Церкви, я вместе с учрежденным покойным Патриархом Священным Синодом буду гарантирован от ошибок и неверных шагов.

Прошу Вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, принять эти мои заверения с такой же достоверностью, с какой они от меня исходят, и верить чувствам глубокой к Вам любви и благодарности, какими одушевлены все, отныне мною руководимые церковные работники». Алексий просидел после того на патриаршем престоле без малого тридцать лет, и ни о каких разногласиях его с высшей властью никто слыхом не слыхивал. Нижестоящих он тоже старался не обижать. Спокойную, чуть рассеянную манеру обращения Святейшего многие принимали даже за доброту. Злым он действительно не был, а был, как сказал апостол, тепел, иными словами, равнодушен. В этом мире ценил Святейший более всего покой и комфорт. Тех, кто этот его покой и

комфорт нарушал или мог нарушить, — избегал. Были у него и свои привязанности. Так, с юных лет приохотился он к шахматам, французским романам и шоколадным конфетам. Конфетные коробки громоздились у него в покоях стопками. Отдельно — полные, отдельно — пустые. В пустые складывалась переписка с епископами. У каждого преосвященного — своя коробка: кому грильяж, кому «Южный орех», а кому и трюфель.

Писем из Тамбова Патриарх не любил. Даже невскрытые, они вызывали беспокойство: от Луки всегда можно было ожидать неприятностей. То он недоволен государственной наградой, то наговорил резкостей областным начальникам, то принялся сочинять какую-то странную книгу, полубогословскую, полунаучную. До смешного доходит: в Великий Пост приезжает из Тамбова в Патриархию еврей-профессор, пользующий Тамбовского архиерея; жаловался: его пациент губит себя, отказываясь не только от рыбной, но даже от молочной пищи. Нельзя ли воздействовать на него… Пришлось по телеграфу распорядиться, чтобы этот аскет не доходил до крайностей… И потом, к чему это: мужицкая прямота, постоянный эпатаж… Хотя Войно и известны с четырнадцатого столетия, но право же, у потомка их ни грана аристократизма. Недаром говорят, что со стороны матери у Луки сплошные мещане.

Впрочем, Святейший строго объективен. Он ни разу не напомнил Тамбовскому архиерею о том из ряда вон выходящем случае, когда со всегдашней своей невыдержанностью преосвященный попытался нарушить торжество выборов Патриарха. Более того, в 1945 году Алексий не обошел Луку наградой: разрешил ношение бриллиантового креста на клобуке. Но теперь все, он умывает руки. Карпов распорядился перевести Войно-Ясенецкого подальше от Москвы. Совету, как и Патриархии, надоело постоянное беспокойство, исходящее из тамбовской епархии, излишние восторги прихожан и раздражение администрации. На этот раз Патриарх ничего не может поделать. Да и не хочет. Пусть преосвященный едет в Крым. Отличное место: море, солнце, курорты. И пусть не забывает, что есть еще епархии и за Уралом.

В Крым ехать Лука не хотел. Это походило на ссылку. Крым разорен, там после войны настоящий голод. Квартира архиерея лишена элементарных удобств. А главное, поселившись в Симферополе, сразу оказываешься далеко от всего: от детей, от московских библиотек и клиник, от Патриархии и медицинского издательства, в котором вот уже четвертый год «варятся» злополучные «Очерки». Конечно, и тамбовская грязь, и тамбовское захолустье не сахар, но благо бы менять Тамбов на Горький или хотя бы на Владимир, как это обещали ему в 1944-м. Незадолго до нового, 1946 года Лука написал Святейшему, просил, если уж так необходимо покинуть Тамбов, перевести его в Одессу, где живет младший сын. Патриарх отказал, обещал объяснить свои соображения при встрече, в Москве. Но когда Лука приехал в столицу для выяснения, Патриарх и вовсе уклонился от разговора. Лука не обиделся, не рассердился. Сыну написал примирительно: «Ему (Алексию) очень трудно было отказать мне. Он был не властен. Мне стало вполне ясно, что при моем 11-летнем анамнезе мне место только в захолустье».

И все-таки вынужденный переезд пробудил грустные мысли. Сколько еще осталось прожить? Год? Два? Сердце все чаще отказывает: аритмия, декомпенсация. Туманная пленка постепенно задергивает последний зрячий глаз. Что ждет его в Крыму? Как сложатся отношения с новой паствой, с уполномоченным по делам Церкви? В Тамбове его любят. Прихожане тамбовские, узнав об отъезде, взбунтовались: не отдадим своего Владыку. Послали делегата в Москву. «Горе и слезы паствы, горячо любящей меня, взволновали меня, — писал Лука друзьям, — и опять стало хуже с сердцем. Вчера и сегодня, в Фомино воскресенье, я не служил. Ходатайство паствы и духовенства об

оставлении меня в Тамбове тем не менее не уважено Патриархом…»

Святейший принял тамбовскую делегацию со смесью скуки и раздражения. Не стал даже придумывать сколько-нибудь достоверных аргументов в защиту своего решения. Собственно, и решения-то никакого он не принимал: какой смысл переводить тамбовского архиерея в Крым, а крымского в Тамбов? Но есть приказ Карпова, а о таких тайных приказах с мирянами разговаривать не полагается. Вот и бросил им Святейший первое, что пришло в голову: «Напрасно преосвященный хочет остаться в Тамбове, он будет там болеть». А Луке написал с привычной псевдозначительностью: «Я не пророк, но убежден, что воля Божия ехать Вам в Симферополь. Может быть, Бог внушил мне сказать это». Воле Божией Лука противиться не стал. Поехал.

Крым и впрямь оказался голодным и разоренным. Кусок хлеба — четверть буханки — стоил на рынке пятьдесят рублей. Крупу хозяйки покупали у крестьян пятидесятиграммовыми стопочками. Ее несли в мешочках, как огромную ценность. Жилище архиерейское на Госпитальной улице — хуже, кажется, не бывает. Второй этаж старого, давно не ремонтированного дома; длинный черный коридор, в котором, кроме архиерея, его епархиальной канцелярии, обитает еще несколько посторонних семей. Клоповник неисправимый и неистребимый. Вдобавок на всем этаже нет уборной. И во дворе тоже нет. У единственного водопроводного крана по утрам — очередь. Днем кухонный чад заползает в кабинет архиепископа, бабья болтовня отвлекает, мешает сосредоточиться.

Можно впасть в уныние, изойти желчью, поехать в Москву с жалобой. У Крымского Владыки совсем другая реакция. Его единственный зрячий глаз ищет радостных красок, светлых интерьеров. Незадолго до отъезда из Тамбова к нему зашла местная художница, пожелавшая написать его портрет. Он спросил ее: «У кого учились?» Художница училась у Фаворского. Лука быстро отреагировал: «Я бы у Фаворского учиться не стал. Его стиль мне чужд. Я бы учился у Лансере». Солнечная радость картин «Мира искусств» видится ему в облике весеннего Симферополя. Он «приятно удивлен прелестным видом белых, как снег, каменных домиков, крытых черепицей, окруженных каменными же заборами, вишнями, акациями. Весь город каменный, мощеный, гораздо больше и лучше захолустного Тамбова». Да и в других отношениях ему здесь больше нравится. «Собор гораздо лучше и больше маленькой тамбовской церкви, где я задыхался. На богослужении много интеллигентных мужчин и женщин… Возможно, что купим дом с садом, особняк… Зам. министра Приоров просил меня консультировать в Крыму по остеомиелиту инвалидов войны…»

Особняк так и остался в области мечтаний. О медицинской работе архиерея тоже долго никто не просил. Зато возникли новые непредвиденные заботы. С тех пор как Лука поселился в курортном Крыму и стал получать десять тысяч рублей архиерейского жалованья, у него отыскалась большая родня, множество людей, которым негде и не на что жить. Они просят поддержать их, помочь, прокормить. Лука несколько растерян. «Лена хочет приехать. Нина с детьми положительно умирает от голода в Киеве, Веру выселяют на улицу, работы не имеет». Но у него и в мыслях нет, чтобы отказать просящему. И он зовет к себе из Киева племянницу Нину с двумя детьми, поселяет у себя другую племянницу, Веру, с дочкой и внучкой. Второй этаж дома на Госпитальной постепенно превращается в муравейник: к 1947 году семья Архиепископа Крымского и Симферопольского, обитающая с ним под одной крышей, достигает восьми человек.

Да что там родные. На Госпитальной, в доме № 1, готовы оказать помощь любому, кто этого пожелает. Обед на архиерейской кухне готовится на 15—20 персон. Обед

немудреный, состоящий подчас из одной похлебки, но у многих симферопольцев в 1946—1948 годах и такой еды нет. «На обед приходило много голодных детей, одиноких старых женщин, бедняков, лишенных средств к существованию, — вспоминает Вера Прозоровская. — Я каждый день варила большой котел, и его выгребали до дна. Вечером дядя спрашивал: «Сколько сегодня было за столом? Ты всех накормила? Всем хватило?»

Сам он ел только насущное. Завтрак из одного блюда. Если подавали второе — сердился. От мяса отказался давно, в пост не ел и рыбы. Одевался более чем скромно. Симферопольская учительница Юдина, которой Лука дал деньги на покупку дома, вспоминает, что преосвященный всегда ходил в чиненых рясах с прорванными локтями. Всякий раз, как племянница Вера предлагала сшить новую одежду, она слышала в ответ: «Латай, латай, Вера, бедных много». Бедных вокруг действительно было предостаточно. Секретарь епархии вел длинные списки нуждающихся. В конце каждого месяца по этим спискам рассылали тридцать — сорок почтовых переводов. На переводы в Ленинград, Тамбов, Сибирь, Ташкент уходила изрядная доля архиерейского жалованья.

Внучка Луки, дочь младшего сына Ольга Валентиновна, дает общую картину симферопольского быта тех лет: «Дедушка никогда не знал, что сколько стоит. Он не понимал, сколько получает. Погруженный в дела религиозные и научные, не знал, кому помогает и надо ли помогать всем этим людям… Он ел каждый день гречневую кашу, носил штопаные подрясники и полагал, что все делается так, как надо». Заявление представителя третьего поколения Войно-Ясенецких не лишено экспрессии, но выглядит не совсем точным. Лука хорошо знал и размеры своих доходов, и груз принятых на себя обязательств. «Я изнываю под тяжестью лежащих на мне денежных повинностей, — пишет он сыну-профессору. На днях я перевел Вале 240 р…Сегодня получил от Лены письмо о безвыходном положении Ани (внучки)… По просьбе ее перевел по телеграфу 1000 рублей. Вике (сестре) должен послать 600 руб. И Любе 200. Нина (племянница)… ей я дал уже 600 р. А сверх того у меня много бедных, которым раздаю и рассылаю около 2000 р. в месяц. Прошу облегчить мое бремя хотя бы в отношении Нины».

Пресс денежных обязательств давил его до самой смерти. И в семьдесят, и в восемьдесят лет Лука более всего боялся потерять архиерейскую службу. Опасался, что тогда останутся без средств обе племянницы с тремя детьми, сестра Вика, престарелая сестра давно умершей жены Евгения, Софья Сергеевна Велицкая и внучка Анна с правнучкой Ирочкой в Ташкенте. А все эти нахлебники за его спиной вполголоса, чтобы не привлекать внимание «дядечки», грызлись и ругались между собой, опасаясь, как бы в дележе архиерейского пирога другая сторона не преуспела больше. О многолетней пантомиме этой Лука не догадывался. И не только оттого, что свято верил в монолитность своей семьи, в искренность каждого ее члена, но еще и потому, что в Крыму оказался он до крайности занятым, еще более занятым, чем в Тамбове и Красноярске.

«Мой предшественник оставил мне очень тяжелое наследство, и мне приходится устраивать разоренную епархию», — писал Лука летом 1946 года. О том, что оставленное ему наследство действительно тяжелое, он узнал, как только начал объезжать 58 крымских приходов. Большинство храмов было открыто сравнительно недавно (до войны на весь Крым оставалась одна-единственная церковка). В приходах архиерею жаловались на недостаток облачений, богослужебных книг, ладана, свечей, лампадного масла. Но сам Лука видел главную беду в самих священниках. Воскрешение, или, точнее сказать, пробуждение ото сна Русской Православной Церкви, торжественно провозглашенное и отпразднованное в столице, для провинции обернулось стороной не

только праздничной: очень скоро выяснилось, что служить во вновь открытых церквах некому. Поколение семинарских выпускников вымерло или ушло в бега, новых священников никто уже много лет не обучал. А так как спрос на батюшек все возрастал, то на свободном рынке рабочей силы произошло некое движение, и возникли личности, способные, по их словам, заместить священнические должности. Епископ Иоасаф, предшественник Луки по Крымской епархии, подпираемый нуждами сего дня, не слишком разбирался в нравственных и профессиональных качествах этих лиц. Главное для него было заполнить некую брешь, поставить в каждую вновь открываемую церковь священника. Он рукополагал, надеясь на старый русский «авось» — авось ничего… Так или примерно так создавалось в середине 40-х годов духовенство по всей России. Священниками становились вчерашние бухгалтеры, неудачливые педагоги, демобилизованные офицеры. Случались в этом потоке искренние идеалисты, добрые пастыри, нашедшие свое истинное место в жизни; но значительно больше оказалось корыстолюбцев, пьяниц, нарушителей седьмой заповеди и просто малокультурных, мелких людишек. В приходах ждала их жизнь сытная и вольготная. Сытная, поскольку средства, собираемые в храмах, Патриархия поначалу учитывала не слишком строго, а разоблачений мздоимцы и пьяницы не боялись — разоблачать их было некому. Сама лишь незадолго перед тем легализованная Церковь более всего боялась обнажать свои внутренние язвы. По логике, которую Патриархия переняла от ведомства антирелигиозной пропаганды, выходило так, что монахи-прелюбодеи и попы-ворюги фактом своего существования доказывают порочность Церкви, сомнительность веры и даже отвергают бытие Бога. Следуя этой логике, епископы в епархии считали своим долгом покрывать поступки среднего духовенства, а Московская Патриархия делала вид, что в церковном доме царит абсолютный порядок. Для уполномоченного же по делам Церкви, где бы он ни служил, поп-распутник, поп-пьяница — чистый подарок. Поп, он и должен быть тайным пьяницей, ему, попу, по старой антирелигиозной схеме просто полагалось быть мздоимцем, бабником и проходимцем. В таком только виде он и устраивал Советскую власть — районную, областную и центральную. С пьяницей и хапугой легко найти общий язык. Его припугнуть нетрудно и стукачом сделать проще простого. Он свой человек, не то что эти гады верующие, с которыми одна морока.

Церковь сталинской эпохи вообще не была рассчитана на искренне верующих иереев. Зачатая в политическом сговоре, она и функции имела только политические. Золотым патриаршим куполом надлежало ей сиять на весь мир во имя мира, дружбы и взаимопонимания народов, с тем, однако, чтобы в приходских недрах своих она постепенно загнивала и отмирала. Всякая иная форма существования была ей запрещена, а при нужде и пресекалась.

И вот в эту нижнюю, приходскую часть Церкви с ее четко оговоренными правилами игры вступил архиепископ Лука, то есть он и прежде, живя в Тамбове, был причастен к епархиальной и приходской жизни. Но там и прихожан, и священников было — раз-два, и обчелся. Там под строгим оком своего архиерея полдюжины тамбовских батюшек и помыслить не могли о скоромном. В Крыму же при сравнительно большом числе храмов, разбросанных на большом пространстве, да еще при узаконенном многолетнем попустительстве бывшего епископа священники сельских приходов привыкли считать себя независимыми царьками. А коли дана русскому человеку воля, то не обойдется он и без своеволия. Так что с первых дней приезда Войно в Крым началась между ним и местным священством бесконечная и жестокая распря, не кончившаяся до самой его смерти.

Вообразите человека, который настойчиво лезет в кинозал, отказываясь покупать билеты, мужчину, который деловито, с шайкой и веником проходит в двери женского отделения бани, субъекта, который хохочет на похоронах и рыдает на свадьбе. Я думаю, что крымским священникам времен Луки Войно-Ясенецкого облик их правящего архиепископа рисовался именно в таких красках.

И действительно, что сказать о должностном лице, которое не желает признавать всем известные правила? Даже такие, нарушение которых грозит его собственному благополучию? Безумец? Гордец? Новый Савонарола? Никаких иных правил и установлений, кроме тех, что предусмотрены Церковными Соборами и записаны в церковных же правилах, Лука признавать не желает. Назначение архиерея он видел в том, чтобы надзирать над духовенством епархии и не допускать ни малейшего отклонения от тех самых правил. Службу свою в Симферополе понимал как дело сугубо личное, ему, Луке, Архиепископу Крымскому, Богом доверенное. Безнравственные священники, провинившиеся дьяконы постоянно слышали от него: «Какой ответ дам перед Богом за всех вас?» Ответ перед Богом был для него не фигуральным выражением, но делом вполне реальным и чреватым серьезными последствиями.

Бывший секретарь канцелярии Крымской епархии о. Виталий Карвовский вспоминает, что негодование преосвященного вызывали не только священники пьющие, но и курящие. Таким назначал он епитимьи — запрещал три месяца служить в храме. Столь же категорически требовал, чтобы священники всегда и повсюду носили присущую их сану одежду и в общественных местах в цивильном не появлялись. «Неверный в малом будет неверным и в большом», — цитировал он Евангелие и наказывал священников, бреющих бороду и коротко стригущих волосы. Духовные уклонялись от непривычных, хотя и вполне канонических требований архиерея. Бунтовали. Но Лука оставался непреклонным. Его канцелярия рассылала распоряжения, по тону и духу восходившие к никоновским Указам семнадцатого столетия:

«Всем отцам благочинным.

…Прошу довести до сведения настоятелей Церкви Вашего Благочиния, что мною лишены священного сана следующие священнослужители Крымской епархии:

1. Протоиерей Нефедов Иоанн

2. Священник Сандулов Григорий

3. Священник Коротков Василий

4. Священник Криптянин Иоахим

5. Протоиерей Чулкевич Владимир запрещен в священнослужении сроком на один год.

Управляющий Крымской Епархией

Архиепископ Лука». **Гром оргвыводов архиерей перемешивает с попытками увещевать, бунтующих. В архиве епархии сохранился следующий документ 1947 года:**

«Недавно мне попался истрепанный служебник литургии одного священника, в котором все нижние углы страниц черны от грязи. О, Господи! Значит, этот лишенный страха Божия священник Тело Христово брал грязными руками, с черной грязью под ногтями! Как же это не стыдно священникам не мыться, быть грязно одетыми, стоять перед св. престолом в калошах (о, ужас!). Я должен поставить в пример рядовых мусульман, которые пять раз в день молятся и перед каждой молитвой омывают лицо, руки, ноги, полощут рот и нос. А стоящие перед престолом в калошах должны знать, что каждый входящий в мечеть мусульманин снимает при входе обувь.

…В нашей епархии уже нет стриженых и бритых священников, но как много их в

других местах! Как много и стыдящихся носить духовную одежду, по моде одетых и ничем не отличающихся от светских людей! А еще давно, давно великий писатель земли Русской Н. В. Гоголь так писал о духовной одежде: «Хорошо, что даже по самой одежде своей, неподвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они (духовенство) отличались от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное оставшееся от осьмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл, она по образу той одежды, которую носил сам Спаситель…» Год спустя Луке снова приходится обратиться к жанру Послания. И снова епархиальная канцелярия рассылает по благочиниям припечатанный чернильным угловым штампом документ, который впору читать на выпускном акте в школе риторики: «Много ли среди вас священников, которые подобны серьезным врачам? Знаете ли вы, как много труда и внимания уделяют тяжелым больным добрые и опытные врачи? Знаете ли, как долго, часами расспрашивают их и всесторонне исследуют их организм, как много лабораторных и иных исследований проводят над ними, как глубоко обдумывают результаты своих расспросов, исследований и наблюдений, чтобы познать причину и сущность болезни и найти правильные пути к лечению ее? Знаете ли это? Но ведь задача врача — только исцеление телесных болезней, а наша задача неизмеримо более важна. Ведь мы поставлены Богом на великое дело врачевания душ человеческих, на избавление от мучений вечных!..» Но, обращаясь к лучшим чувствам своих подчиненных, архиепископ Лука не выпускает из рук и административную дубинку. Он обрушивает ее на головы особенно упорствующих, тех, кто нарушает канонические правила богослужения, кадит холодным кадилом, не по правилам совершает таинство крещения, использует суррогаты ладана и т. п. Этих он запрещает в священнослужении, не забывая напомнить им грозные слова пророка Иеремии: «Проклят всяк, творящий дело Господне с небрежением» (48,10).

Особенно ненавистны Луке корыстолюбцы. Сокрушенно перечисляет он в очередном послании факты стяжательства, называет имена тех, кто превращает священнослужение в источник личного обогащения. «Что делать с таким священником? — восклицает он. — Попробую устыдить его, затрону лучшие стороны сердца его; переведу в другой приход со строгим предупреждением, а если не исправится, уволю за штат и подожду — не пошлет ли Господь на его место доброго пастыря». Угроза уволить за штат не остается пустым обещанием. Из очередного распоряжения по епархии узнаем, что ряд мздоимцев действительно уволены.

В надежде вернуть Церкви первозданную чистоту Лука не ограничивается диалогом с духовенством. Обращается он и к верующим. О содержании его проповедей — речь впереди. Но о нравственном облике прихожан говорится и в распоряжениях по епархии. «Объявить всем священникам, что христиане, малодушно объявившие себя в анкетах былого времени неверующими, должны считаться отступниками от Христа (Матф. 10:33). Их запрещать в причастии на четыре года». Летом 1947 года Лука четко определяет понятие нравственного долга священнослужителя по отношению к верующим:

«Поблажку грешникам, назначение мягких епитимий (поклоны и прочее) считают необходимыми в снисхождение к слабости людей нашего времени. А это глубоко неверно. Именно строгостью исповеди, страхом Божиим надо воздействовать на духовно распущенных людей. Надо потрясать их сердца. Стыдятся люди, не получившие разрешения? Этот стыд необходим для них и спасителен, и нельзя в угоду им малодушно освобождать их от этого стыда… Священникам, считающим желательным сохранить прежнюю практику применения только легких епитимий, напоминаю, что им надлежит

без критики исполнять указания своего Епископа, на которого возложена Богом ответственность за свою паству в епархии и руководство всеми священниками…» Пока преосвященный громит слабоверных мирян и не слишком порядочных священников, на церковном горизонте встает опасность куда более серьезная. Власти окончательно определили новую послевоенную политику по отношению к Церкви. В ней, как и прежде, предусмотрен двойной механизм, шумный оркестр пропаганды (газеты, радио, речи на съездах) и бесшумная работа КГБ, направленная на закрытие храмов. Двойная мехника эта заработала быстро и слаженно. В 1947 году, впервые после войны, «Комсомольская правда» разъяснила своим читателям, что религиозность несовместима с членством в комсомоле. Вслед за тем (и, очевидно, по той же команде) «Учительская газета» осведомила армию учителей, воспитателей и пионервожатых, что надо самым строгим образом искоренять фальшивую теорию о безрелигиозном воспитании школьников: воспитание может быть только антирелигиозным. Тут же и журнал «Большевик» сказал свое веское слово в том смысле, что борьба с религией есть не что иное, как борьба с реакционной буржуазной идеологией. И, наконец, Большая Советская Энциклопедия в новом томе, посвященном СССР, дала официальную справку: «Разрешая свободу культов, Коммунистическая партия Советского Союза никогда не изменяла своего отрицательного отношения к религии вообще».

Эти тезисы растолковывали потом Секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов на Одиннадцатом съезде комсомола (март 1949 г.), московское радио (ноябрь 1949 г.) и радио ленинградское (август 1950 г.), а также многие другие издания и лица. Только руководители Православной Церкви и «Журнал Московской Патриархии» молчали, как бы не про них песенка пелась.

Впрочем, может быть, и не про них. Те, наверху, могли по-прежнему и беспренятственно «бороться за мир» и препираться с «империалистическим наймитом», Константинопольским Патриархом Афинагором. Публичные же проклятия в газетах и по радио предназначались для простых людей, для тех, кто надеялся совместить свою веру с государственной службой, хождение в церковь с пребыванием в институте, молитву с комсомольским билетом. Им, рядовым, в достаточно угрожающем тоне предложили выбирать. Что есть выборы по-советски — они знали, поэтому не надо быть специалистом по социальной психологии, чтобы угадать, какое решение приняли миллионы вчерашних прихожан.

Одновременно началась атака на православные храмы. Операцию эту поручили провести областным чиновникам КГБ, известным в миру под именем уполномоченных по делам Русской Православной Церкви. В отличие от грозных антирелигиозников 20-х — 30-х годов деятели 40-х должны были закрыть храмы сохраняя видимость законности, а главное, без лишнего шума (шум помешал бы Патриархии творить ее патриотическую международную миссию). КГБ начал с законодательства. Выработал правила, по которым как ни крути, а храмы надо закрывать. Не все, не сразу, но сразу всего они и не требовали. Для них важнее всего было наладить непрерывность процесса. Один из их законов гласил, между прочим, что церковь подлежит закрытию в том случае, если в ней шесть месяцев нет священника. Священников в Крыму, как и по всей стране, не хватало, и к осени 1949 года симферопольский уполномоченный погасил лампады в храме города Старый Крым, а затем в селах Желябовке и Бешарани. В опасности оказались церкви еще нескольких населенных пунктов Крыма.

Луке пришлось принять тактику военачальника, располагающего маленькой, но мобильной армией: он перебрасывает «отряды волонтеров» с одного фланга на другой,

переводит священников в пустующие церкви, направляет «подкрепление» из городов в села. Ошарашенный этой военной хитростью, уполномоченный на время отступил. Зато начали упорствовать сами священники. Судьба общего дела волнует их мало, зато ущемление личных интересов переносят они крайне болезненно. Одному не хочется менять доходную Феодосию на нищую жизнь в деревенской церквушке, другой переброшенный жалуется, что ему скучно без семьи. Лука корит малодушных, клеймит корыстных, вдохновляет мужественных.

«Возможно ли, чтобы военнослужащий отказался от перехода в другую воинскую часть? Смеют ли и состоящие на гражданской службе отказаться от переводов на другую службу, хотя бы эти переводы и назначения больно задевали их личные и семейные интересы? Почему же это невозможно в Церкви? Если суровая воинская дисциплина совершенно необходима в армии, то она еще более необходима Церкви, имеющей задачи еще более важные, чем задача охраны Отечества военной силой, ибо Церковь имеет задачу охраны и спасения душ человеческих». Лука стремится привлечь в Крым священнослужителей из других областей страны, благо теплый климат всесоюзной здравницы соблазняет многих жителей Урала, Сибири и средней полосы. Но уполномоченный и этот путь ему отрезает; милиция не прописывает приезжих. Со своей стороны, уполномоченный, чтобы ослабить епархию, составляет «дела» то на одного, то на другого священника. Он требует, чтобы архиерей увольнял неугодных. Но тут уже Лука встает на дыбы и до последней возможности отстаивает каждого «своего» священника. Так она и идет годами, эта игра в крестики и нолики. Какое бы дело ни благословил архиепископ, уполномоченный тут же это дело аннулирует. Его «нули» лезут, напирают, сливаются в единый строй, теснят «крестики» Луки. Впрочем, и уполномоченному с таким архиереем, как Войно-Ясенецкий, не сладко. Очевидно, крымское областное управление КГБ не раз оставляло своих уполномоченных без десерта за скверно выполненное задание. А их, задания, не так-то просто было выполнить с этим жестковыйным Лукою!..

Продолжая не слишком оригинальную, но достаточно точную «военную» систему сравнения, я сказал бы, что в Крыму Войно вынужден был вести боевые действия на трех фронтах. Он воевал с безнравственными священниками, атаковал маловерных мирян, развернул сражение с уполномоченным. Но, может быть, самое удивительное, что этот одинокий престарелый воин в какой-то момент открыл и четвертый фронт — против самого Патриарха. На этом «фронте» действия приобрели, я бы сказал, не истребительный (помилуй Бог!), а тактический характер. Внешне обе стороны соблюдали отношения вполне корректные. Патриарх, отдыхая в Крыму, побывал в гостях у Луки в Симферополе и на даче в Алуште. А повстречавшись в Одессе, Святейший нанес Крымскому архиерею визит в гостиницу. Ровесники и как будто единомышленники, два иерарха не раз дружелюбно беседовали в Москве, а однажды вместе сфотографировались. И тем не менее всякий раз, когда Крымский архиепископ считал положение в Церкви ненормальным, он, нисколько не стесняясь, письменно и устно заявлял об этом Патриарху. Унять критическую мысль Луки пытались не раз, но делали это в Москве настолько вяло и безынициативно, что Войно-Ясенецкий только убеждался в своей правоте. Так было и в начале 1948 года, когда Луна обратил внимание Святейшего на тяжелое положение сельских храмов:

«По воскресеньям и даже праздничным дням, — писал Крымский архиерей, храмы и молитвенные дома почти пустуют. Народ отвык от богослужения и кое-как лишь сохраняется обрядоверие. О венчании браков, об отпевании умерших народ почти забыл.

Очень много некрещеных детей. А между тем, по общему мнению священников, никак нельзя говорить о потере веры в народе. Причина отчуждения людей от Церкви, от богослужений и проповедей лежит в том, что верующие лишены возможности посещать богослужения, ибо в воскресные дни и даже в Великие Праздники, в часы богослужений их принуждают исполнять колхозные работы или отвлекают от Церкви приказом привести скот для ветеринарного осмотра, устройством так называемых «воскресников».

Обнажив, хотя и невольно, картину крепостной сталинской деревни, Лука завершает письмо неожиданным пассажем: «Это бедственное положение Церкви может быть изменено только решительными мероприятиями Центрального Правительства». В связи с этим он, архиепископ Лука, просит Святейшего ходатайствовать перед правительством о том, чтобы оно предоставило верующим свободу посещать церкви в праздничные дни. Всего только!

О политической наивности (точнее, о политическом соблазне) Крымского Владыки уже достаточно говорилось. Как ни горько звучит письмо о судьбе сельских храмов и деревенских прихожан, ничего нового во взглядах Луки оно не открывает. Зато резолюция Патриарха Алексия заметно дорисовывает для нас портрет Святейшего.

«Печальное сообщение. Но нам видно, на основании других сообщений с мест, что это — явление местное. И на месте же оно должно быть разрешено в благоприятном смысле, путем сношений Епархиального Архиерея с уполномоченным совета по Крымской Епархии». …Документы и свидетели подтверждают: для архиепископа Луки вторая половина сороковых годов — время страстного увлечения делами Церкви. Он администрирует, проповедует (проповеди его заполняют уже несколько машинописных томов). Особенно любит он службу в храме. Многочасовые службы истомляют, доводят до полного изнеможения, но Владыка не желает для себя никаких поблажек. Но что же при этом стало с хирургом Войно-Ясенецким, куда девался лауреат Сталинской премии, профессор, автор прославленных книг?

На то, что две ноши нести ему не под силу, Лука начал жаловаться еще в конце войны. «Угасает моя хирургия, и встают большие церковные задачи», писал он старшему сыну. И осенью того же года снова: «Хирургия несовместима с архиерейским служением, так как и то и другое требует всего человека, всей энергии, всего времени, и Патриарх пишет, что надо мне оставить хирургию».

В том же году, побывав в Москве на операциях талантливого Сергея Юдина, Лука оставил в книге почетных посетителей клиники многозначительную запись: «Хирург в прошлом — блестящему хирургу настоящего и будущего профессору С. С. Юдину. Свидетельствую свое восхищение Вашей блестящей техникой и неисчерпаемой энергией в строительстве новой хирургии нашей великой Родины». «Хирург в прошлом…» Верил ли он, что его путь в хирургии уже завершен? Так, во всяком случае, может показаться. Незадолго до отъезда из Тамбова Войно писал Зиновьевой: «Мое сердце плохо, и все исследовавшие его профессора и врачи считают совершенно необходимым для меня оставить активную хирургию». Пугает его и катаракта на единственном зрячем глазу: в перспективе встает опасность слепоты. «Впрочем, может быть, я и не доживу до нее, — восклицает Лука, — ведь мне уже шестьдесят девять…»

В то время, когда писались эти строки, профессору-архиерею предстояло еще более пятнадцати лет жизни, половина из которых — в активной научной и медицинской деятельности. Что же касается невозможности совмещать врачевание души и тела, то разговоры эти тотчас прекратились, когда Лука понял, что в Крыму его хирургия никому не нужна.

«В Симферополе нет запроса на мою медицинскую работу. Я живу здесь полтора месяца, и никто о ней не заикается», — с обидой пишет Войно Зиновьевой летом 1946-го. — Причина равнодушия к Войно-хирургу лежала на поверхности: в конце 1946 года профессор в рясе был такой же политической бестактностью, как и в 1940-м.

Директор Симферопольского медицинского института и его ученый совет почли за лучшее сделать вид, что о приезде профессора Войно-Ясенецкого в город им ничего не известно. Они показали себя даже менее осведомленными, чем их ученики: во всяком случае, студенты-медики вышли встречать Луку с цветами. Студенты были наказаны за «недостойное поведение» (с цветами попа!), профессора повели себя как истинные пай-мальчики. В состав ученого совета автора «Очерков гнойной хирургии» они так и не ввели.

Лечить больных в госпитале и читать лекции врачам Луке в конце концов разрешили, но из этого почти ничего не вышло. Предубеждение против креста и рясы у местных медиков оказалось сильнее профессиональной любознательности. В начале 1947 года Лука огорченно сообщал сыну:

«Моя медицина свелась к приему на дому двух — четырех больных в день… Мои доклады в Хирургическом обществе и на двух съездах врачей имели огромный успех. В Обществе все вставали, когда я входил. Это, конечно, многим не нравилось. Началась обструкция. Мне ясно дали понять, что докладов в своем архиерейском виде я больше делать не должен. В Алуште мой доклад (по просьбе врачей!) сорвали… Я дал согласие два раза в месяц читать лекции по гнойной хирургии и руководить работой врачей в хирургических амбулаториях. И это сорвали. Тогда я совсем перестал бывать в Хирургическом обществе. На консультации меня не приглашают». Впрочем, долго унывать он не умел. Как только четко определилась эта вечная альтернатива его жизни — епископ или хирург, — Войно тут же возжелал доказать супостатам, что по-прежнему способен сохранять себя в обеих ипостасях. И не только возжелал, но и практические меры принял. Объявил бесплатный врачебный прием, и сотни хворых со всего Крыма хлынули на второй этаж архиерейского дома на Госпитальной. Тут же начал Лука готовиться к поездке на Всесоюзный съезд хирургов в Москве. Эта поездка была особенно привлекательна оттого, что заместитель наркома здравоохранения Н. Н. Приоров на свой страх и риск разрешил ему выступать в архиерейском облачении. Другому заместителю министра Войно-Ясенецкий направил в 1948 году письмо-жалобу на то, что медицинские журналы не публикуют его, Войно-Ясенецкого, научных статей, а Издательство медицинской литературы отказывается переиздать диссертацию «Регионарная анестезия». Между тем проблема, поднятая в диссертации тридцать лет назад, не устарела; дополненная новыми материалами, такая книга смогла бы принести хирургам несомненную пользу.

Выступить перед хирургами в рясе ему не пришлось, помешала болезнь. А согласие медицинского издательства на выпуск переработанной диссертации он все-таки получил. И тут же, на Пасху 1949 года, в самое горячее для епископа время, отправился в Москву. Его жизнь в столице мало походит на жизнь командированного в Патриархию епископа. Луку редко видят в прихожей Святейшего. Другое его занимает. «За две недели, работая в медицинской библиотеке по шесть часов в день, я с отличным успехом проделал огромную работу: просмотрел и прочитал 450 литературных источников по регионарной анестезии, и все на иностранных языках. Теперь остается прочитать в Симферополе статьи в русских журналах, часть английской книги на 200 страниц… останется написать 75—100 страниц, и будет новая книга…»

Лука в ударе. Куда девались его жалобы на возраст, на нездоровье! Взвалив на себя, сверх церковных служб, проповедей, приема больных и административной работы по епархии, еще и сбор материалов для монографии, он сообщает близким, что в семьдесят два года здоровье его милостью Божией весьма недурно; в роду Войно-Ясенецких существует наследственная долговечность: отец умер на девяностом году, мать — на семьдесят девятом, а их отцы и матери жили и по сто лет. «Правда, — добавляет Лука, — они жили спокойной жизнью, а не такой, как мы».

Очевидно, тогда же, в начале 1949 года, симферопольские военные медики (то ли более мужественные, то ли более независимые, чем гражданские) направили к Войно своего представителя. Военные просили поучить их гнойной хирургии. В роли посла удачно дебютировала Мария Федоровна Аверченко, военный фармацевт в запасе, лыжница, бегун на длинные дистанции и парашютистка-десантница. Мария Федоровна (подтянутая, поджарая фигура амазонки и милое, румяное лицо русской женщины) охотно вспоминает свое знакомство с Лукой. С опаской приближалась она в первый раз к квартире архиерея. В голове бродили школьные рассказы о попах, вбитое с младенчества презрение и подозрение ко всему церковному, религиозному. Но стоило ей увидеть сердечную улыбку старого, мудрого человека, услышать его басовитый голос, как страх и скованность рассеялись без следа. Через много лет в памяти осталось ощущение встречи с человеком, физически очень чистым («Волос от волоса отходил, борода прозрачная даже») и простым, простым до крайности. Поразил ее и кабинет профессора. Какие-то бедные половики, старенькая мебель, много икон и книг. На камине портреты Сталина и Патриарха. Еще запомнился на стене портрет красавицы жены кисти самого Войно. Когда она сказала, что дирекция госпиталя приглашает его в качестве консультанта, Лука не скрыл радости. «С удовольствием, с удовольствием», повторил он. О вознаграждении Мария Федоровна говорить не стала, увидела на дверях квартиры дощечку о бесплатном приеме больных и сообразила: разговоры о деньгах здесь неуместны.

К приезду консультанта все отделения госпиталя готовили обычно самых тяжелых больных. Войно заходил в кабинет главного врача, снимал монашеский подрясник и облекался в свой излюбленный халат. В свое время миссис Черчилль прислала для инвалидов войны два вагона медицинских инструментов, медикаментов, лабораторное оборудование. Входили в этот комплект и длиннополые хирургические халаты с пелеринками. Остальным врачам халаты казались некрасивыми да и велики. А рослому Луке английская обнова пришлась как раз по плечу. Выглядел он в ней особенно значительным и солидным.

Несколько раз консультанту пришлось браться и за скальпель. Одного пациента, секретаря Керченского горкома партии, доставили в Симферополь с гнойным процессом в тазовых костях. Случай тяжелый, почти безнадежный. И главный врач госпиталя попросил, чтобы оперировал профессор. Смотреть на эту операцию сбежались все врачи госпиталя и несколько медиков из городских больниц. По словам Марии Федоровны, работа Луки оставила у присутствующих чувство, близкое к праздничному. Еще до первого разреза Войно предсказал все точки, где он надеется обнаружить гной. И действительно, предсказания ученого везде сбывались. Ему удалось хирургическим путем очистить от гноя огромное, анатомически чрезвычайно сложное пространство.

После операции истомленному хирургу поставили кресло в госпитальном саду под яблоней. Но отдыхать не пришлось. В сад ворвалась жена оперированного. Человек деловой, она сразу принялась осведомляться о цене: «Чем я вам обязана, профессор?»

Повернув голову в ее сторону. Лука ответил: «Вы обязаны мне досвиданием». Дама намека не поняла, стала горячо толковать о том, что они с мужем ничего не пожалеют, что у мужа в Керчи огромные возможности… Дальше Лука слушать не стал. Поднялся во весь рост, вознес над не слишком крупной дамой свою величественную фигуру и, прежде чем уйти, еще раз очень четко произнес: «Вы мне обязаны до-сви-да-ни-ем».

Мария Федоровна копается в памяти, ей не хочется упустить ни одной мелочи, относящейся к великому хирургу. Однажды она видела, как пациент из госпиталя, бывший солдат, рвался в операционную, умоляя допустить его к Луке. Солдата задержали. Он волновался, горячился, втолковывал сестрам, что он не просто так лезет, а по делу. Во время войны погибал он в Красноярске от гангрены и уже письмо прощальное домой послал, да профессор Ясенецкий спас ему жизнь. Когда Войно вышел из операционной, солдат бросился к нему: «Вы меня, конечно, не помните, профессор…» «Почему же не помню», пробасил Лука и тут же назвал солдата по фамилии и даже сказал, какая у него рана была. Солдат весь засветился от счастья, а Лука, тепло поглядев на него, добавил: «А я, знаете, не очень-то надеялся тогда на успех». Они еще долго стояли в госпитальном коридоре, но Аверченко не слышала их разговоров. Видя, как хорошо этим двоим — спасенному и спасителю, — врачи и сестры отошли в сторону.

По словам Марии Федоровны, Войно-Ясенецкий оперировал и консультировал в их госпитале до 1953 года, когда глаз отказал ему окончательно. Боюсь, что она ошибается. Есть сведения, что от услуг хирурга-архиепископа в госпитале отказались раньше. В июне 1951-го Лука писал Зиновьевой: «Вряд ли Вам интересна моя теперешняя жизнь, ибо я теперь «архиерей, архиерей от головы до ног» («Король Лир»)… От хирургии я отлучен за свой архиерейский сан, и меня не приглашают даже на консультации. От этого погибают тяжелые гнойные больные…» В том же письме рядом с жалобами на падающее зрение есть и другое сообщение. Войно продолжает читать журнал «Советская медицина», «Вестник хирургии» и книги по специальности. Отлучить его от хирургии совсем не так просто…

Кстати, о парафразе из «Короля Лира»: «Архиерей, архиерей от головы до ног». Да, несмотря на взрыв медицинской активности, Лука на рубеже пятидесятых годов чувствует себя прежде всего лицом духовным. И отношения с наукой у него к этому времени меняются. Науку, ее плоды он начинает оценивать прежде всего с религиозной точки зрения. Нам уже приходилось говорить о роковой якобы несовместимости науки и религии, называть имена крупнейших ученых-христиан, которые самим фактом своего существования отвергали и отвергают неизбежность конфликта между научным творчеством и верой. Религия и дочерняя ей мораль, по мнению ряда ученых-мыслителей, есть сферы, где человек обнаруживает для себя высшие ценности духа. Поэтому, по мнению Макса Планка, «наука и религия в истине не противоречат друг другу, но для каждого мыслящего человека нуждаются во взаимном дополнении друг друга».

Того же взгляда держался и профессор Войно-Ясенецкий, но с годами, не изменяя общей концепции, он несколько сместил акцент: в каждом своем и чужом научном труде принялся искать элемент религиозного, христианского смысла. Желание во что бы то ни стало найти внутреннюю связь между медициной и христианством особенно ясно проступает у него в Крыму. Приемы больных, консультации, операции становятся принципиально бесплатными. Врач оказывает помощь больным так же, как он рассылает денежные переводы нуждающимся или кормит за своим столом голодных, — во имя Бога. Об издании медицинских книг, публикации статей в журналах Лука тоже

все чаще говорит лишь как о средстве поднять авторитет, нет, не свой и не своей науки, но Церкви. С той же позиции рассматривает он и премию Сталинскую, и свою славу хирурга. Стремление научными знаниями послужить вере, христианству, православию присутствовало в его помыслах и прежде, но после войны такое служение становится основным смыслом его научного поиска. В обстановке возрастающего государственного давления на Церковь этот принцип Луки обретает характер жертвы.

Все чаще задумывается Войно и над философскими целями науки. В его письмах то и дело проскальзывает вопросительная интонация: можно ли только пользой и количеством информации определять ценность открытий и изобретений? Ему кажется, что эти две категории не раскрывают всех аспектов научного созидания. Примат видимой пользы в какой-то степени искажает роль науки. Даже медицинской. Лука ищет в науке религиозно-нравственный смысл. В частности, его начинает занимать этическое лицо исследователя. Прежде казалось достаточным знать фамилию коллеги и его научные труды. Теперь он с удовлетворением замечает у профессора С. С. Юдина не только талант хирурга, но и обостренный эстетизм, а также тяготение к проблемам философским, метафизическим, религиозным. Лука радуется вновь обнаруженной грани в натуре младшего коллеги. Успех Юдина-хирурга для него освещается теперь верой Юдина-христианина. Дружеские отношения складываются у Луки с академиком В. П. Филатовым. Филатов принял в свой институт Валентина Войно-Ясенецкого, наблюдает за больным глазом Крымского архиерея. Но главная притягательность этой личности видится Луке в ином. После поездки в Одессу он пишет сыну Алексею: «Филатов… очень хороший человек, вполне верующий. Я был у него два раза, и он приезжал ко мне в гостиницу прямо-таки для исповеди». И в другом письме: «С Филатовым долго беседовал о его научной работе и душевных делах. Он вполне религиозный человек».

Для Войно религиозность ученого становится некоей гарантией против безнравственности научного поиска, против бесчеловечности будущих открытий и изобретений. Только в единении с Богом могут быть созданы подлинные ценности. Но для достижения самых высоких научных вершин и религиозности мало. В этом случае, по мнению Луки, исследователю надлежит быть отмеченным «перстом Божиим», его труд должен быть благословенным. О таких «отмеченных благодатью» научных трудах Войно говорит с подъемом, даже со страстью: «Они должны рождаться свободно, легко, без искусственности, должны быть «пропеты» миру, так же как поет свою песню птица… Она поет потому, что не может не петь. Это ее потребность, это дар Божий, как все ее бытие и ее житейская и физиологическая сущность, с каких бы философских и этических позиций вы ни рассматривали причину пения птицы… Вспоминаю свою работу по анестезии. Местное обезболивание, оно захватило меня, и я один, на периферии, безо всякого руководства со стороны клиник, сам «пел свою песню», и она рождалась с необыкновенной легкостью и продуктивностью. Мысли рождались, бежали, опережая друг друга, не создавая хаоса, и я едва успевал применять их на практике. Было необыкновенно легко и радостно».

Эти слова Войно-Ясенецкого записал Николай Александрович Овчинников, в прошлом хирург, а ныне священник Вознесенского собора в Ельце. Запись эта (из которой я взял приведенные выше строки) стоит того, чтобы привести ее полностью.

«Это было 27 февраля 1946 года, в канун годовщины смерти И. П. Павлова, — пишет доктор Овчинников. — Уже вечерело, и улицы Тамбова были оживленны. Я подошел к дому, где тогда жил Владыка, и, позвонив, был несколько обескуражен заявлением его келейника, что сегодня видеть Владыку мне не удастся вследствие его занятости.

Отрекомендовав себя и указав на цель своего приезда, я рассчитывал на некоторое снисхождение к себе, но… вернувшись вторично от Владыки, послушник передал мне, что меня примут только завтра, в десять утра.

На следующий день точно в десять я вошел в кабинет-келью. Оказалось, что Владыка вчера совершал на дому заупокойную всенощную в канун смерти академика Ивана Петровича Павлова. Усадив меня против себя, он внимательно всматривался в меня, как бы изучая своими проницательными глазами, особенно после того, как узнал, что я врач и к тому же верующий. Узнав причину моего визита — получить благословение на начатую научную работу, он углубился в план ее и, закончив, снова прочитал вслух ее заглавие: «Гастролиенальный синдром в клинике почечно-каменной болезни».

— Судя по плану, работа трудоемкая и кропотливая, особенно в анатомическом разделе ее… — И, подумав немного, добавил: — Вы, конечно, рассчитываете на нее как на диссертацию?

— Безусловно, — ответил я, — работа выходит из рамок журнальной статьи.

— Согласен с вами. — И, как бы думая о чем-то своем и собираясь сказать многое, с некоторой экспрессией начал: — Сейчас многие врачи пишут диссертационные работы, но, к сожалению, в большинстве своем они научно легковесны. Это происходит оттого, что они надуманны и грешат искусственностью, что ведет не только к нагромождению фактов, но и к толкованию их часто в желательном для диссертанта направлении. Последние (бывает и так!) далеко отводят от истины. Вот беда!

Далее, анализируя отдельные этапы моей работы, он откровенно заявил, что не видит в ней большого практического значения, тем более научного.

— Я не оперировал на симпатической нервной системе брюшной полости, но скажите, кому из хирургов и анатомов не известна неврогенная связь почки с другими органами — желудком, селезенкой, сердцем? Все эти органы находятся в тесной не только анатомической, но и гуморальной связи. Это известно давно, и выяснение отдельных деталей вряд ли внесет что нового. Так с научной точки зрения. А если посмотреть с христианской… невольно возникает вопрос: зачем нужна такая диссертация? Для вашей славы? Или, может быть, как дань времени — все, мол, пишут, чем я хуже других? Не ради ли честолюбия? Последнее — страсть, порок души, язва в ней. И вам, верующему врачу, это надо помнить, всегда помнить слова Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божьего и правды его, а все остальное приложится вам». Вот все, что легло мне на сердце сказать Вам по интересующему вопросу. В деятельности врача много возвышенного, светлого и спасительного для души…

Этим в основном закончилась наша беседа…» — пишет доктор Овчинников. А заодно (добавлю от себя) и заботы собеседника архиепископа Луки о своей диссертации. После двадцати лет работы в хирургических клиниках Николай Овчинников целиком посвятил себя Церкви. Итак, наука в единстве с верой и даже во имя ее…

Для Луки Войно-Ясенецкого, во всяком случае, это аксиома. Он на первом издании своих «Очерков» хотел видеть надпись «Епископ Лука». Второе же издание книги полностью расценивает как победу дела, благословенного Богом. Выходу «Очерков гнойной хирургии», как и своей Сталинской премии, посвящает он специальные беседы в храме. Войно верит, что его научный труд привлечет к православию многих интеллигентов. Так оно и было. Во всяком случае, вспоминаю, с какой гордостью рассказывал он мне о передаче, слышанной по радиостанции Би-би-си: группа французских юношей и девушек перешла в православие, сославшись в своей декларации

на христианских ученых в СССР Ивана Павлова, Владимира Филатова и Луку Войно-Ясенецкого.

Ученые-атеисты склонны считать религиозность помехой к настоящему творчеству. По их мнению, вера искажает для исследователя объективную картину естественного мира. Все, что мы знаем о Швейцере, Тейяре де Шардене, Эйнштейне, Павлове, Филатове, а также о таких корифеях естествознания — христианах, как Либих, Кювье, Уоллес, Фарадей, Рентген, Майер, Максвелл, Герц, Планк, опровергает миф о ядовитых плевелах веры. В научных книгах Войно-Ясенецкого его неверующие рецензенты также не могли найти никакой аберрации. Один из советских хирургов, весьма официозный профессор И. Г. Руфанов, в отзыве на две представленные на Сталинскую премию монографии Луки писал:

«С именем проф. Войно-Ясенецкого у советских хирургов связано представление как о лучшем знатоке и специалисте в области гнойной хирургии. Это мнение как у высококвалифицированных хирургов, так и у практических врачей явилось следствием знакомства широких врачебных масс с «Очерками гнойной хирургии», изданными десять лет назад…

Монография «Поздние резекции"… представляет исключительный интерес… Ценность монографии в оценке анатомического состояния и клиники больного, исключительная четкость в описании затеков при повреждении отдельных суставов. Изложена работа очень просто, убедительно для читающего, так как каждое оперативное действие подкреплено анатомическими данными. В книге не только нет лишних глав, но нет лишних фраз…

Монография «Очерков гнойной хирургии», как уже говорилось, выходит вторым изданием, но при чтении книги можно видеть, что от первого издания не осталось не переработанной ни одной главы… В представленных двух монографиях проф. Войно-Ясенецкого мы имеем исключительно ценный труд. Автор показал себя блестящим хирургом как при изучении, так и при оперативном лечении тяжелых повреждений военного времени. Вся работа оригинальна…» В этих последних словах для профессора Руфанова — высшая ценность научного труда. Для Луки, однако, этого мало. В том самом году, когда члены Комитета по Сталинским премиям выставили ему высшую оценку за оригинальности, он в двух строках определил то главное, что увидел для себя в хирургии:

«ДЛЯ ХИРУРГА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ «СЛУЧАЯ», А ТОЛЬКО ЖИВОЙ СТРАДАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК.

Архиепископ Лука. 16. X.1944 г.» **«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты». Не раз приходилось убеждаться: книги личной библиотеки многое, очень многое говорят об их хозяине. Но что сказать о книголюбе, у которого тома на полке стоят в следующем порядке:**

В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм
А. Эйнштейн, Л. Инфельд. Эволюция физики. 1948
А. И. Опарин. Возникновение жизни на Земле. 1936
Православный церковный календарь
Ф. В. Феррар. Жизнь Иисуса Христа. 1899
Маркс, Энгельс. Манифест Коммунистической партии
Энциклика папы Льва XIII о соединении церквей. 1895
Эбрард. Научное оправдание христианства. 1877.
Ф. Энгельс. Диалектика природы
Вл. Соловьев. Собрание сочинений

Блохинцев и Драбкина. Теория относительности А. Эйнштейна. 1940
Учение Св. Иоанна Дамаскина о происхождении Св. Духа
Естественнонаучные основы материализма. Часть II
Биология
Фенелон. Бытие Бога, доказанное познанием природы и человека. 1809 и т. д., и т. п.

Нетрудно догадаться, что я говорю о книгах профессора Луки. Просматривая их несколько лет назад в Симферополе в квартире родственников Войно-Ясенецкого, я терялся в догадках. К чему могла послужить архиерею-профессору такая библиотека? Ответ пришел лишь после того, как я обратился к переписке Войно с сыновьями. В феврале 1945 года Лука сообщил Михаилу: «Непременно хочу написать книгу о духе и теле. А это очень большая задача, и я очень занят ею. Очень важные мысли, почти целая система философии». В марте он снова дважды возвращается к той же теме: «Алеше я писал, что мне очень важно знать, чем и как доказано, что клетки головного мозга, не в пример другим клеткам тела, сохраняются в течение всей жизни. Для меня это один из основных вопросов, но Алеша туг на письма, и поэтому я прошу тебя узнать это и рассказать мне». И еще: «Мне очень важно познакомиться с современным состоянием физиологии симпатической нервной системы. Узнай, по каким источникам мог бы я это сделать».

Таковы первые вести о книге, в которой, опираясь на данные современной науки, архиепископ Лука задумал доказать трехсоставный духовно-физический характер человека. По существу же покусился он на всю громаду советской естественнонаучной доктрины. Удивительная получилась ситуация. В конце войны политический ортодокс, автор страстных просоветских опусов, публикуемых в русских и зарубежных изданиях, козырь в сталинской международной игре, архиепископ Лука собирает библиотеку, цель которой подготовиться к полемике с философией советских вождей — диалектическим материализмом. Более того: о материи, природе, сущности жизни и человека он собирается спорить публично! При Сталине — публично! В пору, когда миллионы людей из года в год как молитву зазубривали основополагающие идеи классиков марксизма о первичности материи и вторичности сознания, о том, что наших пяти органов чувств за глаза хватает для открытия всех тайн мира, а духовная жизнь человека — всего лишь жалкая надстройка над величественным зданием фабрично-заводского комплекса, этот странный Лука позволяет себе не только сомневаться в святости идей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, но еще и подыскивает встречные аргументы. Да что там аргументы! Он книгу хочет писать про то, что все в мире обстоит совсем не так, как в учебнике, утвержденном Центральным Комитетом партии. Не обезумел ли часом престарелый иерей?

Нет, к работе над книгой «О духе, душе и теле» Лука подошел деловито, разумно и, я бы сказал, закономерно. Она естественно вытекала из прежних его раздумий о науке и религии, о своей собственной роли по отношению к двум этим стихиям. Долгое время он желал творить передовую науку во славу веры, во имя Церкви. Нет ничего удивительного, если в какой-то момент он пришел к выводу, что основные христианские тезисы, самую веру можно обосновать для неверующих, пользуясь научными аргументами. А как же иначе разговаривать с людьми в век науки?

Сама по себе такая методология не была новшеством. На заре мусульманства религиозные авторы Востока считали, что «науки освещают дорогу в рай». Они убеждали единоверцев: «Впитывайте знания даже из уст неверного. Чернила ученого священнее крови мученика». Для европейских естествоиспытателей XVI-XVII веков цель

химических и физических опытов также виделась в том, чтобы открыть человеку его Творца. «Я докажу вам существование божественного Провидения, анатомируя вас», — говорил знаменитый анатом Иоганн Сваммердам (1637—1680). А основатель пиэтизма лютеранский богослов Филипп Яков Шпенер (1635—1705) писал в своей книге «Pia desideria» (1675): «Бог сокрыт, пути Его — не наши пути. Его мысли не наши мысли. Но в точных естественных науках, где Его творения физически осязаемы, мы имеем надежду попасть на след Его намерений относительно Мира».

В XVIII-XIX веках возникла большая научно-апологетическая литература, не заглохшая и в двадцатом столетии. Она сделала свое дело: мысль о единстве религии и науки обрела прочное гражданство в сознании современного цивилизованного общества. Примеры? Их множество, но хватит и одного. Когда в начале 50-х годов нынешнего столетия в Нью-Йорке строилась церковь Риверсайд-черч, архитекторы предложили украсить ее каменными рельефами святых, пророков, королей и философов. Священники нового храма опросили прихожан, каких именно ученых и философов они хотели бы видеть над входом в свой молитвенный дом. Большая часть верующих назвала Архимеда, Галилея и Эйнштейна. Каменные изваяния великих провидцев науки заняли свое место на фронтоне Риверсайд-черч рядом со святыми и мучениками.

По ряду причин западная традиция не получила развития в России. Мысль в непротиворечивости науки и религии казалась чуждой большинству русских авторов. А уж о том, чтобы утверждать богословские истины с помощью фактов науки, — об этом никто почти и думать не смел. Вся история русского православного богословия едва ли знает два-три таких сочинения. А в советское время — ни одного. Автору книги «О духе, душе и теле» предстояло прокладывать на родной почве свежий след…

Как и все, за что он брался в своей жизни, Лука начал новый труд с деловитой страстностью. Для своей работы он стремится получить самую авторитетную аргументацию. Привлекает самые солидные источники. Осенью 1945 года, приехав на несколько дней в Москву, Лука обращается к знаменитому физиологу, ученику и продолжателю И. П. Павлова, Леону Абгаровичу Орбели:

«Я пишу на, вероятно, неожиданную для Вас тему: о сердце как органе высшего познания. Для этой работы мне хотелось бы поговорить с Вами о так называемой «психической деятельности» лобных долей полушарий и коры мозга. Не благоволите ли уделить мне время для этой беседы?» Какие-то случайные обстоятельства помешали двум ученым встретиться, но работа над книгой продолжалась. Лука ищет и находит достойного доверия физика, который, прочитав рукопись, рекомендует список современной литературы по основным вопросам мироздания. Работа спорится. К концу 1947 года рукопись завершена и даже переработана. Так что время написания эссе «О духе, душе и теле» не вызывает как будто сомнений- 1945—1947 годы. И все-таки мне кажется, что начало этой работы относится ко временам значительно более давним.

Галина Шамина, школьница из Красноярска, чьи воспоминания мы цитировали, пишет о событиях 1941—1942 годов: «Дедушка был человеком верующим… и писал в то время два труда одновременно: «Очерки гнойной хирургии"… и какую-то книгу духовную». Есть основания полагать, что для того же духовного сочинения понадобилась Луке в 1942 году специальная литература, о которой он писал сыну: «Если у тебя есть книги по биологии (в особенности Леб), то, пожалуйста, поскорее пришли мне. Мне нужно прочесть, как в жидкостях (кажется, масляных) образуются фигуры, чрезвычайно похожие на растительные клетки». В рукописи «О духе, душе и теле» мы находим пассаж, явно написанный под влиянием опытов немецкого биолога Жака Леба (1859—1924).

Меня не оставляет, однако, подозрение, что мысль о научной и вместе с тем антиматериалистической книге имеет корни еще более глубокие, что мечту подорвать философский фундамент своих гонителей — материалистов вынашивал Лука в ссылках и тюрьмах 20-х-30-х годов. Некоторыми фактами, которые вошли потом в книгу «О духе…», Лука уже в 1939 году делился со своим однокамерником по Ташкентской тюрьме Брагинским. А еще раньше некий Сергей, чью фамилию и общественные взгляды установить не удалось, сделал на потрепанном томике дарственную надпись: «Епископу Луке на память о туруханской ссылке и совместных этапах… Станок Карасино, Туруханский край. 13. XII.24 года». Тот подаренный в первой ссылке томик принадлежал перу Франца Альберта Ланге и именовался «История материализма и критика его значения в настоящее время». Перевел с немецкого в 1899 году М. М. Страхов. Не с того ли, читанного на енисейском этапе сочинения все и пошло?

Если в книге Войно-Ясенецкого отбросить второстепенные детали, то открывается следующая логическая конструкция. В главе (она как бы служит прологом) автор обсуждает состояние современного (1945 год!) естествознания. «Архиепископ Лука дал яркую и объективную картину революции в физике, которая связана с именами Эйнштейна, Планка, Бора и Шредингера, пишет в своем отзыве на книгу протоиерей о. Александр Мень. — Эта картина… нарисована с целью поколебать устоявшиеся представления читателей о незыблемости научных догм». И действительно, приводя высказывания то одного, то другого видного физика, Войно обнаруживает, насколько относительны, сомнительны, противоречивы представления ученых даже о таком давно изученном явлении, как электричество. Разворачивая перед читателем историю исследования разных форм энергии: электричества, волн Герца, лучей Рентгена, катодных лучей, радиоактивных излучений, арх. Лука высказывает убеждение, что в мире должны действовать и другие неведомые нам формы энергии, и среди них духовная энергия, которую автор считает «первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а через них и самой материи».

«Духовная энергия, истекающая от Духа Божия, энергия любви, движет всей природой и все животворит… — заявляет автор в третьей главе своей книги (о второй главе мы скажем несколько позже). — Один великий закон развития управляет всем мирозданием… Не может быть резкой границы между «мертвой» природой и миром живых существ… Духовной энергией проникнута вся неорганическая природа, но только в высших формах развития (творения) эта энергия достигает своего свободно самосознающего духа». Что касается человека, то арх. Лука принимает взгляд своих предшественников, православных авторов, на трехсоставный характер людской природы. Человек в соответствии с этой точкой зрения состоит из трех «сфер»: духа, души и тела. Тело — это то, что роднит человека со всей природой, душа — с животным миром, и только дух — специфическое отличие человека. Находясь в тесном сплетении с душой и телом, дух вместе с тем независим. Он бессмертен и предшествует появлению человека на свет. Дух творит формы человеческих тел. «Дух грубый и жестокий, — пишет Войно, — уже в процессе эмбриогенеза направляет развитие соматических элементов и создает отражающие его грубые, отталкивающие формы. Дух чистый и кроткий творит себе полное красоты и нежности жилище. Вспомним мадонну Рафаэля, Джоконду Леонардо да Винчи». Дух и есть сущность человека. Но сущность эта может отделяться от нас при жизни и после смерти, может приобретать материальное человеческое подобие независимо от нашего тела. Так, дух умершего или умирающего не раз являлся живым. Эти суждения свои Лука иллюстрирует большим числом примеров, которые черпает из

сочинений французского физиолога Шарля Рише (1850—1932), английского физика и химика Вильяма Крукса (1832—1919). В качестве аргументов служат ему также мнения философов Анри Бергсона (1859—1941), Иммануила Канта (1724—1804) и Густава Теодора фехнера (1801—1887). Приводит Войно и собственные наблюдения, добытые в хирургической клинике. Другая линия доказательств, богословская, выглядит в виде длинного перечня цитат из Священного Писания. Перечни эти занимают от одной до семи страниц на каждое доказательство.

Следующий этап книги — размышление о роли души и духа в психических процессах. Изложив учение И. П. Павлова об условных рефлексах, Лука резюмирует: «Мы полностью принимаем это глубокое научное представление о деятельности сознания, но только не считаем его исчерпывающим». И далее: «В актах и состояних сознания всегда участвует наш дух, определяя и направляя их. В свою очередь, дух растет и изменяется от деятельности сознания, от его отдельных актов и состояний».

Под душой Лука понимает «совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без обязательного участия в этом комплексов высших проявлений духа, несвойственных животным и некоторым людям». Что касается самопознания, то субъектом его является не ум, а дух. «Ибо ум есть только часть духа, а не весь дух…»

С особой охотой и удовольствием сообщает автор о трансцендентальных способностях человеческого духа. «Мы обладаем не только пятью чувствами, утверждает он. — Есть у нас способности восприятия высшего порядка, неизвестные физиологам». Вслед за этим следует рассказ, взятый из книги Карла дю Преля «Философия мистики», о том, как некая девица в присутствии физика Берцелиуса в 1945 году, прикасаясь ладонью к пакетикам с химическими препаратами, распределила их по какому-то ей одной ведомому ощущению на заряженные электрически положительно и отрицательно. К сверхъестественным, научно необъяснимым способностям Лука относит также вещие сны, пророчества, физиологически необъяснимые, чудеса памяти, в которых он снова усматривает первенство духа.

С «работой» духа связывает он и процесс познания. Наши органы чувств дают лишь слабо выраженную и неглубокую картину внешнего мира. Более глубокое познание возможно лишь благодаря духу, причем «чем выше духовность человека, тем ярче выражена эта способность высшего познания».

В последней главе развивается мысль о бессмертии. Архиепископ Лука верит в существование организмов более совершенных, чем человек (это вытекает из процесса эволюции, которую он признает). Отсюда вера его в существование ангелов, духов, «могущих совершенно неизвестными нам путями, по своей воле изменять материю, изменять некоторые наши мысли, принимать участие в нашей судьбе"… К этому выводу пришли, по словам Войно, и физиолог Шарль Рише, и английский физик Оливер Лодж. Суть их выводов заключается в том, что дух человеческий имеет общение с миром трансцендентальным, вечным, живет в нем и сам принадлежит к вечности. Более того, «В бессмертном человеческом духе продолжается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении добра и зла после смерти тела, мозга и сердца и прекращения деятельности души».

Остается добавить несколько слов о пропущенной нами второй главе книги, названной «Сердце как орган высшего познания». «Наши анатомо-физиологические знания о сердце, — утверждает Войно-Ясенецкий, побуждают нас считать сердце важнейшим органом чувства, а не только центральным мотором кровообращения». В

поисках доказательств этой несколько необычной тезы он обращается к огромному числу цитат из Священного Писания, к строкам, из которых явствует, что сердце веселится, радуется, скорбит, терзается, волнуется, тревожится, кипит, горит, смущается, его сокрушают поношения, оно способно к великому чувству упования на Бога. Тут же Лука обращает к читателю слова, полные глубокой веры и страсти:

«Как это ни сомнительно для неверующих, мы утверждаем, что сердце может воспринимать вполне определенные внушения, прямо-таки глаголы Божии. И это не только удел святых. И я, подобно многим, не раз испытывал это с огромной силой и глубоким душевным волнением. Читая или слушая слова Священного Писания, я вдруг получал потрясающее впечатление, что эти слова Божий обращены непосредственно ко мне. Они звучали для меня как гром, точно молния, пронизывали мой мозг и сердце. Отдельные фразы совершенно неожиданно точно вырывались для меня из контекста Писания, озарялись ярким, ослепительным светом и неизгладимо отпечатывались в моем сознании. И всегда эти фразы, Божьи глаголы, были важнейшими для меня в тот момент внушениями или даже пророчествами, неизменно сбывавшимися впоследствии». Исчерпав цитаты из Писания, Лука обращается за подтверждением своей правоты к опытам академика И. П. Павлова, к ссылкам на Паскаля, Шопенгауэра, Эпикура и Бергсона. Учение Бергсона особенно дорого Луке, ибо в книге «Душа и тело» французский философ в полном единении со взглядами Луки утверждает, что: «Мозг не что иное, как нечто вроде телефонной станции: его роль сводится к выдаче сообщения или к выяснению его. Он ничего не прибавляет к тому, что получает». И еще: «Мозг не орган мысли, чувства, сознания, но он приковывает сознание, чувство и мысль к действительной жизни, заставляет их прислушиваться к действительным нуждам и делает их способными к полезному действию. Мозг, собственно, орган внимания к жизни, приноравливания к действительности». Эти выводы философа-метафизика, по мнению Войно, полностью совпадают с тем, что обнаружил своими экспериментами академик Павлов. «Если, таким образом, мозг не считать органом чувств и исключительно органом высшего познания, заключает Лука, — то это в огромной мере подтверждает учение Священного Писания о сердце как об органы чувств вообще и особенно высших чувств».

Таково краткое содержание трактата «О духе, душе и теле», написанного так, как будто не стало вдруг на Руси ни редакторов, ни цензуры, ни Декрета об отделении Церкви от государства, после которого, как известно, самый жанр религиозно-философского сочинения вывелся под корень. Лука не только писал свой труд совершенно раскованно, но не скрывал от близких, что ценит его выше прежних своих хирургических книг. Писал, что сочинение его «займет почетное место в религиозно-философской литературе», что оно «послужит диссертацией на степень магистра богословия». Считал он также, что книга его «имела бы огромное значение в деле религиозного просвещения отпавших от веры или никогда не знавших ее, если бы могла быть напечатанной». Но…

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется. Предугадать будущее рукописи Луке не удалось. Она не исчезла вместе со своим автором в недрах КГБ, как это случилось со многими другими сочинениями самиздата. Более того: она живет доныне. Но жизнь эта мало похожа на ту, которую предрекал ей архиепископ Лука 40-х годов.

Чтобы оценить это произведение по достоинству, я обратился к сведущим людям. «Книга арх. Луки была пионером церковного самиздата послевоенного времени, — прокомментировал протоиерей о. Александр Мень, — Она написана в трудных условиях, когда ощущалась острая нехватка литературы, как богословской, так и философской.

Поэтому автор вынужден был пользоваться преимущественно литературой старой. Однако в целом она отражала состояние науки (не богословия!) тех лет. Более того, в каком-то смысле книга была новаторской. В то время, когда советские авторы тщательно избегали проблем, связанных с ломкой в сфере физики (эти темы стали господствующими в физической литературе только в конце 50-х и в 60-е годы), арх. Лука дал яркую и объективную картину революции в физике…» Главными достоинствами рукописи о. Александр Мень считает широкое привлечение данных современной науки, свободный и смелый подходы трудным проблемам мироздания, законную попытку изложить миросозерцание ученого-христианина в едином живом синтезе. Он обращает внимание на то, что для подтверждения тезиса о самодовлеющей силе духа Лука привлек факты из парапсихологии за много лет до того, как к тезису этому обратились советские авторы (Васильев и др.). Интересно и другое: Лука заявил себя сторонником теории всеобщей одушевленности (панпсихии) и нарисовал величественную картину творческих процессов в мироздании, ничего не зная о взглядах классика этой темы — французского ученого-богослова Тейяра де Шардена.

Но в трактате «О духе…» критик обнаружил и серьезные недостатки. О. Александр Мень считает, что автор крайне неорганично соединяет научно-апологетический материал с чисто богословскими рассуждениями. Десятки цитат из Священного Писания присутствуют на страницах рукописи совершенно инородно, и, наоборот, полностью отсутствуют у Войно-Ясенецкого ссылки на цитируемую литературу.

Богословски слабо аргументированной считает рукопись Луки и профессор Московской Духовной Академии протоиерей Александр Ветелев (1892—1976). С Крымским архиереем Ветелева связывали многолетняя переписка и дружественные отношения. Ветелев высоко ценил проповеди Луки. Однако книгу «О духе, душе и теле» о. Александр считает произведением интересно задуманным, но слабо исполненным. Войно, по его словам, не владел богословским мышлением, недостаточно хорошо знал и такие богословские предметы, как катехизис, каноническая мораль, гомилетика, литургика. «Архиепископ Лука, — говорит проф. Ветелев, — только собрал материал, но не сумел его раскрыть».

Что можно прибавить к мнению специалистов? Лука и сам признавался в том, что, работая над трактатом, не имел под рукой необходимой литературы: «Писать приходится в тамбовской глуши. С тоской вспоминаю о богатых Публичной и Университетской библиотеках Ташкента», — сообщал он Ошанину. И проф. Ветелеву: «Когда я писал свое сочинение «О духе, душе и теле», то мне пришлось вовсе немного читать, и все это сочинение было плодом только моих размышлений».

И все же мне хочется сказать несколько слов в защиту книги. Нет, вовсе не для того, чтобы оспаривать мнение богословов. Соглашаюсь: богатырский замах не удался, — разрушение «чистого» материализма и утверждение материализма «одухотворенного» на этот раз не состоялось. Знаний ли не хватило автору, или, как говорится, «не дошла еще наука» — Бог весть. Но сама по себе эта «попытка с негодными средствами» представляется мне неповторимо самоценной. Трактат архиепископа Луки важен не системой доказательств, не цитатами, удачно или неудачно скомпонованными, но самим порывом автора, безраздельной верой его, которой полнится каждая строка рукописи. Читая его, хочется верить. Захватывает самый стиль, самый ритм его повествования. Он не себя убеждает в бессмертии духа, в непостижимых возможностях духовной энергии. «Для нас, христиан, не надо никаких других доказательств бессмертия», — восклицает автор, процитировав соответствующую строку из Откровения Апостола Иоанна. Ему

доказательства действительно не нужны. Но по крохам собирает он их для будущего читателя. Для миллионов отпавших и непросвещенных старается архиепископ Лука. И нельзя не чувствовать восхищения перед этим трудом, этим порывом. Даже некоторый перехлест тут к месту. Неверующему, но ищущему его трактат не позволяет остыть, остановиться на полпути. Он волнует, он вселяет надежду на то, что истина лежит где-то здесь, где-то рядом, что когда-нибудь и слепец сможет нащупать ее…

У современников книга архиепископа Луки успеха не имела. До разбора тех недостатков, о которых было сказано выше, дело даже не дошло. Ее, правда, взяли для публикации в «Богословском вестнике», но затем под благовидным предлогом вернули автору. Духовная Академия в Москве также не пожелала рассмотреть этот труд как диссертацию. Рясоносных рецензентов рукопись пугала своим открытым несогласием с государственной естественнонаучной доктриной. Не по вкусу пришелся профессуре МДА сильный научный дух сочинения. Непривычно было читать в богословском трактате про электроны, протоны, нервные рецепторы и павловские рефлексы. Эту сословную неприязнь к автору-профессору и его методологии много лет спустя откровенно выразил Архиепископ Ставропольский Иона. В 1971 году, отдыхая в Коктебеле, Владыка на вопрос о Войно-Ясенецком заметил, что люди, приходящие в Церковь из науки, «тащат с собой слишком много реализма». Из дальнейшей беседы выяснилось, что преосвященный прежде всего имел в виду излишний для церковнослужителя материализм книги «О духе, душе и теле». В своих антипатиях Иона Ставропольский не был одинок.

В 1948 году симферопольский уполномоченный по делам Православной Церкви донес в Москву, что Лука читает в Кафедральном Соборе серию проповедей антиматериалистического характера. Речь шла об изложении основных мыслей рукописи «О духе, душе и теле». Курс этот Лука задумал довести до сведения своей паствы на ранних обеднях, выступая по возможности ежедневно. Очевидно, несколько таких проповедей было произнесено, когда сработал московский механизм. Карпов выразил свое неудовольствие Патриарху, Патриарх немедленно направил в Симферополь послание, в котором запретил Крымскому архиерею читать «курс», а заодно напомнил, что подобает ему, дабы не ронять архиерейское достоинство, выступать перед верующими только по праздникам и говорить не более десяти минут.

Разно виделось понятие достоинства аристократу Симанскому и интеллигенту Войно-Ясенецкому. Ох, как разно… Надежда Александровна Павлович рассказывает со слов хорошо знакомого ей в те годы Епископа Рижского Вениамина (Федченко), что Лука присылал ему в Ригу образцы своих «лекций». Первая строка первой проповеди звучала примерно так: «Некоторые невежественные люди говорят, что Бога нет…» Далее следовал апологетический текст со ссылками на новейшие факты науки и выпадами против «невежд». Получив запрет от Патриарха, Лука обратился к Вениамину с письмом, полным скорби и негодования: «Должен ли я подчиняться указаниям Святейшего? Ведь проповедь — главный долг епископа…» Более покладистый и изрядно помятый жизнью рижский архиерей (он пережил многолетнюю эмиграцию и вернулся на родину лишь в 1945 году) посоветовал крымскому коллеге смириться. «Мы учим подчиняться других и сами должны показать пример послушания». На это Лука ответил, что приказу подчиняется, но делает это с болью душевной.

Рукопись «О духе, душе и теле», пионер церковного самиздата, так и осталась в самиздате. В разных городах страны мне приходилось слышать о ее многолетней потаенной жизни, о перепечатке истрепавшихся экземпляров, о том, что верующие интеллигенты передают ее из рук в руки, обсуждают ее, спорят. Но одновременно этому

многострадальному сочинению суждена была и другая «слава». Один экземпляр непонятными путями достиг рукописного отдела Музея истории религии и атеизма в Ленинграде и тут, уже после смерти автора, был превращен в этакого «мальчика для битья». Трактат использовали для своих целей несколько молодых диссертантов-антирелигиозников, его разбирал в своей монографии известный профессор, а другие авторы помельче с ругательными эпитетами таскали цитаты из архиепископа Луки по страницам пропагандистских журналов.

О полемическом стиле кандидатов и докторов философии, специализирующихся на антирелигиозной пропаганде, некоторое представление дает книга профессора М. И. Шахновича, в которой Луне уделено почти десять страниц. Со своим научным противником Шахнович дебатирует так: «Отчаяние фанатика, уязвленного в его вере, привело архиепископа (Луку) к нападкам на разум человека», «Сочинения этого богослова носят откровенный характер крестового похода против разума», «Философский идеализм Луки есть прикрытая, принаряженная чертовщина», «Научное значение трактата архиепископа Луки равно нулю…»

Но были на Руси ученые, которым Лука Войно-Ясенецкий, его труды, его борьба представлялись в ином свете. Уже приводились имена С. С. Юдина, В. П. Филатова, И. Г. Руфанова, Н. Н. Приорова, В. С. Левита. Добавим к этому списку академика-физиолога Леона Абгаровича Орбели. Сын Луки Алексей вспоминает:

«Мой разговор с Леоном Абгаровичем об отце возник в августе 1958 года… Орбели уже не вставал в это время с постели и умер три месяца спустя. Не берусь воспроизвести весь наш разговор, но помню, что он удивил своей неожиданностью и проникновенностью. Смысл речи состоял в выражении отцу глубокого уважения, восхищения перед твердостью его убеждений, перед тем, что он всегда оставался врачом телесным и духовным. Твердость, несгибаемость отца особенно должны были импонировать Леону Абгаровичу, так как он сам в годы разгрома физиологической науки не отказался от своих научных убеждений. Даже тогда, когда за два месяца до смерти Сталина началась подготовка научной общественности к объявлению Орбели «врагом народа» и аресту, он ждал этого с высоко поднятой головой». Лука Войно-Ясенецкий написал Л. А. Орбели:

«Я очень тронут тем, что в долгом разговоре обо мне с моим сыном Алексеем Вы просили его передать мне Ваш низкий поклон как ученому и человеку… Вы знаете, конечно, как трудно мне было плыть против бурного течения антирелигиозной пропаганды и сколько много страданий причинила она мне и доныне причиняет… Я очень высоко ценю Вас, как весьма выдающегося ученого и смелого борца против недостойных прихлебателей славы великого физиолога Павлова.

Да продлит Господь Бог Вашу светлую и высоко полезную жизнь и да облегчит великую тяжесть работы Вашего больного сердца. Об этом буду молить Его в молитвах своих.

Архиепископ Лука.

: 5 сентября 1958 г.» Будни старого человека уплотнены до последней степени. Никакой спешки, но и ни минуты попусту. В семь утра из дальней комнаты архиерейской квартиры раздается звон колокольчика — глава семьи подает своим сожителям весть о начале рабочего дня. В рубашке, не надевая подрясника, он направляется к мраморному умывальнику. Долго педантично чистит зубы, с хирургической дотошностью моет руки — отдельно каждый палец — старая привычка мыться «по Спасокукоцкому». Затем спортивными движениями разминает мышцы. Архиерею, выстаивающему пяти-

шестичасовые службы, надо быть крепким. С восьми до одиннадцати — ранняя обедня. Лука в храме — сколько бы верующих ни пришло. Это не по правилам, но в Симферополе многое не так, как везде. Ежедневную (и каждый раз новую) проповедь тоже не в каждом православном храме услышишь. За предельно скромным вегетарианским завтраком секретарь Евгения Павловна Лейкфельд ежедневно читает две главы из Ветхого и две главы из Нового Завета. Потом начинаются дела епархиальные: почта, прием духовенства, назначения и перемещения, претензии властей, распоряжения Патриархии. Канцелярия тут же, в квартире. Секретарь епархии, пожилой священник о. Виталий привык к тому, что архиерей требует докладов и ясных ответов на вопросы. Решения Лука принимает незамедлительно, твердо, независимо, как отрезает.

Отец Виталий — хороший работник, но область его занятий — дела сугубо церковные и в том числе общение с уполномоченным. Евгения Павловна Лейкфельд — личный секретарь. Пожилая, интеллигентная, с острой, быстрой реакцией, Евгения Павловна по духу своему, пожалуй, ближе всех к Луке, почти член семьи. Доброй ее не назовешь, но во всем густонаселенном архиерейском доме нет лица, более преданного Владыке. Это большая удача, что учительница литературы, с университетским образованием, поселилась в доме. Ее тонким, без нажима, великолепным почерком написаны сотни писем и проповедей, записаны и неоднократно перебелены «Мемуары» Луки. Она глаза, уши и руки Владыки. Раздражительная и ядовитая с другими, Лейкфельд не смеет даже в самом малом оспорить авторитетное мнение своего кумира. Ее рабочий день, как и трудолюбие, безграничны. За свою службу у Владыки она четыре с воловиной раза прочитала вслух всю Библию, перечитала несчетное число газет, журналов, богословских трактатов (некоторые на немецком и французском языках).

Чтение прессы и книг продолжается до обеда. После обеда — отдых. Затем с четырех до пяти — прием больных. Под вечер небольшая прогулка по бульвару вдоль мелководного Салгира. На прогулку Владыку часто сопровождают его внучатые племянники Георгий и Николай. Лука и это время не теряет попусту. Рассказывает мальчикам главы Священного Писания. (Школа на свежем воздухе оказалась успешной: через много лет, уже взрослые люди, Георгий и Николай Сидоркины говорили мне, что навсегда запомнили преподанные как бы между прочим дедом уроки.) И снова кабинетная работа: Лука склоняется над хирургическими атласами, над проповедями, письмами — до одиннадцати вечера. Праздники ломают режим, но легче от этого день архиерея не становится. «Пишу тебе поздно вечером, вернувшись из Джанкоя (сто километров), где служил в день Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия продолжалась (с проповедью) четыре часа и целый час благословлял людей. Устал. Всю ночь не спал».

«Не мала и моя работа, особенно теперь, Великим Постом. Моя служба длилась пять часов. Очень утомляюсь…» На эти длительные службы еще в Тамбове обижались священники: «Что, у нас монастырь, что ли?» Но Лука, как ему это ни тяжело физически, не изменил своему принципу: служба должна точно соответствовать уставу.

Летом порядок почти не меняется. Правда, из города Войно перебирается на небольшую частную дачку вблизи Алушты. Но и здесь изо дня в день продолжается та же рабочая страда. Единственное разнообразие состоит в том, что на Южном берегу Крыма он позволяет себе несколько более долгие прогулки и охотно плавает в море. Плавание он особенно любит, и пловцом показывает себя сильным и выносливым.

Затверженность быта, жестокость жизненного ритма в старости особенно желательны. Лука любит вечерний ритуал, когда в его кабинете распахиваются двери и все домочадцы, включая маленькую правнучку Чижика, входят гуськом, чтобы на ночь

попрощаться с главой семьи. Любит он и общесемейные, начинающиеся молитвой трапезы, особенно если за столом желанные гостя из Ленинграда, Одессы, Ташкента — внуки, дети, правнуки. В этих вечерних прощаниях и общих трапезах видится ему то самое «тихое и мирное житие», которое призывает он в своих молитвах на близких, на свою страну, на весь христианский мир. Но тишина, которой жаждет усталое сердце, износившееся, то и дело оказывается призрачной, мир — обманчивым. И, как нередко случается, самые болезненные, самые мучительные раны — от близких.

Настоящего понимания с детьми у Луки никогда не существовало. Для всех четверых церковная деятельность его была как нарыв, то утихающий, то мучительный, почти непереносимый. Во время войны молодые Войно-Ясенецкие смирились с архиерейством отца: опасность, проистекавшая от отцовских «проделок», как будто миновала. Тем более что вскоре на них, уже взрослых людей, пролился изобильный поток благодеяний.

В какой-то момент быть сыном знаменитого хирурга, лауреата Сталинской премии стало даже выгодно. Дача в Крыму — тоже фактор немаловажный. До поры до времени идеологические споры младших со старшим умолкли. Тем более что тысячные и сотенные даяния из Симферополя поступают исправно. Лука охотно помогает своим чадам. Живо интересуется каждым семейным событием: учением внуков, служебными делами старших. Успехи своих потомков в науке оценивает восторженно: «Напрасно ты не представил свою диссертацию на Сталинскую премию, — пишет он Михаилу, патологоанатому. — Думаю, что ты получил бы ее». И в письме Алексею, физиологу, в том же тоне: «Отзыв о (твоей) диссертации — большая радость для меня… Наша семья станет знаменитой в науке. Думаю, что твои научные способности еще больше, чем у Миши и Вали…» О поразительной одаренности своих детей Войно повторяет в письмах ко многим адресатам. Незадолго до смерти, уже слепой, снова пишет Михаилу: «Скажи Алеше, что, несмотря на крайнюю занятость, я прослушал сорок восемь страниц его книги и в восторге от слов Орбели о том, что эта книга праздник советской науки. Но никак не могу понять, почему он эту книгу не представил как докторскую диссертацию».

Знает ли старый архиерей, что взрастил неисправимых атеистов? Надо полагать, знает, но, может быть, верит в их обращение. Иначе зачем же снова и снова посылать в Ленинград и Ташкент проповеди, религиозные сентенции, телеграммы такого, например, содержания: «Дорогого первенца поздравляю днем Ангела… Мученик Михаил князь Черниговский да будет тебе примером верности Христу»? Для доктора медицинских наук Михаила Войно-Ясенецкого все разговоры о Христе — просто белиберда. И для Алексея, и для Валентина тоже. Они многократно рассекали человеческие ткани и никакой души, никакого духа не обнаружили; совершали безнравственные поступки — и гром с ясного неба над ними не грянул. Белиберда!

Отец готов примириться даже с сугубо внешним вниманием детей к его чувствам и верованиям. Но молодые (впрочем, теперь не такие уже и молодые) не считают нужным поздравить старика с Пасхой и Рождеством, не желают помнить день его Ангела. Белиберда все это! Бред! Чепуха! И Лука, громогласный Лука, Архиепископ Крымский, перед которым трепещут прихожане и священнослужители, с глубокой болью сердечной шлет своим сыновьям текст телеграммы с пасхальным поздравлением от бывшей своей сослуживицы врача Левиковой и приписывает на телеграфном бланке: «Мише и Алеше в пример и укор. Еврейка неуклонно поздравляет меня с праздниками Рождества Христова и Воскресения, а вы, мои сыновья, никогда! Это глубокое огорчение для меня». Более твердых слов для увещевания близких он не находит.

Но пока архиепископ Лука судится и рядится с детьми, подрастает новое поколение.

Внуки вызывают у него еще большую нежность, чем дети. Он осыпает малышей подарками, поселяет их на лето у себя на даче. Конечно же, гуляя с маленькими человечками по пляжу или парку, говорит им о мученичестве Христа, о Его заповедях. Дети слушают, кивают головенками, а на следующее лето от прошлогоднего посева и след простыл: все вытоптано. В десять двенадцать лет рвутся последние нити, связывающие его с этими новыми Войно-Ясенецкими. Для внуков, взращенных в материальном и духовном убожестве послевоенных лет, дед-архиерей — не что иное, как ископаемый мамонт. Что-то смешное и стыдное чудится во всех его разговорах. Ведь и в детском саду, и в школе, и дома им много раз повторяли: никакого Бога нет. И черта тоже нет. А есть наша социалистическая наука, которая все мировые проблемы решит запросто. Лука с горестным изумлением глядит на родных ему по крови и таких непонятных, чужих людей. Он ли положил начало этой странной веточке рода людского?

И все же отступать перед безверием он не привык. Старик берется за перо, чтобы усовестить дочь Елену, которая сама уже стала бабушкой: «Помните ли ты и Аня (внучка) о своей великой ответственности перед Богом, если вы не заботитесь, чтобы научить Ирочку и Катюшу закону Божию и молитвам?

Ведь они под страшной опасностью антирелигиозной пропаганды. Я мог бы прислать тебе изданный Патриархией Новый Завет с Псалтирью, если ты и Аня дадите обещанье читать их моих правнучкам. Новый Завет мне с трудом удалось достать в четырех экземплярах для всех детей». Пустое. Никому не нужны ни его с трудом добытые книги, ни его с еще большими муками постигнутый жизненный опыт. Любимец Луки, школьник Алексейка, сын Михаила, приехав на алуштинскую дачу, деловито излагает деду, какие именно суждения относительно религии существуют у них в пионерском отряде. Точку зрения Мани-пионервожатой он, Алексейка, считает истиной в последней инстанции и ничего другого не желает знать.

Алексейка стал Алексеем Михайловичем, женился, привез в Алушту жену Лену. Но и эта встреча, от которой Лука ожидал многого, окончилась полным взаимным непониманием. Молодая женщина с презрением говорила о церкви, о церковниках. Какой там Бог? Ведь спутник в космосе летает. Лука попытался что-то, объяснить молодой даме, но нарвался на жесткую оппозицию. Она приехала спокойно отдыхать на приморской даче, а не выслушивать проповеди.

Последние годы жизни омрачены мыслью о поколении, которое упорно отталкивает все, что связано с верой, с церковью. Что сделало их такими? Воспитание? Пропаганда? Ответ рядом, совсем близко, но это «рядом» находится в миллионах километров от миропонимания архиепископа Луки. Да, и пропаганда, и семейное воспитание. Но сильнее слов действует практический опыт, который эти юнцы извлекают прямо из окружающего воздуха, из атмосферы своей эпохи. «Будешь якшаться с попами — перекроем все дороги, выгоним из института, не дадим заниматься наукой, зашлем в глухомань, сгноим, задушим». Вслух такое произносят редко. Но каждый студент, комсомолец знает: это не пустые угрозы. Ибо хоть раз да присутствовал на собрании, где шельмовали и исключали верующего товарища, хоть раз да слышал, как это делается в других институтах, в других городах. Какой же здравомыслящий советский юноша, какая же здравомыслящая советская девушка, имея альтернативу: «Вера или карьера», — не шарахнется от опасной церковной ереси? Их и обвинять-то не в чем. Ведь мы воспитывали их здравомыслящими реалистами…

Где было архиепископу Луке понять глубинный смысл происходящего? Как ему догадаться о душевном оскоплении, произведенном над его близкими? Он слитком прост.

И в простоте свой год спустя, когда у Алексейки и Лены родился ребенок, запрашивает: «Почему не пишете мне, крещена ли Танечка?» Так они и совмещаются в нем: простота и мудрость, способность к философскому прозрению и элементарная слепота…

О слепоте настоящей, а не фигуральной задумался Лука впервые вскоре после войны. Зрение на единственном глазу начало угасать еще в Тамбове. Дальше — хуже. Осенью 1947 года пришлось поехать в Одессу к Филатову. Знаменитый окулист осматривал долго, обстоятельно, подал надежду: до слепоты далеко. «Филатов нашел у меня помутнение хрусталика, которое будет прогрессировать медленно, и способность читать сохранится на несколько лет (от 3-х до 10-ти)».

Одесский прогноз оказался правильным. Четыре года спустя Крымский Архиерей все еще может, хотя и с трудом, читать и писать. Почерк его, правда, потерял свою чеканность, но это все та же рука, за которой угадывается характер, отнюдь не расплывчатый. Может быть, хватило бы ему зрения и до конца дней, но весной 1952 года, не рассчитав своих сил, Войно снова провел несколько недель (как всегда, с утра до вечера) в московских медицинских библиотеках. Переутомил глаз, зрение стало падать буквально по неделям. Исчезло ощущение цвета, предметы обратились в тень. Теперь на приеме профессору приходилось спрашивать у секретаря, какого цвета у больного опухоль, как выглядят у пациента кожные и слизистые покровы. В конце концов Лука отказался и от приема больных, и от подготовки второго издания «Регионарной анестезии».

Осенью 1952 года профессор Филатов, состоявший с Войно в переписке, предложил ему предварительную операцию — иридэктомию. Лука в Одессу не поехал: решил, что у него, как у диабетика, операция может окончиться нагноением. Прошел еще год. Филатов собирается в Крым, но неожиданная болезнь расстраивает поездку. В доме Симферопольского Архиерея надежды снова сменяются унынием. Унывают в основном родственники. Лука же учится передвигаться по комнате ощупью и ощупью же подписывает бумаги, подготовленные секретарями. Подпись, сделанная вслепую, выглядит задористо, ползет круто вверх. Молодой епископ Михаил Лужский, приехавший в Симферополь, чтобы познакомиться со знаменитым собратом, вспоминает:

«Я переступил порог и увидел Владыку, который стоял посредине кабинета. Руки его беспомощно шарили в воздухе, он, очевидно, пытался сыскать затерявшееся кресло и стол. Я назвал себя и услышал низкий, твердый голос, который совершенно не согласовывался с позой хозяина дома: «Здравствуйте, Владыка. Я слышу Ваш голос, но не вижу Вас. Подойдите, пожалуйста». Мы обнялись. Завязалась беседа. Лука угощал меня виноградом, чаем, расспрашивал о московских и ленинградских новостях. Его интересовала и моя служба, и где я учился, кто были мои учителя. Спросил, между прочим: «На Вас панагия?» Ощупал: «Настоящая. А что же секретарь сказал, что на Вас крест?» Во время разговора он встал и включил огромную мощную лампу позади часов с прозрачным циферблатом. Явно напрягаясь, сам разглядел время. Я и потом замечал: все, что только мог, он делал сам. Слепота не подорвала его волю и не разрушила яркости восприятия: когда я спросил — видит ли он сны, Владыка ответил: «О, еще какие! В цвете!» В день Ангела Крымского Архиерея епископ Михаил присутствовал на торжественном молебне, и от него снова не укрылось это смешение слабости и силы в поведении именинника. В храме священники водили его под руки, а когда кончился молебен и торжественные речи, он, как будто вдруг прозрев, вышел на паперть самостоятельно. Тут у выхода его ждала толпа неверующих с цветами: «Дорогой наш

доктор…» Лука стоял, улыбаясь, среди недавних пациентов, благословляя этих своих детей, как и тех, что находились в храме. И было видно, что окружающие видят в нем не слабого слепого старика, а ученого, целителя, благодетеля, сильного своей наукой и своей верой.

В начале 1955 года в глазу померк последний проблеск света. Все. Тьма. И вдруг среди непроглядной ночи — огненный язычок надежды. Филатов стар и больше не оперирует, но зато в Крым едет его ближайший ученик доцент Шевелев. Родным и знакомым Лука сообщает о предстоящих переменах в своей жизни: «Твердо верю, что Господь возвратит мне зрение…» Но одесский чародей опоздал по крайней мере на два года. Поздно. «Шевелев нашел у меня далеко зашедшую глаукому. Операция, которую он назвал рискованной и очень рискованной, в лучшем случае могла бы дать мне очень малое зрение, но никак не способность читать».

Как же относится Лука к постигшей его беде? Мне пришлось говорить об этом с профессором-офтальмологом Медведевым, который до 1951 года жил в Симферополе и лечил тамошнего архиерея. По его мнению, «Лука боялся смерти и слепоты». У двух медиков — атеиста и христианина — несколько раз возникали споры о происхождении, сущности и предназначении человека. Медведев утверждает, что в страхе перед надвигающейся тьмой его пациент прятался за идею бессмертия, за мысль о «духовном прозрении» вместо зрения реального. Не рискую выступать арбитром в споре, которого не слышал, но выражение «прятаться» как-то мало достоверно, когда речь идет о Войно-Ясенецком.

Как и любой нормальный человек, Лука не желает слепоты. Кроме естественного стремления сохранить для себя многокрасочный мир и солнечный свет, он помнит о не доведенных до конца хирургических трудах, о неопубликованной и в чем-то не завершенной богословской рукописи. Томит его и беспокойстве о будущем родных, тех, кого он содержит на свое архиерейское жалованье. Об этом он говорит, пишет, размышляет. Но к слепоте как к бедствию человеческого тела и духа у него совсем другое отношение, чем представляет себе его оппонент профессор-материалист Медведев. Задолго до потери зрения совсем по другому поводу Лука писал в трактате «О духе, душе и теле»:

«Пока наша жизнь проистекает в калейдоскопе и шуме внешних восприятий, пока в полной силе работает наше феноменальное сознание — никогда не прекращающаяся работа сверхсознания скрыта. Но когда в состояниях сна, нормального, сомнамбулического или гипнотического, при отравлении мозга опиумом, гашишем или токсинами лихорадочных болеаней угасает нормальная деятельность мозга и меркнет свет феноменального сознания, тогда вспыхивает свет сознания трансцендентального. Известно также, что слепота усугубляет работу мысли и нравственного чувства, значительно отодвигает порог сознания. Философ Фехнер создал наиболее глубокие свои сочинения после того, как потерял зрение; князь Василий Темный сказал ослепившему его: «Ты дал мне средство к покаянию». Повторяю: это было написано задолго до того, как свет окончательно скрылся из глаз Луки. После же того, когда неизбежное случилось, никто не слыхал от него жалоб или ропота. Атеисту профессору Медведеву, очевидно, странными показались бы слова Луки: «Я принял как Божию волю быть мне слепым до смерти, и принял спокойно, даже с благодарностью Богу. Слепота не помешает мне оставаться до смерти на своем посту». Поза? Ее можно предположить по отношению к постороннему человеку. Но с детьми своими Лука всегда оставался абсолютно искренним. Да и не такая это вещь — слепота, чтобы играть по ее поводу словами. Между

тем на второй день после приезда в Симферополь офтальмолога Шевелева он сообщает дочери Елене: «От операции я отказался и покорно принял волю Божию быть мне слепым до самой смерти. Свою архиерейскую службу стану продолжать до конца». И год спустя по тому же поводу Алексею: «Слепота, конечно, очень тяжела, но для меня, окруженного любящими людьми, она несравненно легче, чем для несчастных одиноких слепых, которым никто не помогает. Для моей архиерейской деятельности слепота не представляет полного препятствия, и думаю, что буду служить до смерти».

Мотив «служить до смерти», служить до конца, не случайно повторяется так упорно в письмах середины 50-х годов. Луку серьезно беспокоит, не лишат ли его, незрячего, архиерейской кафедры, не отправят ли за штат. В раздумьях этих не последнее место занимает и судьба племянниц, их детей, внуков и правнуков. Для беспокойства есть достаточно оснований. Каноническое правило, принятое на одном из Вселенских Соборов, гласит, что слепой не может быть епископом. Правило это не относится к строго исполняемым, и тем не менее кое-кто из обиженных Лукой крымских священников, да и некоторые деятели в Патриархии несколько раз поднимали вопрос о епископе, который занимает свое место «не по закону». Почти три года положение Войно оставалось крайне неустойчивым. Слухи, то добрые, то мрачные, возникали и лопались. Трижды Патриархия командировала в Крым комиссию, чтобы проверять, как слепой архиерей исполняет свои обязанности. Отзывы, очевидно, были получены положительные, так что в конце концов Патриарх, как говорят, махнул рукой и оставил беспокойного архиерея на месте. Сделал он это с обычной аристократической деликатностью. В день восьмидесятилетия Луки — 27 апреля 1957 года — кроме поздравительной телеграммы, прислал юбиляру икону Святителя Алексия. В церковной среде, как и в среде партийной, такие намеки начальства понимают мгновенно: разговоры об отстранении Луки от должности прекратились.

Был в этой истории еще один маленький, совсем крохотный нюанс. На полгода раньше, в конце 1956 года, Лука тоже сделал Святейшему подарок послал только что отпечатанную монографию «Очерки гнойной хирургии» третье издание. Он сознавал, что «Патриарху… она ни к чему», но в том многолетнем полемическом диалоге, что вели интеллигент-епископ и аристократ-Патриарх, новое издание монографии приобретало уже не научный и не общекультурный, а символический смысл. Однако люди разного склада, они и символ этот поняли каждый по-своему. «Меня считают крупным ученым, радировал своим подарком Лука. — Мои научные идеи все еще нужны людям. Я мыслю, Ваше Святейшество, значит, существую». Патриарх же в полученном подарке увидел совсем иную информацию: «Власти печатают мою книгу и тем демонстрируют во мне свое благоволение. Обратите внимание, я имею поддержку в верхах….» Подарок из Крыма Святейший понял как сигнал предупредительно-угрожающий. И реагировал на него, как обычно в таких случаях, — уступил…

Между тем выход в свет третьего издания «Очерков» меньше всего свидетельствовал о благоволении «верхов» к автору. С просьбой переиздать монографию Лука обратился сначала в медицинское издательство. Отказали. Потом к министру здравоохранения СССР. Хлопоты начались еще при жизни Сталина. По памяти военных лет ожидал Войно от высших сфер дружелюбия и внимания, но времена переменились. Как общественный деятель он никому больше не был нужея, а как ученый-медик для нового министра, человека военного, стоял в ряду Других и даже ниже, ибо не участвовал в боевых операциях, как генералы медицинской службы Вишневский-младший или Куприянов. Министр Е. Смирнов довольно сухо ответил профессору Войно-Ясенецкому, что просьба о

переиздании монографии не может быть удовлетворена «в связи с изменениями, происходящими в советской медицинской науке после Объединенной сессии двух Академий, посвященной физиологическому учению академика И. П. Павлова».

Это была полуправда. Отмеченная Сталинской премией монография не могла быть переиздана в том же виде снова шесть лет спустя совсем не потому, что наука далеко шагнула вперед. Не научные, а политические события стояли на пути ее выхода в свет. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, в результате которой три тысячи биологов потеряли работу, а многие и свободу, Сталин решил устроить еще несколько подобных сессий-чисток. Гибрид политического террора и научной дискуссии замышлялся как средство рассорить, разделить научную интеллигенцию, превратить исследовательские учреждения в гнезда злобы, зависти, раздутого тщеславия и националистической нетерпимости. К науке эти диокуссии отношения не имели, зато четко согласовывались со сталинской внутренней политикой, направленной на уничтожение любых зародышей мысли и творчества. Первыми жертвами стали специалисты в области языкознания и физиологии. В будущем предполагалось вовлечь в самоистребительную дискуссию также физиков.

Начиналось каждое такое побоище с того, что научные разногласия, до того интересующие лишь узкий круг специалистов, вытаскивались на всенародное обозрение. Центральные газеты вдруг приобретали характер научных журналов. «Правда» и «Известия» взахлеб обсуждали тонкости генетики, проблемы нервизма или переключались на семантику и лексику. Страсти накаляли не очень грамотные, но страстные комментарии журналистов. И вот уже специальные вопросы становятся предметом политического разбирательства. А где в России дело доходит до политики, там добра не жди. Кипит разрешенная сверху «борьба»; разделенные на «правильно» мыслящих и мыслящих «неверно» ученые оскорбляют друг друга. Поносят диссертации и монографии противников. Победители (они назначены заранее) отнимают у побежденных должности, зарплаты, разгоняют чужие школы, закрывают лаборатории.

В январе 1950 года начался бой «за торжество физиологического учения академика Павлова». По обе стороны баррикады стояли ближайшие ученики великого физиолога. В верхах, однако, было предрешено, что тузить станет академик Быков и быковцы, а мальчиками для битья окажутся академик Орбели и его школа. Орбели обвиняли в том, что он искажает Павлова, недопонимает Павлова, принижает Павлова. А далее — оргвыводы. Корреспондент одной из московских газет, я присутствовал на печально знаменитой Объединенной сессии двух Академий — Медицинской и «большой». Зал Московского Дома ученых. Над сценой висел густо малиновый, будто кровью набрякший, транспарант со словами товарища Сталина о том, что свободная дискуссия воздух науки. А под транспарантом, в буре ругательств и поношений, бледное, с каплями пота на лбу лицо академика Орбели, нервно глотающего воздух, которого после пятичасового заседания ему явно не хватает. (На этой сессии Леон Абгарович и получил ту болезнь, которая позднее свела его в могилу.) Два года спустя министр здравоохранения СССР именем этой вот Объединенной сессии требовал от Войно-Ясенецкого переделать его книгу «в новом духе».

В чем действительно состоял сей «дух» и как операции по поводу остеомиелита следовало соотносить с павловским нервизмом, Лука разобраться не мог. Но истина брезжила для него в другом. Оскорбления и публичные пинки, обрушенные на талантливого ученика Павлова — Орбели, показывали, что вокруг творится какая-то неправда. Тотчас после Павловской сессии он сообщает сыну: «Низкая травля Орбели так

возмутила меня, что я написал ему сегодня письмо».

Но эмоции эмоциями, а без павловской начинки, без затверженных формул в духе «центральная нервная система решает все» монография Войно выйти в свет не могла. После министра Смирнова это подтвердил специальным письмом его заместитель Белоусов, а затем и министр здравоохранения Третьяков. Конечно, можно отказаться от публикации, а заодно и от всей облепившей науку лжи, но в Симферополь нередко приходят письма от хирургов-практиков, они жалуются: необходимое им для работы второе издание «Очерков» давно разошлось. Достать книгу невозможно, а работать без нее — тоже. Надо помочь коллегам, но как это сделать? Войно слеп. Поразмыслив, однако, он принимает решение — взять соавтора. Это должен быть видный хирург, который разбирается в современных околопавловских поветриях и вместе с тем может дополнить книгу новыми данными о лечении гнойных болезней.

Искать такого специалиста пришлось почти два года. Одних отпугивала мало ведомая им гнойная хирургия, других — необходимость заниматься научным политиканством. «Профессор Левит, к которому я обращался с просьбой указать, к кому из московских хирургов я мог бы обратиться с предложением дополнить мою книгу, ответил мне, что никто из московских хирургов не интересуется гнойной хирургией, и даже заведующие гнойными отделениями тяготятся ею и стремятся поскорее перейти на «чистую» хирургию. Думаю, что и в Ленинграде дело обстоит так же. Поэтому переиздать книгу можно будет только тогда, если ты один или вместе с Алешей внесете поправки по Павловскому учению», — писал Лука сыну Михаилу. Дети, однако, на эту работу не согласились. В какой-то момент казалось, что с переизданием вообще ничего не получится. Только глубокой осенью 1954 года опытный ленинградский хирург А. В. Колосов принял предложение о соавторстве. Полгода спустя рукопись с чрезвычайно лестным предисловием хирургов-академиков Бакулева и Куприянова попала в издательство и вышла в свет осенью 1956-го. Чтобы попасть в руки врачей, третьему изданию понадобилось в общей сложности столько же, сколько и второму, — пять лет. По сравнению с первым изданием это был несомненный прогресс: первого издания «Очерков гнойной хирургии» автор ждал вдвое больше. Быть пророком в своем отечестве — дело хлопотное.

Было бы несправедливо, рассказав о последнем издании классического труда профессора Войно-Ясенецкого, оставить в тени еще одно действующее лицо. Мы уже упоминали в нашей книге ташкентского хирурга-партийца Петра Петровича Царенко. Он снова обнаружил себя в те дни, когда, живя в симферопольской гостинице, я опрашивал горожан о последних годах жизни архиепископа Луки. Перебывало тогда у меня много народа. Явился и Царенко. От его посещения осталось чувство странное, почти мистическое: явственно вижу перед глазами дорогую шляпу и богатое пальто, красивую солидную трость визитера, но — хоть убей! — не могу вспомнить его лица. А ведь два часа разговаривали! Два часа рассказывал мне профессор на пенсии Царенко свою жизнь, запись беседы тоже почему-то заняла в моей тетради очень мало пространства.

Что сказать об этой подходящей к концу жизни? Из низов. Бежал в двадцатом голодном году с Волги в Ташкент — город хлебный. Но в отличие от знаменитого Мишки Додонова в Туркестане зацепился, прижился. Учился в университете. Активный общественник со студенческих лет. Слушал лекции Войно. Делал попытки изгнать «попа» из университета. Не удалось, о чем и поныне жалеет. Впрочем, в 40-х годах эту ташкентскую неудачу Петр Петрович исправил. По его настоянию симферопольский

мединститут отверг Войно как ученого и преподавателя: «Мы ведь знали его нечистое прошлое: тюрьмы, ссылки, проповеди». Царенко в разных городах занимал ряд высоких постов, в основном административных и партийных. На науку времени не хватало; «Партийная работа всегда захватывала меня с головой». Монографии? Научная школа? Нет, не написал, не растил. Был, однако, у этого человека свой «звездный час», когда предоставила ему слепая судьба внести свое имя в научные анналы. Но Петр Петрович оказался в тот час еще более слепым, нежели судьба. О том случае рассказал он мимоходом, как об эпизоде комическом, малозначащем.

«Что-нибудь в пятьдесят четвертом году я получил от Ясенецкого письмо с просьбой зайти к нему по важному делу. До этого я дважды навещал его в архиерейской квартире как консультант. Болезней у него было больше чем достаточно: и слепота, и диабет, и атеросклероз. Печень увеличена, асцит, декомпенсация — сердце как тряпка. Развалина, а умирать не хотел, хотя и монах. На этот раз оказалось, что он хочет переделывать свою «Гнойную хирургию». А поскольку сам слаб и слеп и работать планомерно не может, то приглашает меня в соавторы. В книге своей он хотел оставить все, как было, а чтобы я дописал к каждой главе развернутые примечания: дескать, в данной области за последние годы появились такие-то и такие-то новости. Я сказал, что мне его книга во многом не нравится, что мое новое будет опровергать его старое. Возникает дискуссия, борьба. Лучше написать все сначала. Лука сказал, что подумает. А я прямо от него пошел в обком партии, где я был участником пленума, и рассказал все секретарю по пропаганде. Так, мол, и так, меня, старого партийца, церковник приглашает вместе писать книгу, должен ли я соглашаться? Секретарь сразу не мог дать ясного ответа, позвонил в ЦК, в Москву: «Кто такой Царенко? Наш человек? Партийный?» Секретарь говорит: «Наш, партийный». «Тогда пусть не связывается с попами», — ответили в Москве. После этого я к Луке больше — ни ногой». К сожалению, не могу вспомнить, какое у Петра Петровича было выражение лица, когда он произнес это свое «ни ногой». Надо полагать, победоносное. Иначе и быть не могло: его вовлекали, а он устоял, не поддался. И не только сам спасся от растленного религиозного влияния, но и других упредил.

Так запугал он своих симферопольских коллег «нечистым» прошлым Луки, что законопослушные медики за несколько кварталов обходили архиерейскую квартиру.

Я с ними тоже говорил, с «законопослушными». Пожимают плечами: да, было, Царенко «пужал», но, и впрямь, как не опасаться этого странного Войно. Судите сами. Годы шли, один другого страшней: в 1948—1949 годах массовые «повторные» аресты, берут тех, кто сидел когда-либо в прошлом. Заодно не щадят и «свежих». Газеты и радио нагнетают ненависть к американским империалистам с их атомной бомбой. Под шумок своим чередом катится антисемитская кампания, завершившаяся в 1952—1953 годах грандиозным делом «врачей-отравителей». А Лука живет, будто нет вокруг ни опасностей, ни страха. Еще и не слеп, а ведет себя как незрячий. В середине апреля 1951 года произносит в Кафедральном Соборе проповедь: «Несть ни эллина, ни иудея». Размышления апостола Павла о том, что перед истиной веры все люди, и эллины, и иудеи в том числе, равны, звучит прямым политическим намеком. Ведь всех эллинов (греков), тысячу лет живших на крымских берегах, Сталин заподозрил в государственной измене и выселил за пределы родины, а иудеев (об этом открыто говорили тогда партийные боссы) ждала в ближайшее время еще более жестокая расправа. Симферополь — город небольшой, о проповеди Луки все знали, все шушукались. Дальше — больше. Власти разжигают среди горожан антисемитский психоз, а Лука в очередной проповеди подчеркнуто говорит о молодой еврейке из Вифлеема, родившей ребенка, которому

предстояло стать Спасителем мира. Эту проповедь помнят в городе до сих пор. Некоторые не слишком просвещенные прихожане возмутились тогда. «Что же получается, — Христос — еврей!» Впервые, может быть, за все время архиерейства Луки тишина в симферопольском храме нарушена. Слышатся крики возмущения, удивления. Но Луку не так-то просто смутить. Он завершает проповедь о еврее Иисусе Христе словами надежды. Он верит, что паства взглянет теперь вокруг себя новыми глазами, оценит окружающие проблемы с новых позиций. Поступки, которые пугают провинциальных медиков, будят опасения в Крымском обкоме и Московской Патриархии, вместе с тем привлекают к Симферопольскому Владыке сердца множества людей. С любовью и благодарностью говорят о нем верующие и неверующие пациенты. Тайком, в надежде увидеть знаменитого хирурга-епископа забегают в храм студенты, заходят учителя, инженеры, библиотекаря. Руководитель археологической службы Крыма профессор Павел Николаевич Шульц, крупный ученый и партизан военных лет, вспоминает, как он с женой приходил в Собор послушать проповедь Войне о взаимоотношениях религии и науки. Закончилось это для него скверно. Таскали в обком, допрашивали, угрожали, лишили заслуженного ордена. Кстати, объединяли археолога с архиепископом и другие интересы Лука бывал на раскопках Неаполя скифского, интересовался находками ученых.

В 50-х годах они оба, Войно и Шульц, пытались спасти от разборки стоящую на дороге из Симферополя в Старый Крым армянскую церковь четырнадцатого века. Власти объявили, что церковь — в аварийном состоянии. По просьбе Луки археологи осмотрели здание и нашли, что храм может служить еще два-три столетия. Лука получил заключение специалистов и тут же потребовал, чтобы церковь древних христиан передали христианам нынешним, дабы они могли восстановить в ней церковную службу. Памятник архитектуры, конечно, тут же разобрали на кирпичи, атеисту же профессору Шульцу история та едва не стоила потери партийного билета, в обкоме на него кричали: «Партиец, а помогаешь мракобесам! Сопротивляешься антирелигиозной пропаганде?!»

По большим православным праздникам в квартире на Госпитальной улице появляется еще один гость — староста синагоги Френклах. У толстяка Френклаха двойная симпатия к архиепископу: в свое время Лука распознал у него заворот кишок и, можно сказать, спас от смерти. Старик появляется на Госпитальной с неизменной фразой: «Я пришел поздравить папку (отца)». Пожимая руку архиерею, добавляет: «Мы у себя сегодня молились за Ваше здоровье». Это не простая любезность. В синагоге действительно нередко молятся за православного иерея, особенно когда узнают, что Лука болен.

В стране, где десятки тысяч людей вынуждены по команде, махая флажками, выражать свою «сердечность» приезжим королям и президентам, подлинная искренняя симпатия народа прорывается подчас в формах самых неожиданных. В начале 1951 года Лука прилетел самолетом из Москвы в Симферополь (летал он очень охотно), на аэродроме никто его не встретил. То ли телеграмма задержалась, то ли что еще, а в результате полуслепой старик растерянно застыл перед зданием аэропорта, не зная, как добраться до дома. Горожане узнали его. Кто-то спросил, что случилось, кто-то помог занять место в автобусе. Но самое удивительное произошло, когда Лука собрался сходить на своей остановке. По просьбе пассажиров шофер свернул с маршрута и, проехав три лишних квартала, остановил автобус у самого крыльца дома на Госпитальной. Архиерей покинул автобус под аплодисменты тех, кто едва ли хотя бы раз в жизни бывал в православном храме.

Современники подчеркивали художнический характер Войно. Некоторые склонны видеть в этом даже что-то мистическое. «Имя его (Луки Симферопольского) небесного покровителя — Святого Апостола и Евангелиста Луки… имело для Владыки особый смысл, ибо Святой Апостол и Евангелист Лука был, по свидетельству Священного Писания, «врачом возлюбленным» (Кол. 4:14) и, по Преданию Церкви, — первым христианским художником: им были написаны первые иконы Богоматери», — пишет архиепископ Михаил (Чуб). Мне страстное творческое начало в характере Луки представляется столь же врожденным его натуре, как и другие черты характера. Из живописи перенес он это свойство в анатомию, из анатомии — в хирургию. До начала двадцатых годов писал иконы и картины, а когда покончил с кистями и красками, то художнические устремления пробили новый кратер и излились в церковной проповеди. Он попросту не умел ничего делать, не вкладывая в свой труд элемент искусства, художественного созидания.

Дар проповедника «открыл» у Войно Ташкентский епископ Иннокентий. «Ваше дело не крестити, а благовестити», — сказал он только что рукоположенному священнику о. Валентину. И не ошибся: новый проповедник быстро завоевал сердца своих слушателей. Проповедовать в Ташкенте пришлось ему, как мы знаем, недолго: последовал арест и годы насильственной безгласности. Но весной 1943 года, сообщая сыну об открытии храма в Красноярске, Лука первым делом вспомнил о проповеди: «После шестнадцати лет мучительной тоски по Церкви и молчания отверз Господь снова уста мои». С этого времени и до конца жизни проповедь стала для него основным занятием. Он писал проповеди, произносил их, печатал, правил, рассылал листки с текстом по городам страны. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», — заявил он в Симферопольском соборе 31 октября 1952 года. И принцип этот выдерживал до последних дней.

Подводя итоги церковной жизни, Лука утверждал, что за 38 лет священства произнес он 1250 проповедей, из которых не менее 750 были записаны и составили двенадцать толстых томов машинописи. Совет Московской Духовной Академии назвал это собрание проповедей «исключительным явлением в современной церковно-богословской жизни» и избрал автора почетным членом Академии. Избрание не было только актом официозным. Оно отразило общее мнение верующих о Луке-проповеднике. Через много лет жители Красноярска, Тамбова, Симферополя в разговоре со мной цитировали полюбившиеся им строки из давних проповедей Луки, многие с любовью хранили его речи, напечатанные на листках папиросной бумаги. Познакомившись со сборником проповедей Войно-Ясенецкого, протоиерей Александр Мень написал мне: «Это замечательный образец актуальных и глубоко одухотворенных речей, обращенных к сердцу и разуму слушателей. Легко представить, какое впечатление производили бы они, если бы произносились в Москве или Ленинграде. Провинциальная публика не могла достаточно оценить их».

Профессор Московской Духовной Академии о. Александр Ветелев, Архиепископ Воронежский (ныне Тамбовский) Михаил (Чуб) и другие авторы, писавшие о проповедях архиепископа Луки, сходятся на том, что выступления его были выдающимися событиями в нашей церковной жизни.

Находились, впрочем, и другие ценители. Много раз просил отца прекратить проповедническую деятельность Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий. Желая успокоить своего отпрыска. Лука писал ему: «Проповеди мои строго обдуманы и вполне безупречны, нередко даже имеют просоветский характер». И снова: «Твои страхи по поводу проповедей слишком преувеличены».

Испугала первая проповедь Луки (февраль 1944 г.) и тамбовских прихожан. Диакон Василий Малин рассказывает, что, расходясь в тот зимний вечер из церкви, многие не надеялись когда-нибудь услышать и увидеть самого архиерея. Но времена для Церкви были довольно либеральные. Луку не арестовали, хотя тамбовское начальство несколько раз выражало проповеднику свое неудовольствие. Зато в середине 50-х годов всесильный Карпов высказался относительно речей Крымского Архиепископа весьма резко. Когда Войно пожаловался на то, что «Журнал Московской Патриархии» не публикует его проповедей, Председатель Совета по делам церкви ответил: «Вы там у себя в Симферопольском Соборе мутите воду, ну и мутите. А на международную арену мы Вас не выпустим».

О чем же говорил в храме епископ Лука? И как говорил? «Я думаю, что современный православный священник многому мог бы научиться у Луки-проповедника, — пишет протоиерей Александр Мень. — Его речи отличаются цельностью, ясностью мысли, крепкой конструкцией. Он говорит не вообще, но обращается к живым слушателям, создавая тот контакт с аудиторией, который так необходим для проповедника».

Проповеди Луки коротки, он не утомляет слушателей «многоглаголанием». Темы самые разнообразные, во центром и осью всех речей остается Евангелие. Нередко он обращается к предметам, которых по причине плохой подготовленности или из боязни начальственного окрика современные священники вообще не касаются. Так многие проповеди посвящены вопросу о совместимости науки и религии. Всей мощью своей эрудиции, привлекая факты эволюционного учения, физиологии и психологии, проповедник выступает на защиту евангельского учения о триедином составе человека — дух, душа и тело, — триединстве, которому он посвятил свою знаменитую монографию. Понятие о триединстве необходимо проповеднику для того, чтобы с его помощью звать своих слушателей к жизни высшей, духовной, нравственной, отрывать их от интересов излишне телесных.

О проповедях, в которых затрагиваются вопросы науки и культуры, протоиерей Александр Мень справедливо замечает: «Цель современного богословия — синтез. Наука и культура должны быть не инородным «включением» в систему христианского миросозерцания, но найти точное место в иерархии истин… Но в таком случае не только богословские понятия, но и язык проповеди должны не слепо держаться традиционных форм, но искать новые. У Луки же в формах его выражения есть некий дуализм. У него просматривается механическое соединение науки и веры. В своем опыте, в своем сознании он срастил их в органическое целое, но в проповедях достиг этого в гораздо меньшей степени. Владыка жил и творил в эпоху отрыва от всемирной богословской мысли… отсюда элемент некоторой доморощенности во многих его богословских экскурсах».

О. Александр прав. Но сколько надо иметь смелости, чтобы говорить в храме о том, о чем никто другой не решается. Смелость — еще одна черта Луки-проповедника. Смело говорит он об ущербности тех, кто, не познав Бога, открыто обсуждает нелегкие обстоятельства, что выпали на долю верующего в век государственного атеизма. «Трудно нам, нынешним христианам, стоять и держаться против буйных ветров безбожия» (1956 г.). Защищая веру от нападок, Лука приводит свидетельства выдающихся ученых и философов, обращается к истории человеческой мысли. Он не боится при этом сослаться на другие христианские вероисповедания, рассказывает жития католических святых и при нужде может обратиться к опыту внехристианских религий, чтобы и в них усмотреть зерна истины, искренние попытки найти высшую правду. Многократно предостерегает

Лука своих слушателей от греха фанатизма, ненависти к инакомыслящим, к людям иных взглядом. «Относитесь бережно ко всякой чужой вере, никогда не уничижайте, не оскорбляйте» (Слово в праздник Преполовения, 1953 г.).

Один из первых биографов Луки Войно-Ясенецкого, митрополит Мануил Куйбышевский, писал, что проповеди Владыки «отличаются простотой, искренностью, непосредственностью и самобытностью». В качестве примера Мануил привел отрывок из Слова в Великую Пятницу, которое Войно прочитал весной 1946 года в тамбовском храме:

«Господь первый взял Крест, тот самый страшный Крест, и вслед за ним взяли на рамена свои кресты меньшие, но часто тоже страшные кресты бесчисленные мученики Христовы. Вслед за ними взяли кресты свои огромные толпы народа, которые тихо, опустив головы, пошли с ним в дальний путь. В дальний и тернистый путь, указанный Христом, путь к Престолу Божьему, путь в Царство Небесное, и идут, идут, идут, почти уже две тысячи лет, идут вслед за Христом толпы и толпы народа.

Что же, неужели мы не присоединимся к этой бесконечно идущей толпе, к этому святому шествию, по пути скорбей, по пути страдания? Неужели мы не возьмем на себя кресты свои и не пойдем за Христом? Да не будет! Да наполнит Христос, так тяжко пострадавший за нас, Своей безмерной благодатью сердца наши. Да даст Он в конце нашего долгого и трудного пути познание того, что сказал Он: «Мужайтесь! Яко Аз победил мир!» Лука знал цену своему проповедническому таланту, но не заблуждался он и в другом: власти, государственные и церковные, не позволят его речам распространиться слишком широко, не разрешат миллионам читателей приобщиться к его идеям и чувствам. «Совершенно невероятно, чтобы при жизни моей и Евгении Павловны возможно было издание моих проповедей», — писал он сыну, имея в виду огромный труд, который вложила секретарь Е. П. Лейкфельд в переписку, коррекцию и перепечатку более десятка томов его речей. Но в то же время ему не верилось, что проповеди его уйдут из мира вместе с ним. «Думаю, что Вы, вероятно, рассуждаете так же, как и я, при своей усердной проповеднической работе: мое дело писать, а силой Божией мои проповеди могут быть услышаны далеко за стенами моего малого Кафедрального собора».

Готов засвидетельствовать: через пятнадцать лет после смерти Владыки Луки его проповедническое наследие живо. Я находил его проповеди, переписанные от руки и на машинке, в виде отдельных листков, бережно заложенных между страниц Библии, в виде тетрадей и переплетенных томов. Людей России давно не удивляет такой способ хранения живого, правдивого слова. Духовно питая поколение за поколением, самиздат — церковный и нецерковный — сам укрепляется заповедью поэта-христианина Максимилиана Волошина:

… пусть
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой;

при жизни быть не книжкой, а тетрадкой… За сотни лет своего существования европейская государственная мысль среди прочих аксиом усвоила одну важнейшую: преемственность государственной политики. Новое правительство, пришедшее на смену старому, не вольно росчерком пера отменять законы и распоряжения своего предшественника. Как ни различны политические идеалы лейбористов и консерваторов в Англии, христианских демократов и социалистов в ФРГ, голлистов и радикалов во Франции, — ни одна партия не опрокидывает здание внутригосударственного и международного устроения, возведенное ее политическими противниками. Европа

прочно усвоила: то, что большинство населения проголосовало сегодня за новое правительство, вовсе не означает, что народ полностью отверг свои вчерашние идеалы. И каждое демократически избранное правительство, начиная новую политику (будь то «остполитик» ФРГ или национализация по-лейбористски), прежде чем действовать, пытается дознаться, готово ли общество к переменам.

То, что в Европе само собой разумеется, в России даже не подразумевается. Для самодержавных и тоталитарных режимов преемственность политики — ненужная роскошь. Западные державы всерьез задумались об этой «особенности» российского государственного мышления лишь после разгрома Германии, когда пришла пора подписывать документы об устройстве послевоенного мира. Засомневались союзники, вспоминали о невыплаченных царских долгах, о сталинско-гитлеровском пакте 1939 года. В июле 1945 года в Потсдаме Черчилль решил поговорить по этому поводу со Сталиным. Вождь изобразил на лице горькую обиду. Преемственность советской политики? Да это святая святых нашей власти! Как могли подумать?.. Даже если с ним, со Сталиным, что-нибудь случится, имеются хорошие люди (он так и сказал: «хорошие люди»), которые станут на его место и продолжат его политику. «Он думал на тридцать лет вперед», — прокомментировал Черчилль. Не знаю, что именно имел в виду британский премьер-министр, но сегодня, тридцать с лишним лет спустя, мне слышится в его голосе сарказм.

В полном соответствии с нравами Сталина правительство Хрущева отказалось возместить Соединенным Штатам американскую военную помощь («ленд-лиз») и окончательно растоптало Потсдамские соглашения. С делами внутренними Хрущев также не церемонился. Прежние государственные установления — хорошие и плохие — трещали и рассыпались в его руках, как фарфоровые игрушки в медвежьих лапах. Русская Православная Церковь стала одной из первых жертв непреемственности советской внутренней политики.

Сколь бы фальшивы ни были отношения Кремля к Патриархии и Церкви, Сталин до конца своих дней сохранял декор внешней уважительности. С приходом новых хозяев маски были сорваны. Хрущев действовал не столько даже под влиянием усвоенного в юности дешевого крикливого атеизма, сколько из желания унизить в лице Церкви любимое, как ему казалось, детище Сталина. В обстановке грызни за власть «ничейную» эту территорию отдали ему без спора. Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 года явилось затравкой ко всей будущей антисталинской политике Хрущева. Время разоблачений еще не настало, XX съезд далеко впереди. Хитрый преемник сделал так, что о Сталине, о его церковной политике в Постановлении ни слова. Просто выяснилось вдруг, что «церковники и сектанты изыскивают различные приемы для отравления сознания людей религиозным дурманом, обращая особое внимание на привлечение к церкви молодежи и женщин. Они широко используют свою печать (!), проповедническую и благотворительную деятельность, ведут индивидуальную обработку граждан. В результате активизации деятельности церкви наблюдается увеличение количества граждан, соблюдающих религиозные праздники и отправляющих религиозные обряды…»

И коли так: «Надо решительно покончить с пассивностью по отношению к религии, разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, который она приносит, отвлекая часть граждан нашей страны от сознательного и активного участия в коммунистическом строительстве». И, конечно, оргвыводы.

«Обязать министерства просвещения союзных республик и министерство образования СССР усилить воспитательную работу среди учащихся и студентов…

Обязать ЦК ВЛКСМ улучшить научно-атеистическую пропаганду среди молодежи, широко вовлекая молодых рабочих, служащих, колхозников и учащихся в различные коллективы художественной самодеятельности… Предложить ВЦСПС принять меры к усилению пропаганды научно-атеистических знаний среди рабочих, особенно среди женщин…» Подкрепляя официальный документ, Хрущев выступил с большой речью, полной угроз и резких выпадов против Церкви, священников, с прямым натравливанием на верующих. Впрочем, как известно, речами в таких случаях дело не ограничивается. Партийные органы и органы КГБ получили указание запугивать верующих, преследовать тех, кто посещает церковь, повсеместно закрывать храмы. Антицерковный вал 1954 года за считанные месяцы достиг высот угрожающих. Травля и аресты верующих, публичные оскорбления священников, закрытие храмов, разгон «общественностью» церковных праздников напомнили людям старшего поколения события 20—30-х годов.

Забавно, что в силу все той же непреемственности внутригосударственной политики все эти безобразия очень скоро получили официальную огласку. Очередной поворот борьбы в верхах на какой-то момент ослабил позицию Хрущева, и его конкуренты успели опубликовать в том же году новое Постановление ЦК КПСС, на этот раз разоблачающее… антирелигиозников. Тот, кто сумел продраться сквозь дремучий стиль полицейского протокола, которым излагаются подобные документы, мог узнать небезынтересные факты, вернее, не факты, но их отражение в мутной луже многословия.

«В выступлениях некоторых докладчиков допускаются оскорбительные выпады против духовенства и верующих, отправляющих религиозные обряды. Имеют место случаи, когда на страницах печати и в устных выступлениях пропагандистов некоторые служители религиозных культов и верующие без всякого на то основания изображаются людьми, не заслуживающими политического доверия. В ряде районов со стороны местных организаций и отдельных лиц допущены случаи административного вмешательства в деятельность религиозных групп, а также грубого отношения к духовенству». И далее в том же духе: «кое-кто», «где-то», «кое-когда"… Хотя все отлично знали, кто, где и когда поносил церковников в печати и устных выступлениях.

Само собой разумеется, что после второго Постановления ЦК гонения на Церковь и верующих не прекратились. Хрущев «на троне» укрепился и приказал всеми средствами закрывать, уничтожать и занимать православные храмы под склады и другие учреждения. В 1956 году была закрыта Киево-Печерская Лавра, древнейший очаг русского православия. А всего за «хрущевское» десятилетие власти уничтожили в стране десять тысяч церквей и молитвенных домов!

Когда какое-нибудь правительство не считается с нравственностью, то создается впечатление, что оно приобретает большие преимущества и свободу действий. Но, как еще две тысячи лет назад заметил апостол: «Нет ничего сокровенного, что не открылось би, и тайного, чего не узнали бы». (Лк:XII, 2). Сверхсекретные и сверхтайные распоряжения в преследовании верующих повсеместно разоблачали себя. Инженер Илья Борисов был вызван в Тамбовское КГБ по поводу переписки его жены с Крымским Архиепископом Лукою. Переписка касалась сугубо религиозных и личных вопросов, но инженеру сказали, что если его жена Софья Ивановна не прекратит переписываться с церковником, то его, Борисова, выгонят с тамбовского котельно-механического завода и нигде в Тамбове он себе работы не найдет. И детей его, студентов, из институтов тоже выгонят. Выгонят — это уж наверняка. Но откуда сотрудники КГБ знают содержание чужой переписки? Благодаря своему острому зрению Илья Яковлевич разглядел на столе

следователя толстый том: «Дело Войно-Ясенецкого», а в нем, в «деле», — копии писем Луки в Тамбов и писем Софьи Ивановны в Симферополь. Вот так. А в Симферополе, где тоже перлюстрировали письма архиерея и подслушивали его телефонные разговоры, возникла после июльского Постановления ЦК новая должность: городской церковный фотограф. Каждый день обходил современный Иуда храмы и, не слишком стесняясь, фотографировал прихожан в лицо. Выгода достигалась двойная: слабые духом, боясь преследований, переставали появляться в церквах, а кто потверже — попадал в досье соответствующих органов на случай новых расследований, новых терзаний. Так выглядела изнанка Постановления ЦК «Об улучшении научно-атеистической пропаганды"…

В 1954 году Архиепископу Крымскому исполнилось семьдесят семь лет. На фотографиях тех лет предстает перед нами грузный, несколько даже обмякший старец, с лицом, которое из-за слепоты кажется замкнутым и хмурым. Лицо человека много перенесшего, вступившего в пору, которую Писание определяет как смертную. Откуда же нашел он силы еще на семь лет жизни? На те самые семь, когда подбитый залпом 1954 года церковный корабль, все более кренясь, шел к своей роковой пробоине 1961-го? Что делал эти годы Лука Войно-Ясенецкий? Мирно доживал свой век? Баюкал внуков? Дремал, слушая доклады секретарей? Не угадали. Он боролся.

Но что старый, больной человек может сделать против стихии? В каждом письме профессор Войно-Ясенецкий-младший из Ленинграда напоминает отцу своему, профессору Войно-Ясенецкому в Симферополе, старую истину, что плетью обуха не перешибешь, и вообще времена наступают такие, что лучше стушеваться, притихнуть, до поры до времени не обнаруживать себя. Да и для кого, собственно, стараться? Ради попов, которые служат Богу только ради наживы? Ради «божьих одуванчиков» — старух церковных, всех этих бабушек и мамушек?

«Предоставь презренным Александрам Осиповым клеветать на чистых священнослужителей и не присоединяй к нему своего голоса», — отвечает Лука, имея в виду перебежчика, прославившегося своими непристойными выпадами против Церкви. Но, может быть, сын в чем-то все-таки прав? Нужно ли рисковать собой, если в ответ на преследования испуганно молчит Патриархия, если склоняются перед беззаконием толпы верующих? Стоят ли жертв и страданий мужественной личности трусливые церковные вожди и развращенный, готовый предать самого себя народ?

Старинная эта задачка, и много умных голов об нее расшиблось. Для кого стараться? Уже после смерти Луки три студента обратились с этим вопросом к Солженицыну. И Александр Исаевич предложил свое решение: «В те массово-развращенные эпохи, когда встает вопрос: «А для кого стараться? а для кого приносить жертвы?» — можно уверенно ответить — для справедливости. Она совсем не релятивна, как и совесть. Она, собственно, и есть совесть, но не личная, а всего человечества сразу. Тот, кто ясно слышит голос собственной совести, тот обычно слышит и ее голос». Похоже, что архиепископ Лука таил в душе тот же ответ. Он не оставил его нам в виде дневниковой записи, письма или статьи, но в самое тяжелое и опасное для Церкви время начал свою собственную, единоличную и безнадежную борьбу за то, что считал справедливым. Методы? Но разве есть у христианина иные методы борьбы, кроме личного примера и живого слова?

В декабре 1954 года в Симферополе проходил съезд священников Крымской епархии. Доклад делал архиепископ Лука. Невеселые известия имел архиерей сообщить своим сослужителям. Из 58 церквей в Крыму осталось 49. Остальные закрыты уполномоченным. В опасности еще два храма — в селе Мускатном и селе Емельяновке.

Лука не скрывает: пропаганда, тайные и явные формы нажима на верующих делают свое дело — храмы пустеют. Девятый пункт повестки дня так и сформулирован: «Как отразилась антицерковная пропаганда на количестве молящихся в церкви». О Постановлении ЦК КПСС и выступлении Хрущева в газетах архиепископ сказал кратко: «Я не счел нужным опровергать эти выступления в печати. Я ограничился одной проповедью на тему: «Не бойся, малое стадо».

За этой как бы вскользь брошенной фразой стояло, однако, событие совсем не рядовое. И два десятилетия спустя симферопольские жители, рассказывая мне о проповеди в день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1954 года, с удивлением покачивали головами: «Как это могло случиться тогда, сразу после Сталина…» Мне кажется, однако, что таких проповедей прихожане не слыхивали в наших церквах ни тогда, ни позднее. Лука сказал между прочим:

«…Знаю я, что большинство из вас очень встревожено внезапным усилением антирелигиозной пропаганды и скорбите вы… Не тревожьтесь, не тревожьтесь! Это вас не касается.

Скажите, пожалуйста, помните ли вы слова Христовы из Евангелия Луки: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». О малом стаде своем Господь наш Иисус Христос не раз говорил. Его малое стадо имело начало в Его апостолах святых. А потом оно все умножалось, умножалось… Атеизм стал распространяться во всех странах, и прежде всего во Франции, позже, гораздо позже, уже в начале восемнадцатого века. Но везде и повсюду, несмотря на успех пропаганды атеизма, сохранилось малое стадо Христово, сохраняется оно и доныне. Вы, вы, все вы, слушающие меня, — это малое стадо. И знайте, и верьте, что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христовы: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют Ее». Так что же, если даже врата адовы не одолеют Церкви Его, малое стадо Его, то чего нам смущаться, чего тревожиться, чего скорбеть?! Незачем, незачем!

Малое стадо Христово, подлинное стадо Христово неуязвимо ни для какой пропаганды». Так говорил архиепископ Лука спустя неполных четыре месяца после того, как глава государства провозгласил необходимость окончательно покончить с Церковью и с христианством. Говорил не тайно, не исподтишка, открыто — в храме. И надо полагать, многих тогда успокоил, многих укрепил.

О последствиях той давней проповеди задумался я летом 1975 года, когда в годовщину смерти архиепископа Луки присутствовал на посвященной ему панихиде. Я стоял на Симферопольском кладбище, в толпе, окружившей усыпанную розами могилу покойного Владыки. Правящий Епископ Симферопольский служил, а несколько сот человек вокруг вторили ему. Ни до, ни после панихиды никаких речей не было, но все присутствующие хорошо знали, о ком идет речь и зачем они здесь собрались. После панихиды люди долго не расходились. Поредевшее, но не рассеянное «малое стадо» самим присутствием своим у могилы пастыря подтвердило верность его заветам, его наставлениям.

…Значительно более, нежели прихожане, беспокоили Луку священники. Именно на них наиболее разрушительно подействовала резкая перемена общественного климата. И совсем не в корыстолюбии дело, хотя числились на счету у Владыки и корыстолюбцы. Иной механизм разрушает духовную крепость сельских и городских батюшек. Верующие люди ждут от священника больших духовных истин, но не менее важна для них его каждодневная жизнь, его общественная позиция. Между тем люди видели: на следующий

день после опубликованной в газетах погромной речи Хрущева батюшка приступает к очередной службе и проповеди так, как будто ничего не случились. Все в храме знают: случилось. И ждут от священника ответа. Но опровергать официальные антирелигиозные нападки рискованно. Священник молчит, помалкивают и прихожане. Ложь умолчания свивает гнездо там, где еще недавно между людьми существовали доверие и взаимное уважение. Ложь умолчания разрушает доверие к священнику. Для многих этого достаточно, чтобы потерять и веру в Бога. Священник же, утратив общественное доверие, порвав внутренние связи, связывающие его с паствой, уже не пастырь, а человек на должности. У него складывается психология чиновника: он хочет поскорее отделаться от службы, кое-как отбыть требы, уклоняется от проповеди и личных исповедей, от всех тех обязанностей, когда надо смотреть людям в глаза. Чтобы смотреть в глаза, надо иметь чистое сердце.

У епископа, который наблюдает за душевным распадом своего священника, почти нет возможности спасти его. Нельзя приказать сослужителю подняться на амвон для диспута с атеистами. В социалистической России это грозит арестом, изгнанием, многими годами лишений. Нельзя передать другому свою стойкость, свое мужество. Но можно потребовать, чтобы, несмотря ни на что, подчиненный исполнял свое дело точно, строго по уставу, с душой. И Лука требует. Как в 40-х годах, в 50-х подписанные им распоряжения по епархии клеймят бездельников и равнодушных, корыстолюбцев и уличенных в непослушании. Как и прежде, вслед за призывами к совести следуют вполне современные методы воздействия. Вскоре после Постановления ЦК КПСС Лука наказывает ряд священников, предпочитающих «облегченный вариант» крещения. Он вызывает в Симферополь одного священника за другим, чтобы лично проверить, не совершают ли пастыри ошибок в богослужении. Ошибок много, и Лука специальным «Вразумительным посланием» объявляет об этом. Он по-прежнему верит в силу одушевленного слова и разумной целеустремленной мысли. Не может быть, чтобы священники не поняли замысел своего архиерея. Ведь он хочет совсем немногого: чтобы как можно дольше не гасли огни под церковными сводами. Чтобы службы совершались как можно более стройно, красиво, а главное — чаще. Пускай двери храма остаются отворенными, чтобы верующий, улучив свободную минутку, мог прийти для интимной, а лучше для общей молитвы. Ради этой простой истины Лука снова и снова обращается к причту с увещеваниями:

«С большой скорбью слышу и узнаю, что многие священники… служат только в великие праздники и в воскресные дни… Служение по субботним дням очень важно… Священники, не желающие служить в те дни, когда по уставу положены полиелейные и субботние службы, обыкновенно отговариваются тем, что эти службы требуют лишнего расхода на свечи, масло, вино и особенно тем, что нет молящихся в церкви. В укор им расскажу о французском священнике, Жан-Мари Вианней, жившем во время Наполеоновских войн в деревушке Аре, неподалеку от большого города Лиона, и позже причисленном католической церковью к лику святых. Церковь эта долгое время оставалась без священника, народ совсем отвык от богослужений, и никто не ходил в церковь. Жан-Мари Вианней в полном одиночестве начал совершать ежедневно все божественные службы. В пустую церковь стали изредка заглядывать любопытные, чтобы посмотреть на чудака-священника. Вдохновенное служение доброго пастыря привлекало все больше и больше молящихся, и скоро церковь не вмещала их. Слава о ревностном пастыре дошла до города Лиона, а потом распространилась по всей Франции, и отовсюду приезжали к доброму пастырю желавшие исповедоваться у него и послушать его

бесхитростную, но подобно Божественному пламени, исходившему из глубины сердца, проповедь… Да устыдятся же ленивые и нерадивые священники моего рассказа об этом французском святом…»

Судьба преподобного Вианнея не прельщает крымских священников. Помню, как летом 1957 года, после знакомства с Лукой, я ездил по Крыму, пытаясь расспросить о нем церковную публику. Ничего у меня не получилось. Священники наши и вообще-то не склонны вступать в разговоры с незнакомыми, подозревая в каждом любопытном стукача или антирелигиозника. А тогда в Симферополе, Алуште и Евпатории, заговаривая о Луке, я наталкивался на двойную антипатию. На мои восторженные охи и ахи по поводу архиерея-профессора батюшки цедили сквозь зубы что-то не слишком вразумительное, но сердитое. Только один пожилой священник напрямик сказал мне: «Не обольщайтесь, молодой человек. Профессор — это, конечно, хорошо, но архиерею быть профессором вовсе не обязательно». Смысл фразы от меня тогда ускользнул. Недоброжелательство духовных я отнес на свой счет, клял себя за неумение наладить отношения с людьми. Но теперь, взглядом издалека, различаю: священников раздражал сам объект нашей беседы, преосвященный Лука. Уж очень он допек их строгостью и нечеловеческим бескорыстием. Не знал я тогда, что в Крыму уже давно полыхает пожар церковного конфликта, пожар, всячески поддерживаемый КГБ.

Уполномоченные по делам Русской Православной Церкви сменялись в Симферополе за пятнадцать лет несколько раз, но оставались столь же мало различимы между собой, как равнозначные шахматные фигуры из разных коробок. Как шахматные ладьи и слоны, ходили они всегда одними и теми же путями и цель имели одну. Немудреная цель их состояла в том, чтобы закрыть как можно больше церквей. В идеале — все. «Ходы» для этого годились любые, жалобы и доносы священников в том числе. Единственное, что отличало уполномоченных второй половины 50-х годов от его предшественника — это наглость. Ему уже незачем было скрывать свои планы, которые откровенно и цинично выбалтывали каждый день газеты и радио. От старого времени осталась только страсть к бумажкам: закрытие каждого храма надлежало должным образом «оформить». Вокруг оформления все и крутилось.

Разговор с недовольным священником уполномоченный 50-х годов ведет цинически обнаженно: «Недоволен приходом? Хочешь получить другое место? Поможем. А ты нам помоги: напиши заявление, что в церкви твоей трещина образовалась. Нету? А ты поищи. Пусть будет маленькая, незаметная. Мы сделаем ее заметной. Церковь закроем, тебя на новое место переведем. Договорились?»

Заявление написано, а следом и протокол «инженерный» состряпан: здание в опасности, к эксплуатации непригодно. Так было с собором в Евпатории. Посланная уполномоченным бригада рабочих окопала фундамент чуть ли не до основания. Что-то там в глубине нашли. Что — неизвестно. Лука запротестовал, телеграфировал в Патриархию. Обычно Москва в таких случаях отмалчивалась. На этот раз приехали инженеры, обследовали собор, составили новый акт: фундамент нерушим. Но нерушимым оказался и уполномоченный. Финал конфликта оказался предрешенным: собор закрыли, местные власти спешно снесли купола и поместили в «опасном» помещении свои конторы и склады.

Раздоры в церковном доме использовались и по-другому. В селе Почтовое поругались женщины-прихожанки. В горячке спора стали честить церковную старосту — будто непорядочна, будто пятаки к ладоням пристают. Обычная бабья свара, но уполномоченный тут как тут. Готова ревизия, готово заявление в суд. По указке КГБ суд

приговаривает старосту к заключению и частным определением рекомендует закрыть храм как место раздоров и махинаций. Сказано — сделано. Суд — свой, райисполком — свой, все просто.

И вот так: «Храм-храм, хруп-хруп» из месяца в месяц, из года в год. А церквей все меньше. Лука пишет в Патриархию. А оттуда: «Полноте волноваться, вопрос местный, частный, разрешайте полюбовно с уполномоченным». Лука шлет своего секретаря к уполномоченному с протестом, а тот и разговаривать не желает. Лука с жалобой в Совет по делам Русской Православной Церкви, а Карпов командирует в Симферополь «комиссию» из двух близких дружков уполномоченного. «Хи-хи, ха-ха, вот дурной старик…» Так она и возводится вкруговую, непробиваемая стена из разных, а в сущности, из родственно-близких кирпичиков — шкурник-священник — уполномоченный Патриархия — Совет по делам… Все выше и выше кладка, все глуше и глуше вокруг. Ни щели, ни продыху.

Общаться с Патриархией в последние годы становится все более тягостно. После Сталина руководители Православной Церкви потеряли в глазах правительства всякий вес и значение. Патриархия боится голоса подать, боится любых конфликтов, особенно тех, что возникают «внизу», в епархиях. Свои права она почти полностью передала ведомству генерала КГБ Карпова. Чиновник вмешивается теперь в самые сокровенные, самые внутренние дела Церкви. Патриарх на все махнул рукой. Патриарх на все согласен.

Отношение Луки к Патриарху Алексию — одна из неразгаданных тайн души Войно-Ясенецкого. Однажды в письме к сыну он бросил: «Патриарха надо жалеть, а не осуждать». Сказано это было в то время, когда очередной раз капитулировав перед мирским начальством, Патриарх выпроваживал Луку из Тамбова. Сказано по частному поводу, но меня не оставляет убеждение, что жалость и сострадание к Святейшему сохранял Лука многие годы, до самого своего конца. Не странно ли?

На редкость непохожими они были людьми — по духу, по взглядам, по образу жизни. Почти антиподы. Не знающий страха, труженик Лука и Патриарх Алексий, для которого праздность — истинный праздник. Лука, который без крайней нужды не вымолвит лишнего слова, Лука, погруженный в себя, свои мысли, и Алексий, для которого нет большего удовольствия, чем легкая, ни к чему не обязывающая болтовня, предпочтительно по-французски. И быт, и вкусы их, и жизненный обиход их решительно непохожи друг на друга.

Сноха архиепископа Луки Мария Кузьминична Войно-Ясенецкая вспоминает встречу со свекром в апреле 1945 года. Их семья ехала через Москву к новому месту работы Михаила Валентиновича. Лука тоже оказался в столице и пригласил сына с семьей к себе на чашку чая. Марии Кузьминичне запомнились богато обставленные комнаты Патриархии, ковры, хрусталь. Но особенно поразило ее поданное угощение. Конец войны. Пост. А тут хрустящие скатерти, великолепная посуда, стол ломится от яств. Белый пышный хлеб, черная икра, изысканные сорта рыб, грибы, много сладостей. После скудного сталинабадского житья эта роскошь казалась почти недостоверной. На столе стояла ваза с сахаром. Маленький Алексейка спросил: «Что это?» За свою жизнь он никогда еще не видел рафинада. В Таджикистане ему, да и то не каждый день, доставалась небольшая порция желтого песку или повидло. «Вот так они живут… Так у них принято, — с неодобрением оглядывая стол, сказал Лука. — А ведь сколько сейчас голода вокруг, сколько нищеты…»

Шли годы. Ничего не менялось в быте Патриарха. Не менялся и Лука. Они снова встретились шесть лет спустя в Одессе, где Святейший отдыхал на своей даче. Софья

Сергеевна Велицкая писала тогда: «К сожалению, папа опять одет очень плохо: парусиновая старая ряса… и очень старый из дешевой материи подрясник. И то и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето, дорогие красивые рясы и подрясники, прекрасно сшиты, а папа — такой замечательный — хуже всех, просто обидно…» Разница одежд, которая так огорчила добрую Софью Сергеевну, для самого Луки прошла, очевидно, незамеченной. Но кое-что он все-таки замечал, хотя бы то, что Патриархия годами не приглашает его, правящего архиепископа, на встречи с иностранцами, вождями. Это началось еще при Сергии, когда в сентябре 1943 года Войно вызвали телеграммой из Красноярска в Москву для встречи с представителями англиканской Церкви, но по непонятной причине на прием с иностранцами он так и не попал. При весьма странных обстоятельствах, как мы помним, не попал Лука и на выборы Патриарха Алексия в 1945-м. Листая «Журнал Московской Патриархии», не видишь его имени среди участников пышных патриарших приемов: в 1948 году, когда в чрезвычайно торжественной обстановке, при большом съезде иностранных гостей Православная Церковь отмечала 500-летие своей автокефалии. Крымский Архиерей снова имел возможность печально заметить: «На очень важный съезд представителей всех православных Церквей было приглашено много епархиальных архиереев, но не я. Это окончательно доказывает, что ведено держать меня под спудом». Его действительно держали под спудом. Почему? Один из сотрудников Патриархии сказал мне: «Слишком образован был, иностранные языки знал. Святейший его побаивался, а вдруг наговорит иностранцу чего не полагается».

Святейший побаивался… А после речи Хрущева в 1954 году, когда в Патриархию из Крыма хлынули жалобы на Луку и от священников, и от уполномоченного, Патриарх и вовсе почел за лучшее отстраниться от опасного оппозиционера. Человек дипломатически искушенный, он ответы в Крымскую епархию стал поручать второстепенным сотрудникам, сам же уклонялся от любых контактов с беспокойным «профессором». Кстати, в Патриархии все чаще теперь Луку так и называли. Пример подал Святейший. Несколько раз в узком кругу, как бы мимоходом, рассказывал он забавные истории про Войно. То вспомнит, как нетерпеливо Лука три года ждал Сталинскую премию. То, как бы в порицание Патриаршей канцелярии, расскажет об ошибке машинистки, которая однажды в каком-то письме назвала епископа Красноярским архиепископом. Войно тут же прислал в Москву благодарность за возведение его в более высокое достоинство. Пришлось Патриарху Сергию задним числом составить указ об его архиепископском звании. В конце 50-х годов к Святейшему обратился Архиепископ Кировоградский Нестор (Анисимов). Он попросил разрешения съездить к Луке Крымскому для богословской беседы. Вместо ответа Алексий пренебрежительно махнул ручкой и прыснул: дескать, о чем с ним разговаривать… Эту ироническую манеру в Патриархии быстро подхватили. Стало модным говорить о крымском чудаке с иронической улыбочкой, с многозначительным пожиманием плеч: «Профессор…»

Так они и шли, не пересекаясь, две судьбы, два разных характера. И только однажды, да и то не более как на миг, мелькнула у Святейшего мысль, что, может быть, не совсем он был справедлив в архиепископу Луке. Случилось это летом 1961 года, вскоре после похорон Крымского Владыки, с докладом о похоронах приехал в Москву Епископ Тамбовский Михаил (Чуб). Он долго рассказывал Алексию о громадных толпах народа, запрудивших улицы вокруг Крымской епархии, о длившемся всю ночь многолюдном прощании в Симферопольском кафедральном соборе, о слезах прихожан, о том, как на всем пути от Собора до кладбища люди порывались взять гроб на руки. Не забыл

упомянуть и о специальной заупокойной службе в синагоге, которой отметили смерть Луки симферопольские евреи.

Патриарх слушал внимательно, интересовался подробностями. Потом помолчал и, задумчиво растягивая слова, будто добираясь до какой-то раньше неведомой ему мысли, произнес:

«Так, значит, они его там действительно любили?..»

Но то было потом. А в последние роковые годы жизни Лука напрасно взывал к Святейшему. Стена опасливого равнодушия прочно отделяла Патриарха всея Руси от каждодневной борьбы, волнений и неудач крымского упрямца. Она все матерела, все росла и крепла, эта стена, но перед ее молчаливой громадой Лука ни разу не помянул с укором имя Патриарха. С тем и ушел он из мира, оставив своим биографам эту необъяснимую фразу: «Патриарха надо жалеть, а не осуждать».

«…Церковные дела становятся все тяжелее и тяжелее. Закрываются церкви одна за другой. Священников не хватает, и число их все уменьшается», — пишет Лука сыну летом 1956 года. Тема эта звучит от письма к письму все настойчивее. «До крайности занят тяжелейшими и неприятнейшими епархиальными делами». Год 1958-й. В 1959-м обстановка еще более накаляется. «По горло занят тяжелыми епархиальными делами и трудными отношениями с уполномоченными». «Очень мучает и волнует постепенное закрытие церквей уполномоченным». «Епархиальные дела становятся все тяжелее, по местам доходит до открытых бунтов против моей архиерейской власти. Трудно мне переносить их в мои восемьдесят два с половиной года. Но уповаю на Божью помощь, продолжаю нести тяжкое бремя». «Приехал член Совета по делам Православной Церкви для проверки заявлений на уполномоченного. Ничего хорошего не принес и этот его приезд. Мне стало понятно: жалобы мои дадут мало результатов». Письма 1960 года — уже подлинный сигнал бедствия тонущего корабля. «Церковные дела мучительны. Наш уполномоченный, злой враг Христовой Церкви, все больше и больше присваивает себе мои архиерейские права и вмешивается во внутрицерковные дела. Он вконец измучил меня». «Измучен нашим уполномоченным и целым рядом очень трудных епархиальных дел…» «Более двух месяцев пришлось мне воевать с исключительно дурным священником… Бунт против архиерейской власти в Джанкое, длящийся уже около года и поощряемый уполномоченным». Сыну: «У меня гораздо больше сокращающих жизнь переживаний, чем у тебя». Большое письмо целиком посвящено духовным лицам, «восставшим против архиерейской власти и творившим великие безобразия, беззаконно повинуясь только уполномоченному…». И, наконец, как выдох человека, окончательно выбившегося из сил: «Общее положение церковных дел становится невыносимым…»

До смерти всего полгода. Что еще придумают многоопытные мужи, чья служба — душить в России Церковь и веру? Как будто все уже было. Нет, не все. Придумали новое.

Год 1960-й начался в СССР волной антирелигиозных гонений. Сигнал, как всегда, подало Постановление ЦК КПСС: «Руководители некоторых партийных организаций не ведут настойчивой борьбы против чуждой идеологии, не дают должного отпора… идеалистической религиозной идеологии…»

Борьба и отпор последовали незамедлительно. Многочисленные авторы газетных статей, брошюр и академических монографий принялись доказывать своим читателям, что от православия — один вред. И если даже была когда-нибудь польза, то и она носила в целом характер исключительно вредоносный. Но, как всегда, самые важные распоряжения власти оказались засекреченными. Газеты ничего не сообщили о том, что в марте 1960 года Совет по делам Православной Церкви представил Св. Синоду проект

церковно-приходской реформы. Речь шла о коренной ломке всего приходского уклада. Отныне священник переставал быть главой прихода. Храм, его имущество и все права передавались в ведение так называемой «двадцатки» двадцати человекам, назначаемым районными или городскими властями. «Двадцатка» нанимает священника для службы в храме и при желании увольняет его. Сам же пастырь не может быть членом «двадцатки» и не имеет никакого отношения к управлению храмом. Не привлекаются к управлению приходом и остальные прихожане. Назначая в состав «двадцатки» своих людей, власти становятся полными хозяевами храма, им ничего не стоит решением все той же «двадцатки» членов-учредителей закрыть его в любое удобное для них время.

Ермоген Калужский, один из наиболее образованных в юридических и канонических вопросах архиепископов, дал реформе такую оценку: «Эта реформа… не имеет ничего общего с православным понятием о приходе. Находится она в полном противоречии и с гражданским законодательством о культах. По церковному понятию, приход образуют верующие миряне-прихожане и священник. Все взрослые прихожане и священник являются полноправными членами приходской общины. Каноническое право говорит, что церковный приход никогда не возникал и не получал канонического оформления без священника, и священник всегда был полноправным членом приходской общины. История Церкви знает о существовании приходов, которые по условиям времени, например, в эпоху гонений, не имели храма, но она не знает ни одного случая, чтобы во главе прихода стоял не священник. Не имущество церковное и даже не молитвенное здание дает жизнь приходу, а верующие — прихожане и священник. Только в их союзе и взаимодействии возможно существование христианской общины, а разрыв этой связи уничтожает понятие прихода.

Согласно гражданскому законодательству не двадцать человек, подписавших договор на пользование храмом, а все местные жители православного вероисповедания являются полноправными членами приходского собрания (Постановление от 8 апреля 1929 года). Поскольку принятие советским гражданином священного сана не лишает его политических и гражданских прав и не ограничивает его правоспособности и дееспособности, то лишение его права состоять членом религиозной организации, само существование которой без него теряет всякий практический смысл, не может быть рассматриваемо иначе, как акт, противоречащий действующему законодательству».

Архиепископ Ермоген, сосланный за свое непримиримое правдолюбие в монастырь, оценивал проект КГБ примерно с тех же позиций, что и Лука Симферопольский.

Но даже весьма подобострастный к власть имущим Синод Московской Патриархии и то растерялся, получив от Карпова проект «реформы». Члены Синода долго медлили с ответом, как могли уклонялись от окончательного решения. Дело тянулось целый год. Карпов начал нажимать, требовать, грозить. Членов Синода поодиночке вызывали в Совет для беседы. В Совете напирали на то, что священники в приходах разъелись, хапают огромные куши, покупают дома, автомобили. Пора их посадить на твердую зарплату, а контроль над ними «передать народу». Карпов орал Патриарху: «Вы что, нам новую буржуазию хотите создать?!» Святейший ежился от генеральского крика, пытался оттягивать решение, но однажды (шел уже март 1961 года), махнув по обыкновению ручкой, поставил подпись там, где от него требовали.

Чтобы окончательно вступить в силу, новый документ должен был получить утверждение Собора. Собрать Поместный Собор, то есть съезд архиереев. представителей священников и мирян от всех епархий страны, Патриарх не решился. Собор мог взбунтоваться. Очень уж резко новый проект отличался от того порядка патриархальной

жизни, да и вообще от всех традиций Церкви, который утвердил Собор 1945 года. До церковных «низов» уже дошли слухи о карповском творчестве, и народ в храмах высказывался против реформы. Что делать? Ведь по советской государственной традиции, воспринятой в Патриархии, все голосования должны проходить единогласно. А как вдруг «низы» провалят реформу? Опытный дьявол-искуситель Карпов и тут подал Патриарху «дельный» совет. Поместный Собор собирать, действительно, хлопотно, проще собрать Собор архиерейский, иными словами, вызвать по телеграфу правящих епископов, пусть утверждают непопулярный документ как бы «в рабочем порядке».

Расчет был прост и точен: архиереи, люди обеспеченные и полностью зависимые от Патриархии, спорить со Святейшим побоятся, и документик, окончательно предающий Церковь в руки мирской власти, подмахнут. Так и порешили.

Архиерейский Собор состоялся 18 июля 1961 года в Троице-Сергиевской Лавре в день памяти основателя Лавры Сергия Радонежского. Архиепископ Ермоген, один из участников Собора, рассказывает:

«Собор не был созван, как полагалось бы, через Послание Патриарха, а телеграммами из Патриархии на имя правящих архиереев с приглашением принять участие в богослужениях в Лавре в день памяти преп. Сергия. О Соборе в телеграммах не было даже намеков. Прибывшие архиереи были поставлены в известность об имеющем быть Соборе только поздно вечером после всенощной под день памяти Преподобного, менее чем за сутки до Собора. Подобный способ созыва Собора необычен и, разумеется, не может быть оправдан с канонической точки зрения».

Иными словами, собрали преосвященных, объявили им: «Вы — Собор», прочитали документ о реформе и приказали: «Голосуйте». После нескольких сотен лет существования приходско-епархиального устройства Русской Православной Церкви понадобилось несколько минут для того, чтобы разрушить освященный веками порядок. Архиереям объявили, что новая схема управления установлена «впредь до созыва очередного Поместного Собора», и, как школьников, распустили по домам.

Чем стала Церковь после этого голосования? От священников и епископов, с которыми удалось обсудить последствия Собора 1961 года, я почти всегда слышал по этому поводу проклятия и жалобы. Приходилось слышать о кабале, в которую загнали священника, о развале и склоках, которые царят теперь в приходах. Судить об этом не берусь. Но одна сторона реформы, а именно экономическая, приводит на память знаменитый опыт Ивана Петровича Павлова с «мнимым кормлением». Физиолог перерезал у собаки пищевод и вывел его наружу. В желудок он вшил фистулу для выделения желудочного сока. Собаке после такой операции давали мясо. Проглоченные куски тут же вываливались наружу. Сок же по трубочкам — кап, кап, кап. Хоть литрами его собирай. Нечто очень похожее случилось после карповской реформы с церковной кассой. Миллионы рублей, которые по всей стране верующие жертвуют на храмы, деньги за исполнение треб, за свечи и просфоры перестали доходить до Церкви, а с помощью «искусственной фистулы» — «двадцатки» — полились в казну. Качает насос «мнимого кормления» народные денежки уже пятнадцать лет и, надо полагать, не устанет качать еще долго. Доволен товарищ Карпов, доволен сменивший его Куроедов, довольны в Кремле. Довольны, да не совсем. Фарс с архиерейским Собором прошел далеко не так гладко, как им этого хотелось. Публично и во всеуслышание восемь епископов не признали реформу законной. Шестерых кое-как удалось уломать, а двое свой протест направили в Патриархию письменно. Одним из двоих был Лука Крымский и Симферопольский.

Лука не дожил до дня преподобного Сергия Радонежского. Не удалось мне разыскать и текст его протеста, посланного в Москву. Но некоторое представление о душевном состоянии Крымского архиерея весной 1961 года дает письмо, отправленное им незадолго до смерти. Своей духовной дочери он писал: «Я всецело захвачен и угнетен крайне важными событиями в Церкви Русской, отнимающими у всех архиереев значительную часть их прав. Отныне подлинными хозяевами Церкви будут только церковные советы и «двадцатки», конечно, в союзе с уполномоченными. Высшее и среднее духовенство останется только наемными исполнителями богослужений, лишенными большей части власти в распоряжении церковными зданиями, имуществом и деньгами. Вы понимаете, конечно, что я не могу сейчас думать ни о чем другом…»

Думы о предстоящем разорении Церкви, о путах, которыми ее опутали, об утере ею остатков самостоятельности отнимали последние силы. Ровно сорок лет прошло с тех пор, как стал Лука церковным человеком. В 1921 году ограбленная, униженная, попираемая Церковь нуждалась в защите от властей, от потерявших разум и веру людей. Тогда отец Валентин Войно-Ясенецкий (позднее Владыка Лука) точно знал, где враг, а где друг. Объединенная вокруг Патриарха Тихона Церковь виделась оскорбленной вдовицей, и готов он был за нее на костер и на дыбу. Но вот через сорок лет все повторилось. Церковь вновь втоптана в грязь. Но почему-то ушла уверенность в том, что ныне, как и сорок лет назад, виновата лишь противоположная сторона. Только ли партийные пропагандисты и чиновники ведомства генерала Карпова довели Церковь до жалкого ее состояния? А сама она что для себя сделала? Когда и как оборонялась? Что сделали ради общего дела члены Святейшего Синода, администраторы Патриархии, тысячи городских и сельских приходов, многомиллионная армия верующих? Так ли уж они неповинны в новом унижении матери своей? Лука гонит от себя эти тягостные мысли, но они возвращаются снова, лишают сна, покоя. Нет, он не оставит Церковь — тело Христово. Но как быть с Церковью, которая является в то же время институтом, организацией, как и любая другая организация, несет в себе грязь эпохи, зло этого мира? Ее все больше развращают, покупают, запугивают. Многие в Патриархии убеждены: в обстановке террора другой Церковь и быть не может. Пусть так. Но остается ли слоеный пирог из церковных служб, полицейских предписаний, «борьбы за мир» и пышности патриарших приемов все еще Православной Церковью?

…Лука угасал. Стал сильно уставать от служб, от проповедей, уставал от епархиальных дел, от разговоров с посетителями. Раньше отдыхал после обеда, теперь приходилось прилечь еще раз, перед вечером. Бледнел. Отказывался от пищи. Евгения Павловна Лейкфельд пишет: «Его несказанно мучал своими действиями против Церкви, постоянно неправильными, уполномоченный, человек жестокий и совершенно беспринципный. Владыка говорил, что этот уполномоченный отнял у него несколько лет жизни». Лето в Алуште не принесло облегчения. Лука вернулся в город осенью 1960 года бледный, прозрачный. Увидав его в храме, женщины заплакали: «Уходит от нас Владыченька, уходит!» «Последнюю свою литургию совершил на Рождество, последнюю проповедь произнес в Прощеное Воскресенье. Проповеднического долга не оставлял до последней минуты. Видимо, много молился…»

В письме к сестре Луки, Виктории Феликсовне Дзенькович, Лейкфельд добавляет: «Не роптал, не жаловался. Распоряжений не давал. Шел от нас утром без четверти семь. Подышал немного напряженно, потом вздохнул два раза и еще едва заметно — и все…»

Было утро 11 июня 1961 года. На церковном календаре значился день всех Святых в земле Русской просиявших.

Он и мертвый продолжал волновать умы и сердца. Лейкфельд пишет: «Панихиды следовали одна за другой, дом до отказа наполнился народом, люди заполнили весь двор, внизу стояла громадная очередь. Первую ночь Владыка лежал дома, вторую — в Благовещенской церкви, а третью — в Соборе. Все время звучало Евангелие, прерывавшееся панихидами, сменяли друг друга священники, а люди все шли и шли непрерывной вереницей поклониться Владыке… Были люди из разных районов, были приехавшие из разных далеких мест: из Мелитополя, Геническа, Скадовска, Херсона. Поток стихал часа на четыре ночи, а затем снова одни люди сменялись другими, снова лились тихие слезы, что нет теперь молитвенника, что «ушел наш святой». И тут же вспоминали о том, что сказал Владыка, как вылечил, как утешил…

По всему городу, по всему Крыму говорили о кончине архиепископа. Передавали подробности о строгой его жизни, о добрых его делах, о высоких нравственных требованиях его к верующим и духовенству. Загадочная и противоречивая судьба мученика и героя вызывала почтительные толки. Даже люди, далекие от Церкви, понимали: ушла из жизни личность незаурядная. Понимали это и в Крымском обкоме партии, и в областном управлении КГБ, и в облисполкоме. Понимали и нервничали. Там всегда нервничают, когда где-то возникает неконтролируемое, сверху несанкционированное общественное мнение. Это не значит, что люди в обкоме и облисполкоме лишены эмоциональных начал. Они совсем не глупы и не бесчувственны. Понимают: народ может гневаться, радоваться, печалиться. Плохи не сами эмоции, опасен самотек. Общественные чувства следует предварительно обсудить, провентилировать в кабинетах, согласовать с Москвой, распоряжения об эмоциях передать по инстанциям, сообщить кому надо для исполнения. А тут — отсебятина какая-то. Отсебятины терпеть нельзя, с отсебятиной надо бороться.

В ночь с 10-го на 11 июня, когда областная типография уже начала печатать тираж газеты, последовал приказ поместить в завтрашнем номере (некролог? ни в коем случае! — о некрологе и речи не могло быть) большую антирелигиозную статью. Статья лежала в редакции давно, но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». «Крымская правда» выходит через день. Уполномоченный по делам Православной Церкви утверждает, что Лука вот-вот отойдет в лучший мир, скорее всего это случится завтра. Вот и надо, чтобы в тот день, когда разнесется слух о кончине архиерея, широкие массы прочитали в партийной газете разоблачительный материал. Доктор философских наук М. Губанов выступит против христианской морали. В такие моменты прежде всего по морали надо бить. От морали христианской все зло.

Статья про мораль заняла четверть газетной полосы. Ничего сенсационного в ней не было, и не в сенсации была ее сила. А в том, что на происки классового врага Крымский обком партии реагировал своевременно и через прессу проискам этим дал сокрушительную отповедь. Что же до профессора М. Губанова, то он написал то, что писали до него в других статьях и книгах. Мораль зависит от средств производства и производственных отношений. Мораль отдельной личности отражает классовый характер общества. Если ты капиталист, то и мораль у тебя капиталистическая, а если ты пролетарий, то и мораль имеешь соответствующую. И далее в том же духе: «Христианская мораль в ее основных принципах оказывается вредной для людей, извращающей, обезображивающей все прогрессивное в морали человечества». Но есть мораль хорошая, коммунистическая. Про эту хорошую нравственность автор написал: «Коммунистическая нравственность выражает себя в ударном труде передовиков производства миллионов рабочих и колхозников, которые борются за выполнение и

перевыполнение производственных заданий». А в конце, чтобы уже никто не сомневался, профессор авторитетно пояснил: «Старая религиозная мораль потерпела жестокое поражение и все более изживает себя». Конец.

Так почтили кончину архиепископа Луки лица официальные, государственной властью облеченные. Таковы последние доводы их против жизненных принципов покойного иерея. Аргументы? Есть у доктора Губанова и аргументы: Гагарин ни в Бога, ни в черта не верил, а в космос полетел. Есть и цитата сокрушительной силы: «Нравственность — это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов» (В. И. Ленин, Собр. соч., т. 31, стр. 268).

Продираясь сквозь унылую тоску губановского сочинения, я почти с нежностью вспоминал фельетонистов 20-х годов. Где вы, чьи фельетоны громили Луку Ташкентского сорок лет назад? Воистину, все познается в сравнении. У тех давних писак был и задор, и экспрессия. По наивности и необразованности своей они, может статься, даже верили в то, что безверие спасительно для общества. В их писаниях была жизнь, страшная жизнь первых лет революции, с отблесками пожарищ и воплями расстреливаемых. Сорок лет спустя их наследники играли мертвыми словами, окостеневшими понятиями. Губановы не стали грамотней, но вконец утеряли былой темперамент. Пропаганда для них просто служба, скучная служба, за которую платят деньги. Ни они сами, ни их хозяева давно уже не верят в успех слова, да и к чему оно, это слово, коли есть сила?

«…Как только отец умер, меня и брата Алексея пригласили в горисполком, — рассказывает Михаил Войно-Ясенецкий. — Нам объяснили, что везти тело по главной улице Симферополя никак нельзя. Хотя путь от Собора по главной магистрали близок, но похоронная процессия затруднит городское движение. Поэтому маршрут для нее проложили по окраинным улицам. Руководство города не пожалело автобусов — предложили тридцать машин! только бы не возникло пешей процессии, только бы мы поскорее доставили отца на кладбище. Мы согласились, и не наша вина, что вышло все иначе…»

: «Покой этих торжественных дней, — пишет Лейкфельд, — нарушался страшным волнением: шли переговоры с уполномоченным, запретившим процессию. Он уверял, что, если разрешить процессию, непременно будет задавлено 6—7 старух… И прихожане, и внешние — все страшно возмущались, что запрещена процессия. Прекрасно сказал один пожилой еврей: «Почему не позволяют почтить этого праведника?» Архиепископ Михаил Тамбовский (Чуб), приехавший на похороны Луки по распоряжению Патриархии, тоже вспоминает о бесконечных спорах и переговорах над гробом Крымского Владыки… Сначала приезжему вообще запретили служить панихиду. Пришлось звонить по телефону в Москву. После этого панихиду разрешили, но хозяева города принялись перечислять условия, на которых они позволят хоронить Владыку Луку. Все сопровождающие должны ехать только в автобусах, ни в коем случае не создавать пешей процессии, ни в коем случае не нести гроб на руках, никакого пения, никакой музыки. Тихо, быстро, незаметно и так, чтобы 13 июня в пять вечера (ни минутой позже!) тело архиепископа было в земле. После переговоров в здании городского исполкома председатель горисполкома со свитой вечером снова приезжал на Госпитальную улицу и снова твердил о ритме городской жизни, который никак нельзя нарушать, о загруженности центральных магистралей и т. д.

«Я распорядился, чтобы прощание с Владыкой не прекращалось всю ночь,

вспоминает архиепископ Михаил, — и всю ночь к Собору шли люди. Дни стояли жаркие, душные, но те, кто пришел прощаться, как будто не замечали духоты. Народ теснился в Соборе и вокруг него круглые сутки. В полдень 13-го, когда мы обнесли тело покойного Владыки вокруг Собора, у входа уже стоял автокатафалк, пригнанный из Севастополя. А за ним — колонны автобусов. Приготовились к последнему пути: впереди катафалк, за ним машина, доверху наполненная венками, потом легковая машина для архиепископа, автобусы с родственниками, духовенством, певчими. Оставалось еще несколько машин для мирян, желающих участвовать в проводах, но в эти автобусы никто садиться не хотел. Люди тесным кольцом окружили катафалк, вцепились в него руками, будто не желая отпускать своего архиерея. Машины долго не могли двинуться со двора. Запаренный, охрипший уполномоченный бегал от машины к машине, загонял в автобусы, уговаривал «лишних и посторонних» отойти в сторону, не мешать. Его никто не слушал. Наконец, кое-как с места сдвинулись. По узким улочкам Симферополя катафалк и автобусы могли идти со скоростью, с которой шли пожилые женщины. Три километра от Собора до кладбища мы ехали около трех часов…» Фармацевт Оверченко: «Это была настоящая демонстрация. Казалось, весь город присутствовал на похоронах; помню заполненные людьми балконы, людей на крышах, на деревьях…»

Е. П. Лейкфельд: «…Улицу заполнили женщины в белых платочках. Медленно шаг за шагом шли они впереди машины с телом Владыки: очень старые тоже не отставали. Три ряда протянутых рук будто вели эту машину. И до самого кладбища посыпали путь розами. И до самого кладбища неустанно звучало над толпой белых платочков: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас…» Что ни говорили этой толпе, как ни пытались заставить ее замолчать, ответ был один: «Мы хороним нашего архиепископа».

Так выглядел этот последний поединок Луки со своими гонителями. Хотя нет, не последний.

Если случится вам попасть на городское кладбище в Симферополе, то справа от главного входа в кладбищенскую церковь найдете вы осененную белым мраморным памятником могилу. Она заметна издалека: по охапкам живых цветов, которые не переводятся тут ни зимой, ни летом, по необычайно подробной золотом по мрамору — надписи:

АРХИЕПИСКОП ЛУКА
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ
27/IV 1877—11/VI 1961
Доктор медицинских наук, профессор хирургии
Лауреат

Говорят, архиепископ Лука сам составил эту надпись. И не без умысла. Пусть читает прохожий. Пусть размышляет. Может быть, надпись эта чему-нибудь его научит.

Сентябрь 1970 г. — Апрель 1975 г.